

В л а д и м и р А л е й н и к о в

В С Л Е Д
З А
С Л О В О М



РИПОЛ
КЛАССИК

МОСКВА
2022

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
А45

Алейников, В.Д.

А45 Вслед за словом / В.Д. Алейников. — М. : РИПОЛ классик, 2022. — 720 с.

ISBN 978-5-386-14755-6

Книга известного русского поэта и прозаика Владимира Алейникова «Вслед за словом» необычна и по жанру, и по своей структуре. Это проза поэта, свободная, ассоциативная, ритмическая, тяготеющая к поэзии, и в то же время это своеобразные воспоминания о минувшей эпохе и творческих людях непростого, но щедрого на таланты времени, о друзьях и соратниках автора по нашему отечественному андеграунду, одним из основных героев которого был он в прежние времена.

Среди персонажей книги — ныне широко известные художники Анатолий Зверев, Владимир Яковлев, Игорь Ворошилов, Пётр Беленок; поэты и прозаики Леонид Губанов, Александр Величанский, Генрих Сапгир, Евгений Рейн, Сергей Довлатов, Константин Кузьминский, Венедикт Ерофеев, Саша Соколов, Андрей Битов и многие другие; представители старших поколений — Оксана Михайловна Синякова-Асеева, известный коллекционер Георгий Дионисович Костаки, поэт Арсений Александрович Тарковский, поэт и переводчик Аркадий Акимович Штейнберг, великий акварелист Артур Владимирович Фонвизин. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ, Алейников рассказывает об этом ярком явлении шестидесятых годов прошлого века.

Лирические фрагменты чередуются с портретами различных колоритных людей, с историями, в диапазоне от занятных до драматичных, образуя многоплановое, эпическое повествование. Не случайно литературоведы называют Алейникова Нестором русского андеграунда и считают, что его фантазмагорическая проза стоит вровень с лучшими книгами Маркеса. Новая книга Владимира Алейникова несомненно будет интересной и полезной для современных читателей.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-386-14755-6

© Алейников В.Д., 2022
© Издание, оформление. ООО Группа
Компаний «Рипол классик», 2022

I

Вслед за словом, за звуком, за взглядом, с этим светом, встающим с утра, с этим садом, — а что с этим садом? — с ним давно побрататься пора, — прямо в бездну, за тонкую стенку, прямо в невидаль, в топкую мглу, где, сдувая молочную пенку, настроенье сидит на полу, в ненасытную эту воронку, где ненастье глядит в зеркала, вместе с эхом — за веком вдогонку, прямо в осень — была не была!

...Високосная осень давнего, не ушедшего вместе с эпохой отшумевшей, но почему-то навсегда сохранённого в памяти, небывалого года, когда был я молод и полон сил, возвратилась нынче ко мне, вместе с утренним светом в окне, вместе с музыкой неизменной лет, которым забвенья нет, вместе с сонмом живых примет, вместе с радостью драгоценной, вместе с грустью, принёсшей весть о таком, чего впрямь не счесть, и о том, что надежда есть на внимание и понимание, о таком, что явилось вновь и с собой принесло любовь, как и встарь, будоража кровь, словно был где-то там, за гранью всех событий и всех невзгод, всех наитий и всех щедрот, всех открытий и всех забот, и прорвался, прозревший, к яви, сквозь пространство и время, в речь, прямо в гущу минувших встреч, в то, что в сердце сумел сберечь, — и сказать я об этом — вправе.

Жизнь, всегда и везде напряжённая, пусть и сложная, но интересная, с непрерывною новизной, вопреки нелепостям быта, огорчениям, состояниям, иногда, подчеркну, какой-то растянувшейся и в пространстве, и во времени, затяжной, бестолковой неопределённости, в чьей туманной и зыбкой прорве днём с огнём не найдёшь просвета, да ещё и со ставшей привычною, как ни странно, сердечной горечью, чьё присутствие постоянное

ощущалось на каждом шагу, каждый день, каждый час и миг, но случалось, что отступало перед новыми увлечениями, уступало место им, что ли, чтоб напомнить вдруг о себе неожиданно и жестоко, но потом, как будто смутившись, отойти куда-то в сторонку, переждать, затаившись, там то, что было ей не по силам одолеть, потерпеть немного, а потом нагряться опять, потому что её не вытравить ни из сердца, ни из души, такова уж её природа, вот и мучишься с ней, бывало, что поделаешь, приросла, прижилась, диктует своё резко, властно, порой некстати, а потом отступает вновь, передышку давая всё же мне, и можно дышать, похоже, глубоко, вот и вся любовь, — жизнь, моя, а не чья-нибудь, то звала меня, умоляла, так вернее, куда-то в путь, то на месте меня держала, призывая к моим трудам, и скитанья по городам нашей прежней страны отдаляла, — жизнь на то и дана, видать, чтоб являлась в ней благодать, иногда, вопреки невзгодам, чтобы радость дружила с ней, чтобы я вспоминал ясней, в круговерти минувших дней, всё, что связано, средь огней, разгоравшихся всё сильней, среди звёзд, что подруг верней, с высокосным далёким годом.

Високосных лет в моей жизни было много. Всего — девятнадцать. И, надеюсь, будут ещё впереди. Надеюсь — и верю.

А поскольку родился я в январе, то, выходит, было девятнадцать прожитых мною, или — пережитых, так можно поневоле сказать, реальных, тех, что видел я, что воспринял, словно явь, открытую мне и в сознание моё вошедшую навсегда, чтобы остаться в нём вместе с тем драгоценным светом, что дарует и радость, и грусть, и хранит их, в единстве редкостном, помогая мне жить и дышать, оставаться самим собою, быть, вот именно, просто — быть, этим сказано всё, да, быть, и сейчас, и потом, в грядущем, дай-то Бог, високосных осеней.

Високосная осень. Так.

Но какую же осень мне вспомнить?

Что за ними? Звук — или знак?
Чем их нынче, ушедших, восполнить?
Как вернуть их? Как сохранить?
Только — в речи. В начале — слово.
То-то вьётся седая нить.
Из бывшего. Привычно. Снова.
То-то тянется долгий путь.
Вдоль судьбы. Не случайно, значит.
Станет явью — когда-нибудь.
Стал, вернее. И глаз не прячет.
Утешений особых нет.
Понимание — где-то рядом.
Есть — извечный, целебный свет.
И открытия — с каждым взглядом.
С каждым часом. И с каждым днём.
С каждым годом. И с каждым вздохом.
Есть — отвага. Игра с огнём.
И простор. И укор эпохам.
Выживание. Упрямство. Честь.
Оправдание того, что — было.
Из всего, что я знаю, — весть.
Свод небесный. Земная сила.
Восставить из невзгод — всегда.
И — держаться. Всегда. Так надо.
И горит надо мной звезда.
С ней — дождусь я любви и лада.
С ней мне легче дышать и жить.
С нею — вера. И с нею — воля.
Встать. Идти, как и прежде. Быть.
Вопреки оголтелой боли.
Проходить сквозь преграды. Петь.
Вглубь. И в даль. Да и ввысь. Всё выше.
И сказать о былом — суметь.
Взрастанье гармоний слыша.

Что за музыка — там, вдали!
И — вблизи. И — повсюду. Рядом.
Что за радость — краса земли!
Что за чудо — за каждым взглядом!



Был прохладный осенний день.

Ветер северный вдруг налетал на округу приморскую нашу — и срывал с окрестных деревьев разноцветные листья — жёлтые и багровые — и они, покружившись в воздухе, падали на дорожки в садах, на землю, на траву, и лежали там, то поврозь, то целыми грудами, и светились, будто фонарики или свечи, — и до зимы было долго ещё, но всё-таки где-то там, впереди, она ощущалась и даже брезжила, высветлялась и принимала очертания, различимые из окна моего, вставала, словно призрачное видение, за холмами и за горами, вместе с музыкой, возникавшей незаметно и разливавшейся высоко, далеко, сквозь время и пространство, и это было, как и прежде, закономерным, неизбежным, но и сулило неизменную новизну откровений грядущих, открытий, всех возможных вскоре событий, чувств, и слов, и моих наитий, и трудов, и опять — весну...

Я писал эту книгу — и думал: как же мне её надо назвать?

Сколько ведь было событий в давние годы! Сколько бед, и утрат, и трагедий, и скитаний, и ожиданий, и открытий, и обретений, и упорных, долгих трудов!

Сколько их, ярких звёзд, в нашей богеме! Эпоха прежняя — звёздной была. Сколько талантов! И сколько судеб необычайных! Сплошное звёздное небо — над нашей родной землёй. Созвездия. Даже галактики. Миры. Сияние творчества. И всё это — существует. Живёт. Здесь. Рядом со мной.

Как назвать мою книгу нынешнюю, со временем будет видно. Речь скажет об этом — сама.

Смыслы присутствуют в речи моей — и явно, и скрытно. Всегда. И что им — зима!..



День к хандре незаметно привык, в доме слишком просторно, — деревья, разветвляясь непокорно, не срываясь на крик, издают остывающий звук, что-то вроде напева, наклоняясь то вправо, то влево вслед за ветром — и вдруг заслоняясь листвой от неряшливой мороси, рея, как во сне — и мгновенно старея, примирённо качнув головой.

Так и хочется встать на котурнах простора, отодвинуть нависшую штору, второпях пролистать чью-то книгу — не всё ли равно, чью конкретно? — звучанье валторны, как всегда, непритворно, проникает в окно, разойдясь по низам, заполняет округу наподобье недуга — и смотреть непривычно глазам на небрежную мглу, на прибрежную эту пустыню, где и ты поселился отныне, где игла на полу завалилась, блеснув остриём и ушко подставляя для невидимой нити — такая прошивает, скользя, окоём, с узелками примет оставляя лоскут недошитым, чтоб от взглядов не скрытым был пробел — а за ним и просвет.

Призрак прошлого к дому бредёт, никуда не торопится, пойдёт — никого не найдёт, но такое накопится в тайниках незаметных души, что куда ему, дошлому, торопиться! — и ты не спеши, доверяющий прошлому.

Отзвук прошлого в стёклах застрял за оконною рамою — словно кто-нибудь за руки взял что-то близкое самое, словно где-нибудь вспыхнуло вдруг что-то самое дальнейшее, но открыться ему недосуг, — вот и смотришь печальнее.

Лишь озябнешь да смотришь вокруг — что за место пустынное? что за свет, уходящий на юг, приходящий с повинною, согревающий вроде бы здесь что-то слишком знакомое, был утрачен — да всё же не весь, точно счастье искомое?

Значит, радость вернётся к тебе, впечатления чувствуя, с тем, что выпало, брат, по судьбе, неизменно соседствуя, с тем, что выпадет некогда, с тем, что когда-нибудь сбудется, — и не то чтобы, скажем, Эдем, но подобное чудится.

От заботы великой твоей о таких вот усталых сочинителях книг запоздалых о слетевших с ветвей, индевеющих листьях, о тех улетающих к югу пернатых, что в лесных обитали пенатах и напелись за всех,

о таком, что потом непременно напомним о прошлом, от которого жарко подошвам на ковре золотом, пересыпанном зернью росы, зачернённом дождями, там, где ржавыми вбиты гвоздями дорогие блаженства часы,

от заботы о том, что томит меня ночью туманной, что аукнется тьмой безымянной, перевяжет жгутом что-то нужное сердцу — а там переменит пластинку, что тревожит меня под сурдинку, что идёт по пятам,

как-то зябко становится вдруг, чаровница-погодка, — воровская ли ветра походка и луны ведовской полукруг в запотевшем окне навевают под утро такое, — но стоишь, позабыв о покое, от людей в стороне.



...Желтизна листвы. Рыжина её. Жухлый шорох в скверах. Тускнеющий алый прочерк в кронах. Багряных тел неподвижные вороха.

Синева небес. И — свинцовость их. Темнотища в них непроглядная. Лиловатой хмари несносность. Весть и напасть. И — сердце стиха.

То-то хотелось рваться, вглубь или вдаль, куда-то, а куда — не всё ли равно!

Вырываться упрямо — за грань, за черту, в заоблачье, может быть, в зазеркалье, — хотя бы за город.

Лучше — дальше. Поскольку дальше — лучше всё же. Свободнее там дышишь. Зрению там — просторнее.

В электричке, легко прошившей глушизну лесов обомшелых строчкой тонкой, струной зелёной.

На живую нитку сметавшей ткань пространства. Времени клочья незаметно соединившей.

Лёгкой, острой иглой скользнувшей, вкось и ввысь, из яви осенней в измерения другие, странные, с крутизною вершин желанною, с новизною их безобманною предо мной, в иные миры.

За город. В Подмоскowie. В область, где облачность гуще, воздух терпче и чище, нравы грубей и проще, дожди затяжные чаще, просторней окрестные рощи, парков райские кущи волшебней, древние мощи холмов покруче кремлёвских. В Подмоскowie. Скорее. За город.

В сферу веры. В укрое надежды. В безграничное царство любви.

За кромку быта. На волю. Где покой. И счастье. Всё дальше.

В поезде дальнего следования. В автобусе. На попутных грузовиках. Вперёд.

Лишь бы ехать. И чутя: может сердце выдержать путь сквозь новь. Свет утешит. И Бог поможет. Нитью — к сути. Иглою — в кровь.

Лишь бы видеть. И слышать ясный звук, всей правью земной дыша. Речи — быть. И во мгле ненастной — уцелеть. Отзовись, душа!..

Та же осень. И музыка та же с нею вместе доселе. И даже, всех на свете милей и верней, долговечная лирика в ней.

Та же, что и давным-давно? Почему? По какой причине? Та была — далёкой, московской, с нею молодость рядом была.

Потому и вернулась вновь, чтоб напомнить сейчас о прошлом, отшумевшем, но не ушедшем — так скажу — никуда от меня.

С новой осенью — память скажет, что незримые нити свяжет воедино — и что обяжет воскресать посреди огня.



Февраль, сырой и сизый, как где-нибудь в южных широтах, в приморском портовом городе, но уж никак не в средней полосе России, вносил свои очередные бредовые поправки в такой

пленительный, столькое сразу же говорящий и сердцу и уму, всегда волнующий, отчасти волшебный, вначале школьный — пушкинский и некрасовский, потом взрослый — блоковский и хлебниковский, навсегда оставшийся в памяти, прочно укоренившийся там и с немим укором взирающий оттуда на давно уже расшатанную, чуть ли не вдребезги разбитую действительность, на печальную реальность конца тысячелетия и начала новой эпохи, собирательный образ чудесных русских зим, с их серебристым, сухим, ухарски заламывающим косматую шапку и глухо побрякивающим, крепчающим морозом, с беспредельной, отзывающейся тоской и разлукой, умопомрачительной белизной сплошных, матёрых, каких-то вселенских снегов, с наискось отброшенными тенями на них, извилистыми и синими, как пульсирующие жилки, с коричнево-мшистыми, стоящими вкривь и вкось, как с похмелья, избами и заборами, с одиноками, отрешённо тянущимися ввысь деревьями посреди наметённых за ночь сугробов, с жёсткой щёткой застывшего леса на горизонте, с древними письменами созвездий над закинутой в небо головой, с глухоманью, со сладкой дремой, с осторожно брезжащим поначалу, но уже в следующее мгновение упрямо разливающимся над озябшей землёй утренним ясным светом, с обиженно сутулящимися предместьями и с хорошо знакомыми городскими кварталами в зыбкой, почти никем не замечаемой, надолго обволакивающей их дымке, с музыкой столицы, с тем её непостижимым контрапунктом, который один только и может дать выражение невероятному, сбитому в единое целое, то рушащемуся в неизвестность, то самовосстанавливающемуся её бытию, со счастливой возможностью верить в завтра, с надеждой на лучшее, с любовью, не мучительной, а радостной, с неизменным, изумлённым вниманием ко всем и ко всему, с прямизной людских отношений, с пылающим румянцем во всю щёку, с девичьим смехом, колокольцем звенящим вдали, со студёной водой умывания, с доносящимися с кухни ароматными запахами еды, с восхитительной распахнутостью прогулок,

с ближним катком, на льду которого ещё вчера густо роились весёлые конькобежцы, со снежными бабами во дворе, с укутанной детишками горкой, с озорно блеснувшим под солнцем, узким, холодящим горячую ладонь санным полозом, — наконец, с многоярусной, воздушной, ласково колкой, праздничной зеленью ёлочной хвои, сразу заполняющей весь дом своим терпким, лесным, смолистым духом.

Неужели всё миновало?

Безвозвратно? «Кануло в Лету»?

Что сулят нам новые, нынешние, бестолковые времена?

Глобальное потепление с ума сошедшего климата на всей нашей хворой планете — и всеобщее, просто повальное, неизбежное, беспощадное охлаждение человеческих, нам дарованных свыше, чувств?

Не может этого быть!

(Не может? А если — может?)

Нет, нет! Вы что?.. Но тревога давно уже сердце гложет.

Время, пусть и не зашедшее пока ещё в тупик, но словно споткнувшееся на ровном месте и всерьёз озадаченное этим обстоятельством, поскольку такого с ним сроду не бывало, нелепо топчась и разминаясь, пыталось прийти в себя, с натугой, с усилием встряхивалось, норовило рвануться вперёд, оглядеться с прищуром вокруг, но, увидев лишь то, что давно уже видели все мы, огорчённо вздыхало, помедлив с решением хоть что-нибудь вдруг предпринять, замыкалось в себе, уходило в своё отрешение от бессмыслицы будней, рядилось в одежды чужие, перепутав слова, говорило на всех языках, забывая всё больше и чаще язык свой родной, то впадало в прострацию, то возбуждалось невольно, то искало забвенья в наплывах сплошных сновидений, то, очнувшись, кручинясь, неведомо где очутившись, начинало гадать, что за шум, что за рёв за стеной, принимая за бред повседневность плюс нашу ментальность, о которой

говорено столько, что некому руку пожать, а тем более, верить, поскольку и скучно и грустно, поднималось, кряхтя, и, как спившийся старый механик, принималось, пускай по инерции, вновь за труды, то есть, как получалось, надеюсь я, что не напрасно, с Божьей помощью, видно, закручивало и раскручивало свои заржавевшие спирали меланхолично и огорчённо, потому что его неожиданно-негаданно — лишили имени.

На нём не было лица.

Это было и не время вовсе, а междувременье.

Ни то ни сё.

Нечто приблизительно похожее, расплывчатое, полустёртое, не личностное, но стадное, безрадостное, безотрадное, без всяких там запоминающихся, достаточно ярких черт, без призывов, способных сплотить, вдохновить, обнадёжить, так, поддосье роения, чушь, без особых примет.

Как бы время.

Вот что ужасно.

Самое употребительное выражение последних лет — как бы. Деваться от него некуда.

Злоупотребляют им все, поголовно.

Исключение — один я, пожалуй.

А вокруг — эта чудовищная двойственность, двусмысленность, абсурдность без всякой меры одобренных идиотской приправой разговоров, привносящая в нашу и без того несладкую жизнь — узаконенную ирреальность происходящего.

Как бы свобода.

Как бы искусство.

Как бы существование.

На грани — только чего?

На краешке, на самой кромке уходящего столетия.

И — в начале столетия нового.

На стыке двух эпох.

На разломе — геологическом ли, духовном ли.

Так ли? Верно? Да, так.

Ничего не попишешь. Терпи.

Что, ну что мне, скажи, в этой прорве ещё оставалось?

Встать посреди обломков где-то на месте града — рать из твоих потомков корень искать распада будет, слегка не в духе, но, как и ты, упряма — встать посреди разрухи где-то на месте храма.

Время — шло. Потому что времени полагается не стоять, но идти. И любому бременю ход извечный не удержать.

Время — двигалось. В направлении неизвестном. Куда-нибудь. По неясному повелению. По привычке. Поскольку — путь.

Время — таяло. Или — реяло? Или — падало. В никуда? Вроде чем-то знакомым веяло. Или просто — текла вода?

Время — сыпалось. Над песчинками, ускользающими всерьёз, чтоб ледок хрустел под ботинками, поднимался немой вопрос.



В киммерийском раздолье, чей лад — сущий клад, Божий сад, рай и ад, больше — всё-таки рай, ибо в нём реже страхи да игры с огнём, чем в былые года, с их бедой, с их полынной звездой над водой, с их упрямством, достойным похвал, ибо выжил и связи не рвал ни с отчизной, ни с верой своей, скиф, скиталец, певец, Водолей, ни с любовью, что всюду права, ни с надеждой, чьи помню слова, с их волшбой и мольбой на холмах, с их разбродом в домах и в умах, с их тоской, с карнавалом химер, где кошмары, мечтам не в пример, настигали ночами в пути, дабы понял, куда мне идти, прорываясь вперёд или ввысь, напрямик, сквозь авось да кабысь, через морось бесчасья — иглой, в глушь, где глиной, смолой и золой сдобрен смысла подспудного пласт, где простор никого не предаст, где покой вслед за волей встаёт и хорошее что-то поёт в киммерийском укреме, в тиши, где спа-

сеньем, небось, для души, станет речь, потому что лишь с ней крепнет дух среди седеющих дней.



...Что со мной происходит? Я вздрогнул, вдали услышав зов негромкий. Откуда он снова ко мне долетает? Всё оттуда же, брат, — из времён, где он всё-таки прав и в упрямстве своём: всё сполна он ещё наверстает!..

В сентябре, в золотом сентябре шестьдесят четвёртого года, на заре нашей странной, безумной, навсегда отшумевшей эпохи, в ту блаженную, ясную, чуткую пору, когда на холмистых московских просторах ещё вдосталь бывало и магически-властного, неизбежно высокого света, и плескавшего исподволь с юга отрешённо-смурною волною, неизменно родного тепла, в том особенно близком душе, напряжённо-свободном, заждавшемся отклика, что ли, пограничном, ранимом состоянии природы, в тот загадочный час предвечерья, в те мгновения, когда по садам и по скверам вовсю полыхала листва, но уже подбирались к домам и деревьям сквозившие понизу тени — и готовился молча вонзить в сердцевину сплошного звучанья, в глубину созиданья, дыханья и чаянья, в ломкую ткань бытия, припасённую впрок и покрытую ржавью иглу разрушенья, смятенья и страха ледяной холодок неминуемой ночи, беды и зимы...

На такой вот щемящей, звенящей, как в юности, ноте и начать? Звук искомый приходит извне, появляется сам, потому что его-то и ждал я, звук единственно верный, желанный, а стало быть — мой, возникает из памяти, где немота с темнотою, как ни тщились прижиться, приюта себе не нашли, заполняет пространство, проходит сквозь время глухое, неумолчный, рискованный, томящий, зовущий, слепой, прозревает, встаёт на распутье, идёт по нити, доверяясь чутью, прямо в речь

мою — так, мол, и быть, — с ним приходит и строй — и растёт, и ведёт за собою — за судьбой, под звездой, над водой, по земле моей — в мир, где, легендою ставшие, все мы равны перед Богом.

Звук зовёт изначальный — вот я закрываю глаза, словно вновь почему-то, как прежде, читаю стихи, чтоб глазами духовными времени суть различить, — и особенным, внутренним зрением вижу былое.

Оркестровый тревожный прибой, со скрипичным, высоким захлестом, с виолончельным, низким, вибрирующим раскатом, с выплеском труб, звенящим золотом и серебром, и с общим протяжным рокотом, звучит у меня в ушах.

Слух заполнен им. Что же делать!..

И тогда пробуждается зрение.

А потом оживает — память.

А за ней — и давнишний свет.



Стоит сказать об осени шестьдесят четвёртого. То есть — осени всех начинаний, и надежд на всё, что свершиться непременно должно, возможно, и не сразу, пусть постепенно, как уж выйдет, потом, в грядущем, том, в котором нам жить да жить, как наивно и окрылённо представляли мы, понимая далеко не всё, но стараясь, в меру сил своих, прозревать в яви, несколько романтической, знаки горести непривычной, звуки музыки горемычной приучаясь вдруг различать.

Стоит, право, сказать об осени — той, в которой уже содержалось всё, что позже, неслыханно скоро, получило, как только в сказках, с волшебством их и чудесами, полагаю теперь, и бывает, но и в жизни порой случается, в чём давно уж я убедился, на своём, не на чьём-нибудь, незаёмном, немалом опыте, на своём, тернистом пути, продолжение и развитие.

Стоит сказать об осени откровений и озарений.

Пусть и вкратце. Под настроение.

С ностальгией, вполне для меня, поседевшего, разумеемой.

С грустью, слишком понятной нынче.

Это грусть по радости, бывшей очевидной такой когда-то, что никак невозможно хотя бы на минуту какую-нибудь, или так сегодня скажу я, на ничтожную долю секунды, минимальную кроху мгновенья, попытаться забыть её, —

нет, вовсе не для того была она мне дарована, вовсе не для того переполняла меня, чтобы в мыслях моих, порою смутных, или сумбурных, или ясных, любых, могло подобное промелькнуть, —

какое там! — наоборот, с каждым годом всё приближается ко мне эта дальняя осень, всё отчётливей укрупняются дорогие черты её, чародейским алмазом оттачиваются все, даже самые малые, детали её и грани, —

и она подходит плотную, приближает лицо своё, чистое, молодое, белое, свежее, золотым озарённое светом, и взгляд её ясный встречается с усталым взглядом моим, и силы в душу вливает, и легче тогда мне дышать,

и слышу я голос её, молодой и прекрасный, и зов её, неустанный, негромкий, но властный, в ночи различаю вновь, и рвусь к ней — сквозь время с пространством, сквозь век, с его самозванством, сквозь боль, с её постоянством, сквозь жизнь и сквозь речь свою, —

и я возвращаюсь к ней, возвращаюсь я, — ко всему несбывшемуся и сбывшемуся, с утратами не смилившемуся, с прозрениями сдружившемуся, к началу самому чаяний, к истоку прозрачному веры, к далёкой заре любви,

ко всему, что было моим, и доселе, свидетелем Бог в небесах, никуда не ушло, никому в минувшем не отдано, никогда в скитаньях не предано, что сберёг я свято в душе, что пронёс через годы трудные, под звездой высокой моей,

что со мною осталось, да так, что давно уже, так получилось по судьбе, стало мною самим, стало всем, что меня составляет, что возможность дышать оставляет, естеством, волшебством, одиночеством, ясновидчеством, празднеством, творчеством, всем с людьми и с природой родством,

всем, чем жив я, чем в мире поддержан, что само без меня не может, как и я не могу без него, что сумело меня спасти, как и я его спас от забвенья, взяв из памяти нити и звенья, — пенье, счастье, страданье, горенье, — навсегда, — обретенье пути.

Когда ты ещё так молод, и рад, что живёшь в Москве, о которой мечтал так истово там, у себя, в провинции, а теперь ты житель столицы, студент университета, и, несмотря на учёбу, ты совершенно свободен, сам предоставлен себе, независим, насколько возможно,

волен сам, без чьих-то подсказок, распоряжаться временем, не чьим-нибудь, а своим, собственным, личным, точным, вполне возможно, бессрочным, да ещё и пишешь стихи, больше того, твёрдо знаешь, что ты поэт, и тебя уже знают здесь именно как поэта, —

жизнь таинственным свитком, охотно, как будто играючи, быстро, легко, разворачивает именно перед тобою, пришельцем издалека, неофитом, гостем восторженным, самые невероятные возможности, и остаётся лишь выбирать из них наиболее интересные,

и ты, человек по натуре домашний, довольно замкнутый, с детства сосредоточенный на думках вечных своих, жить начинаешь вдруг в совершенно ином ритме, а может, в другом измерении, сам толком не понимая, что с тобой происходит, почему же так получается,

ты превращаешься, надо же, ну и ну, в человека богемного, и знакомства твои всё больше не светские, а богемные, ты почти в Париже, не так ли, карнавалы, пирушки, миракли, довольно воображения, ты вольная птица, ты вправе, стремясь к победе и славе, сам принимать решения,

ты дышишь свободой, при всей несвободе советской, которую ты, как и дружеский круг твой, да и все вокруг, не желаешь принять во внимание, так она для тебя несущественна, благо младость всегда естественна, да и радость, возможно, вещественна, то-то смотрит на мир торжественно и гуляет честная компания,

ты всегда устремлён в грядущее, новизны и отваги ждущее от людей, далеко ведущее, чтоб воочию видеть сущее там, где примут и где согреют, и в пути своём ты намаешься, но идёшь и ввысь поднимаешься, чтоб в годах, где казнят, не жалуя, слышать музыку небывалую — в ней, и только, речь твоя зреет.

А Москва хороша! Сентябрь, и небо то ласково-синее, то лиловое, то седое, смутно-мглистое, с ветерком, и листва желтеет, алеет, и срывается вдруг с ветвей, и летит, кружась над землёй, в даль куда-то, сквозь время, в пространство, и город — кругами, кольцами, звеньями, клиньями, сферами, светлый, просторный, новый в древности, в тайне своей, и всё это — для тебя, и ты для этого — здесь, чтобы помнить об этом повсюду, где бы ни был в грядущем ты, и выются в воздухе звонком тончайшие нити духовные, и вселенские связи незримые, столь щедро сущим даримые, ощущаются, в общем единстве, в цельности восприятий, наитий и вероятий, в достоверности бытия.

Жил я тогда, в период молодости крылатой, на милой мне Автозаводской, весьма из себя оживлённой, достаточно многолюдной в определённые, утренние и вечерние, с их толкотнёй, ненавязчивой и привычной почему-то, часы дня, как-то в меру, без перебора, заполненной легковушками, автобусами, троллейбусами, фырчащими грузовиками, кое в чём типично столичной, но, впрочем, и это существенно, порядком-таки отдалённой от форсистого, яркого центра, не подчёркнуто вовсе окраинной, нет, конечно, это не так, но уж точно, так выходило, так мне виделось, так получалось, несколько провинциальной, благодаря своим на удивление тихим, не по-московски

просторным, с закоулками, с заковырками, с подворотнями и деревьями, разросшимися широко и свободно, как на приволье, миролюбивым, спокойным, добродушным, уютным дворам, ну а также, казалось мне, по причине присутствия сквера, пусть и узкого, но зато растянувшегося во всю свою, не измеренную никем из приезжих и горожан, удивительную, наподобие долговязой косы приморской, с неизменным шелестом лиственным вдоль ограды сквозной, длину, островную, с пространством, выделенным для прогулок и медитаций, посреди двух дорог, ведущих в неизвестность сплошную, улице, всего-то, представьте, в нескольких, пустяковых, коротких минутах неторопливой ходьбы от одноимённой станции спасительного метро, в непосредственной, ближе некуда, близости от знаменитого когда-то гиганта отечественного автомобилестроения, завода серьёзного «ЗИЛ».

Возможность пожить в пустующей годами целыми комнате небольшой, обжитой, с минимальным соседей числом, коммуналки предоставили мне знакомые. Месяца три-четыре, а может быть, и подольше мог я здесь обитать.

Потом придётся, наверное, смиренно мне перебраться в общежитие МГУ, но ведь это будет — потом.

А сейчас я себя ощущал хозяином положения.

Было, было ведь у меня московское, вот что здорово, не какое-нибудь, на птичьих, никудышних правах, шаг туда, шаг сюда, не шуметь, не мешать, не сорить, не ходить, не звонить, нет, хорошее, полноценное, замечательное жильё.

Пусть и временное, да зато, согласитесь, почти своё.

Восемнадцать, всего-то, лет, восемнадцать, уже так много, мне казалось, целая груда привезённых с собою стихов, стопка книг, любимых настолько, что расстаться, хотя бы на время, ни за что бы я с ними не смог, и возил их повсюду с собою, и привёз их сюда, в Москву, что, представ предо мной наяву, приняла меня и приютила, словно так вот и надо было, словно так вот и пола-

галось, чтобы всё к ней само прилагалось, одежда — какая была, стол, и на нём приёмник, из которого тихо лилась, растворяясь в пространстве, музыка, огромное, старомодное, многостворчатое окно, из которого плавно струился прямо в комнату, заполняя всю её, целиком, широкий, пульсирующий, осенний, предвестием всех воскресений и всех грядущих спасений мерещившийся недаром, божественно ясный свет, — какое счастье, какое блаженство, и всё под рукою, присутствие воли, покоя, и равного этому нет!

Вставало солнце, и я просыпался, тут же вставал, щурясь от ярких, радостных, бивших в окно лучей, умывался, заваривал чай, пил его за своим столом, поставив чайник и чашку посреди разбросанных рукописей, включал по привычке приёмник, слушал мажорные, звонкие, с огоньком, с неизменным задором, утренние мелодии, потом собирался неспешно, выходил вразвалочку из дому, ехал в университет, в старое, милое здание на Моховой, на занятия, или же, пропуская их, отправлялся бродить по Москве, и так вот изо дня в день, всегда и везде на подъёме, с оптимизмом, вовсе тогда, в годы прежние, не удивительным, с хорошим, всегда, настроением, с постоянным, на редкость острым, замечательным ощущением вхождения, даже вrastания в неизменную новизну постигаемой мною ныне, лишь меня одного дожидавшейся и дождавшейся наконец, состоявшей, это я знал, со всеми своими градациями и бесчисленными подробностями, из безгранного слова: быть! — созидательной, творческой яви.

Я возвращался домой, переполненный впечатлениями.

Я писал стихи. Разумеется. Как же было их не писать!

Сохранились не все они. Так уж вышло. Так получилось.

Изрядную часть, в сердцах, в состоянии мрачном, тяжёлом, в наваждении, что ли, нахлынувшем, я однажды вдруг уничтожил.

(Многое, слишком уж многое, потом уже, позже, в период нашумевшего нашего СМОГа, в начале гонений, в апреле, тоже я уничтожил, сознательно, собственноручно.

С воспалённою головой. Почти обречённый. Измученный бессонницами, безнадёжностью положения своего, подвешенностью состояния — между славой тогдашней и явным крахом всех надежд молодых. Возможной тюрьмой.

Уничтожил. Битком набитый моими стихами ранними да ещё и прозой тогдашней, вместительный саквояж.

Зачем? Не знаю — зачем. Отчаяние охватило.

Находились приятели рядом. Ну и что? Молчали. Смотрели.

Никто из них, очевидцев, не удержал меня.

И жгучее, самое первое, ранящее сомнение в истинности отношений, которые, по наивности всегдашней, считал я дружбами, шевельнулось тогда во мне.)

Но всё это было ещё впереди, в отдаленье неясном, и казалось оно мне прекрасным, — и об этом, пока что, конечно, вдохновенный, подвижный, беспечный, молодой, ничего я не ведал. Тогда, удивительной осенью шестьдесят четвёртого, жил я Москвой, поразившей меня красотой своей, жил стихами.

Некоторые из них уцелели, даже, частично, вошли в мои ранние книги.

Звук их, протяжный, чистый, живой, возникал то и дело, приходили новые строки, свободно, сами собою.

Я порою записывал их.

Иногда, поначалу, так, вдруг, зачем-то, по странной потребности, по причине какой-то загадочной, чтобы выплеснуть некие образы на бумагу, от случая к случаю, как-то исподволь, под настроение, но потом всё чаще и чаще, увлечённо, всерьёз, рисовал.

Очень много, нередко запоем, одержимо, пожалуй, читал.

Покупал, бывало, настроившись на волну благодущную некую, в нашем скромном, с виду окраинном, небольшом, но зато под боком находившемся гастрономе бутылку, зелёную,

длинную, российского полусладкого, недорогого, приятного, лёгонького вина, граммов двести, не больше, грудинки, в соседней уютной булочной — белый хлеб за двадцать копеек, большой батон, аппетитный, с подрумяненной корочкой, свежий и пахучий, быстро вбегал по ступеням широким лестничным к себе на этаж, заходил в квартиру, потом в свою комнату, за столом поудобней устраивался, в одиночестве пировал.

По ночам в соседнюю булочную, нашу булочную, привозили горячий, только что выпеченный в районной хлебопекарне, с пылу, с жару, свежайший хлеб, и, когда я домой возвращался поздно, за полночь, то всегда покупал его здесь и ел, с удовольствием неизменным и доселе мне памятным, прямо на ходу, во дворе, на лестнице, на пороге спящей квартиры.

Некоторые, не все, разумеется, только считанные, обитатели ближних домов, и особенно пенсионеры, старики и старушки с авоськами, приготовленными заранее, специально сюда приходили ночью, чтобы купить этот хлеб.

Он был вкусен, и чёрный, и белый, любой, всенародный хлеб, вкусны были и горячие, румяные, пухлые булочки.

Во дворе, вплотную почти к распахнутой двери булочной, возле чёрного хода, хозяйственного, подъехав умело так, что ни дальше, ни ближе нельзя приблизиться, тихо стояла грузовая машина-фургон с привезёнными для продажи ранней, утренней, бойкой, свежими, нарасхват обычно идущими, для людей важнейшими, хлебными, то есть главными впрямь изделиями.

Её разгружали хмурые, молчаливые, сильные грузчики.

Сноровистыми, отработанными движениями они вытаскивали деревянные поддоны со свежим хлебом и до невозможности просто аппетитными, нежными булочками, от которых облаком белым поднимался горячий пар, и, один за другим, привычно для себя, как-то слишком быстро, взад-вперёд косолапо шагая, относили их в магазин.

Вокруг машины, кольцом, толпились пенсионеры.

Выходила весьма упитанная, закутанная платком, приёмщица свежего хлеба, продавала его старикам.

Никому никогда, ни разу, сколько помню я, не отказывала.

Старики, получившие хлеб, загружали его в авоськи, чтоб сподручней было нести, но потом, удержаться не в силах от соблазна, по-детски просто, по чуть-чуть, ну в точности так же, как и я, горбушку надламывали, надкусывали с удовольствием хлеб, хрустящий, свежайший, прямо на ходу, потому что стерпеть, не попробовав хоть кусочек, невозможно было, и, шаркая негнуцимися ногами по выщербленному асфальту, с довольным, весёлым видом, по своим расходились домам.

Здесь же, на запах дразнящий вкусного свежего хлеба, собирались ещё и собаки. Они виляли хвостами и смотрели людям в глаза. Все охотно их угощали.

В черноте прохладной, осенней, государственной, общей для всех, участливой, миролюбивой, даже, вроде бы, гостеприимной, по-своему, разумеется, по-хорошему доброй ночи москвичи жили хлебом единым, да и не только им.

Где-нибудь, неведомо — где, всё едино и всё в разброде, всё и в сердце, брат, и в природе, всё кругами пойдёт по воде, то и дело да раздавался то возглас, то смех, то плач, то шальной, хмельной, забубённый, подгулявший обрывок музыки вылетал из окошка, распахнутого, по традиции, в никуда, благо дальше некуда просто вырываться из городов, то сирена вдруг милицейская, поперхнувшись, истошно выла, то — да мало ли что ещё где-то рядом происходило.

Но, в общем-то, вся, как есть, без прикрас и соплей, обстановка была достаточно тихой, вполне, полагаю, мирной, не опасной отнюдь, и вовсе не почти фронтовой, с горячими точками пресловутыми на любом шагу, как сейчас.

Машина-фургон, хлебовозка, разболтанная, скрипучая, пропитанная насквозь ароматным, устойчивым запахом различных изделий хлебных, разгружалась и уезжала.

Двор постепенно, как водится, необратимо пустел.

Дома, в уютной комнате, за столом с моими бумагами, с ветерком законным, я ел свежий хлеб, запивая его терпким холодным чаем.

И вполне был доволен и счастлив.

А когда покупал вино и, глоток за глотком, в тепле коммунальной уютной комнаты, пусть и временного пристанища, ненадолго, да моего, не какого-нибудь, столичного, по московским понятиям отличного, для меня-то, для одного, неторопливо пил его за своим столом, у окна, тогда, с умилением, накрепко со вздохом невольным, по радости ли, по молодости ли, связанным, вспоминаю, отшельник нынешний, набродившийся в годы прежние вдосталь, видимо, скиф седой, почему-то и состояние мыслей, сердца, души, всего естества моего тогдашнего, у меня бывало особенным.

Вино, пускай и хорошее, по тем временам, не халтурное, не убойное, как позднее, посреди всеобщего пьянства на просторах родной державы, небольшой, в меру самую, крепости, всё-таки, незаметно, давало себя знать.

Приятнейшее тепло разливалось неожиданно по жилам.

Я чувствовал, с изумлением, забавным теперь, что хмелею.

Включал приёмник, среди множества голосов, звучавших в эфире, шумов, трескотни цикадной, разноязычных слов, новостей, обрывков мелодий, сообщений о достижениях на пути в наше светлое завтра, призывов, докладов, лозунгов, директив, обличений, песен о рабочих и космонавтах, находил хорошую музыку, с настроением, слушал её.

Вечерело, и широченное, в красных пятнах закатных, тускнеющих, исчезающих разом, окно постепенно синело, чернело. На стекло налипали жёлтые, сорванные с деревьев окрестных, влажные листья, брошенные на него с размаху резким, как окрик, холодным порывом ветра.

Начинался вечерний дождь.

Поначалу он просто накрапывал.

Но вскоре уже упругистые, тугие струи его, словно длинные стебли, срезанные под корень лезвием ветра, за окном проносились моим вкось куда-то — и падали наземь.

На оконном стекле, рядом с ярким отражением лампы настольной, всей комнатной обстановки, стола, моего лица, сгущались крупные капли, превращались в бойкие струйки, в ручейки, полноводные, бурные, непрерывно стекали вниз.

Музыка заоконного дождя разрасталась и смешивалась с музыкой для настроения, раздающейся из приёмника.

Стекло, между тем, туманно, плотно запотевало, и отражения в нём теряли чёткость былую, становились размытыми, смутными, двоились, медленно таяли.

Меня клонило ко сну.

Я засыпал под шум дождя, идущего ночью, чтобы проснуться утром грядущим привычно рано, совершенно бодрым, здоровым, — и новый день начинался, и всё у меня начиналось, как и прежде, празднично, сызнова, хоть всякий раз и по-разному, и я был готов неизменно к продолжению новизны осенней, и осень всё длилась, не спешила меня покидать, и верность её всегдашняя всему, что в душе хранил я, была для меня дорога.

Лирика, скажете вы.

Лирика, так вы решите.

Да, лирика. Та, в которой уже назревал и эпос.

Тема и вариации.

Голос и свет. Из прошлого.

Память. Отзвуки праздников.

Музыка сентября.

Жизнь моя, поначалу размеренная, но потом, уже вскоре, поскольку иначе не получалось в столичных ритмах, порывистая, стремительно становилась чрезмерно бурной, насыщенной

всевозможными, большей частью интересными для меня, иногда и действительно важными, для сердца и для души, для творчества моего, в условиях новых, событиями.

Собственно, всё абсолютно вокруг меня было событием.

Воспринималось мною в ту пору — именно так.

Встречи ли это были, знакомства ли, приключения ли какие-нибудь, путешествия, — всё принималось мною близко к сердцу, так выходило, заставляло над этим задумываться, запоминалось надолго, может быть — навсегда.

В самом конце нагрянувших с новшествами своими, «судьбоносных», как говорилось в то время, восьмидесятых Саша Величанский написал:

— В 1964 году на исторический факультет МГУ был принят никому не известный абитуриент по имени Владимир Алейников. Через год его знала вся «литературная» Москва в качестве одного из ведущих поэтов литературного направления СМОГ.

Это вроде и так, но всё-таки, всем скажу, не совсем верно.

В шестьдесят четвёртом году я как раз был уже известен в Москве, пусть и «литературной», но и это уже, согласитесь и поймите меня, господа и дамы, было немало, и эту известность, реальную, следовало заслужить.

Не так-то просто она, между прочим, к другим приходила.

Но ко мне такая известность пришла почему-то сама.

Причём, если точным быть, пришла она годом ранее, осенью шестьдесят третьего, в чудную пору, когда я впервые долго жил в столице и познакомился с людьми хорошими, ставшими, на все времена грядущие, моими друзьями, приятелями и просто знакомыми добрыми.

Среди них это, в первую очередь, Дима Борисов, Володя Брагинский, Аркадий Пахомов, Коля Мишин, Саша Морозов, Зина Новлянская, Слава Самошкин, Юра Кашкаров и прочие москвичи, все — участники многим памятного литобъединения, названного, в романтическом духе, в тон поветриям шестидесятых, «Бригантина», существовавшего, процветавшего

на филфаке МГУ, поначалу, потом, без всякой официальнойщины, чуждой всем нам, — просто друзья, круг, достаточно тесный, с осени шестьдесят четвёртого ставший, постепенно, закономерно, так уж вышло, всё разрастаться.

Были они людьми образованными, в разной мере, больше, меньше ли, но способными, для меня — всегда интересными.

Они, столичные жители, золотая, сплошь, молодёжь, со своими свободными нравами, со своими на редкость широкими замашками, так естественно сочетающимися с трезвейшим, без восторженности малейшей, без наивности невразумительной, жёстким, цепким взглядом на жизнь, на историю, на политику, на действительность, на искусство, на любовь, на веру, на дружбу, меня, человека приезжего, провинциала, приняли — сразу же, безоговорочно, приняли — навсегда.

Оценили, признали своим.

Вот отсюда всё и началось.

Так что в том сентябре незабвенном, о котором я говорю, череда знакомств моих только стремительно увеличивалась.

Тьма-тьмущая как на дрожжах расплодившихся в одночасье литобъединений московских, на которые аккуратно приходили, как на работу, что-то пишущие москвичи, процветала тогда — и все они зазывали меня к себе.

Здесь уместно будет заметить, да к тому же это ещё и занято, и показательно, в чём пришлось убедиться мне, вот что.

Когда я, в кои-то веки, минувшей зимой, в декабре, наконец-то выбрался на люди, в литературный клуб, находящийся в помещении бывшего, разумеется, группкома, так он, представьте, назывался встарь, литераторов, где состоял и я в первой, тяжеловатой, половине восьмидесятых, в стареньком флигельке, в Георгиевском переулке, поддавшись на уговоры клубного руководства почитать там хотя бы фрагменты неизданных книг моих, и, впервые в жизни моей читая прилюдно прозу, для меня самого ещё свежую, а совсем не стихи, пусть

и старые, пусть и новые, всё равно, что куда для меня привычнее, поведал собравшимся слушателям об Игоре Ворошилове, друге моём покойном, великом русском художнике, и это были куски прозы о Ворошилове, называющейся «Добрый пастырь», — я увидел в зале, с немалым, прямо надо сказать, изумлением, нескольких очень давно, с осеней шестьдесят третьего — шестьдесят четвёртого, с тех, ключевых, молодых, камертонных времён, знакомых мне персонажей, посетителей неизменных тех самых, давнишних, бесчисленных, московских литобъединений, кочевников по людским сборищам, по тусовкам, как теперь говорят, по традиции, полагаю, забредших сюда.

Постаревшие, сплошь седые, некоторые и вовсе настоящие старики, они точно так же, как некогда, встарь, в молодые их годы, живо, даже азартно, впитывая в себя каждое слово моё и потом непременно высказывая своё весомое мнение, бывшее, почему-то, всеобщим, сплошным одобрением, реагировали на моё первое клубное чтение.

Вот что значит сила привычки!

Удивительное постоянство!

Что за страсть такая великая неуклонно движет людьми?

Обязательно им, всеядным, всеведущим, надо присутствовать на всяких собраниях, чтениях, чувствовать и свою причастность к тому пресловутому, неведомо кем и когда, в муках, никак не иначе, в бессонные ночи, видать, однажды избретённому, вместо кроссворда или шарады, «литературному процессу», подумать ведь только, процессу, ни больше ни меньше, который на деле является результатом трудной работы одиночек, веками, да что там, эпохами, тысячелетиями, одиночек, и только их, как всегда, но никак не толпы.

Выходит, почти сорок лет присутствовали они там, где что-нибудь из написанного кем-нибудь и когда-нибудь, недавно или давно кто знает, стихи ли, прозу ли, читают и обсуждают.

Пишут вроде и сами.

Но куда важнее для них — числиться, состоять, скопом, при литературе, вроде бы тоже участвовать в неудержимом, таинственном, вечном её движении.

Но это ещё не всё.

Куда больше меня, столь редко, на протяжении многих, с работой над книгами связанной, чередой прошедших лет, выбирающегося куда-то к людям, любящим пообщаться меж собою, потолковать, по старинке, о том, о сём, о немногом и обо всём, изумила молва людская, её глобальные, прямо-таки фантастические возможности.

Уже через день буквально после чтения моего знали о нём все, не только в Москве, но и в Питере, и в провинции знали тоже, и даже в моём родном городе Кривом Роге, на Украине, а чуть позже — и в прочих странах зарубежных, поскольку сведения о моём единственном вечере попали незамедлительно, сразу же, в Интернет.

Мне звонили разные люди — и всех их, ну просто вынь да положь как можно скорее, очень интересовала моя мемуарная проза, и все они в один голос, как будто бы сговорившись, первым делом взволнованно спрашивали: скоро ли, да когда, и где, её издадут?

Вот что такое молва.

Такою же, как сейчас, в дни свободы, а то и похлеще, была она, припоминаю с улыбкой, и в шестидесятых.

Стоило мне появиться где-нибудь, почитать там стихи, как об этом событии сразу же узнавали решительно все.

Отсюда и всё растущая, год от года, известность моя.

Так что, любезный читатель, Величанский, выходит, ошибся.

Не в смогистские времена пришла она, эта известность, но раньше, значительно раньше.

Говорю я теперь об этом совершенно спокойно, без всякой гордости за былые достижения и удачи.

И не такое бывало.

Просто — в зрелых своих летах, по возможности, восстанавливаю историческую справедливость.

Это как раз Величанский был ещё неизвестен, когда мы, той же осенью шестьдесят четвёртого, с ним познакомились и вскорости подружились.

И это именно я охотно знакомил Сашу со своими друзьями тогдашними, с людьми своего круга, то есть, как и всегда у меня, сплошь и рядом, это бывает, из приязни к нему, да ещё и по доброте душевной, способствовал всячески, рьяно, сознательно, целенаправленно, росту его известности, в Москве и не только в ней.

Относится это, кстати, замечу, не только к Саше.

Творчество многих знакомых в самиздатовскую эпоху пропагандировал я настойчиво и упрямо, самолично перепечатывал, на машинке пишущей, в нескольких экземплярах, само собою, и передавал их тексты, стихи, переводы, прозу, своим друзьям, и в столице, и в провинции, разумеется, чтобы и там их узнали.

Известность в Москве в то время была у меня уже прочной.

Я вхож был в литературные дома и салоны различные, в том числе и такие, куда людям с улицы ходу не было.

Со мною стремились — как странно вспоминать о таком — познакомиться.

Искали — сами, без всякого принуждения, — дружбы моей.

Конечно, это приятно. Тем более, в пору, когда тебе всего восемнадцать лет.

Мне прочили, с основаниями серьёзными, полагаю, блестящее, да и только, и никак не иначе, будущее.

Собственно, всё это громкое, с похвалами и заверениями в чём-то радужном впереди, говорение началось ещё до московской жизни богемной, на Украине, поначалу в моём родном городе Кривом Роге, где я вырос и начал писать, вперемешку, стихи

и прозу, где писания эти мои ранние были замечены вовремя, вот что существенно, местными литераторами, и вскоре уже одобрены и признаны ими, а также читателями и слушателями нашими, а потом в Днепропетровске, где, на совещании (действе официальном, с размахом, с широкой оглаской, с газетными публикациями в областной периодике, словом, всем, чем щедра советская власть была) молодых литераторов Приднепровья, в начале того же переполненного событиями до предела, до невозможности, каковая была возможной, по судьбе, шестьдесят четвёртого, я произвёл фурор своими стихами тогдашними, да такой, что лишь в сказке бывает, как меня уверяли потом, и на меня приходили целыми толпами всякие участники совещания и люди со стороны, ценители и любители поэзии, просто, как водится, поглазеть, пообщаться, послушать, как я читаю свои опусы стихотворные, а литературные, в силе, при власти и при чинах, генералы и воротилы зазывали меня к себе в Киев, обещающая поддержку всяческую, например, конкретную помощь с поступлением предполагаемым, скорым, в университет и широчайшие прямо-таки в будущем перспективы, только бы я откликнулся на их, воротил чиновных, заманивание усердное, на что я, уже учёный кое-чем и школу прошедший суровую, но полезную, разумеется, не пошёл.

Забавно, что происходило это уже после грозного хрущёвского, с громом и молниями, невиданного разгрома всяческих формалистов, неудобных властям, затронувшего и меня, со злыми, бичующими юные и наивные, но и свежие, непривычные для партийцев, мои писания, статейками в областной и республиканской, то есть родной украинской прессе.

Но этого почему-то вроде бы как и не было.

Столь велико желание было у киевлян — заполучить меня, талантливого, молодого парня, да поскорее, перетащить к себе.

Однако, давно принявший своё решение, личное, независимое, по чутью, как всегда, я уехал в Москву, поступил в МГУ, освоился в столице — и начал жить, сразу же, безоглядно, той

жизнью свободной, которой ещё со школьных, с мечтаниями в романтическом духе, лет, я терпеливо, стойко, с надеждой на чудо, ждал.

Жизнь в столице на первых порах меня, человека приезжего, становившегося москвичом постепенно, хоть и в ускоренном темпе, как в музыке жизни случается иногда, не сплошь и рядом, поверьте, лишь изредка, только радовала.

Известность моя, вначале бывшая устной, с голоса, по причине чтений моих частых образовавшаяся, уже, пускай и не сразу, входила в стадию письменную, самиздатовскую, потому что появились в кругах богемных, а потом и среди любителей новейшей литературы списки, энтузиастами сделанные от руки, по горячим следам, как водится, и машинописные копии тогдашних моих стихов.

Это, новое, обстоятельство, эта, новая, ипостась — восприятие текстов моих читательскими глазами — было более важным, нежели привычное чтение вслух и восприятие этих звучащих стихов со слуха, пусть оно и бывало в те дни поразительным, слова точнее не найти сейчас, и не надо мне искать его, — для меня.

Это внутренне встряхивало, собирало, как-то подтягивало, ко многому, благо было на кого равняться, обязывало.

Да, все, как один, говорят, что читал я встарь замечательно.

И сам я прекрасно знаю, что было это — искусство.

Традиционное наше, певческое, орфическое.

Но читать непростые тексты с листа, сознательно быть наедине с конкретным, открывающимся не сразу и сознанию, и сердцу, текстом, — это ещё серьезнее, это всегда испытание для поэта — как и насколько верно, так ли, как надо, воспримет вещи его, существующие на бумаге, в записи чьей-то, или в машинописи, без всяких официально изданных книг, такого и в мыслях не было ни у кого, на это и не надеялись, об этом и не мечтали, ни пишущий, ни читающий, нам все издания, оптом, вполне заменял самиздат, — не слушатель, а читатель.

Остаюсь при своём, незыблемом, ни на йоту не изменившемся, по прошествии времени, мнению, скиф-отшельник, я и сейчас.

Хотя, скажу напрямик, некоторые из тех, уцелевших, чудом, возможно, выживших, прежних друзей и приятелей лет, ушедших навсегда, могикане богемы, хорошо, до подробностей, помнящие, как я раньше читал, то и дело выражают желание общее, при нынешней-то развитой технике, сделать студийные записи чтения моего.

Желание это действительно ведь не просто так, не от печки, не с бухты-барухты высказано.

Это, если подумать, важно.

Не будет меня на свете — уйдёт со мной и моё искусство — личное, кровное, вне канонов, — искусство чтения.

А так, вполне вероятно, при наличии видеозаписей, глядишь и включит какой-нибудь грядущий любитель поэзии видеомагнитофон, поставит кассету нужную, поудобнее расположится — да и станет, в домашних условиях, не выбираясь из дому ни на какие там вечера поэзии, где-нибудь идущие, и ни в какие литературные клубы, с комфортом, в тепле, в уюте, чтение слушать моё, а заодно и смотреть на меня — что за птица такая, залетевшая издалека прямо в завтра, к счастливым потомкам, что за зверь такой, из берлоги, не иначе, из ямы какой-то, из разверстой дымящейся бездны, из двадцатого странного века, где искать с фонарём человека днём занятие рядовое, для поэтов даже привычное, а сказать поточнее, типичное, коли ты существо не тепличное и рискуешь при том головою, что за тип такой перед ним, кем и чем был он в жизни храним, как успел написать столь много, что за дар у него от Бога, — или, может, в компьютер диск, на котором записей прорва, вставит как-нибудь под настроение кто-нибудь — и глядит на экран, где, сквозь давних времён туман, сквозь белёсые наслоения, сквозь пространство, преодолённое так легко, что везде мне дом, находясь в измеренье другом, я читаю

стихи, — дело техники, современной и своевременной, зафиксировать чтение это, ну а техники песня не спета, и пределов ей, видимо, нет, — вот и голос мой выйдет на свет, голос прежний, чтение, звук, — ночь со снегом и век со СМОГом, жизнь, скитания по дорогам, ключ и клич, магический круг, за которым — начало встреч, имя времени, путь и речь...

Годы идут, впрочем, а желание энтузиастов, по инерции существуя в их мечтах, в головах их седых, доселе, само собою, остаётся неосуществлённым, потому что никак не найдутся деловые ребятки, толковые, современные, с аппаратурой соответствующей, которые пришли бы ко мне однажды да и сделали видеозаписи.

Странное, нет, не странное, закономерное, видимо, незаметно, исподволь как-то выработалось, оформилось и спокойненько прижилось посреди междувременья нашего отношение так называемой общественности, категории весьма условной, ко мне — мол, существует Алейников где-то осторонь от всего и от всех, очень много работает, всё в трудах своих праведных, вечных, ежедневных и ежечасных, год за годом, десятилетиями, стал затворником, говорят, он и раньше был таковым, утверждают люди бывалые, а теперь-то совсем затворился у себя в Коктебеле, у моря, в киммерийском доме своём, никуда не ходит, не видит никого, только пишет и пишет, значит, жив ещё, ну и ладно.

Я, может быть, и ворчу, далеко не всегда, иногда, если что-нибудь или кто-нибудь, как теперь говорят, меня даже здесь, в укроме спасительном, в коктебельской глуши, достанет, на моих современников, что ж, это моё право.

И я ещё жив, представьте, это действительно так.

И, с Божьей помощью, я постараюсь пожить ещё, подольше, насколько возможно, чтобы сделать больше, поскольку велик мой потенциал, как говорят, со значением, литературные критики, чтобы хотя бы часть своих, неизменно требующих работы и вновь работы, Водолеевских, то есть фирменных, макси-

малистских замыслов, осуществить, воплотить в слове, как выражаются участники постоянные неведомо кем придуманного, неведомо где идущего зачем-то «литературного процесса», может быть — шествия, может — и карнавала, по Бахтину, возможно, а может быть — и процессии, но какой? — погребальной? праздничной? — нет ответа — и тройка мчится, неизвестно — куда, и Русь тоже движется — но куда? — в завтра, что ли? — неужто вправду в светозарное наше завтра, нам обещанное давно? — или, может быть, всё равно, всё едино в мире подлунном, и ударит опять по струнам некто с краю, раз, ещё раз, ещё много, много, не раз, этих самых гитарных раз, напоказ или прозапас, то с похмелья, то с пьяных глаз, — и в процессе, любом, культурном, даже в этом, «литературном», что-то, видимо, всё же есть, честь и совесть, благая весть, лесть ли, месть ли, напасть и власть, за которой, напившись всласть чьей-то крови, встанёт кошмар, мор, угар, мировой пожар, — смотрит Гоголь на этот бред из имперских далёких лет, говорит иногда со мной в тишине затвора сквозной, по привычке, о том о сём, о немногом и обо всём, а потом помолчим вдвоём, каждый с думою о своём, прощаемся — и опять надо мне о былом писать, — вот и весь, для меня, процесс, и, поймите вы, не исчез никуда я, тружусь всегда — и светла надо мной звезда.

Но я говорю сейчас о важном, во всяком случае, для себя, старика, — о внимании.

Ведь было — искусство чтения.

Наиболее развитое — у меня и у Лёни Губанова.

Губанов ушёл — и его искусство с ним тоже ушло.

Кто его хоть разок услышит — и теперь, и когда-то потом?

Вот, например, концерты Вертинского не записаны, пусть это и другая область. Утрата огромная. Теперь мы слушаем — просто голос, пусть и чарующий. Могли бы — ещё и видеть, могли бы, с помощью записи, — присутствовать, при желании, на этих давних концертах.

Своевременное внимание — так ли много его у нас, в нашей, вроде бы не равнодушной к людям, полной загадок стране?

В шестидесятых внимание — было, ещё и какое! Представьте, тою же осенью шестьдесят четвёртого, я, человек молодой, стихи свои читал даже в Доме Союзов.

И туда меня затащили.

Голову мне внимание это, равно как и вдруг появившаяся, как в сказке, молодая моя известность, вовсе, насколько помнится, ни капельки не кружили.

Как всегда, никаких личных выгод для себя из такого фарта и не думал я извлекать.

Общение! — вот что было негласным всеобщим лозунгом добронравного этого времени.

Девизом? Ну, пусть и так.

Общение! Все — хорошие! Все решительно — интересные!

Вон сколько людей способных и талантливых даже вокруг!

Братцы, это же впрямь новый, наиновейший, удивительный Ренессанс! Не какой-то чужой — наш, отечественный!

Какие там стукачи, лубянские штучки, доносы, наблюдение, выявление неугодных кремлёвским властям подозрительных всяких личностей, о чём временами, с оглядкой, полушёпотом говорят!

Наплевать нам на всё это, вот что!

Чего и кого бояться?

Надо всем повсюду общаться. Обо всём говорить в открытую. Почаще на людях быть. Жить — интересно, со вкусом, этак по-русски, с размахом. Жить, а не существовать.

Перемены — о, разумеется, к лучшему, только к лучшему, — грядут, назревают, мерещатся в грядущем, это уж точно, перемены — и в жизни страны, и в жизни любого из нас.

Всё к лучшему, правда? Не так ли?

Не сомневайтесь, вскорости будет ещё лучше.

Оптимистичность — она, знаете ли, хороша.

Все молоды. Все поголовно полны богатырских сил.

Общение! Жаждем общения!..

Вот каковы были общие настроения.

В том числе и мои собственные.

Во всяком случае — осенью шестьдесят четвёртого года.

Вскоре — всё изменилось.

Вскоре — пришлось нахлебаться мне такого, что было уже не до наивной, с бурей и натиском, оптимистичности.

Но это было — потом.

Нет, причин для того, чтобы, вздрогнув от предчувствия бед неминуемых в поле зрения, вмиг настораживаться, быть в седле, бить тревогу заранее, собираться в комок, защищаться от напастей — пока что не было.

Длилась осень. Сентябрь был огромен и светел.

Мир, открытый для песен, сияньем вставал предо мной.

Какие дали, какие пространства мне открывались!

Измеренья иные. Области, с новизной своей, для души.

Планеты. Символы. Знаки.

Созвездья. Галактики целые.

Звёздный путь с земными дорогами.

Путь духовный. Всегдашний свет.

Что читал я? Какие книги тогда меня окружали?

Пушкин, девятитомник, — и Хлебников, пятитомник, том неизданного, том избранного, томик в малой, компактной серии «Библиотеки поэта».

Гоголь, конечно, — любимейший шеститомник, в котором весь он не уместался, таинственнейший, пленительнейший поэт, в одиночестве, в творчестве, в жречестве, в провидчестве давнем своём, осторонь от суеты, в затворничестве, отдельно от всех, лишь сам по себе, везде и всегда, судьба такая, планида, с миром своим, сотворённым, личным, вечным, наедине, людям русским радетель, речи создатель, света хранитель, ведический гений, пророк.

Лермонтов, четырёхтомный, — и восьмитомник, синий, как плащ в стихах его: Блок.

Тютчев и Боратынский. Двоица: гений, ум.

Шевченко, его «Кобзарь», — и Тычина, ранняя лирика.

Фет и Некрасов. Грусть. Радость. За ними — Русь.

Батюшков и Державин. Музыка и судьба.

Карамзин и Крылов. Слова безупречные. Труд. Молва.

Жуковский, божественно светлый, и Алексей Константинович Толстой, воитель степной.

Волошин: его «Лики творчества», редкостное издание, самиздатовские поэмы и многие стихотворения, — и, сквозь ритмы взалёб и смыслы круговертью, Андрей Белый: «Петербург», «Серебряный голубь», стихи, статьи, мемуары.

Бунин, скуп, с оглядкой, с опаской, как бы чего не вышло, издаваемый всё же тогда, потому что не издавать уже было нельзя, и вскоре появится девяти томник, — и Куприн, вполне подходящий для советских частых изданий, пусть не весь, но и этого хватит, пока что, ведь он — читаемый широко, и порой замечательный.

Толстой, светоносной глыбой звучащей — «Война и мир», и рассказы его, и особенно — «Казак», «Хаджи-Мурат», — и Достоевский, издавна раздражавший, но и притягивавший: «Бесы», труднодоступные «Дневники писателя», давнее, в мягкой обложке, издание.

Паустовский, на редкость чистый человек, педагог великий, весь решительно принимаемый и отстаиваемый всегда, и особенно «Повесть о жизни», — и Грин, человек особенный для меня, никакой не романтик, а несомненный мистик, знак на дороге вдаль.

Цветаева, самиздатовская, прошлой осенью переписанная от руки: большие поэмы, стихотворения, драмы, — а теперь уж и перепечатанная на машинке, догуттенберговская, как сказано было, её великолепная проза.

Самиздатовская Ахматова: «Реквием», поздние вещи разрозненные, «Поэма без героя», кусочки прозы; изданные в советское время книги стихов, издания прежние, с их эстетикой, вкусом, стилем.

Самиздатовские: Гумилёв, «Огненный столп» и другие, чередую, книги его; Заболоцкий, «Столбцы», поэмы, великая поздняя лирика; Мандельштам, пятитомник стихов, потом — «Разговор о Данте»; Ходасевич, и прежде всего «Европейская ночь»; Северянин, восхитительный соловей; Клюев, скит, на крови, в глуши; Нарбут, ветер, полынь и воля.

Федерико Гарсиа Лорка. Страсть и тайна, боль и луна.

Пруст, «В сторону Свана», первый перевод, ещё довоенный.

Дос Пассос, парадоксальный коллаж, в переводе Стенича.

Ницше, «Так говорил Заратустра», вышедший до революции солидный том в золотой плотной суперобложке.

Андрей Платонов, страдалец, великий русский писатель, самый первый изданный томик прозы, сразу, надолго, ставшей откровением для меня.

«Полутораглазый стрелец» Бенедикта Лившица. Хлебников и Бурлюк. Заря футуризма. Цвет богемы. Пристальный взгляд.

«Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Всеми нами многожды читанные мемуары. Окошко в мир заграничный. Париж. Писатели и художники. Судьбы сложные. Смелый шаг, по тем временам.

Пастернак, стихи: самиздатовские (всем известные ныне) — из «Доктора Живаго», его «Вакханалия» фантаσμαгоричная, «Нобелевская премия», остальные — в изданных ранее книгах; проза его — «Охранная грамота», «Детство Люверс», прочие повести, некоторые, выборочно, статьи, самиздатовские — «Живаго», «Люди и положения».

Тынянов, трёхтомник, зелёный. Проза. Очень хорошая.

Булгаков, «Жизнь господина де Мольера», в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей». Но ещё и ранние книги его, в двадцатых годах выходившие. Далее — самиздатовская жемчужина, затрёпанная машинопись — нарасхват ведь — «Собачье сердце». Ну а «Мастер и Маргарита», из журнала «Москва», урезанный, с дополнениями самиздатовскими (все фрагменты, цензурой снятые) — это будет чуть позже, потом.

Олеша, том его «Избранных сочинений», изданных, помнится, в пятьдесят шестом году, и вот-вот уже выйдет книга «Ни дня без строчки», — и Катаев, писатель блистательный, с детства мною любимый, но, выяснилось вскоре, силу всё набирающий, чтобы долго всех изумлять новой прозой своей, небывалой, ещё до «Святого колодца».

Настоящий писатель, Юрий Казаков, человек, в природе свой, лесной, заречный, заоблачный, друг сердечный листьев и трав.

Самиздатовская, чудеса в колесе, да и только, «Автобиография» Евтушенко, сочинение малоприятное.

Вознесенский и Ахмадулина, Аксёнов, с ним и Гладилин — были-то были, но вскоре отодвинулись далеко, потому что уже вырабатывался в те года новый угол зрения на всё, что издавали модные шестидесятники.

Двухтомник Хемингуэя, зарубежная, из основных, проза, взахлёб читаемая, нашей молодости далёкой.

Шервуд Андерсон, изумительный писатель. Из настоящих. Однотомник его, единственный, берегу, любя, до сих пор.

Мифы. Древняя Греция. Рим. Отголоски ведических преданий русских. Герои. Боги. Виденья, порою.

Гомер. «Илиада». Русский перевод. «Одиссея». С голоса. В саду моём. Или у моря. Ветер, треплющий волосы.

Античная лирика. Некие осколки. Фрагменты целого. Мир, никуда не ушедший. Отзвуки слова смелого.

Русские сказки. Чудо. Кладезь премудрости. Право на первородство. Всюду — правда. Вечная слава.

Рембо, поначалу маленькая книжка, самая первая. Но и этого было достаточно, чтобы всё мгновенно понять. Потом — начинались поиски других изданий. Открытия продолжались. Тексты — события. Прочитать, впитать и принять.

Футуристы. Что попадётся. Что найдётся — чисто случайно. Вдруг отыщется. Позабавит. Озадачит. Потом — удивит.

Символисты. С ними сложнее — но и проще: слово скуднее. Несмотря на трудности смысла. Вроде алгебры: знаки, числа.

Анненский — начинался не сразу: его присутствие в мире осознавалось постепенно. Дивный поэт пришёл ко мне чуть позднее, вместе с Музой своею, с мукой своей и с музыкой, равной которой — нет.

Груда целая самиздата: пародия на роман Кочетова, писателя советского, сверхкондового, «Чего же ты хочешь?», названная, в лоб слегка, с юморком, «Чего же ты хохочешь?» — не помню, кем сочинённая, — было такое произведение встарь, по рукам, забавляя нас, ходило в шестидесятых; Введенский, Хармс и Олейников — обэриуты — мир гротеска и парадоксов; ранние тексты Бродского, в основном образцы его поисков себя самого, своего стиля, строя и смысла, где попадались изредка полноценные, крепкие вещи; стихи московских поэтов, то есть Холина и Сапгира, Горбаневской и Красовицкого, ну и прочих, вразброс, и так далее.

Много читал я тогда.

Всего ведь не перечислишь.

Книги — рядом всё время были.

Книги — сами ко мне приходили.

Когда, внезапно, как правило, если есть хоть какие-нибудь, в таких состояниях, правила, ощущал я, всей кожей, хребтом, некий зов, знакомый до боли, неизменно всесильный и властный, то всё моментально бросал — и устремлялся в пространство.

Пригородные, грохочущие всем нутром своим, электрички уносили меня всё дальше от столицы, всё глубже в осень.

Я выходил, бывало, на незнакомом перроне, шёл наугад куда-то, лишь бы идти вперёд.

Леса вокруг раздвигались в обе стороны, передо мною, словно в живописи старинной, незаметно и постепенно, как во сне, так могло показаться, но, конечно же, наяву, раскрывалась весьма загадочная, с ускользающими от взгляда, словно в прятки со мной играющими, чтобы вновь укрупниться, выявиться так

отчётливо и спокойно, что невольно я диву давался, очертаниями окрестных, передвижнических пейзажей, вся лучающаяся, бликующая, в жёлтых листьях, пятнах, мазках чьей-то кисти нетерпеливой, но чудесной, преображающей всю округу, похорошевшую от волшебного преображения, бесконечная перспектива.

Свет с небес преломлялся, как в линзе, в тёмной, сонной воде прудов.

На буграх, высоко над прудами, над водой, отражающей их белизну и ампирную стройность, одиноко стояли усадьбы.

На их фасадах, морщинистых, словно старческие, из прошлого дворянского, показавшиеся, чтоб остаться здесь навсегда, породистые, выразительные, по-своему добрые лица, колонны, прямые, строгие, неуклонно тянулись вверх, как старые, но, меж тем, всё ещё очень крепкие древесные, с твёрдой корою в рубцах и шрамах, стволы, и поблёскивали, поигрывали весёлые зайчики солнечные в зеркальной, почти астральной, лаковой темноте раздробленных перемычками деревянными на ячейки, соты напоминающие, пыльных оконных стёкол.

Чирикали вездесущие, любопытные воробьи, картаво, по-тарабарски, покрикивали вороны.

От крыльца со ступенями, брошенными, наподобие веера, вкось, разбегались, ну прямо как взапуски детвора, прямые дорожки, уходили в запущенный парк или дальше, в заглохший лес. Там просматривались деревни — деревянные серые избы, иногда уже покосившиеся, будто сложенные в гармошку, иногда, пореже, целёхонькие, с резными, по русской традиции, наличниками и ставнями.

Там пели взахлёб, неистово, часовыми в глуши, сторожами всех времён и семейств, человечьих или птичьих, не всё ли едино здесь, на скудной земле, петухи, глуховато, как будто спросонок, полаивали собаки, воспалённо и дробно алела во дворах захудалых рябина.

Там шла не совсем ещё понятная мне, потайная, укромная, сирая, скромная, скромнее некуда, жизнь, закрытая от всего не-

нужного, постороннего, полностью отделённая от жизни чужой, городской, и, тем более, жизни столичной, там шла стародавняя жизнь, домостроевская, возможно, со своими строгими правилами, разительно непохожая на жизнь в приветливых, светлых, больших украинских сёлах, давно, хорошо мне знакомую.

Это была Россия, и я каждый раз ловил себя на том, что лишь по своей воле, по своему желанию, нахожусь нынче в совсем иной стране, чем та, что оставил я в Диком Поле, на юге, в Скифии, в запорожских землях исконных, моя, родная, степная.

Что-то замшелое, тусклое, закосневшее в дряхлости, ветхости, угро-финское, колдовское, вдруг бросалось в глаза, а потом почему-то сразу же пряталось неизвестно куда и зачем, не желая совсем выпячиваться, вот и всё, на передний план.

Церкви, порою заброшенные, с поросшими сорной травой и даже как-то прижившимися высоко над землёй деревцами, ободранными куполами, стояли в отъединении от повседневности, в полном одиночестве, где-нибудь поодаль, и если были на них кресты, то, увы, покосившиеся, кривые, но чаще их не было вовсе, и отсутствие их очевидное ощущалось особенно остро — точно самое главное в песне в приказном устранили порядке, никого об этом не спрашивая и ответственности не страшась, точно вычеркнули из списка нечто необычайно важное, или нужный предмет убрали, или вырвали прямо с корнем плодоносящее дерево и куда-то его увезли, и осталась одна пустота, в которой мистическим образом угадывалось присутствие креста, и, при скромном даже воображении, он высветлялся сквозь синеву, появлялся на миг и опять растворялся в сентябрьском небе, где уже сменялась дневная синева предвечерней дымкой, наплывали вновь облака, появлялся прохладный ветер, пускался гулять по окрестностям, и слетали с ветвей дрожащих огоньками жёлтыми листья, и откуда-то издали, что ли, да, конечно, издали, впрямь из-за резко прочерченной грани горизонта, из необъятного, беспредельного

зазеркалья, из-за глинистых, бурых откосов, из древесной коричневой гущи, доносился крик электрички, и пора мне было, пора возвращаться в Москву, обратно.

И я выбирался к пустому перрону, и вот уже мчался в несущемся сквозь убегающие в обе стороны, влево и вправо, наугад, без оглядки, деревья, признающем лишь скорость, ею козыряющем в спорах, вечных и бессмысленных, с расстоянием, и её же не забывающем никогда приберечь на потом, целенаправленно мчащемся туда, куда полагается по расписанию, поезде, и за окошком вагонным начинало уже смеркаться, дверцы с визгом резким распахивались и с отчаянным треском захлопывались на всех остановках, состав срывался мгновенно с места и сразу же, без заминки, устремлялся вперёд, пассажиры усаживались поудобнее на жёстких сиденьях, за окнами темнело, внутри вагона зажигали мигающий свет, и в стекле отражались все мы, — и вот уже скоро Москва, подъезжаем, ну вот и приехали, — я выходил на вокзале, спускался в метро, добирался домой, постепенно, не сразу возвращаясь уже в другую, совершенно другую жизнь, столичную, благоустроенную, устойчивую, надёжную, преспокойно, легко сносящую все порывы мои в путешествия, относящуюся ко мне, как, пожалуй, к весьма романтически настроенному фантазёру, принимающую меня, со вздохом, конечно, и даже, порой, с невольным укором, уж такого, каков я есть, поскольку вряд ли кому-то удастся меня исправить, но, впрочем, я сам по себе, а она сама по себе, вот на этом-то и поладим, — и я в своей комнате медленно привыкал к вечерам столичным, чаёвничал, музыку слушал, читал, а то — в коридоре звонил телефон, меня подзывали старушки-соседки, я подходил, брал трубку, разговаривал, — что ж, опять звали в гости, — да-да, приеду, — собирался, накидывал плащ, выходил, уезжал, приезжал, добирался до нужного места, — встречали: приехал! мы рады, привет, поскорее входи! — вечер длился, уже — в общении, в ритуальном тогдашнем чтении, в разговорах беспечных дружеских за вином, превращаясь в ночь, — все спохватывались: успеть бы

на метро! — собирались, прощались, расставались — буквально до завтра, — я спешил к метро, забегал, запыхавшись, вовнутрь, — и ехал, приходя в себя постепенно по дороге, до Автозаводской, — выбирался на улицу, мигом добирался домой, — ну вот, наконец-то я здесь, теперь — отдыхать. Но не тут-то было!

Ночь томила меня, манила всем заветным, что сердцу мило, что возвысил я и воспел.

Ночь вставала в окне, дышала всем, что в прошлом уже осталось, всем, что я пережить успел.

Я не спал. Ночь была смурною. Ветер вздрагивал за стеною — и, к стеклу прикипев, молчал.

Осень прежней цвела весною. Образ времени предо мною оживал — и уже звучал.

Мне хотелось бы выразить ныне свет в апреле и звук в апреле, свет — спасительный, звук — начальный, тот, с чего всё и началось.

Томящийся в смутном предчувствии чего-то совсем небывалого, долгожданного, свежего, нового, кровно важного для меня, вдруг увидел я свет целительный и услышал я звук спасительный, в первых числах апреля, на родине, посреди блаженного дня.

Свет был ясным и золотым.

Звук был чистым и долговечным.

Ко мне вдруг пришли стихи.

Сами. Я стал их записывать.

Это было — моё. Я знал.

С той поры и пишу их. Поныне.

Вновь тревожит меня родное,
слух и взгляд, словно встарь, открыв.

Свет со мною и звук со мною.

Навсегда. Покуда я жив.

Свет — спасает, звук — пробуждает.

Свет — ведёт сквозь темь, звук — речь рождает.

Сон ли? Явь ли? Так и живу.

Всё тружусь. А куда деваться?

Нам никак нельзя расставаться.

Свет — увижу. Звук — призову.

Свет — придёт. Звук — раздастся снова.

Шевельнётся первое слово.

Прорастут другие за ним.

В нашей речи — вселенской ткани —

мы извечно стоим на грани

тьмы осенней и вешней рани,

где горенье в душе храним.

Надо сказать, что в ту пору, в шестьдесят четвёртом, в апреле, писал я стихи запоем.

Пришло наконец — моё.

Новое. Настоящее.

Понимал я: надо работать.

Продолжалось это и в мае, и окрепло тогда, настолько, что чувствовал я за плечами лёгкий шелест расправленных крыльев, когда, молодой, вдохновенный, ощущавший себя поэтом настоящим, жил я в Крыму, а потом, одинокий романтик, наслаждаюсь полной свободой, изумляясь всему на свете, путешествовал, налегке, без излишних вещей, по крымским городам и посёлкам приморским, — и несколько позже, летом, когда у себя на родине твёрдо знал я, что всё, о чём в предыдущие годы мечтал я, всё, во что я столь искренне верил, всё к чему я стремился упрямо, выживая по-своему в скифской, грустноватой, степной провинции, всё моё — непременно сбудется, что вскоре стану я жить не где-нибудь, а в Москве, — и осенью, той, московской, о которой вам я рассказываю в этой книге, вразброс, урывками, в самых разных её частях, продолжалось, да и зимой, и весной, во времена смогистские, с бурей и натиском, по Гёте, или по Шиллеру, неважно, скорее по-нашему, по-русски, непредсказуемо, так, что

поди гадай, чем это всё завершится, и завершится ли полностью когда-нибудь, и не станет ли бесконечностью, вечным движением ввысь и вглубь, неожиданным кружением по столице, новым сражением, только с кем, и зачем, и когда, — и особенно сильно выплеснулось летом в раю, иль в аду, как Рембо когда-то сказал, и осенью шестьдесят пятого, судьбоносной, без иронии перестроенной, в самом деле необычайной, той, с которой милее свет стал негаданно, боль исчезла, и любовь наконец воскресла среди огнём опалённых лет, — и всё это стало книгами, с запозданием страшным изданными, в девяностых уже, и книги сами к людям пришли, точно так же, как намного раньше они приходили к людям в бесчисленных самиздатовских перепечатках, — и теперь я смотрю на книги, листаю порой страницы с такими знакомыми текстами, и вижу — истоки, апрель.

Конечно, как и у всякой истории есть предыстория, так и у этих истоков есть свои пред-истоки, так я выражусь нынче, надеясь, что меня хоть однажды поймут, и это — мои времена криворожские, времена всех тогдашних стихов, начиная с осени шестьдесят первого, и шестьдесят второй, весь, работа сплошная, и весь шестьдесят третий — годы поисков, ученичества, обретения речи своей, но об этом лучше — потом.

Теперь мне куда важнее мой апрель, — и я вижу себя в нём, в самом начале месяца, и сам себе удивляюсь, и вере тогдашней своей в грядущее, и отваге молодой, и надежде твёрдой на самое лучшее в мире, и солнцу над головою, и звёздам, и радости творчества, и грёзам своим, и яви, и снам, и, конечно, любви.

Когда бы не свет и звук...

Пришли ко мне они вовремя!

И я ощутил разъятость времени, для которого нет невозможного в мире, и протяжённость пространства.

И стал — навсегда, полагаю, — отныне самым собою.

Весна разрасталась не только в природе, не только в творчестве, но и в душе моей.

Пела каждая клеточка всего моего существа.

Наш дом переполнен был музыкой, которую слышал я, как никто другой, днём и ночью, и записывал постоянно.

Я ходил на работу, в школу, где числился воспитателем группы продлённого дня. Ребятишки меня любили. Я с ними вроде бы ладил. Находил с ними общий язык. Был с ними не воспитателем, но попросту старшим другом. Выросшие, годами они потом вспоминали меня. Наверное, было за что. Хорошо, что — так.

Но жил я — в собственном, стройном, непохожим на прочие, мире.

И мир этот с миром природы и миром творчества связан был так прочно, что вряд ли бывает прочнее незримая связь. Направляясь ли на работу, возвращаясь ли поздно с неё, бродил я по берегам наших рек, неспешных, седых, в парках, где жгли костры, сжигая в них прошлогодний мусор, прелые листья, срезанные садовниками ветки, и к ясному небу поднимался пахучий дым, и подрастала свежая трава, и птицы окрестные пели многоголосым, неслыханно сложенным хором, а воробьи, которых в ту пору было так много в нашем городе, дружно чирикали, собираясь везде такими невероятными скопищами, что были слышны отовсюду, где бы ты ни находился, и вода в Саксагани к вечеру становилась ленисто-томной, а в Ингульце становилась вода напряжённо-тягучей, и Саксагань сливалась с Ингульцом, и вот уж один он, расширившийся, возможно, и не такой могучий, каким был он в древности, судя по сохранившимся сведениям, когда назывался он в Скифии Пантикапесом, а когда-то, совсем давно, во времена ведические — Хингули, но ещё крепкий, понимающий: силы при нём, устремлялся к югу, спиралями, витками, узлами, изгибами, поворотами, разворотами, всё дальше, дальше и дальше, по холмистым нашим степям, становящимся постепенно ровнее, приземистей, шире, к Днепру, чтобы вместе с ним выйти, вырваться к морю.

Я и сам вышел, вырвался к морю тогда, в конце моего памятного апреля.

Потому что — нужно было море.

Я взял да уехал в Крым.

Там, в раю субтропическом, в мае, стал я уже окончательно, повзрослев, ощущая путь, к сути звавший, самим собою.

Любовь? Да, была и любовь.

И весь южный берег, праздничный, пряный, хмельной, чарующий, накрепко врезался в память, с терпкими, сочными запахами каменистой прогретой почвы и диковинных, буйных растений, и волны морские пенились под луной, и звёзд было много, не счесть, и небо темнело, сгущаясь до черноты, до смоляной зеркальности, и тускло белели стены узорных дворцов и ограды, по шоссе проезжали автобусы, и резкий, дорожный запах отработанного горючего тут же, на месте, смешивался с тонкими, благородными, вкрадчивыми ароматами ковровых трав и цветов, а море плескалось внизу, солёное, бесконечное, медленно прогревающееся, и шли по нему корабли, а наверху, на склонах горных, уступами, ярусами гнездились дома, сады завершались роскошными парками, парки тянулись в горы, и там, совсем высоко, плескалось, переливаясь лучами прозрачными, небо, и шли по нему облака, и дымка, повиснув над морем, сгущалась в хмарь, тяжелела, темнела, и шли дожди, и я выходил побродить под дождём, в своём синем плаще, и шёл неизвестно куда, по наитию, но всегда получалось так, что туда, куда мне и надо было, и я приходил, а дождь всё лил, и я возвращался, и ждала меня там любовь, и дождь, помедлив немного, переставал шуметь по листьям, светило солнце, и сердце вновь оживало, и всё это было тем, чего я столь долго ждал и чего наконец дождался, и теперь, пожалуй, пора идти мне дальше куда-то, — сон ли? явь ли? — не всё ли равно вам? — с явью сон, сновидение с явью, — всё возможно и всё допустимо, — сон, пожалуй, а всё же — явь.

И я уехал. Ветер путешествий меня окликнул. Я увидел Крым в цвету, на грани мая и июня. Весь южный берег, от

Алушты и Гурзуфа до Симеиза, был распахнут мне. Бывало, в Ялте, вечером, в пору, я корабли, печалюсь, провожал. И Севастополь вдруг меня встречал, с прекрасными своими кораблями. Мелодией восточной прозвучал Бахчисарай. Был Симферополь жарок и странно бел, сплошные перекрёстки, ракушечные лёгкие дома, беспечные балконы. Старый Крым, с его тогдашней сонной тишиной, с развалинами караван-сарая, средневековой сказкою мечети Узбека, сквозь окрестную листву, и с домом Грина, и с его могилой, и с грецкими орехами впотьмах, и с тополями в утреннем тумане, сменился Феодосией, чудесной в своей дремотной памяти о прошлом. Потом был Коктебель. И понял я, что здесь когда-нибудь я буду жить. И я вернулся в скифские края, на родину. А летом вновь уехал, уже в Москву. И стал в ней обитать.

Но там, на радость мне, стоял сентябрь, и я срывался с места, уезжал, то во Владимир, то на Нерль, то в Суздаль, то в Подмосковье, и потом, усталый и полный впечатлений, возвращался в столицу милую, к семи её холмам, и небесам, и рекам, и домам, с которыми надолго не прощался.

И такая вот круговерть путешествий, перемещений в пространстве, да и во времени, а вернее всего — сквозь время, сквозь пространство, к речи моей, к этой музыке или муке, к этой радости в каждом звуке, в каждом слове и в каждом шаге к новой грани, к сплошной отваге, увлекала меня, притягивала, вовлекала меня в движение, постоянное, необходимое.

Да и Москва сама, со всеми (ноты в гамме?) своими древними, широкими кругами, не то магическими, с брюсовской поддачи, не то лирическими с виду, не иначе, не то эпическими, что ли, со своими, от центра самого, от старого Кремля, от сердца города, развёрнутыми туго спиралями, прорывами из круга, была, возможно, зримым воплощеньем, наглядным обра-

зом той жизни импульсивной, той молодости, всё-таки моей, не чьей-нибудь, а именно моей, с которой невозможно мне расстаться и днесь, в мои-то зрелые лета, настолько много значила она в судьбе моей. Итак, стоял сентябрь.

И на таком-то небывалом фоне сплошных открытий, частых путешествий, взаимопревращений, откровений, надежд, восторгов, — и произошла, поскольку быть иначе не могло, незабываемая наша встреча с Губановым, в далёком сентябре, в прекрасном времени сиянье, состоялось знакомство наше, знаковое, впрямь, которому, знать, было суждено стать дружбой, непохожей на другие, из коей, в свою очередь, свободно, естественно, легко, и произрос, всё изменив повсюду вскоре, СМОГ.



В сентябре шестьдесят четвёртого года, Драконьего, щедрого на события разномастные, непрерывно, сплошной чередой, догоняющие, сменяющие, настигающие друг друга, чтобы, сжавшись в общий клубок, в некий узел, морской ли, мирской ли, неизвестно, в энергетический, раскалённый, сияющий шар, вновь разжаться, с пружинистой силою, завитком спирали незримой, вмиг раскрыться цветастым веером удивительных совпадений и негаданных происшествий, сплошь и рядом идущих об руку с постигаемой не по книгам, но вплотную, слишком уж близко, чтоб не видеть её воочию, чтоб надолго, нет, навсегда не запомнить её, таинственной и простой, как и всё хорошее и достойное в мире этом, без придумок ненужных, без баек непотребных, со слов чужих, лишь своей, а не чьей-нибудь, кровной, личной сызмала яви, ехал я на встречу с поэтом, широко известным в столичной многолюдной среде богемной, из отчаянных удальцов и героев, из общих любимцев, из птенцов, едва оперившихся, но уже подающих голос, из отъявленных сорванцов, из талантов, для всех очевидных, из певцов, молодых да ранних, так поющих,

что их не заметить невозможно, и впрямь хороши, да и редкость это большая, уж тем более в наше время, не принять их нельзя, с приязнью, и, с восторгом, не полюбить, ведь богема на то и богема, чтоб уметь себя ублажать, чтоб уметь выделять своих, приглянувшихся ей не случайно и вписавшихся с ходу в неё, бравых, в доску своих парней, с перспективой необычайной на потом, — с Леонидом Губановым.

Восемнадцатилетний, всего-то, подчеркну это снова, сознательно, чтобы видеть давнишний свой возраст с башни многих прожитых лет, (восемнадцатилетий, уже, Боже мой, как летит моё время, вырывалось невольно встарь), — я давно ощущал себя взрослым.

Поколение послевоенное моё, всё разом, без лишней рефлексии, без промежуточного топтания, так, для порядка, на месте, чтобы подумать о чём-то сутобо практическом, полезном, трезвом и здоровом, с точки зрения наших родителей или школьных учителей, как-то слишком уж быстро, без всяких колебаний, сомнений, прикидок, размышлений невразумительных, стремительно повзросло, и уступать завоёванные, с бою, с ходу, с налёту, позиции, нам и в голову не приходило.

Мы старались избавиться всячески, любым из возможных способов, от опеки ненужной над нами, от назойливого надзора, от всего, что явно пахло заурядностью и обыденщиной.

Наставления и советы воспринимались в полной готовности отразить их, в сражение, в атаке, в штыки, посмелее, и лишь отчасти усваивались, осмысливались нами, как нечто не очень-то приятное, исходящее из той бытовой обязаловки, той приглаженной и прилизанной, ненавистной нам положительности, той советской, всем понемногу, и достаточно, уравниловки, под присмотром и под контролем наблюдающих за порядком повсеместным в державе нашей неусыпно и неустанно, днём и ночью, почти незримых, нелюбимых, необходимых и всесильных каких-то, вроде бы, говорили с опаской, органов,

или, может, властей кремлёвских, потому что не знали толком, где там органы, где там власти, что за органы, что за власти, что за птицы и что за страсти, кто их, в общем-то, разберёт, если знают всё наперёд, в светлом будущем обещают оказаться в кратчайший срок, но читают все между строк, да ещё голоса вещают зарубежные обо всём, что в стране у нас происходит, и тоска на людей находит, и с надеждой сплошной облом, говорят, не верь, не проси, что за мрак такой на Руси, что за ужас во всём Союзе, поверять остаётся музе настроенья свои, уравниловки мы чурались, нивелировки, стрижки всех под одну гребёнку, строевой, командной послушности, шаг назад, шаг вперёд, на месте, вправо, влево, стой, запевай, поднимайся, в ружьё, на службу, в пятилетку, на стройку, к станкам, в шахты, в лифты, в тайгу, к облакам, глубже, выше, смелей, и так далее, от нелепой и неизбежной жизни в обществе долгой лжи, с малых лет до седых волос, и мещанской благопристойности, от которых мы, как умели, отбояривались, отмахивались, да и просто бежали — прочь из чуждой духу желанного, блаженного свободомыслия, ненавистной, обрыдлой нам канцелярской, казённой системы.

Конечно, был я тогда очень молод, слишком уж молод.

Но я, сколько помню себя, всегда, по чутью, тянулся к тем, кто были старше меня и могли открыть мне однажды что-то важное для души, что-то новое, прежде незнаемое.

Добрых три года я мыслил самостоятельно, сам принимал решения и совершал поступки, многие из которых и теперь, посреди междувременья, представляются мне достойными, а порою даже значительными.

Разумеется, было немало промахов и ошибок, огорчений, разуверений, нелепостей всяких досадных, но возраст мой был таков, что, при отсутствии полном учителей и наставников, я вынужден был искать и сам находить всегда то, к чему влекло меня сызмала романтически бурное, грозное, иногда не на шутку опасное, но зато упоительно вольное, без оков, течение

жизни, как мне думается, действительно удивительной и прекрасной.

Было мне от роду братцы, не просто ещё восемнадцать, но уже восемнадцать лет и семь дополнительных месяцев.

Тогда и эти, наперечёт, месяцы, очень любили счёт и тоже имели значение.

По причине быстрого, слишком или в меру, кто как считал, на авось полагаясь, взросления.

Тогда я уже добился поставленной загодя цели и поступил учиться на престижное, элитарное, ну, слегка, по сравнению с прочими, уж во всяком случае стоящее и достойное отделение истории и теории искусств, это было главным, что меня привело туда, исторического факультета серьёзного заведения учебного, МГУ.

То есть стал, по-студенчески, вольно, по-богемному, безалаберно, по-хорошему, по-человечески, замечательно, жить в Москве.

Парижа, как я всегда в книгах своих подчёркиваю, у нас, к сожалению, не было, а вот Москва, распрекрасная столица странноприимная, по счастью, у нас была.

И она звала, отовсюду, из различных мест многовёрстной, многозвёздной нашей страны, и тянула к себе столь властно, что противиться ей, столице, было всем нам уже невозможно, и она собирала вместе нас, вчерашних провинциалов, постепенно и неуклонно становящихся москвичами, привыкающих здесь обитать и работать, по-своему каждый.

Отовсюду в Москву съезжались люди творческие, азартные, для которых не подходили никакие мерки стандартные, те, которым хотелось общения настоящего и внимания, те, которые были отважны и к невзгодам готовы заранее.

И Москва принимала — всех.

И спасала — всех, без разбора.

Был возможен в грядущем — успех.

Он придёт ли? Пожалуй, не скоро.

А пока что — пиши, поэт!
А пока что — рисуй, художник!
Вот он, ясный вечерний свет.
Вот он, тихий осенний дождик.
Всё — для вас. Для таких, как вы.
Всё — для творчества. Для открытий.
Для незримых духовных нитей.
В этом — самая суть Москвы.

Я жил, как уже рассказывал выше, на Автозаводской улице, в старом, крепком, невысоком, с толстыми стенами и большими окнами, доме довоенной добротной постройки, отдалённо напоминающем упрощённый конструктивизм.

В обжитой коммунальной квартире у меня была, пусть и временная, ненадолго, да всё же своя, так хотелось мне думать, комната. Принадлежала она симпатичной московской тёще генерала с необозримыми перспективами и возможностями, наперёд, на потом, Ивана Александровича Герасимова, начальника криворожского гарнизона, фронтовика, человека закваски крепкой, волевого, честолюбивого и способного на решительные, непредвиденные поступки, что сказалось несколько позже, когда он помог мне в беде, и отца моего приветливого одноклассника Саши Герасимова.

Был в квартире и телефон, правда, общий, но всё-таки был, и его наличие радовало, а случалось, и выручало. Была, разумеется, ванная, просторная общая кухня.

Но главное в этом роскошестве — была у меня своя комната.

Почему-то приятно теперь мне о давнишнем пристанище этом, с добрым чувством, порой вспоминать.

Я учился в университете — и гордился этим. Студент!

Я уже ощущал себя москвичом — и это вот было, зачем такое скрывать, приятное ощущение.

И вот сегодня, сентябрьской порою, в час предвечерья, мне, москвичу новоявленному, надо было ехать на встречу с незнакомым, пока что, хорошим, наверное, человеком.

Я набросил свой синий плащ, байроновский, романтический, как хотелось мне искренне верить, или, проще, воображать, на плечо закинул ремень потёртой лёгонькой сумки, закрыл за собой поплотнее скрипучую дверь квартиры, быстро сбежал по ступенькам пропахшей всеми возможными, коммунальными, стойкими, запахами, щербатой лестнице вниз и вышел из темноватого подъезда в просторный двор, заросший большими, старыми, устойчивыми деревьями.

Прошёл мимо нашей булочной, мимо стеклянной витрины гастронома, вдоль узкого сквера, к перекрёстку, затем перешёл дорогу и, торопясь, зашёл наконец в метро.

Там, бросив пятак свой звякнувший в щёлку пропускника, я спустился на эскалаторе к платформе, вмиг заскочил в вагон как раз подошедшего, сверкнувшего стёклами поезда и поехал в сторону центра.

Встречи тогда назначались нашей богемной братией в четырёх привычных местах: у памятника, с фонарями и цепями чугунными, Пушкину, у памятника Маяковскому, на углу в столице известного всем и каждому «Националя» и в уютном университетском дворе, со скамейками вдоль старой высокой ограды, с деревьями, со студентами оживлёнными, на Моховой, именуемом «психодромом».

Недавно сказал мне поэт, знаток московской богемной жизни, Саша Юдахин:

— С тобой, представь себе, хочет познакомиться Лёня Губанов.

Я, хоть и слышал уже, конечно, о нём, нарочно, удивляясь, вроде, такой информации, поднял брови:

— Кто это? Не припомню.

Юдахин сознательно выдержал небольшую, но, по его мнению, по-актёрски, эффектную, видимо, паузу и только тогда уж сказал:

— Самый талантливый, так считают разные люди, поэт молодой в Москве.

— Ну, это мы ещё посмотрим, кто же в Москве талантливее! — мгновенно отреагировал я.

— Нет, я ведь не утверждаю, говоря о Лёне, что он талантливее тебя, — поправился тут же Юдахин. — Сам ты очень талантливый. Но ты-то в Москве недавно совсем. А Лёня москвич. Его уже знают здесь.

— И меня уже знают здесь, — сказал, сощурившись, я.

— Вы оба самые-самые талантливые в Москве, — обобщил, улыбаясь, Юдахин. — Я уже рассказывал Лёне о тебе. И другие ребята ему о тебе говорили. Он хочет с тобой повидаться. Давай я вас познакомлю.

— Хорошо, — сказал я, — знакомь.

— Я тебе скоро, Володя, позвоню, — подытожил Саша. — Как только договорюсь с Лёней о вашей встрече, так сразу и позвоню. Жди моего звонка.

И вот, через день, буквально, Юдахин мне позвонил:

— Договорился. Где встречаемся? Прямо сегодня.

— Лучше всего — у памятника Пушкину. Так привычнее, — без раздумий ответил я.

— Когда? Говори конкретно.

— Вечером, в семь.

— Идёт.

Пришлось, ничего не поделаешь, мне собираться и ехать.

Кто такой Саша Юдахин — объяснять никому не надо. Поэт. Человек общительный. Дружелюбный ко всем, улыбчивый. Рослый. Спортивный. Свой парень, во многих кругах и компаниях. Энергии в нём предостаточно. Все его знают — и он всех поголовно знает. Он в облаках не витает. Он трезв — и восторжен: публично. Всё складывается отлично. Публикации. Выступления. Путешествия. Впечатления. На коне он, это заметно. По-

тому и смотрит победно. Между тем, он раним, по-своему. Реагирует на обиды. Но — защитное что-то усвоено. И — привык не показывать виду. И когда-то, в года молодые, то же самое было. Всегда. Всё с него, словно с гуся вода? Вопросенья, тире, запятые, восклицанья. Судьба — впереди? Биография — ежеминутно? Что потом? Предсказать это трудно. Что за боль возникает в груди? Стихи его помню, задорные, из давних шестидесятых: «Я буду, мы будем выигрывать секунды, секунды, секунды!» — в молодёжном гвардейском журнале, — в тему, блин, как теперь говорят. А вот это нигде в печати почему-то я не встречал: «У реки берега — будто два утюга». Наверное, самиздатовское.

В центре столицы я вышел из метро и пешком поднялся вверх по улице Горького к Пушкинской, к месту встречи грядущей, площади.

Пришёл я туда ровно в семь часов, ни минутой позже, как мы и договаривались.

Возле памятника, опекушинской вдохновенной работы, Пушкину — меня, пришедшего вовремя, уже, с нетерпением, ждали.

Словно из-под склонённой в задумчивости головы Александра Сергеевича, из осеннего воздуха вышли и двинулись прямо ко мне две фигуры, одна высокая, и это был Саша Юдахин, а другая значительно меньше ростом, так, небольшая совсем.

— Вот вы, ребята, и встретились! — торжественно произнёс Юдахин. Потом продолжил. — Познакомьтесь. Лёня Губанов! — представил он, с видом солидного, в политике поднаторевшего, со стажем большим, дипломата, этого невысокого, хмурого паренька. — Володя Алейников! — с пафосом, достойным ораторов греческих, представил меня он ему.

Поздоровались мы с Губановым.

Руки друг другу пожали.

Стоим себе — с Пушкиным рядом.

Смотрим один на другого.

И, почему-то, молчим.

— Ну, вот вы, ребята, друг с другом наконец-то и познакомились. Надеюсь, что скоро подружитесь. А мне пора уходить, — сказал, что-то вдруг, негаданно, сообразив, Юдахин. — Дела у меня. Увидимся!

И он, кивнув на прощанье нам обоим, исчез в толпе.

В те времена москвичи и приезжие вечерами любили гулять по столице. В центре всегда былолюдно.

И раствориться надолго меж людей было вовсе не трудно.

Мы с Губановым, возле Пушкина, под склонённой к нам головою поэта, в шелесте листьев и отсветах загоравшихся всё гуще окрестных огней, стояли друг против друга и продолжали молчать.

Это напоминало, наверное, первую встречу доселе ещё не видавших друг друга, воочию, рядом, двух молодых, да ранних, конкурирующих меж собою, на войне и в мирное время, всё едино для них, полководцев.

Этакий бука-подросток, с чёлочкой, коренастенький, сероглазый, в распахнутой курточке, в мятых брюках, в нечищенных туфлях, придирчиво, исподлобья, с прищуром, смотрел на меня.

На него я смотрел спокойно, без нервов. Подумаешь, фрукт! Ничего, погодим, подождём, что последует за молчанием.

Что он там башкой своей, с чёлочкой кривоватой, небось, надумал?

Явно ведь собирается что-нибудь взять да и выкинуть.

Видно по физиономии — вся уже напряглась.

Ладно, переживём. И не таких видали.

Вдруг Лёня, скривив по-детски влажные, пухлые губы в язвительной, скользкой улыбочке, вновь, будто мы с ним до этого вовсе и не здоровались, протянул мне руку и тоном офици-

альным, холодным, с осознанием собственной значимости, отчётливо, жёстко изрёк:

— Леонид Георгиевич Губанов.

— Владимир Дмитриевич Алейников, — мгновенно парировал я и крепко пожал его руку.

Лёня с вызовом откровенным посмотрел в упор на меня — и опять протянул мне руку. И сказал, меняя подход, нараспев:

— Леонид Губанов.

— Владимир Алейников, — твёрдо, без эмоций, ответил я.

Лёня этак хитро сощурился на меня — и ещё разок протянул мне зачем-то руку. И сказал с хрипотцой:

— Леонид.

— Владимир, — сказал я спокойно, понимая, что это игра.

Губанов уже с любопытством посмотрел на меня — и вновь протянул мне руку свою, с длинными, гибкими пальцами, с грязными, как у школьника хулиганистого, запущенными, нестриженными ногтями, сказав дружелюбно:

— Лёня.

— Володя, — сказал я приветливо и взглянул ему прямо в глаза.

Губанов так широко, что шире некуда просто, улыбнулся, преображаясь, хорошея, меняясь к лучшему, и уже панибратским тоном, все приколы отбросив, сказал:

— Старик! Давай будем на «ты»!

— Давай! — согласился я.

— Слушай, а я давно про тебя, между прочим, знаю! — тут же сказал мне Губанов.

— И я про тебя, представь себе, знаю! — сказал ему я.

— Ты ведь в Москву с Украины приехал? — спросил Губанов.

— Из Кривого Рога.

— Откуда?

— Из Кривого Рога. Такой город есть в наших южных степях. Там я вырос.

— Теперь понятно.

- Что понятно?
- Там твоя родина.
- Посмотрите, какой догадливый! Ну, а ты-то москвич?
- Москвич.
- Сразу видно.
- Что тебе видно?
- То, что ты коренной москвич.
- Ты где-нибудь учишься?
- Да. Учусь.
- А где?
- В МГУ.
- А я чихал на учёбу. Я и среднюю школу, всего-то, не закончил! Бросил, и всё.
- Почему?
- Так. Долго рассказывать.
- Ну, как хочешь.
- Потом скажу.
- Сам решай, как тебе поступать.
- Володя! — сказал Губанов. Говор был у него московский, акающий, певучий. Он произносил: Ва-а-лодя. — А я про тебя ещё прошлой осенью слышал.
- Неужели правда? — невольно удивился словам его я.
- Ну да! Ты же здесь, в Москве, жил прошлой осенью, долго?
- Конечно, — сказал я, — жил.
- Ну вот. Мне ребята из разных наших литобъединений говорили, что появился новый талант. Это ты.
- Надо же, как бывает! — сказал я. — А о тебе я только сейчас, в сентябре, от знакомых, впервые услышал.
- Почитаешь стихи? — спросил меня, в лоб, напрямую, Губанов.
- Можно, — сказал я. — Но где?
- Пойдём, хоть куда-нибудь. Куда — всё равно.
- Пойдём.
- И мы с Губановым двинулись вместе по улице Горького, в сторону Маяковки.

Оказался Лёня Губанов — парнем, времени зря не теряющим.

После того, когда мы, разговаривая, миновали пустоватую, без поэтов, там читавших стихи свои толпам слушателей, ото всюду, на чей-нибудь голос громкий, собиравшихся неизменно, чтобы в действе участвовать, площадь Маяковского, Лёня вдруг предложил мне, с места в карьер:

— Слушай, давай дружить!

— Давай! — согласился я.

Приближались мы к Белорусской.

Лёня вновь ко мне с предложением:

— Слушай, давай-ка выпьем!

— Давай! — согласился я.

Мы зашли в гастронорм какой-то.

Наскребли, еле-еле, денег на одну бутылку портвейна. Бутылку я положил, для спокойствия, в сумку свою.

Двинулись — вместе — дальше.

Шли по вечерней улице куда-то — и разговаривали.

И оба уже понимали, что друг с другом нам — очень даже интересно, так вот, свободно, слово за слово, непринуждённо, как старинным знакомым, с приятнью не случайной, с доверием полным к собеседнику, к новому другу, на пути, неизвестно, куда, непонятно, зачем, протянувшимся перед нами, куда-то за грань постижения, говорить.

Мы прошли грохочущий мост за Белорусским вокзалом и находились уже где-то возле улицы Правды.

Не мешало бы нам и выпить, раз вино у нас есть с собой.

Мы свернули вдвоём с тротуара в непомерно просторные, как-то буржуазно, не по-советски, расположенные, без всякой экономии места, на скудной, но и ценной столичной земле, за большими, просто громадными, вроде каменных сундуков, заселёнными впрок, под завязку, москвичами, глухими домами.

Там зашли почему-то в подъезд.

Открыли бутылку портвейна.

Выпили оба, по очереди, вдумчиво, прямо из горлышка.

— Хорошо пошло! — дал оценку действию, с видом бывалым, Губанов.

— Нормально! — сказал я, без всяких славословий. — Вино как вино.

В подъезде было темно и подозрительно тихо.

Мы закурили. Присели рядышком на ступеньки.

— Тяпнем ещё! Давай! — предложил, поразмыслив, Лёня.

— Пожалуй, можно! — прислушиваясь к тишине, согласился я с ним.

Снова глотнули по очереди из горлышка. Закурили.

В бутылке нашей вина, мерзкого, надо заметить, и на вкус, и на цвет, и на запах, содержащего нужные градусы для советских людей, напитка, оставалось уже маловато, в аккурат по третьему разу приложиться, и дело с концом.

(Я заметил сразу, что выпитое в смехотворных дозах вино Лёню явно взвинтило. Нет, изменило. Стал он каким-то непривычно, страдальчески нервным. Беспокойным. Словно вдали, впереди, ждало его нечто, с чем бороться не в силах он был. Покориться же этому — всё же не желал. Примириться с ним — тоже. Притворяться, кривляться — негоже. Этот страх и манил, и губил. Движения — резкие, дёрганные.

Паяц? Юродивый? Мим?

В голосе хрипловатом — новые, незнакомые, вибрирующие, зудящие, сверлящие изнутри горло, солоноватые, с привкусом горьким, нотки.

Зрачки разрослись, расширились до пугающей черноты.

Это было заметно вблизи даже здесь, в полутёмном подъезде.

Тогда я ещё не знал, что, сколько бы там вина, пускай хоть совсем немного, не говоря уж о водке, ни выпил бы он, алкоголь действовал на него, как наркотик, и это сказывалось, мгновенно, закономерно, с убийственным постоянством, всякий раз, на его

поведении, нередко, почти всегда, приводя к печальным последствиям.

Но вскоре уже, к сожалению, пришлось мне об этом узнать.)

Лёня, меж тем, не забыв об основном своём желании, попросил меня:

- Почитай, Володя, стихи!
- А ты? — спросил я его.
- Я потом. Сразу после тебя.
- Хорошо! — согласился я.

Не больно-то подходящим для чтения наших стихов местом был этот тёмный, пустой, незнакомый подъезд, но выбирать было не из чего.

Я начал читать свои стихи тогдашние — новые для меня в ту сентябрьскую пору, недавно совсем написанные, начал читать их Лёне — и незаметно увлёкся.

Губанов слушал меня с таким напряжением страшным во всё его крепком теле и с таким вниманием острым на бледном его лице, с таким нутряным, наружу рвущимся, жгучим огнём в чернеющих непоправимо расширенными зрачками, как-то чутко и слишком пристально распахнутых на меня, из-под скомканной чёлки, глазах, что почему-то стало мне за него тревожно.

Я прочитал всего-то несколько свежих вещей.

И читал-то негромко, да только случилось, конечно, то, что я предвидел заранее.

На звук моего, негромкого, но кем-то всё же услышанного сквозь массивные стены, голоса — с треском открылась дверь одной из ближайших квартир — и оттуда с негодованием вывалились в подъезд разъярённые жители дома:

- А ну прекратите шум!

Тотчас же, вслед за первой, открылась, под крики граждан чумных, и соседняя дверь:

- Безобразие! Хулиганство! Милицию надо вызвать!

Губанов сорвался с места и, подёргиваясь, заорал на возмущённых граждан:

— Суки! Слушать стихи гениальные не мешайте! А ну, заткнитесь!

— Лёня, тише. Кричать перестань. Пойдём! — Я силком еле вытащил его из подъезда во двор.

Вслед нам бурной лавиной неслись оголтелые вопли жильцов.

Кое-как увёл я Губанова в темноту, в глубину двора.

Его буквально трясло.

Никак он не мог успокоиться.

Всё твердил:

— Помешали, гады!

— Тише, Лёня, — сказал я. — Молчи. А то жильцы, чего доброго милицию запросто вызовут. Нам это ни к чему. Всё, успокойся. Быстрее уходим отсюда. Вперёд!

Мы двинулись наугад куда-то, лишь бы уйти подальше да поскорее из опасного места, свернули в ближайшую арку, и выбрались в соседний безлюдный двор.

— Есть вино? — спросил у меня, шевеля бровями, Губанов.

— Есть ещё, — показал я бутылку.

— Выпьём?

— Выпьём!

— Давай?

— Давай.

Мы приложились к бутылке уже по третьему разу.

Больше, при всём желании возможном, пить было нечего.

Губанов, чиркая спичками, ломая их то и дело, жадно, словно дорвавшись наконец-то до сигареты, по-блатному как-то, ухватисто, заковыристо, закурил.

Потом посмотрел мне в глаза и убеждённо сказал:

— Ты гениальный поэт!

— Ладно уж, Лёня, — сказал я. — Ты прямо как император всероссийский, титулы всякие играючи раздаёшь.

— Ты гений! — с пафосом явным сказал Губанов. — Я знаю.

Ну что за категоричность?

Откуда? Зачем? Почему?

Простецкая непривычность?

Нервичность? В толк не возьму.

Вот уж, право, замашки богемные.

(Похожие на дворовые.)

Столичные? Или туземные?

Во всяком случае — новые.

Звук, превращённый в знак.

Я сказал:

— Хорошо, если так.

Губанов, поёжившись, выпустил сигаретный белёсый дым из обеих ноздрей, затем, исподлобья, с прищуром стрелецким, с молодецким, зубастым вызовом, с вопросительным знаком, вместе с восклицательным, в серых глазах, взглянул на меня и спросил:

— Можно, я теперь почитаю?

— Читай! — согласился я.

Здесь же, в бездне столичного вечера, во дворе на улице Правды, стал он, заметно волнуясь, читать мне свои стихи.

И, честно, как и когда-то в прошлом, вновь сознаюсь: поначалу эти стихи не очень-то мне понравились.

Длинные. Даже слишком. Неровные. Грубоватые.

То несколько строчек искорками вспыхнут среди сумбура, то снова гул хаотичный, досадный, а то и провал.

Человек-то явно талантливый, даже очень, это уж точно.

И тон у стихов особый.

И лицо есть своё. И голос.

Да, собственно, всё в них — его, не чьё-нибудь там, а губановское.

Но что же меня останавливает?

Что мешает их сразу принять?

Непохожесть их, очевидная, на то, что сам я писал?

Так она и должна ведь быть, эта самая непохожесть. Грубоватость их? Ну и что!

Нет, не знаю. Пока — не знаю.

Но что-то мешает мне принять их безоговорочно.

И ничего, пока что, видать, не поделаешь с этим.

Губанов это заметил.

Чутьё у него, врождённое, импульсивное, обострённое, на всё вообще вокруг, сразу, оптом, было отменным.

Да и реакция тоже, на любое движение извне.

И тем более, разумеется, — на то, как люди, которым доверился, вроде бы, он, раскрылся, пускай и на время, перед ними, воспринимают, в основном, по традиции, с голоса, не с листа ведь, это не к месту и не к спеху, его стихи.

Обо всём этом я узнал не тогда, но уже очень скоро.

Он, покашляв незнамо зачем и смутившись, прервал своё чтение.

— Потом почитаю. Успеется. Ладно? В другой раз.

— Как знаешь! — сказал ему я.

Да, задело, конечно, Губанова то, что я, новый друг его и соратник вполне реальный, точно так же, как сам он, признанный половиной Москвы, недавно, да буквально только что, ну, полчаса каких-то назад, почему-то сразу не выразил ни эмоций своих, ни восторгов, не назвал его с ходу гением, как в божестве всегда называли, не признал его безоговорочно.

Это чувствовалось, я видел, в том, как вёл он себя тогда. Нахохлился весь. Насупился.

Шёл, руки в карманы, вразвалочку.

Головой, кручинясь, покачивал молчаливо. А то и вздыхал.

Потом он сумел собраться.

У нас опять завязался простейший, так, между прочим, по пустякам, на ходу, но всё-таки разговор.

Мы с Губановым, разговаривая, шли сквозь осень, сквозь шелест лиственный, сквозь огни столичные, вместе, шаг за шагом, слово за словом, напрямик, в разверстую даль.

Добрались до метро «Динамо».

— Так мы и до меня дотопаем! — Лёня сощурился, закуривая. Сквозь дымок сигаретный продолжил фразу: — Я-то на Аэропорте живу. Родители дома. Думаю, не помешают. Может, зайдём ко мне? Потолкуем. Чайку попьем. Ты не переживай. К себе добраться успеешь. Дом наш — неподалёку от метро. Как-ких-нибудь пять, ну, может быть, десять минут неторопливой ходьбы — и ты на метро успеешь до закрытия. Ну, зайдём?

Я взглянул на свои часы — и сразу же спохватился:

— Нет. Мне домой пора. Завтра с утра — занятия.

— Понимаю! — сказал Губанов.

Мы стояли с ним возле метро. Стояли, два парня, один — повыше ростом, другой — пониже. Поэты. Надо же! Молодые совсем. Познакомились. Подружиться в дальнейшем — удастся ли? Поживём — увидим. Посмотрим. Всё возможно. Ведь невозможное, как сказал не случайно Блок в озаренье, тоже возможно. Невозможного в мире нет. Есть — сквозь тьму приходящий свет.

Поздний сентябрьский вечер, с его лиловато-чёрным, плотным куполом неба и жёлтыми, золотистыми, звёздчатыми, узорными, широкими всплесками листьев на всех окрестных деревьях, обволакивал нас прохладой.

Пора было нам расставаться.

Мы с Губановым обменялись телефонами и адресами, тут же, на месте, вписав их в свои записные книжки.

Губанов, похоже, маялся.

Моя — совсем ведь недавно, и, главное, так неожиданно, — реакция на его стихи, которые всем в Москве, кого ни возьми, ни

припомни, решительно всем, нравились, нет, какое там, вызывали восторг, восхищение, не давала ему покоя.

— Володя! — сказал он мне. — Давай-ка снова увидимся. Прямо завтра. Пойдём куда-нибудь. Пообщаемся. Что, лады?

— Завтра никак не могу, — сказал я. — Завтра я занят. А вот послезавтра — пожалуйста.

— Так можно приехать к тебе? — спросил, оживая, Губанов.

— Позвони мне вначале, заранее, обязательно. И приезжай. Днём, лучше всего. Послезавтра.

— Договорились! — сказал, пожимая мне руку, Губанов.

Мы зашли в метро. Попрощались.

И разъехались в разные стороны.

Такова наша первая встреча.

Вроде рядом она — и далече.

Камертонная. Чистый звук.

(Время — птицей из наших рук.)

В недрах осени — добрый знак.

(Весь, как есть, вокруг — Зодиак.)

Изначальная, беспечальная.

(Вряд ли будет потом — прощальная.)

Встреча — присказка. Встреча — былль.

(Над столицей — звёздная пыль.)

Встреча — с речью. Запев. Пролог.

(Драмой будущей станет — СМОГ.)

Вскоре было у встречи нашей продолжение закономерное.

Судьба, видать, постаралась, распорядилась так, чтобы непременно, без лишней тягомотины, без отговорок непотребных, без промедления несуразного и ненужного, только так и никак иначе, потому что нельзя по-другому поступить никому из нас, хоть и время есть прозапас, чтоб к вискам не хлынула кровь, мы с Губановым встретились вновь.

...Через день позвонил Губанов.

— Старик! Володя! Привет! Как дела? Это я, Лёня. Ну что, скажи, приезжать?

Я сказал ему:

— Приезжай!

Через час, не позже, Губанов появился в моей комнате.

Был он тих, отрешённо-задумчив.

Некий свет, непривычный, таинственный, проступал на его мальчишеском, чуть припухшем, бледном лице.

И глаза его — были грустными.

Напрямик, откровенно, сразу же, без ненужных ему предисловий, каким-то вмиг изменившимся, отчасти звонким, торжественным, отчасти не слишком уверенным, акающим по-московски, с хрипотцой дворовой, голосом, но так доверительно, искренне, так просто, и в то же время почти с надрывом, с душой, моляще, Губанов сказал:

— Я стихи написал. Почитаю. Послушай. Тебе посвящается.

Я смотрел на него — и видел в нём, пришедшем сюда, какую-то неизвестную мне, разительную внутреннюю перемену.

Что-то с ним, безусловно, произошло, непонятное, а может и небывалое, за то короткое время, покуда мы с ним не виделись.

Я сказал ему:

— Почитай!

И приготовился слушать.

Губанов одним рывком не встал, а взлетел с места.

Он стоял посреди моей коммунальной просторной комнаты.

Свет, прозрачный и золотистый, плавно льющийся из окошка, освещал его побелевшее, без единой кровинки, лицо.

Зрачки его снова расширились и стали угольно-чёрными.

Но не было в нём обычной, обострённой, нервической взвинченности.

Было — спокойствие. Странное.

Обречённое. Роковое.

Но — невиданно светлое. Тихое.

Величавое. Доброе. Чистое.

Не спокойствие даже, но — глубь, за которой встаёт благодать.

— Осень, — сказал он грустным, неожиданно дрогнувшим голосом. И посмотрел мне в глаза. — Посвящается это Владимиру Алейникову. Моему — навсегда — закадычному другу.

Потом взглянул за окно, за которым стоял, как в сказке, с теремами своими воздушными, с облаками поодаль, сентябрь.

Сощурился вкось на свет.

И стал, волнуясь, читать.

— Здравствуй, осень, — нотный грот, жёлтый дом моей печали! Умер я — иди свечами. Здравствуй, осень, новый гроб. Если гвозди есть у баб, пусть забьют, авось осияют. Перестать ронять губам то, что в вербах износили. Этот вечер мне не брат, если даже в дом не принял. Этот вечер мне не брать за узду седого ливня. Переставшие пленять перестраивают горе... Дайте синего коня на оранжевое поле! Дайте небо головы в изразцовые коленца. Дайте капельку повить молодой осине сердца! Умер я. Сентябрь мой, ты возьми меня в обложку. Под восторженной землёй пусть горит моё окошко.

Губанов закончил читать — и опять посмотрел на меня.

Был услышанным я потрясён.

И тут же предчувствие страшное чего-то непоправимого, что непременно должно произойти с Губановым, резко сжало мне сердце.

Что это? Боже Ты мой!..

— Лёня! — сказал я ему. — Поразительные стихи.

— Тебе понравилось? Правда? — просиял, расцветая, Губанов.

— Очень понравилось. Правда. Настоящие это стихи. Долговечные. Чувствую это. Понимаю. И очень твои, — сказал ему я уверенно, поскольку так и считал.

— Всё я давным-давно, поверь, про себя знаю! — с горечью, с откровенностью, предельной и запредельной, вдруг вымолвил, словно выплеснул наболевшее что-то, Губанов. — Проживу я ровно, запомни, тридцать семь отпущенных мне лет. Умру в сентябре. Вот в этом стихотворении всё про это и сказано.

— Господь с тобой, Лёня! Ты что? — воскликнул я. — Что за страсти такие ты говоришь? Да живи ты ещё сто лет! Зачем на себя самого ты каркаешь? Так нельзя. С такими вещами не шутят!

— Эх! — махнул Губанов рукой, как стрелец, идущий на плаху. — Со мной всё давно уже ясно!.. Меня ты, не сомневайся, точно переживёшь. Вспомни когда-нибудь, в будущем, когда не будет меня, этот день в сентябре. Всё я знаю про себя наперёд, всё знаю...

Нелегко было мне, после всех этих Лёниных откровений, сохранять, пусть и внешне, вынужденно, с беспокойством в душе — спокойствие.

Долго мы с ним тогда говорили.
За окошко смотрели. Курили.
Вечерело. Кружилась листва.
И росло — продолжение родства.
С тем, что есть. С тем, что будет потом.
С тем, что дремлет во сне золотом.
С тем, что явью издревле зовётся.
С тем, что песней потом остаётся.
Песней — сказкой. Чья речь хороша.
Песней — былью. И песней — преданьем.
Песней — правью. И песней — страданьем.
Всем, с чем с детства сроднилась душа.

Он открылся мне искренне, весь.

Он пришёл ко мне — сам. Выходит, надо было ему прийти не куда-нибудь, а сюда.

Он сказал мне тогда важнейшие для него, сокровенные вещи. И рад был, что я его лучше других понимаю.

Он читал мне свои стихи — и они открылись мне тоже, сами, причём по-иному, нежели день назад.

Я понял, насколько, при всех оговорках, они органичны.

Понял я, что принимать их следует мне такими, какими они явились в мир, который, при всей неразберихе своей, смешанной с красотой, как и поэзия, в нём живущая, был и есть.

Всё, что необходимо, стихи эти сами скажут за себя, скажут, раньше ли, позже ли, но обязательно скажут.

И это его, пронзительное, сквозь время ко всем обращённое: — Государь! Не вели казнить! Вели слово молвить!..

И голос его, взволнованный.

И взгляд его, грустный, горестный.

И ясный свет в сентябре...

И, хотя в шестьдесят четвёртом даже до роковых тридцати семи лет жизни, на которые он сознательно закодировал сам себя, времени, для всего, что нужно человеку в молодости, казалось ещё так много, его мне уже сейчас, не медля, хотелось спасти.

Обречённость свою, в сознание намертво, прочно вошедшую, врезавшуюся в сердце, проникшую в душу, в кровь медленным ядом впитавшуюся, точно груз, непомерно тяжёлый, от которого не отделаться просто так, ничего не выйдет, потому и тащи, терпи, надрывайся, брат, не пытайся даже в мыслях освободиться от навязанной, кем — неведомо, и когда — неизвестно, жертвенной и мучительной этой ноши, от вериги этой чудовищной, он с собою всегда носил.

В свои восемнадцать — знал о себе он самое страшное.

И всё-таки он — жил.

И — живущий — писал стихи.

Может, всё ещё обойдётся?
Может, к лучшему всё изменится?
Может, Бог его всё-таки милует?
Что сказать? Не нужны здесь слова.

В этот день сентябрьский, с пронзающим ткань романтики прежней, с кружевом из наивности, как игла, диловатым, пока что, но явным, даже больше того, неизбежным ощущением грядущей драмы и трагедии, вслед за ней, началась моя дружба с Губановым.

Впереди была — осень. И всё, что ждало меня в ней.
Впереди была — молодость. Кто мне вернёт её ныне?
Впереди было — всё. Только лучшее. Как у России.
Впереди были — годы, где речи пришлось выживать.



Вот хорошее слово — предание. Но предание ли — всё это? Слово — сказанное. Переходящее. Из уст в уста. От человека к человеку. От поколения к поколению.

Правдивый рассказ о былом. Так. Но — какой же ещё? Правдивый — значит, живой. Живой. Правдой жизни — правдивый. Живучий. Тот, что останется. Надолго. Тот, выживающий. Вызывающий — дух выживающий. Призывающий — навсегда.

Предание. В нём — гадание, и рыдание, и страдание. Сострадание? Да, конечно же. Дух и свет. Живая вода. Над живой водой — ожидание: ах, взойдёт ли твоя звезда?

А звезда, слава Богу, всё всходит и всходит. Жаль, что время уходит. Жаль, что многое не доходит до людей, — но потом дойдёт. Слишком часто уж так выходит. Но когда-нибудь да приходит — сразу всё. И любой находит всё, что в руки к нему идёт.

Ну а тот, под звездой, восходит к новым звёздам. И снова — ждёт. Снова по мосту переходит — но куда? Свет его ведёт. Свет ведёт — и в Дух переходит. Звук приходит. И — Речь грядёт.

Предание. Оправдание. Чего? Судьбы? Речи? Предание. Спецзадание: выполнить. Передать. Предание: здание. Выстроить. Возвести. Предание. Созидание. Вспомнить. Выстоять. И создать.

Предание. Предвестие апокрифа. Предвидение канона. Для канона — крупного плана, общего фона. Верного тона.

В преддверии речи.

...Зажигает, вздохнув, человек подсознания свечи.

Это уж точно.

Поскольку день ясный, солнечный, и солнце стоит прямо над Святой горой и светит мне в окно — и, естественно, света сейчас более чем достаточно, — я зажигаю — всё-таки зажигаю, мысленно зажигаю, — знаю, что делаю, — свечи, свои свечи, наши свечи — пусть горят они ярко, так ярко, чтобы озарилось прошлое моё, озарилось — и появилось, всё, полностью, ничего вдалеке не утаивая, ничего от меня не скрывая, потому что не скроешь того, что в душе столь давно всё живёт и живёт, не запрядешь куда-нибудь, впрок, с глаз подальше и чтоб не мешало пока, — нет, оно обнаружится и возвратится ко мне, зазвучит, расцветёт, лепестки настроений раскроет, стебельки состояний протянет к источнику света, чтобы вновь подниматься на этой земле по возможности в рост, чтобы корни поглубже ушли в заповедную почву, чтобы зёрна созрели, упали в родимую почву — и снова с весною взошли, чтобы слово пришло ненароком и сердце согрело, задышало свободно, расправило крылья свои, поднялось в небеса птицей Сва, птицей Сирином стало, Гамаюном запело и Фениксом в пламя вошло, возрождаясь в огне, воскресая, — огниво, кресало, жар костра вдохновенного, лампа, лучина, свеча — всё горит, всё пылает, всё ночь освещает земную, чтобы речь пробуждалась и в даль за собою вела, чтобы в этой дали зарождалось, как прежде, сиянье, чтобы здесь, в настоящем, оно поддерживало меня, чтоб в грядущем оно продолжалось, — отсюда и свечи, свечи, внутренним зреньем давно различимые, в них —

дух эпохи, что слишком легко не уходит, — и, похоже, что так и останется в нас, никуда не уйдёт, потому что куда уходить ей? — и к кому ей податься? и кто её примет сейчас? — нет, не хочет искать она где-то иного родства, понимания она не желает искать у других, — здесь её понимают и здесь она с нами сроднилась, — оставайся же, милая! — будь, вся, как есть, у меня, и не просто в гостях — будь как дома и чувствуй свободно в этом доме себя, будь своей, будь самою собой, как была и всегда ты, — мы чаю с тобою заварим, посидим, побеседуем, — время вдвоём коротать не впервой нам, ты знаешь, — ты музыку вспомнишь былую, свет былой, дух былой, — и сольёшь их в звучанье одно с тем, что помню и я, с тем, что нынче пишу я запоем, с тем, что слишком люблю, чтоб не выразить в слове его.



Наше с Губановым: СМОГ.

Пусть это и аббревиатура — но что-то опять-таки щёлкнуло, совпало, сомкнулось, таинственный механизм речи сработал, аббревиатура сменилась, как по волшебству, чуть ли не универсальным понятием, — и вот он налицо, знак времени, призыв к объединению — для моего поколения.

Почему это произошло? Да потому, что слово СМОГ воспринималось, как слово сумел, мобилизовывало, притягивало к себе, точно магнит, заставляло подтянуться, призывало к здоровому творческому соревнованию, к созидательному труду, чтобы когда-нибудь кто-нибудь из смогистов, хорошо поработав на литературной ниве, с полным правом мог сказать: сумел.

Магия слова, как видим, и важна и нужна. Сила слова — в проецировании живой энергии на людей и в возвращении этой энергии к исходной точке, дабы процесс повторялся.

Эпопея с нашим СМОГом тянется вот уже шестое десятилетие, а если быть точнее — добрых пятьдесят четыре, с хвостиком, года, — и впереди ещё и следующий год, и грядущее сто-

летие, — и завершения ей, судя по всему, не предвидится вообще.

Гениальная выдумка. Иначе и не скажешь, как ни пытайся, как ни подбирай к ней, тишком или в открытую, какие-нибудь там отмычки или ключи.

Ларчик этот — с секретом, да ещё каким! Так-то просто, как ни бейся, как ни пыхти, — не откроется. И как это осенило нас с Лёней — тогда ещё, в юности нашей? До сих пор диву даюсь.

Ларчик — вот он. Смотрите. Он давно — на виду. Было два ключа от него. Один ключ — у Губанова, да так с ним и остался. Другой ключ — у меня.

Что в ларчике — ещё, даст Бог, узнаете. Если его открою — для вас. Поживём — увидим. Так всегда говорят.

Ларчик этот — открывать слишком часто мне, право же, незачем. Ни к чему это. И почти не для кого. Я и так слишком хорошо, лучше всех остальных, знаю — что там, внутри. А там — нечто.

Странная эпопея. Поистине — странная. Не желающая — исчезать. Не желающая — расставаться: и со мной, и со всеми нами. Выживающая — кровь из носу, во что бы то ни стало, но только — так, и не иначе. Вызывающая — огонь, да не один, все огни — на себя. То есть — ушедшая далеко вперёд. Как на войне, в расположение сил противника. И всё ещё находящаяся там, впереди. Воспевающая — речь и явь, дух и свет, честь и братство. Затевающая — нет, уже давно затеявшая — вечный спор, — нет, поединок вечный — с тем, что всюду на земле всего страшнее — с равнодушием беспамятным людским. Начатая — тогда ещё, давно, в советское время. Продолжающаяся — ныне, в междувременье. Готовая протянуться — в грядущие времена. И, несомненно, будет она продлеваться и в них.

Эпопея — типично русская. Со стержневым, врождённым, — всё и насквозь пронзит — природным, как речь, мышлением. С несколькими — так уж вышло — слишком уж разными авторами, пока ещё, всё ещё, вместе ещё, одни — довольно отчётливо,

другие — уже посмутнее, а третьи — те еле-еле в глубокой дали различимы, но всё-таки прорисовывающимися, хотя и основательно уже, решительно и даже беспощадно прореженными, пристально отобранными самим суровым временем, до нас двоих — меня с Губановым, а там, в дальнейшем, в скором будущем, тем паче — в грядущем, там, в сознании потомков, число всех этих авторов, я знаю, всенепременно будет сгущено — до одного — из мифа, из легенды, из прошлого ли, — всё уже едино, всё ясно всем, и так всегда бывает, — до одного лишь автора, конечно, — до этакого нового Гомера. Уже не эллинского — русского. Но, впрочем, Гомер, тот, прежний, правильной — Омир, фракийец был, а значит — тоже рус.

Эта новая «СМОГиада» или «СМОГиссея» — всех нас, небось, да и потомков наших, и мало ли кого ещё переживёт.

Эпопея эта, и прежде всего — скрытая до сих пор от многих любопытствующих подоплёка её, основа её, почва её, — всё обрастает и обрастает, ну прямо как днище большого корабля — множеством прилепившихся к нему на нелёгких морских путях, самых разнообразных, и мелких, и покрупнее, водорослей и ракушек, так и путешествующих вместе с ним, — всевозможными, зачастую нелепыми, иногда и бредовыми, вымыслами, беззастенчивыми, с выкрутасами и переборами, в общей сумме своей и яйца выеденного не стоящими, но поныне упорными и обильными домыслами, ну и, само собой, неисчислимыми по количеству их, не говоря уже о качестве вранья, слухами, — эпопея эта, подчёркиваю, давным-давно уже стала отечественной легендой — и неумолимо, неудержимо превращается в самый настоящий, классический, не по греческому — по отечественному — так доходчивей — образцу, со своими богами и героями, со своими бурными событиями, невероятными приключениями, борениями с силами тьмы и со злом, со своим, как тугая пружина, закрученным, острым — лезвием, жалом! — сюжетом, со своими загадками и отгадками — на авось, со своими метаморфозами — и, конечно же, давними тайнами,

с тайным смыслом подспудным своим, с зашифрованным знаком судьбы, с потаённым, запрятанным вглубь, на потом, кодом той, миновавшей эпохи, по которому, прежде его отыскав и осмыслив, там, в грядущем, когда-нибудь всех нас разыщут и встретят, — непреложный, немеркнущий миф.

Наше содружество и каждый персонаж этой разыгранной нами когда-то, в открытую, на глазах у всех, в том числе и прежде всего — у властей, многоактовой, дерзкой, с прологом и эпилогом с полудетской, наивной завязкой и вполне уже взрослой, жестокой развязкой, сумбурной, написанной набело, по вдохновению, пьесы, никакой и не драмы, а, конечно же, натуральной трагедии, —

(напомню, что действие происходило в середине шестидесятых, посреди истосковавшейся по свободному слову, огромной и тогда ещё неделимой страны, в самой сердцевине того самого, тоталитарного режима), —

продолжает, с годами — всё хлеще и хлеще, находиться в тумане разросшихся, шатких, зыбучих, но ставших привычными, слишком условных, слоистых, расплывчатых, чуть ли не прозрачных, недостоверных, таких ненадёжных, таких никудышных, но всё же таких неизбежных и всеми охотно лелеемых, толков.

И в наши, нынешние дни, на склоне века минувшего и в начале нового века, СМОГ, почему-то в числе диссидентских групп, а не как литературное движение, изучают, уже — изучают, — что же, к этому, в общем-то, всё ведь и шло! — на занятиях по новейшей истории в школах, лицеях, колледжах и в институтах, то есть в средних и в высших учебных заведениях, — и подростки, и молодёжь, — причём, что и забавно и грустно, и досадно, и возмутительно, — сами преподаватели — ровным счётом никакого понятия не имеют — о сущности явления.

И не такое ещё, а похлеще, позабористее, побредовой, порой приходилось мне слышать. О былом. О себе. О друзьях моих давних. Обо всём, что прошло. О таком, что вовек не пройдёт — потому что достаточно света с ним в мире юдольном.

Досужие болтуны, сроду не бывавшие в нашей шкуре, задним числом охотно перемывают нам косточки в устных рассказах и в печати. Действует магия слова. Притяжение его велико и опасно для них, потому что слово СМОГ просвечивает их, как рентгеном, — и сразу видно, кто есть кто. Но они этого — не понимают. Они обольщены, околдованы. Им хотелось бы оказаться там, на нашем месте, в гуще минувших событий. Им — это конкретным болтунам. Бесчисленным и безликим. Хотя — некоторые рожи и рыла из этого стада отчётливо видны.

Хорошие люди — другое дело. Хороших, толковых — мы тогда привечали. Особенно своих — мы их за версту чуяли. Мы бы их — так я думаю, так полагаю, — приняли бы к себе. И если они жалеют сейчас о том, что не были с нами, — их можно, конечно же, можно понять. Значит — из такого же теста, как и мы, эти люди. Значит — нашей закваски. Ну, не успели они тогда — быть вместе с нами, это понятно. Не сумели. Обстоятельства, значит, были такие в жизни, что не позволили сблизиться. Ну так — и теперь ведь можно объединиться! А что? Пусть они теперь — сумеют. Пусть будут все они — жалеющие ли, желающие ли, — вместе с нами, оставшимися, уцелевшими. Только и всего. Сумеют ли? Это ведь важно — взять да и суметь! Смочь. На то он и СМОГ.

В стаде же болтунов — давняя паника. Они-то, может быть, и хотели бы — к нам. Да не сумели. Тогда. И сейчас — не могут. Не дано. И сам СМОГ, а он — дух такой, — их не пустит. Не допустит безобразия.

СМОГ — это как зона в «Сталкере». Вы там поосторожнее себя ведите. А то — мало ли чего выйдет? Здесь всякое бывает. Уж такое бывает, что потом долго не опомнитесь. А может, и вовсе не опомнитесь. Деградируете. Отоmrёте. Исчезнете,

как вид. На то она и зона, что — не такая, ну вот очень уж не такая, разительно, фантастически — не такая, как все. Особая. На то он и СМОГ, чтобы, поначалу всех, без особого разбора, принимая, быстро в них разобраться — и беспощадно отсеивать. Отбрасывать. За ненадобностью. Любопытное большинство — за то, чтобы не путали Божий дар с яичницей. Какую-то часть — за профнепригодность. Некоторых — из брезгливости. И откровенных гадёнышей — за предательство своих же товарищей и за подлость по отношению к ним. Так-то оно лучше. Спокойнее. Жить. Дышать. И работать.

И остались в итоге — единицы. И это — правильно. Даже очень правильно. Только так и надо. Так. Во имя речи. Так. Во спасение духа. Остаются всегда — считанные. Избранные. Это и есть — объединение наше. Содружество. И оно — уже сгустилось. Особенно — с годами. Внутренне собралось. В комок. В плод. И в нём — ядро. Из него тоже ещё что-то — или кто-то — со временем — вырастет. Встанет во весь рост. На земле. Под солнцем. В единственном числе. Один. За всех. Так всегда бывает. Вот именно так, только так — и бывает. Вот из этого и исходить надо. Исходить из этого — и подходить к этому. Восходить.

А то — СМОГ им подавай! В СМОГ они хотели бы попасть! Ещё чего! Дудки! Мы-то — немногие — Божьи дудки. А вы — чьи?

Числиться в смогистах давно уже стало чем-то престижным, вроде как некоей отмеченностью, причастностью к таинству. Оттого и развелось липовых членов нашего содружества видимо-невидимо. Но желанные врата — наглухо для них закрыты. Правдивое слово — не терпит полуправды, а тем более — вранья.

Слово — тело. Оболочка незримая — для мысли. Для поэзии. Здоровое тело. В нём — здоровый дух. В нём — нескончаемый свет. Слово — смело. Могло. И смогло. Сумело. Зародиться. Восстать. Уцелеть. Возрасти. Прозвучать.

Некоторые западные слависты, привязанные к прошлой поре по роду своих занятий, да и отечественные исследователи

новейшей литературы — были они раньше в умеренном количестве, те, кто постарше по возрасту, а теперь появились уже и те, кто помоложе, и даже совсем из себя молодые, а раз уж появились, то наверняка их количество будет расти и расти, — меланхолически сетуют на то, что история СМОГа так никем и не написана.

Как это — не написана? Я написал об этом. А кому же ещё — писать?

К тому же тут обязательно учитывать надо: как — писать, что — писать, почему — писать.

СМОГ — он такой, сам по себе, особенный.

Зона. Круг. Знак. Звук. Среда.

Уж кому, как не мне, это лучше всех знать?

СМОГ — он такой, он — сумел, он — не то что прочие литературные «группы», которых вы же, голубчики, что-то там этакое пишущие и подо всё, обязательно, в первую очередь, базу свою подводящие, понаплодили, как будто кроликов, — девать их некуда, — хотя некоторых из этих самых «групп» сроду в природе не было.

Тем более — в природе речи. Слова.

Речь — она со СМОГом. Слово — оно со СМОГом.

Попробуйте-ка возразить! Не получится. Не сумеете. Не дано.

Я один-единственный в мире, один-единёшенек на всей этой земле, один, — понимаете? — долгие годы — один, лишь один, — потому что давно нет на этой земле, в этом мире, где «пахнет крышами, мертвецами, гарью с тополя, и стоят деревья — бывшие, и царят — лицом истоптанным», в этом мире, где «камень горбится, распрямляются в гробу», где «мне приходится пять шагов несчастных губ», в этом мире, где «жрать мне нечего, кроме собственных затей», где «участь певчего — только в сумерках локтей», — моего друга молодости, Лёни Губанова, знаю о СМОГе — всё. Да не просто — знаю. Ведаю.

Вот потому — и пишу о СМОГе.

Как надо — пишу. Сам.

Придёт время и для издания.

И на учёные головы, и на удалые, и на те, о которых в народе говорится «дурья башка», на всякие, — действует невероятной своей энергией, — подобно тому, как воздействовал на наших ведических предков находившийся в особо почитаемом святилище небесный камень с созвездия Орион, — созданное нами когда-то и обретшее право на жизнь в мире — слово. Похлеще всякого психотронного оружия. Ведическое слово. Слово-дело.

Ну а теперь — ещё немного — о СМОГе. Почти трактат? Заметки на полях? Преданье старины глубокой? Дума? Стихотворение? Раёшник? Притча? Сказ? Дань прошлому. Былина? Слово? Плач?

Смог — это значит сумел. Ну а смог, сумел выжить — сумей же сказать. Произнести — слово. На чутье, на дыхании, чудом — но удержаться в яви. Ринуться в стихию речи — и обрести в ней дом. И продолжать — путь.

Ощутить серебрящийся, мерцающий камертон позвоночника в соловьиной украинской ночи — ибо хребтом чуем подлинное, сокровенное, тайное — и здесь, в пелене мглы, в гуще тьмы, на пороге смущённого света, и там, в космическом единении, равновесии, может быть и гармонии, куда так тянутся на ощупь стебли, стволы, зрачки и ладони, — и отправить, благословив, проводить в мир ещё звук, — услышанный столь отчётливо и воспринятый только тобою и никем иным, словно бы извне, свыше, из глуби сущего, из выси родственной, — импульс, биение живой ткани естества.

Роящееся, кружащееся, обволакивающее душу звучание. Музыку.

Никто не поможет, никто не подскажет. Куда, там! Да и зачем? Кто и кому?

Всегда и везде — только сам. Да-да, в одиночестве. Наедине с источником света. Именно так.

Всё, что было с тобою, тревожило, ранило, пело, хранило, — все события, люди, пейзажи, мгновения целого, кровного, — всё — вокруг тебя: роем, кружением, гулом, наваждением, правдой, тревогой, сомнением, болью; ну а в центре, вон там, — нет, не точками чёткими — вспышками огненными, сутью дней и де-ний — и солью, вобравшей пространство, таящее неизъясни-мое, — воля и доля.

Соловьиная ночь украинская — или эта, московская, вроде и привычная, но чуждая, не сжившаяся с тобою, то ли обмо-рочная, то ли выжидающая чего-то, кольцами своими захлест-нувшая тебя — кольцами бульваров, сиротливо насторожён-ных, Садовых отравленных, обручем кольцевой бестолковой дороги, отдающаяся в сердце хрустом небрежного снежка, по-трескиванием слюдяного ледка, прямо в горло тычущая не то хвойные острия, не то неразумные и слепые, наобум, с маху кем-то насаженные на коренастые, то угластые, то закрутлён-ные, узорчатые, каменные тела, — копыа кремлёвских башен, — и когда-то давно, и, конечно, вот здесь, в декабре.

Ночи, тройственность их. Средоточье молчания. Ключья от-чаянья. Почва звучания.

Значит — слышать. Сквозь хаос и смуту найти этот тон, са-мый верный, живучий. Неуязвимый для бед.

Удерживающий нить. Выводящий из лабиринта за собою — всё, чему суждено явиться.

На звук, на голос твой — как на свет, окно ли, свеча ли, ко-стёр ли.

Отыскать эти вехи незримые, маяки эти — в темнотище, во тьме египетской, государственной, узаконенной, с тёмной структурой, тёмным прошлым, с ненасытным нутром, хваткой

лапою, цепким оком, нечистыми помыслами, с изъеденными метастазами клетками-живоглотами, в затянувшемся этом сумраке и мороке, — да и просто — в ночной темноте, в этих недрах, в глуши, на распутье, посреди задремавшей, забывшейся вроде, разметавшейся беспокойно, беспредельно уставшей страны, в наслоениях, и жилах, и руслах, в тенях и пластах.

И шагнуть за черту, начиная движенье. И сказать. Говорить — значит, быть.

Из широкого месива шумерских переимчивых глин, принимающих под руками ваятеля очертания людских фигур, встаёт это слово, древнейшее «ме», — где же глубже понятие? — вот истоки его.

И алмазным сиянием сквозь Зодиак: речь — твой дом, береги же в ней ясное «ом».

Столько лет уж прошло с той поры, когда в жизнь нашу — и мою, и друзей моих, — вошло это понятие: СМОГ.

Нет, не понятие — понимание. Творчества, совести, веры, поступков. Дела жизни.

Проникло, влилось в линии наших судеб, запульсировало в них, срослось с естеством.

СМОГ — это как рериховский знак единения. Символ моего поколения.

Горчайший свет памяти для всей более чем разрозненной нашей плеяды.

А ведь было так щедро отпущено всем, что казалось: равнись, распахни не окошко, так дверь, — и вот они сразу, открытия, радость и слава.

Было, было даровано свыше нечто такое, что даётся единожды.

А сейчас — улыбнёшься, вздохнёшь. А не то и слеза набежит. Столько лет — нет, не сахар. Это, братья, эпоха.

Ну а соли пуды, те, что съесть нам всем вместе пришлось, — никуда их не деть. Потому что — смогли.

СМОГ — со многими словами рифмуется. Здесь вам и рок, и срок, и слог, и Бог.

Слова сии — частицы нашей речи, нервы, крупницы её.

Всё — вошло в кровь, всё — читается в глазах и писаниях наших.

СМОГ бывал и клеймом. Слишком долго. Мерещилось, чуть ли не навсегда, пожизненно.

Да и на клеймах жития любого из плеяды, как погляжу я, зримо запечатлелся задевающий тайную струну где-то внутри, минорный отзвук его, клином улетающей журавлиной стаи уносящееся в неведомое пространство, прорвавшееся сквозь несуразное время, трагичное эхо его.

СМОГ — урок. И зарок.

Не фунт изюму. Не сладкий пирог.

Замах на мир, и не меньше, — и сразу отвергнутый скромный, уютный мирок.

Вначале был — как порог, но едва ступили с крыльца вдосталь нахлынуло всяких морок.

СМОГ — это слишком уж много дорог.

Тем он и дорог. И горек — всё тем же. Тем и высок.

Обречённость на путь была заложена, как некий код, в таком вот ёмком названии.

Как хотите, так и разгадывайте.

На то и путь, чтобы с него — не свернуть.

Сворачивать норовили — шеи. Судьбы ломать. Биографии корёжить.

Вышло у них? Как бы не так!

Был осознан путь — высветлилась суть.

Право, есть что вспомнить.

Линию свою выдерживать, позицию отстаивать — не в бирюльки играть.

Как ни старались легионы, составленные из условных «кто-то» по приказу «кого-то», эти самые пути наши, как обручи для бредовой бочки — типичного порождения эпохи, столь ка-

тегорично и звонкогласно, прямо-таки ну чтобы хоть на полочку было что поставить, именуемой безвременьем (раньше по-русски говорили горше: бесчасье) — гнуть, норovia поскорее туда запихнуть нескольких юных Гвидонов, сразу всех, заодно, оптом, как водится, — дабы не выделялись, дабы индивидуальности их в духоте, в темноте, смялись, притёрлись, — для острастки, дабы другим неповадно было, — да бросили, улюлюкая, деревянное это, псевдотроянское сооружение в бездну морскую, напрочь не понимая, что и это — стихия, такая же, как и речь, — ан помотало бочку по волнам да пучинам морским (ну а всё-таки, может — мирским?), да и выбросило на берег, на остров, развалилась она — и вышли оттуда на твёрдую почву друзья, выжили, уцелели, — и снова, каждый по-своему, — в путь.

Что же существенно? Да всё — существенно. Каждая мелочь, казалось бы, штрих или росчерк, мановенье, движенье, касанье, деталь.

Ядрышко крепкое, выживший СМОГ!

Не Плутарх ли изрёк, что не столько при помощи дел величайших добродетель мы все познаём и порок, сколь при помощи жеста, изречения, порой — анекдота, — и характер живущих в них лучше раскрыт отчего-то, чем участие в битвах, осадах и подвигов громких молва? Золотые, право, слова.

Тяга к сути. Ускользанье из раскинутой сети коварной. Верность наитию. Отрицание всякой корысти. Вдохновенность и честь. Из грядущего весть.

За напастью напасть — вот и отсеялась вскорости большая часть налетевших было на зажжённое пламя юнцов, — обожглись, одумались, утомонились, а потом и обжились, как пришлось, — уже подальше от огня.

Мы, немногие, — устояли. Не сдались.

Не засосала трясина-злость. Не размягчила лесть. Не угробила власть.

Потому что у речи — особая сила. И она — спасала.



Стихи Арсения Александровича Тарковского давно и по-настоящему я любил.

Был Тарковский мне и по-человечески дорог. В середине шестидесятых, в период нашумевшего и гонимого нашего СМОГа, он решительно, очень смело поддерживал меня. Он способствовал моему восстановлению в университет. Никогда не любивший общаться с писательским начальством, предпочитавший жить замкнуто и независимо, поодаль от всей этой пишущей не только стихи и прозу, но и доносы, и жалобы, продажной и грязной публики, он, тем не менее, в нужный момент, для того, чтобы помочь попавшему в беду молодому поэту, забыл о своей брезгливости по отношению к официальной писательской публике и о своих принципах, пересилил себя, проявил характер, нажал на какие-то там нужные рычаги, задействовал кое-каких порядочных людей, поговорил, с кем полагалось, — и, благодаря этим хлопотам, а также и хлопотам других, тоже принимавших в этой истории участие, людей, — да той же Лидии Борисовны Либединой, по рождению — графини, но ещё и вдовы советского классика, что давало ей возможность независимо и смело себя вести, хотя, впрочем, и своего характера у неё хватало, да и всегда внимательна бывала она к людям, — был я восстановлен в МГУ.

Чуть позже, после этих событий, окончившихся победой, Тарковский, известный затворник, сознательно согласился «работать с молодыми» — так это тогда называлось.

Наш знаменитый СМОГ взорвал изнутри всю московскую литературную жизнь. Так просто, без наказания кому полагается, без бдительного надзора над всеми, ни власти, ни кагебешники оставить всё это уже не могли. С молодыми надо было что-то делать, иначе — иначе мало ли чего можно от них ещё ожидать? И так на Западе сколько о них пишут и говорят. Вся молодёжь тянется к этим смогистам. Значит, прежде всего, надо взять всю пишущую молодёжь под свой контроль. Для этого

срочно учредили разные литературные секции при союзе писателей, непосредственно для молодых. Постановили — сделали. Но не назначать ведь руководить этими секциями кондовых своих литературных функционеров. Да к ним и на пушечный выстрел никто из молодёжи не подойдёт! Нужны — серьёзные, уважаемые молодёжью люди. Для такого дела даже известные своей принципиальностью и определённой позицией по отношению к режиму поэты годятся. А что? К ним и пойдут. Ну вот например — к Тарковскому. Предложило ему писательское начальство вести одну из секций. Тарковский взял да и согласился. И пишущая молодёжь к нему не просто пришла — валом повалила. И плевать всем было на контроль и надзор. Поэзия — вот что было прежде всего и выше всего.

Арсений Александрович очень высоко ценил мои стихи. Это было — его, собственное, мнение. Это было — его суждение. Так он считал. Так и говорил.

Ещё тогда, в шестидесятых, мне самые разные люди, с разных сторон, имеющие хоть какое-то отношение к литературе, сами пишущие или просто любители, всегда присутствующие на поэтических сборищах, то по отдельности, то порой и сразу в несколько голосов, говорили — со значением, с придыханием, с закатыванием кверху глаз и прочими, подчёркивающими, видимо, по их понятиям, передаваемые ими слова ужимками, гримасами и речевыми эффектами, всё твердили, твердили, кто — полущёпотом, кто — нарочито громко, чтобы все вокруг слышали, — что вот, мол, Арсений Александрович Тарковский уж так ко мне серьёзно относится, уж так обо мне хорошо всегда говорит, что это прямо сверхсобытие, да и только.

Всем известно было, что Тарковский, человек вообще сдержанный в проявлении своих эмоций, да к тому же и чрезвычайно скупой на похвалы, если не сказать больше, так вот просто, для красного словца, говорить, а тем паче хвалить кого-нибудь, никогда и ни за что не станет. Значит, есть, действительно есть

что-то этакое в этом Алейникове, если Тарковский и тот расщедрился вдруг, перешёл даже на всякие там высокие слова.

Надо заметить, что Тарковский, даже если ему очень нравилось что-то, чьи-нибудь стихи, допустим, не имел обыкновения говорить об этом в глаза. Не знаю, что им руководило. Быть может, усталость и горечь собственной судьбы сказывались. А может, и некоторая ревность иногда присутствовала. Не мне судить. При всём при том был он человеком исключительно благородным, к тому же и смелым, решительным, и, если уж надо было, говорил и в открытую собеседнику всё, что о нём думает, плохое ли, хорошее ли.

Те слова, которые я сам когда-то, глаза в глаза, услышал от Арсения Александровича, дороги мне и поныне, да и всегда будут очень дороги.

Ещё в первую встречу, зимой шестьдесят пятого, наверное в декабре уже, когда, промёрзнув по дороге в своём демисезонном старом пальто, пришёл я к нему, в писательский дом неподалёку от метро «Аэропорт», и позвонил, и он открыл мне дверь, улыбаясь и протягивая мне навстречу свою крепкую, сухую руку, и мы прошли в его кабинет, и были там вдвоём, и говорили, о многом тогда говорили, потому что интересовало его абсолютно всё, и оказалось, что я, можно сказать, его земляк, потому что сам он родом из Кировограда, бывшего Елисаветграда, а я вырос в Кривом Роге, и это совсем рядом, и оба мы люди степные, чувствуем и понимаем наши степи, их великое пространство, и что-то есть всё же схожее в наших судьбах, вот и он совсем молоденьким приехал в Москву, и бывало здесь ему тяжело, а родина, степная родина, родина души, поддерживала, спасала его всегда, и мы, люди степей, люди Русской Степи, протянувшейся от Дуная до Заволжья, несколько иные, нежели эти, городские, особенно московские, люди лесных широт, которым неведомы подлинные просторы, и хорошо, что я пришёл к нему, на него повеяло молодостью, а то, что у меня всякие неувязки в жизни — это пустяки, это всё утрясётся, это ещё не трагедия, выход есть,

и он сам непременно поучаствует, поможет, — и некоторым другим, заведомо хорошим, людям, из числа его знакомых, из тех, кто имеют вес или влияние в писательской среде, скажет, и они подсобят, и всё обойдётся, всё будет хорошо, главное — писать, писать стихи, жить поэзией, — и я читал ему, и он слушал, сидя за своим письменным столом, вначале откинувшись назад, на спинку стула, а потом внезапно весь подавшись вперёд, и скорбное, резное, прекрасное лицо его преобразилось, ранее бледное — порозовело, заиграло огнём, и глаза, печальные, усталые, раскрылись, и в них заиграл, засверкал этот молодой, живучий огонь, и он был весь — ринувшийся навстречу звучанию моих стихов слух, весь был — зрение, острое, пронзительно-точное, и действительно глаза его были как «два незримых алмазных копыя», и копыя эти были ещё и световыми лучами, а стихи мои звучали, и Тарковский, человек пожилой, тогда ему было под шестьдесят, молодел у меня на глазах, и степная порода звенела в нём тайной струной, и какая-то столь идущая ему, столь естественная статья проявилась вдруг во всей фигуре его, ранее несколько сутулящейся, как бы вжатой внутрь, он распрямился, распрямились, расширились плечи, расправилась, задышала свободней широкая грудь воина, и руки, его сухие, крепкие кисти, оказались едва ли не крыльями, как-то запели, ожили, чувствуя ритм, и голову он закинул высоко, будто смотрел там, где-то в степях наших, в чистое небо, и слышал, не здесь, от меня, а там, в вышине, мелодию, которая растрогала его и которой он поверил, — и потом я услышал впервые те слова от него, что запомнил надолго, что с тех пор со мною всегда, — о присутствии тайны в стихах моих, и о том, что в них свет ощутим в каждом звуке, и ещё, о другом, откровенно, впрямую, всерьёз, не скрывая ни радости, ни изумленья, ни грусти — ну хотя бы о том, что судьба моя не из простых, что придётся мне впредь натерпеться, и выжить, и встать из безумия общего, став наконец-то собою — и сказать, всё сказать, там, в грядущем, к чему был я призван, поскольку весь дар мой — от Бога.

Долго можно говорить об этом человеке.

Свою любовь к его стихам, которая началась ещё в шестидесят втором году, в Кривом Роге, когда я, шестнадцатилетний парень, уже всюю живущий поэзией и не мыслящий себя без неё, прочитал его книгу «Перед снегом», я оберегал от всяческих вторжений извне, от тогдашнего, разнузданного богемного отношения некоторых моих знакомых к подлинной классике, я твердил его строгие, горькие, просветлённые стихи в годы скитаний, я читаю и перечитываю их и теперь, в девяностых годах, потому что без них — нельзя.

Тарковский происходил из древнего, царского рода кумыкских шамхалов. Старейшины дагестанского селения Тарки приходили к нему на поклон, когда в тридцатых годах он побывал там с группой переводчиков, — и это насмерть перепугало начальство, — и писательскую группу немедленно возвратили в Москву. В Тарках находятся родовые могилы предков поэта. А теперь, в девяностых, в Дагестане проходят дни обоих Тарковских — отца и сына. Кровь кумыков, называвшихся ранее половцами, народом, родственным казакам, — а возможно, когда-то это был единый народ, и только позже религии и изменившийся язык разъединили их, — текла в жилах поэта, и это была степная кровь, и, наряду с другими, позднейшими, тоже струившимися в его жилах, придавала она особый строй и особый характер его поэзии.

Наверное, как рыбак рыбака видит издалека, так и степняка степняка видит издалека.

То родственное, что я ощущаю в поэзии Тарковского, то кровное, самое главное, определяющее — совершенно всё, дающее тон всему творчеству — и поведению человека в жизни, то самое глубокое, сокровенное, что уловить может только близкая душа — судя по всему, сразу почувал и принял в свою душу он и в моих стихах. Та, важнейшая, духовная связь, её несомненное наличие, её воздействие, её свечение — судя по всему, решили всё в его отношении ко мне.

Я стеснялся его лишний раз беспокоить. Мне и в голову не приходило напрашиваться к нему в гости — или, чего доброго, просить его, как это всюю делали другие, помочь мне с публикацией моих стихов, да и просто — обращаться за помощью. Боже упаси! Нет, он был для меня — вот таким, каков он есть, самим собою, Тарковским, и этого для меня было достаточно. Изредка мы виделись. И все эти встречи я прекрасно помню. Он, как я теперь понимаю, тоже, ещё в былые годы, оценил и внутренне одобрил такое моё, независимое, поведение. О моём серьёзнейшем отношении к его поэзии он не только догадывался, но и прекрасно знал. Постарались ему доложить об этом, и даже преуспели в этом, — те, другие, из литературной и окололитературной шатии-братии, которых хлебом не корми, а дай лишний раз передать кому-то, что именно и когда кто-то о нём сказал. Вот уж действительно — публика! Ну, Бог им судья.

Тарковский некоторое время находился если не в гуще литературной жизни, то, во всяком случае, в гуще тех самых молодых, и не очень молодых, пишущих стихи людей, для которых были созданы специальные, возглавляемые известными мастерами, секции. Для этих секций выделили помещения в ЦДЛ — Центральном Доме Литераторов, или гадюшнике, как все мы его называли. Вначале был объявлен жесточайший конкурс. Молодые пииты боролись за место под солнцем. Они пускались во все тяжкие, шли на какие-то непонятные сделки с кем-то, интриговали, сплетничали, выслуживались — и лезли, лезли, лезли туда, поближе к литературе, к начальству, к нужным людям, к официозу, ибо там — им светит, там — глядишь, и печатать начнут, и книжка выйдет, и в союз писателей примут, там — будущее для них. Они лезли — и пролезали. Было их как собак нерезаных.

Меня приняли сразу, в первую очередь, без всякого конкурса, как выдающееся молодое дарование, да ещё и смогиста, и при этом некоторые цедезловские деятели весьма охотно именовали

меня самородком. Ну, что скажешь? Побывал же я на этих самых секциях всего несколько раз, через силу, потому что уж довольно характерной публика там была. От неё так и разлило угодливой толпой. Некоторые способные ребятишки там всё же занимались, но уж очень мало их было, да и затёрли их потом, довольно скоро, на ходу набирающиеся ума-разума для официального своего существования, нахальные, беспринципные горлопаны и пронырливые тихони. Грустное было зрелище. Я, как увидел это, сразу всё понял. Нет, это не для меня.

Но к Тарковскому — чтобы его самого увидеть — пришёл.

Помню, схватили меня прямо в коридоре эти самые окололитературные нахалы, под белы ручки потащили, ввели в комнату, где все они кучковались, а там — Арсений Александрович. Ну, это совсем другое дело. С меня сразу всё раздражение слетело. Я буквально ожил.

Поэт. Сидит — один, посреди комнаты, возле стола, на каком-то нелепом, скрипучем стуле. Палка в руках. Негнущаяся нога, вернее — протез, который всегда его смущал, заставлял даже страдать. Другая нога, в тяжёлом ботинке, крепко стоит на полу, упирается в пол, всю тяжесть тела в него вдавливают. Руки. Сухие, жилистые, степные. Прямая спина. Стать. Голову то наклоняет немного вперёд, словно набывчившись, то легко и молодо откидывает назад, отчего косое крыло зачёсанных вправо, сидящих, но ещё не полностью седых, прямых волос ложится на высокий, нет, очень высокий, открытый чистый лоб, а потом ещё движение головы — и крыло возвращается обратно. Фигура — соединение птицы и всадника. Изломанные, густые, говорящие о породе, брови. Мешки под глазами. Морщины, складки — на ясном лице. Глаза — вовнутрь глядящие, обладающие не только внешним, но и внутренним зрением. Иначе таких стихов не было бы. Губы, сжатые плотно, сухие. Упрямый подбородок. Изваянная из музыки, из мысли, точёная, очень пропорциональная по отношению к торсу, очень характерная голова. Состояние: грусть.

А вокруг — каре: с четырёх сторон, окружая, взирая, переглядываясь, шушукаясь, пофыркивая, похрюкивая, помалкивая, со своими портфелями, папками со стихами, со своими проблемами, с написанным на лбу у каждого желанием: печататься! хочу печататься! во что бы то ни стало! любой ценой! — разномастное, разнокалиберное кодро оглоедов, шушера в основном, за редчайшим исключением, «будущее советской литературы».

Втащили меня. Отпустили. Уселись по местам, ждут чего-то. Я — тоже в центре комнаты. Стою. Молчу. На меня смотрят — все оглоеды, скопом. Тоже молчат.

Передо мной — только Тарковский. Видит меня. Светлеет. Опять вижу: происходит в нём преображение. Всего его существа. Вдохновение в нём, закипающий в жилах огонь. Молодеет. Свежеет. Состояние: страсть.

Глаза навстречу мне вспыхивают. Руку мне протягивает. Улыбается — своей улыбкой, таких больше не припомню. Пожимает мне руку, привстав. Смотрит на меня в упор: степняк степняка...

И — крылатый жест сильной, взлетающей кистью. И — глуховатый голос. Искренние слова:

— Здравствуйте, Володя! Рад вас видеть.

Я, тоже искренне:

— Здравствуйте, Арсений Александрович! И я рад видеть вас.

И — сразу, без паузы, в новом порыве, взлёт кисти-крыла:

— Почитайте стихи!

Я, без обиняков, тоже — сразу:

— Вам, Арсений Александрович?

Он — глаза, брови, руки, губы:

— Да!

Надо читать.

Стою посредине комнаты, напротив него. Читаю. Читаю — и забываю об окружающих нас оглоедах, и опять словно заново пишу, сызнова переживаю стихи свои, закрыв глаза, голову

закинув, — именно так меня Артур Владимирович Фонвизин в конце мая шестьдесят пятого года и написал, сделал эту акварель свою, первую после перерыва, после сложнейшей глазной операции, вернувшей ему зрение, и сказал: «Вот, Володя, я написал вас — поэтом!» — читаю — как пою, читаю — как летаю, нахожусь, чувствую это, в состоянии транса, вижу то, что читаю — внутренним зрением, слышу — голос, это мой голос, он меня и ведёт, он и звучит, читаю — и, приоткрывая глаза, вижу: Тарковский слушает, и не только слушает, он — всё слышит, слышит — видит, слышит — понимает, ему это — дано, он чувствует — связь, он — на моих частотах, на моей волне, он — единственный здесь, кто — слышит, кто — понимает, а остальные — нет их, остальных, есть — он, Тарковский, и я перед ним — читаю. Пою. Песнь мою он слышит — вот что замечательно. Читаю — не помню уж, сколько времени. Заканчиваю. В комнате — тишина. Потом — гул. Их — не слышу, не вижу. Смотрю на Тарковского. Глаза. Всё ясно. Жизнь и песнь.

Для литературных оглоедов был я в те годы одновременно и притягательной фигурой, и белой вороной. Белой вороной — потому что никогда не смешивался с ними, не якшался, наоборот, сторонился, брезговал, был другом своих друзей, был всегда самим собой, всюду — сам по себе. Притягательной фигурой был я для них оттого, что молодая слава тащилась за мною сама, где бы я ни был, где бы ни появлялся на людях. Слава эта оттягивала мне плечи, как разбухший от влаги, изрядно вымокший под проливным дождём плащ. Но она — была, её наличие было — несомненным, вот это и притягивало ко мне всяких любопытствующих субъектов, группами и поврозь.

Помню, как они, в тех же шестидесятых, предварительно по-смаковав эту новость в своих рядах, по очереди, один за другим, этак с подъёмом, с пафосом, преподнося это как сенсацию номер один, торопясь преподнести это, как на блюдечке, мне докладывали:

— Арсений Александрович Тарковский давно уже всем говорит, что у Володи Алейникова в стихах — каждая строчка гениальная!

Ну, коли так, то — знал, что говорил.



...Помню март шестьдесят шестого.

В Москве как раз началась неделя — подумать ведь только! событие-то какое, наконец! — итальянских фильмов.

Столичные, виды выдавшие не единожды, вроде бы, жители, но такого ещё и не чаявшие повидать на веку своём, вместе с приехавшими из провинции смельчаками, рискнуть решившими, на авось, была не была, вспомнив чеховское, призывное, золотое: «в Москву! в Москву!», полагаю, да все вокруг, ну кого ни возьми, ни вспомни, все решительно, поголовно, так что счесть возможности не было никакой эти буйные скопища фанатов, так их теперь называют, а раньше как называли, никто не скажет, вероятно, просто любителями, дорывавшимися до зрелищ с боем, шумом, скандалом, лишь бы им проникнуть вовнутрь, туда, где ждало их, возможно, нечто небывалое, лишь бы им в зал попасть, любой ценой, где начнётся вскорости действие удивительное, для них, героических наших граждан, храбрецов безбилетных, или, реже, правда, счастливых, с билетом, всех, к победе идущих по-своему, всех, желающих причаститься, без булды, святого искусства, всех, страдальцев и правдолюбцев, идиотов и мудрецов, матерей, детей и отцов, и студентов, да и рабочих, всех, до радости встарь охочих, и художников, и поэтов, и учёных, и дам почтенных, и нахальных лихих девиц, и писателей, и врачей, и военных, и коммунистов, словом, всех, надоело, право, их сегодня перечислять, — все буквально с ума сходили по такому вот кинематографу, заграничному, непривычному, не советскому, значит — отличному, всё в нём было давным-давно, потому-то — даёшь кино!

Громадные толпы жаждущих увидеть хоть что-нибудь, если вдруг повезёт, бывает ведь, штурмовали кинотеатры.

Мы с тогдашней моей женой, кареглазой Наташей Кутузовой, посмотрели всего-то навсего один-единственный фильм, но зато уж какой! — «Джульетта и духи», шедевр последний, никем доселе не виданный во пределах отечества нашего, волшебника Федерико Феллини, с его женой Джульеттой Мазиной, в главной, и тоже волшебной, роли.

Совершенно случайно это, как обычно, произошло.

Почему-то, зачем и как, неизвестно, поди гадай, да не всё ли равно, поскольку это было когда-то с нами, и осталось, в числе чудес, оказались мы возле Дома литераторов. Ну а там — это надо же — фильм Феллини!

Перед входом — людское море.

Сонмы бурных — сквозь гул — страстей.

Как нам быть? Фильм начнётся вскоре.

Ждать чего-то? Каких вестей?

Подошёл я с большим трудом к приоткрытой внутренней двери, охраняемой с двух сторон разъярёнными некими церберами.

И увидел вдруг, за стеклом, в вестибюле, забитом писателями и какими-то смутными личностями, непонятными мне, Тарковского Арсения Александровича, стоявшего в одиночестве, посреди всеобщего шума возбуждённого, и глядящего ввысь куда-то, и вглубь, и вдаль, в измерения, в миры другие.

Взгляд поэта скользнул пониже.

Пробежал по лицам бесчисленным всех, собравшихся в вестибюле.

Опустился медленно вниз.

Приподнялся выше, до уровня глаз моих, лица моего.

(Ну конечно: «земле — земное».

Так назвал он — книгу свою.)

И увидел: земное — рядом.

И заметил меня — за дверью.

Помахал я ему рукою.

Помахал он и мне рукою.

А потом — подошёл поближе.

И сказал:

— Идите ко мне! Рад я встрече с вами, Володя!

Разъярённые некие церберы с двух сторон — расступились молча.

Мы с Наташей, за руки взявшись, да покрепче, прошли в вестибюль.

Подошли к Тарковскому. Стали разговаривать с ним, о том да о сём, о стихах, в основном. Любопытные — нам внимали.

Ведь считал Тарковский тогда, что в стихах моих «каждая строчка — гениальная». Прямо в точку, говорили. Моя звезда высоко стояла. Вокруг оглоеды роились, пишущие, всё на свете мгновенно слышащие, каждый — вроде бы лучший друг. Был я встарь независим, строг с этой сворою безобразною, злоязычною, впрямь опасною и завистливой. Видит Бог, был я сам собою, везде, не кичился ничем — ни даром, свыше данным, ни дивным жаром, обретаемым лишь в труде, постоянном и неизменном. Болтунам любопытен был каждый шаг мой, и прежний пыл, им казавшийся вдохновенным.

Говорили мы, два поэта, молодой — с весьма пожилым.

Рёв раздался, на улице где-то. Грянул гром, тут же, вслед за ним.

Стены дрогнули. Дверь — открылась.

К потолку суета взвилась.

Что-то грохнулось и разбилось.

Это внутрь — толпа ворвалась.

Подхватила толпа несметная, на лету, на бегу, Тарковского и меня с Наташей Кутузовой, подхватила и понесла, оголтелая, проломившая все кордоны и двери писательского, ну, держись, мол, теперь, «гадюшника», подхватила, почти на весу, нас троих, без всяких билетов, прямо в зрительный зал внесла, дерзновенная, неисчислимая, в честь искусства преграды разрушившая,

и заполнила зал, до предела, и расселись все, кто куда, и затихли, и стали ждать, с нетерпением, начала фильма.

Ничего не могло начальство со стихией этой поделать.

Никуда её не прогонишь — и в ментовку её не сдашь.

Не угробишь, как ни пытайся изгаляться, — любовь к искусству.

И пришлось начальству гадюшному — демонстрировать всем нам фильм.

Так что факт исторический — взятие Бастилии, крепости грозной, неприступной, толпами дружными по-боевому настроенных французов — с тех пор представлялся мне совершенной реальностью, будто бы, пусть и случайно, да всё-таки и мне там пришлось побывать.

Фильм Феллини привёл в восторг меня и глубоко поразил. Впечатление от него навсегда осталось в душе.

Это было искусство таинственное, магическое, мистическое, пластичное, полифоничное, настолько близкое мне, что многие годы потом существовало в сознании скорее как музыка дивная, а не кино, другое нечто, во всяком случае, зрительность долговечная его удивительным образом соединилась, как-то сроднилась вдруг со звучанием, быть может, воображаемым, или же просто мною сочиняемым, про себя, когда вспоминал я какие-то характерные эпизоды, и так у меня бывало часто, и всё для меня наиболее дорогое превращалось именно в музыку, и не думавшую прекращаться, уходить, исчезать куда-то, но в душе моей поселявшуюся и свободно жившую в ней, и возникавшую сызнова, в любую секунду, мгновенно, по малейшему даже, но искреннему желанию моему, оживавшую — и потом развивавшуюся, разветвлявшуюся, вместе со мною движущуюся сквозь время и сквозь пространство, и к этому я привык давно уже, это моё, моя особенность, вот что, и мне хорошо с этой музыкой наедине быть, рядом, в месте любом, в любых условиях, потому что никто её, кроме, разве что, меня самого, не слышит, а она, земная такая, и небесная, тем не ме-

нее, всё звучащая и звучащая, мне не только слышна, но даже видна, вот такая загадка, вот такая странность, но это ведь та реальность, которая движет, прежде всего, творчеством, вызывает из глубины какой-то нужные, важные импульсы, извлекает из прорыва какой-то нужные, важные, точные, очень личные, чистые звуки, за которыми, вот она, вот она, уже встаёт вдалеке и движется прямо к тебе, только к тебе одному, та вещь, которую пишешь ты, которую вдруг, объяснить невозможно, ты начал записывать, потому что она пришла к тебе, сама, потому что так надо, именно так, и никак не иначе, вот ведь в чём дело, именно в это мгновение, и ни мгновением позже, и всё оживает, звучит, всё дышит и видится ясно, слово за слово, слово за слово, по наитию, по чутью, речь сама говорит, что делать, речь сама говорит, как быть, и диктует сама тебе то, что пишешь ты, именно речь, вечной ткани вселенской частица, тех миров и планет посланница, с которыми есть у тебя незримая связь, и всегда из единства всего живого, в котором ты чувствуешь разума высшего токи, духовная светлая нить к тебе, сквозь явь твою, с правью её, протянута, и тебе предстоит работать всё больше, и в трудах этих, только в них, ощущать себя человеком, быть самым собою, да просто всё вместить в понятие: быть.

А девятого марта все мы, как-то разом осиротевшие, так тогда почему-то казалось, прощались с Анной Ахматовой.

Помню, как заходили мы, грустные, притихшие, присмирившие, молчаливые непривычно, чередой прерывистой, медленно продвигающейся куда-то в неизвестность, вперёд, в какое-то неизведанное пространство или, может быть, измерение, всё бывает ведь, или в мир параллельный, или за грань, ощутимую кожей всею, всем хребтом, не выразить это, все четыре стороны света сговорились тайну хранить, и тянулась из бездны грозной, из торжественной тризны звёздной, к нам, сюда, незримая нить, не понять нам было, конечно же, ничего, в тот скорбный, суровый, отрешённый от всех забот и сует, от

сплошного быта, от всего, что, взглянув открыто, уходило по-
дальше, в тень, затаясь там, бездонный день, со скользящим
ледком, снежком, серебрящимся на асфальте, под ногами,
с морозцем лёгким, с ветерком, по Москве сквозящим, с холод-
ком пустоты, разящим наповал, повсюду, по всей напряжённо
застывшей округе, словно весть разнеслась по ней об утрате ог-
ромной, точно с голубиною, может, почтой или как-то ещё,
пришла весть другая, издалека, из безмерной выси небесной,
из разъятой глубы вселенской, о величье, о доле женской,
о бессмертье, о том грядущем, что вставало там, впереди, что
ждало, понимало, пело, что сюда заглянуть сумело, что с ду-
шою срастись успело и сжимало сердце в груди, помню, как
с переулка пустынного заходили мы, постепенно, в тишине,
всеобщей, и властной, и тяжёлой, в один из дворов жутковато-
го института Склифосовского, а потом — в одно из приземи-
стых, старых, виноватых каких-то, с виду, все трагедии, драмы,
обида, и труды, и бывшие беды, и мучительные беседы, и реши-
тельные победы стольких лет внутри накопивших и в разду-
мьях своих застывших огорчённо, зданий его.

Поднимались наверх по лестнице в какое-то помещение.

Там лежала та, что была, долго, более полувека, во пределах
отчизны нашей, и везде, где имя её драгоценным для многих
было, и останется и в грядущем вечным, Анной всея Руси, как
сказала о ней Цветаева.

Там лежала та, что была всей судьбою своей светла.

Там лежала та, что звалась, так по-царски, — Анна Ахматова.

Так по-женски звалась всегда.

Словно в небе ночном — звезда.

Как в июне — всю — теплынь.

Как в степи за холмом — полынь.

Как в лесах вековых — река.

И в снегах роковых — тоска.

И — свеча за окном, в глуши.

Всё, что шепчешь порой в тиши.

Всё, что помнишь и что зовёшь.

Что с собой, уходя, возьмёшь.

Что, вернувшись, припомнишь вновь.

С верой — чаянье. И — любовь.

Свидетельство: сияние стояло тогда над ней.

Сияние — предстояния: пред всем, что душе родней.

Сияние: состояние, которому равных — нет.

Сияние — расстояния. С небес благодатный свет.

Было много народу. Шла и росла череда людская. И немало знакомых в ней, друг на друга взглянув, кивнув головою, взмахнув рукою, в знак приветствия, шли и шли, вдоль сияния, вдаль куда-то, в глубь, над коей сияла — высь.

И казалось, что в небе где-то, прямо днём, подтверждая это, всем на память, величье света, сонмы звёзд над землёй зажглись.

И я вспоминал не единожды возникавшее на протяжении трёх лет минувших желание некоторых моих тогдашних добрых приятелей познакомить меня с Ахматовой — и думал, что правильно я поступал, от возможных визитов отказываясь неизменно, потому что знал, по чутью, по наитью, всегда: так надо, — и теперь, в день прощальный, увидел я то, чего никакие знакомства не могли бы мне дать, не открыли бы: дух, присутствие духа высокого, торжество его в мире, сияние.

Чем ещё памятен этот, глядящий сюда из былого, ждущий волшебного слова, чтоб вернуться сизнова, март?

Маршруты его и встречи, оставленные далече, просвечивают из речи, храня молодой азарт.

Мы с женой хотели снять комнату, чтобы жить в ней самостоятельно, молодою семьёй, искали, но, увы, ничего не нашли.

Жили мы в непростых условиях, — всё стерпели, перемогли.

При малейшей возможности мы уезжали куда-то, были там допоздна, потом возвращались ночевать, чтоб снова с утра

уходить, пораньше, конечно же, поскорее, туда, где ждали нас, где встречали радушно, искренне, нам желая только добра.

Приходили — туда, куда звали.

Звали — многие. Каждый день.

Приглашения мы — принимали.

Всем общаться было не лень.

Ведь общение в прежние годы всех спасало, нужно было — всем.

В нём — залог возможной свободы? Свет, пришедший к нам насовсем?

(Помолчим — о свободе. Так ли представляли её мы встарь?

Свет — сквозь сумрак. Отзвук миракля. Грани фаска — сквозь фарс и хмарь.

То-то сердце сильнее бьётся.

То-то чаще душа болит.

Век — уходит. Речь — остаётся.

Что-то ждать перемен велит.

Изменений каких-то? Вмиг?

Словно в сказке волшебной? В яви.

В том, что нынче постичь мы вправе.

В том, что вышло к нам не из книг.

В откровеньях. И в чудесах.

В мыслях, чаяньях, упованиях.

Искони — в земных расставаньях.

В новых встречах. И — в небесах.)

Этот март был до встреч охочим.

Встречи встречами. Всех — не счесть.

Но была в нём — благая весть.

Этот март — был ещё и рабочим.

Писал я тогда стихи, циклы стихов, составившие книгу, названную, в честь поэта, и скитальца, и ясновидца, всех юней, «Путешествия памяти Рембо», — и другие вещи, из которых позже сложился том довольно большой — «Возвращения».

То и дело меня куда-нибудь, в дома, где любили поэзию, в салоны для избранных, где собиралась богема столичная, в мастерские художников наших авангардных, полузапретных, в институты, вроде Курчатовского, приглашали читать стихи.

Смогистская слава моя, бывшая, периода бури и натиска, год назад, всего-то, и всё же бывшая, и потом, в шестьдесят шестом, да и позже, была очень прочной.

Двадцатилетний, считался я настоящей тогдашней звездой.

Знатоки, семи пядей во лбу, толковали стихи мои, каждый — на свой собственный, личный, особенный, и мудрёный поэтому, лад.

Любители современной, притягательной, новой поэзии, в отечестве не издаваемой, приходили ко мне на поклон.

Молодые поэты, московские, петербургские, провинциальные, добивались встречи со мною, были ждать месяцами готовы, лишь бы только моё услышать, о своих писаниях, мнение.

Авторитет у меня был, так сложилось, огромный.

Всему этому, разумеется, способствовала молва о том, что я пострадал из-за СМОГа, что я гоним властями, что изгнан был из университета, что где-то в зарубежных изданиях были публикации у меня, что стихи мои здесь, на родине, запрещено издавать.

Всё это, в молодые годы мои, так и было.

Но как же всё-таки, братцы, в минувшие времена действовало на людей всё вместе — и то, что сумел я устоять, сумел, вот и всё тут, несмотря на все испытания, сохранял, всегда, независимость, сохранял присутствие духа, очень много работал, держался молодцом, да и то, что, будучи, вроде бы, человеком публичным, общительным, компанейским, вдруг замыкался я, уходил от всего, что мешало мне, в свой мир, закрытый от всех, в то, что писал, в свои стихи и прозу, и этим затворничеством своим, трудно весьма дающимся, особенно при отсутствии собственного жилья, да просто угла своего, дорожил чрезвычайно, — и всё вкупе всегда обсуждалось, широко, с интересом явным,

с любопытством, на всех семи холмах столичных, и далее, по разным провинциальным городам и весям, немедленно порождало и множило слухи, ну а с ними и мифы, легенды, — и работало, вот что занятно, на образ, для них, всех оптом, любопытствующих, празднословных, почему-то интересующихся не только моим, и это понятно мне было, творчеством, но и жизнью моей повседневной, и сплетающих, ловко, усердно, из всего, что связано было со мною, сказки свои, — сам же сроду я не кривлялся, не строил, кого — неведомо, из себя, нигде, никогда, вёл себя естественно, просто, в любых обстоятельствах, даже в самых трудных, самых рискованных, самим собой оставался, поскольку так вот и надо вести себя в жизни, в моём понимании, давнем, личном, — так и жил, и работал, тогда, в крылатых шестидесятых, так и живу, представьте, только ещё, пожалуй, проще, так и веду себя, ещё, возможно, естественнее, и работаю, полагаю, ещё больше, в зрелую пору свою, сокровенную, личную, в девяностых, — но, вот что занятно, и досадно, и грустно, в общем-то, всяческие легенды обо мне, человеке, работающем больше всех моих современников, продолжают, в различных краях, и в провинции, и в столице, и на родине, и за границей, появляться, им несть числа, нет на них утомона, право, коли мыслить об этом здраво, всё в них вместе, хула и хвала.

Ну и нравы, ну и привычки у людей, неразлучных с молвой!

Подбирают любые отмычки к слову точному, к мысли живой.

Годами буквально прячешься, от суеты ненужной, от раздражителей всяческих, затворничаешь, отшельничаешь, да и только, десятилетиями всех этих разносчиков слухов, сплетен, легенд и мифов не видишь, и на душе спокойней без них, — а они, по-прежнему, по инерции, продолжают всё тем же самым заниматься, не уставая, — да ещё и, на смену им, устаревшим, новые сказочники, мифотворцы, сплетники новые и разносчики слухов, надо же, незаметно, вроде бы, вот они, современные эти вирусы, что мутируют нынче запросто, как-то исподволь подросли.

Спohватившись, припоминаю, что страна-то у нас — из сказок Афанасьева. И улыбаюсь: всякое здесь бывает, и то ли может ещё быть, и мало ли что уже бывало — и, вновь махнув рукой, отвяжитесь, мол, отстаньте, на все эти штучки с византийским плетеньем словес, живу неизменно по-своему и своим занимаюсь делом.

Но кто бы представить мог, что весной шестьдесят шестого, в кинотеатре «Форум», на Садовом кольце, неожиданно для всех, вдруг покажут великий фильм Федерико Феллини «Восемь с половиной»! Чудеса продолжались, видимо, в Москве. И мы узнали об этом совершенно случайно. Шли по Колхозной площади, там, где была когда-то Сухарева башня, та, в которой чернокнижник Якоб Брюс астрологией спокойно занимался или магией, — та самая, которую почему-то взяли да снесли в сталинские времена лихие. Смотрим — от площади, вниз, к «Форуму», толпы густые взбудораженных чем-то людей стекаются, уплотняясь, разрастаясь, гудя о чём-то, бормоча, восклицая, крича. «Вы куда?» — «А что, вы не знаете? Поспешите! Скорее, скорее! Говорят, что единственный раз будут фильм крутить, да какой! Догадались? Шедевр Феллини!» И — вперёд. И, вместе с толпой, буйной, плотной, многообразной, мы с Наташей уже оказались возле входа в кинотеатр. Но туда — никого не пускали. И тогда осерчала толпа — и рванулась на штурм, и смела все кордоны, и дверь проломила, и внеслась, многоликая, в зал. И — затихла. И стала ждать: ну когда же покажут фильм? Никаких безобразий — не было. Абсолютная дисциплина. И достойная всяких похвал, на упрямстве людском, на желании, на тоске по чуду возросшая, потому и прекрасная — выдержка. Все умели в те годы — ждать. Это стало — всеобщим искусством. Ждали. Час. Полтора. Милиция начеку была. Никаких нарушений порядка общественного не замечено было. Народ ждал. Прошло два часа. Никто и не думал уйти. Сидели и стояли, вплотную друг к другу. Зал

заполнен был до предела. Ждали. Молча. Надеялись. Верили, что свершится чудо, что фильм нынче будет показан. В зале тишина стояла такая, как, наверное, перед решающим, неминуемым, скорым сражением. И тогда — совершилось чудо. В зале свет погас. А экран — ожил. Фильм, о котором столько приходилось нам слышать, странным, ирреальным, пожалуй, образом, потому что иначе не скажешь, — мы увидели. Убедились, что в Москве бывают порою настоящие чудеса.



...Две Натальи — Горбаневская, стихи которой так я любил в молодости, да и теперь, в зрелых годах своих, искренне их люблю, и Светлова, ещё не ставшая Солженицыной, — были в шестидесятых очень со мной дружны.

Обе подруги, Натальи — Горбаневская и Светлова — в меру своих возможностей, по тем временам немалых, всячески, дружно, способствовали росту моей известности.

Они охотно знакомили меня со своими друзьями и просто с людьми хорошими. Встречи, всегда интересные, шли сплошной чередой.

Да и сам я обычно в долгу перед ними не оставался — и знакомил их с теми людьми, которых знал я тогда.

Общение постоянное, которое, как ни пытайся, ничем никогда не заменишь, было в шестидесятых необходимостью жизненной, такой же нужной и важной, как воздух или вода.

Все мы жили — в тоталитарном, как сейчас любят это подчёркивать, всё сойдёт, мол, и всё сгодится, и зачем церемониться с этим, если ясно и так, что к чему, и зачем, и почём, — государстве.

Да, так. Но внутри вот этого пресловутого, распроклятого тоталитаризма — кипела полноценная, светлая жизнь.

Это была другая, вовсе не государственная, подспудная, не испоганенная казёнщиной, официальщиной, если хотите — свободная, так я считаю, жизнь.

Наша жизнь — вопреки бесчасью.

Победившая зло, по счастью.

Наша собственная, родная, дорогая навеки — жизнь.

В ней, полнокровной, подлинной, насыщенной до предела событиями различными, нашей, творческой, жизни, литература была — нашей, искусство — нашим.

Теми, которые мы сами — тогда — создавали.

Такими, какими их мы сами — всегда — создавали.

Со всеми их, оптом, достоинствами и, бывало и так, недостатками.

С их открытиями и прозрениями.

С их судьбою, общей, для всех.

И с их судьбами, разветвлёнными, но зато — от единого, общего, в почву вросшего, к небу вознёсшего стебель свой и цветы свои, корня.

В годы прежние наше общение было в чём-то сродни причащению.

Или, может быть, даже крещению.

Потом уже было — прощание.

И — для всех ли, не знаю, — прощение.

У меня вот сейчас — возвращение.

Неизбежное. Вроде бы — вспять.

А на самом-то деле — как знать?

Завиток спирали опять повернётся — и, может, окажешься не в былом, а в грядущем. Всё ведь может быть у нас. И бывает, мне поверьте. Не столь уж и редко.

На опыте собственном знаю: бывает. С одним лишь условием: если всё, чем ты жив, — от Бога.

Если судьба твоя, горькая, пусть и так, но зато и прекрасная, горним пронизана светом.

Подруги мои, Натальи, Горбаневская и Светлова, решили меня познакомить с интереснейшим человеком, легендарным поэтом, Аркадием Акимовичем Штейнбергом.

В те годы он, бывший зэк, переводчик серьёзный, известный, но в отечестве не издаваемый долго, многие годы, поэт, а ещё и отличный художник, а ещё и впрямь колоритнейший человек, уникальный, личность, ничего тут не возразишь, человек, в поступках своих, в особенностях мышления, в самом своём образе жизни, смело скажу — очень крупный, подчеркнуто независимый, от писательского начальства и от властей, всегда, где бы ни жил он, в любых, даже самых сложных условиях, возвышающийся над бытом, преображающий всё разом вокруг себя, создающий, день ото дня, годами, десятилетиями, свой собственный мир, наполняющий вокруг себя всё абсолютно, да ещё и пространство, и время, дорогое, земное, — творчеством, изобретатель, по Хлебникову, творец, фантазёр, аналитик, реалист трезвейший, и всё-таки неисправимый мечтатель, человек создающий, светлый, живущий здесь, в настоящем, но глядящий уже и в грядущее, и шагающий в это грядущее то с усилием, трудно, медленно, а то и стремительно, словно шагами и впрямь семимильными, это уж как получалось, как складывалось по судьбе, и вовсе не от него зачастую это зависело, человек закалённый, привыкший упрямо преодолевать непрерывные, вечные трудности, которых было с избытком на пути его, куда больше, нежели у других, по природе своей — боец, стремящийся побеждать, крепкий, тёртый мужик с огромным, уникальным жизненным опытом, да к тому же ещё наделённый магнетическим обаянием, неотразимо действующим на сердца нежнейшие женские, да к тому же ещё и знающий цену дружбе мужской, и притягивающий к себе настоящих друзей, вообще — хороших, достойных, интересных, ярких людей, создающий — свой круг, живущий широко, но не на поверхности пресловутой официальной, а внутри своего круга, своего, хранимого бережно, дорогого, личного, собственного, благодатного, щедрого мира, человек — легенда, и — притча, был он в должной мере когда-то несомненным олицетворением вольнолюбия, свободомыслия, человеческого бесстрашия и служения правде, везде

и во всём, неизменной верности призванию своему, был порядочен, артистичен, прям, открыт молодым, благороден, чист душою, сердцем широк, был отзывчив, поэзию знал — как многие, весь был в искусстве, — все любили его — и, любя, уважая его, восхищаясь им, поражаясь его выживаемости, нет, живучести, полнокровию, воле, мужеству, крепости, стойкости, меж своих называли — Акимыч.

Я давно уже знал о нём. Только встретиться с ним — не пришлось ещё.

Мог бы, наверное, сам проявить, как делали некоторые знакомые, инициативу.

Но срабатывало — моё вечное и совершенно правильное нежелание — людям навязываться. Не в моих это было правилах.

Я считал — и считаю доселе — что всё должно происходить само собою, всё складываться должно лишь естественным образом.

Иначе в том, что с тобою происходит, в разумном течении и в естественном, закономерном, без излишеств, чередовании всех событий и разных встреч, в особенном, органичном звучании полифоничной, достаточно сложной музыки человеческой, личной судьбы, — так я скажу об этом, — возникают, как из-под земли появляются элементы досадной мирской торопливости, намеренных корректив, чуть ли не нарочитости, словно этикие, на поверку псевдодовольные, условные, незнамо зачем какими-то подозрительно скучными, вымученными, совершенно неубедительными, налипающими слоями рябящих в глазах и, хоть тресни, вовсе не запоминающихся, ненужных, лишних, невзрачных, пустых, чужеродных ноток вписанные поверх уже на месте имеющих, на нотном стане записанных, необходимых знаков, образующих — только верное звучание, образующих — неизменно единое целое, — и прочие, диссонирующие, дающие сбои в гармонии, вызывающие досаду, а нередко и возмущение,

фигуристые шутовины, которые лучше всего просто не допускать к себе, в своё бытие.

Судьба сама разберётся во всём, раз уж ты поэт, и что-то, глядишь, отодвинет от тебя подальше, поскольку так надо, хотя бы на время, а что-то придвинет к тебе, откроет его тебе вовремя, именно в нужный день, в нужный час, тогда, когда надо, не раньше, но и не позже, не больше, но и не меньше.

Судьба — это путь к совершенству, это ведь тоже борьба, гармонии — с дисгармонией, полифонии — с противной примитивщиной легковесной, поверхностной голосовой, зачем-то затвержённой партии и простенького, как шорох бумаги, сопровождения, в три аккорда, аккомпанемента.

Судьба — это та, магическая, серебряная труба, из феллиниевской «Дороги», та самая, вещая, вечная, которую вновь и вновь подносит к сжатым губам Джельсомина — Джульетта Мазина, чтобы услышать — зов, дабы почуять — путь.

Судьба — это прядь со лба, в молодости — рыжеватая, упругая, чуть волнистая, в зрелости — сохранившая упрямство своё, но уже сединою снежной затронутая, ковыльная, серебристая, — и здесь, ввечеру, в Киммерии, где стоишь на ветру, сощуришь, и вглядываешься в пространство, путешествуя сквозь времена, взлетающая, незаметно и неизменно, поскольку так надо, в звёздное небо, туда, где совсем высоко, и так далеко, и вроде бы рядом, близко, протянут в безграничном, извечном, седом наваждении мироздания, во вселенском дивном видении, в ожидании чуда, наискось и вдоль, назад и вперёд, расплёрнут влево и вправо, и в глубь, совсем не колодезную, не речную и не морскую, но — ту, что свыше, ту самую, ту, что есть искони — высь и весть, и натянут, настроен свыше мириадами чутких струн, и незримых нитей, и связей, неустанно звучащих,

поющих, и вытянут, весь, устремлён, как бессчётные взгляды, людские ли, ангельские ли, любые, из былого в грядущее, сквозь настоящее, в доли секунды уже былым становящееся, мерцающий вечным светом, наполненный силой нетленной, всей мощью и радостью мира, с его чередой превращений, сцеплениями, узлами, на память ли, для надёжности ли, скрепляющими, связующими всё разом в единое целое, в живую всеобщую ткань, в сплошное, во веки веков, единство и таинство, празднество, творчество, действие, сияющий, плещущий кровью живою, и явью, и правью, торжественный в великолепии своём и прекрасный в своей золотой простоте, Млечный Путь — или, как говорят в наших древних степях, и по всем побережьям исконных морей наших, да и по всем берегам наших рек, отражающих в водах своих наши лица и светлое, неизъяснимо родное лицо всей истории нашей древнейшей, Чумацкий Шлях, — и на этом пути ты волен быть самим собою — всегда.

И судьбе твоей нет предела на вселенском вечном пути — ведь живую душу вселяет неустанно, светло и осознанно в животворных трудах своих, созидательных и целительных, и спасительных для бытия, где любовь расцвела твоя, в мирозданье живое Господь, и по воле Творца мы живы, и поддержаны, певчие, творчеством, и ведомы — звучащим словом, и хранимы — небесным светом, и едины — вселенским родством.

Надо сказать, что Штейнберг тоже знал обо мне.

От друга своей довоенной молодости, Арсения Тарковского, человека, державшегося в стороне от литературной жизни, независимого в суждениях, сдержанного в общении с поэтами молодыми, чутьём отменным, вернейшим, на поэзию, надёжного, скупого на похвалы, внимательного и отзывчивого отшельника благородного, почти земляка моего, с которым был я знаком и который, как все уже знали в Москве, стихи мои ранние всегда высоко ценил.

От бесчисленных общих знакомых, разносивших в ту давнюю пору молву обо мне по Москве, да и не только по ней.

От самых разных людей, литераторов или художников, музыкантов или же просто любителей и ценителей всего, что в нашей кипучей, подпольной, неофициальной среде отличалось от прочего божественного пёстрого творчества, выделялось, своей непохожестью на другое, и новизной.

И так далее. Вестников было в годы прежние — хоть отбавляй.

Да к тому же ещё и громкая, взбудоражившая не только Москву, но и всю страну, а в придачу и за границу, история с напумевшим неслыханным образом СМОГом возымела, конечно же, действие.

Уж о смогистах-то — все поголовно, в те годы, знали.

Ну а кто — говорю для историков новейшей литературы, дабы их просветить, покуда есть у них возможность спросить у меня о том, что действительно было в эпоху минувшую, — главными смогистами? Мы с Губановым. СМОГ — это я и Губанов. А все остальные — потом.

Знать-то Штейнберг знал обо мне, но, думаю, как и я сам, тоже хотел, чтобы всё сложилось разумно и просто, как-то само собою.

Это предположение моё оказалось верным.

Позже Аркадий Акимович мне об этом так и сказал.

Словом, обе подруги, Натальи, Горбаневская и Светлова, да ещё и Ляля Островская, объединившись, твёрдо решили нас познакомить.

Было это весною, всё в том же, обильном на встречи и дружбы, возникавшие, вслед за встречами, иногда, шестьдесят шестом.

Встречу назначили там, где лучше всего, — у Ляли, всё там же, в её деревянном старом доме-скворешнике, где любили мы все тогда вечерами порой собираться.

Почему? Потому что Ляля была бесконечно добра и неизменно приветлива с нами, своими гостями.

Потому что в её обиталище было всем хорошо. Атмосфера была там особая. Аура, как обычно теперь говорят.

И ещё потому, что сердечным теплом и душевным светом наделена была сама хозяйка, худющая, симпатичная, рыжая Ляля, настолько щедро, действительно, что хватало его, полагаю, на добрую половину тогдашней московской богемы, а уж для хороших, избранных, любимых друзей — и подавно.

Потому что не где-нибудь, а именно здесь, у Ляли, предложили прекрасные дамы нам увидаться и познакомиться, наконец, Аркадий Акимович согласился весьма охотно.

Здесь, у неё, — всем было радостно и спокойно.

Здесь — все чувствовали себя уверенно и свободно.

Здесь, наконец, с гарантией, все были — только свои.

По той же причине, уже уставший тогда от всех этих обязательных, ритуальных, непрерывных чтений стихов, сознательно избегавший неприятного для меня, опасного общества некоторых, и даже многих, смогистов, и особенно тех, которые почему-то себя таковыми считали и шумно трезвонили от этом на всех углах, а на деле-то ровным счётом никакого к содружеству нашему отношения не имели, сторонившийся, всё решительнее, всяческой псевдобогемной, расхристанной суеты, всё более уходящий в творчество, постоянно пишущий новые книги стихов, одну за другой, то есть, по существу, непрерывно, серьёзно работающий, несмотря на то, что, по странной для меня, нелепой инерции, продолжал я всё ж обрастать легендами разнообразными и домыслами, в которых было вдосталь всяческой путаницы, а уж слухов невероятных обо мне, как об этом гении молодом, с поведением, ясно, соответствующим, и сопутствующими приключениями, расплзлось тогда, ходило, разлеталось, дробясь и множась без конца, несусветное множество, и всё это оптом, тогда уже, просто страшно мне

надоело, хотя понимал я, конечно: что делать, это — Москва, хлебом её не корми, только дай подольше посплетничать, вволю повосторгаться, избрать для себя, пускай и на время, кумира, героя, — так вот, всё по той же причине, что на вечер у Ляли Островской соберутся только свои, повидаться со Штейнбергом сразу же согласился, конечно, и я.

О чём и было ему напрямую вскорости сказано.

И что ему, из-за нежданного совпадения наших линий поведения и тогдашних твёрдых позиций жизненных, заранее, до знакомства нашего, очень понравилось.

О чём, понятное дело, сказано было и мне.

Таковы были прежние нравы и привычки прежние наши — ничего от друзей хороших в нашем славном кругу не скрывать.

Встреча была назначена — и вот она состоялась.

Мы — Штейнберг, почётный, серьёзный гость, три Натальи и я — собрались вечером у Ляли.

Произошло знакомство.

И так всё естественно получилось, что показалось мне, будто знаком я с Аркадием Акимовичем давным-давно.

Мне полагалось — читать стихи.

Для того, собственно, и собрались.

Штейнберг очень хотел меня послушать.

Мы все сидели за столом, в комнате, той, что побольше.

На столе, по традиции, — несколько бутылок сухого вина, приготовленная Лялей лёгкая закуска.

На одном торце стола — восседал колоритнейший, ведь и не крупный вовсе, а просто — крепкий, жилистый, но производивший монументальное впечатление Аркадий Акимович.

На другом торце стола — сидел я.

По бокам — расположились дамы.

Начали мы с того, что немного выпили. Причём Акимыч и выпивал-то не банально, а по-особенному, очень по-своему, радостно, артистично, красиво.

Появилось у всех и настроение — слушать стихи.

Пришлось мне читать.

Я читал, как и почти всегда в те годы, не заглядывая в тексты, читал — что в голову придёт, совершенно переключившись на звучащую речь, прикрыв глаза и заново каждый раз переживая, будто сызнава его, прямо сейчас, по ходу чтения, сочиня, каждое стихотворение, разволновавшись, настроившись на звук, незаметно войдя в состояние своеобразного транса, поющего, ритмически насыщенного, завораживающего и подчиняющего себе, всей этой непостижимым образом изливавшейся когда-то из меня, изнутри, из души, из сердца, свободной, светящейся музыке, воспроизвести которую, наверное, уже невозможно, во всяком случае — сложно, вовлекающее в это поющее, шепчущее, бормочущее, кличущее действо, тут же, на месте, мною создаваемое — непонятно как, по чутью, по наитию, на одном бесконечно долгом, широком, глубоком дыхании, — всех окружающих.

Я читал — не помню уж, сколько времени, да и неважно это, но читал, наверное, довольно долго, покуда, выплеснув из себя эту музыку, измученный неминуемым напряжением, внутренним своим сосредоточением, не перестал вдруг читать и не открыл, словно пробудившись, глаза.

Я запомнил невероятную, удивившую меня тишину, стоявшую в комнате.

И запомнил ещё — зрительно ощутимое, потому что сам я это увидел, — присутствие здесь, в сжатом четырьмя стенами пространстве, клубящихся, свивающихся, светящихся, постепенно успокаивающихся и становящихся всё прозрачнее, всё невесомее, призрачнее, а потом и вовсе редющих, сквозящих, лишь чуть искрящихся, потрескивающих, будто бы разрядами электрического тока, видений, очертаний, форм, сгустков, слоёв, нитей этой странной, живой ткани, этого созданного

мною на протяжении чтения особого поля, — моей звучащей, вот таким образом, выходит, материализовавшейся речи, — уж не знаю, как и выразиться поточнее.

Но я это — сам видел. Да и не только я.

Все молчали. Пока что — молчали.

Я присел на скрипнувший стул, выпил глоток вина, закурил.

И тогда Аркадий Акимович, несколько изумлённо глядя на меня из-под очков невероятно широко раскрытыми глазами, заговорил.

— Да, — сказал он, одним глотком опорожнив хлюпнувший стакан вина, тут же закулив и окружив себя клубами дыма. — Да, — сказал он, всё более пристально глядя на меня, — почему мы, все мы, не умеем говорить так, как говорят растения, животные, птицы, рыбы, вообще — всё живое, вся природа? А вот Володя Алейников, — он, обращаясь к дамам, вытянул обе руки, ладонями вверх, и простёр их ко мне, — а вот Володя — умеет так говорить! Он этот язык — знает! Боже ж ты мой! — покачал он из стороны в сторону взлохмаченной головой, — он знает язык природы! Язык естества! — Акимыч выпрямился, поднял вверх обе руки и торжественно, патетически, воскликнул: — Он знает язык бытия!

Дамы внимали Штейнбергу.

Он обратился уже ко мне:

— Володя! Как это? Как это может быть? Получается — это бывает. Это — возможно. Я только что, сам, здесь, лично, я, поверьте, кое-что знающий в жизни, слышал от вас — речь сущего! Вы умеете выразить — единство всего сущего! Вы умеете — самое главное.

Он смотрел на меня в упор — и видно было, что он волнуется.

Слова его поразили меня абсолютно точной формулировкой того, что старался я, в меру сил своих и возможностей, делать в поэзии.

Слова эти — я запомнил.

Они предельно выразительны.

Лучше не скажешь.

Вот оно, знаменитое Акимычево чутьё на поэзию.

Конечно, для меня было более чем важно — такое услышать.

Однако, молодость, да и смущение, стеснительность, в те годы сказывавшиеся постоянно и теперь никуда от меня не ушедшие, потому что это свойства характера, да ещё и вечное, сознательное моё нежелание носиться с собой, как с писаной торбой, и вдобавок чтобы ещё и другие носились, и стремление моё не больно-то поддаваться на похвалы, и многое другое, говорящее, полагаю, об отсутствии во мне заносчивости и эгоизма, говорящее также о присутствии здравого смысла, о том, что никогда я не терял голову, что бы обо мне ни говорили, как бы меня ни хвалили, поскольку это — не моё, главное для меня — работа, созидание, творчество, а говорят хорошо — значит, считают так, а мне надо просто работать, и потом, когда-нибудь, всё равно разберутся с моими писаниями, а теперь надо просто жить и работать, вот и всё, вечная моя присказка, — молодость, повторяю, и смущение, и, конечно же, здравый смысл брали своё, — и я, выслушав Штейнберга и запомнив его слова, постарался как-то исподволь снять общее возбуждение, общее волнение.

Мы заговорили о простом, о житейском.

Впечатление от чтения долго ещё, конечно, держалось, — это видно было по лицам.

Но такое — тогда — было закономерностью.

Дамы, слышавшие меня много раз, прекрасно знали об этом.

Оставалось только принимать это как должное.

Ну что ж со мною поделать?

Так — пишу стихи. Так — читаю стихи.

Уж такой, какой есть. Алейников.

И всё этим сказано.

Славный получился вечер.

И хорошо мы поговорили с Акимычем.

Я видел, что он испытал сильнейшее потрясение.

Но он и сам был поэт. Отличный поэт.

И я постарался сказать ему хорошие слова о его стихах.

О каких? Да о той же, единственной из напечатанного, поэме Штейнберга — в «Тарусских страницах», знаменитом альманахе изданном в Калуге, с помощью Паустовского.

Я постарался найти точные слова — о высочайшем его реализме.

Об умении выразить — явь.

О поразительной собранности, дисциплине его поэзии.

О верности слову.

О присутствии духа в строгих, внешне сдержанных, но полных энергии строках.

О голосе его — всегда различимом, для меня, среди голосов других поэтов.

О честности перед поэзией.

О воинском прямо чувстве ответственности за каждое написанное слово.

О верно взятом и безукоризненно точно выдержанном тоне.

О том, что, казалось бы, полярная, поэзия Штейнберга — близка мне.

Неистойой человечностью, которая есть в ней.

Душой, раскрывающейся тому, кто — поймёт.

И, конечно, — жизненной, созидательной силой, огромной, которая, выжив, уцелев посреди испытаний, рождает речь и надолго останется — сквозь времена.

Он слушал меня.

И я увидел просиявшую радость в его глазах — оттого, что и я его понимаю.

В последующие годы мы, бывало, виделись с Аркадием Акимовичем.

Не единожды разговаривали. И на людях, и с глазу на глаз. Говорил Аркадий Акимович иногда:

— Поэзия русская — это такая армия, где взводами генералы командуют.

Он был — прав.

Общаться со Штейнбергом было всегда интересно.

И полезно. И важно.

Здоровый человек. Щедрый. Сильный.

И к тому же — такой талантливый.

Жизнелюбец. Воитель духа.

Помню, году в семьдесят четвёртом, когда он завёл себе избу в деревне, когда была у него совсем ещё молодая, много младше его, красивая и всё понимающая жена, когда вовсю шла его переводческая работа, рассказывал он:

— Побываю в Москве — и не то. Ну всё здесь не то. Сразу тянет к себе, в деревню. Наберу провизии, тащу на себе. С электрички сойду, на своей станции, — а там дождь хлещет. И ничего. Подумаешь, дождь! Провизию — на тачку загружу. Ботинки сниму. Штаны закатаю — и вперёд, босиком, по дождю, по грязи, по холоду, — к дому. Толкаю тачку с поклажей. Шлёпаю по лужам, по колено в воде, — и даже не чувствую, даже думать не хочу о том, что вода ледяная, что осень, холодыга стоит. Мне так идти — интересно, весело! Доберусь домой, растоплю печку, хлопну чекушку водки — и всё, хоть бы хны. Никаких болезней. Здоров. У меня в деревне — красота! Приволье. Полная свобода. А ещё и река. И лодка есть. И дом. Все поместимся. Приезжайте ко мне, Володя!..

Не приехал. Не довелось.

Так уж вышло. Что делать!

Непростыми, увы, оказались мои семидесятые годы.

Когда бы я ни виделся в Москве со Штейнбергом, всегда в его глазах видел я память о том, самом первом вечере, у Ляли, первом и самом важном для обоих нас — так я это понимаю.

Тогда мы сказали друг другу — главное.

А всё остальное — уж как-то приложится, образуется, — тоже само собою.

Всё остальное — давно приложилось, образовалось.

И если что-то и вспомнится, то тяготеет, пусть и яркое, интересное, — к той, самой первой встрече, с её откровениями, в доме у рыжей Ляли, на Трифоновской, где, рассыпая в вечернем, прохладном, но не зябком, сгустившемся в плотную полусферу столичном воздухе свои синие, словно с окалиной, трескучие, мелкими брызгами разлетающиеся искры, звенели на ровном отрезке пути и скрежетали тормозами на поворотах красные трамваи, где волшебный, нарисованный Сашей Харитоновым зверок создавал для гостей и хозяйки уют и покой, а по всей полудремлющей, полубодряющей округе, деревянной и каменной, травянистой, дворовой, песчаной, привокзальной, асфальтовой, на деревьях всюду распускались пахучие, клейкие почки, и бесшумно ходила вблизи, иногда и взлетая, как тихая птица ночная, поодаль, улыбаясь блаженно, светло и загадочно, чуть отрешённо, быть может, но всё же по-дружески, всё же по-свойски, весна...



С Битовым познакомила меня то ли поздней осенью, то ли в самом начале зимы Змеиногорского, шестьдесят пятого года, смогистского, для всех, в столице, в провинции, за границей, везде, где знали об этом, Алёна Баилова.

Встреча, весьма знаменательная, для Андрея и для меня, — начиная с которой впоследствии чередой потянулись долгою годы дружбы нашей, не очень-то на другие дружбы похожей, но зато дававшей обоим нам, неизменно, стимул для творчества, вдохновлявшей то на поступки непредвиденные, такие, что не вместились сроду в рамки заурядные, то на какие-то фантастические прорывы в состояния непредсказуемые, с озарениями, со взрывами всех эмоций, всех чувств и слов, и возможных перемещений, по чутью, в пространстве, сквозь время, и увиденных, по наитию, несомненно, земных красот и небесных высей, со звёздами, поднимавшими отовсюду нас, хмельных или трезвых, звавшими в путь, вперёд, куда-то туда, в даль, которая открывалась перед нами, как данность, в боль, или в глубь, где крупную соль приходилось нам есть пудами, в бесконечной житейской драме, вырываясь из всяких уз, чтобы новый взвалить нам груз на усталые наши плечи, чтобы жить нам во имя речи, как умеем, — произошла, разумеется, у Алёны, в квартире, которую знали в шестидесятых все писатели и поэты, художники, барды, учёные, переводчики, просто люди колоритные, вся богема, о которой впору поэму сочинить мне, в моих-то, нынешних, вон их сколько, седых, полынных и отшельнических, у моря, в киммерийской глуши, где вскоре вспыхнут новых свершений зори, в честь надежд и трудов, годах.

Туда, на Садово-Каретную, в старый дом, которого ныне давно уже нет, поскольку был он позднее снесён, и осталась о нём лишь память, в ту пору, во времена крылатые, отовсюду всех, как магнитом, стягивало.

Алёна была звездой, на гребне своей известности, — в пределах московских и питерских, чего, по тем временам, было уже достаточно, и даже с лихвой, но молва о ней легко достигала и прочих мест, во пределах державы родной, — и там, в отдалении от столицы, превращалась уже в легенду, неминуемо,

при тогдашнем интересе провинциалов к жизни всей, с ореолом запретности и с печатью неофициальности, на творчестве, разношёрстной донельзя, московской богемы.

Алёна была — знаменита.

Ещё бы! А как же иначе?

Поэтесса — из авангардных.

Смогистка. Жена Губанова.

Хозяйка салона известнейшего, где можно увидеть — всех.

Мы очень дружили с Алёной.

В отношениях наших была — доверительность. Даже больше: доверие. Вера друг в друга. Приязнь. Свет общения. Радость. Участие — в судьбах: её и моей. И — открытость. Внимание. Искренность наших поступков и слов. То тепло человечности, отзывчивость и понимание, без которых не мыслил я дружбы. А дружба — была. И — хорошая дружба. Достойная. Мне ли не помнить нынче об этом? И мне ли о ней — не сказать?

Хорошо приняла Алёна и супругу мою тогдашнюю молодую, Наташу Кутузову, и сдружилась вскорости с ней.

И заглядывать стали сюда мы, на Садово-Каретную, в дом, где гостям всегда были рады, с ноября начиная — вдвоём.

Нет конца и края у осени, всем казалось. Но выпал снег. Стало холодно. Ветер хлопал чьей-то форточкой, рвал афиши в клочья, гнал их вдоль тротуаров. На деревьях остатки листьев, замерзая, слетали вниз, под ногами хрустели. Дни — уменьшались, тускнели. Ночи — удлиннялись. И люди шли между ночью и днём, по кромке ледяной, куда-то в пустоты улиц, вытянутых назад и вперёд, в немоту окраин, или, в центре, в неровный гул площадей, и к огням витринным, к полкам с пищею магазинным, к согревающим тело винам, ко всему, что могло спасти от мороза и от печали, от всего, чего все вна-

чале дожидались, о чём скучали, от всего, что вблизи встречали на нелёгком своём пути.

Постоянным нашим желанием было — где-нибудь обогреться, вечерок скоротать, поскольку ни жилья в Москве у меня своего, ни малейшего проблеска в непростой судьбе моей — не было, не предвиделось даже, пока что, хоть на лучшее мы и надеялись, без надежды никак ведь нельзя, и поэтому что-нибудь, может быть, в недалёком грядущем изменится, чтобы так вот не мучиться нам.

Только это — не так уж и важно.

Важно — то, что мы были с Наташей, несмотря на невзгоды — вдвоём.

Важно — то, что дружили с Алёной.

Важно — то, что пришли мы однажды к ней, поскольку звала — и ждала.

Мы пришли к Алёне — а там находился недавно приехавший гость из Питера, Битов Андрей, вдохновенный, слегка подвыпивший, разговорчивый, со своей рыжегривой супругой, тоже вдохновенной, немного подвыпившей и весёлой, Ингой Петкевич.

Вдохновлялись они, с удовольствием и с азартом, словно игра у супругов была такая, всем, что им на глаза попадалось, всем, что вспомнилось им случайно, всем, что к слову кстати пришлось.

Вдохновлялись — и окрылялись вмиг, на крыльях своих поднимались над Москвой, с её холодами, и людьми, и огнями, вдвоём.

Настроение у супругов было, видимо, превосходным — говорили они, вперемешку, о высоком — и о своём.

Нам навстречу они рванулись вместе — словно взлетели оба — не на крыльях ли вдохновенья — воспарили, светом лучась.

Что-то было в этом шагаловское. Знать, отмеченные особо. Ирреальности откровенье. С острани́тельностью зримой связь.

Познакомились мы. Пригляделись: к нам — они, мы — к ним. По традиции, за знакомство хорошее, выпили. А потом — повторили. Потом — уж само собою, добавили. Постепенно — разговорились.

Попросили меня почитать, по традиции тоже, стихи.

Почитал я тогда, наизусть, всё, что в голову мне пришло.

И стихи мои Битову с Ингой — было сразу об этом сказано после чтения — очень понравились.

По душе им обоим пришлись. Взволновали — до слёз. А иначе быть, наверно, и не могло.

Был я в ту, бесконечно далёкую — (от сегодняшнего между-времени, с обнищанием чувств и мыслей повсеместным, неудержимым, с героическими попытками это всё же остановить, даже, может, восстановить человечность и дух добра, как поэт утверждал, способный силы подлости, да и злобы одолеть), — золотую пору, вправе так я сказать, — в фаворе.

В молодой своей славе. Боже! Это надо же — молодой.

Вспоминаю — и удивляюсь, поседевший, выдавший виды, встарь срывавший покров Изиды, чтобы к тайнам прорваться вдруг, сам себе, молодому, в славе настоящей, — неужто вправе я хранить её отсвет грустный нынче? СМОГ. Магический круг.

Обо мне — везде говорили. Ждали всюду меня — в столице.

Сочинять обо мне любили — (да и любят ведь!) — небылицы.

Зазывали меня — к себе, приглашали наперебой — в мастерские художников левых, бородатых и безбородых, в общежития, в институтские залы, в чьи-то квартиры, в комнаты коммунальные, где собирались регулярно, в изрядном количестве, любители и ценители стихов, — почитать, почитать, — пообщаться с поэтом известным, легендарным, скорей повидаться с ним, поскольку возможность такая наконец-то есть, пообщаться с толком, так, чтобы память осталась обо всём, — и ещё почитать!

Вот что значит — известность, братцы и сестрицы. То-то и значит.

И забавно теперь, и грустно вспоминать о таком — иногда.

(Вспоминать об этом — теперь.

В дни предательств сплошных и потерь.

В одиночестве. В долгих трудах.

И в ночи — о семи звездах.

И с утра, сквозь щебет пичуг.

И когда тишина вокруг.

И когда налетит норд-ост.

И весной, когда травы — в рост.

И в осенней глуши сквозной.

И зимой, в белизне смурной.

Да и летом, бросавшим в жар.

То-то дан мне блаженный дар.

То-то выпал мне трудный путь.

Постижение эпохи. Суть.

То-то имя моё — со мной.

Свет небесный — и век земной.)

Но — что было, то было. Слово-то — что с ним нынче такое? — «было».

Может, слово сгодится — «есть»? Оба — дышат. В полную силу.

Оба — живы. Оба — зовут.

Из бывшего. Из настоящего.

Из грядущего — предстоящего?

Им обоим? В ладье плывут?

По волнам? В облаках? Вдали?

Поднимаются ввысь? Взлетают?

И туманы под ними тают.

И склоняются ковыли.

Оба вспомнятся, как ни волнынь.

Время наше — свеча и полынь.

К тому же, в глазах моих современников многих, я выглядел страдальцем, и даже мучеником, на себя принявшим страдания и мучения все, боровшимся, средь бесчасья, — за правое дело.

За поэзию. За свободу.

И молва по Москве гуляла, и летела, на юг, на север, на восток, на запад, и там умножалась и разрасталась:

— Пострадал — от властей.

— За что?

— Где?

— Когда?

— Почему?

— За СМОГ!..

Лидер СМОГа. О СМОГе все поголовно в те годы знали.

СМОГ — такого наделал шуму, что глухие его отголоски до сих пор повсеместно слышны.

СМОГ — подобье большой войны.

Кто в ней — выиграл? Кто — проиграл?

Мы — прошли сквозь её горнило.

Все. И — с честью. Что было, то было.

Дух эпохи. Бахов хорал.

Вечер давний тот у Алёны оказался не только удачным и не только, для всех нас, памятным.

Оказался он, может быть, знаковым.

Для меня с Андреем — для двух мужиков, совершенно разных, и по возрасту, и по судьбам, но и схожих в чём-то, живущих поэзией, всем настоящим искусством, свободолюбивых, известных в богемных кругах, таких, пусть и каждый по-своему, колоритных, вроде — полярных, но, при всё при том, родст-

венных личностей, — этот вечер стал самым началом долголетней и сложной дружбы.

И для наших супружеских пар — для меня с Наташей Кутузовой и для Битова с Ингой Петкевич — этот вечер стал добрым началом нашей дружбы — сквозь годы — семьями.

До того, разумеется, часа, когда семьи наши — распались.

Но до этого было в ту пору, слава Богу, ещё далеко.

А пока что нам было общаться — четверым — всегда интересно.

И полезно, поскольку творчеством жили все мы, — замечу теперь.

Андрею Битову было тогда двадцать восемь лет.

По давнишним, богемным понятиям, с парадоксами их и загадками, закидонами и претензиями на солидность и взрослость, — немало.

По теперешним, с их, овеванным преждевременным опытом грустным, выживанием, впрямь искусством, да ещё и серьёзным, — немного.

Был он строен, скуласт, лобаст.

Беспокоен, плечист, очкаст.

Под настрой, под хмельком — речист.

В каждом жесте своём — артист.

Спину держал — прямо.

Шагал по земле — широко.

В комедию или в драму?

Вписывался легко.

Говорил — уверенно, громко, на низах уходящим в бас, на верхах залетающим в тенор, сочным, бархатно-влажным, густым, пряным, барственным баритоном.

Руки битовские — были крепкие, с длинными, твёрдыми пальцами, на которых бросались в глаза тоже длинные, твёрдые, странные, заходящие на подушечки пальцев резкими

полудугами, желтоватые, вроде когтей, в кожу накрепко вросших, ногти.

Что-то было в этих ногтях, думал я, не совсем человеческое. Звериное? Птичье? Не знаю.

Подобных — не припоминаю.

Таких вот, изогнутых, твёрдых, костяных, копытных, когтистых, больше ни у кого я, нигде, никогда, не встречал.

Скулы были — восточные. Азия?

Разгулявшихся предков фантазия?

Или, может, иная оказия?

Вход к отгадке закрыт на засов.

Европейское — близко маячило.

И — довлело, и что-то да значило.

И — курочило явь, и корячило.

Не носил он — пока что — усов.

Глаза под очками — круглые.

Со слезою набухшею, карие.

Когда же снимал он очки — глаза становились узкими, косящими, вроде. Монгольскими? Не знаю. Нет, вряд ли. Китайскими? Похоже на то. В чайна-тауне сочли бы его — своим.

— Обе мои петербургские бабки, — сказал, подвыпив, Битов однажды, — немки.

Сделал на этом, походя, нужный ему — акцент.

Заострил, ненароком, исподволь, без лишних деталей, — внимание.

Словно Джеймс Бонд, из фильма. Больше: двойной агент.

Суперпрофессионал, всё просчитавший заранее.

Шучу. Всё проще, на деле.

Скулы его — бронзовели.

Цвели азиатским огнём.

И немецкое — было в нём.

Было. Вот оно. Вас ист дас?

Тут же выросло — в нужный час.

Из каких же он всё-таки немцев?

Понятно, что из обрусевших, причём — обрусевших давно, петербургских, традиционно, для России, считавшихся русскими, но — с немецкими, в прошлом, корнями.

Без конкретики это, без фактов, на поверхности, так, для словца, для случайного упоминания, обтекаемо, без подробностей.

Изначально же — из каких немцев? Может быть, он — из гессенцев?

Представлял я себе, как встарь это племя, довольно странное, во главе с предводителем, Кисеком, называемым русами всеми иронически, просто Киськой, издавела, с Востока, от самой границы с Китаем, от рубежей туманных Иньской обширной земли, пришло на русские земли европейские, а потом переместилось и западнее, на земли немецкие нынешние, где часть потомков его, изрядная, обитает и поныне, считаясь при этом, как положено, именно немцами.

Ездили эти люди за забавных, косматых, маленьких, но выносливых, неприхотливых и в походах удобных лошадках.

Люди эти — носили косички.

Отсюда, кстати, припомнил я сейчас, и пошла эта мода — носить парики с косичками, в столетия прежние, в армии, в Европе, на прусский манер.

Кисековы — или Киськины, если по-русски, — гессенцы.

Не из них ли Андрей? Похоже.

Ну а может быть, из других, вон их сколько на свете, немцев.

Германские племена — кареглазые, круглоголовые.

Их немного было совсем, по сравнению со славянскими.

Остальные, так называемые немцы нынешние, — славяне.

Онемеченные, позабывшие и язык свой родной, и корни.

Светлоглазые, светлоголовые. Жертвы давней ассимиляции.

Прибалтийские русы. И прочие. Древний русский мир — был велик.

Эх, история! Сплошь — многоточия. Ко всему человек привык.

Прорубили — в Европу окно.

И — в России немцев полно.

Прижились. Обрусели — вновь.

Петербуржцы. И — вся любовь.

Предки Андрея какие-то, кажется, по морской части служили. Точно не помню сейчас. У него лучше вы сами спросите.

Его мать, незабвенная Ольга Алексеевна, мне говорила:

— Андрей, уже с малых лет, знал, что будет писателем. Если спрашивали его, кем он хочет стать, когда вырастет, отвечал он тут же: «Писателем!» И — сами видите — стал.

(От корня идите, граждане любезные, лишь от корня. Спрашивайте. Отвечаю. Отвечайте. Сызнова спрашиваю. Отвечаю — всем тем, что есть у меня, у вас, и у всех. Всем, что есть. Что было. Что будет. Всем. Что есть. У меня. Всегда. Где бы ни был я. Что бы ни делал. Как бы чем-нибудь я ни мучился. Как бы, выжив и встав, ни радовался. Что бы там, на воле, ни пел. С кем бы там, на пути, ни общался. И когда бы в глуши ни жил. В корень смотрите. Помните. В корень. Идите от корня.

И ночь. И день. И весна. И утро. И вечер. И осень. И зима. И свеча. И лампа. И лето. И вздох. И взгляд.

Созвездья седые. Струны. Глухие, в пустыне, луны. Лихие, в тиши, кануны. Каноны. Вперёд. Назад.

Прорывы в пространство. Знаки. В степи, за холмами, злаки. Не дремлющие собаки. Сады. Пруды. Сторожа.

Сквозь время. Сквозь темень. Звуки. Мгновенья. Забвенья. Муки. Прозренья. Синица в руки. Журавль. Остриё ножа.

И ржавь. И наждачный блеск. И скорость, вместо корысти. Приязнь, вопреки боязни. Признание, после болезни. Призва-

ные. Переживание. Желание. Имен склонение. Всех звеньев цепи спряжение. Роение. Соединение. Струение. Сквозь расстояние. Горение. Сквозь расставание. До встречи. Вблизи. Вдали. До неба. И до земли. Сквозь ветер. Сквозь век. Сквозь речь. Куда бы ещё увлечь. Туда, где словам просторней. Сквозь корни. В корень. От корня.)

Битов с Ингой довольно часто, чаще некуда, так скажу я, приезжали, вдвоём и порознь, как уж выйдет у них, в Москву.

Литературные, нужные, дела — и общение, важное, для них, и для всех остальных, — всё было именно здесь.

С ними виделись мы постоянно.

Появившись в столице, они звонили нам. Договаривались о встрече очередной. Мы куда-нибудь к ним приезжали.

Не обходилось без выпивки.

Выпивал Андрей в годы прежние, сколько помню его, всегда.

И не просто, как многие люди, выпивал, от случая к случаю, если повод был подходящий, далеко не всегда, — но и пил.

Впрочем, это дело хозяйское.

Значит, было это ему, почему-то, необходимо.

Наподобие пищи, требовалось.

Помогало держаться уверенно?

Быть смелее? Мало ли что!

Все когда-то мы — выпивали.

(Это нынче я так давно вообще ничего не пью, что начал подзабывать, сколько именно лет это длится.

И вкус питья позабыл давным-давно. И последствия. И похмельные состояния. Всё, что связано было с питьём.)

Выпивали когда-то — все.

Это было — в порядке вещей.

Это был один, просто-напросто, из компонентов общения.

Так скажу я. И это — правда.

Правда — с привкусом алкоголя.

Но — куда от неё деваться?

Вдосталь воли в ней, вдосталь — боли.
Не желает она забываться.
Предостаточно в ней — страданий.
И с избытком — горьких прозрений.
И довольно ли в ней оправданий?
Ну, хотя бы — новых творений?
Разбираться не стану. Поздно.
Всё, что было — временем скрыто.
Потому-то и смотрит грозно.
И — не ищет у нас защиты.
И не хочет, чтоб мы — вздыхали.
Мол, могли бы жить по-другому.
Правда — с привкусом нашей печали.
В ясном небе — подобная грому.
Правда — наша. С ней нету сладу.
И пощады в ней нет, ни йоты.
И бежать от неё — не надо.
Всё понятно в ней. С первой ноты.
Как в мелодии — той, далёкой.
В чистой музыке лет минувших.
Полнозвучной и ясноокой.
Поминающей — всех уснувших.
Продлевающей — песни наши.
И врачующей — дух болящий.
Наполняющей — наши чаши.
Встречей радуга предстоящей.

В Москве Битов с Ингой частенько водили меня с Наташей Кутузовой по своим знакомым, которых было, как и друзей-приятелей, мнимых и настоящих, у молодых, талантливых пetersбургцев — хоть отбавляй.

Помню вечные передвижения, торопливые перемещения, туда и сюда, по городу, вечерами, а то и ночами, разумеется — на такси.

Помню, как настежь распахивались двери — и на пороге появлялись мгновенно радостные хозяева, несколько взвинченные, восклицали что-то бравурное вразнобой, приглашали войти.

А там, куда мы приехали вчетвером, — и стол наготове, и, само собою, питьё.

Все давно уже навеселе.

И, конечно, просят меня почитать им стихи. Обязательно. И желательно — прямо сейчас.

Вот уж люди! Вынь да положь.

Отказать — неловко. Проверено. Не поймут. Ещё и обидятся.

И откуда такая любовь, повсеместная, право, — к поэзии?

Но любили стихи — всерьёз.

Время было тогда — орфическим.

И ценил я это умение — понимать поэзию — с голоса.

Не с листа, как теперь, но — с голоса.

И опять приходилось читать.

Было чтение это — искусством.

Те, кто помнят, — небось, подтвердят.

Я читал — и меня действительно все, кто были в квартире, — слушали. Ещё как! Действительно — слышали. И действительно — понимали.

Понимали — в процессе чтения моего. Понимали — с голоса.

Голос — ключ к минувшей эпохе.

Голос — клич. А может быть — плач.

Голос — выход из лабиринта или, может, из катакомб в темноте бесчасья — на свет.

На вопросы души — ответ.

Я читал — и каждое слово близко к сердцу людьми принималось.

Это чувствовал я. И знал, что стихи мои — им нужны.

Я читал — как пел. Словно музыку создавал — и она звучала, здесь, для всех, посреди всеобщей, чуткой, бережной тишины.

А потом — разговоры всякие, похвалы, благодарные отзывы и восторги, порой неумеренные, от которых, тут же смущаясь, я не знал, куда мне деваться.

Только искренность в этом — была.

Неизменная. Несомненная.

И отзывчивость в этом — была.

Долгожданная. Драгоценная.

Та, которой вовек не прерваться.

В одной из подобных квартир, где-то в центре столицы, в доме, с виду старом, стоящем отдельно, в стороне от других строений, бывшем, видимо, просто флигелем, после чтения моего хозяйка, полная, рыхлая, крупная, вся уж очень богемная, из таких, что со всеми — по-свойски, вскочила с места — и, налетев на меня, принялась обнимать, целовать, — и я помаленьку пятился от неё, а она — наступала, надвигалась всем корпусом, шла, как таран, на меня, и с каждым шумным шагом своим, и с каждым всплеском белых, пухлых, мясистых, унизированных колец рук всё оглядывалась на Андрея, повторяя одно и то же:

— Андрей! Ну, спасибо, Андрей! Вот кого ты привёл ко мне! Володю привёл! Ах, Володя! Есенин! Ну прямо Есенин! Ах, люблю! Хорошо! Замечательно! Ах, Володенька! Милый! Хороший! Какой молодой! Как Есенин! Золотые, смотрите-ка, волосы! Ну, Володя, спасибо! Люблю!

Я не знал уже, как мне быть и куда поскорее спрятаться.

От такого напора — действительно сразу спрячешься. Но куда?

Ничего себе заявления!

Да нашла ещё, сравнивать с кем, ни с того ни с сего, — с Есениным!

Уж чего-чего, а вот этого я просто терпеть не мог.

Первое, что пришло ей в голову, то, небось, в порыве своём и выпалила.

А тут ещё — возраст мой. Молодость. И стихи. И чуб мой, отчасти кудрявый, золотистый, светлый. И прочее.

Выпитое хозяйкой вино, в немалом количестве, в течение дня, и вечера, и чтения, например.

Не больно-то было приятно мне подобные излияния, даже искренние, не спору, но чрезмерно бурные, слышать.

Я поглядывал вкось на Битова — что за чушь, мол, что за дела?

Но в ответ он лишь пожимал, театрально этак, плечами, да руками всё разводил, широко, с каждым разом шире, — что же делать, мол? Знай, терпи. Принимай всё, как есть. Смирись. Видишь — любит народ поэзию. И поэтов. Особенно — дамы.

Приходилось — и вправду терпеть.

И вино мне — в подобных случаях — пусть на время, да помогло.

Только некий осадок всё-таки, горьковатый, — от вечеров, сходных с этим, с полубогемной, полупьяной, восторженной публикой, вроде ряженных, закружившейся в карнавальном, и впрямь повальном, не иначе, водовороте, — всё равно в душе оставался.

Битов легко, мне казалось, — и, пожалуй, так всё и было на деле — в шестидесятых годах сходил с людьми.

С московскими, подчеркну. Как с питерскими — не знаю. Но, думаю, без особых затруднений, тоже — легко.

И довольно легко, похоже, находил с ними общий язык.

Но везде и всегда, в любом состоянии, и в любой ситуации, и с любыми собеседниками, собутыльниками, соратниками, приятелями, друзьями, — был сам по себе.

Некоторую дистанцию, между собою — и прочими, кем бы ни были эти прочие, до общенья всегда охочие, а до выпивки так тем более, — умел выдерживать он.

Словно черту незримую в воздухе проводил.

Или стену, прозрачную, вроде бы, невидимую, надёжную, прочную, непроницаемую, меж собой — и другими, запросто, и — привычно, уже — умеючи, как-то разом, вдруг, воздвигал.

И — всё. Закрыт. Защищён.

Там, извне, вблизи, вдалеке, в стороне, — какая-то публика.

Здесь, внутри, за чертой, за стеной, за гранью незримой, — Битов.

Со своими заботами. Многими.

Со своими устоями. Строгими.

Со своими, коль надо, трудами.

Так продолжалось — годами.

Об известности громкой своей, о широкой своей популярности — в Москве, у богемной братии, где возможным было признание, где формировалось общее, немаловажное, мнение, где складывался, с годами, исподволь, постепенно, всё более укрепляясь и тяготея к легенде, приемлемый всеми образ, — Битов очень заботился.

Он охотно читал желающим услышать его — свою прозу.

Причём, там читал, где и важно, и нужно было, для дела, с прагматизмом немецким, отчасти, почему бы и нет, почитать.

Это — всегда срабатывало. Безотказно. Его положение, с каждым действием таким, укреплялось.

Это — исправно работало. На образ, прежде всего.

В самом деле, смотрите-ка, он, вроде бы и печатающийся, вроде бы официальный, так уж вышло сразу, прозаик, — оказывался на проверку вовсе не преуспевшим, не таким уж, везде и всюду, где пожелает, печатающимся, вовсе и не таким, вот ведь как оно повернулось и открылось, официальным, как некоторым казалось.

Выяснялось, тут же, на публике, ну а проще — среди своих, что у него, публикующегося автора, вы представьте только, в столе имеется внушительное количество серьёзнейших сочинений, доселе неопубликованных, и даже таких, которые, по

вполне понятным причинам, вряд ли могут быть напечатаны в ближайшее время, и даже, по причинам слишком весомым, вряд ли будут в нашей стране изданы вообще.

Упоминались — таинственные «Записки из-за угла».

Постоянно, в разных домах, говорилось — о том, что он усиленно, напряжённо работает над романом.

Особенным. Небывалым.

Произносилось название, шёпотом, — «Пушкинский дом».

Потом, в свой новый приезд, Андрей привозил, бывало, в Москву главу из романа.

Оповещал знакомых: намерен, мол, почитать.

Устраивалось немедленно чтение. Для своих. В узком кругу, понятно. Без особого афиширования.

Например, на Садово-Каретной, у той же Алёны Басиловой.

Собирались вечером — избранные.

Романиста — внимательно слушали.

Читал Андрей — замечательно.

Потом — похвалы, восторги.

Общие. Обязательные.

И догадки вдруг — о подтексте.

О концепции. О структуре.

О приёмах. О метафизике.

О втором или третьем плане.

О героях. И о сюжете.

И — гадания: что же — дальше?

И так вот — глава за главой — выслушал я когда-то почти весь его новый роман, знаменитый «Пушкинский дом».

Такие, на людях, чтения — реклама очень хорошая.

Такие, вовремя, чтения — мостики своеобразные, протянутые ко всем — тогдашним, давнишним, — нам, к богеме, не издающейся, не имеющей отношения никакого к официальной, полуподпольной, сытой по горло запретами, братии, — мостики, по которым, при некотором желании, вполне можно было

к нам, в наш вольный стан, перейти, — и тем самым стиралась грань очевидная, и тем самым устанавливалось, как будто бы, даже некое равенство, или же подобие такового, — мол, все мы одна команда, если быть объективным, ребята.

В наведении регулярном таких вот мостов Андрей большим был специалистом.

К тому же, часто читая свою прозу, он — приучал к себе московскую публику.

Везде к нему — привыкали.

И все — привыкли, в итоге.

И у Алёны Басиловой все считали его — своим.

И у Сапгира его уже считали — своим.

И в доме у Великановых считали — своим. И так далее.

Молодец, Андрей! — ничего по-другому о нём не скажешь.

Ведь был он, вот что существенно, к тому же, по-настоящему, и всем это было ясно тогда, ещё и талантлив.

Он учился в шестидесятых — на высших сценарных курсах.

Было модно тогда и престижно — учиться на этих курсах.

Приезжали в Москву — из провинции.

По два года жили — в Москве.

Получали исправно стипендию.

Получали — на время — жильё.

Жили здесь — в своё удовольствие.

Фильмы лучшие все смотрели.

С кем хотели, с тем и общались.

К тайнам творческим приобщались.

Ощущали себя уж ежели не избранниками судьбы, то, по крайней мере, удачниками — пусть, согласны, и ненадолго, — но мало ли что, в любой момент, и, тем более, в будущем, при условии нужных связей, может произойти.

Потом, что правда, то правда, отучившись, набравшись опыта и умения, надо было что-то этакое, особенное, современное, своевременное, интересное, написать.

Сценарий. Оригинальный.
С новизною авторской. Свой.
И — пристроить его, желательно.
(Это было бы замечательно!)
Только это — не к спеху, не сразу.
Это — позже, это — потом.
А пока что — сплошное общение.
И — гульба. И — знакомства. Полезные.
А пока что — свободная жизнь.
Жизнь — азартная, жизнь — богемная.
И не где-нибудь — там, в провинции.
Здесь, в столице. Именно здесь.

На высших сценарных курсах учился, весьма старательно, украинский поэт Иван Драч, основатель будущий «Руха», идеолог, древнего духа почитатель, борец со стажем, широко известный политик, депутат, государственный деятель, а тогда сидевший, по слухам, сиднем, в общежитейской комнате, в окружении москалей, инородцев и всяких прочих, без особых примет, субъектов, с чемоданом своих, авангардных, но с традициями народными, что должны были стать свободными от российских оков, стихов.

Здесь учился отменно хороший армянский писатель Грант Матевосян, печальный, задумчивый, неразговорчивый, весь в своём находящийся мире, там, в горах, вдали от Москвы, тихим творчеством ввысь ведомый от соблазнов земных, человек.

Здесь училась, тогда же, Роза Хуснутдинова. Где ты, проза? Вся — поэзия, тайна, грёза, возникала она — вдали.

Появлялась — и струны пели, и луна в ледяной купели отражалась, и к дальней цели всех капризы её вели.

Стройная, нежная, бледная, восточная странная женщина, такая — одна-единственная, пленительная, таинственная, ходила

она в диковинных нарядах, с обритой наголо, завёрнутой в лёгкие, мягкие, воздушные, образующие то ли подобие некое тюрбана, то ли какой-то сказочный, не иначе, убор головной Шемаханской царицы, своей точёной, сидящей на лебединой, гибкой и длинной, шее, благоуханной, туманной, высоко — средь богемы — поднятой, лёгкой, птичьей, змеиной головкой, держа на весу лицо напудренное, с губами коралловыми, с глазами бездонными, тёмными, томными, искоса, исподволь, нехотя горящими жарким огнём.

Про неё тогда говорили, почему-то — всегда вполголоса, или даже — чуть слышно, шёпотом:

— Роза очень, очень талантлива!

Но никто из её писаний ничего никогда не читал.

Были — слухи об этом. Домыслы.

Про талантливость — верили на слово.

Дева-Роза была — загадкой.

Дива-Роза была — звездой.

Здесь, на высших сценарных курсах.

Здесь учился — Резо Габриадзе.

Вспоминаю, как в ЦДЛ, в шумном, дымном кафе, заполненном разномастными посетителями, в самом дальнем углу, за столиком, до предела забитым бутылками, он сидел в одиночестве, пьяный, уронив тяжёлую голову на свои скрещённые руки.

Мы с Андреем к нему подошли.

Поздоровались. Нет ответа!

Мы зовём его. Понапрасну!

Что стряслось? Никого не слышит, ничего не видит Резо.

Битов тронул его за плечо.

Резо Габриадзе очнулся, медленно поднял на нас опухшее, словно обвисшее вниз, неестественное бледное, отрешённое от всего, что творилось вокруг, в кафе, в этом шуме, и гаме, и дыме, вдохновенное — внутренней, видимо, никому не заметной, ра-

ботой, существующее отдельно от людей, большое лицо, посмотрел на меня и на Битова очень светлыми, утомлёнными, с бесконечной тоской по родной Имеретии, чуть мигающими, ну а может быть, и мерцающими, немottoю своей говорящими больше, чем любыми словами, по-младенчески робкими, кроткими и по-старчески пронизательными, с умудрённой слезою, глазами, — и сказал — словно выдохнул вдруг:

— Я был в России. Грачи кричали. Грачи кричали. Зачем? Зачем?..

И — вновь уронил свою голову вниз, на скрещённые руки.

Слова его были вроде бы знакомы мне. Из Бальмонта?

Сам он был в столице — залётной, по гнезду тоскующей птицей.

Вскоре стал Резо — знаменит.

Это были — сценарные курсы.

(Это вам не из Гоголя — бурса,

Бульба с люлькой, панночка, Вий.)

Курсы — высшие. С перспективой.

И солидной — в кармане — ксивой.

Путь в кино — как бильярдный кий.

Прям и точен: удар по шару.

В лузу! Что же, подбавим жару.

Путь в кино — счастливый билет.

Кто-то вытянул — вот удача!

Только так — и никак иначе.

Впереди — череда побед.

Здесь училась — Инга Петкевич.

Ничего не знаю — писала ли что-нибудь она — для кино.

Здесь учился — Андрей Битов.

Он сценарии — написал. И по ним — поставили фильмы.

Сонмы звёзд и комет хвостатых.

След невольный — в людской молве.

Это было — в шестидесятых.

Посреди Союза. В Москве.

Помню, как-то я Инге с Андреем прочитал — наизусть, конечно, — у Алёны Басиловой, вечером, в час, когда уже выпито было всё, до капли последней, спиртное, и народ по домам расходился восвояси отсюда, лишь мы оставались, и всё говорили о высоком, и кофе пили, и, за тихой беседой, курили, и волокна дымные плыли к потолку, — стихи Кублановского.

Ранние. И, по-моему, симпатичные. Со своим, юношеским, с наивной, надтреснутой ноткою, голосом, и со своим, какое уж было тогда, лицом.

Неизданные доселе. Старательно позабытые Кубом, в угоду поздним, трезвым его писаниям.

Реакция Битова с Ингой оказалась быстрой и жёсткой.

Оба сразу же заявили, не сговариваясь:

— Нет, не то!..

И тогда я Инге с Андреем прочитал — наизусть, естественно, по привычке своей давнишней, — (и теперешней, признаюсь, только реже это с годами, что ж поделать, со мной бывает, хоть привычка сама жива, сохранилась), — под настроение, в тишине, которая вдруг воцарилась в Алёниной комнате, напряжённой какой-то, праздничной, вдохновенной, — стихи Губанова.

Реакция Битова с Ингой была мгновенной, восторженной.

Оба тут же воскликнули:

— Здорово!

Пояснив:

— А вот это — то!..

Почему-то заволновались:

— Лёня! Лёничка! Молодец!

Обратились — вдвоём — к Алёне:

— Он когда придёт, наконец?

— Он в запое, — сказала Алёна. — Протрезвеет — и сам придёт. Отовсюду, где пьёт с друзьями, он дорогу сюда найдёт.

Покачал головою Битов:

— Повидаться хочу я с ним.

Рыжей гривой тряхнула Инга:

— Он судьбою своей храним.

И достал из сумки бутылку, им припрятанную, Андрей:

— За Губанова, за поэта, надо выпить — и поскорей!

Вот и выпили мы за Лёню.

Ветерок залетел в окно.

Стало грустно тогда Алёне.

Горьковатым было вино.

Попрощались мы с нею. Встали.

Вышли в мир, чей был чуток сон.

В ночь, где люди чего-то ждали.

В речь, живущую вне времён...

Однажды в чьей-то квартире мы, как всегда, выпивали.

Я, как и всегда, по традиции тогдашней, читал стихи.

Андрей, запомнив их с голоса, повторял то и дело запавшие в душу ему, глубоко и надолго, видимо, строки:

— Но раскроется роза, и в ней — золотая пчела удивления.

Он ходил, вдоль стола, вдоль стен, — и эти слова твердил.

Стихи были — новые. Много тогда я работал. Не только ведь с Битовым выпивал. Вырастала — новая книга.

Почему-то спросил я Битова:

— Андрей, а сколько ты, в общей сложности, начиная с самых первых вещей, по объёму, прозы своей написал?

Битов остановился. Поправил очки. Хлебнул из фужера. Немного подумал.

Покосился на книжный шкаф, где на полках, в полной сохранности, аккуратнейшими рядами, стояли, одно за другим, собрания сочинений самых разных писателей.

Сказал:

— Ну, если прикинуть, как у этих вот, классиков, — тут он показал на книги в шкафу, — то я тома три написал.

Но взгляд его, устремлённый на собрания сочинений, чужие, был — это бросилось в глаза мне в ту же секунду, — красноречиво-ревнив.

Наверное, и ему хотелось, конечно, хотелось, даже очень хотелось, и это понятно ведь, написать — со временем, разумеется — своё, вот именно, собственное, из внушительного числа солидных томов состоящее, собрание сочинений.

Похвальное, в общем-то, правильное желание, для писателя.

Дай-то Бог ему сил для этого.

И упорства. И воли. И времени.

Так рассудил я тогда.

Не припомню, чтоб где-нибудь там, где всегда читали стихи или прозу, где пили чай или кофе, а то и покрепче, позабористее, напитки, вроде водки или вина, в основном, где курили — все, говорили, галдели — все, обсуждали — решительно всё, что годится для обсуждений, рассуждали порой — о высоком, били — чашки, морды, стаканы, жили — странными новостями и делами среды божественной, пели — часто, с душой, под гитару, знали — всё, обо всех, обо всём, что на белом свете творится, ночью, днём ли, здесь или там, были рады поздним гостям, похмелялись, друзьям звонили и знакомым, куда-то плыли по течению или вспять, чтобы жизнь по новой начать, — слышал я Ингу Петкевич.

Её взрослая проза, неизданная, о которой все говорили, что она интересна, талантлива, необычна, свежа, — оставалась, год за годом, довольно долго, для меня полнейшей загадкой.

Но детскую книжку её читал я — и книжка эта мне очень, помню, понравилась.

Инга была ещё и актрисой. Уж точно — яркой.

Недаром снималась в кино.

Пусть в эпизодах. Изредка.
Пусть даже — в массовках. Неважно.
Важно — что в жизни была восхитительно артистична.
Важно — что образ её вспыхивал в шестидесятых — рыжим
огнём — на снегу, пламенем жарким — в дождях.

Инга была — особенная.
Инга была — солнечная.
Белая. Рыжая. Жаркая.
Смех её — ржание — жарким был.
Но была в ней порою — прохлада.
И — таимая ранее грусть.
Петербургская дама. Привада.
Европейка. Леди Годива.
Словно лёгкая мгла — над Невою.
Словно рыжая прядь — на снегу.

Любопытная пара была — петербургские гости в Москве —
иностранцы почти, люди светские и богемные — Инга с Андреем.

Инга Андрея — не дополняла.
Инга Андрея — лишь укрупняла.
Отдаляла порой — от себя.
Отделяла его — любя.
И тем самым — вновь укрепляла.
Над обыденным всем — возвышала.
Инга была — сама по себе. Вольная птица. Львица.
В храме ночей, в драме речей — пленница. И — жрица.
Мерцающий жар зрачка.
Припухшие губы: роза.
Плечо. Изгиб локотка.
И разве всё это — проза?
Волос — в огне — завитки.
В руке — сигаретка. Чары?

Пожалуй. И в них — силки.
Для певчего — свыше — дара.

Квартира занятая — в Питере, на Невском. Вблизи — Московский вокзал. Квартира — шарада. Но, может быть, так и надо? И в этом-то — вся отрада? И нет в ней — лишних примет?

Две комнаты. Нет здесь — быта. Раздоры и страсти — скрыты. Подобье гнезда — не свито. Есть — кофе. А хлеба — нет.

Есть — стены, почти пустые. Обои. Две-три картинки. Ворошилов — подаренный мною. Кулаков — подарок от автора — загогулины всякие, вроде иероглифов, с вывертом, — Битову.

Есть — высокие, вроде бы, — окна.

Есть — высокие, вроде бы, — двери.

Потолок — похоже, высокий.

Пол — как двор: просторный, пустой.

Две-три пары туфель в углу.

Три-четыре чашки. Тарелка.

Блюдец. Пепельница. Кофемолка.

Стопки книг — их не сразу заметишь.

Рюмки. Ложки. Две-три бутылки.

Сигареты. Часы. Очки.

Есть — письменный стол-корабль.

Огромный. Фрегат на рейде.

За столом — руки вытянув — Битов.

Над столом, за спиной Андрея, на стене, над его головой, — фотография: человек, пожилой, а в руке — сачок, — ловит бабочек? — что за блажь? — взгляд — лукавый, умный, — в упор, и — насквозь, и — навек! — Набоков.

...Петербургские сумерки. Вечер.

Стол-фрегат. И на нём — капитан.

Петербургский писатель. Битов.

И над ним — в небесах — Набоков.

И за ним — за домами — Нева.

За Невою — залив. И — море.

Незабвенные времена.

Колыханье шестидесятых.

Полыханье Ингиной гривы.

Битов. Проза его. Глаза.

Стол-фрегат. Перед ним — стихия.

Петербургская ночь. И — речь.

Значит, стоили встречи — свеч?

Ночь. Набоков. Очки. Сачок.

Две слезинки — в ночи — со щёк.

Две ли? Больше ли? Так, две-три.

Не заметили? Что ж, сотри.

Что же стало, Андрей, судьбой?

Будь — собою. И — Бог с тобой!..

Как-то исподволь, незаметно, я привык и к тому, что есть он, что присутствует в мире он, и к тому, что пишет он прозу, говорит — всегда интересно, колоритен, оригинален, обаятелен, пьян порой или чуть во хмелю — с друзьями, но в делах — прагматичен, трезв, — и во всём, что делает он, есть, похоже, неповторимость, Божья искра — с людскою волей, что-то свыше — и слишком земное, почва твёрдая под ногами, над которой — воздуха знак.

Битов — Огненный Бык. Особенный. Он родился — в тридцать седьмом, под созвездием Близнецов, двадцать седьмого мая.

В этот день, в шестьдесят втором, в Кривом Роге, я написал: — Тучи ушли на запад, бок земле холодя, — только остался запах спелых капель дождя.

Мне было — шестнадцать лет. Писал я тогда, стихи и прозу свою, — запоем.

В этот день, в восемьдесят третьем, умерла моя любимая бабушка, баба Поля, мамина мама, Пелагея Васильевна Железнова, урождённая Кутузова.

Бабушка моя, с её чутьём и огромным ведическим опытом, поняла Андрея — мгновенно, и потом, позднее, порой очень верно всегда мне о нём говорила.

В этот же день, и тоже в тридцать седьмом, родился мой криворожский друг Рудик Кан.

В этот день, в шестьдесят пятом, перед моим отъездом на Тамань, в Москве, Артур Владимирович Фонвизин, слушая, как я читаю стихи, написал мой портрет.

В этот день, давным-давно, в самом начале шестидесятых, по-настоящему, навсегда, ощутил я себя — поэтом.

Вот какой это день, когда появился на свет Андрей. Вот какой это день. Майский. Под созвездием Близнецов.

Чумаки — в Крым, за солью, — веками ездили на волах. В образе быка громовержец Зевс на спине могучей своей нёс по волнам Европу. Быки — всегда были рядом с людьми.

Битова — отовсюду — всегда вывозил на себе — огненный Бык. Огненный. Тотем его. Фирменный знак.

Такой же тотем, как у Битова, и такой же знак зодиака был — почему-то вспомнилось это — и у Волошина.

Совпадений и параллелей — вдосталь. Все — далеко не случайны.

Что за мистика? — скажут. Наша. Наши судьбы и наши тайны.

Битов. Огненный Бык.

Было ли в нём — демоническое нечто? Не было вовсе.

Это — совсем другие категории. Не для того, кто слишком привязан к земле.

Но было в нём — некое постоянное попадание в десятку, неизвестно каким способом, было — как в картах — вечное везение, неизменное двадцать одно, — было в нём — как бы это сказать поточнее? — что-то такое, сфокусированное на нём, от-

куда-то, — но откуда? — остаётся только гадать, — будто постоянно был он в направленном на него, световом, хоть и неярком, не бросающемся в глаза, не ослепительном, не магнетически властном, наоборот, неброском, однако — не гаснущем, не исчезающем, наоборот — устойчивом, чётком луче — непонятно из какого фонаря, — будто где-то там, и поди гадай — где, неизвестно какие существа — поставили на него, и наблюдают за ним, и помогают ему постоянно, и заботятся о том, чтобы он всё время был в выигрыше, был удачлив, был — на виду, был — в какой-то мере эталоном современного человека, писателя, мужика, с машиной, квартирой, дачей, изданиями, известностью отечественной и заграничной, со своим — отработанным, надо заметить, и не в смысле создания образа, но — проще, определённое, отработанным — как на работе, в институте ли, на производстве ли, всё равно, усердно, по-честному, с бесконечным старанием, имиджем, как сейчас говорят, со своим, привычно солирующим, но никак уж не в хоре, голосом, со своим, давно путешествующим, бодро движущимся в пространстве, в жёстких рамках — ему отведённого, на игру его всю, по крупной, на его пребывание в мире, или — существование в яви, без участия прави в нём, без возможного, в будущем, выхода — в измерения новые и в другие миры — дорогого земного времени.

Дорогого. Ведь в нём — успех. Что же! Этимология этого слова — предельно ясна. От другого слова — успеть. Актуально это, не правда ли? Современно, и даже — модно: здесь, в юдоли, — взять да успеть.

Всё — успеть. Получить — при жизни. Всё, что можно. И даже — больше. Непременно — успеть. А потом? Ах, да мало ли что — потом! Важно всё получить — сейчас. Поскорее. Сию секунду.

Можно — пить. А можно — успеть. Можно — пить. Но только — не спать. Только — в путь. Успевать. Повсюду. Что-то —

можно стерпеть. Но — успеть. И — своё навестать. И — встать.
Меж других. Современным героем.

Надо всем, что мешало, — встать.

Всё — успеть. И — своё сказать.

Слово? Именно слово. Как?

Здесь поможет — воздуха знак.

Так сказать, чтоб — не в плач, не в крик.

Здесь поможет — Огненный Бык.

Помогают. Успеть — скорей.

Не горюй о былом, Андрей!

Что за силы? Откуда — весть?

Света — мало. Темноты — есть.

Что за вера? — Во что? В кого?

Чьё же — всё-таки — торжество?

Чья же — всё-таки — здесь игра?

Чьё-то завтра — его вчера.

Чьи же — всё-таки — свечи здесь?

Завтра — поздно уж. Нынче. Днесь.

Так, в пределах земных, — вперёд.

Что-то оторопь вдруг берёт.

Но задерживаться — нельзя.

Где-то в мире — его стезя.

Или, может быть, — вздох о ней?

Где-то на людях — в пену дней.

Как в волну — головой. Нырок.

И — наверх. В суету дорог.

В темноту — как на свет. Не вдруг.

Воздух — знак. На земле же — круг.

В круге дороги — век и миг.

В путь — по кругу. Огненный Бык.

Был ли способен он, иногда, хотя бы, а может быть, и довольно часто, поскольку жизнь сама призывала к этому, и не раз, и не два, но многожды, на поступки? Да, разумеется.

Способен ли был — на подвиги? Вряд ли. Ведь здесь нужны — самоотверженность, жертвенность, нешуточное горение.

Андрей был всё-таки слишком уж замкнут на всём, что было в нём собственным, личным, удельным, родным, на себе самом, чтобы, во имя подвига, творческого, допустим, пожертвовать вдруг земным своим временем — и движением своим, путешествием, долгим, непрерывным, своим — на север, на юг, на восток и на запад — в пределах земного круга.

Был ли он мне настоящим, добрым, хорошим другом — хотя бы в шестидесятых? Думаю — всё-таки был.

Потом, позднее, с годами, — было уже не то. Просто — я это видел, — срабатывала инерция.

Но какое-то неизменное, долговечное изумление в душе его — по отношению ко мне, и к моим стихам, и ко всем остальным трудам, ко всему, что со мною связано, — полагаю, доселе осталось.

Да, осталось. Что живо, то живо.

Был ли он способен, хоть изредка, хоть единственный раз, на предательство?

Не хочу говорить об этом.

Если что и было когда-нибудь — то с него, как известно, и спросится.

Бог ему — да и всем нам — судья.

Битов — не пешеход. Он — автомобилист.

Вереницей, из года в год, чередой долгой прошли, появляясь во всей красе, чтоб исчезнуть потом вдаль, в лабиринтах былых дорог, им сменяемые машины.

Он — давно уже за рулём. Словно сросся с автомобилем.

Современный кентавр? Не знаю. Кентавр — существо загадочное. Попробуй-ка разберись — кто он, собственно, был ли он?

В случае с Битовым — всё неизмеримо проще.

Он — человек в седле. Мягком. Автомобильном.

Для него машина, любая, — просто-напросто необходимость.

И сейчас впечатляет это. А по старым-то временам — впечатляло куда сильнее!

Марку Андрей держал — во всём. В том числе и с машинами.

Тем не менее, были они для него, человека в седле, прежде всего, удобным средством передвижения.

Однажды приехал в Москву он — из Грузии — на машине. Без ветрового стекла.

Разбил. Заменять было — некогда. Торопился писатель в столицу.

Да ещё и понравилось вдруг — ехать к северу именно так.

Ветер в лицо. Романтика? Может быть. Ну и что?

Гаишники — останавливали. Удивлялись: что за причуда?

Но что они, эти гаишники бестолковые, понимали, если — ветер хлестал в лицо, если прямо в глаза — пространство!

Было холодно, даже очень. Заболеть мог любой. Но — не Битов.

Битов холода — не замечал. Не хотел замечать — и всё тут.

Характер. Упрямство. Пристрастие — к дорогам. Воля. Желание — на колёсах, без чьей-либо помощи, пусть и в холоде, но — добраться — самому, как всегда, — до Москвы.

И — доехал благополучно. Ничего с ним в пути не стряслось.

Битов был — всегда при деньгах.

Даже в молодости. Неизменно.

Почему-то — умел зарабатывать.

Хорошо, что — умел.

Битов был — всегда на коне.

С самых первых шагов своих.

С самых первых своих публикаций.

С первой книги. И с первой рецензии. Вот на эту — первую — книгу.

Никогда он коня — не менял. Даже на переправе.
Через реку? Это — не Лета.
Через озеро? Это — не море.
Через море? Это — не бездна, из которой выхода нет.
Выход — был. Всегда находился. Из любых — везде — состояний. Сквозь любые — всюду — преграды.
Переправиться. Преодолеть.
Пережить — и добратся. Успеть.
На ходу. На коне. В седле.
По земле. По земле. По земле.
Иногда — над землёй. И — назад.
Чёткий принцип и трезвый взгляд.
На людей. На вещи — в труде.
Быть — так здесь. Никогда — нигде.
Не витать в облаках. Есть — путь.
Видеть смысл в этом. Или — суть?
Не всегда. Что пером скрипеть?
Есть — машинка. Издать. Успеть.
Есть — машина. Дорога — есть.
Сесть в седло — и... Куда? — Бог весть!

Однажды, в шестидесятых, услышав мои переводы с грузинского и расчувствовавшись до слёз неожиданных, Андрей решил попытаться их напечатать, а если получится, то, может быть, и стихи мои напечатать, хотя бы подборку, для начала, пусть небольшую, но и то хорошо, в моём-то положении, — и повёл меня, человека не издаваемого во пределах родных, в редакцию журнала «Дружба народов».

А вернее — повёз. И — с комфортом. На машине. Своей, разумеется.

Был он автором в этом журнале.
Все его там прекрасно знали.
Все — любили. А как же — иначе?

Это — Битов, это — Андрей.

И его — нельзя не любить.

Вот мы с ним и поехали. Вместе. Не на выпивку. По делам.

За рулём он сидел уверенно и, по-своему, театрально, словно лётчик-ас за штурвалом быстрокрылого самолёта.

Очень шло ему это, всё-таки, — не ходить, как другие люди, по делам, или просто так, — но именно ездить. В машине. Просто так. Потому что — нравится. И особенно — по делам.

Битов был — на коне. В седле.

На мягком сиденье своём восседал он свободно, привычно откинувшись на скрипучую, при торможенье пружинящую, и такую удобную, что воспевать её можно, спинку.

С места срывался резко — и машина его, вливаясь в потоки шумные транспортные, вырываясь из них, обособливаясь, летела, скользила, сквозила, стремилась, вперёд и вперёд, по вздымавшей свои этажи к небесам то слева, то справа, расстилавшей асфальт под колёсами, чтоб удобнее было ехать вдаль куда-то, к желанной цели, беспокойной, бескрайней Москве.

Добрались до редакции. Вышли на скрипучий, утоптаный снег. Захлопнули дверцы. Шагнули, один за другим, за порог.

Внутри было тесно, тепло.

За столами, плотно заваленными громоздящимися, наподобие восточных ступенчатых пагод, бумагами в папках с тесёмками и горами всяких книг, сидели какие-то люди.

Оказалось, что сплошь — это надо же, что за чудо журнальное, — дамы.

Завидев Битова, все они оживились, заулыбались.

Закричали:

— Андрей! Андрей! К нам пожаловал сам Битов!

И волнение их охватило — да такое, что растеряешься, с непривычки, — ведь как ликуют! Словно праздника дождались.

Дамы с мест уже поднимались — и рвались навстречу Андрею.

Дамы пели что-то по-птичьи, щебетали, охали, ахали.

Дамы — рады были Андрею.

Битов — здесь!
Какая работа?
Подождёт работа.
— Андрей!
— Как мы рады!
— Здравствуйте, здравствуйте!
— Вот сюрприз так сюрприз!
— Андрей!
— Вы надолго к нам?
— Вы откуда?
— Вы куда?
— Вы к нам?
— Наконец-то!
— Дождались!
— Мы рады!
— Андрей!

Дамы — рады. И Битов — рад.

Мне — пути уже нет назад.

Мне — стоять и молчать. И — ждать.

Что же — дальше? Да что гадать!

Андрей, сняв очки, протирая запотевшие стёкла платком, огорошил восторженных дам заявлением громким своим:

— Я привёл к вам сегодня поэта гениального. Да, это правда. Вот, знакомьтесь, Володя Алейников. Перед вами, сейчас. Он — гений.

Дамы — все до единой, услышав это — сразу оторопели.

Я смутился. Взглянул на Битова.

И сказал:

— Ну зачем же — так?

— Ничего! — дружелюбным тоном успокоил меня Андрей. — Говорю всё, как есть. Как думаю. А народ — пускай привыкает.

И народ — все дамы, сражённые наповал словами Андрея обо мне и моей гениальности несомненной, — с трудом при-
выкал.

И к тому, что я молод совсем.

И к тому, что явно стесняюсь.

И к тому, что Андрей говорил обо мне, безусловно, всерьёз.

Нас обоих, поэта с писателем, двух друзей, пригласили при-
сесть.

На расшатанном стуле, сжимая свою старую зимнюю шапку с опущенными ушами, в помещении тёплом снятую, расстегнув пальто, размотав шарф на шее, руки сложив на коленях, глядя смущённо вдаль куда-то, поверх голов, я сидел под взглядами, быстрыми, перекрёстными, любопытными, дам притихших редакционных, элегантных и моложавых, неуютно себя ощущая и не зная, куда мне деваться.

Битов, глядя на дам ласково, но и строго, из-под очков, с профессорской ноткою в мягком, низком, с баритональным бархатом властным, раскатистом голосе, невозмутимо, уверенно, продолжал говорить обо мне:

— Володя — следует помнить всем — основатель СМОГа.

Дамы переглянулись мигом. И — напряглись.

Битов сурово спросил их:

— Знаете вы — о СМОГе?

— Как же, как же! Конечно, знаем! — быстро ответили дамы.

И вновь меж собою, с таким значением, переглянулись.

Эх, грустно подумал я, вот он, преткновения камень! Теперь-то всё уж точно, точнее некуда, не впервой ведь это, пропало.

Говорил же я, специально, по дороге сюда, в редакцию, говорил, и серьёзно, Андрею, чтоб запомнил: ни слова о СМОГе!

Так нет же, ну как нарочно, с этого он и начал.

Будто не знает, чего стоил мне этот СМОГ — и как это всё обернулось жестоко потом для меня.

И ещё неизвестно совсем, сколько лет, может, всю мою жизнь, потому что бывает всякое, предстоит мне всё это расхлёбывать.

Да чего уж теперь! Слово — сказано. А оно, как известно каждому, и особенно в нашей стране замечательной, не воробей.

К тому же и это, приставшее ко мне, величание — гением.

Ну разве нельзя без этого хоть когда-нибудь обойтись?

Приклеилась, как ярлык, и не отдерёшь, и не пробуй, ко мне, задолго до СМОГа, эта самая гениальность.

Можно ведь было представить меня сейчас поскромнее.

Люди — сплошь незнакомые.

Кто я такой — для них?

Так, молодой человек.

С Андреем сюда пришёл.

Может так быть? Может.

Мало ли что он взахлёб им обо мне рассказывает!

Люди они — казённые, подневольные, государственные.

В советском печатном органе, под надзором властей, работают.

Редакционные люди.

Люди — официальные.

А тут, ни с того ни с сего, — СМОГ! Да ещё и — гений!..

Андрей, между тем, указывая на меня простёртой ладонью, продолжал говорить внимающим любимцу-писателю дамам:

— Володя Алейников — знать об этом следует вам — знаменитый молодой поэт. Вы читали его стихи?

— Нет, не читали! — взоры потупив, ответили дамы.

— А я вот, представьте, — читал! — сказал им с укором Андрей. — И продолжаю читать. И наизусть кое-что могу прочитывать, при желании. Замечательные стихи!

— Верим, верим! — сказали дамы.

— Надо стихи Володины издавать, — сказал им Андрей. — Может быть, с этим в дальнейшем и возникнут какие-то сложности. Я вполне допускаю это. Но Володю — надо издать. Сейчас. И потом — издавать. И я вижу, кажется, выход. Переводит Володя с грузинского. Замечательно переводит. Я слышал.

Мне — очень понравилось. И ведь это — как раз для вашего журнала. Рекомендую вам — его переводы!

— Ах, так? — опять меж собою переглянулись дамы. — Ну, это другое дело. С этим у нас куда проще, нежели со стихами. А то, как сказать-то вам, знаете ли, — обратились они ко мне, то ли ансамблем слаженным, то ли наперебой, да это уже и неважно, ведь всех их воспринимал я, от смущения, от ощущения себя здесь — белой вороной, — всех заодно, вот этих редакционных дам, во множественном числе. — А то, ну как объяснить, понимаете ли, Володя, — СМОГ. Мы ведь в курсе дела. Не на луне живём. Кое о чём наслышаны. Стихи напечатать — сложно. А вот переводы ваши с грузинского — это можно попробовать напечатать.

— Вот и попробуйте! — твёрдо и призывно сказал им Андрей.

На стенах редакционного тесноватого помещения разглядел я, резко сощурившись, какие-то надписи, подписи.

То, что в столбик записано, — это, скорее всего, стихи, — догадался я, не пытаясь прочитать хоть одну строку.

А короткие надписи — видимо, афоризмы, остроты всякие.

Ну а подписи — вон их сколько там — их отсюда и не разглядишь.

Редакционные дамы увидели, что смотрю я, сидя на стуле расшатанном и щурясь, на стену, исписанную от пола до потолка почти, во всю ширину, так, что и места на ней свободно не остаётся.

— Володя! — журча и звеня приветливыми голосами, обратились они ко мне. — А вы нам прямо сейчас что-нибудь не напишете? Стихотворение. Или хотя бы четверостишие. У нас — такая традиция. Наши любимые авторы свои автографы нам оставляют, — вот здесь, на стене.

— Да вы ведь, поймите меня, ничего моего и не знаете! — совсем уж смутился я. И растерялся даже, немного. Потом спохватился и продолжил: — Так вот, неожиданно, с места в ка-

рьер, спонтанно, я не привык. Вы меня врасплох застали. К тому же — я ведь не ваш ещё автор. Вы уж простите меня, но писать я сегодня не буду ничего. Если случай представится — то ещё напишу, потом.

— Ну, потом так потом. Понимаем! — дружелюбно сказали дамы.

Андрей с интересом писательским наблюдал, как я, деликатно, вроде бы, но и решительно, проявляя характер твёрдый, на ненужную мелочёвку не покупаясь, отказываюсь оставлять в редакции этой, по капризу дам, свой автограф.

— Да хоть что-нибудь напиши! — подзадорить меня он попробовал неуклюже, — любые строчки. Хочешь, я подскажу тебе, что здесь можно сейчас написать?

— Нет, нет, Андрей! — отмахнулся я от него. — Спасибо. Не надо. Нельзя так вот, сразу же, лишь бы обнародовать что-то своё, хотя бы на этой стене, привлекать людское внимание любым, даже этим, поспешным и ненужным, в общем-то, способом.

— Ну, как хочешь! Дело твоё! — пожал плечами Андрей.

Дамы снова переглянулись.

— Вы, Володя, — сказали они, — приходите к нам. Со своими переводами. Кстати, они с собой у вас или нет?

Я ответил им просто:

— Нет.

— Вот и ладно! — сказали дамы. — Ничего. Это всё поправимо. Вот мы с вами договоримся — и придёте вы к нам с переводами, на машинке перепечатанными, как положено. Хорошо?

Я сказал:

— Хорошо, я приду.

— Переводы ваши внимательно мы посмотрим, — сказали дамы, — и обсудим потом их, и что-нибудь, посоветовавшись, решим.

— Смотрите и обсуждайте, советуйтесь и решайте. Обязательно! — сделал акцент на слове последнем Битов.

— Ну что же, Андрей, — сказал я, взглянув на него вначале, а потом и на дам-редакторш, — мы, вроде, договорились. Пойдём? Наверно, пора!

— Пойдём! — согласился Андрей.

Попрощались мы с милыми дамами.

— До свидания!

— До свидания!

— Заходите к нам!

— До свидания!

Белых ручек лёгкие взмахи.

Взгляды быстрые — и пытливые.

— До свидания!

— В добрый путь!

И — улыбки, почти Джокондины.

Холодок подведённых глаз.

Восклицания:

— В добрый час!

— До свидания!

— Ждём!

— Привет!

Потемнел ли впрямь — белый свет?

Или — рано темнеть ему?

Что за странности? Не пойму.

Иль неймётся Третьему Риму?

Снег нагрянул. За снегом — дым.

Город замер — и стал седым.

Время СМОГа?

Мы вышли — в зиму.

Андрей открыл дверцы машины.

Мы забрались вовнутрь.

— Ничего из этой затеи не выйдет! — с грустью, нахлынувшей внезапно, вымолвил я.

— Почему? — озадачился Битов.

— Потому. Потому что — СМОГ.

— Ну и что? — Андрей удивлённо посмотрел на меня. — Ничего я, получается, не понимаю.

— Зато я хорошо понимаю, — так ответил ему я тогда. — СМОГ, Андрей, это значит — запрет. СМОГ — это чуть ли не рок. Для меня — хороший урок. СМОГ — это значит, и нынче, и впредь — не пускать на порог. В редакции, например. И газетные, и журнальные. И, само собою, в издательства. Там ведь не идиоты законченные сидят. Всё они хорошо знают — и всё понимают. Директивы и распоряжения, сверху идущие к ним, старательно выполняют. В том числе и о нашем СМОГе. Там напрямую сказано, по-советски: не издавать! Там, в циркулярах этих, я, между прочим, первым номером числюсь. Так-то. По алфавиту, естественно. Поскольку моя фамилия с буквы «А» начинается. Да ещё потому, что власти не желают меня печатать.

— Да? — протянул Андрей. — А я им начал — со СМОГа. Я ведь хотел — как лучше.

— Сказал бы ты им или вовсе ничего не сказал о СМОГе, — пояснил я устало Битову, — это не столь уж и важно. Всё равно они, эти дамы, сразу же сообразили бы, что я-то и есть тот самый Алейников. Тот, которого приказано — не печатать.

— Но всё-таки ты попробуй, — буркнул Андрей, — принеси им свои переводы. Вдруг да получится с публикацией?

— Принести-то я принесу, — сказал я, — да вот относительно публикации — сомневаюсь. И даже не сомневаюсь, а знаю, уже сейчас: ничего с ней, увы, не получится. Время такое — сложное — у меня. Свежи у властей наших воспоминания — о недавнем прошлом, смогистском, как его именуют, моём. Появляюсь я часто на людях или редко — везде я чувствую неприятное, странноватое, с подковыркой какой-то, внимание — ко мне, ко всему, что я делаю, что говорю, и так далее, и внимание это значит — непрерывное наблюдение. Плевал я на это, конечно.

Да противно, поверь. И грустно. Терпеть приходится. Что же делать? И ждать, как всегда. Жить — и ждать. Да только — чего?

Битов, блеснув очками, закурил, взглянул на меня как-то искося, сквозь белёсый дым табачный, и промолчал.

Шумно вздохнул. Завёл машину. Тронулся с места. Быстро довёз меня до дому.

Сильный, белый, обильный, слепящий, резко, наискось, густо летящий, с грустью, к радости предстоящей, снег округу заполонил.

Снег, скрывающий все обиды, все следы, от покрова Изида к лёгким радугам светлой Ириды уносящий всё, что хранил.

Снег — белизна. Как с чистого листа — в несусветной темени.

Снег — пелена. Что ж, выстоим сызнава — в чистом времени.

Пелена, за которой, похоже, никакого просвета не видно.

Белизна, за которой всё же проясняется что-то скрытно.

Попрощались мы, как-то наскоро, без особых эмоций, с Андреем.

Почему-то — устали оба.

Говорить было, вроде бы, не о чем.

Всё и так уже было сказано.

Нитью вьющейся с чем-то связано.

С чем? Поди угадай. Попробуй.

Снег казался — белой чащобой.

Дымом. Скопищем зимних дум.

Битов был насуплен, угрюм.

Знать, на это была причина.

Зафырчала его машина.

Он уехал на ней — сквозь снег.

Словно тихий покинул брег.

Вдаль умчался. И — вглубь. И — ввысь.

Вихри снежные поднялись.

Белизна сомкнулась вокруг.

Снег — и СМОГ. Словно брат и друг.

СМОГ — и снег. Словно да и нет.

С чёрным вечером — белый свет.

Я остался один, в глубине тишины, посреди снегопада.

Постоял. Поглядел — куда?

В неизвестность, скорее всего.

И — пошёл домой восвояси.

Хлопнула дверь подъезда.

Лифта я ждать не стал.

По сырым, скользящим ступеням поднялся на четвёртый этаж.

Позвонил. Подождал. Мне открыли.

Я стряхнул с себя снег — и вошёл...

Переводы в «Дружбу народов» я принёс. Потом. С неохотой.

У меня их — взяли. Сказали, что посмотрят. Что надо звонить, узнавать... С публикацией этой ничего, конечно, не вышло.

Всё заглохло — само собой. Будто не было ничего.

Кроме зимнего дня — и снега.

Кроме снега — и слов о СМОГе.

Кроме снега — и зимнего сна.



...Сновидение, что ли? — Снег. В Киеве, в шестидесятых.

Зима с искристым, приятным, едва ощутимым морозцем.

Январь? Февраль? — Да неважно. Уже, наверно, неважно.

Совсем неважно, пожалуй, — так я теперь скажу.

Важно — что снег. В Киеве. Городской, лиловатый, вечерний. Мягкий, приветливый, влажный. Добродушный, чистый, живой.

Вечер. Довольно поздно. Мы только что прилетели сюда самолётом — вдруг, под настроение, вмиг решили на это,

собравшись — там, в холодной Москве, — в путь. Почему? Не знаю. Так, по чутью. На зов. Или — на звук? Чуда? Пожалуй. Скорее всего. И вот — оказались в небе. Порыв, перелёт, — и мы здесь.

Из аэропорта, сквозь снег, добираемся в город. И вскоре — мы уже там, где хотели быть в этот вечер — в городе, в его уютной, домашней, давно обжитой сердцевине.

Окна — где-то вверху,
окна — внизу, под ногами,
окна — сквозь спуски и сквозь крутизну,
окна — вечерние, тёплые,
на разных загадочных уровнях и на любой высоте.

Везде, в углах, в закутках, вдоль оград, во дворах, за стенами, за холмами, за каждым домом — стуски синей, почти сырой, а ещё — почти смоляной, а ещё — подвижной, текучей, и тягучей, и вовсе не страшной, а, скорее, нарочно хмурящей свои чёрные, пышные брови и с немалым трудом, пожалуй, как-то сдерживающей себя, чтоб не прыснуть, не рассмеяться, карим глазом своим сверкающей, темноты, за которой — свет.

Жёлтые, белые, розовые, оранжевые, зелёные — огни, весёлые россыпи блёсток, лёгоньких искр.

Пульсирующее мерцание.

Узоры, круги, повторы.

Отсветы, вспышки, лучи.

Но главное — сам снег.

Снег — на улицах, в парках, в ярах и на кручах, на тротуарах, на дорогах и в подворотнях, на скамейках, на крышах, на свисших проводах, на плечах у прохожих, снег везде, вдали и вблизи, снег и здесь — и, конечно, повсюду, куда ни помотришь, куда ни шагнёшь — пушистый, праздничный снег,

снег — так с избытком, снег — вот сейчас, и сразу на всех — снег, снег — значит, впрок, и на потом, и чтобы потом — ещё на

потом, и чтобы хватило на всех киевлян, и вместе с ними — на всех землян, — снег, снег, — да какой!

Снег, тяжестью всею своей пригнувший кусты до земли, выгнувший ветви деревьев, особенно длинные, гибкие, тонкие ветки верб, наклонивший их дугообразно, и тополя изумлённые запросто превративший в белые веретёна, и кроны каштанов раскидистые сделавший серебристыми, хрупкими, с белизною, влажною и туманною, изредка — чуть качающимися, больше — на месте застывшими, подсвеченными фонарями, затронутыми сединою, сплошной чередой стоящими вдоль улиц, густыми шарами, —

снег, устроивший, на ходу, на бегу, на лету, в движении непрерывном, в лёгком кружении, невиданную доселе, фантастическую геометрию, с нарушением всех привычных пропорций, со всеми этими конусами, овалами, изгибами, пирамидами, витыми спиралями, сферами, — в любых, куда ни взгляни — возможны они, направлениях, на все четыре распахнутых в пространстве стороны света, во всех измерениях, всех состояниях, настроениях, во всех вариантах, всех ипостасях, во всех возможных и невозможных, пусть, поворотах, наклонах, изломах, прорастаниях в глубь и в даль, в высь, которая вроде бы рядом, в связях — явственных, мнимых и тайных, и в узлах, и в сплетеньях, и в швах, и в разъятьях, и в сросшихся тканях, с треугольниками и кругами, и квадратами, и кристаллами, и солярными знаками, и штрихами воздушными, и зальделыми ромбами, да и прочими, странными, небывалыми, новыми, не такими, как прежние, никогда никем и не виданными, удивительными фигурами, — причём сами линии были певучими на удивление, и растений всех очертания музыкальными были, звучащими, и повсюду, если прислушаться, можно было услышать стройно звучащую, плавно льющуюся, многоголосую музыку, зимнюю музыку, снежную, тёплую, городскую, —

и всё это было — снег, а с ним и вечер, и Киев, и это была — явь, а вовсе не сновидение, и всё это было — с нами. Конечно же, волшебство!

Ну разве не сказка? Сказка?

Ну разве не песня? Песня.

И разве не Киев? Киев.

Со снегом, с его теплом.

За синевой густой и белизной воздушной, за горячей желтизной и зеленью дремотною, не сразу, чуть погода, чтоб радовать потом, — конечно же, являлись, возникали глаза друзей, и лица их, и речи, и всё, что неминуемо сбывалось, и всё, что продолжалось и росло — сквозь время и пространство, за которым нам брезжили иные измерения, сквозь этот снег, с его началом лада, с преддверьем рая и предвестьем ада, с его сияньем, — то-то в нём отрада для нас, теперешних, и лишних слов не надо, — за ним, чурающимся смуты и распада, за ним, тогдашним, — странная привада! — уже бесчасья горбилась громада, уже мерещилось виденье звездопада, чтоб века нового дожидаться нам, где Града, уже небесного, увидим снег... Иль свет?

Откуда взяться им в грядущем? Да отсюда! — из этой музыки, из явленного чуда, из этих сказочных, крылатых наших лет, поскольку равных им и не было, и нет.

И я там был, мёд, пиво пил, — и даже, среди этого блаженства или блажи увидев тень мистерии в пейзаже, был снегом киевским и дружбами согрет...



...Петербург в конце февраля и в начале марта, прекрасный город снов и мечтаний, рай, за воротами которого высвечен в полумгле, в трепещущей, зыбкой, беспокойной дымке, в ту-

мане, в переполненном влагой воздухе, над скоплениями крыш, над всем, что вверху и внизу, вокруг, и в былом, и в явленном ныне, жутковатый и притягательный, грозный лик Медузы Горгоны, —

Петербург, желанный, зовущий неизвестно куда, чужой и родной, обжитой, знакомый, со звонками друзей телефонными, долгожданнами встречами, новыми разговорами и прогулками, размышлениями и догадками, пониманием и вниманием, неким гулом за каждым словом, каждым шагом и каждым взглядом, гулом странным, то отдалённым, то чрезмерно близким, томящим, различимым ежесекундно, гулом бездны морской и выси поднебесной, гулом тревожным галактической глубины, звучанием, оркестровым, органным, властным, —

Петербург за окном вагонным отодвинулся вдруг, остался позади, на месте своём, там, где был он необходим людям, птицам, ветрам, речам, всем живущим и всем поющим, всем частям единого целого, дивной ткани, великой музыки, вечной муки, блаженства, блажи, отголосков абсурда, бреда, всплесков радости, песен счастья и любви, томленья по чуду, светлой грусти, горенья общего и дыханья долгого, повести о таком, что слишком уж дорого для души и для сердца, истинном, всем, всему, решительно всем, —

поезд шёл, набирая скорость, вдоль снегов и лесов, незаметно превращались минуты в часы, день всё длился, — ну вот и Москва.

...Я проснулся от птичьего щебета. В лесу, за моим окном, звонко, самозабвенно, пичуги, славя по-своему солнечный свет и утро мартовское, со снегом, с зеленью хвои сосновой, со сквозной белизной берёз, вопрошая о чём-то важном, пели на все лады.

Ответить на эти вопросы предстояло, видимо, мне.

Почему? Да так уж сложилось. Не случайно — это уж точно. По судьбе, пожалуй. Конечно же. По судьбе. Как в сказке. Вернее — в яви. Нашей. Такой, в которой всё возможно и всё бывает. В том числе и необъяснимые никакой заграничной логикой, но живые, давно привычные в настоящем сумбурном времени и уже помаленьку идущие чередой неровной в грядущее, наши, кровные, несомненные, неизбежные, сокровенные, и поэтому — драгоценные, вдохновенные, дерзновенные, незабвенные чудеса.



...Море.

Вспомним теперь — о море.

Эти вечные всплески чаянья, эти выплески грусти в поисках долгожданного и надёжного, почему-то необходимого, неизвестно зачем приснившегося, от сторонних взглядов укрывшегося где-то рядом, вон там, наверное, убежища на земле.

Этот гул или грохот, эта, с отрешённостью в дружбе, усталость, это — в конце концов — нахлынувшее неожиданно, застигнувшее врасплох, озадачившее, смутившее, вдохновившее на поступки, ну а может быть, и на подвиги, запоздалое понимание, словно вспышка молнии, вдруг, прояснившая разом сознание, сквозь туман: я тоже стихия, да, представьте, и на земле мне, мятежному, делать нечего, посему простите, прощайте, в путь, вперёд, я само по себе.

Этот запах влажных ракушек и водорослей мохнатых, эти мидии, присосавшиеся к бугристому, ноздреватому, подводному тёмному камню или, вынутые из створок загорелой до черноты, одичалой от жизни летней, слишком вольной для горожан, развесёлой оравой романтиков, грудой скользких моллюсков брошенные в кашу, пищу богов, готовящуюся, по традиции устоявшейся, разумеется, на огне, в бухтах, скрытых от глаз людских, среди скал, вдалеке от здешней примитивной цивилизации, где палатки, дубняк, следы талой, дикой весенней воды на безмолвных склонах видны, словно давний при-

вет с луны, Кара-Даг, остатки костров, разгулявшиеся гитары, эти мидии, с тусклым жемчугом, в них наросшим, и без него, запах моря, когда ныряешь за ними в маске, привычные, неустанные вдохи и выдохи.

Море.

Песня моя задушевная, бесконечная, как у татарина, обо всём совершенно, что видел, обо всём, что услышал, узнал.

Песня, пускай утасаящая, затихающая постепенно, понемногу, так, чтоб звучать на просторе как можно дольше, чтобы жить, и не только в памяти, но и в области слуха, и даже в заколдованной области плача, как сказал однажды поэт, уходящая, разумеется, в никуда, но и в то же время не желающая исчезнуть и намеренная остаться вместе с нами, вот здесь, на этом берегу, где стоим теперь мы и пытаемся слышать то, что раскроется в озаренье, и уже напрягаем зрение в постиженье своём простом то ли музыки, в небесах запропавшей вдруг почему-то, чтобы ей потом появиться, чтобы нам на неё дивиться, то ли вытянутого вдаль и упругого, как спираль, непредвиденного пространства, песня, вроде бы нисходящая по наклонной, к нам снисходящая благодатью с высот, чтоб не было немоты, слепоты, глухоты, чтобы нам не пропасть во мраке, чтобы выйти сквозь ночь на свет, песня — чудо, песня — завет, песня — птица, песня — мечта, восходящая красота, песня — весть, чуть слышная, но продолжающаяся в грядущем, не теряющаяся сразу, словно резкая грань алмаза, разрезающая стекло вод, где к слову придёт число, —

как долгий след корабля почему-то всегда остаётся позади, остаётся, и всё тут, ничего не поделаешь с ним, есть, как данность, как вероятность откровенья или забвенья, есть вдали, есть в любое мгновенье затянувшегося прощанья, как прощенье, как обещанье новых встреч и новых разлук, есть, как есть ведь на свете друг, есть, как оклик, а может, вздох, есть, как грань меж крутых эпох, и томит нераскрытой тайной, и прослеживается часами посреди беспокойных волн, —

вон туда он пошёл, корабль, вон туда он, смотрите, направился, вроде, маленький, чуть заметный, или нет, конечно, большой.

А на земле в это время, в это же самое время, в те же часы и минуты, в те же мгновенья, тут же исчезающие, чтоб за ними вырастали мгновенья новые, продолжаясь до бесконечности, всё возможно, всё вероятно, всё издревле материально, потому что известно, что время это просто сама, запомните навсегда для себя, материя, так-то, братцы, — на берегу — варят кашу с привкусом дыма, жгут костры, отрешённо играют, как уж выйдет у них, на гитаре.

А в порту есть ещё и собратья вдаль ушедшего корабля — тоже смелые, тоже плавающие, тоже, стоит отметить, крепкие.

А в Москве, далеко, есть женщина одинокая и окно.

А вон там, наверху, есть мелко, дробно как-то, слишком извилисто, коренастым поросшая лесом, несгораемая гора.

И ходим-то мы — не забудьте об этом, друзья, — по вулкану.

Помнишь поездку в «Газике» от Феодосии, кажется, нет, конечно же, от Керчи, солнцем выжженной, просолённой ветром с моря насквозь, донельзя, словно связка бычков сушёных, во дворах своих и на склонах Митридата, везде, повсюду, разбросавшей щедрыми пригоршнями цветочные пятна и запахи, впрок, наверное, на потом, чтоб хватило на всех когда-нибудь их с избытком, до Феодосии, в самом конце скитальческого, переполненного событиями небывалыми, шалого, знакового, жаркого, звёздного августа, под дождём проливным, сто двадцать километров отчаянных в час, нас много, и мы сидим слишком тесно, вплотную друг к другу, пассажиры, и нам, разумеется, почему-то не по себе, страшновато нам иногда, прямо скажем, от гонки этой сквозь отвесные струи дождя, сквозь косматую мглу, сквозь вечер, назревающий постепенно вдалеке, в стороне, вперёд, может быть, и нам повезёт, как везло и прежде, бывало, дай-то Бог, а шофёр беззаботен?

Помнишь приезд стремительный в Коктебель, ожидание нового — мыслей, чувств, настроений, встреч, впечатлений разнообразных, — и надежду, наивную, робкую, наконец-то обильных луж: вдруг не высохнут никогда на здешней глинистой почве?

Атаки жаждущих крови человеческой комаров, тогда, в середине самой крылатых шестидесятых, ещё хорошее, всюду, на каждом шагу, вино, деньги, пускай и скромные, но всё-таки что-то да значившие тогда, с которыми просто и легко было нам расставаться, знакомых приветливых девушек, море после дождя?

Помнишь Ялту с её Испанией галерей, балконов, решёток и внезапных, как восклицания изумлённые, поворотов?

Помнишь закрывшие с севера светлый город рослые горы, хранящий тепло «воротник» на горле изнеженном юга?

Помнишь ночное купание, брезентовую палатку, приткнувшуюся так по-свойски, надолго, почти навсегда, под ветвями дикой маслины, словно пройдут немалые годы, покуда спохватятся наконец и её уберут?

Её свернут в неподатливый клубок, поплотнее скатают, понесут на плечах, куда-то, насовсем, видать, увезут.

Их много было, таких, приют всем дававших, палаток.

Море.

Зачем тебе надо, разом, незамедлительно, всколыхнуть эту сонную гладь, задеть эту плавкую твердь, закипающую смолою, когда ты и так — море?

Море.

Грот. Корабль вдалеке. Сон во сне. Следы на песке. Берег, вымытый добела. Запрокинутая скала.

Загорелые ноги. Взгляды сквозь ресницы густые. Август.

Море.

Я плачу неожиданно, выкинув сантименты, как труху табачную жёлтую из карманов потёртой куртки.

Я смеюсь, пробегаю вдруг напрямик, только вдоль прибоя.

Что-то я нахожу, рассматриваю, приближая к своим, прищуренным от палящего солнца, зелёным и весьма ещё зорким глазам, — сердолик? халцедон? агат? — наклоняюсь порою к найденному, словно цепко, привычно прицениваюсь, наподобие антиквара.

Что-то бросаю, как скользкий, лёгонький, плоский голыш — вот он, взвившись дугою, пролетел над водой, ударился об неё, как обжёгшись, подпрыгнул, высоко, пружинисто, раз, ещё раз, может быть, как в цыганской песне старой — ещё много раз?

Море.

Где ближний причал — это причал настоящий, и к нему, неизменно, доверчиво, причаливают катера.

Море.

В котором уютно у берега дорогого — и ждёшь его слишком уж долго на суше, вдали от него.

Я бушую, как ты, я смиряюсь, как и ты, я чего-то жду.

Всплески, выплески, накипь солёная шумной пены, отблески солнца.

Я пойду. Мне пора уже. Ладно?

Ждут меня павильоны летние, тенты, плещущие под ветром парусами, напитки шипучие, свет негаданно вспыхнувших фар, тень ветвей, узорное марево, зазеркальное действие, лёгкое и прохладное, виноградное, замечательное вино, сама прохлада с её трогательной заботливостью об обожжённом, пылающем, ярком, ждёт меня влажный, тёмный, мягкий асфальт, в который накрепко въелись петляющие следы автомобильных шин, и эта рубчатка чёткая то и дело напоминает, отдалённо пускай, неважно, то плавник океанской рыбы, то изгиб черноморской волны, то замедленный, утихающий, словно после жаркого спора, след раскатистого прибоя, если вздумаешь вдруг шагнуть безоглядно в ночную воду, побредёшь по ней и почувешь и прохладу, и доброту.

Эта дружба, давняя, крепкая.

Эта, видно, врождённая тяга — к тайне, сказке, легенде, притче, в мир мечты, к истокам чудес.

Потереть меж пальцев листок лавра, густого, пахучего, или ореха грецкого, или снежинчатый, лёгонький, тёмно-зелёный кусочек рвущейся к небу сени сонного кипариса — тоже напоминание, может быть — о звезде, может быть — о зиме, что не страшна растениям, или же о волне, плещущей отрешённо где-то внизу, где звук с эхом своим играет в прятки, в который уж раз, не уставая при этом беседу вести со светом, белым, по всем приметам, нужным для наших глаз, —

вдохнуть потаённый жар окон, распахнутых настежь, увидеть, пусть и случайно, в них счастливых влюблённых, —

запах бензина, резкий, как нашатырь, переполненные урны, афиши, концертные, театральные, чьи-то гастроли, бенефисы, спектакли, пёстрая, лицедейская, карнавальная жизнь, без масок и в масках, с оркестрами, поднимающими свои золотые трубы, подобно в небесах таинственных сорванным, голосистым, росистым цветам, прижимающими свои хрупкотелые скрипки к щетинистым или выбритым подбородкам, словно стуски мечтаний давних о неведомом и манящем тихой музыкой вдалеке, молчаливые телефоны-автоматы, крутые склоны, закоулки, билет в руке,

набережная, как тысяча и одна, вроде сказок восточных, причудливо разукрашенных, узорчатых, пряничных, ярких, юрких или скользящих неторопливо лодок, переполненных людом праздным, где-нибудь, положим — в Венеции,

звонки телефонные, редкие, — в северную Москву,

сжавшиеся в тугие опахала, от влажной ночи субтропической одуревшие, лунатически бледные пальмы, осторонь от бесконечных, неугомонных толп, россыпей, групп, компаний приезжих людей, гуляющих, без учёта места и времени, где им вздумается и когда им захочется, расписание полустёртое междугородних или рейсовых местных автобусов, бумажных

стаканчиков брошенных шорох, пустые бутылки по углам,
в основном из-под пива,

туфельки на каблучках-гвоздиках, быстрый, вкрадчивый,
с лукавинкой, с укоризной, с досадой, призывный след строй-
ной, загаром тронутой бережно, женской ножки, юбки, мазки
акварельные, лепестки цветочные пёстрые, легко, дразняще,
взлетающие вверх от порывов охочего до неги, ночного, тёпло-
го, сумасбродного ветерка, друга неутомного, ревнивого до
невозможности, щедрого невероятно, любвеобильного, южно-
го, привязчивого кавалера, костюмы, на ком-то, строгие зачем-
то, воздушные, пышные, кружевные летние платья,

просто рубахи, светлые, под которыми — просто горячее,
желаниями распалённое, молодое, свежее тело,

ночные, в смолисто-чёрной, с отражениями огней золоти-
стыми, с плеском дремотным, прибрежной воде, купания,

принесённый кем-то кому-то когда-то зачем-то букет, вос-
хитительные в роскошестве своём, пунцовые розы,

какой-то, кому-нибудь, видно, достойному, или так, по-со-
ветски, случайному, памятник, подобие площади, крохотной,
не больше ладони, внезапный поворот, ещё поворот,

ресторан с остывающей кухней, со столиком, на котором
осталась никем не убранная соломинка с капелькой кем-то не-
допитого, розоватого, сладковатого, липкого пунша,

покачивающийся плавно, монотонно, туда-сюда, осевший
на время какое-то, ненадолго совсем, в порту, симпатичный
белый кораблик, зачем-то куда-то, наверное, от назойливых
глаз людских, убравший своё оперение, называемое почему-то
подводными, да, представьте, удивляясь, именно так, и никак
не иначе, крыльями,

то тишина сплошная, призрачная, резная, то всеобщая, бур-
ная, с перебором, сплошная музыка,

рулады аллей протяжные, подъём, неизвестно куда, спуск,
непонятно, зачем, почему, высокая лестница,
ещё, ещё и ещё, —

где ты, скажи мне, теперь? —

стоишь, где-нибудь, подальше ли от чудес, поближе ли к ним, взволнованно, шумно дышишь, глядишь на них, изумляясь всему, что собрано в них воедино, в энергетический, ностальгический, элегический сгусток, в некий волшебный шар, переполненный светом астральным, в мир, который не станет опальным, ходишь, может быть, пристально, цепко, чтоб оставить всё на потом, сохранить обязательно в памяти, всматриваешься в круг магический, в сердцевину видения, в самую глубь наваждения, в то, что за гранью, в то, чему не грозит сгоранье, в чём горенье не смогут льдом погубить, в чём твой тайный дом.

Неподражаемый, жалобный, выживший из упрямства, вышедший из пространства, вынесший постоянство радости сквозь невзгоды, вестник смены погоды, радужный перелив целебного, чистого света,

запах, ещё, и потом ещё, узнаваемый запах,

тут — почти уже примирившегося с застыванием скорым осенним, с пустотою бесстыдной и с инеем на газонах и клумбах, асфальта,

там — то ли чуть подгоревшего сочного шашлыка, то ли кипящего в масле караимского пирожка,

а здесь вот — всеядный, всеобщий, просто винный, и всё этим сказано, всё тут ясно без лишних слов, это мы хорошо понимаем,

а вон там, да, чуть в стороне, подальше от суеты, поближе к вратам небес и сводам простора — запах пропитанных влагой свай, чуть подольше, чем все остальные, протяжённее, чтобы вдохнуть поглубже, чтоб тут же запомнить,

а потом, ну подумать ведь только, и представить нельзя такое, но, пожалуйста, приготовься, это надо же, вновь поворот,

она или ты — или вместе, в два голоса, одновременно, растерянно, изумлённо, взволнованно, радостно, — здравствуйте! —

разлитая всюду, безбрежно, безудержно, широко, так, что нет ей пределов, нежность, так щедро, так бескорыстно, что

нет ей возраста, нет увядания, настоящая, словно жизнь, и судьба, и песня, и речь, и весь этот рай земной, — и нельзя поскромнее, и спокойнее тоже нельзя, — ласкать, обнимать, целовать, и, в который уж раз, удивляться.

А там — не забыли ведь мы о нём — разумеется, море, вон там, за этим нависшим над бездною парашютом, за этой полоской условной камня или бетона, —

оно примирилось, возможно, сейчас неизвестно с чем, но кто его знает, — как поведёт себя чуть погода.

Луна, в эмпиреях витающая, огромная, в три объёма.

Звёзды, величиной с теннисный мячик. Может, несколько меньше, с шарик для пинг-понга? Нет, нет, побольше. Большие. Совсем большие. Как выросшие незаметно дети, ставшие взрослыми. Как людские, порою, дела.

Усталые, накурившиеся до тошноты, до одури, папирос или сигарет, подвыпившие или трезвые, кто с проигрышем, кто с выигрышем, кто с досадою на себя, кто с мечтами о крупном везении, рассеянно что-то бормочущие, на мир удивлённо смотрящие, неизвестно чего желающие, расходящиеся по домам, азартные миллиардисты.

Да мало ли кто ещё уходит или приходит куда-то? Да мало ли что в округе теперь происходит?

Не всё ли равно мне, где роение прекратится? К солёной бредя воде, всё, видимо, возродится.

И вспомнится — лишь родное.

Здесь оно, море, со мною.



...Весть была — о Тавриде. О Крыме.

Весть — оттуда, из прожитых лет, ставших с возрастом впрямь дорогими, из которых — дыхание и свет — над судьбой, над словами благими, над пространством в серебряном дыме.

Имя времени. Сны ли о Крыме?

Явь ли с правью? — Лишь ветер в ответ.

— Вот оно, вот, начинается.
Начинается — и звучит.
Возвращается — и живёт.
Возвращается, исподволь движется.
Ближе, ближе. Уже вплотную.
Обращаясь — небось, ко мне.
Возвышаясь — и расстилаясь.
Разворачиваясь, лучась.
Продолжаясь, — всё дальше и дальше.
В глубь цветущую, в гущу сквозную.
Вниз — и ввысь. И опять: вниз — и ввысь.
Растворяясь в мареве. Тая.
Проявляясь — рядом. Вблизи.
Так, что ближе уже нельзя.
Разветвляясь и умножаясь.
Провожая — чтоб встретить вновь.
И встречая — чтоб не расстаться.

Что за диво? Богиня Дева.
Царство света. Страна тепла.
Тавры, скифы, сарматы, готы.
Киммерийцы. Ну кто — ещё?
Все здесь жили — и все здесь пели.
Все — оставить свой след успели.
Что за имя, скажи, у моря?
Помнишь — Русским оно звалось?
Всё осталось, как есть. Всё — живо.
Все привады и все порывы.
Здравствуй, Дева! Твоё ли диво?
Ну, теперь-то уж — началось!

Южный берег. Понизу — роскошь.
Всюду — щедрость. С избытком даже.
Где амброзия? Черпай ложкой!

Дрожь проймёт на пороге блажи.
Дождь пройдёт — и цветы встряхнутся.
Оживут и засвищут птицы.
Все ушедшие встарь — вернуться.
И откроются все границы.

Растений — везде — сплетения.
Теней — вокруг — нарастание.
Средостений — вмиг — возрастание.
Зелени — вдруг — прорастание.
Из почвы — сквозь синеву.
Из синевы — сквозь время.
Во сне ли? Нет, наяву.
Сквозь явь. За семенем семя.

Дикое, вечнозелёное, вихрем страстей опалённое, грозное,
неутолённое буйство. Извечное действо.

Геройство — считай, мифическое. Беспокойство. Свойство — лирическое, а может быть, и космическое — жить, вопреки злодейству.

Торжество зелёного цвета. Вполне вероятно — блаженство. Шаг всего лишь — до совершенства. Почему бы, скажите, и нет?

Волшебство. Цыганщина. Воля. С песней таборной. То ли доля, то ли боль. Диезы, бемоли. Звукоряд. Вопрос и ответ.

Оттенков перетеканье, друг в дружку, словно в считалке. Переключка тонов, а за ними — всех возможных полутонов.

Игра повальная — в жмурки? Чьи там видны фигурки? Декорации — для миракля? Он — доселе — и стар, и нов.

Иглица. Иглы сестрица?
Вязальная тонная спица?
Вздвогнувшая ресница?
По-татарски — сич-аутекен.

Инъекции соков и запахов — куда-то во вздутую вену расплескавшегося прибоя, куда-то в артерию сонную разомлевшего побережья, в пульсирующую, внизу, и вверх, и от глаз ускользающую, смутно-синюю жилку шоссе.

Земляничное дерево. Или — вспоминаем — кизил-агач.

Земляничным полянам — лукавый, по-восточному, томный прищур от ветвящихся тёзок, — и только.

На открытках и снимках — наискось — каллиграфически чётким, школьным, знакомым почерком, надпись: Привет из Крыма!

Критский ладанник. Надо же — критский!

Афродите — крымский поклон.

В пояс. Вдруг да возникнет — из пены.

И не критской вовсе, но — крымской.

Чёрт от ладана встарь — убежал.

Помогла, видать, поговорка.

То-то было монастырей и церквей — в оны годы — по склонам, на плато, на скалах, в пещерах, на высоких мысах над морем, наверху, в недоступных местах!

И на тех же местах — ещё раньше — то-то было древних святыниц!

А потом, втихоря, чертовщина развелась — и стала напастью.

Знать, была на это причина.

Чёрт — он дружен с бесовской властью.

От напасти до власти — шаг.

А от власти до вести — миг.

Сколько видано было — благ!

Сколько читано было — книг!

Сколько пройдено было — зол!

Сколько дадено было — сил!
То-то встал на заре — и шёл.
Сколько найдено — рудных жил!
Кожей чувствуешь: здесь причал.
Кораблями заполнен порт.
Связью давнею — всех начал.
Кровью жаркой — из всех аорт.
Кто тебя провожал, скажи?
Кто встречал тебя — и когда?
Где вчерашние рубежи?
Где сегодняшняя звезда?
Здесь найдёшь её — сам, потом.
Здесь приют обретёшь и кров.
И стоишь ты с открытым ртом.
И не надобно лишних слов.

Как же здесь, посреди красот, что встают на пути повсюду,
не смутиться? И что спасёт, в этом случае? Только чудо.
Не тушуйся! Чудес — не счесть. И любое — помочь готово.
Но такое меж ними есть, что сердечного жаждет зова.
Гумилёва спроси. Он — знал, что за этим грядёт призывом.
Если шёл и кого-то звал — будь отважным и стань счастли-
вым.

Разобраться бы — что к чему.
Что с душой? И цело ли тело?
Что замечу? И что пойму?
Изумлению нет предела.

Да к тому же ещё — соблазны.
Что ни шаг — сплошные кулисы.
Плющ, растущий лавинообразно.
Вертикалями — кипарисы.

Лавры. Ими округа увенчана.
Мавры с пляжей, ищите женщину!
С танцплощадки — песня: «Рамона!...»
Меж танцующих — Дездемона.
То гитары, то кастаньеты.
Заждалась Ромео — Джульетта.
Всё для Золушки — принц ли, фея ли.
Ну а лилия — для Офелии.

Для Феллини — Джульетта Мазина.
Музе, ангелу — роз корзина.
Крымских роз. Таврических роз.
Гроздь к ним — с виноградных лоз.
Грозы к ним — и обратно к нам:
видно, знают — по именам.

Флейта. Скрипка. С тропы — гурьба.
И — серебряная труба.
Две гитары. Тромбон. Саксофон.
И — трофейный аккордеон.

Карнавал? Или — просто так?
Звук в пространстве. Времени знак.
Символ веры? Молодость? Юг?
Лавры, лавры. Лавры вокруг.

Брег Таврический.
Благ — не зря.
Круг магический.
Брезг. Заря.

Лавровые деревья.
Лавровые кусты.

В детство ль не впасть? Кочевья.

Пропасти и мосты.

За стёклами очков, за взмахами ресничными — встаёт сей-
тум агач, дерево масличное.

Надписью лапидарною, чтоб число позабыть календарное
и не вспомнить его, хоть плачь, — дерево скипидарное — тарак,
саккис-агач.

И, конечно, жасмин.

Жасмин, из полутьмы, из темноты, из всяких закутков, по-
рой — из мрака, порой — стеной пахучей, вдоль аллей, мерца-
ющий воздушными цветами, дымящийся, туманящийся, пря-
ный, томительный, волнующий, в слезах, в дожде, в росе,
к себе привороживший — да так давно, что, кажется, всегда
над сердцем были властны эти чары — и ночь цвела, и прямо
с пылу, с жару звала к себе прохладная вода.

Можжевельник — ардиш-агач.

Он стоек, живуч, можжевельник.

Иногда он — пустынный, отшельник.

А нередко — и вместе с такими же, как и сам он, живучими,
стойкими, братьями, зеленеющими под синими небесами,
растёт себе на приволье, по склонам холмов, и в предгорьях,
и ниже растёт, и выше, — везде, где ему хорошо.

В Чувашии мне говорили, что высоко, на вершине можже-
вельника, к небу поближе, любят орлы отдыхать.

Но в Крыму я такого не видел. Возможно, ещё увижу.

Люблю можжевельник. Люблю.

Отец мой в былые годы в своём саду криворожском посадил
можжевельник — и он прижился, в рост устремился, окреп-
нул, — и вот зеленеет звенящей под ветром кроной, и ягоды
колокольцами позванивают на нём, —

и звон этот слышу я в своём саду коктебельском, где, может быть, тоже однажды и я посажу можжевельник, чтоб он прижился, окрепнул, разросся — и, зеленея, тихонько звенел под ветром — и я об отце вспоминал.

Растений многообразие.
Многозвучие их названий.
Всё здесь рядом. Ворота — в Азию.
И — в Европу. Не без оснований.
Север с югом. Запад с востоком.
Что ни шаг, то сплошное: где ты?
Смотрит Африка чёрным оком.
И в Америке песни спеты.

Авраамово дерево. Имя говорит само за себя.
Надо же! — Авраам.
Ветхозаветный вздох.
Воздух над ним — как выдох: эх! — отряхни, старина, древний библейский прах с грустных ветвей! Не хочет.
Ствол его твёрд, упрям.
Надо же! — Авраам.
Но в Крыму это дерево раньше называли — аргундее.

Сумах — сума. Что за сума, и чья, висела на тебе? Пастушья, может?

И — заманиха. Ну а ты кого к себе заманивала? Ну-ка, признавайся!

И — держи-дерево. А ты кого держало? Другое имя у тебя — кара-текен.

А вот и чашковое дерево. Но вовсе нам не до чашек, если мы твоё название вдруг узнаём — и отступаем поскорее, подальше от тебя, шайтан-текен.

А ежевика, ежевика!

Такие заросли — и вдоль оград, и где-то там, за огородами, в лесу, сцепленья лоз, — и ягоды темнеют — и так идёт им их название — бурульчен! — вот бурульчен — и всё тут, не бирюльки, — срываешь, пробуешь — поспела ежевика!

Шиповник. Что за имя! — ит-бурун.
И тут же, второю, другое — кирниче.
Шурум-бурум, сорвавшийся со струн.
С отметиной кровавой на плече.
Дворец колючий. Зарослей орда.
Багряные походные шатры.
В котлах кипящих вязкая бурда.
Кочевий не погасшие костры.

А травы! Каперсы — длиннющими плетьюми — привычно укрепившись, распластавшись, — всё под уклон да под уклон, — чтоб озадачить неожиданным именем своим: шайтан-арбус!

И — молочай. Ни молока, ни чаю. Но вот растёт себе под солнышком, как есть.

А тут ещё и невидаль! Представьте, бывают — бешеные огурцы. Они — стреляют, и довольно громко. Наступишь на него — и вдруг: бабах! Людей пугают. С непривычки можно и растеряться, хоть потом соображаешь: да это же растение такое! Всего-то навсего. А всё-таки — стреляют огурчики. Совсем с ума сошли!

Каскады дрока всюду. Он — испанский.
Но — крымским стал. Освоился. Привык.
Табак. Он тоже — крымский. С ним всё ясно.
И виноград. Ну, с ним — ясней всего.

Всё естество и таинство сплошное.
Земное племя. С песней — и трудом.
Всё волшебство и празднество живое.
Прибрежный рай. В аду бесчасья — дом. — — —



— Володя, представь себе, ну-ка сосредоточься, тебя очень хочет видеть Фонвизин! — воскликнул громко, с державинским одическим призывом в голосе, негромком обычно, спокойном, а ныне победном, торжественном, радостном, со значением в каждом слове своей, крылами, незримыми, сильными, плещущей в пространстве и времени, фразы, мой старший, чудесный друг, выдающийся скульптор, Геннадий, или, просто, по-свойски, Гена Бессарабский, едва только я перешагнул порог его прохладной, уютной, мне казалось тогда, и высокой, с потолком, уходящим в небо и едва различимым снизу, словно в древнем соборе, где-нибудь во Владимире, мастерской.

— Какой ещё там Фонвизин? — не сразу, поскольку был усталым донельзя, понял я, переводя в прохладе просторного помещения, в прохладе рабочей, творческой, да ещё и дружеской, дух и вытирая взмокшее лицо, щетиною рыжею (за дни, в которых, как в джунглях, населённых зверюгами дикими, скрывался я от напастей одиноким скитальцем затравленным, не зная, куда податься, где голову приклонить, где прийти хоть немного в себя, по возможности отоспаться, поразмыслить о том, как мне быть, что мне делать дальше меж бед и обид, как вести себя в грозном и опасном круговороте новостей, не сулящих пока что ничего для меня хорошего, встреч, ночных бессонных радений, наваждений, гаданий, страстей, игр с огнём, неожиданных гостей, находящих меня везде, где бы ни был я, чтений стихов, со свечами, с вином, надежд на какие-то изменения в несуразной моей судьбе), основательно, густо заросшее, нервно скомканным влажным платком.

Вторая, перенасыщенная событиями, половина московского, самого первого для меня, человека приезжего, степняка, ещё не успевшего ощутить себя москвичом, основателя СМОГа, поэта с небывалой, безмерной известностью, гонимого злыми властями, отчего известность моя превратилась немедленно

в славу, молодую, широкую, звонкую, непечатную, скажем так, но зато и такую прочную, что разрушить её никому из гонителей не удавалось, зелёного, то с дождями, то с крутой синевой небес над столицей, безумного мая Змеинога, шестьдесят пятого, то есть смогистского, что ни на есть, года выдалась на удивление, в ореоле бездомиц моих и мучений нешуточных, жаркой.

Солнце, вконец раскалённое, припекало так, что, казалось, вознамерилось разом прогреть и город, промёрзший за зиму основательно, и людей, в нём живущих, каждый по-своему, как уж вышло, как уж сложилось, — не суди, и судим не будешь, так однажды сказано было на века, — и меня в их числе, после зимних, памятных всем нам хорошо до сих пор холодов и слякотно-льдистого, с ветром, порывы которого силились вырвать с мясом оконные форточки и открыть все окрестные двери, дабы всё просквозить вокруг, застудить, гусиною кожей нарастающего озноба всё покрыть, выдуть с улиц прохожих и ворваться в квартиры, сумбура мартовских и апрельских, сизых, сырых, безумных, всяк во хмелю, коварных, неугомонных дней.

Спасибо солнцу за добрые, без всяких многозначительных недомолвок, без лишних намёков на возможные изменения в судьбе моей, несуразной, но зато и моей, а не чьей-нибудь, личной, неповторимой, потому и хранимой свыше, несмотря на все испытания на прочность, на все невзгоды, без поисков смысла двойного в каждом тёплом луче, намерения.

Но я, человек впечатлительный, даже больше, слишком ранимый, отовсюду теперь гонимый, мыкался по столице без угла, без покоя, такого желанного и невозможного, без отдыха, часто без нужного всем и каждому в мире сна, был напряжён и вымотан, держался на нервах, взвинченных до предела, звенящих струнами после каждого дня, на упрямстве, одет я был, по скитальческой привычке, на всякий случай, мало ли что со мною может произойти, мало ли где могу я негаданно оказать-

ся, мало ли где придётся грядущую ночь провести, а за нею и утро, и день, и вечер, и новую ночь, бессонную, как и прежние долгие ночи, с мыслями, роящимися в мозгу воспалённом, ещё, как в походе, затянувшемся, трудном, вынужденном, бесконечном, почти по-зимнему: пиджак, под ним жёлто-оранжевый мой джемпер, под ним рубашка довольно плотная, взмок, переодеться-то негде было мне, да и не во что, и шёл к хорошему другу, скульптору, шёл пешком, шёл долго, в странной задумчивости, близкой к оцепенению, по улицам и переулкам центра столицы, покуда по наклонной, с холма сбегаящей внизу куда-то, безлюдной улице Архипова не спустился, миновав синагогу, к скромному, скромнее некуда, старому, тихонько, но крепко стоявшему на месте своём годами, не бросавшемуся всем в глаза понапрасну, спокойному зданию, в котором и помещалась в середине шестидесятых скульптурная мастерская.

Достигнув цели своей желанной, нет, цели заветной, так верней будет, я, разумеется, вдруг почувствовал, что устал.

Мне хотелось тогда единственного: успокоиться хоть немного, для начала, и, успокоившись, постепенно уже, ведь не сразу можно сделать это, никак не удастся, усвоил я это навсегда в те дни, отдышаться в окружении удивительно деликатных, внимательных, милых, дорогих для меня людей.

Но не тут-то было. Какое там, и откуда оно, спокойствие!

Отдышаться тоже, хоть чуточку, признаюсь вам, не удалось.

Бессарабский, пророчески радостный, вдохновенный, буквально светящийся изнутри таинственным светом откровений, наитий, прозрений, весь в порыве, в полёте, во власти своего, неразрывно связанного с чем-то явно прекрасным, призыва, словно вырвавшись крупной птицей на свободу из клетки, поднявшись внешним деревом к свету из тени, мыслью, вышедшей в ясную даль, находящийся где-то в грядущем, где уже прозревал и надежды, и любовь, и веру, и явное, там, за гранью

страданий, сияние, за которым светло вставала благодать, не хотел замечать многодневной моей усталости.

Он пристально, точно целитель на больного, глядящий в корень, суть недуга мгновенно угадывая, чтоб его излечить поскорее навсегда, посмотрел на меня и вдруг, ни с того ни с сего, ну а может и не случайно, сделал большие глаза. До того большие, такие пронизательные, что они, чудовищно увеличившись и стремительно округлившись, гипнотически, жарко, в трансе, сверкнув тёмно-огненным блеском, чуть ли, поверьте на слово, не выкатились на меня с его от природы смуглого, в обрамлении чёрной, смолёной, с сильной проседью, бороды, аскетического лица и вперились в меня, да так, что я невольно поёжился.

— Он спрашивает меня, какой ещё там Фонвизин! — укоризненно, даже с болью неприкрытой, воскликнул Гена и вдруг неожиданным рывком воздел свои крепкие руки, рабочие, узловатые, подвижные, обострённо чувствительные к любому, из всех, с какими ему приходилось дело иметь в трудах своих, материалу, то есть руки мудрого мастера, вдумчивого творца, создающего чудеса, сознающего их появление как нечто само собою разумеющееся, привычное, руки скульптора, с пальцами сильными, сноровистые, хватистые, музыкальные в чём-то, по-своему, волшебные, безусловно, с разбухшими венами, вверх. — Маша! Ты слышишь? Маша!

Из глубины мастерской, привычно лавируя между перего-родками, ширмами и зачехлёнными, скрытыми от взглядов людских, по различным, неизвестно, каким, возможно, до-вольно простым, а может быть, и более сложным, для автора творений этих, причинам, загадочными, как и всё, что спрята-но, пусть и на время, от нас, людей любопытных, несмотря на воспитанность даже, на сдержанность, на тактичность, всё рав-но любопытных, по-детски, пусть и так, но завесы тайн стремя-щихся приоткрывать, насколько удастся, насколько сей риск

оправдан, скульптурами, к нам, на звук непривычный Гениных восклицаний, неторопливо, как в сказках добрая фея, вышла тихая, сплошь тишина, участие и внимание, спокойная и приветливая жена Бессарабского, Маша.

Она не просто приветливо, но заботливо, как-то бережно, понимающе поздоровалась, вся светясь дружелюбно, со мной, ласково посмотрела на меня, одетого явно не по майской тёплой погоде, измотанного, смятенного, усталого, похудевшего, повзрослевшего, и вздохнула.

Вслед за Машей к нам вышла большая, лохматая, добродушная, тёмной, с проседью, масти, с глазами человеческими, собака.

Она между делом обнюхала меня, вильнула хвостом, широко, во весь рот, зевнула и фыркнула, громко и коротко, как мне, этим всем озадаченному, показалось вдруг, осуждающе.

Я смутился:

— Прости меня, Гена, но никак я не соображу, о ком ты сейчас говоришь.

Бессарабский, уже подобрев, положил мне ладонь на плечо и назидательным тоном, отчеканивая слова, одно за другим, сказал:

— Фонвизин, Артур Владимирович. Старый, всеми нами, его современниками, уважаемый и давно любимый художник. Великий акварелист.

— Так он жив? — Я, вмиг вострепнувшись, был искренне поражён.

— Ну конечно! И ждёт тебя в гости к себе. Чем скорей у него ты появишься, тем, Володя, лучше будет, и для него, человека не очень здорового, перенёсшего операцию сложную, и для тебя. Довольно большая редкость, чтобы так вот он вдруг воспылал желанием повидаться с молодым, известным поэтом. Живёт он уединённо. Долго и тяжело болел. Теперь ему, вроде бы, лучше. Да вот, пожалуйста, номер его телефона и адрес

домашний. — Гена привычно потянулся к лежащей на столике возле старого телефонного, в мелких трещинках, аппарата записной, объёмистой, пухлой, со вкладками всякими, книжке. — Позвони ему обязательно. Поскорее. Да прямо сейчас, если хочешь, от нас, позвони!

— Боже мой! — изумившись услышанному, только-то и сказал я. — Подожди, пожалуйста, Гена. Дай спокойно мне всё осознать. Это прямо как весть неожиданная из другого, нездешнего мира. Надо же! Вот ведь как, всё-таки, в жизни бывает. Фонвизин. Авангард. Начало двадцатого века. Новейшая живопись. «Голубая роза». Какой мастер! Я почему-то давно уже, сам не знаю, почему получилось так, видно, ум за разум зашёл, ну, да что теперь говорить о нелепости, что гадать, считал его светлой легендой искусства нашего русского. А он, безусловно, легенда, но ещё и реальность, наш соотечественник, современник выдающийся, просто волшебник в акварелях своих, несравненных, так считаю я твёрдо, — жив.

— Да-да, — рассудительно, сдержанно и грустно сказал мне Гена. — Он прямо-таки случайно, просто чудом выжить сумел в трудные, для него и для всех вокруг, времена. Поразительно стойкий, цельный, очень чистый, святой человек. А какой удивительный дар! Ах, какой ведь сказочный, детский, волшебный, радостный дар! — Гена опять, похоже, занервничал, заволновался. — Ты непременно, Володя, позвони ему. Я обещал, что скоро ты сам позвонишь. И приходи к нему. Сам увидишь и сам поймёшь, я знаю, кто это такой. Господи! — перекрестился он на икону в углу, — дай Бог ему впредь здоровья. Таких ведь, такого ранга, художников, мастеров, как он, раз-два и обчёлся. А то и меньше. Пожалуй, такой он на свете — один.

Постепенно осознавая важность Гениного сообщения, я присел на скрипучий стул, достал пачку «Примы», слегка измятую, вынул оттуда сигарету, потом нашарил в кармане спички, потом чиркнул спичкой, взглянул на горящий огонёк её, жаркий, упря-

мый, подбирающийся всё ближе, всё поспешней к моим, ощущающим этот жар, этот пыл неумный пальцам, вздрогнул невольно, поднёс к сигарете краешек пламени, покачнувшийся, но рванувшийся прямо к цели, вверх, поднапрягшийся в этом быстром рывке, достигший апогея, — и закурил.

Собака, взглянув на меня понимающе, очень серьёзно, подошла и легла, устроившись поудобнее, так, что я почувствовал сразу тепло шерсти плотной её, у ног моих, близко, рядышком, на полу, потянулась и молча затихла.

— Поставлю-ка я, пожалуй, друзья мои милые, чай! — произнесла, улыбнувшись мне и Гене, а также собаке, да ещё и всему на свете, благо свет этот всё же хорош, уж во всяком случае здесь, в мастерской, защищённой свыше от невзгод и от бед мирских, в мастерской, с её атмосферой благодатной, спокойной, творческой, в мастерской, цитадели старой, где всегда на душе становится хорошо, доброй феей глядя на меня и на Гену, Маша и прошла в закуток хозяйственный, вроде кухоньки, небольшой, но удобной вполне, к плите.

Я рассеянно ей кивнул.

Гена ей тоже кивнул. А потом на своём, особом каком-то, кресле-тележке, подъехал ко мне поближе и, уже спокойно, без всяческих восклицаний, миролюбиво, негромко и просто сказал:

— Я вижу, ты всё, Володя, принял к сведению и понял.

Я покосился, поёжившись, на огромного, высоченного, прямого, как правда сама, да ещё и грустно-задумчивого, как воспетая им не единожды природа прекрасная русская, писателя знаменитого и человека хорошего, бородатого, с ясным умом и доверчивым взглядом, Тургенева, изваянного вдохновенным, в работе неистовым Геней.

— Может, мне к Фонвизину в гости с ребятами лучше пойти? — неуверенно, хриловато, спросил я зачем-то вдруг сам не знаю кого, то ли вставшего великаном былинным Тургенева, добродушного, впрочем, домашнего, как и всё в мастерской, похожего на зашедшего на огонёк, чтоб друзей навестить

старинных, покаякать с ними немного, человека из наших, творческого, ненавязчивого, воспитанного, в годы бед на прочность испытанного, само собою, надёжного, не из лёгких, достаточно сложного, но зато и всегда интересного для людей, то ли друга-скульптора. — Не будет ли это, Гена, с моей стороны эгоизмом? Такая чудесная встреча предстоит впереди, а я, выходит, один пойду. Ребята наши, смогисты, могут ведь и обидеться.

— Ну вот, пожалуйста, я так и знал, — улыбнулся Гена. — Узнаю Володю Алейникова. Ему тут же хочется, чтобы и друзьям-товарищам было интересно. Всё ясно с тобой. Раз уж ты такой по натуре своей, то, так уж и быть, возьми с собою, пожалуйста, кого-нибудь. Но кого? — Он задумался на секунду. Вертикальная складка-морщинка, начинаясь от переносицы, поползла к волосам, прорезала, глубоко, свободно, размашисто, его чистый, высокий лоб. — Губанова, может? Нет, нет. Не надо. Знаешь, кого? — Он оживился. — Возьми с собой Михалика Соколова. Его-то возьми обязательно. Ведь вы с ним искусствоведы. Историки молодые мирового искусства! — подчеркнул он, подняв длинный палец.

— Бывшие! — уточнил я зачем-то, кратко и грустно.

— Нет! — сказал Гена очень твёрдо. — Вот увидишь, всё образуется. Я знаю. Я в это верю. Вы оба будете снова учиться в университете.

— Спасибо на добром слове! — сказал ему искренне я.

Маша, как и положено доброй фее из сказки, а также Гениной верной супруге, да ещё и внимательной, милой женщине, принесла кипяток в жестяном, большом, пышущем жаром чайнике.

Цветастый, пузатенький, маленький заварной фаянсовый чайничек, в который были насыпаны щедрой её рукою несколько ложечек чёрного пахучего чая индийского из жёлтой, полураскрытой, плотно заполненной пачки со сломом, зачем-

то на пачке нарисованным, экзотическим, но ещё и очень московским, узнаваемым всеми, любимым, призывающим к чаепитию всем приветливым видом своим, накрыла сверху она симпатичной пухлой подушечкой.

Принесла она и поставила на столе стаканы гранёные, сахар, баранки и пряники в керамической светленькой плошке.

Мы стали — втроём — пить чай.

Хорошо мне было всегда у друзей моих, Бессарабских.

И чаёвничать с ними было мне, измотавшемуся, хорошо.

Гена очень любил стихи мои. Заботился обо мне.

Мы частенько вдвоём с ним беседовали.

При свече вечерней, горящей так уютно и так значительно, что не слышен был за стеною разгулявшийся ветер северный, а слышны были наши искренние, доверительные слова.

При свете дневном, прорывающемся в мастерскую из окон, струящемся по лицам нашим, заглядывающим исподволь нам в глаза.

Мы беседовали — и время раскрывалось книгою старой перед нами, двумя друзьями, и пространство то вдруг сжималось, то негаданно распрямлялось, уводя нас в такие дали, и в глубины такие, и выси, где извечные звёзды вставали над судьбами нашими, разными, грустными, но и прекрасными.

После очередного из выступлений СМОГа, многолюдного и опасного, по причине гонений, для нас, Гена мне тихо сказал:

— А ты так читал, Володя, раскинув крыльями руки! Так читал! Я был потрясён. Я плакал. Я видел Христа.

Меня однажды он вылепил — молодого совсем, раскинувшего, крестом или крыльями, руки, читающего вдохновенно, с закинутой головою, молодые свои стихи.

Время шло — по своим законам.

По своим, неизменным, правилам.

Или, может, вовсе не шло никуда, а существовало, как положено существовать в мире, сложном настолько, что мы вряд ли скоро во всём разберёмся, находящемся в нём, живущем, существующем, вопреки всем наукам официальным, всем догадкам, домыслам всем, прежним, нынешним и грядущим, как положено, говорю я, во вселенной существовать непостижной этой материи.

Ибо время, да, господа, вместе с дамами, всё на свете, несомненно, материально.

Ибо время — сама материя.

Так всегда говорили древние.

Так и есть. Так и будет — всегда.

Напившись крепкого чаю с хрустящими на зубах баранками и медовыми, удивительно вкусными пряниками в мастерской у друзей Бессарабских, переписал я старательно телефон и адрес Фонвизина в записную книжку свою и твёрдо пообещал Гене и Маше в самое ближайшее время приехать к старому, знаменитому, ждущему встречи со мною, да ещё поскорее, надо же, почему поскорее, наверное, для него это важно, художнику.

И позвонил Фонвизину.

И услышал тогда, изумляясь энергии светлой, сразу же ощущаемой в речи художника, в каждом слове, в любой интонации, приветливый, тихий голос художника, голос эпохи свершений, открытий, событий в искусстве русском новейшем, голос давней его правоты, голос подвига многолетнего, подвижничества, затворничества, голос праздника, озаряющего все труды его, все страдания, все надежды, все беды, все радости, голос таинства и волшебства.

И услышал такие слова:

— Я жду. Приезжайте, Володя!

И увидел его — каким-то фантастическим, внутренним зрением: старенького, седого, невысокого, переполненного ясным светом, в сияние рвущемся, поднимающееся над ним.

Почему вдруг увидел — не знаю.
Так случилось. Теперь — понимаю.
И былому — безмолвно внимаю.
Был он — светом искусства храним.
Был он — соткан из этого света.
Создан был — сберечь в мире свет.
Был — вопросом сплошным. Без ответа.
Отыскался лишь позже ответ.
Был — видением. На расстояние.
Был — свидетелем прежних времён.
Был — хранителем света. Сиянья.
В звёздном перечне славных имён.
Дай Бог силы простым словам!
Я сказал:

— Я приеду к вам.

И вскоре к нему приехал, вместе с другом своим тогдашним и товарищем верным по СМОГУ, Михаликом Соколовым.

Принял нас Фонвизин приветливо.
Даже больше — очень приветливо.
Можно сказать — по-дружески.
Или — почти по-свойски.
Почему? Да кто его знает!
Видно, рад он был нам с Михаликом.
Видно, сам нуждался в общении.
Хорошем. Полезном. Творческом.
Потому и встретил он нас вовсе не как незнакомцев, неизвестно кого и откуда, но как добрых своих друзей.
Так бывает. Сам это знаю.
Не раз я такое испытывал.
Общение — как причащение.

Прикосновение бережное.
К великим тайнам души.
К загадкам сердца живого.
И даже к нитям судьбы.
Незримым порою. Но явственным.
Ощущаемым по наитию.
Общение — не событие.
Общение — озарение.
Искреннее дарение.
Мыслей. Времени. Слов.
Собеседнику. Доброму другу.
Общение — словно кров.
Посреди вселенского круга.

Сам я почувствовал вдруг, что будто бы знаю Фонвизина,
которого видел впервые, долго, давным-давно.

Значит, было так суждено.

И Фонвизин вёл себя так, словно мы с ним буквально вчера,
даже, может, сегодня, расстались, на какое-то время, короткое,
разумеется, пообещав перед этим как можно скорее созвониться
с ним снова и встретиться.

Прямо с порога, радуясь возможности поговорить с молодыми людьми, современниками своими, искусствоведами, смогистами и поэтами, засыпал обоих нас бесчисленными вопросами.

СМОГ! Ну так ему нравилось, что был на московских просторах наш неистовый СМОГ!

Это напоминало ему, человеку, выдавшему виды, прошедшему школу жизненную суровую, сохранившему верность своим принципам и установкам творческим, уцелевшему в невзгодах и в бедах, которых на долю его немало выпало, что же поделать, в прежние времена, с пути своего ни разу не свернувшему никогда, каковы бы ни были всякие, даже сложные, обстоятельства, какие бы там зигзаги и петли, порой немыслимые, ни вы-

творяла трудная, спираль свою наконец распрямившая, чтобы сызнова жить ему и работать, судьба, его собственную, прекрасную, тоже бурную, даже сумбурную, переполненную событиями, и открытиями, и наитиями, и прозрениями, вдохновенную, небывало светлую молодость.

Выставки. Сколько их было — и в Москве, и, конечно, в Питере, когда-то, в начале века двадцатого, сколько их, выставок авангардной, новейшей живописи потрясали умы и сердца российской, с трудом привыкавшей к новизне этой праздничной, публике!

Чтения. То стихов, то прозы. Авторы слушали внимательно, даже восторженно, принимали их творчество или решительно не принимали, но слушали, размышляли, стараясь понять, приветствовали появление их долгожданное, желанное, перед людьми.

Объединения разные молодых, интересных, ищущих свои дороги в искусстве современном, способных, нередко талантливых, ослепительно, изумительных, русских, наших, не французских или немецких, нет, отечественных, собравшихся под знамёнами творчества, щедрого, свободного, только так, и никак иначе, художников.

Кипение жизни. С выплесками через край. Кипение. Бурное — это мало сказать. Стремительное. Клокочущее. Восхитительное.

Страсти. Как же без них!

Ещё и какие! Нешуточные.

Страсти — везде и во всём.

Огненным колесом —
по городам и весям.

С безднами. С поднебесьем.

С ворохом новостей.

Сколько их было, страстей!

Схватки между различными, враждовавшими между собою, напоказ, а на самом деле занятыми трудами своими, с врагами мнимыми дружившими, группировками.

Футуристы. Бурлюк. Маяковский.
Гениальный, тишайший Хлебников.
Кручёный-верчёный Кручёных.
И прочие. Футуристы.
Подлинные артисты!
Размалёванная щека.
Взгляд, уставленный в облака.
Жесты. Выкрики. Эпатаж.
Обыватель, входящий в раж.
На бумаге шершавой — книги.
Информация — в каждом миге.
Что ни вечер — парад планет.
Живописец. За ним — поэт.
За поэтом — с боку припёка.
Грустный взгляд молодого Блока.
Северянин: вино, цветы.
Над Невою — дворцы, мосты.
Над Москвою-рекой — сады.
Ночи белые у воды.
Грозы летние над Кремлём.
Слово, вставшее за числом.
За кометою — бурь чреда.
Голос Хлебникова? Ну да.
Революция? Вот беда!
Багровеющая звезда.
Но — шампанского в свой бокал.
Но — букеты. Страстей накал.
Страсти — всюду. Ну впрямь — напасть?
Радость. Праздничность. Весть. И власть.
Власть. И — подлинность. Весть. И — честь.
Вот что — было. И вот что — есть.

Есть — искусство. Его творцы.
Есть — новаторы. Храбрецы.
Есть. Останутся. Навсегда.
Не забудутся — никогда.
В каждом имени — свет и суть.
В каждом времени — взлёт и путь.
В каждом пламени — прок и жар.
В каждом знамени — век и дар.
«Бубновый валет». — «Ослиный хвост». — «Голубая роза».
Воображение. Празднество. Поэзия, а не проза.
Мастерство. Торжество вдохновения.
Присутствие волшебства.
Вечные дерзновения.
Шлейфом сквозь век — молва.

Друзья. Золотые. Надёжные.
Верные. Настоящие.
Прославленные художники.
Чудеса в искусстве творящие.
Истовое горение.
Что там? Века? Мгновения?
Не для таких — старение.
Не для таких — забвение.

Драгоценнейший, незабвенный друг в года молодые, Миша Ларионов, свыше отмеченный человек, наделённый даром удивительно щедрым, свежим, непокорным, великий художник!

И Фонвизин тут же, взволнованный тем, что нам увлечённо рассказывал, отправлялся за перегородку, где высокими штабелями, нет, скорее внушительной горкою, достающей почти до светлого, невысокого потолка, лежали большие, тяжёлые, прочные папки с его собственными акварелями и прочими, разных авторов, созданными в былые, добрые времена, для

него дорогими доселе и ценимыми им всё более, всё пристрастнее, произведениями нашего авангардного отечественного искусства, им собранными когда-то и тщательно сохраняемыми, — и вытаскивал вдруг оттуда дивные, слова другого не подберу я, маленькие, да удаленькие, как говорят в народе, это уж точно, можно так вот сказать, жемчужинами тёплыми оживающие на глазах моих, изумлённых явлением чуда среди белого московского дня, на склоне жаркого мая, воочию увиденные вот здесь, рядом, холсты Ларионова.

Ранний, ещё тираспольский, период его, — пейзажи импрессионистские, лёгкие, воздушные, многоцветные.

Потом — пейзажи уже московские, экспрессивные, лаконичные, с удивительно метко схваченным, разнообразным, городским, импульсивным движением, — конные чьи-то выезды на фоне ампирных, жёлтых, с колоннами белыми, домиков, человеческие фигурки, приметы огромного, древнего, с лицом своим, узнаваемым немедленно, многогранного, полнозвучного, с различаемой чутким слухом художника, к зрению подключённым, полифоничной, как у Баха, пленительной музыкой холмистого, чуть лубочного, пряничного, леденцового, ярмарочного, торгового, дворянского, делового, сказочного, в садах Семирамидиных, с башнями узорчатыми, в изразцовой пестроте, в пустоте переулков, блеске стёкол оконных, в снегах или в лиственном шелесте, города, заметки для памяти беглые, смещения пятен, штрихи, акценты, символы, знаки, слегка размытые, вроде бы, но, вместе с тем, и точнейшие, обобщённые и вовлечённые в общее, непрерывное, круговое, сплошное движение.

Потом Фонвизин показывал нам свои акварели.

Зазвучали они — свидетельствую — заговорили, запели.

Задышали тайнами давними.

Дивной музыкой отозвались.

Были вещи не просто славными.

Уникальными оказались.

Боже мой! Сколько их! Фантастика с волшебством, уютным, домашним.

День сегодняшний впал в прострацию. Оказался он днём вчерашним.

Перепутал года, столетия. Пообщаться успел с грядущим.
Заглянул на бегу к товарищам, в эмпириях чего-то ждущим.
Вещи были необъяснимыми в красоте своей несказанной.
То казались тихой скрипкою, то патетикою органной.
Было вдосталь в них светлой лирики. В них печаль головой качала.

Но мерещилась в них трагедия и эпическое начало.
Эпос был в стороне. Как будто бы. Но высвечивался порою.
За роскошеством света свежего. За романтикой. За игрою.
Эпос жил в цветовой гармонии.
В сочетаниях звонких красок.
В драме смутной. Почти в агонии.
Там, за гранью волшебных сказок.
Время твёрдой печатью грохнуло по листьям, где цвела наивность.

Время ахнуло вдруг и охнуло, не надеючись на взаимность.
Но опомнилось и одумалось, подобрело, пошло навстречу.
Только вспыхнули, как созвездия, за окошками чьи-то свечи.
То ли снег повалил за стенами, то ли дождь прошумел по крыше.

За признаньями откровенными встали речи — и стало тише.
На свирели своей наигрывать попыталась весна благая.
Вслед за летом явилась осень, осознать себя помогая.
О сезоны, о замки! Чары.
Озарения. Бес в ребро.
Путешествия. Ненюфары.
За Верленом — Артю Рембо.
Карнавальная заваруха.
Эпохальная кутерьма.
Полумаски. Паренье духа.

Гипнотическая чума.
Пир. Застолье. Напитки. Яства.
Шаг до гибели. Шрам у рта.
И неслыханные богатства.
И повальная нищета.
Цирковые — сквозь сон — мотивы.
«Голубая роза». Гроза.
Близко. Рядом. Но грёзы — живы.
И слезами полны глаза.

Доставал из своих запасов мастер старый и более поздние
акварели. Портретов серии. Замечательные. Серьёзные.

С тем «чуть-чуть», что искусство делает. С неким сдвигом —
в сторонку, к сказке.

С неким жестом — в сторону детства. С шагом, сделанным
без опаски.

К чуду. К тайне. К тому, что движет и светилами, и сердцами.
Что, как бусы, мгновенья нижет на иглу — и уйдёт с концами.
Если, впрочем, его не вспомнить.
Не сберечь, как подарок странный.
Если душу им не заполнить.
В яви — может быть, окаянной.

В той действительности, что хочет растоптать все приметы
чуда.

Что талдычит своё, бормочет, что твердит своё — отовсюду.

Не удастся ей утвердиться в настоящей, великой яви.

Той, с которою сердце биться не устанет, молчать не вправе.

Потому-то в цветах и в лицах схожесть есть с чем-то свыше
данным.

И оправдано это жизнью. И не кажется это странным.

Показал нам Фонвизин портрет, удивительно сильный, Тат-
лина, увлечённо и отрешённо играющего на бандуре и задум-
чиво что-то поющего.

Татлин был его давним другом.

— Поразительно был талантливый человек! — говорил Фон-визин. — Принято ведь не случайно в народе таких называть — мастер на все (заметьте, всего-то их две, а кажется, как будто бы много их, рук, способных творить сплошные чудеса на земле), золотые, полагаю доселе, руки. Живописец отменный просто. Фантазёр. «Тайновидец лопастей», как сказал однажды о нём проницательный друг его Хлебников. Уникальный, сверхсовременный, далеко наперёд глядящий, прозревающий там такое, что другим и не снилось, конструктор. А как он, под настроение, иногда, отрешившись от всех и всего вокруг, погружившись в свои мысли тайные, в чувства, оживавшие в сердце, пел! Сам он сделал себе бандуру. Наподобие старых, но только звучащую так необычно, что порой знатоки гадали, что же это за инструмент. И с нею, своею бандурой, буквально пешком, как встарь бродячие бандуристы ходили по Украине, обошёл не спеша всю Европу. Даже, кто мог бы подумать, пел он перед английской королевой старинные песни украинские, древние думы. И за пение это ею был вроде бы удостоен то ли какого-то звания, то ли высокого титула. С Хлебниковым дружил. Очень его любил. Принимал его, понимал и ценил, как никто другой. Много в них было общего. И прежде всего — горение. Творческое. Великое. Щедрое. Многоликое. На заре советской, диковинной, непривычной для большинства и ужасной для многих, власти, был Татлин одним из ведущих, передовых, авангардных, само собою, художников. Был великим изобретателем. В отличие от бесчисленных, безликих приобретателей. О чём совершенно точно говорил гениальный Хлебников. Изобретатель — это новых высот обретатель. За всех современников, может быть, перед Богом лучший предстатель. Чего, согласитесь-ка, стоит одна его знаменитая, ни на что не похожая, башня Третьего, да всё равно ведь, какой он по счёту, хоть сотый, интернационала. А «летатлин» его уникальный! Тяга к небу в крови была у него, человека таинственного, в своём роде, наверно, единственного. Другого такого я не встречал никогда и не знал. Многое мог бы ещё он

сделать в искусстве нашем. Но стали его зажимать. Хуже: буквально травить. В условия невыносимые в итоге его поставили. Сопrotивлялся Татлин гонениям и невзгодам, как мог. Но загнали в угол редкостного человека. Он замкнулся. Стал нелюдимым. Сторонился соборищ советских. Жил затворником. Выживал, как умел. Годами держался. На упрямстве, на воле своей. Но бывали и у него состояния просто аховые. Отчаяние — штука вина ужасная. Безысходность измучит кого угодно. Любого титана изранит грызущая сердце тоска. Ведь работал он — на века. Но работать ему — не давали. Сознательно — уничтожали. Принижали его значение, унижали охотно его. Угрожали расправой скорой. Счёты с ним сводили зачем-то, всею сворой, и власти кровавые, и приспешники их услужливые, нечисть всякая, псевдохудожники, борзописцы. Татлин страдал. Он даже хотел пожечь все свои произведения, чтобы «им», как он выражался, то есть хищным советским властям, ничего вообще не оставить. Как-то всё-таки уцелел. Не убили его, не сгноили в лагерях. Поступили — страшнее. При жизни — словно забыли. Нет и не было такового! — где-то, видно, постановили. Всех устроило это жестокое, приказное распоряжение. Татлин, вроде бы, жив — но его, вроде, нет. Живёт — без движения: ввысь и вдаль, как в былые годы, вглубь и к сути. Живёт — молчит. Прозябает в своём закуте. Наплевать, что душа кричит. Захотели — постановили: человека такого — нет. Дышит всё-таки? Затравили? И не мил ему белый свет? Ничего. Перебьётся. То-то рад, небось, что остался жив. И к чему нам его щедроты? И его — к небесам — порыв? Так, наверное, рассуждали. Осуждали. Корили. Впрок. Золотые померкли дали. Татлин жил, словно между строк — мысль крамольная, откровенье — в примечаниях чьих-то. Был — воплощённое дерзновенье. Был — трудягою. Жизнь — любил. Для театра довольно много он работал. Слава его не погибла. Ведь дар — от Бога. В этом — радость и торжество. Написал я его, играющим на бандуре, задумчивым, грустным. Написал его я — выживающим. Уцелевшим. Хранимым искусством. Жил он даже

не уединённо, а, вполне, полагаю, сознательно, закрыто, слишком уж замкнуто. Возможно, в этом затворе легче было ему дышать. А может быть, он привык с годами всех сторониться. Живая легенда? Конечно. Пускай не для всех. Но — живая. Одинокий, отважный, ранимый, таинственный человек. Опередивший свой век. Умер он до боли нелепо. Отравился консервами рыбными. Лежал у себя в мастерской. Мучился. Был не в силах подняться, позвать на помощь. Никто к нему не зашёл. Никто его, тайновидца легендарного, изобретателя уникального, человека леонардовского размаха и возможностей необычайных, бесконечных, тогда не спас. Так и помер он — в муках, в своём затянувшемся одиночестве. Трагедия? Безусловно. К сожаленью, одна из многих. Победа над смертью? Да. И — над властью. И — над забвением. Добра победа — над злом. Победа искусства подлинного — над мирскою нечистью всяческой. Торжество несомненное прави вселенской над навью. Великое сияние истины. Яви. Правоты высочайшей труда. Веры. Любви. И надежды. Так скажу я сегодня вам. Татлин был моим другом. И этим тоже всё, наверное, сказано. Человеком был он — редчайшим. По всем своим дарованиям. По достоинствам всем человеческим. Тайновидцем. Хлебников прав. Тайновидцем. Тайну его жизни трудной и несравненного, в мире нет ничего подобного да и вряд ли будет, искусства — всем придётся долго разгадывать. Вот смотрю я на этот портрет — и голос Татлина слышу, поющего думы народные. О чём они, эти думы? О многом. Нет, обо всём, что дорого человеческой душе и дорого сердцу. О том, что останется в памяти навсегда. Лучше всех сказал об украинских песнях Николай Васильевич Гоголь. Загляните в его сочинения. Там найдёте вы эту статью о песнях. Невероятное, точнейшее понимание того, что и есть искусство. Татлин об этом — ведал. Видел — сквозь время. Понял — многое из того, что лишь сейчас начинает, понемногу, слегка, открываться человеческим, ищущим верные маяки на пути в искусстве настоящем, зорким глазам.

Фонвизин и в самом деле разговаривал с нами так, словно были мы с ним знакомы и даже дружны, пожалуй, почему бы и нет, бывает и такое, давным-давно.

Мы с Михаликом Соколовым переглядывались порою — и внимательно слушали старого, но зато молодого душою, это поняли мы, художника, — и смотрели, смотрели, смотрели, восхищённо, во все глаза, на сокровища все, которые извлекал он на свет столь щедро, столь радушно и столь открыто, что нельзя было им по-детски непрерывно не изумляться, невозможно было сдержаться и не ринуться, вслед за мастером, несомненным добрым волшебником, в это празднество небывалое, в этот радостный карнавал, в это пиршество духа, с такими ослепительными высотами и глубинами удивительными, что кружились головы наши от роскошества несказанного всех, возможных и невозможных, бесконечных, как жизнь сама во вселенной, цветов и красок, пятен, линий, штрихов, акцентов, недосказанностей, прозрений, вспышек радужных, тихих, вторами к основным тонам прозвучавших, словно в музыке, гармоничной, полнозвучной, полутонов, звёздных россыпей, отражений всех свечений и всех сияний, всех туманностей, всех галактик, на холстах, на листах бумаги, на картонах, на всём вокруг, на оконных стёклах, на стенах, на взволнованных лицах наших, — и восторженно, благодарно принимали мы эти редкостные, непредвиденные дары, чтобы с майской этой поры и доселе целебный свет нам сберечь, сквозь невзгоды лет, чтобы судьбы он озарил, чтоб сквозь время он говорил о таком, что и впредь спасёт отголоском былых красот.

Незаметно как-то, войдя в ритм особый, как будто в транс, показал нам Фонвизин множество созданных им в различные годы, порою нелёгкие для него, человека, далёкого, от политики, от суеты, от всего, что мешало творчеству, но затронувшие и его жутковатой тенью своей и заставившие когда-то, как пришлось уж, но выживать, порою в более светлые, поспокойнее, вроде бы, с брезжущей надеждой на изменения к лучшему,

кажется, всё ведь, согласитесь, возможно, годы, чудных своих акварелей.

Небольшой, даже вроде бы маленький, коренастенький, в твёрдых очках со стёклами, чем-то похожими на лабораторные линзы, улыбающийся, по-домашнему, просто и доверительно, хотя в этой улыбке приветливой была ещё и загадка, со своими спокойными, сдержанными, размеренными движениями, почти бесшумными, тихими, как сон, шагами по комнате, плавными, неторопливыми, как взмахи крыла расправленного у птицы, которую держат потоки воздушные, жестами, светящийся чистой светлейшей, щедрой души, напоминал он то ли волшебника, то ли доброго гнома, то ли ещё кого, но уж точно — из сказок.

И жена у него была славная, улыбающаяся по-доброму, по-домашнему, тоже сдержанная в движениях, плавно движущаяся по комнате, прислушивающаяся к речам своего мужа, к сбивчивым нашим рассказам деликатно, тактично, привычно не вмешиваясь ни во что, словно слегка отодвинувшись от нас, наблюдая за нами вроде бы со стороны, из фонвизинской тени, — которая была на поверку, если приглядеться, вовсе не тенью, но самым что ни на есть настоящим, негаснущим светом, — но всё абсолютно слышащая, всё видящая и всё надолго запоминающая.

Она угостила нас хорошим, с домашними сладостями вкусными, свежим чаем.

И за столом, смущённые и взволнованные таким приятным гостеприимством, продолжали мы, слово за слово, по-домашнему, душевно и неспешно, куда ведь спешить, если сладилось всё, беседовать с удивительной этой четой.

Несколько помолодевшему с нами, его молодыми гостями, желанными, в радость бывшими, да к тому же ещё и смогистами, то есть столичными знаменитостями шестидесятых, Артуру Владимировичу так нравилось, что мы, несмотря на сложности

брежневского безвременья, сумели объединиться, сплотиться вместе, создать своё содружество творческих, вот что важно, прежде всего и во все времена, людей.

Моё тогдашнее мнение — и нынешнее, и всегдашнее, скажу напрямую, — о том, что среда, по словам Чаадаева, отзывчивая, лишь в такой ведь слово звучит, и это верно, очень важна, целиком совпадало с его давним, собственным мнением, причём опирался он в этом на собственный опыт.

С горечью вспоминал он, как тяжело, в былые годы невзгод повальных, пришлось ему жить в провинции, вынужденно, конечно, долго, словно в изгнании, в стороне от событий всех, вдалеке от всех многочисленных друзей его и знакомых.

Отчасти это отшельничество и спасло его в пору сталинских репрессий. Полузабвение ужасно. Можно сказать смело: ему повезло. Выжил он. Уцелел.

Но сколько же золотых поистине, именно так, и никак не иначе, возможностей дружеского, полноценного, творческого общения безвозвратно были утрачены, и годы ушли, растаяли, их теперь ни за что не вернёшь.

Разбросало его друзей молодости по всей планете, по разным странам. Страны эти для всех оставшихся здесь, на родине, по причинам, всем понятным, закрыты наглухо. Никогда туда не поедешь. Никого там не навестишь.

Многих и нет на свете.

Друг любимейший, верный, Миша Ларионов уехал в Париж, со своей женою, Натальей Гончаровой, уехал, чуя наперёд все невзгоды, все беды, что сгубили былую Россию.

Ах, сколько же у него было собрано древних икон, книг, различных произведений народного, несравненного, изумительного искусства, игрушек, одежды, вывесок, прялок, посуды, лубков, сколько работ художников русского авангарда!

Где теперь всё это? Кто скажет?

Наверное, там, в Париже.

Где же ещё ему быть?

И Гончарова, бесспорно, чудная, все это знают, просто великолепная, самобытнейшая художница.

Но друг драгоценный Миша Ларионов — это совсем иного рода явление, человек небывалый, особый.

Это был прирождённый, а также убеждённый, неутомимый, артистичный, азартный, рискованный и отчаянный заводила.

Настоящий, чистой воды, как алмаз уникальный, лидер.

Его новизной поражающие, бесчисленные идеи вызывали к жизни порою целые школы, целые художественные течения.

И славные годы дружбы с ним для Фонвизина так и остались доселе самыми лучшими, дорогими воспоминаниями.

Вот о чём, если вкратце, пунктиром, и не более, нынче сказать, без подробностей, без деталей характерных, без ощущений, мимолётных и более стойких, от всего, что вставало вокруг ореолом светящимся, шлейфом возникало, тянулось вдаль, воскрешало связи незримые, укрепляло духовные нити, возвышалось, подобно сиянию, над словами, над акварелями, порывалось вернуться назад, уводило куда-то вперёд, к неизведанным высям, дышало правотою искусства, когда-то, майским, солнечным, жарким днём, в середине шестидесятых, говорил с нами добрый волшебник и великий художник, Фонвизин.

Я надеюсь, что, может быть, в будущем, если это удастся, кто знает ведь, как ведёт за собою речь, как мои появляются книги, я и сам не знаю, и только жду смиренно голоса свыше, звука жду всегда изначального, за которым приходит вся музыка, ритм приходит, пластика, строй, чтобы внутренним зрением видеть книгу, словно соты пчелиные, чтобы следовать вновь за речью, и она-то сама и сложит книгу новую, соберёт, образует единство некое звуков, красок, мыслей и слов, я ещё расскажу о своём общении с ним поподробнее.

А пока что, покада нынешняя продолжается книга, и в ней тоже всё же кое-что сказано, согласитесь со мной, — вот о чём.

Ещё во время порывистых, импульсивных, то с отступлениями куда-то в далёкое прошлое, то с новыми возвращениями в настоящее, то с неожиданными обобщениями и того, и другого, длящихся на протяжении светлого, жаркого майского дня, с просмотром работ, с чаепитием неспешным, совсем домашним, с вопросами и ответами бессчётными, наших бесед, я заметил, слегка смутившись и несколько озадачившись, гадая, к чему бы такое повышенное внимание к особе моей, что Фонвизин всё время ко мне присматривается.

А когда мы уже собирались уходить и тепло прощались в прихожей с четой лебединой Фонвизиных, — именно так, лебединой, такими они для меня и когда-то были, и остались доселе в памяти лебединой чудесной четой, — сквозь года, с их сумбуром и бредом, с изнурительной хмарью бесчасья, с бестолковщиной междувременья, — подошёл он ко мне и сказал:

— Володя, пожалуйста, вы приходите ко мне. Поскорее! Я очень хочу, поймите меня, написать ваш портрет!

Я сказал, что приду непременно.

И пришёл к нему вскоре снова, созвонившись, уже один.

Я знал, что Фонвизин долго и тяжело болел.

Ему, художнику, зрение для которого было всем, было первой необходимостью, было жизнью, было работой, угрожала полнейшая, страшная, безысходная слепота.

Но ему повезло, по счастью, может — чудом, а может быть — выпало так ему по судьбе, — ему, человеку, живущему творчеством и не мыслившему себя, на мгновение даже, без творчества, сделали операцию глазную врачи, сложнейшую, удачную, и теперь он снова обрёл зрение.

Очень долго был он лишён возможности рисовать.

А бездействовать — это трагедия, хуже гибели, для него.

Всю жизнь он только и делал, что рисовал, рисовал.

Работал он постоянно, работал целенаправленно.

Трудился. Все вещи — в труде.

И — верил своей звезде.
В этом было его спасение.
В этом вся его жизнь была.

И теперь вот, слава Создателю, после долгого перерыва, он, как и прежде, сызнова намеревался работать.

Был настроен весьма решительно.

Втянуться в труды, войти в рабочий спасительный ритм, как можно скорее, во что бы то ни стало, взять себя в руки, взять в руки, к работе рвущиеся упорно, кисти и краски, радоваться возвращению зрения, рисовать!

Об этом он только и думал.

Так он мне об этом сказал.

И первой его работой, после дара свыше чудесного, для него, возвращения зрения, — должен был стать мой портрет.

Фонвизин вначале, подумав, походив немного по комнате, побурчав что-то, может — волшебное слово знал и его произнёс, призывая удачу, к себе, человеку, обретшему зрение, для трудов своих, и, возможно, для меня, человека, которого собирався он рисовать, усадил меня, очень точно и умело, напротив себя, так, чтобы свет, врывающийся к нам из окна, из мая, солнечного и жаркого, золотистый, прозрачный, падал на лицо моё, посмотрел на меня одобрительно, дружески улыбнулся, слегка сощурившись, и остался доволен, вроде бы, всем, и светом, и маем, и мною, в этом свете, с моей рыжиною в шевелюре, с глазами зелёными, непокорными скифскими скулами, крупным носом, ключицами острыми, лбом высоким, плечами широкими, стройным, очень худым, в ту пору, и совсем ещё молодым, но уже знаменитым поэтом.

Приготовил потом акварельные краски, мягкие, лёгкие кисти.

Закрепил на твёрдой подставке, несколько под углом, лист бумаги перед собою.

И сказал мне:

— Володя, пожалуйста, почитайте мне, прямо сейчас, да побольше, свои стихи! Они мне, поверьте на слово, запали в душу и так, с каждым днём всё сильнее, нравятся! Вы просто сидите рядом и читайте, сколько хотите. А я стану слушать вас внимательно — и рисовать.

И стал я ему — читать.

Иногда, приоткрыв глаза, я посматривал на Фонвизина — и с изумлением видел, что он, держа на отлёте кисть в своей небольшой, но крепкой и привыкшей к работе, руке, вслушиваясь в стихи, льющиеся потоком, возникающие спонтанно, потому что читал я тогда не с листа, но по памяти, просто что в голову вдруг придёт, что вспомнится прямо по ходу привычного чтения-пения, свойственного когда-то мне в молодости, в период СМОГа, в шестидесятых, — и сейчас, в моих зрелых годах, видимо, неповторимого, давно уже отзвучавшего, толком никем не записанного, так что осталось только, рассуждая о нём, вздохнуть, да рукою махнуть, мол, чего там сожалеть об ушедшем, ну, было, да куда-то со временем сплыло, да смотреть за окно, где клубятся над Святою горой облака в киммерийских осенних высотах, да кружится вокруг золотая, с беспокойным багрянцем, листва, да какая-то птица, упрямясь, на заре всё поёт и поёт, не желая смиряться с грядущей, подступающей, не за горами, из-за гор, из-за бурых и сизых, серебром полыни подёрнутых и туманом лиловых не скрытых от усталого взгляда, холмов, ожидаемой, словно сражение неизбежное, новой зимой, — не просто вошёл в состояние, близкое к моему, то есть в транс, но буквально врос, как дерево, с корнями, в слух.

Сам он стал — абсолютным слухом.

Ему важен был — звук, да, звук, звук тогдашний моих стихов.

Он так внимательно слушал, что я, перед ним читающий, в кои-то веки, стихи свои, не на шутку разволновался.

Но читал и читал опять, уже и сам, незаметно, втянувшись в звучание-пение давних своих стихов, как и всегда, в ту пору,

сызнава их, возникающих из сердца и ясного света, переживая при чтении, читал, находясь в своём, внутреннем, сокровенном, приоткрытом для песен, мире, в своей, такой, какова была она встарь, да и впредь будет, надеюсь, музыке.

Фонвизин всё слушал и слушал.

И потом я увидел, что к слуху его подключилось уже и зрение. Глаза, напряжённо глядящие на меня, прямо-таки сверкнули внезапно из-под очков.

Он — прозрел, я уверен был в этом, нечто важное для себя.

И вот рука его плавно, свободно взмахнула кистью, и на бумагу белую легло цветное пятно.

Потом — ещё взмах рукою, широкий, ещё и ещё.

Плавные, дугообразные, мастерские, точнейшие, одно за другим, движения.

Раз — и цветная точка вспыхнула на листе.

Раз — и цветастый потёк.

Раз — и воздушный штрих.

Раз — и два отдельных пятна разноцветных вместе сливаются.

Но я стоял перед выбором — или мне наблюдать за работой художника, или всё же читать продолжать стихи.

И я читал, увлечённый стихией речи, ведущей меня за собою, дальше, лишь изредка, краем зрения, всё-таки замечая, что Фонвизин, весь там, в бескрайней, расплёснутой по квартире, словно свет золотистый, музыке молодых моих, полновзвучных, колдовских, отчасти, стихов, но и здесь, перед белым листом бумаги, вроде бы медленно, незаметно, исподволь как-то, естественно, без напряжения чрезмерного, тоже колдует над акварелью своей.

Думаю всё же, что некий взаимообмен энергиями, благотворными, жизнелюбивыми, таинственными, тогда образовался у нас.

Энергию — не заметишь, как положим, заметить можно
цвет, или взгляд исподлобья, или какой-то предмет.

Энергию — не услышишь, как звук, любой, из бессчётного
числа их в звучащем, вибрирующем, распахнутом слуху мире.

Энергию — не предскажешь.

Её можно только почувствовать.

Возникает она нежданно.

Существует сама по себе.

Независимо от остальных, разнообразных энергий.

Но и прочно связана с ними.

Как? Никто не ответит на это.

Но связь эту — мы ощущаем.

Как и каждую, по отдельности, ощущаемую энергию.

Словом, энергия — тайна.

Постижение её — впереди.

Всё у нас — не случайно.

Всё — и в памяти, и в груди.

Токи, сплошным потоком исходившие от меня, от голоса
моего, воспринимал он чутко, усваивал их мгновенно — и тут
же, в ту же секунду, посылал мне уже свои токи, и я ощущал,
всей кожей, и хребтом, и всем естеством своим, прикосновение
неких, световых, не иначе, лучей, и мы с художником словно
перекидывали друг другу свою личную, щедрую, собственную,
но способную вдохновлять и поддерживать многих, энергию:
я ему — звучащее слово, речь мою, он мне — слух свой и зре-
ние, и возникало в итоге ощущение общего транса, и моего,
и фонвизинского, да так ведь оно и было, и пленительное, уди-
вительное, ни на что не похожее чувство свободного, только
так, восхитительного полёта во времени и пространстве сопут-
ствовало непрерывно мне в моём тогдашнем, сроднившемся
с бесконечною музыкой, чтении, и нам как-то очень приятно,
по-человечески, просто хорошо было, нет, чудесно, замеча-
тельно находиться наедине друг с другом, друг напротив друга,

рядом, быть обоим — в работе, в труде, и я чувствовал, что таящаяся в стихах моих сила внутренняя помогает сейчас художнику, настраивает его на нужный, особый лад, вдохновляет его, окрыляет, и он работал, работал, увлечённо, самозабвенно, и точно так же тогда, весь во власти звучащей речи, я читал, читал и читал.

Читал я долго. Не знаю, сколько. Может быть, час. А может, и значительно дольше. Конечно, дольше.

И ровно столько же времени работал тогда и Фонвизин.

И вот, представьте себе, именно в тот, назревший неподвижно как-то, миг, когда я внезапно почувствовал, что уже не просто слегка утомился, а очень устал, он сказал решительно:

— Всё!

И отложил кисть.

Я, усталый, молча сидел напротив него — и, не сразу привыкая к молчанию этому, приходил помаленьку в себя.

Фонвизин взгляделся пристально в свою, довольно большую, только что им написанную, свежую акварель.

И сказал, по-рабочему, просто, обращаясь ко мне, смотревшему на него:

— Получилось, Володя!

И сказал, ещё приглядевшись к акварели:

— Да, это вы!

И позвал меня сразу к себе:

— Идите сюда. Посмотрите!

Я встал, ощущая себя как на палубе корабельной, когда море штормит, и людей донимает жестокая качка, уставший от всей отзвучавшей, вызванной к жизни мною, вроде бы отодвинувшейся от меня ненадолго, на время, неизвестно, впрочем, какое, и меня не покинувшей музыки, музыки навсегда, и подошёл к нему.

И увидел великолепную фонвизинскую акварель.

Я увидел на ней себя, с закинутой головою, с глазами полужакрытыми, читающего стихи, вдохновенного, молодого, в золотистом свете, на склоне мая, в конце весны, на грани нового лета.

— Вот, Володя! — сказал мне Фонвизин. — Вы так хорошо мне читали. Это был целый мир, звучащий. Кажется, мне удалось понять его. Вы настоящий поэт, поверьте мне. Вы поэт от Бога. И я нарисовал вас таким вот — настоящим, большим, я знаю это твёрдо, русским поэтом.

Он хотел подарить мне эту превосходную акварель.

Радость, чистая детская радость, от того, что я в одночасье стать могу обладателем этого замечательного портрета своего, на какой-то миг жарким светом прихлынула к сердцу.

Но я, тряхнув головою, всё же преодолел блаженный этот порыв.

Я смущённо и в тоже время решительно, пусть и со всей возможной тогда для меня деликатностью, отказался.

— Возьмите работу, Володя! — упорно меня уговаривал, разволновавшись, Фонвизин. — Вы ведь меня окрылили. Я теперь, наконец, снова буду рисовать! Я уже это чувствую. Нет, я это уже твёрдо знаю. Это — ваша работа. Возьмите. Это — вам. Я дарю её — вам.

— Огромное вам спасибо, дорогой мой Артур Владимирович! — сказал я. — Пусть эта работа побудет у вас. Я сейчас бездомничаю. Впереди — не просто неопределённость полная, но скорее полнейшая неизвестность. Акварель эта — чудо, и только. Первокласснейшая. Волшебная. Драгоценна она для меня. Где мне её хранить? Жилья своего, увы, нет у меня в Москве. Да к тому же, скоро я, вынужденный искать от властей защиты у людей, которые мне помогают, кто как, по возможности, благодарен я всем им за это, уезжаю на юг, в экспедицию.

— Но потом, хоть когда-нибудь, вы её возьмёте себе? — спросил у меня Фонвизин.

— Потом, когда всё у меня, даст Бог, уладится в жизни, — может быть, и приму её от вас. Но пока что — пусть находится здесь она, у вас, в доме вашем, вместе с другими работами вашими.

— Ну, хорошо, — согласился Фонвизин. — Пусть ваш портрет, пока что, здесь, у меня, в сохранности полной, до нужного времени, остаётся. Но вы, пожалуйста, помните, что акварель — ваша.

— Не сомневайтесь, Артур Владимирович, — сказал я. — Буду помнить. Всегда буду помнить.

В этот день у него я остался надолго, до позднего вечера.

Поговорить удалось нам на закате весны — о многом.

Было двадцать седьмое мая Змеинового, шестьдесят пятого, небывалого, по лавине событий, года.

Из университетского, скучного, но пристанищем временным бывшего и зимой, и весной, общежития, меня, из-за СМОГа отчисленного, со скандалом, из МГУ, разумеется, с треском, выгнали.

Ночевать в Москве было негде.

И опять помогли мне добрые, относящиеся ко мне хорошо, я верил, Герасимовы, генеральская, понимающая, что к чему в этой жизни, семья, — и на короткое время вернулся я в любимую мне симпатичную комнату в коммунальной скромной квартире на Автозаводской улице.

Ко мне из Кривого Рога, навестить меня, поддержать внука, вскоре, по просьбе моей мамы, Марии Михайловны Железновой, преподавателя русского языка и литературы, педагога от Бога, приехала бабушка, горячо любимая мною с детских лет, Пелагея Васильевна Железнова, редкой души и великих свойств, и способностей, и достоинств, святая женщина.

Потом, в начале июня, она, повидавшись со мною и убедившись в том, что, несмотря на всякие невесёлые изменения в жизни, я и жив и здоров, уехала, светлая, мудрая, обратно на Украину, увозя с собою письмо моё к родителям и заверения, что я, несмотря ни на что, непременно восстану из бед.

А рано утром, четвёртого июня, мы с другом, по СМОГУ, по судьбе, допускаю вполне и гадаю, так ли, сейчас, Михаликом Соколовым уехали, на машине грузовой, через всю Россию, всё южнее, к теплу и свету, в археологическую, дабы там на совесть трудиться, во славу науки отечественной, экспедицию, на Тамань.

И началось моё лето незабвенное шестьдесят пятого — ну а с ним и одна из важнейших моих, так я считаю, книг.

Потом в моей жизни событий было хоть отбавляй, год проходил за годом, превращаясь в десятилетия, но я, почему — сам не знаю, и не знает никто, если этого сам не знаю доселе я, выживший, уцелевший в невзгодах, так и не приехал к Фонвизину за своим превосходным портретом.

И однажды, зимой, как-то днём, поглядев на снег за окошком в серебристо-сиреневой дымке то ли хмари приморской, то ли затянувшегося тумана, вроде смога, ни больше ни меньше, и припомнив былые года, позвонил я всё-таки, так, наобум, наугад, будь что будет, его сыну, Сергею Артуровичу, которого смутно помнил, со времён визитов к Фонвизину и бесед с ним, тоже художнику.

Он как раз в это время, так вышло, так совпало всё, разобрал отцовские, многочисленные, самых разных лет написания, сохранившиеся работы.

Он порадовался тому, что у меня в девяностых вышли большие книги.

Вспомнил, как видел меня, совсем ещё молодого, в гостях у отца, в середине крылатых шестидесятых.

Обещал непременно, а как же иначе, только ведь так, ему самому интересно, среди других акварелей отыскать тот давний портрет.

Просил меня обязательно позвонить ему, да поскорее.

Хотел получить в подарок мои, наконец-то вышедшие, после четверти века замалчивания, на родине, книги стихов.

Но я, пообщавшись с ним только по телефону, так и не позвонил ему.

Почему — я и сам не знаю.

А портрет свой, Фонвизиним созданный столь давно, — как сейчас вижу. Дивный.

Ничего. Он ещё отыщется. И, скорее всего, сам придёт ко мне.

Как говаривал Ворошилов — прорастёт. Я уверен в этом.

Время — в том, что мы создали сами.

Назовут это впредь — чудесами.

Имя времени — слово наше.

Речь, с её животворным светом.

II

Что же, значит, опять — сквозь мглу, многолетнюю, многослойную, многозначную, — так уж вышло, — ту, что там, позади, в былом.

В ушедшем ли? Да, пожалуй. Наверное. Но, скорее, отошедшем — на шаг, всего лишь, или, может, на полшага, словно вглубь, или вдаль, или ввысь, да ещё и немного в сторону, — и движенье своё замедлившем, понимания ожидая.

Нет, никуда, похоже, сроду и не отходившем. Просто — незримо присутствующем, — рядом, всегда, навсегда. Сросшемся, исстари, накрепко, — не оторвать, — с людьми.

Находящемся: за плечами, за словами, за строчками этими, возникающими неожиданно, в сознании, в памяти, в мире.

Властно определяющем оттуда, издалека, из клубящейся, мгlistой, тягостной, притягательной глубины, из мучительно-го, рачительного, несмотря ни на что, разъятия, — нечто важное, нужное, нынешнее, кровное. Может быть — главное.

Да, насущное. Давшее зрение. Определившее голос.

Оттуда — это извечное, дерзновенное, детское рвение и невиданное упорство чутко вздрогнувшей компасной стрелки: держать, вопреки обстоятельствам самым сложным, точно на север, — а дальше уж оглядишься, отдышишься, выберешь путь.

Оттуда — этот светящийся, чистый и точный звук запорошённого сыплющимся с высей сквозь век снежком, вымокшего в сплошных, несть им числа, дождях, но ржавью коварной в ненастье не тронутого камертона.

Выверенность единственно возможного — вот он — тона. Без язвой или занозой случайной ноющей трещины в упрямой и честной ноте, без налёта липучего фальши, без вкрадчивого, втихаря, вдруг никто не заметит, авось и сойдёт, ничего, всё

бывает, подлаживанья под чужую, пастушью ли, идиллическую, Крысоловью ли, демоническую, далеко уводящую дудку. Явственного. Того, что сам по себе. И в бедах, и в радостях, пусть и несчастных, да зато настоящих. Чистого. И, заметим сразу, оправданного.

Поэтому — смело — туда, через морок столько уж лет, — на свет ли, к теплу ли тянучись, — вот и вехи, ориентиры, приметы, штрихи, пунктиры, — всё это само собой собирается в ступок живой, — на биение сердца, на голос.

Да, читатель, отыщем по голосу.

Там, будто бы на пороге, на кромке, на грани, у входа — в настоящее ли, в грядущее ли, — в преддверии и в предчувствии решающего чего-то, кровно важного, в ожидании некоем, перед тем, что неминуемо сбудется, отменяя сомнения, дальше, высвечивается — лицо.

Разумеется, сразу — глаза. Говорящие больше, чем губы.

Что в глазах этих? — боль? — или страх? Или — свет? Или — вера в призвание?

Всё в глазах этих — всё, воедино, вместе, сразу, в единстве таком, что его разорвать невозможно, расчленишь, изуверски разрушить, — всё в глазах этих, — в них посмотри — в них увидишь и душу живую, и минувшее время, — лишь в них разглядишь ты в ненастную пору тот огонь, что в пути согревал, что спасал, не давая погибнуть в лабиринтах всеобщего бреда, что однажды навек озарил то, что творчеством люди назвали, хоть назвать это надо бы — чудом, или — миром, где радость жива бытия, — пусть и жили в печали, пусть в юдоли брели по земле, — всё равно в небесах неизбежных поднималась над каждым звезда.

Лоб упрямого, словно обиженного, чем-то иль кем-то, и крепко призадумавшегося ребёнка, в обрамлении то ли тёмных, то ли светлых, во всяком случае — ещё не начавших вдруг сесть, не седых, но туманных каких-то, вроде бы мглистых, а может, и просто волнистых, а может быть, и прямых, — не

разобрать, каких, да и не надо вовсе разбираться в этом кому-то, всё равно, кому и когда, главное — что густых, важно ведь — что ещё не редеющих, то закинутых по-птичьи, наискось, набок, то откинутых, резким, дерзким, но и детским, наивным движением, вверх, куда-то к затылку и к небу в облаках и звёздах, назад, тоже упрямых и даже непокорных, густых волос.

Вроде бы, так и есть, одна из первых — тогда, и вскорости традиционно устойчивая, привычная в нашем кругу борода, — но, может, и нет её вовсе, бороды этой, и она лишь воображается кем-то, подразумевается, только намеревается — быть, и глядишь — непременно будет, потому что она — вроде знака, вроде пароля, что ли, — с нею проще, с нею спокойнее в мире холода и тоски, с нею, братцы, куда надёжнее жить в советском псевдораю, потому что она — подобье постоянной защиты от выюг, от немыслимых завихрений — жизненных ли, огорчительных, связанных ли с судьбою, вынужденных ли, сознательных ли, — кто его разберёт, кто там определит, и надо ли это делать, если — мороз по коже, и отовсюду, куда ни шагнёшь, озираясь, — дует, сквозняком, ветерком заунывным, беспричинным, кручинным, досадным, — нет, ледяною стужей, гиблой, бездонной мглой, — и закружит, забросит в дебри, а что за дебри — сам всё узнаешь, сам всё расхлебашь, благо будешь незнамо где, — или в пустыню, в прорву, в глушь, — и поди попробуй вырваться из неволи, выбраться поскорее из ниоткуда — к людям, к свету, с которым — легче, — так почему же надо маяться отрешённо, мыкаться без приюта где-нибудь на рассвете или в потёмках, снова чувствуя безысходность существования, — зная: как ни крути, придётся преодолеть и эту вынужденную преграду, — трогая вдруг ладонью выросшую щетину, кутая горло шарфом, взгляд безутешный пряча, — может быть, от прохожих, призрачно-зыбких, редких, может быть — от бесчасья, может быть — от ментов, — мало ли что стрясётся? — лучше уж — с бородой, словно в броне и в шлеме, — впрочем, поди гадай, кто это там, каков он, — с бритыми

ли щеками, с выросшей ли неожиданно свежей бородой, — наш или нет? — сощурясь, вглядываясь, — меж тем образ его двоится, десятирится, множась, — и потому неважно, что у него за вид, — мне-то куда важнее, что у него в душе, чем он, бездомный, дышит, чем он, мятежный, жив.

Глуховато-гулкая речь, о, сама эта характерная, достоверная, беспримечная, убедительная манера говорить — изначально сдержанная, но, со шлейфом каких-то импульсов электрических, интонаций и вибраций, спиралью выходящая вслед за нею, определённая, словно разом, без обиняков, подводящая смело черту под усвоенным и осознанным, — так дети порой говорят, что-то осмыслив, поняв, преобразив и оставив отчасти, поскольку так уж выходит у них, трансформированным, творчески, непременно, и никак не иначе, дополненным, в просторной, как ясный полдень, памяти дивной своей, — имея мнение собственное о предмете и право имея на суждение, личное, собственное, — поняв, но всё-таки тут же, незамедлительно, сразу же, давая каждому слову, своему, разумеется, новую, совсем другую, особенную, волшебную, щедрую жизнь, даруя миру всему эту светлую, свежерождённую, живую, живее некуда, трепещущую частицу вселенского бытия.

Но прислушайся чутче — быть может, эта речь — иная, допустим — неожиданно звонкая, льющаяся на высоких, почти поднебесных, отдающихся эхом раскатистым в отдаленье заречном, тонах, или — сбивчивая, даже путаная, торопливая, забегающая то и дело вперёд, и поди-ка поспевай за нею, всё рвущейся сквозь пространство, на волю, или же — излишне, бывает и так, ничего не попишешь, замедленная, или ещё какая, — да не всё ли равно? — и звучит, вернее, звучала она — там, в былом, и многоголосьем неустанным всегда отдавала, потому что была в своё время — речью круга, плеяды, среды, и была в ней — полифония, и каждый отдельный голос вёл свою, а не чью-нибудь, тему, выпевал, неизменно, свою, а не чью-то чужую, мелодию, — и всё это вместе, в единстве, в гармонии, сложной, всеобщей, и всеми

по-своему чуемой, выражаемой, кто как умеет, было бы что ощутить, и, по возможности, выразить, — было музыкой, речью эпохи, гулом, сложенным и разложенным, слитным или же, в силу многих, грустноватых причин, раздробленным, но тяготеющим к ладу, ищущим и находящим в каждом отдельном случае звук свой, а с ним и верный тон, а потом и слово, чтобы возникла — речь.

В клубах и волокнах слоистого, тягучего, поглощающего звуки и тени, тумана, в выплесках тусклого, словно теснимого кем-то невидимым в сторону, на обочину, но упорного, стойкого света, брезжущего сквозь темень, брызжущего сквозь ливень, страждущего, но всё же реющего сквозь снег, — вроде бы, поглядим-ка повнимательнее, высокая, ежели не сказать, по привычке давнишней, — длинная, неузнанная фигура идущего человека.

Но, может, и коренастая, приземистая фигура, плотная, крепко сбитая, — всё это словно не в фокусе, оптику не подобрать, чтобы понять — какая, главное — что не тень.

Кто он, идущий молча, — там, в отдаленье? Друг? Просто — знакомый? Недруг? Лучше бы — друг... Считал я всех вас тогда друзьями, — всех, кого знал, — вас много было... А этот — кто?

Поджар, сухощав, жилист. Не от райской жизни, наверное. Не от сытных, пожалуй, хлебов. Та самая жилистость в нём, двужилость в нём безусловная, что всегда почему-то выводит, хотя и с большой охотой вытягивать эти жилы находятся мастаки.

Вроде сутуловат. Но нет, это так, в меру. Ложилось ведь что-то на эти плечи, пытались пригнуть голову эту, крепко посаженную, — да не вышло ничего у них, устоял, — разве что молча терпел, бременем тяготился, — крест принимал свой и нёс его честно, как полагается, всю тяжесть его ощущая.

Походка, повадка, — что там ещё? Вглядеться. И вслушаться. Человек, и всё в нём — своё, личное, незаёмное.

Небось, поэт. Ну ещё бы! Это он, он, — а кто это — он? Он и есть. Есть? А может, художник?

Ну конечно, художник! Несомненно, художник! Вот, смотрите, — и руки в краске, и под мышкою тащит что-то вроде свёрнутых в трубку работ, намалёванных на бумаге — той, что под руку подвернулась в час, когда на него нашло вдохновение — и в ход пошло всё, что было вокруг, — и уголь, и сангина, и акварель, и гуашь, — лишь бы только это состояние не упустить, потому что потом сложнее рисовать, а сейчас — вперёд, не зевай, налегай, малюй, — и в итоге к утру склоняйся над горою работ, один, в непонятно какой, пустынной, комнатушке, нищий король. Или это всё же картоны? Или холст? Ведь похоже — в трубку грубо свёрнутый, свежий холст!

Не понять!.. На углу фонарный покачнулся под ветром отсвет, по ногам снежком потянуло, руки зябнут. Не разобрать — кто стоит у стены без окон, без дверей, кто идёт, сутулясь, вдоль трамвайных блестящих рельсов, и позёмка — вдогонку, вслед.

Кто он? Был ли он? Или — есть он?

Есть, конечно! Расплывчат образ. Крупным планом — глаза. Крупнее, как в кино. Что, узнал? Да вроде. Присмотрись. Узнаёшь? Ну то-то. Он и есть. Только — кто? Знакомый. Свой. Ты что, не узнал? Ну, здравствуй.

Так и было все эти годы. Живущий, поддержанный, дышащий поэзией, этот некто, случалось, нередко случалось в годы прежних гроз, и молчал — внешне, вот что хотелось бы, сознательно, уточнить. Никогда в нём не замирала и нигде в нём не утихала внутренняя, закрытая от глаз посторонних, работа.

Слову, как там ни тщишь, не прикажешь, не заставишь возникнуть, — оно, иногда и подолгу, ждёт своего заповедного часа. И является слово к тебе лишь в такие мгновенья, когда его присутствие в мире жизненно необходимо. И, явившись, оно спасает. И земные дни продолжает.

Внешне — какие-то, всяческие, для заработка, обыденные, никуда ты от них не денешься, утомительные труды. Имеющие,

наверное, ценность самостоятельную. Но это — горькая ценность извечного выживания.

Внешне — весьма и весьма скромное существование во мгле многолетней и мороке затянувшегося безвременья, — существование, грустное, что там скрывать, человека независимого, талантливого, мыслящего, обо всём имеющего своё собственное, непохожее на другие, личное мнение, человека ранимого, гордого.

Внешне — может быть, даже и некоторые, почему бы и нет, бывало ведь, успехи на том, другом, дающем прокорм поприще.

Если было оно у кого-то, это житейское поприще.

У некоторых и его не было никогда, — и такой, казалось бы, малости.

Но там, внутри, в глубине, в душе, — мир, в который это внешнее, повседневное, по существу — условное, вынужденное, — не вхоже. Вот что важно. Вот что существенно.

Двойственность? Нет, разумеется. Просто — защита души. Собственноручно выкованный, какой-никакой, но панцирь, латы, если хотите.

Тогда что же? Добротнo-мистический — вот, мол, я, — мотив двойника?

Помилуйте! Всё куда проще. Цельности не занимать. Скажем определённое: человек живёт именно так. Не шкуру же, озадачившись не на шутку, с него сдирать, чтоб разглядеть до тошно, — что же там такое, внутри.

Давно, и успешно, по-своему, сложившийся человек. И, за темим, с характером. Личность.

Таков этот некто. Встречный? Окликнутый ли в ночи? Знакомый? Приятель? Друг ли? Возможно, житель столичный. А может, провинциал. Гражданин, представьте, бесчашья. Поры без прав, но с обязанностями. С повышенными чрезмерно требованиями въедливыми к человеку — со стороны всемогущего государства. Царства? Коварства? Мытарства? Требований. Претензий. К человеку — со стороны. Чуждому, безусловно, — режиму,

бедламу, бреду. К человеку — живущему осторонь. От всего, что мешает работать. От всего, что дышать мешает. Странному человеку. Слишком уж одинокому. Тянущемуся — к своим. И находящему их. Путь свой в ночи находящему. Верящему: не случайно всё, в глухомани этой, в этом затишье, в удушие, с ним происходит. Будет свет на пути. И встанет в небе звезда над ним. Истинно говорю вам: да, он таков. Таков.

И такова, поймите, его, человека, поэзия. Ибо и в ней он — личность.

Пишущий ли стихи свои или прозу свою раскованную, рисующий ли свои удивительные картинки, исполняющий ли порою в тесном, узком кругу знакомых, сочиняющий ли свою многозвучную, новую музыку, он прежде всего — поэт. И его, та, что прежде всего в мире нашем тревожном, поэзия, всё на свете в себя впитав, переосмыслив и выразив, по-своему, как и положено, издревле, вот здесь, на земле наших пращуров мудрых, время, стала одной из важнейших, незаменимых примет этого сложного времени, — в силу своей несравненной проникновенности, подлинности, вдохновенности, определённости, выстраданности, ответственности, верности русскому Слову.

Какой-нибудь дока, исследователь, старательный комментатор, — из тех, что привычно и ловко раскладывают по полочкам созданное другими, — ещё изумится когда-нибудь очевидной взаимосвязанности того, что написано было некоторыми, в отечестве прежнем нашем, едином для всех нас, несокрушимом, казалось когда-то, жившими, творческими, непохожими на сограждан многих, людьми в бурные шестидесятые, смутные семидесятые, странные восьмидесятые, и в нагрянувшие девяностые, в новом уже государстве, вроде бы и свободные, на поверку дикие, годы, — и тогда-то, в скором грядущем, узаконят, небось, понятие обобщающее: плеяда.

В нашей звёздной плеяде он, человек, безусловно, загадочный, встреченный мною в ночи, увиденный мною сквозь время — и обязанный обрести имя своё, заслуживший право быть

наконец-то узанным и понятым, — человек чести и долга, прошедший всевозможные испытания на прочность, отнюдь не сгубившие, не озлобившие его, но лишь закалившие дух.

Его сокровенная, страстная поэзия существует в стихии русской, бессмертной речи родной — и это необычайно важно. Его живопись или графика, если он художник серьёзный, — разумеется, тоже поэзия. Его музыка, если он музыкант или композитор, — безусловно, тоже поэзия.

Его поэзия, выросшая из сора ушедшей эпохи, значительна — и не только потому, что, как же иначе, только так ведь, оригинальна, что личностна, что независимый поэтический редкостный голос очевиден для всех, но ещё и потому, что сквозь ткань лирическую светоносных стихотворений — а с ними и живописных мазков, графических линий, аккордов, мелодий, тональностей, — вообще всего, что искусством называется, вообще абсолютно всего, что издревле, и поныне, до наших дней, именуется просто творчеством, да и впредь, полагаю, будет называться именно так, — проглядывает всё чаще, как лицо Медузы Горгоны, — пусть вкраплениями, деталями, характерными, достоверными, выразительными штрихами, без надрыва, без аффектации, ненавязчиво, но неминуемо, порою даже как будто бы тактично, без перебора, но всё-таки неотступно, во всём вокруг оставаясь, надолго, нет, навсегда, прижившись в пространстве, со временем сроднившись навеки нашим, ибо вьелся, впитался, вошёл незаметно, давно проник в кровь, в поры, в любую клетку тела, в любой, на выбор, если хотите, год, или день, или час, или миг, — и не только, замечу, проглядывает, но и смотрит на вас в упор — тот небывалый доселе и уникальный эпос, который немислимо было поодиночке создать, но который когда-то встарь создавала и создаёт и теперь, в другую эпоху, в новом веке уже, — вся плеяда.

С биографией всё куда проще, — а судьба поэта звездую встаёт из его творений. Судьба сия — суть понятие живое, вот что прекрасно, даже если жизнь человека, земная трудная

жизнь, юдольная, — прервалась рано, или же, в срок, отпущенный, завершилась. Судьба сия — суть понятие, во все времена, живое, ибо есть у неё развитие и в грядущем, она — продолжается, устремляясь вперёд и ввысь. Потому что живёт — уже творчество.

Развитию этой творческой, самой важной, главнейшей линии судьбы не только, включаясь в звучание, вовлекаясь в поле с мощным воздействием, вторит, но и, смелея, освоившись постепенно в области, переполненной тайнами и загадками, откровениями и прозрениями, ведёт уже первую партию — её утверждение в мире.

Слово в душах людских находит отклик — знак пониманья возможного. Слово, вдосталь прежде намаявшись, почву твёрдую обретает.

В виде книги. В виде легенды. В виде яви — уже навсегда.

Подтверждается, утверждается факт присутствия в русской поэзии — человека, мною увиденного сквозь туманную пелену безвозвратного, да, наверное, только в памяти уцелевшего, невозможного нынче времени, мною встреченного когда-то, вдруг, случайно, в ночи столичной, или, может, провинциальной, или, может быть, вообще, всё бывало, Бог знает где, но — своего, из наших, мне-то ведомо, что — из плеяды. Утверждается. Продолжается. Не для слишком банальной, походя кем-то сделанной наспех, отписки, не для нужной зачем-то, видимо, по привычке, так для порядка, в канцелярских грассбухах, галочки.

Перед кем, скажите по совести, нам отчитываться, сограждане? Перед Богом? От Бога — дар. Творчество же — для людей, обращается творчество — к людям.

Присмотрись, читатель теперешний, присмотрись к прохожему, к встречному, — он ли? Тот ли? К тебе ли шёл он — там, в ночи? Да, к тебе. Узнал ли ты его? И выходят книги в свет. И, в путь устремившись снова, непременно к тебе придут.

Ночь, ну а в ней — клич.

Клич, ну а в нём — ключ.

К тому, что в судьбах. В жизни. В каждом слове.

Лишь к яви рвётся речь из недр былого.



— Скажи мне честно, Володя, скажи мне открыто и прямо, скажи мне, как на духу, по-дружески, да и по-свойски, — ты сможешь когда-нибудь, ну, там, в том самом грядущем, которое, как ни крути, однажды всё же придёт, да, придёт, написать обо мне? — спросил меня как-то, давно, в семидесятых, Зверев.

Я ответил ему:

— Смогу.

И Зверев тогда улыбнулся, и глаза его влажными стали, и лицо его посветлело, и сказал он своё:

— Хорэ!

Да, хорэ. Сквозь время — хорэ.

Ночь. Луна в литом серебре.

Или солнце — и ясный день.

Из былого — сквозь строки — тень.

Или — взгляд. Или — зов. Сквозь боль.

Век таков. Такова юдоль.

Или — творчество: навсегда.

В небе хмуром — сквозь хмарь — звезда.

Зверев немного подумал и сказал мне:

— Знаешь, Володя, всё-таки я не один, такой вот, как есть. Особенный. Нас, между прочим, немало. Нас, художников наших. И есть среди них достойные, талантливые. И поэтому, если ты будешь писать когда-нибудь обо мне и обо всём, что было в трудное наше время, то пиши уж и о других. И о поэтах наших. И о прозаиках наших. А ещё и о людях разных, колоритных, из нашей среды. Потому что все мы, конечно же, это

факт, единое целое. Как нас потом назовут? Небошь, придумают что-нибудь, этакое выразительное, скорее всего, название. И все тогда согласятся с этим. А ты — пиши. Не обо мне одном. Обо всех нас. Поскольку мы — не какой-нибудь сброд. Мы — явление. И таких, как мы, я считаю, днём с огнём не найдёшь нигде — ни в Америке, ни в Париже. Мы — на родине у себя появились — и состоялись. И останемся здесь — навсегда, я считаю, в искусстве нашем. И в поэзии нашей, и в прозе. То есть, в том, что мы создаём — и ещё, даст Бог, создадим. В нашем — личном и общем — творчестве. Так — разумнее. Справедливее. Так я думаю. Ты понимаешь?

Я ответил:

— Да, понимаю. Постараюсь я написать и о других художниках. И не только о них, разумеется. Обо всей нашей славной братии.

Зверев сказал:

— Пиши. Я тебя — благословляю. И говорю: хорэ!

Мы стояли вдвоём со Зверевым в незнакомом каком-то дворе. Это было — припоминаю — поздней осенью, в ноябре. Листья жухлые под ногами. Ветер, холод, ледок, снежок. Небеса, свинцовые, низкие. Окна — в ряд. Иногда — в кружок. Гул столичный. Предзимья веянье. Предвечерья печальный час.

Стены, вставшие за деревьями. Чувств и слов золотой запас.

Разгоравшиеся поблизости неприкаянные огни.

Мы стояли вдвоём со Зверевым в мире этом — совсем одни.

— Куда же податься нам? — спросил задумчиво Зверев.

Я ответил:

— Куда-нибудь.

— А точнее?

— Надо подумать.

— Будем вместе думать?

- Давай.
- Думы, думы, вы так утрюмы!
- Ты опять говорить будешь в рифму?
- Захочу — и буду. А что?
- Говори, если очень хочется.
- Почему-то уже не хочется.
- Почему?
- Да откуда я знаю?
- Что ж, понятно.
- А мне, представь себе, непонятно.
- Бывает всякое.
- Вот и я говорю: бывает.
- Но куда мы пойдём?
- Вперёд!

И мы зашагали — вперёд.

Отправились — в никуда?

Нет, пожалуй. Туда, где вечер наступал, надвигался, всею темнотой своей, на столицу. Где огней становилось всё больше, а людей — всё меньше и меньше на окрестных всех тротуарах. Где машины с зажжёнными фарами проносились — всё мимо и мимо. Мимо нас, бредущих задумчиво сквозь вечерний предзимний мир. Мимо редких деревьев с последними, облететь не успевшими листьями. Шли и шли мы. Туда, где, может быть, примут нас, где удастся время скоротать, в уюте, в тепле. А потом? А потом — куда-нибудь дальше двинемся. Но куда? К ноявым, где-то вдаль, пристанищам. Ну, допустим. И что — тогда? Новый путь. Скитания новые. Так уж вышло. Зачем роптать на судьбу? Времена — суровые. Даже слишком. Уж как пить дать. И поэтому — в путь. Ведь ангелы всё равно над нами поют. Шли вперёд мы, путники странные. И нашли в итоге — приют.

И там, в компании тесной вполне симпатичных с виду и, возможно, хороших людей, оживлённых, слегка взбудоражен-

ных внезапным нашим визитом к ним, старавшихся проявлять к нам внимание, даже, вроде бы, в меру всё же, гостеприимных, провели мы какое-то время. То ли час, то ли два, то ли три. Ну а может, и все четыре. Допускаю. Ведь мы в итоге засиделись там допоздна.

И опять повторились — обычные ритуалы. И вновь традицию посещений знакомых наших, и особенно вот таких, как сегодняшнее, внезапных, на авось, как уж выйдет, было бы где немного нам отдышаться, мы со Зверевым продолжали.

Я достал из портфеля буханку бородинского чёрного хлеба и бутылку сухого вина.

Зверев достал из-за пазухи апельсин, баранку и яблоко. И, помедлив, достал бутылку коньяка. И жёлтый лимон.

А хозяева заварили — от щедрот своих — чай «со слоном».

Говорили мы — но о чём же?

Как обычно — о том да о сём.

Выпивали. Коньяк быстро выпили. А потом принялись — за вино.

Как всегда, не хватило выпивки. И хозяева, чуть помявшись, из буфета достали заначку — вот уж радость — бутылку водки.

И пришлось мне — читать стихи. И, по просьбе хозяев, пару их растрогавших стихотворений — им в подарок — в какой-то тетрадке, мне подsunутой, записать.

И пришлось тогда Звереву тоже — поработать. Хозяев наших — на листках, из альбома вырванных, вдохновенно изобразить. Как говаривал Толя частенько, с прибаутками, — увекочить.

Словом, оба мы, люди творческие, в этот вечер хозяев наших, как умели, отблагодарили.

И хозяева — были довольны.

Что же — дальше? А дальше — вновь побрели мы куда-то. В ночь? Или — в будущее? Пожалуй.

Ветер зябкий гудел. Москва сохраняла свои права. Вместе с явью — былой, небывалой...



— Эй, борода!

Метель гуляла по всей округе, слепила глаза пронзительной, неистовой белизной, заметала, на фоне вечернего, тёмного, с белыми вспышками, завихрениями, зигзагами, кругами, спиралями, неба, затихшие, однообразные, то длинные, горизонтальные, то высокие, вроде башен, столечные, реже — кирпичные, чаще — блочные, густо стоящие на пути моём зимнем, дома.

Я с трудом оглянулся — сквозь снег — на незнакомый голос.

(Был конец января. Средь скитаний, измотавших меня основательно, надоевших, — был мой день рождения. Тридцатилетие. То-то вспомнилось мне почему-то посвящённое этой же дате особенное, открытое всему ранимому сердцу, и душе, и судьбе, и зрению, и памяти, миру земному и небесному, стихотворение Дилана Томаса, только речь в нём была об осени валлийской, об октябре. Ну а мой день рождения был — бездомным, в московской, зимней круговерти. Куда деваться? И куда мне идти? Ночлега, на ближайшее время, не было. Ночевать в подъезде каком-нибудь, потеплее, снова придётся? Да, наверное. А возможно, в чьей-нибудь мастерской подвальной, если будет радость такая. Пусть в подвале, но — не на улице. А на улицах, белых от снежной, налетевшей, метельной стихии, ветер дул, разгулявшийся так, что, казалось, он не затихнет, ошалевший, уже никогда. Словом, зимней была погода. Не в укор это ей. Не оду сочиняю. Не без труда я наскрёб какие-то деньги и купил на них сигареты, две бутылки сухого вина, подешевле, буханку хлеба. Денег еле хватило на это. Оставалось немного мелочи — на автобусы, на метро. Положив покупки в портфель, где лежали книги и рукописи, я побрёл по холодной улице, наугад, куда-то вперёд. Шёл и шёл. Впереди забрезжила, сквозь метель, поначалу Пушкинская, с занесённым хлопьями снега, одиноко стоявшим памятником солнцу русской поэзии, площадь. А потом, в просвете случайном посреди пеле-

ны снеговой, вдруг разорванной ветром, хлёстким, ледяным, — Маяковская, дымная, в едкой мгле сизовой, площадь.

Я подумал: пойду-ка к Нике Щербаковой. Идти недолго. Обогреюсь. И отдышусь. А потом — что-нибудь придумаю. Может быть, меня осенит — и ночлег найду, на сегодня, где-нибудь. Не ходить же мне бесконечно всюду по городу. Не стоять же мне на морозе и не мёрзнуть. Вначале надо, разумеется, позвонить. Я нашёл две копейки в кармане. И зашёл в унылую будку, называвшуюся лаконично, выразительно, словно символ всеобщей связи мировой: телефон-автомат. Позвонил. Раздались гудки. А потом я услышал — голос, бесконечно знакомый:

— Алё!

Ну конечно же, Толя Зверев!

— Толя, здравствуй!

— Ты где, Володя? У тебя день рождения. Помнишь? Я у Ники. И жду тебя. Поскорей приезжай. Хорэ?

— Я поблизости, на Маяковке. Жди меня. Я скоро приду.

— Жду. Хорэ!

Положил я трубку.

И пошёл, сквозь метель, вдоль ограды занесённого снегом, безлюдного, словно в спячке, сада «Аквариум», а потом — мимо Малой Бронной, прямо к Никиному, желтеющему сквозь нахлёсты снежные, дому.

Поднялся на верхний этаж. Позвонил. Дверь квартиры открылась. На пороге стоял улыбающийся Толя Зверев. С бутылкой в руке. Этикетка на этой бутылке говорила о многом: коньяк.

— Здравствуй, Толя!

— Здравствуй, Володя! Заходи.

Я зашёл в квартиру. Было в ней непривычно тепло. Я, похоже, отвык от тепла. Ничего, теперь-то — согреюсь.

Вслед за Зверевым в коридоре появилась томная Ника:

— Я так рада! Здравствуй, Володя! Проходи скорее за стол.

— Здравствуй, Ника!

Зверев сказал мне хрипловато:

— Пойдём, пойдём!

Сняв пальто, я зашёл в просторную, сплошь завешанную картинами авангардными, с артистическим и с богемным уклоном, комнату, очень тёплую, где сидели за столом какие-то двое, незнакомые мне. Высокие. Чисто выбритые. В костюмах. Разумеется, оба — с галстуками. Только лица их — я не запомнил. Невозможно запомнить такие, без примет характерных, лица. И, хотя они, церемонно и приветливо даже, представились, имена их, невыразительные, почему-то я не запомнил.

Я присел за стол. Толя Зверев мне налил стакан коньяка. А себе — половину стакана. Незнакомцы — налили себе водки, в маленькие, с напёрсток, рюмки. Ника — себе налила персональный бокал шампанского.

Толя Зверев сказал:

— У Володи — день рождения. Поздравляю. Ты, Алейников, — гениальный, я-то знаю, об этом, поэт. За тебя я сегодня пью. Будь. Живи. И пиши. Ну, выпьем!

Все сидящие за столом, на котором стояло скромное угощение и бутылки, с водкой, с винами и с шампанским, оживились — и тут же выпили.

Шло застолье. Царила здесь, как обычно, хозяйка — Ника.

Я согрелся. Коньяк ли зверевский или что-то ещё подействовало — но действительно, стало тепло мне, хорошо. И я закурил. Огляделся по сторонам. Да, салон известный московский. Вдосталь здесь побывало народу. Ника всех принимает охотно. Каждый день — всё новые гости. Все привыкли к ней приходить. Как-никак, есть возможность общения. Для богемы у Ники — лафа. Выпить можно. И закусить. Посмотреть картины. Послушать, иногда, стихи. Поболтать — об искусстве, да и о прочем. Словом, дом для бессчётных встреч.

Незнакомцы с Никой — о чём-то говорили. Довольно тихо. Я прислушиваться — не стал. Если надо — пусть говорят.

Мы со Зверевым вышли в соседнюю, совершенно пустую комнату.

Зверев как-то весь посерьёзнул, наклонился ко мне — и тихонько, еле слышно, сказал, нет, выдохнул напряжённо:

— Она шпионка!

— Кто? — не понял я.

Зверев:

— Ника!

— Почему?

Зверев, твёрдо:

— Я знаю!

— Брось!

— Ей-Богу! Она работает — ну, на этих, на кагебешников.

— Правда?

— Правда!

— Зачем же, Толя, мы с тобой находимся здесь?

— А куда нам с тобой деваться? Бог не выдаст, свинья не съест.

Стало как-то не по себе.

Я сказал:

— Может, выпьем снова? У меня есть в портфеле вино.

— Да оставь ты своё вино! Пригодится ещё. Смотри! — Зверев вытащил из-за пазухи флажку виски. — Давай — из горла!

— Что ж, давай!

Мы со Зверевым — выпили.

Между тем, появились в комнате, где со Зверевым мы вдвоём разговаривали, отпивая по глоточку виски из горлышка, незнакомцы и Ника.

Сказала нежным голосом Ника:

— Мальчики! Нам пора. Вы поедете с нами? Едем мы — на такси. Подвезём вас куда-нибудь, в нужное место.

Я подумал: вечер уже. Подвезут куда-то — и ладно.

И сказал я Нике:

— Поедем. Где-нибудь по дороге — сойду.

Зверев только взглянул на меня — и вздохнул. Ничего не сказал.

Собрались мы быстро. И вышли — прямо в вечер, в снега, в метель.

У подъезда стояло такси. Забрались мы вовнутрь. Поехали.

Толя Зверев — молчал. Я — молчал. Незнакомцы — молчали. Машина пробиралась сквозь снег, с трудом, осторожно. Молчала и Ника.

Так мы ехали долго — молча.

Я потёр стекло запотевшее. Посмотрел — вроде что-то знакомое. Преображенская площадь.

Вдруг Зверев затрепетал, дверь рванул — и рывком, стремительно, выскочил из машины.

Я крикнул ему:

— Ты куда?

Он, в ответ мне, крикнул:

— Я к шурина!

И пропал. Растворился в метели.

Незнакомцы — молчали. Ника обратилась ко мне внезапно:

— А тебе, Володя, куда?

Я ответил ей:

— Здесь я выйду. Навещу-ка Оскара Рабина.

Незнакомцы — переглянулись.

Ника:

— Ладно. Привет Оскару. До свидания!

— До свидания!

Выбрался я — в метель. Машина — тут же уехала.

Постояв на заснеженной площади, я побрёл потихоньку — к Рабину.

Оскар был тогда — под присмотром. Собирался он уезжать на Запад. Ещё не уехал. Возле дома его, где жил он, на первом, таком доступном этаже, постоянно дежурили какие-то наблюдатели.

Я всё это — знал. И всё же — не мёрзнуть же мне в метели! Оскар — человек хороший, приветливый. Навещу его. Есть в портфеле моём вино. Обогреюсь. Выпьем немного. И, конеч-

но, поговорим. Есть о чём ведь. А там — куда-нибудь доберусь ещё. Ночевать, где придётся, давно привык я. Надо сил хоть немного набраться. Успокоится. Вон как метёт! Ну и снег! Настоящий, январский!..

Шёл я к дому Оскара Рабина. Вот и дом. Длинный, блочный, скучный. И на первом — я вижу сразу же так отчётливо — этаже — тёплым светом горит окно. Значит, дома Оскар. Прибавлю ходу. Ну, поскорее — к цели!..)

Голос сзади:

— Эй, борода!

Оглянулся я. Позади — обозначились две фигуры. Незнакомые люди. Высокие.

— Эй, ты слышишь? Куда идёшь?

Отмахнулся я:

— Вам-то что? Ну, иду. К своему знакомому. Поточнее сказать? К художнику...

Это — всё, что успел я сказать.

Сокрушительной силы удар — получил я в висок. И тут же рухнул в снег, потеряв сознание.

Сколько было потом ударов, как там били меня — не помню.

Да и как мне помнить об этом, если был я тогда без сознания?

Неужели настала — смерть?..

Я очнулся, когда — не знаю, где — не ведаю, в доме каком-то незнакомом, в гулком подъезде, вниз головой, на лестничном, пустом и холодном проёме.

Почему оказался я здесь?

Кто меня закинул сюда?

Ни портфеля, ни документов. Ничего нет. Карманы — вывернуты. Шапки — нет. Шарфа — тоже нет.

Боль была — действительно адской.

Голова моя — просто раскалывалась.

Всё избитое тело — болело.

Надо было — как-то спастись.

Надо было — отсюда выбраться.

Я пополз, сквозь боль, по ступенькам.

Ниже, ниже. Ещё немного.

Вот и дверь подъезда. Открыл её. Удалось. Хотя и с усилием.

Выполз — в снег. В сугробы. Пополз — дальше. Встать — я не мог. Всё — болело.

Полз я долго. Куда-то. Вперёд. С передышками. Дальше и дальше. В снег. Сквозь снег. Сквозь метель. Сквозь ночь. К жизни. К людям. Упрямо. Сквозь боль.

Над моей головой разбитой, резко, с визгом, затормозив, остановилась какая-то машина. Шофёр метнулся из машины — ко мне:

— Что с вами?

Говорить я не мог. Было больно.

Я с трудом прошептал:

— Избили...

— Может, вас отвезти куда-нибудь? Например, домой к вам. Поедем?

Дома не было у меня своего. И сказать об этом шофёру я стеснялся. Небось, подумает: «Ишь, какой бездомный бродяга! Ну, избили его. По пьянке. Что ж, бывает. А я-то при чём?»

Наклонился шофёр надо мной, стал меня поднимать:

— Вставайте! Потихоньку. Вам надо встать.

И в глазах его я увидел — и участие, и заботу, и немалое страдание человеческое. И начал подниматься. Шофёр помогал мне. Так на фронте, наверно, порой помогали друг другу солдаты.

И шофёр меня снова спросил:

— Ну, куда вас везти? Говорите!

Говорить было трудно мне. Но сказал я шофёру:

— К Сапгиру!

— Что? Куда? — не понял шофёр.

— Отвезите меня к Сапгиру!

— Вы бредите? Что за Сапгир? Кто же вас так избил?

— Не знаю... Сапгир — друг Рабина.

В моём сознании брезжило лишь это: Рабин — Сапгир.

— Довезу. Дорогу покажете?

— Постараюсь.

Шофёр помог мне забраться в машину и лечь, на боку, на заднем сидении.

Я сказал:

— Денег нет у меня.

— Да какие там деньги! — Шофёр отмахнулся. — Вам надо в больницу!

— Нет, к Сапгиру, — упрямылся я.

— Хорошо. Поедем к Сапгиру. Кто такой он?

— Поэт.

— Поэт? Ну а вы?

— Я тоже поэт.

Покачал головой шофёр:

— И зачем же так бьют поэтов?

Я ответил ему:

— Не знаю...

Долго ехали мы. Я смотрел, временами, с трудом, за окошко. Говорил: «Сюда... Вот сюда...»

Наконец, добрались мы до дома, где жил тогда Генрих Сапгир.

Я сказал шофёру:

— Спасибо!

Он ответил:

— Держитесь, поэт. Выздоровливайте скорее. Да, а как вас зовут?

— Владимир.

— А фамилия ваша?

— Алейников.

— Тот, из СМОГа?

— Именно тот.

— Был я как-то на вечере вашем. Лет, пожалуй, десять назад. Вы читали стихи. Хорошие. Только были вы — без бороды, молодым совсем. А теперь — с бородой. Я люблю стихи. Вы отличный поэт. Я помню кое-что. Ну хотя бы вот это, да, вот это: «Когда в провинции...»

Я продолжил тогда:

— «Болеют...»

И шофёр, вздохнув:

— «Тополя...»

Я махнул рукой:

— Это — старое...

А шофёр сказал:

— Но живёт!..

Он помог мне выбраться в ночь из машины. Пожал я руку моему спасителю. Он, помахав мне рукой, уехал.

Я стоял во дворе пустынном.

Слава Богу, первый этаж. Высоко подниматься не надо.

Дверь в подъезд я открыл с трудом. Вот и дверь квартиры сапгировской. Поднапрягшись, я позвонил.

Дверь открылась. В проёме дверном появился Генрих Сапгир.

Он взглянул на меня — и глаза его переполнились явным ужасом.

— Генрих, здравствуй! — сказал я Сапгиру. — Помоги мне сейчас. Пожалуйста.

— Что с тобой? — воскликнул Сапгир. — Кто же так тебя страшно избил?

Я ответил ему:

— Не знаю. Обо всём — попозже, потом...

Генрих помог мне войти в квартиру. Но в комнаты я не пошёл. Добрался до кухни. И — рухнул там на пол, навзничь, потеряв сознание вновь.

Сколько так пролежал я — не помню.

Приоткрыл глаза. Посмотрел — да, похоже, утро. Светло.

Значит, жив я. Действительно, жив!

Раздались голоса. Знакомые. Генрих что-то там говорил, обо мне, с женой своей, Кирой.

Кира властно сказала Сапгиру:

— Дай Володе десятку, Генрих, на такси. И пусть он отсюда убирается поскорее!

Так. Понятно. Я лишний здесь.

Что возьмёшь с неё? Это ведь — Кира. Наплевать ей, видимо, нынче на моё состояние. Надо подниматься. И встал я на ноги.

В кухню зашёл, с десяткой в руке, смущённый Сапгир:

— Володя, вот — на такси.

— Всё я слышал, — сказал я Сапгиру. — Не волнуйся. Скоро уеду.

Взял десятку. Сказал:

— Верну.

Отмахнулся Генрих:

— Не надо!

Я сказал:

— До свидания, Генрих! За приют, за помощь — спасибо. Постараюсь преодолеть наваждение это. Поеду. Где-нибудь, у кого-нибудь — отлежусь. Надеюсь, что примут.

И сказал мне Сапгир:

— Держись!

И ответил я:

— Буду держаться!

Дверь открылась. Я вышел — в снег.

И побрёл — сквозь сугробы — вперёд.

На такси — кое-как доехал до знакомых. Там — отлежался. Правда, долго пришлось лежать. Сотрясение мозга — не шутка. Да ещё такое, устроенное, безусловно, профессионально, без булды, со знанием дела. Должен был я боль — победить.

Победил. Отшумели метели.

Паспорт — новый пришлось получать, вместо прежнего, что исчез, вместе с рукописями моими, вместе с книгами, вместе

с портфелем. Шапку — кто-то мне подарил. Шарф — нашёл я прямо на улице. Голова — болела порой. Очень сильно. Бывали кризы. Поднималось давление так, что, бывало, хоть криком кричи. Всё я вытерпел. Преодолею. Боль. И всю череду бездомий. Все нелепости, наваждения прежних, сложных, суровых лет. И минувшей эпохи — нет. Есть — лишь память. И — жизнь. И — речь. Время — вправду материально. Потому что живёт в нём — творчество. Может, жречество? Змееборчество. И — огни негасимых свеч.



...В середине семидесятых. Мы — в квартире зверевской, в Свиблове, или в Гиблове, так его Толя называл обычно, и это подтвердилось — в этой квартире он потом, через годы, и умер. Или, может, погиб. Всё могло с ним случиться. Ходил он по краю бездны некоей, хорохорился и бравировал этим, но знал, очевидно, всегда наперёд, что с ним всё-таки произойдёт.

Мы — вдвоём. «Ты, Володя, с портфелем, и поэтому мне с тобой здесь, в Москве, намного спокойнее!» — приговаривал Зверев частенько. Я — бездомничал. Зверев — маялся, тяготился своим одиночеством, при его-то обширных знакомствах, находиться боялся один и на улицах, и в квартирах. Мы бродили, вдвоём, по Москве. Ночевали всегда — где придётся. Там, где пустят нас на постой. Я — стихи читал. Он — рисовал. Отрабатывали ночлег. Утром — снова куда-то ехали или шли. И так — месяцами. И годами даже. Привык я к жизни трудной своей, кочевой. А вдвоём — веселее. Обоим. И спокойнее, это уж точно. Двое — сила. Десант. Отряд. Наша двоица, он — художник, я — поэт, надёжной была. Мы дружили — как на войне. Шли героически — сквозь все сражения. Фронт — повсюду был. Приходилось — воевать. Он — кистью, я — словом. К неприятностям быть готовым приходилось. К невзгодам. К бедам. И тянулся за нами следом приключений длиннющий шлейф,

и событий, и происшествий непредвиденных. Но вдвоём было проще нам выстоять. Выжить.

Мы сидели в квартире зверевской, словно в крепости неприязельской. Зверев то к чему-то прислушивался, словно чуял близких врагов, то смотрел за окно. Из ванной доносился запах противный. Заглянул я туда. Увидел: ванна, доверху, вся, наполнена отмокающей в ней одеждой. Посмотрел я на Зверева. Он отмахнулся — мол, пусть, так надо.

Я достал из портфеля бутылку припасённого мною вина, половину буханки хлеба.

Зверев, жестом лукавого фокусника, тут же вынул откуда-то, может — из-за пазухи, может — из шкафа, ну а может — и прямо из воздуха, фляжку плоскую коньяка. И принёс два гранёных стакана. Постелил на столе газету. Положил на газету хлеб — нашу с ним и еду, и закуску. Коньяком наполнил стаканы, аккуратно, до половины. Мы степенно с ним чокнулись, выпили. Закусили хлебом. Потом — закурили, я — сигарету, он — сигару. Стало теплее. За окном — шёл осенний дождь. Мы курили — и говорили. Для бесед неспешных всегда было тем у нас предостаточно.

Помню, речь шла о том, что осень скоро кончится. В этом Свиблове застревать надолго нельзя. Могут вдруг нагрянуть менты. Или кто-нибудь пострашнее. Надо было что-то придумать. Поискать понадежней пристанище. Остаться здесь нам — опасно.

И спросил я тогда то ли Зверева, то ли, может, силы небесные:
— Что потом?

— А потом — зима! Снег выпал, а я взял и выпил! — Зверев щурился на меня, улыбаясь, хитрющий, весёлый. Взял бумагу и акварель, набросал на листке кого-то с бородой: — Вот Дед-Мороз!

Я сказал ему:

— Да, похож.

Зверев быстро взглянул на меня. Набросал акварелью, быстро, мой портрет:

— Посмотри. Это — ты.

Я взглянул:

— Да, очень похож.

Со стола на мои коленки, покотившись, упал карандаш. Я успел его удержать, положил обратно на стол.

Были джинсы мои разорваны на коленках. И Зверев это — разглядел. Поднялся рывком. Распахнул обе дверцы шкафа. В нём висели костюмы, брюки, пиджаки, совершенно новые, заграничные сплошь. Гардероб у художника был солидным. Всё — добротное, про запас, впрок. Потом, глядишь, пригодится.

Зверев краешком глаза взглянул на меня. Выбрал серые брюки. Протянул их мне:

— Вот, надень. От Костаки. Английские. Крепкие. Подойдут как раз. Надевай, прямо сверху, на джинсы. Дарю.

Вышел я в коридор. Натянул эти брюки, прямо на джинсы. Возвратился, в обновке, в комнату:

— Ну, спасибо, Толя. Подходят.

Отмахнулся Зверев:

— Шмотья предостаточно у меня. За картинки мои дают. Я — беру. И ношу. Годидзе! А тебе теперь будет теплее. Вон какая погодка на улице! Так и хлещет холодный дождь.

За стеной раздалось какое-то подозрительное шуршание.

Зверев сразу насторожился:

— Надо сваливать. Поскорее!

Я спросил:

— Почему?

И Зверев мне ответил:

— Везде — враги!

Он достал из шкафа пальто заграничное — и одел его на себя, на грязный пиджак, заграничный. Достал ботинки, заграничные тоже, английские. Вмиг обулся. Захлопнул шкаф, на котором, сверху, лежали, громоздились, до потолка, впер-

мешку, его работы разных лет. Солидный резерв. На продажу. На всякий случай. Пригодятся небось, потом.

Я набросил куртку:

— Пойдём. Но куда? На улице — дождь.

Зверев, кратко:

— Поедем к старухе.

Потихоньку, словно разведчики, два героя, в тылу врагов, пробрались мы с Толей из гиблого дома этого — прямо на улицу. Там хлестал разгулявшийся дождь.

Мы нашли телефон-автомат. Зверев в будку зашёл. Позвонил. И сказал:

— Мы скоро приедем.

Я спросил:

— На метро поедem?

Зверев поднял бровь:

— На такси!

Сунул руку к себе за пазуху — и достал толстенную пачку четвертных, десятирублёвок и пятёрок. Сунул обратно, да поглубже. Заржал довольно. И, торжественно:

— Деньги — есть!

Я пожал плечами. А Зверев ухмыльнулся:

— Хорэ, хорэ!

Впереди — огонёк зелёный замаячил. В таком районе захудалом — и вот, пожалуйста, приближается к нам такси.

Зверев быстро махнул рукой. И машина — остановилась. Мы залезли вовнутрь. Поехали. На вопрос шофёра: «Куда?» — Зверев кратко ответил:

— В центр!

(Старухой Зверев обычно называл Оксану Михайловну, вдову поэта Асеева, одну из сестёр Синяковых, в которую был влюблён. Мы со Зверевым навещали иногда её. Но обычно приезжал к ней Толя один. Дорожил он этой любовью. Необычной. Ведь всё у него необычным было, особенным. И, конечно, его любовь. Была Оксана Михайловна старше Зверева лет на

сорок. Но разве возраст — преграда для любви настоящей? Нет. Пять сестёр Синяковых были знаменитыми. Встарь — дружили с футуристами. В Красной Поляне, что под Харьковом, в их имении, всё когда-то и началось, там истоки всего авангарда, позже так набравшего силу, что питают его отголоски и доселе подлунный мир. Хлебников, показав на Оксану, сказал Асееву: «Вот твоя жена!» И Асеев на Оксане сразу женился. Жили супруги вместе почти половину столетия. Асеев умер. Оксану полюбил неуёмный Зверев. Началась такая любовь, что о ней вся Москва говорила. Зверев, пьяный, рвался в квартиру и выламывал дверь. Оксана вызывала ментов, причитая: «Дорогие милиционеры, вы не бейте его, пожалуйста, берегите руки его, я прошу, он великий художник!» Менты увозили Зверева — и, разумеется, били. Он опять приезжал к любимой. И она — впускала его. Рисовал он её — непрерывно. Были сотни её портретов, на которых Оксана — сияла несравненной своей красотой. Толя Зверев о ней заботился. Он любил готовить. Однажды он сварил ей вкуснейший борщ. И сказал Оксане: «Поешь!» Почему-то она отказалась. Толя — вылил кастрюлю горячего борща на Оксану. Потом взял свою любимую на руки — и понёс её в ванную, чтобы отмывать. И отмыл. И Оксана ещё больше с тех пор любить стала Зверева. Он хранил у неё работы свои. Много папок. Оксана Михайловна продавала их постоянно и тем самым ему помогала. Продавала — по триста рублей. Вместо всем привычной тридцатки. И висели на стенах асеевской, в самом центре Москвы, квартиры изумительные портреты драгоценной зверевской женщины, златовласой Оксаны Михайловны. И любовь была небывалой, расцветающей всеми красками, пылкой, страстной, с криками, с драмами, с поцелуями и с объятиями, обоюдной, — такой и останется, полагаю, она — в веках.)

Мы приехали в центр. Пришли, оба — выпив слегка, но трезвые, по тогдашним нашим понятиям, в гости к зверевской даме сердца, драгоценной Оксане Михайловне. Поздоровались

с ней. Она рада нам была. Пили чай. Говорили. Зверев смотрел на неё глазами влюблёнными. А потом и сказал:

— Володе негде жить!

Всплеснула руками в тот же миг Оксана Михайловна:

— Как же так?

Зверев — ей:

— Он бездомничает.

— Ах! — сказала Оксана Михайловна. — Что же раньше вы мне не сказали? Почему вы, Володя, стесняетесь? Вы такой хороший поэт. И, выходит, вам негде жить?

Я сказал:

— Да, так получилось.

Зверев буркнул:

— Володя — гений! Как и я. Мы с ним оба — гении.

— Ах! — сказала Оксана Михайловна. — Понимаю, всё понимаю. Постараюсь что-то придумать.

Позвонила она кому-то из знакомых:

— Ольга Густавовна! Добрый день. Это я. Звоню вам я сегодня по важному делу. У меня здесь Володя Алейников. Он хороший поэт. Толя Зверев говорит, что Володя — гений, как и Зверев. И вот, представляете, он бездомничает. Да, Володе негде жить. Совершенно негде. Может, вы приютите его у себя? Ну, хотя бы на время. Что? Согласны? Даю ему трубку.

Протянула мне муза зверевская телефонную трубку. Сказал я, по возможности вежливо:

— Здравствуйте!

И услышал:

— Володя, здравствуйте! Говорит с вами Ольга Густавовна Суок. Вдова Юрия Карловича Олеши. Оксана Михайловна рассказала мне всё. Приезжайте ко мне. Живу я одна. Буду рада вам. Поживите у меня. Да подольше. Потом будем думать, как дальше вам быть. Жду. Сегодня же — приезжайте!

Я сказал:

— Спасибо огромное. Постараюсь приехать к вам.

Положил я трубку. Смущение вдруг нахлынуло на меня.

А Оксана Михайловна, радуясь, что помочь мне, поэту бездомному, сегодня ей удалось, на клочке бумаги писала адрес Ольги Густавовны:

— Вот. Вы найдёте, Володя. Держите.

Взял я адрес.

А Зверев мне:

— Поезжай. Поживи, в нормальных, человеческих, то есть, условиях. Отдохнёшь. Наберёшься сил. Может, что-то напишешь новое. А потом я тебе позвоню. Мы ещё, и не раз, увидимся.

Чай был выпит. Я стал прощаться.

И сказала Оксана Михайловна:

— Приходите ко мне почаще!

И сказал мне Зверев:

— Хорэ!

Вышел я из подъезда. Шёл нескончаемый, сильный дождь.

Я всё думал: поехать, что ли? — или, может, не ехать? Что-то останавливало меня. Если честно, то я стеснялся. Ничего поделаться с собою я не мог. Неловко мне было, ни с того ни с сего, мол, вышло так, что делать, ах, извините, пожилую, хорошую женщину, да ещё и вдову Олеши, мне собою обременять. И решил я тогда — не ехать к ней. Поплёлся куда-то, в слякоть, в дождь, промок, но упрямо шёл, вдоль насупленных улиц, вперёд. Где-то я отыскал пристанище. А потом ещё, и ещё. Так и жил, скитаясь, бродяжничая. Как-то выдержал это. Сумел.

А Ольга Густавовна долго ждала меня. Так мне сказала, позже, Оксана Михайловна. А Зверев, мне показалось, взглянув на меня внимательно, даже одобрил меня — молодец, мол, не стал стремиться поскорее в тепло, в уют, пересилил себя, отважился на бездомную жизнь, и — выстоял, даже, можно сказать, победил, — слава Богу, жив и здоров.

Где былые года? Позади. Что там дальше? Свет впереди. Вспомнить многое, без прикрас, можно. Так я скажу сейчас...



...Зверев — рисует. Где-то в центре Москвы. В какой-то большой, с потолками высокими, с окнами в полстены, с люстрами, отзывающимися на шаги по паркету, натёртому до блеска, долгим, протяжным, мелодичным, хрустальным звоном, просторной, чистой квартире. Пригласили какие-то люди, с виду вполне ухоженные, спокойные, в меру приветливые, художника знаменитого — сделать портреты семейства.

Мы пришли туда с Толей вдвоём, потому что в семидесятых часто вместе, подолгу, неделями, а бывало, что и месяцами, бродяжничали по столице, по домам её, то неприветливым, откуда уйти хотелось как можно скорее, в ночь, в метель или в дождь, всё равно, лишь бы только быть пусть и бездомными, но всяких граждан недобрых, по возможности, независимыми, то на редкость гостеприимным и вполне симпатичным домам, где ночлег был радостью подлинной, и тепло, и беседы с хозяевами, понимающими, радушными, драгоценными были для нас.

Мы пришли. Принесли с собою две коробки школьной, дешёвой, в виде твёрдых прямоугольников, акварели, простой, надёжной, той, которую предпочитал всем другим сортам акварели, даже сверхдорогим, заграничным, неизменно, упрямо, Зверев. Принесли с собою бумагу и несколько плоских, щетинных, для руки удобных кистей. Отдышались немного, с дороги. Побеседовали, из вежливости, о том да о сём, с хозяевами, которые, вроде, настроились на серьёзность того, что будет вскорее происходить. И работа тогда — началась.

Зверев — работает. Весь, от макушки до пяток, — в работе.

Всклокочены волосы Толины.

Цепок и точен его пронзительный, резкий взгляд.

На полу — целым фризом разложены ватманские листы.

Рядом с ними — тазик с водой.

И — коробки со школьной, простой, любимой его акварелью.

В руках у художника — несколько больших, широких кистей.

Зверев — ходит между листами ватманскими, нагибается, делает поочерёдно на каждом листе мазок, выпрямляется, смотрит на то, что получилось, дальше движется, и листы заполняются постепенно цветом, преображаются — и начинают жить своей, особой, таинственной и полнокровной жизнью.

Семья хозяев — сидит на стульях, напротив Зверева, в полном составе. Смотрят, словно на чародея, на него. Любопытно им — что же в итоге получится? Но пока что — надо позировать. И сидят они все, как миленькие. И позируют. Устают, но, однако, терпят. Так надо. Так сказал художник: сидеть! Двое взрослых, муж и жена. Муж — солидный, немолодой. А жена — молодая, красавица, в лёгком платье, с глазами томными, с поволокой. Двое детей, принаряженных, симпатичных, круглолицых, мальчик и девочка. Обеспеченная, наверное, да и дружная, вроде, семья.

Зверев рисует их — по очереди. Начинает с детей. А потом переходит на взрослых. Он ходит по полу, между листами, машет кистями, брызжет водою из тазика и на паркет, и на бумагу, фыркает, приплясывает, бормочет что-то своё, хватается акварель, всю коробку, вываливает её на бумагу, шлёпает рукой по бумаге, которая заполняется всё интенсивнее, и это — процесс, который остановить невозможно, творческий, вдохновенный, в полёте, в сплошном движении, и это — действие, загадочное, таинственное, ритуальное, фирменное, коли так можно назвать его, зверевское, так-то проще, и по-русски звучит привычнее, жреческое, магическое, действие его трудов.

Зверев порой говорит:

— Сюда посмотри, детуля!

Или бормочет:

— Так. Не двигайся. Хорошо.

Заворожённая Зверевым, семья послушно, смиренно подчиняется беспрекословно ему, потому что так надо, выполняет его приказы, и смотрит во все глаза на него — жонглёра и фокусника, циркача, актёра и мага.

И расцвечивается бумага.

И на ней возникают — портреты.

Как, откуда? Вроде бы не было их недавно — и вот они, здесь!

Чудеса, да и только! Тайна.

Есть в квартире теперь — новизна.

Здесь присутствует нынче — искусство.

Зверев топчется возле работ.

Говорит:

— Не хватает белого!

Но никто его не понимает из хозяев. Какое белое?

Зверев голос на них повышает:

— Есть у вас порошок стиральный?

— Есть! — ему отвечают. Идут за порошком. Несут порошок в коробке. Протягивают коробку полную Толе.

Зверев берёт коробку, прыгает над работами в странном танце — и сыплет, сыплет порошок, словно снег, на работы.

И работы — преображаются. Одна за другой, по очереди. Светлеют. Становятся дымчатыми. Да ещё появляется в них — фактурность. По акварелям словно метёт позёмка.

Зверев смотрит на то, что сделал.

Говорит хозяевам:

— Веник! Поскорее — несите веник!

И ему приносят большой и широкий новенький веник.

Зверев макает веник в тазик с водой — и брызжет на работы. И что-то снова происходит с ними тогда. Сквозь белёсость от порошка прорывается цвет — всё гуще, всё обильнее, пятнами, стусками, цвет — в котором таился свет, а теперь получил возможность здесь, в квартире чужой, сиять — и решительно всех изумлять.

Зверев бросает веник на пол. Дух переводит. Смотрит на акварели. И говорит хозяевам:

— Нож! Принесите нож!

Хозяева не понимают его. Озадаченно спрашивают:

— Какой ещё нож? Зачем?

Зверев им объясняет:

— Кухонный нож. Любой.

Хозяйка идёт на кухню. Приносит столовый нож. Протягивает его, с некоторой опаской, надо — так надо, Звереву.

Зверев хватается нож. Делает им на работах белые резкие полосы, всякие загогулины, по сырым цветовым переливам, поверх акварели. Потом пишет ножом на каждой свежей работе, ставшей почему-то воздушной, движущейся, подпись свою — АЗ. И, разумеется, — год.

Смотрит на акварели.

И говорит:

— Всё!

На пол бросает нож. Выпрямляется. И — улыбается. Отработал. Можно, пожалуй, да и нужно ведь, отдохнуть.

Члены семьи, которых изобразил художник, с места встают, порываются посмотреть поскорей на работы.

Зверев их останавливает:

— Нельзя! Работы — сырые.

И говорит помягче:

— Пускай полежат. Потом успеете посмотреть.

Члены семьи соглашаются — ну что ж, потом так потом.

Зверев спрашивает меня:

— Скажи, ну как, получилось?

Я отвечаю:

— Да. Получилось. Ты молодец.

Зверев довольно щурится.

Хозяин зовёт нас к столу — выпить и закусить.

Приглашение мы принимаем.

Сделанные акварели остаются лежать на полу — сохнуть, до той поры, когда их, наверно, тогда, когда разрешит художник, можно будет смотреть.

Время за разговорами, за выпивкой — быстро проходит.

И вот отдохнувший немного от трудов своих долгих художник говорит наконец хозяевам:

— А теперь — смотрите работы!

Вся семья бросается в комнату, где лежат на полу акварели.

Видят их. Восклицают восторженно:

— Ах, какие мы все красивые! Ну, спасибо вам, Анатолий Тимофеевич!

Зверев:

— Не за что. Я — работал. А вы — позировали. Я вас просто увековечил.

Хозяева — деньги ему в аккуратном конверте протягивают — за работу. Зверев небрежно берёт конверт и суёт в карман. Заработал — и ладно. Пригодятся ещё, на жизнь.

Мы прощаемся с увековеченной семьёй — и выходим на улицу, в гомон столичный, прямо в ненастный осенний вечер.

И Зверев мне говорит:

— Хорошо, что ты рядом, Володя. Мне с тобой спокойнее как-то. И рисуется лучше, вроде бы, чем тогда, когда я один.

Я киваю в ответ головой.

Что сказать? Здесь слова не нужны.

Всё и так понятно, без слов.

Мы идём вдвоём, вдоль домов, то теснящихся, то расступающихся чуть пошире, вдоль длинных оград, вдоль деревьев редких, куда-то — в сердцевину безвременья, в даль, за которой возможна и глубь, ну а может быть, даже и высь, где огни впереди зажглись, где куда-то прийти нам надо, где дождёмся тепла и лада...



...Гость неожиданный в той комнатухе, где однажды я обитал и куда, навестить меня, появился, с выпивкой, Зверев.

Гость — случайный. Но, вроде, по делу появился здесь. Как-то мнётся. Но потом — набирается храбрости. Обращается к Звереву:

— Толя!

Зверев, как говорят, ноль внимания.

Гость тогда говорит:

— Анатолий!

Зверев снова — не реагирует на такое вот обращение к нему совсем незнакомого, непонятного человека.

Гость опять говорит:

— Анатолий Тимофеевич! Вы меня слышите?

Зверев, глухо и кратко:

— Слышу.

— Вы могли бы сейчас...

— Что — мог бы?

— Написать трактат.

— Что?

— Трактат. Говорят, вы их здорово пишете.

— Что сказал ты? А ну, повтори!

— Вы могли бы трактат написать?

— Я могу, старик, очень многое написать.

— И трактат?

— И трактат.

— Напишите трактат.

— О чём?

— Как — о чём? Надо сообразить. Об искусстве вы, вроде, писали. Напишите трактат — о погоде.

Зверев, коротко:

— Десять рублей.

— Что, сумеете?

Зверев:

— Двадцать.

Гость опешил:

— Ну, аппетиты...

Зверев, резко и твёрдо:

— Тридцать.

Гость подумал немного. Потом произнёс, осмелев:

— Я согласен.

Зверев:

— Что там сейчас за погода?

Гость, слегка озадаченно:

— Где?

Зверев:

— Там, за окном. На улице.

Гость:

— На улице? Дождь идёт. Зябко, сыро. В общем, невесело.

Зверев:

— Деньги мне покажи!

Гость, порывшись в карманах:

— Вот! Ровно тридцать рублей.

Зверев:

— Ладно. Хорошо. А на чём писать? Да и чем?

Гость:

— А вот и тетрадь, новенькая. И ручка. Заграничная ручка.

Отличная.

Зверев, хмуро:

— Давай тетрадь. И свою заграничную ручку.

Гость на стол положил тетрадь. Рядом с ней положил он ручку.

Зверев молча раскрыл тетрадь. Взял в свою артистичную руку заграничную ручку. Подумав, написал заголовок, простой и понятный: «Трактат о погоде». И — немедленно начал писать.

Он писал до тех пор, покуда вся тетрадь не была заполнена размышлениями художника, размышлениями — о погоде.

Он сложил тетрадь. Протянул её, вместе с ручкой, нежданному гостю. И сказал:

— Теперь — гонорар.

Гость воскликнул:

— А можно мне посмотреть сначала?

И Зверев разрешил ему это:

— Смотри.

Гость сразу же начал читать творение свежее зверевское.

И — втянулся. И прочитал всё, что было в тетради написано.
В это время Зверев смотрел на допитую бутылку вина.
И грустнел, на глазах.

Гость закончил чтение. Встал. И сказал:

— Ничего подобного не читал я. Это — шедевр.

Зверев буркнул в ответ:

— Бывает.

Гость сказал:

— Вот, пожалуйста, ваш гонорар. Здесь тридцать рублей.

А трактат ваш — я сохраняю.

Зверев деньги небрежно взял. И сказал, со значением, гостю:

— Разрешаю хранить трактат. Деньги есть ещё?

Гость, растерянно и немного волнуясь:

— Есть.

Зверев, грозно, ему:

— Покажи!

Гость достал кошелёк свой:

— Вот!

Зверев:

— Слушай, старик! Алейников — гениальный поэт, — и широким жестом, дружеским, рыцарским, щедрым показал на меня, — он бездомничает. И ему, как и мне, нужны тоже средства к существованию. Понимаешь меня?

Гость взглянул на меня и сказал:

— Понимаю.

Обратился Зверев ко мне:

— Ты скажи мне, Володя, — сейчас у тебя в портфеле найдётся хоть один, какой уж там есть, самиздатовский сборник твой?

Я открыл портфель. Посмотрел, что в нём есть. И сборник нашёлся. Положил я на стол его:

— Вот он.

Зверев — гостю:

— Купи у Володи самиздатовский сборник его. Ты об этом не пожалеешь. Будешь долго потом вспоминать нашу встречу. Ты меня понял?

Гость спросил:

— Сколько стоит сборник?

Зверев сразу сказал:

— Четвертную.

Гость сказал:

— Так и быть. Куплю этот сборник, не за четвертную, а за тридцать рублей, маэстро, как и ваш трактат о погоде.

Зверев это одобрил:

— Лады!

Гость открыл кошелёк. Достал ровно тридцать рублей оттуда. Протянул мне деньги:

— Держите!

Я сказал ему:

— Благодарю.

Зверев — мне:

— Подпиши ему сборник. Внуки лет через сколько-то там, да неважно ведь, через сколько, в общем — в будущем, продадут за приличную сумму. Я знаю, так и будет. Им хватит на жизнь.

Подписал я свой сборник — и молча протянул его нашему гостю.

Он сказал:

— Спасибо, Владимир!

Зверев — гостю:

— Давай трактат!

Гость:

— Зачем ещё?

— Подпишу!

— Да, конечно, конечно. Вот он.

— Как зовут? Фамилия, имя, да и отчество.

Гость сказал.

Зверев свой трактат подписал. Протянул его гостю:

— Держи!

Гость воскликнул:

— Спасибо, спасибо!

Зверев:

— Не за что.

Гость:

— Я так рад!

Зверев:

— Слушай, трактат — о погоде. А погода сегодня — скверная. Настроение — тоже неважное. Вот десятка. Сгоняй в магазин. Это близко, здесь, за углом. И купи там побольше выпивки. Ну а если что-то останется, то купи тогда и закуски.

Гость сказал:

— Я согласен. Я мигом!

Подхватил десятку — и ринулся, во весь дух, поскорее, за дверь.

Не прошло и пяти минут, как вернулся он к нам, промокший под дождём, но довольный, с выпивкой и закуской:

— Я всё купил!

Зверев:

— Здорово! Ты молодец.

Гость спросил:

— Мне теперь уходить?

Зверев:

— Нет! Посиди-ка с нами. Обогрейся немного. Высохни. Предлагаю втроём нам выпить. И, поскольку закуска имеется, то немного и закусить.

И мы, разумеется, выпили. И закусили. Втроём.

А потом — говорили мы. Долго. Обо всём на свете. Втроём.

И день дождливый сменился вечером, тоже дождливым, но это ведь — там, за окном, а в комнате нашей — тепло и спокойно. И мы — говорили. Об искусстве, о жизни. И я читал в тот вечер стихи. И Зверев их слушал внимательно, и глаза его были влажными.

А гость сказал нам:

— Я счастлив, что познакомился с вами!

Ближе к ночи наш гость ушёл, унося с собою трактат о погоде, зверевский, с подписью, и мой самиздатовский сборник стихов, тоже с подписью. Был он в самом деле доволен и счастлив.

Жаль, что я позабыл, как звали нежданного нашего гостя.

Важно то, что он — был. Давно. В ту эпоху, что отшумела, вместе с ветром, с дождями, со снегом, со скитаниями, бездомными, с тем, что сердцу дорого было, вопреки неурядицам всяким и невзгодам, со всем, что выжить нам помогало, что было явью, настоящей, что сердцу дорого и сейчас, потому что в нём было главное — наше творчество, что спасало нас и хранило, если даже нам приходилось временами играть с огнём...



...Надо теперь сказать обязательно — вот о чём.

Никогда, за все бурные годы дружбы моей со Зверевым, не был я на вторых ролях.

Были с ним всегда мы — на равных.

Были мы с ним, разумеется, людьми совершенно разными.

Прежде всего — по характеру.

Конечно, по воспитанию.

По судьбам. Была у каждого из нас, что вполне понятно, и в прежние сложные годы, и особенно — по прошествии времени, то есть, сейчас, когда многое высветляется и становится даже ясным постепенно, судьба своя.

Да и как иначе? Ведь каждый был из нас, в любых обстоятельствах, и особенно в творчестве, главном в нашей жизни, самым собой.

Но что-то тянуло ко мне постоянно буйного Зверева.

И что-то, что трудно выразить, тянуло меня к нему.

Вместе — мы дополняли друг друга.

Вместе — было нам хорошо.

И вот что важно, замечу, — Зверев мне доверял.

Даже больше — Зверев мне верил.

И я ему доверял.

И абсолютно верил.

Никогда я его не разыскивал.

Нет, он сам обычно меня умудрялся, где бы я ни был, в беспокойной Москве отыскать.

Иногда — по чутью. Иногда — потому что примерно знал, где мог я в бездомные годы находиться, где обитать.

Было у нас друг к другу — уважение, и немалое.

Было у нас понимание обоюдное — кто есть кто.

Было у нас обоих самое важное — дар.

Зверев меня считал гениальным русским поэтом.

Зверева я считал гениальным русским художником.

Никогда мы этого на людях особо не афишировали.

Но мы друг о друге знали, что таких, как мы, — больше нет.

И зачем сейчас мне, седому, чудом выжившему в былую, драматичную и трагичную, героическую эпоху, и огонь, и воду прошедшему, да ещё и медные трубы, на восьмом десятке моей интереснейшей, сложной жизни, написавшему столько стихов, да и прозы, что хватит их не на мост до ясного месяца, серебряного, как говаривал о собственном творчестве Хлебников, а хватит их, полагаю, для того, чтобы запросто выйти за пределы системы солнечной, скромничать и стесняться говорить о себе самом то, что есть, действительно есть?

Я и так никуда не лезу со своими талантами всеми.

Никому себя не навязываю.

И живу — в стороне от хаоса.

Подальше от затянувшегося нынешнего как бы времени.

Да ещё и много работаю.

Зверев был — настоящим тружеником.

Несмотря на жизнь его, странную, для сограждан, и, разумеется, особенно для иностранцев, непонятную им, бестолковую, а на самом-то деле — толковую, потому что в любых условиях он работал всегда, творил.

Сам я тоже труженик. Знаю, что серьёзный и настоящий.

Слава Богу, знают об этом, и давно, мои современники.

И поэтому нам со Зверевым было что рассказать друг другу, было что показать современникам — и стихи мои прежних лет, и картинки тогдашние зверевские.

Никогда у нас не было ревности — к тому, что создал другой.

Были только, везде и всегда, — внимание и понимание.

Каждый был из нас — личностью. Вот что помнить следует всем сейчас.

Да, со Зверевым было — непросто.

Но зато — интересно. И Толе было, всюду, спокойней со мной.

Наша дружба длилась годами.

Хоть бывали и перерывы постоянно, в общении нашем.

Иногда уезжал я надолго из Москвы. Путешествовал часто. Месяцами жил у родителей, в Кривом Роге, на Украине, в нашем доме, где много работал.

А когда в Москву возвращался, находил меня Зверев — сам.

И тогда — продолжались наши приключения и скитания.

Длилось это до той поры, для меня важнейшей, когда я женился, когда у меня, наконец, семья появилась.

И скитания многолетние завершились, к счастью, тогда.

И так получилось, что видеться со Зверевым я перестал.

И он, человек умнейший, понимал, почему так вышло.

Всё ведь ясно — семья есть семья.

Появились потом у него и другие друзья. И помощники. Да и было знакомств у него предостаточно, хоть отбавляй.

Ну а годы нашей с ним дружбы — что же делать? — остались в прошлом.

Только память о них осталась. Но — какая память! Такая, что живёт — и, я твёрдо знаю, — будет жить и в грядущем, где, безусловно, мы встретимся снова, будем к этому оба готовы, и порукою в этом — слово днесь, и — верность своей звезде.



...Мы едем вдвоём со Зверевым. В такси. Как всегда. Так надо. Так Толе намного спокойнее. Так — менты не поймают на улице, не отнимут деньги последние, да вдобавок — не избьют. И, конечно же, так — удобнее, и комфортнее, это ясно и ежу, чем ехать в автобусе, или, вот уж чего не хочется, в толчее людской, где какая-то энергетика нехорошая, с запашком дурным, с едким привкусом безобразия, даже страшная, где любой к тебе может придраться ни с того ни с сего, поскандальить, оскорбить, причём — под землёй, что уже, само по себе, и ужасно, и просто дико, под землёй, в длиннющих туннелях, то грохочущих поездами, то пустых совершенно, тёмных, ехать, мучась ежесекундно, и страдая, и напрягаясь от любого взгляда, любого кем-то брошенного словца, от любого прикосновения, в непрерывном шуме и грохоте, в постоянном чередовании темноты и тусклого света, не наземного, а подземного, ехать к цели своей — на метро.

Зверев меня попросил побыть с ним рядом сегодня. Поддержать его. Потому что для него это было важно.

Помощь другу — дело святое.

Круговая порука наша в годы прежние крепкой была.

Толя за мной заехал туда, где я, подустав от бездомных брожений долгих, временно обитал.

Ворвался ко мне:

— Привет!

Я откликнулся:

— Здравствуй, Толя!

— Ты готов к походу?

— Готов.

— Ну, тогда поедem, Володя. На такси. Потому что в Гиблово у меня, в квартире моей, будет очень важная встреча. С покупателями. С грузинами. Денег нет совсем. А грузины собираются, вроде, купить, так я понял, мои картинки.

— Всё понятно. Поедем, Толя!

Мы вышли на улицу, мокрую от дождя, недавно прошедшего. Поймали такси. Сказали адрес шофёру. Вместе устроились поудобнее на заднем сиденье. Поехали.

Вначале — просто молчали.

Потом — разговаривать стали.

Перед каждой поездкой в Свиблово, или в Гиблово, как его Зверев проницательно, как оказалось через годы, потом, называл, Толя нервничал — мало ли что может в этой квартире случиться? — и поэтому был я с ним, как и прежде порою, рядом.

Ехали мы по центру столицы. Потом повернули прямо к Москве-реке.

Справа был виден дом. Кирпичный. Отчасти похожий на терем. Старой постройки. Стоящий особняком от прочих домов. Как будто специально — от них в стороне.

Зверев мотнул головой на этот кирпичный дом:

— Вот здесь всё и началось!

Я спросил его:

— Что началось?

И Зверев ответил:

— Да всё. Всё, что потом со мной вскоре произошло. По судьбе, я так полагаю. В этом доме жил Фальк. И я бывал у него нередко. Туда меня Румнев привёл. И Фальк, человек серьёзный, проникся ко мне симпатией. И работы мои тогдашние привели его сразу в восторг. Живопись он понимал. И разбирался в ней намного лучше других. И сказал он тогда, что такие художники, представляешь, как я, да, так и сказал, рождаются раз в столетие. Вот с этого всё, Володя, вскоре и началось.

Я сказал:

— Конечно же, Фальк правильно всё говорил.

Зверев, тихо:

— Думаю, правильно.

И, взглянув за стекло с дождевыми каплями, замолчал.

Мы выехали из центра.

Двигались в сторону Свиблова.

Зверев снова заговорил:

— Всё хорошее нарисовал я, и не спорь со мной понапрасну ты, Володя, до шестьдесят пятого года. Потом — была сплошная халтура.

— Ну что ты заладил, Толя? — сказал я. — Какая халтура? Сколько потом, после этого странноватого рубежа, ты сделал прекрасных вещей! Первокласных вещей. Настоящих. Ты разве забыл об этом? Нет, не забыл. И не надо себя корить и терзать, неизвестно, за что. И откуда нынче взялось такое самоуничижение? Может быть, это всего лишь ностальгия по тем, далёким, дорогим для тебя временам? Жизнь, как видишь, идёт. Продолжается. Ты в хорошей форме. И ты больше всех остальных работаешь. Пастернак говорил: поражения от побед не должен художник отличать. У тебя, согласишься, всё равно — сплошная победа. Ты жив, слава Богу. И ты — искусство своё создаёшь.

Зверев буркнул:

— Да, создаю.

Наконец мы приехали в Свиблово.

Зрелище, надо заметить, унылое. И тоскливое. Скучное. Безысходное. Бетонные серые стены. Спальный, как говорится, район. Глухой. Погребальный. Свиблово-Гиблово. Правильно Зверев его называл.

Мы выбрались из машины.

Зашли в подъезд мрачноватого, угрюмого и безликого, почти нереального дома.

Поднялись на нужный этаж.

Зверев порылся в карманах, достал ключи — и открыл скрипучую старую дверь.

Огляделся по сторонам — никого не видно, порядок.

И тогда мы зашли в квартиру.

И Зверев сразу же, резко, плотно захлопнул дверь.

Шумно вздохнул:

— Добрались!

Я подтвердил:
— Добрались.
Зверев слегка задумался.
Спросил:
— А который час?
Я взглянул на часы:
— Двенадцать.
Зверев:
— Скоро придут грузины.
Покачал головой лохматой.
Посмотрел на шкаф. На шкафу, доставая до потолка, вну-
шительной, плотной кипой, лежали его работы.
Зверев сказал:
— Я чувствую, что эти грузины, желающие мои работы ку-
пить, прямо сейчас придут!
И действительно, в дверь позвонили.
Зверев тихо сказал мне:
— Открой!
Я открыл скрипучую дверь.
И в квартиру — ввалились грузины.
Оживлённые, очень шумные.
Хорошо одетые. Свежие. Кто — с усами, кто — без усов.
Были вроде бы это киношники.
Развесёлая, в общем, компания.
Начались восклицанья, приветствия.
— Мы приехали!
— Здравствуйте, Толя!
— Мы нашли вас довольно быстро.
— Где работы? Давайте смотреть.
Зверев руки всем им пожал.
Незаметно, платком носовым, руки вытер незамедлительно.
Сунул смятый платок в карман.
И сказал тогда:
— Всем привет!

И представил меня:

— Володя Алейников. Русский поэт.

— О, поэт! — сказали грузины. — Хорошо. Мы любим поэзию.

Зверев — им:

— Вы садитесь. На стулья. На диван. Поместитесь все.

И грузины уселись, кто где. Все, как Толя сказал, разместились.

Театральная нужная пауза, незаметно образовавшись, как-то слишком уж затянулась.

И сказали грузины:

— Толя, покажите работы. Мы ждём.

Зверев к шкафу придвинул стул.

И достал со шкафа — работы.

Так, не глядя. Целую груду.

Положил их, все оптом, на стол.

И сказал грузинам:

— Смотрите!

Все работы были — на ватманской бумаге. Довольно большими по формату. И чёрно-белыми, и цветными. Все — выразительными, интересными. Разных лет.

Стали грузины бережно перебирать работы.

— О, какая вещь!

— И вот эта!

— И вот эта!

— Ах, красота!

Зверев молча смотрел на них.

Раз пришли, то пусть выбирают.

И грузины спрашивать начали.

— Сколько стоит вот эта вещь?

Зверев, коротко:

— Сто рублей.

— Мы берём. А вот эта вещь?

Зверев:

— Сто пятьдесят.

— Берём. А вот эта? И эта? И эта?

Зверев:

— Эти? По сто рублей.

— Так, берём. А вот эта, очень симпатичная акварель?

Зверев:

— Эта? Двести рублей.

— Хорошо. И эту берём.

Добрались грузины до скромного, не из лучших, рисунка.

Спросили:

— Сколько стоит?

И тут, неожиданно, Зверев молвил:

— Не продаётся.

— Почему? — зашумели грузины. — Мы готовы купить рисунок.

Зверев, твёрдо:

— Не продаётся!

Загалдели грузины дружно:

— Почему он не продаётся? Мы готовы его купить!

Зверев, с ноткой стальной:

— Нельзя!

Зашумели грузины:

— Толя, ну, пожалуйста! Ну, продайте!

Зверев сделал вид, что задумался. И сказал им:

— Это шедевр.

И грузины — переглянулись.

И воскликнули:

— Мы его купим!

Зверев этак вроде бы грустно и устало махнул рукой. И сказал им:

— Ладно. Берите.

Взволновались тогда грузины:

— Сколько стоит? Скажите, Толя!

Зверев, резко:

— Триста рублей.

Растерялись грузины:

— Толя, это всё же дороговато. Столько денег мы не найдём!

Зверев, глядя на них в упор:

— Нету денег — так не берите. Пусть шедевр у меня останется. Так спокойнее для души.

Посоветовались грузины. И воскликнули:

— Мы берём!

Зверев — им:

— Так и быть, берите.

И грузины — ему:

— Хорошо!

Зашуршали грузины деньгами.

Протянули их Звереву:

— Вот. За работы. Спасибо, Толя!

Зверев сунул деньги в карман.

И сказал грузинам:

— Хорэ!

— Что? — спросили грузины.

— Хорэ. Это значит — всё хорошо.

— Интересно, — сказали грузины. — Мы не знали такого слова.

Зверев:

— Да. Это было раньше. А теперь вы его — узнали. И словарь свой обогатили новым словом русским. Бодрит!

— Что? — спросили грузины.

— Бодрит. Всё на свете сейчас — бодрит.

— А, — сказали грузины. — Бодрит? Интересно. Пускай бодрит. Мы довольны. Берём работы.

Принялись грузины сворачивать, аккуратно, в рулон, работы.

Зашуршала бумага.

Зверев им сказал тогда:

— Осторожнее!

И грузины:

— Да мы стараемся!

И увидели, что одна акварель была чуть измятой.

И спросили:

— Как её выпрямить?

Зверев:

— Просто. Возьмите утюг. Тёплый, помните. Не горячий. И с изнанки работу прогладьте утюгом. Вот и все дела. И работа опять будет ровной.

И сказали грузины:

— Сделаем!

И сказали:

— Спасибо, Толя!

— Благодарны мы вам.

— Спасибо.

Взяли купленные работы, весь рулон. Попрощались с нами:

— До свидания!

И — ушли.

Зверев дух перевёл:

— Ну, всё! Дело сделано. Полный порядок!

Извлёк из шкафа чекушку водки. Плеснул в стаканы быстро:

— Давай дерябнем!

Выпили мы. И Зверев сказал мне:

— Спасибо, Володя!

— За что?

— За то, что был рядом. А то я изрядно нервничал.

— Если это тебе помогло сегодня, то не напрасно был я рядом. Всё хорошо.

Зверев:

— Точно. Всё хорошо.

Я спросил его:

— Слушай, Толя, почему ты рисунок, средний, согласишься-ка со мной, по уровню, оценил дороже других, тех, что были сильнее, работ?

И ответил тогда мне Зверев:

— Понимаешь, Володя, это был — театр. Абсурда, наверное. Только нужный и важный театр. Я назначил цену высокую специально. Чтобы грузины вдохновились — мол, это шедевр, как сказал я им, тоже — нарочно, чтобы этот рисунок мой, и действительно, не из лучших, так себе, среднего качества, который отдать не жалко и даром, они купили. Разыграл спектакль перед ними. И — добился ведь своего.

Я сказал ему:

— Ты и артист, и режиссёр, выходит.

Зверев, скромно:

— Я просто художник.

И сказал я:

— Да, ты — художник. Да ещё какой! Настоящий.

Зверев — мне:

— Понимаешь, зато деньги есть. Я отдам их детям. И отдам их матери. Надо мне родным своим помогать.

И сказал я:

— Ты правильно, Толя, поступаешь. Людям родным в мире нашем, весьма суровом, а нередко и слишком жестоком, надо, пусть и непросто это, несмотря ни на что, помогать.

Зверев:

— Да. Золотые слова.

Я взглянул на часы:

— Ого! Надо ехать мне. Через час у меня назначена встреча.

Зверев:

— Я подвезу тебя. На такси. Пора нам отсюда уезжать как можно скорее. Собирайся. Давай, пойдём!

И вышли мы из квартиры. И поймали такси. И уехали. Зверев — к родственникам своим. Я — на встречу, довольно важную для меня. Решили, что вскоре мы увидимся вновь. И действительно, мы встретились, дня через два.

Дружба — есть на Руси. Была? Там, в минувшем, осталась? Нет. Продолжается. И живёт. Ясным светом и днесь исцеляет.



...Может быть, кажется некоторым нынешним, новым людям, живущим в новом столетии, с его новизной повальной, но не всеильной вовсе, а порой и весьма сомнительной, что я воспеваю прошлое, наше, не чьё-нибудь прошлое, именно наше, кровное, трудное, дорогое для всех нас, людей, которые родом из этого прошлого, с какой-то чрезмерной патетикой, хлещущей через край, с каким-то восторгом, что ли, с изумлением перед тем, что пришлось пережить нам когда-то, с изумлением запоздалым человека, всё-таки выжившего и сумевшего, пусть и по-своему, да, конечно, именно так, и никак иначе, поскольку был всегда я самым собою, рассказать об этом сейчас?

Если кажется — пусть перекрестятся.

И — подумают хорошенько.

Что они, люди новые, знают о былом? Да почти ничего.

Что-нибудь по верхам? Возможно.

Или просто слышали звон, да не ведают, где он когда-то раздавался и где звучал этот колокол дальний в тумане?

Из другого теста они. И другой закваски, уж точно.

Из другой, совсем непохожей на былую, нашу, эпохи.

Ну, так, может быть, подоспело время им узнать нас лучше?

Не пора ли понять им нынче, что жива извечная связь между прежней эпохой и нынешней, что незримую нитью тянется к ним от нас нечто самое важное для искусства, да и для жизни, что горение наше давнее стало в новом столетье сиянием, пережившим все беды и горести, победившем и утвердившимся в мире, сложном, но и прекрасном, и оставшимся навсегда?

Всё когда-нибудь образуется.

Балаболышки — образуются.

Псевдоумники — станут скромнее.

Ну а неучи — те пусть учатся.

Им ещё предостойт намучаться.
Важен — путь. Ну так чей — вернее?
Важен — свой, незаёмный путь.
Если быть — то самим собою.
Со своею дружить судьбою.
Не страшиться невзгод ничуть.
Важен — путь. За которым — суть.
Смысл пути — прояснится позже.
Все мы — люди. Все — непохожи.
Остаётся — опять вздохнуть.
Остаётся — поверить вновь.
В то, что есть для юдоли — силы.
Это — есть. Да и прежде — было.
Это — явь. Вот и вся любовь.

Не следует думать, что я сочиняю, в честь Толи Зверева,
этакую громогласную, в державинском духе, оду.

Никакая это не ода.
Это — правда. И в ней — свобода.
Есть в ней, впрочем, дыхание мифа.
Но бывшее — подобье рифа.
Или даже — скалы подводной.
Нет преград для речи свободной.
Что ей риф и скала? Пустяк!
Не мешают — ни в чём, никак.
В мифологии — что же в ней?
Подоплёка минувших дней.
Верить следует ей всегда.
Есть над нами её звезда.
И её герои — вот здесь.
Перед нами. И встарь, и днесь.

Не следует думать, что я перебарщиваю с какими-то выразительными деталями, и тем более — с обобщениями.

Нет, я часто, из деликатности, из привычной, врождённой скромности, из понятного нежелания фантазировать наобум, потому что реальность выше и сильнее любых фантазий, потому что я всё это пережил, даже сдерживаю себя.

И срабатывает, конечно, чувство меры. Она важна. И нужна. Она позарез, вы поймите, необходима. И она, эта мера, — есть. С ней слышней — из былого весть.

Далеко не всё говорю я в этой книге, что разрастается, словно дерево (корни — вверх, к небесам, а крона — к земле, неизменно следуя Ведам), о героях своих, о людях, тех, с которыми я дружил в круговерти былой эпохи, людях творческих, непростых, даже сложных, непредсказуемых, одарённых, очень талантливых, а порою и гениальных.

Эта книга — проза поэта.

В ней на каждой странице — поэзия.

В каждой фразе. И в слове каждом.

В этом — весь я. Такой, как есть.

Я и сам — легенда. Живая.

Так меня давно называют.

Я и сам ведь — в числе основных, как считают нынче, героев андеграунда нашего, русского, а похожего в мире — нет.

И поэтому — мне виднее, как писать и о чём писать.

И поэтому — только часть из того, что помню и знаю, открываю я вам сейчас, люди новой эпохи, возможные, так скажу я, мои читатели, только малую часть. Остальное — подождёт. До нужного времени. А потом — придёт его час.

Так решил я. С нас — не убудет. С нас — и тех, кого уже нет, и живых. Тех, что встарь создавали, да и создали, вот что главное, вот в чём радость, искусство новое, да и новую литературу. С нас, которым судьба сулила быть везде и всегда — собой. С нас, которые, так уж вышло, были всюду дружны с судьбой.

С той судьбой, что, средь звёзд и терний, в каждый день нас вела, как в бой.



...Когда-то — ну и зачин! — да что же поделать, если действительно это было, как ни крути, — когда-то.

Когда-то, в семидесятых, обитал я, конечно, временно, сколько-то дней всего, у хороших людей, которые приютили меня у себя, на Грайвороновской улице.

Грай вороный — вроде бы не был слышен на этой улице.

Зато тишины в квартире, когда уходили хозяева на работу, меня оставляя совсем одного, в пустоватой, холодноватой комнате, было — хоть отбавляй.

Тишины — одиночества. Долгого. Сросшегося со мной.

Тишины — с которой смиряться приходилось мне каждый день, из нескольких дней, проведённых на Грайвороновской улице.

Залетал в открытую форточку сырой, беспокойный ветер.

Будоражил меня. Потом — улетал куда-то обратно.

И тишина — въедалась в сознание, проникала в мысли, томила, мучила, изувёрски меня раздражала.

Вроде бы раньше я любил тишину — но сейчас она, довлея над временем, идущим слишком уж медленно, сгущаясь над головой, нависая над всеми сложностями жизни моей невесёлой, становилась невыносимой.

Никто не звонил мне. И я никому не звонил. Зачем? Кому я что-то скажу хорошее? Чем порадую знакомых? Нечем их радовать. Лучше — перетерпеть. Лучше — выстоять сызнова мне. Как и прежде — просто держаться.

Вот и держался. Выстаивал.

Это ведь — не впервой.

Многому научила меня бездомная жизнь.

Она затянулась надолго.

Было в ней мало толку?

Нет, предостаточно. Смысла — тоже, хоть отбавляй.

Закалка была — суровой.

Испытаний на прочность, неожиданных, непредвиденных, постоянных, неизбежных и окаянных, было столько, что несть им числа.

Но судьба — меня берегла.

Передышки давала мне. И возможности отдышаться, постепенно прийти в себя, чтобы с новыми силами дальше уходить в горнило скитаний, в завихренье ненастных дней.

И поэтому дорожил я вот такими, на время, пристанищами, как эта квартира тихая на Грайвороновской улице.

Хозяева мне оставили много бумаги — рулоны помятые, с чертежами, с какими-то мелкими цифрами.

Наверное думали — стану что-нибудь я писать.

Но стал я тогда — рисовать.

День за днём — рисовал, рисовал.

И лежали груды рисунков — на столе, на полу, везде.

Ну а я — продолжал рисовать.

В чём спасение? Только в творчестве.

И — защита, от лютой, гнетущей, как туман, день за днём, тишины.

И рисунки ведь получались — интересными. Понимал я: эти серии — выражение всех моих одиноких дней.

И однажды утром раздался в дверь квартиры — громкий звонок.

Я открыл тяжёлую дверь.

На пороге стоял — Толя Зверев.

И воскликнул я:

— Толя! Ты?

Зверев:

— Я!

— Как меня ты нашёл?

— Сколько раз ты мне задавал этот странный вопрос? Нашёл.

— Проходи.

— Прохожу.

— Сюда. Здесь живу я. Вот в этой комнате.

— Вижу.

Зверев присел на стул. Огляделся вокруг. Увидел сразу груды рисунков моих.

И спросил, для порядка:

— Твои?

— Да.

— Хочу посмотреть.

— Смотри.

Зверев долго смотрел рисунки.

И сказал:

— Послушай, Володя! Ты меня порадовал нынче. Всё — твоё в рисунках. Узнать их можно будет за километр.

Я ответил:

— Спасибо, Толя!

— Из спасибо, — сказал мне Зверев, — шубу, помни, мой друг, не сошьёшь.

И стал выбирать рисунки, один за другим, так быстро, что руки его мелькали стремительно, как у факира, выхватывая листы и складывая их в сторонке, — и вскоре образовалась изрядная стопка рисунков.

И Зверев сказал:

— Ну, хватит.

Я спросил:

— Зачем ты их выбрал?

И Зверев сказал:

— Собирайся. Поедем с тобой к Стивенсонихе. Буду я там работать. А рисунки твои — берём с собой. Подарим хозяйке. Надо тебя рекламировать. Она их охотно возьмёт.

Сказал я:

— Ладно, поедем.

Быстро собрался. Мы вышли из квартиры вдвоём. Рисунки Зверев свернул в рулон и сунул себе под мышку.

На улице, по традиции, Зверев поймал такси.

И с улицы Грайвороновской мы поехали в центр Москвы.

Стивенсониха — то есть известная Нина Андреевна Стивенс — встретила нас радушно в своём, отдельном, внушительном, собственном, вопреки большому вопросу квартирному, испортившему москвичей, существующем особняке.

Стройная, крепкая дама.

Уверенная в себе.

Молодящаяся — слегка.

Хозяйка особняка.

В Гагаринском переулке.

Не где-нибудь на окраине, а в самом центре столицы.

Я подумал: «Небось казачка. Есть в ней эта порода, есть!»

Фамилия Нины Стивенс, девичья, была — Бондаренко.

И родом, насколько я помню, была она из Оренбурга.

Так что была она, скорее всего, казачкой.

Вроде, была она в юности пламенной комсомолкой. Но жизнь её изменилась, когда она вышла замуж за Эдмунда Стивенса, крупного журналиста американского, поселившегося в Москве на долгие годы, вместе с русской своей женой. И стала она, со временем, проявлять интерес немалый, постепенно всё возрастающий, к творчеству наших художников, авангардных, подпольных, так можно сказать об этой странноватой и колоритной, притягательной, пёстрой братии, независимой, бурной, пьющей, но при этом работоспособной, не имеющей никакого отношения к официозу, разрастающейся непрерывно и ряды свои пополняющей, вопреки запретам и сложностям всей советской тогдашней жизни. И стала она общаться и даже дружить вот с этими художниками. И стала работы их покупать. И даже стала она работы их выставлять — не в Союзе, а за границей. И её особняк стал известным местом встреч и сборищ богемных. И сама она тоже стала одной из самых известных в нашей древней столице дам. И к ней, хозяйке чудесного московского особняка, жене журналиста Стивенса, собирательнице авангардной живописи

и графики, статной, прекрасно одетой, с манерами аристократки, вышедшей из простых, рядовых советских людей, и поэтому демократичной со всеми, порой по-простецки, но со значением, знай, мол, наших, помни об этом, ведущей себя с гостями, приехали мы со Зверевым.

— Здравствуй, Толя! — сказала приветливо Нина Стивенс, — ну вот и встретились наконец! Я рада тебе.

Зверев ей представил меня:

— Познакомься. Это Володя Алейников. Друг мой хороший. Гениальный русский поэт.

Нина Стивенс — приветливо — мне:

— Я знаю о вас. И даже читала ваши стихи. Рада видеть вас у себя.

Я — в ответ — ей:

— Что ж, я тоже рад.

Нина Стивенс, широким жестом:

— Проходите в дом, проходите!

Мы зашли в особняк. Оказались в светлой, чистой, просторной комнате.

Нина Стивенс спросила Зверева:

— Толя, что у тебя за рулон?

Зверев:

— Это рисунки Володины. Он поэт, и все это знают. Но ещё и хороший художник. Даже очень хороший, поверь.

Нина Стивенс:

— Как интересно!

Зверев — ей:

— Вот рисунки. Бери.

Нина Стивенс:

— Я посмотрю?

Зверев — ей:

— Посмотри, конечно!

Нина Стивенс тут же, немедленно, посмотрела рисунки. Сказала:

— Да, рисунки очень хорошие.

Зверев:

— Это тебе. В подарок.

Нина Стивенс:

— Правда? Спасибо!

Зверев — ей:

— Пусть рисунки будут у тебя. Они тебе, знаю, пригодятся ещё, потом.

Нина Стивенс — мне:

— Значит, это в самом деле подарок? Ваш? Так, Володя?

И я сказал ей:

— Ну конечно, подарок. Берите!

Нина Стивенс:

— Благодарю!

И взяла рулон. Унесла его, просияв, улыбаясь, куда-то.

Мы со Зверевым закурили.

Хорошо здесь. Просторно, тепло.

Нина Стивенс вернулась:

— Толя! Будешь ты рисовать сегодня?

Зверев:

— Буду. Ведь я обещал.

Нина Стивенс — ему:

— Смотри!

И широким, свободным жестом показала на стол, где лежали коробки, большие, пёстрые, с заграничной, такой и не сыщешь днём с огнём у нас, акварелью, и, на выбор, кисти различные, заграничные тоже, и плотная, самых лучших сортов, бумага.

Нина Стивенс — Звереву:

— Толя, это всё — для тебя. Для работы.

Почему-то Зверев поморщился. И насупился. Помрачнел.

Я взглянул на него удивлённо.

Не вошла, а впорхнула в комнату нарядная девочка, маленькая, весёлая:

— Здравствуйте, дяди!

Мы ответили, вместе:

— Здравствуй!

Нина Стивенс — Звереву:

— Толя, вот её будешь ты рисовать!

Зверев:

— Нечем её рисовать!

Нина Стивенс:

— Как это — нечем? Акварель, и бумага, и кисти — на столе!

Это всё — для тебя!

Зверев:

— Нет, мне нужна другая акварель.

Нина Стивенс:

— Какая?

Зверев:

— Мне нужна акварель — моя. Та, которой привык я работать. Та, простая, твёрдая. Школьная. Та, дешёвая акварель.

Нина Стивенс:

— Но где её взять?

Зверев — ей:

— Акварель мы найдём! Где найдём? В магазине. Ближайшем.

Нина Стивенс:

— Чудишь ты, Толя!

Зверев:

— Нет! Чудить и не думаю. Мне нужна моя акварель. Не какая-нибудь, а моя. Та, которую я люблю. Понимаешь? Моя, родная.

Нина Стивенс:

— Ох, Толя, Толя!

Зверев — мне:

— Володя, пойдём! Акварель мою — мы найдём!

Я сказал:

— Если надо — пойдём.

Зверев:

— Нина, мы скоро вернёмся!

И — стремительно ринулся к выходу.

И пришлось мне идти за ним.

На улице Зверев быстро огляделся. Сказал:

— Туда! Там, я помню, есть магазинчик. Называется — канц-
товары. Там найдём акварель мою.

Мы прибавили ходу. И вскоре оказались уже в магазине.

И действительно, там продавалась необходимая Звереву
школьная акварель.

Зверев бросился к продавщице:

— Три коробки — вот этой, школьной, акварели. Да поскорей!

Продавщица сказала:

— Пожалуйста!

Зверев мелочь извлёк из кармана. Заплатил ей — за аква-
рель. Сунул все три коробки в карман. И воскликнул:

— Вперёд, Володя!

Мы вернулись, с покупкой, обратно в особняк Нины Стивенс,
отдельно от окрестных построек стоящий, независимо и спо-
койно, словно всем своим видом, особенным, не советским сов-
сем, неприступным для людей чужих, любопытных, говоря-
щий — мол, что ему, крепкому, как орешек, и время, и власти,
если вот он, стоит себе, в центре этой древней столицы, годами,
нерушимо, сам по себе.

Нина Стивенс встретила нас:

— Быстро вы. Что, нашли акварель?

Зверев — ей:

— Конечно, нашли!

Нина Стивенс:

— Будешь работать?

Зверев:

— Буду. Вперёд! Бодрит!

И чудесная девочка маленькая появилась, как светлая фея, перед нами вновь, чтобы Звереву, для портрета, сейчас позировать.

Зверев:

— Миска с водой нужна!

Нина Стивенс:

— Понятно. Сейчас.

Принесла глубокую миску, наполненную водой.

Поставила миску на стол.

Зверев — девочке:

— Слушай, красавица! Ты сиди — и смотри на меня. Буду я тебя рисовать.

Нина Стивенс:

— Увековечишь?

Зверев:

— Точно. Увековечу.

Он открыл сразу все три коробки с акварелью школьной. Швырнул плитки твёрдые красок в миску с расплескавшейся вмиг водой. Размешал эти плитки, растёр, словно кашу готовил, в миске. Разноцветной стала вода.

Он смахнул со стола все кисти — кроме самой широкой, одной, и проверил её на прочность, и зажал её в кулаке.

Он убрал со стола коробки с заграничной, ненужной ему, пусть и качественной, но чужой, не родной совсем акварелью.

Он сбросил на пол бумагу, приготовленную для работы.

И оставил — один-единственный, приглянувшийся почему-то, лист бумаги, пока ещё — белый, не заполненный красками, чистый.

Он вгляделся в девочку-фею.

И сказал ей властно:

— Сидеть!

И ответила девочка:

— Да.

И тогда — Зверев начал работать.

Всё мелькало, кружилось, падало и взлетало в его руках — акварель, и кисть, и бумага, и расплёснутая вода.

Он из миски цепко выхватывал размягчённые плитки школьной акварели — и тыкал ими, резко, точно, быстро, — в бумагу.

Он размахивал кистью широкой — и водил ею, тоже быстро, и прицельно, и артистично, по листу бумаги, который, под неслыханным натиском зверевским, начинал уже оживать.

Он был весь — в синкопическом, джазовом, так сказать мне хочется, ритме.

Он работал. Был весь — в работе.

Он — портрет создавал. Творил.

Наконец он шумно вздохнул.

Поглядел на работу свежую.

И сказал усталое:

— Всё!..

Распрямился. И улыбнулся.

И добавил, с достоинством:

— Есть!

Подбежала девочка-фея.

Посмотрела портрет:

— Это я!

Зверев — ей:

— Ну конечно, ты!

Подошла Нина Стивенс. Взглянула на портрет:

— Толя, это шедевр.

Зверев:

— Пусть поначалу высохнет. Он ещё станет лучше — потом.

Нина Стивенс:

— Ох, Толя, Толя! Ты волшебник.

Девочка:

— Правда? Он волшебник?

Я:

— Да. Это правда.

Нина Стивенс:

— Он чародей!

И сказала девочка-фея:

— Дядя Толя, сделайте чудо!

Зверев — ей:

— Ну, это я запросто!

Помахал волшебной рукой — и достал, неизвестно, откуда, из-за пазухи, может, а может быть, из кармана, откуда — неважно, просто взял и достал — шоколадку.

Протянул её девочке:

— Вот!

И сказала девочка:

— Ой! Это чудо. Люблю шоколадки.

Нина Стивенс:

— Чудо — портрет.

Зверев:

— Вырастет — всё поймёт. Без подсказок. И без шоколадок.

Всё поймёт, я знаю. Сама.

Нина Стивенс:

— Надеюсь, поймёт.

Зверев — ей:

— Я устал, похоже.

Нина Стивенс:

— Вот деньги, Толя. За портрет отличный. Держи!

Зверев деньги, не глядя, взял и засунул, поглубже, за пазуху.

Пробурчал привычно:

— Хорэ!

Нина Стивенс — обоим нам, улыбаясь:

— Хотите выпить?

Я сказал ей:

— Спасибо. Нет.

Зверев:

— Нет, не хочу. Совсем.

Нина Стивенс:

— Ну, как хотите.

Зверев — ей:

— Мы пойдём. Бывай!

Нина Стивенс — нам:

— До свидания!

Зверев — ей:

— До встречи. Пока!

Я:

— Всего вам самого доброго!

И покинули мы особняк стивенсоновых, в центре столицы горделиво стоящий, личный. Тот, в котором есть, в наше время, или, лучше сказать, безвременье, как ни странно, закономерные, потому что связаны с творчеством, всевозможные чудеса.

Зверев — мне:

— Мы опять на воле!

Я ответил:

— Пожалуй, Толя!

Зверев, горестно:

— Выпить, что ли?

Я сказал:

— Да лучше — не пить.

Зверев:

— Правильно. Перебьёмся.

Я:

— Давай-ка сейчас пройдемся.

Зверев:

— Свежим подышим воздухом.

Я:

— Не знаю, как дальше мне быть.

Зверев:

— Как это?

Я:

— С Грайвороновской я ушёл. Не хочу там больше оставаться. Уже неловко. И ключа от квартиры нет у меня. Так что снова придётся мне искать сегодня ночлег.

Зверев:

— Что-нибудь да придумаем!

Я:

— Наверное. Дай-то Бог!..

День вставал впереди — с загадками. Или — с тайнами. Не случайными. С чудесами. Давно привычными. С необычными — иногда. Может, будет ночлег. А может быть, и не будет. Неужто всё-таки, дорогим, сквозь разные сложности, станет прошлое — навсегда?..



...Над Москвой — ненастное небо. Нависающее над нами всю тяжестью влажной своею, то седое совсем, то свинцовое, но дождём пролиться готовое на районы столичные хмурые, на людей, спешащих куда-то, по делам, или просто идущих, не спеша, неизвестно, куда и зачем, на крыши домов, на деревья в скверах окрестных, на машины, шуршащие шинами по шоссе, на всё и на всех, здесь, в огромном и грустном мире, городском, со своим укладом, со своими законами странными и понятиями старинными, то приветливым, то неприветливым или даже, порой, враждебным, то распахнутом всем навстречу, то закрытом от всех, глухом к надоевшим ему вопросам, заставляющим думать сразу о хорошем и о плохом, то лучащимся добротой, непривычной и непростою, то на помощь стремящимся вдруг, но всегда, неизменно, разным, деловым, бестолковым, праздным, удивляющим тем, что жив, несмотря на любые беды, на невзгоды, и все победы никогда, ни разу, не скрыв, продолжающим — быть, и в этом есть родство, на века, со светом, не случайно ведь встарь воспетым, да и нынче, хвала поэтам, нет им смысла душой кривить, и нельзя его, этот город притягательный, не любить.

Зверев поднял глаза:

— Володя, день какой сегодня у нас?

Я ответил ему:

— Понедельник.

— Понедельник! — воскликнул Зверев. — Ну, конечно же. Едем к Пинскому!

Я спросил его:

— Но зачем?

— Понимаешь, — ответил Зверев, — понедельник — особый день. В понедельник я езжу к Пинскому. Постоянно езжу. Так надо. В понедельник Пинский, запомни, каждый раз выдаёт мне десятку. Выдаёт аккуратно, всегда. За мои картинки, понятно. У него их, в его квартире, целый склад. Продаёт их Пинский, помаленьку. И выдаёт мне десятки, по понедельникам. Называется это — на жизнь. Или, можно сказать, — на питание. На кормёжку, если попроще говорить. Благодетель такой. Для меня это — вроде игры. Проезжаю к нему в понедельник. Получаю десятку. Беседую с ним, о жизни и об искусстве. Человек он весьма интересный. Пожилой. Сидел в лагерях. Образованный. Даже очень. Филолог. Знаток Возрождения серьёзный. Шекспировед. Пишет книги свои. Помогает, в меру сил своих и возможностей, он не только мне, — между прочим, Ерофееву Вене он помогает, я это знаю. Может, станет он помогать и тебе? Почему бы и нет? Почитаешь ему стихи. Он, я думаю, их поймёт. И решит и тебе помогать. Раз в неделю. По понедельникам. По десятке начнёт выдавать. А десятка тебе, Володя, очень даже не помешает, согласишься. Поехали к Пинскому! Время дорого. Собирайся!

Я сказал тогда:

— Кто такой Леонид Ефимович Пинский, мне известно, уже давно. Он дружен с Оскаром Рабиным, с лианозовцами. Сапгир мне рассказывал часто о нём. Он Бахтину помогал с изданием монографии о Рабле. Человек он смелый. За Синявского с Даниэлем заступался. Галича знал. О богеме нашей имеет, пусть и выборочно, представление. И тебе помогает, по-своему. Говорил мне Дима Борисов, что работы твои купить, по тридцать

рублей, за любую, при желании, можно у Пинского. И поэзию он понимает, безусловно. Можно, пожалуй, познакомиться нынче с Пинским. Так и быть. Хорошо, поедем.

За минуту собрался. Накинул куртку старую. Взял свой портфель.

Мы со Зверевым вышли на улицу.

Хоть и жаждал Толя сегодня получить десятку от Пинского, но какие-то деньги были у него, как всегда, — и поэтому он рукой помахал у обочины и привычно поймал такси.

Мы вдвоём поехали к Пинскому.

И — приехали. Встретил нас пожилой человек в прихожей, невысокий, бледный, спокойный, поздоровался с нами приветливо. Пригласил к себе в кабинет. Сел за стол. Посмотрел на нас наблюдательным, цепким взглядом.

Зверев — Пинскому:

— Познакомьтесь. Это друг мой, Володя Алейников. Между прочим, не просто хороший, или даже отличный, что, в общем-то, замечательно, я не спорю, но, заметить хочу сейчас и желаю сказать вам это, гениальный русский поэт.

Пинский — мне:

— Леонид Ефимович!

Я:

— Володя!

Пинский:

— Я рад. Я давно уже знаю о вас.

Я:

— Серьёзно? Очень приятно.

Пинский — мне:

— Ну конечно, серьёзно. И читал я ваши стихи.

Я:

— Понравились?

Пинский:

— Да.

Зверев:

— Вот и прекрасно. Хорэ!

Пинский:

— Толя, возьмите деньги!

Приоткрыл он ящик стола. В нём лежала стопка купюр. Он достал из неё десятку. Протянул её Звереву:

— Вот!

Зверев взял десятку:

— Спасибо! По-французски будет — мерси. Мы приехали к вам на такси. По-немецки будет — а ну-ка, дайте вспомнить мне — данке шён. Кто чего-то в жизни лишён? А по-русски будет — ну как? Не забыли совсем? Благодарствую!

Пинский:

— Толя, вы пейте поменьше. Берегите себя. Питайтесь по-нормальнее, регулярно, каждый день. Вам ведь надо работать. А для этого силы нужны.

Зверев сунул десятку в карман. И сказал:

— Хорошо. Постараюсь.

Пинский ящик стола закрыл. Посмотрел на нас дружелюбно.

Зверев хрюкнул — и закурил.

Я тогда огляделся вокруг.

И увидел, что треть кабинета занимали работы зверевские, окантованные, под стеклом, на полу рядами стоящие.

Я спросил у Пинского:

— Можно посмотреть?

Он сказал:

— Смотрите!

Часть работ посмотрел я. И понял — были вещи там перво-классные. Удивила меня вариация портрета известного Гейнсборо — дамы с пышными, голубыми, башней поднятыми волосами, сделанная акварелью. Был ещё там великолепный, выразительный автопортрет — в рубашке, пронзительно белой, с распахнутым воротом, Зверев смотрел изумлённо на мир.

Зверев — мне:

— Что скажешь, Володя?

И сказал я:

— Работы сильные.

Зверев:

— То-то!

Пинский:

— Володя, почитайте свои стихи.

Я:

— Сейчас?

Пинский:

— Да, сейчас.

Зверев — мне:

— Почитай, Володя!

Я сказал:

— Хорошо, почитаю.

Зверев — рядом сидел, на стуле.

Ну а Пинский, желающий слушать стихи мои прямо сейчас, сидел напротив меня, за столом. Над его головой, на стене с обоями блёклыми, одиноко висела ранняя работа Оскара Рабина — скособоченный старый барак.

У другой стены, на полу, громоздились работы Зверева.

Пинский взглянул на меня своими немного выпученными, из-под нависших век и мохнатых бровей глядящими, усталыми, но внимательными, с огоньком интереса, глазами:

— Володя, читайте, читайте!

Я встал тогда — и почитал те, что вспомнились мне, стихи.

Читал, как всегда, глаза прикрыв, отрешившись от всех, словно в трансе. Читал — как пел.

Наконец, закончил читать.

Пинский, сразу:

— Стихи отличные!

Я:

— Спасибо. Рад, что понравились.

Пинский — мне:

— Володя, вы можете принести мне стихи, да побольше, на машинке перепечатанные?

Я:

— Попробую. Нет машинки, к сожалению, у меня. Но какой-нибудь сборник мой самиздатовский, я надеюсь, у знакомых моих найдётся. Там, где я бумаги свои на хранение оставлял.

Пинский — мне:

— У вас нет жилья?

Я:

— Бездомничаю. Так вышло. Ничего. Я уже привык.

Пинский:

— Так... Стихи — приносите. Я попробую вам помочь с публикацией. Может, получится. Обещать ничего не стану. Потому что не так это просто. Но надеяться — можно всегда. А сейчас — подождите-ка. Вот...

Отодвинул он ящик стола.

И достал оттуда — десятку.

Протянул мне:

— Возьмите, Володя. Пригодится это, на жизнь. Приходите ко мне иногда. Буду вам помогать, деньгами. Понемногу. Ну а стихи — приносите, да поскорей.

Взял десятку тогда я:

— Спасибо.

Пинский:

— Не за что. Приходите.

Зверев:

— Ну, Леонид Ефимович, мы пойдём!

Пинский:

— Что, пора?

Зверев:

— Именно. Нам пора!

Пинский:

— Что же, пора так пора. Навещайте меня. Буду рад.

Попрощались мы с Пинским. И вышли из квартиры тихой — на улицу.

Зверев — мне:

— Вот видишь, Володя, будет Пинский тебе помогать. Как и мне. И десятка тебе очень даже не помешает. Это всё-таки деньги. На них можно выпить и закусить. Или несколько раз поесть, где-нибудь, в обычной столовой. А стихи — разыщи ты. И Пинскому принеси их, как можно скорее. Вдруг поможет их напечатать? У него ведь большие связи. Уважают его везде. Человек он, в общем-то, добрый. Навидался всякого в жизни. Но сумел уцелеть. Учёный он серьёзный, это уж точно. Помогает людям талантливым выживать в наше трудное время. Так что — честь ему и хвала!

Мы потом куда-то поехали. Где-то были. В каком-то доме. У кого? И зачем? Кто знает! Всё равно. Разве вспомнишь теперь!

Столько было визитов этих непредвиденных, безоглядных, и ночных посиделок долгих, и надежд, и частых потерь!

Всё в тумане былого скрыто.

Это нитками белыми шито.

Может, где-то была защита.

Ну а где-то был и ночлег.

Вспоминать всё подряд — не надо.

Хорошо, что были нам рады.

Иногда. Но и в том — отрада.

Свет маячный. Желанный брег.

...Раза два приезжал я к Пинскому. Он вручал мне тогда — десятку. Говорил со мною — о жизни, о поэзии. Был со мной неизменно приветлив, добр. И светились в его глазах — и внимание, и понимание. И звучали в его словах — и сочувствие, и участие. И таким я запомнил его.

Я привёз ему сборник стихов, самиздатовский, машинописный.

Пинский взял его. Полистал. И сказал мне:

— Буду читать. Покажу стихи кое-кому. И посмотрим потом, что выйдет.

И прошёл, наверное, месяц.

Позвонил я Пинскому. Он мне сказал:

— Приезжайте, Володя!

И тогда я приехал к нему.

Пинский сборник мой самиздатовский из стола достал. И сказал:

— Ничего не выходит, Володя! Я пытался помочь, но — увы... Не хотят они вас издавать. Вам, надеюсь, ясно сейчас, что «они» — это те, наверху. Те, которые ныне у власти. В том числе, и в среде писательской. Почему — непонятно. Хотя догадаться можно, пожалуй. Из-за СМОГа, в первую очередь. Из-за ваших, пусть и не частых, публикаций стихов за границей. В зарубежных разных изданиях. Из-за вашей, такой очевидной, непохожести на советских стихотворцев. Из-за того, что поэт вы очень серьёзный, настоящий. Из-за того, что не станете вы идти на какие-то компромиссы. А уж в этом, поверьте, я ни секунды не сомневаюсь. Так что время для публикаций ваших, здесь, в отечестве нашем, как ни грустно мне говорить вам об этом, ещё не пришло. И поэтому надо ждать просветления, там, в грядущем, в жизни общества и в политике. И тогда, я уверен, будут вас на родине издавать. Вы работайте, вы пишите. И — мужайтесь. Вам надо выстоять. Всё равно вы уже состоялись, как поэт, и довольно давно. Всё равно вы такой, как есть. В самиздате вас любили и знают. И поклонников много у вас. Так что вы — уже победили. А невзгоды вас не сломают ни за что. Вас они закалят. Жизнь сурова, что тут поделаешь. Но зато ведь и хороша. Вы об этом прекрасно знаете. И когда-нибудь всё у вас наилучшим образом сложится. И спасёт вас именно творчество. И никто вас не остановит, не заставит идти на попятную. Всё равно вы вперёд идёте. А куда же ещё вам идти? Вы — поэт, и всё этим сказано. Всё равно — вы на верном пути!..

Взял я сборник свой самиздатовский.

И сказал:

— Да, я всё понимаю хорошо. Я пойду. Мне пора.

Пинский — мне:

— Но возьмите деньги! Пригодятся. Ещё приходите. Буду вам и впредь помогать.

Я сказал:

— Нет, денег не надо!

И простился с Пинским. И вышел, из квартиры тихой, в пространство. Там я был — на верном пути.

Не в моих это правилах — быть от кого-то зависимым, нет. И навязываться ни к кому, никогда, ни за что, я не стану.

Как живу я, так и живу.

Никого ни о чём не прошу.

Я такой, какой есть. Алейников.

Независимый человек.

Что важно для меня? Свобода.

Был всегда я — сам по себе.

И таким — навсегда останусь.

Неизменно — самим собою.

Налетевший внезапно ветер прошумел вдоль улицы. Небо помрачнело, потом — посветлело. Стало близким, ясным, вы-соким. Облака исчезли куда-то. Различил я звезду над собой.

Значит, в путь! Всё дальше и дальше.

Надо выстоять. Надо держаться.

Несмотря ни на что. Упрямо.

И дано мне это — судьбой...



...В семьдесят пятом году.

В тёплую пору, когда людей столичных, изрядно стосковавшихся, в месяцы прежние, по солнцу, доброму, щедрому, радовала природа свободным своим цветением и зеленью новой

своей в окрестных парках и скверах, и люди, на солнышке щурясь, незаметно, неудержимо, становились и сами светлее, и легче им было дышать, и птицы повсюду пели о том, что выжить сумели, о том, что спеть не успели, но могут всё наверстать сейчас, и ветер весёлый, хмельной, летал над столицей, и всё, что встарь небылицей казалось, легко и просто уже превращалось в новь, и явь становилась былью, и всех чудес изобилие, как свет, проникало в кровь.

Наверное, в самом конце бурной этой весны.

Или в самом начале желанного для всех нас, нового лета.

Позвонил мне однажды Зверев.

Как нашёл меня? Как всегда.

По чутью своему, звериному.

— Алё! Это я. Привет! Приглашаю тебя на обед.

— Куда?

— К одному писателю. Советскому. Это так, для справки. Но человек он, так я думаю, вроде хороший. Собирает мои картины. Покупает их иногда. Я решил, что тебе, как следует, надо поесть. Да и мне тоже не помешает. Повидаемся снова. А то мы давненько с тобой не виделись. Придёшь?

— Хорошо, приду.

— Тогда записывай адрес.

И Зверев продиктовал мне этот писательский адрес.

Я спросил его:

— Толя, скажи мне, можно с дамой туда прийти?

Зверев хмыкнул:

— Что, дама голодная? Как и ты?

Я сказал:

— Конечно. А ещё — ей будет приятно познакомиться там с тобой.

Зверев хрюкнул:

— Да пусть приходит. Можно, раз уж она — с тобой. А еды там хватит на всех. Жду обоих вас. Ну, до встречи!

В нужный день, в нужный час я приехал, вместе с дамой, к писателю этому, не припомню, как звали его, но, как Зверев сказал, советскому.

Разыскали мы, пусть и с трудом, на окраине, блочный дом. Перед ним — пустырь. А подальше — симпатичный, густой лесок.

Поднялись на нужный этаж. Позвонили несколько раз.

Дверь открыл нам — советский писатель.

Невысокий. Почти невзрачный. Но — приветливый. И весёлый.

— Заходите, друзья, заходите!

Мы зашли в небольшую квартиру. Двухкомнатную. А может, и трёхкомнатную. Но — компактную. С невысокими потолками. Как и сам советский писатель.

Навстречу нам ринулся Зверев:

— Приехали? Ну, хорэ!

Я сказал:

— Добрались. Нашли.

Зверев, щуря пристально глаз:

— Это дама твоя?

— Как видишь!

Зверев, глядя в упор:

— Хороша!

Дама в самом деле была не хорошенькой, а красивой. Стройная, словно воздушная. Длинные тёмные волосы. Не голубые, а синие, магнетически притягательные, искрящиеся глаза. Лёгкое платьице ситцевое казалось на ней нарядом загадочной сказочной феи. Да и тайна в даме была. Но ещё и тяга к мистичности. Это было модным тогда, в середине семидесятых. Но мистичность в даме не просто увлечением модным была, а её сокровенной сутью. Позже я убедился в этом. А пока что я принимал всю её, со всеми загадками, недомолвками, откровениями неожиданными, туманными, иногда, но чаще — пронзительно, удивительно ясными, с явной ирреальностью, но и действительно, как ни странно, вполне реальными, не

случайными вовсе, но к месту возникавшими, точными, вовремя изрекаемыми, с улыбкой, ироничной или блаженной, с вырывающимся в пространство грозным или довольно мирным, обострённо чутким ко всем переменам в мире, живучим, жгучим пламенем синих глаз, то прикрытых слегка, то вдруг широко и смело открытых, прямо в жизнь, и куда-то дальше, за какую-то грань, куда лишь одна она была вхожа постоянно, — такой, как есть.

Держалась она спокойно, с достоинством, без кривляний. Цену себе она знала. И в богеме — знали её.

Дама сказала Звереву:

— Познакомиться с вами я рада!

Зверев молча кивнул головой.

В квартире была — чистота. В квартире был — полный порядок. Пол был натёрт до какого-то астрального, что ли, блеска.

На стенах, в хороших рамах, висели работы зверевские.

В основном, пейзажи. Добротная, сильная живопись, ма-слом.

Но были там, разумеется, и портреты. Как же — без них?

Один из пейзажей — лес — был сверху, прямо по живописи, усыпан пожухшей хвоей — иголками, сохранившими упругость свою, сосновыми.

Я спросил у Зверева:

— Толя, объясни мне, а это — зачем?

Он ответил:

— Я рисовал, я старался. И вдруг захотелось, чтобы в этой моей работе появились частички леса, настоящего. И тогда я отправил хозяина — в лес. Тот, который там, за окном. Вот он, видно его. За хвоей. И принёс мой заказчик иголки сосновые, целую пригоршню. И я, с превеликой охотой, усыпал ими работу, прямо по свежей живописи. И они здесь легко прижились. Что ты скажешь? Хороший ход?

Я сказал:

— Ход — именно зверевский.

Зверев:

— Стал мой пейзаж, отличный, подчеркну, на ежа похож.

Пока мы смотрели работы, хлопотал писатель на кухне. Что-то он жарил, варил. Доносились оттуда в комнату возбуждающие аппетит, ароматные, тонкие запахи.

Потом писатель из кухни приносил различные блюда — и ставил их, как заправский повар, быстро и ловко, в той комнате, где втроём находились мы, на просторный, застеленный свежей скатертью, заполняемый снедью стол.

Наконец писатель сказал:

— Всё готово. Прощу к столу!

И уселись мы все за стол.

И трапеза — началась.

Были тосты. Писатель их говорил — со знанием дела.

Словно в Грузии где-то мы пировали, а не в Москве.

Был писатель таким хлебосольным! Угощал нас всех — от души.

— Ешьте, пейте, друзья!

И мы с удовольствием ели и пили.

А потом — начались разговоры.

И писатель спросил меня:

— Что, Володя, вас не печатают?

Я ответил:

— Нет, не печатают.

— Как же так? — воскликнул писатель, с показным, излишне бравурным, огорчением. — Я читал ведь, в самиздате, ваши стихи! Ничего в них крамольного нет. Никакой нет антисоветчины. Есть — поэзия. Почему же не печатают? Непонятно.

Я сказал ему:

— Нет, понятно.

— Что? Скажите!

— Да всё очень просто. Непохож ведь я на других.

— Вот и правильно, что непохож. Лично я приветствую это.

— Непохож потому, что я не советский, а русский поэт.

— Понимаю, — сказал писатель, — не советский, а русский. Здесь возразить действительно нечего. Сразу всё становится ясно. Трудно будет вам. Вы ещё молоды. Вы готовы, скажите, к трудностям?

Я ответил:

— Да, я готов.

Зверев:

— Трудности мы одолеем.

Дама:

— Главное — живы стихи.

Зверев:

— Живы. И все мы — живы.

Дама:

— Будет писать Володя, с каждым годом, всё лучше и лучше. Он читал недавно стихи, у знакомых своих. Я слушала их внимательно — и заплакала. И тогда поняла я: это — непрерывное, неудержимое и по сути своей могучее, со вселенскими ритмами связанное неразрывно духовными нитями, сквозь пространство и время, вдаль и вперёд, прямиком в грядущее, возрастающее движение животворной и светлой речи.

Зверев:

— Дама твоя, Володя, разбирается, вижу, в поэзии. Интересно — что она скажет о моих картинках сейчас?

Дама:

— Толя, твои работы достоянием станут вскоре государственным. А потом, не пройдёт и полсотни лет, даже меньше, в Москве откроется, вижу это я, твой музей.

Зверев:

— Надо же! Мой музей!

Дама:

— Да!

Зверев:

— Ты прорицательница?

Дама:

— Можешь и так считать.

И писатель — тост произнёс.

За победу русской поэзии.

За победу искусства русского.

За победу моих стихов.

За победу зверевской — всей — живописи и графики.

И пришлось нам за это — выпить.

Был обед — отменным, вкуснейшим. Да, писатель — умел готовить. И доволен был тем, что его кулинарное, высшего класса, категории высшей, искусство оценили мы все высоко.

Сразу столько слов о высоком прозвучало, в квартире этой, с невысокими потолками, в честь хозяина, гостеприимного, невысокого роста, приятного и приветливого человека, и писателя, пусть и советского, принимавшего нас у себя!

И ему — это было приятно. Раскраснелся он весь — и стал го-
ворливее, стал вести себя всё свободнее и свободнее.

Зверев что-то рассказывал нам, увлечённо и артистично. В роль вошёл он, изображал персонажей, тех, о которых говорил, иногда гримасничал, делал жесты руками, гибкими и подвижными, хохотал, то и дело стихи читал, и свои, и чужие, но, в основном, конечно, свои, привставал со стула, ходил, то вперёд, то назад, по комнате, иногда совершал круги, и, вполне возможно, магические, и обратно за стол присаживался, словом, был художник в ударе.

Синеглазая дама изрядно захмелела — и вдруг ему, ни с того ни с сего, похоже, огорошив его, сказала:

— Тебя никогда не били!

Зверев так побледнел, что лицо его стало вмиг совершенно белым.

Он взглянул на даму горящими так, что боль в них пылала, глазами:

— Это меня не били?

И схватил он стакан с вином — и с размаху плеснул вином в лицо синеглазой даме.

Дама вскрикнула — и зарыдала.

И вскочила из-за стола.

И бросилась — вон из квартиры.

И за нею хлопнула дверь.

Зверев поднял взгляд на меня и сказал:

— Ты её догони. И верни сюда, непременно.

Я выбежал из квартиры. И увидел возле подъезда синеглазую даму, плачущую от обиды и потрясения.

И сказал ей:

— Напрасно ты глупость такую брякнула! Это Зверева, что ли, не били? Ты представить себе не можешь, сколько раз его избивали. Он весь изломан, запомни. Хорошо, что живучий. Чудом оставался он часто жив.

Дама, всхлипывая, сказала:

— Ничего я не знала об этом, поначалу. Потом — увидела всё, что было с ним в прежнее время — и увидела сразу, внезапно, всё, что будет с ним впереди. Ну а там такое, что лучше мне об этом не говорить. И решила я Толю тогда подколоть, так, слегка, немного. Пошутить, грубовато, знаю, чтобы этим его защитить. Неудачно всё получилось. Зверев смысл моей фразы не понял. Но чутьё у него звериное, это сразу стало мне ясно. И о чём-то он догадался. Потому и плеснул вином — не в меня, а в то, что почуял за словами моими резкими. Может, надо мне было всё же промолчать тогда? Нет, не надо. Лучше было — сказать. И я всё сказала ему, напрямую. Признаю, получилось жестоко. И теперь я, конечно, раскаиваюсь. Но — не полностью. Потому что я должна была это сказать. И ещё я чувствую — Зверев начинает всё понимать.

Я сказал:

— Пойдём-ка обратно. Успокойся. Нас ждут. Пойдём.

И вернулись мы с ней в писательскую, с хлебосольным застольем, квартиру.

Дама, сразу:

— Прости меня, Толя!

Зверев:

— Ладно уж. Бог простит.

И наполнил вином стаканы.

И сказал, обращаясь к даме благодушно:

— Старушка, выпьем! Успокойся, да поскорее. Не сержусь я уже нисколько на тебя. Ну, за дружбу! Мир!

И просиявшая дама выпила вместе со Зверевым.

И мы с писателем — выпили.

Зверев — тихо и грустно — даме:

— Почему ты это сказала — что меня никогда не били?

Дама:

— Честно?

Зверев:

— Конечно.

Дама:

— Видела я, что тебе предстоят испытания в будущем — и похлеще всех предыдущих. Будут бить тебя, к сожалению. И сильнее, чем раньше били. Потому-то я и сказала, что тебя никогда не били. Но куда страшнее побоев — и душевные муки твои, и житейские сложности разные, что изматывают тебя, не дают покоя тебе никогда, ни ночью, ни днём. И спасением станет любовь для тебя, запомни — любовь. За неё ты крепче держись. И тогда ещё поживёшь. И в искусстве многое сделаешь.

И задумался Зверев о чём-то. К даме вдруг обратился:

— Послушай! Неужели ты всё же провидица? Ну откуда ты знаешь, что будет, через сколько-то лет, да не где-нибудь, а в Москве у нас, мой музей?

Дама:

— Толя, поверь, так бывает — часто вижу я всё наперёд.

Зверев:

— Надо же! Значит — бывает!..

Дама:

— Да.

Зверев:

— Ясно. Хорэ!

И писатель сказал:

— Ура! А теперь — давайте-ка выпьем!

И воскликнул Зверев:

— Давайте! Ну, хозяин, скорей наливай!

И застолье наше продолжилось.

И пришёл незаметно вечер.

И настала пора покидать нам троим — квартиру писательскую.

Попрощались тогда мы с хозяином.

И на улицу вышли, втроём.

Зверев, я и притихшая дама.

Загорались окна в домах. И стеною тёмной казался тот лесок, в котором писатель собирал иголки сосновые, для пейзажа свежего зверевского.

Толя — мне:

— Вы теперь куда?

Я:

— Пока что и сам не знаю.

Дама:

— Что? Мы поедem ко мне.

Зверев — нам:

— Я вас довезу.

Помахал рукой на обочине.

Остановил такси.

Пригласил нас:

— Ну, залезайте!

И поехали мы, втроём, на такси, в сердцевину тёплого, в огоньках, повсюду мерцающих, разгорающихся, под звёздами в ясном небе, столичного вечера.

И довёз нас, меня и даму синеглазую, Зверев до места.

И сказала Звереву дама:

— Толя, ты уж прости меня!

И ответил ей Зверев:

— Забудь!

Я сказал:

— Что ж, до встречи, Толя!

Зверев — мне:

— Постой. Погоди.

Из-за пазухи вынул бутылку коньяка. Протянул её мне:

— Пригодится ещё. Держи.

Взял бутылку я:

— Вот спасибо! Просто чудо! А как же — ты?

Зверев — мне, улыбнувшись лукаво:

— У меня есть ещё две бутылки!

И потряс полый пиджака. Там действительно что-то булькнуло, мелодично, тихонько звякнуло.

Я:

— Понятно. Тогда — всё в порядке.

Зверев — даме:

— А это — тебе!

И достал из-за пазухи две шоколадки, лимон, апельсин и большое румяное яблоко.

Протянул это даме:

— Держи!

Дама:

— Толечка, вот спасибо!

Зверев — ей:

— Старушка, держись! Будь поласковее с Володей.

Дама — Звереву:

— Постараюсь!

Я достал из портфеля свой сборник самиздатовский:

— Толя, дарю!

Зверев:

— Это серьёзный подарок. Не коньяк, не лимон, а стихи.

Подпиши-ка мне сборник свой.

Я спросил:

— А чем подписать? Ручки нет у меня. Потерялась.

Зверев:

— Ручка всегда найдётся. Или, может быть, карандаш.

Он порылся в карманах. Достал карандаш оттуда:

— Держи!

Сборник свой я ему подписал.

— Вот, готово. И ты держи. Карандаш свой возьми, пригодится.

Зверев сунул сборник за пазуху. Карандаш — положил в карман.

Я сказал ему:

— Почитай ты стихи мои, на досуге.

Зверев:

— Будет в жизни досуг. В перерывах, после работы. И поэтому не сомневайся — почитаю твои стихи. Потому что мне они нравятся. А верней — они мне по душе. И плевать, что тебя не печатают. Напечатают, будь уверен. Всё, до строчки, потом напечатают. Наше время — там, впереди. Там, в грядущем, высоким слогом говоря, мы с тобой когда-нибудь встретимся. Ты — стихами, а я — картинками. Это будет именно так. А пока что — пускай стихи твои не печатают оглоеды и тупицы советские всякие. И картинки мои пускай гады всякие не выставляют. Ни следа от них не останется, от тупиц, оглоедов и гадов. Даже мокрого места и то не останется. Так, пустота. Ну а мы с тобой — победим.

Я сказал:

— Да, мы — победим.

Синеглазая дама слушала наши речи — и вдруг заплакала.

Я спросил её:

— Что с тобой?

Дама:

— Ах, вы такие хорошие, оба! Жаль мне вас почему-то. Но и я понимаю: вы оба обязательно победите.

Зверев:

— Слушай, Володя, пророчицу. Значит, видит всё наперёд.

Шофёр — из машины:

— Кто-нибудь поедет дальше? Я жду. Ну а счётчик, понятно, крутится. Так что вы поскорей решайте — кто поедет, а кто остаётся.

Зверев:

— Надо мне ехать. Дела у меня. Мы ещё увидимся.

И уехал он. На такси.

По делам. По своим, по зверевским.

Дел немало ведь у художника.

Даже вечером. Да и ночью.

Мы остались вдвоём. И дама мне сказала:

— Какой он славный, этот Зверев! И одинокий...

И покрепче взяла меня под руку.

И глаза её синие вспыхнули благодарным, горячим огнём.

В небе звёзд было вдосталь. И вечер был на редкость тёплым. И нынче кто же вспомнит и кто нам скажет, что таилось когда-то в нём?..



...Весной Драконьего, семьдесят шестого года, когда обитал у знакомых я, временно, в очередной коммуналке, меня разыскал Зверев.

Он ворвался стремительно в комнату, где сидел я за старым столом, в одиночестве, ставшем привычным для меня, и что-то писал на случайном листе бумаги.

Он буквально влетел сюда — и наспех, без церемоний, поздоровавшись, как-то глухо и взволнованно мне сказал:

— Володя! Поедем к Костаки!

Я спросил:

— Что случилось, Толя?

Зверев грузно присел на шаткую табуретку, слегка отдышался, посмотрел на меня в упор глазами своими карими, почему-то усталыми, влажными, покачал головой взлохмачен-

ной — и грустно, с какой-то болью очевидной, с усилием явным, не сказал, а почти прошептал:

— У Костаки случился пожар...

— Где?

— Недавно, на даче, в Баковке. Там хранил он изрядную часть огромной своей коллекции. Были там иконы чудесные. Были там и мои работы, очень много давних работ. Вроде столько всего сгорело! Подожгли, наверное, дачу специально всякие сволочи. Я звонил ему. Он просил меня поскорее к нему приехать. Ну а мне, ты меня пойми, ты всегда меня понимаешь, приезжать одному к Костаки тяжело, поверь. И поэтому обращаюсь к тебе по-дружески, напрямую: давай с тобой мы к Костаки вместе поедem. Ты ведь знаешь — с тобой мне спокойнее, где бы ни были мы, в любом, даже самом опасном месте, и в любой ситуации, даже самой сложной, словом, везде. Поддержи меня нынче, старик! Надо ехать. Поедем — вдвоём!

Я сказал:

— Хорошо. Поедем. А когда?

— Да прямо сейчас. Ты давай, собирайся, друг. И — поедem. Костаки ждёт.

Я накинул куртку свою. Взял портфель.

— Ну, вот. Я готов.

Зверев, хрипло и кратко:

— Вперёд!

На улице Зверев привычно помахал рукой у обочины дороги. Довольно быстро остановил такси.

И мы с ним вдвоём поехали по московским просторам, к Костаки.

День, весенний, но темноватый почему-то, и даже сумрачный, был довольно холодным. Ветер налетал на деревья голые и раскачивал ветви их, шевелил обрывки афиш, залетал в окно приоткрытое, внутрь, в машину, где мы курили и молчали. И снег лежал у оград и стен. И асфальт скользким, прочным ледком поблёскивал. И вдали, в нависшем над городом,

беспокойном, тяжёлом небе, назревала, клубясь и хмуясь, разрастаясь, ненастная хмарь.

Зверев был напряжён. Молчал.

Иногда головой качал.

И вздыхал. И шептал:

— Пожар...

И опять замолкал, надолго.

И смотрел, насупившись, грустно и светло, за стекло, слегка запотевшее, а куда он смотрел — да кто его знает, может — в прошлое, отшумевшее, героическое своё, ну а может быть — в настоящее, где летали над сквером голуби и клубились в небе свинцовые и лиловые облака, или, может быть — прямо в грядущее, всех нас там, в отдаленье, ждущее, до которого нам идти ещё через годы, как сквозь века.

И машина, шурша колёсами по асфальту, ковром-самолётом поднимаясь, как в сказке, вверх, проносилась над пестротой всей застройки столичной, похожей на расставленные костяшки домино, устремлялась вниз и летела быстро вперёд.

Наконец мы на место приехали.

Вот и дом, всей Москве известный, где живёт семейство Костаки.

Поднялись на нужный этаж.

Позвонили. И стали ждать.

Дверь открыл смятенный Костаки.

Он бросился к Звереву:

— Толя! Вот уж горе какое! Пожар!

Зверев:

— Да, дядя Жора. Пожар.

И Костаки всплеснул руками:

— Заходите скорей, заходите!

Зверев:

— Честно скажу — мне было приезжать одному тяжело.

И поэтому я приехал к вам сегодня с Володей Алейниковым.

И Костаки взглянул на меня благодарно:

— Спасибо, Володя! Хорошо, что в такое время непростое вы рядом с Толей.

Я ответил ему:

— Так надо.

И Костаки:

— Вот именно. Надо. Надо друга сейчас поддержать.

Я ответил:

— Именно так.

И Костаки, с лицом, набрякшим, смуглым, странно отяжелевшим, с воспалённым взглядом усталых, но живых, искрящихся глаз, весь — мучение, скорбь и боль, весь растерзанный, но упрямо и отважно противостоящий злу, с которым ему сражаться приходилось, и весь — протест, вызов, дерзостный и достойный, всем гонителям и врагам, нам сказал:

— Пойдёмте ко мне!

Мы зашли за ним в комнату, густо, сплошь увешанную картинами.

Говорить о том, что за живопись у Костаки была, особого смысла нет — и так это было всем в столице давно известно.

Мы присели за стол со Зверевым. Закурили. Зверев молчал. Только сгорбился как-то, сжался напряжённо. Я тоже молчал.

И Костаки вышел из комнаты. И вернулся вскоре. В руках он нёс большую грудку гуашей, по краям обгорелых. Гуаши были зверевскими. И на них — сохранилось изображение. Диво дивное, да и только!

И Костаки тогда показал эту грудку гуашей Звереву. И сказал огорчённо:

— Вот!..

И — заплакал.

Зверев сказал, посмотрев на гуаши:

— Я вижу.

И Костаки начал рассказывать, как спасал он на даче работы от огня, собирал их, валявшихся на участке, в глубоком снегу, из окна торопливо выброшенных неизвестными, но, наверное, что

находится в доме, знавшими и расчётливыми грабителями, как пропали иконы ценнейшие, да и много всего пропало из коллекции, очень много, и не плакал даже — рыдал.

И Зверев ему сказал:

— Дядя Жора, вы успокойтесь. Ну, пропали мои работы. Обгорели. Или сгорели. Ничего! Ещё нарисую!

И Костаки его спросил, благодарно, взволнованно:

— Правда?

Зверев, искренне, просто:

— Правда!

И Костаки, пусть и с трудом, но по-детски совсем, — улыбнулся.

Зверев:

— Есть акварель, бумага?

И ответил Костаки:

— Есть!

Зверев:

— Ясно. Несите сюда!

И немедленно появились на столе — акварель и бумага.

Зверев:

— Кисти нужны!

И вскоре на столе появились кисти.

Зверев:

— Миска с водой нужна!

И костакинские домочадцы притащили миску с водой.

Зверев:

— Так. Дядя Жора, у вас есть какой-нибудь красный шарфик?

И Костаки:

— Сейчас поищу.

И нашёл. И принёс его:

— Вот.

Зверев:

— Так. Накиньте-ка шарфик. И садитесь. Буду работать.

И Костаки накинул шарф, красный, даже багрово-красный, словно пламя, себе на шею.

Зверев:

— Так. Смотрите сюда, на меня.

И — начал работать.

Как всегда. Не быстро — стремительно. Весь — в полёте, в буйном движении. Весь — в порыве. И весь — в труде.

И взлетала рука его, гибкая и подвижная, крепкая, верная и надёжная, лёгкая, певчая и крылатая, так мне хочется о рабочей зверевской, бережно сохраняемой им в любых передрыгах руке, сказать, вверх и вниз, то влево, то вправо отклонялась, к центру листа, вместе с кистью широкой, рвалась, отовсюду, туда, где цвет становился светом, где краски заполняли неудержимо белизну бумаги, где образ возникал из ритма, движений непрерывных, и постепенно становился уже узнаваемым, чётким, точным, дышал, оживал на глазах у нас, укрупнялся и сгущался, весь — в окружении синкопическом, бурном, звонком, словно музыка здесь звучала, броских пятен, точек, мазков, артистичных и виртуозных, и всего, что было сейчас и оправданным, и возможным, и реальным, и фантастическим, даже сказочным, так вернее, да, вернее, поскольку сказка становилась явью, сегодняшней, несомненной, чудесной, зримой, и — волшебной рукой творимой.

И вот — он закончил работать.

И сказал, распрямившись:

— Всё! Есть. Бодрит. И хорэ. Смотрите!

Мы увидели великолепный, поясной, драматичный портрет.

Костаки на нём — сидел, с красным шарфом на шее, глядя и на всех нас, и на потомков, полагая, глазами, влажными и печальными, — он смотрел в настоящее и грядущее, и с достоинством, и с осознанием неизменной своей правоты.

Зверев сказал, сощурившись:

— Костаки после пожара!

Костяки с места вскочил. Бросился обнимать Зверева. Красный шарф пылал на плечах его жаркой, жгучей, огненной лентой.

— Толя! Спасибо, Толечка!

Зверев, устало:

— Не за что!

Костяки смотрел на работу свежую — и восторгался.

Воскликнул:

— Я оживаю! Слава Богу — я снова живу!

Зверев:

— Живите подольше. Всё остальное — приложится.

Костяки:

— Братцы, живём! Зина, скорее на стол накрывай! Принеси нам вина. Дети, смотрите, какой я на портрете — после пожара!

Прибежали все домочадцы. Восхитились портретом. Поахали. Быстро накрыли стол. Бутылки с вином стояли на нём заграничной шеренгой. И было закусок вдосталь.

Костяки, торжественно:

— Выпьем! Выпьем, друзья, за искусство. За бессмертное наше искусство русское. Выпьем. До дна!

И все мы охотно выпили.

И началось тогда — невиданное застолье.

И Костяки, слегка захмелев, хлебосольный, радушный хозяин, взял гитару — и начал петь, увлечённо, страстно, — романсы.

И потом попросил меня почитать, хоть немного, стихи.

И пришлось мне, конечно, читать.

И Костяки сказал:

— Замечательно! И поэтому выпьем сейчас мы, друзья, за поэзию русскую!

И за это мы тоже выпили.

И застолье наше всё длилось.

День прошёл, и вечер прошёл. И настала ночь. И когда мы ушли от Костяки — не помню. Да, пожалуй, уже под утро.

Прощались мы — и ушли. Прямо в холод предутренний. В брезжащий, разрастающийся постепенно и упрямо, весенний свет.

Странно думать мне нынче, седому, повидавшему в жизни многое, что Костяки тогда казался мне пожилым совсем, чуть ли не старым, а ведь был он в ту пору, трудную для него, значительно младше, вы представьте, меня, сегодняшнего, да ещё и на десять лет.

И остался в памяти он — с красным шарфом, огненно-красным, на плечах, отголоском пожара, или, может, скорее всего, знаком, символом жарким горения, за которым — радость дарения, что не знает вовек старения, словом — творчества торжество.



...Память — не просто загадочна.

Память — сплошная тайна.

Память — хранилище странное всего, что бывало в прошлом, что в жизни моей, такой уж, как есть, как она сложилась, когда-то происходило.

И что-то — порой забывалось, как будто вдали скрывалось.

А что-то — как-то внезапно, само ко мне приходило.

Само ко мне возвращалось.

И, значит, со мной не прощалось.

Просто ждало — когда же вернётся оно ко мне.

И — оживало снова.

И слышал я каждое слово.

Из лет, встающих из мрака, воскресших в ночном огне.

И видел тогда я — многое.

И прошлое было — рядом.

И здесь, в настоящем, сызнова становилось оно родным.

В отборе событий — строгое.

Но — щедрое. С певчим ладом.

И, значит, живое, личное, — быть не могло иным.

Да, выжившее упрямо.
Сквозь все прошедшее драмы.
Сквозь все трагедии. Вырвавшись, из сонма невзгод, вперёд.
К желанному свету. К людям.
Сюда, где мы есть — и будем.
Туда, где в грядущем встретимся. Где кто-то зовёт и ждёт.
И, стало быть, продолжается движение неуёмное.
Наверное, по спирали.
Конечно, и вглубь, и ввысь.
И — вдаль. Ну, само собою.
Поскольку дано — судьбою.
Как дар или мир — огромною.
И — звёзды над ней зажглись.

Так что же мне рассказать?
Как нити опять связать?
Незримые нити. Прочные.
Пусть что-то само придёт.
Ведь встречи привычно ждёт.
В словах и деталях — точное.
Возникнет призывный звук.
Расширится речи круг.
Услышу — музыку чистую.
Увижу — заветный знак.
Смелее — и только так!
Скажу — и, как прежде, выстою.

Вспоминаю семидесятые, на события разные щедрые, на любые драмы богатые, для меня — всё равно крылатые, как и прежние годы, поскольку, несмотря на всякие сложности, я работал много тогда и спасался этим всегда.

Вспоминаю семидесятые, с их скитаниями постоянными, с их тревогами окаянными, с их сражениями неизбежными с оголтелыми силами зла, словно были это не мирные, а воен-

ные годы, когда приходилось всё время держаться, не сдаваться, упрямо выстаивать, вопреки обстоятельствам трудным, быть всегда начеку, в строю, оставаться самим собою, принимать всё, как есть, с достоинством неизменным, идти упорно, сквозь невзгоды, туда, где виден впереди был волшебный свет.

Вспоминаю семидесятые, с их немислимой протяжённостью и во времени, и в пространстве, потому что столь много в них умещалось тогда историй, приключений невероятных, огорчений, сомнений, долгих, одиноких, глухих ночей, дней голодных и зим холодных, летних улиц с жарой палящей, смутным ветром вблизи пылящей, затихающим там, вдали, где осенние зрели зёрна, где опомниться не зазорно, как терзать меня ни могли расставания с тем, что было драгоценным, что впрямь томило, угнетало порой, но вновь, побеждая в борьбе суровой с прежним горем, с весною новой наконец-то ждала любовь, и тогда жизнь казалась раем, но за гранью, за рваным краем яви, вновь проливалась кровь, и опять, посреди страданий, приносивших за вестью весть, озарений и ожиданий было столько, что их не счесть.

Вспоминаю Оксану Михайловну Синякову-Асееву, зверевскую небывалую, фантастическую и неистовую любовь.

Мы однажды приехали к ней.

С нами был ещё и «трубач», так вот Зверев его называл, музыкант, довольно известный в мире джаза, Герман Лукьянов, оказалось — сын Музы Павловой, поэтессы и переводчицы, ро-слый, странный, меланхоличный человек, и его подруга, почему-то в корсете, высокая и одетая странновато, по давнишней, вроде бы, моде, из двадцатых или тридцатых, довоенных, совсем далёких от теперешней жизни, годов.

Приняла нас Оксана Михайловна, как всегда, приветливо. Стала угощать нас чаем с вареньем и беседовать с нами. О чём? Да почти ни о чём. По-светски. Щебетала — совсем по-птичьи. Словно Хлебников сочинил эти звонкие речи её.

Зверев чай из чашки фарфоровой пил — и слушал её задумчиво. И — помалкивал больше. Лишь изредка говорил что-нибудь простое.

Но зато Лукьянов — охотно говорил. Непрерывно, много.

И вдобавок сказал, что он, музыкант, — тоже пишет стихи.

И немедленно их прочитал.

Были в них — эпохальные строки:

«Нервы, нервы, стервы, стервы».

Как-то нам неуютно стало.

И смутилась Оксана Михайловна.

И напрягся, набылчился Зверев.

И вздохнул я: ну что за дела!

Но зато подруга Лукьянова горделиво на всех поглядела — вот, мол, знайте, какие бывают современные суперстихи!

Почему-то представил тогда я, что Лукьянова нет здесь, с подругой, со стихами его модернистскими, лаконичными, «нервами-стервами», нет, и всё тут, и вот что вдруг, вы представьте, произошло, — он исчез куда-то, немедленно, вместе с модной подругой, пропал, вместе с «нервами-стервами», где-то, ну а где — да кто его знает, растворился в столичном воздухе, чтоб в квартире своей оказаться, где ждала его снова труба, или, может, корнет, словом, нужный инструмент, на котором он станет, с удовольствием, вскоре играть.

(И действительно, шёл я однажды, ранним утром, к знакомым своим, в том районе, где жил Лукьянов, — и услышал, как он играет, на трубе или на корнете, и увидел его, стоявшего на балконе, меланхоличного, отрешённого, в тишине, растревоженной резкими звуками беспокойной мелодии джазовой, видно, в дружбе с «нервами-стервами», но усвоенной им вполне...)

Вспоминаю семидесятые.

Словно пламенем вдруг объятые.

Их героев. С ума палатой.

Или с удалью. Речи их.

Лица — в шумной толпе предпраздничной.
В толкотне бесконечной, будничной.
Их глаза — вопрошение вечное.
Их — чужих. И — почти родных.

Ну куда же теперь — без этого?
Столько прожитого и спетого!
Ну а может быть — недопетого?
Наверстаем ли? Как сказать!
Сохраним. Вопреки забвению.
Не стоять на месте — мгновению.
Длиться — вешнему вдохновению.
Значит, выстоять. И — дерзать.

...И снова мы навестили однажды, вдвоём со Зверевым, Оксану Михайловну. Вечер был на редкость хорошим тогда.

Была Оксана Михайловна прекрасна. Глаза сияли. Казалась она мне сказкой. Волшебница? Нет. Звезда.

«И все они были красивы», — сказал когда-то о сёстрах Сияковых их друг Велимир.

Но в Оксане Михайловне всё же было что-то больше обычной красоты. В ней была и тайна.

И Зверев — чувствовал это.
Хребтом своим — понимал.
Потому её и любил.
Потому-то к ней и тянулся.
Потому-то её непрерывно рисовал. Он её — воспевал.
Он её — создавал. Молодую делал вновь. Он видел её — не подвластной времени. Вечной. Не стареющей никогда.
Самой близкой. Самой родною.
Кем? Подругой? Или женою?
Всем на свете. Почти святою.
Даром свыше — сквозь все года.

И сотни сделанных Зверевым портретов Оксаны Михайловны остались — песнью художника о верности и любви.

Остались. Живут. И жизнь их продолжится и в грядущем. Примером союза прочного — уж как его ни зови.

Портреты. Прозрений зверевских свидетельства несомненные.

Портреты. Терзаний зверевских признания откровенные.

Портреты. Символы. Знаки. Образы — сквозь века.

Сказочные. И — реальные. Не взятые с потолка.

Портреты. Воображение — средь будней. Плоды труда.

Портреты. Преображение бывшего. И — навсегда.

Портреты. В ночи — сияние. В судьбе — поворот и взлёт.

Блаженное состояние. А счастье — авось придёт.

Портреты. Души метания — в бесчасье, где жизнь трудна.

Бессмертия очертания — сквозь явь. На все времена.

...Оксана Михайловна слушала стихи мои — и глаза её становились влажными, светлыми, лучистыми и прозрачными, озёрными, как сказал бы об этом друг её, Хлебников.

И лицо её преображалось, молодело. Морщинки вдруг исчезали куда-то. Губы шевелились слегка. И волосы над закинутой головою золотистой сияли короной.

Царица? Волшебница? Лада. Так её называл Асеев, поэт и муж её, в прошлом — азартный игрок, футурист.

А Зверев её называл — старухой. Бубнил: «Старуха!..» А сам — любил её. Страстно. Неистово. Так, что всё вокруг кувырком летело — кастрюли, тарелки, книги асеевские, картины, фотографии, — так, что двери выламывал сгоряча в буйстве диком своём и в ярости, в грозном гуле клокочущих чувств и желаний своих — быть рядом со старухой своей, и немедленно, быть сейчас же, надолго, вместе, опекать её, помогать ей, говорить ей слова хорошие, воспевать её в письмах, в стихах, рисовать её снова и снова, обнимать её иногда, прикипать к ней, совсем по-детски, зная, что в ней лишь — его спасение,

знать, что это — любовь и жизнь, и единственный выход из ада, и надежда его, и отрада.

...В кабинете асеевском Зверев мне показывал папки с работами многочисленными своими.

И на каждой папке была обозначена им — оценка.

Четыре. Четыре с плюсом. Но чаще, конечно, — пять.

И работы здесь были — отборные.

И распоряжалась ими — конечно, Оксана Михайловна.

И увидел я на одной из толстенных папок с картинками, на виду, прямо сверху, броскую, многократно художником сделанную, в самых разных, порой непредвиденных, вариантах, всегда впечатляющую, знаменитую подпись — АЗ.

И спросил я у Зверева:

— Что это?

И ответил мне Зверев так:

— Понимаешь, это мои, как ты сам сейчас видишь, подписи. Да, они, безусловно, разные. Но — мои, и всё этим сказано. А то ведь эти, — тут Зверев посмотрел куда-то за стену и рукой показал туда, — эти самые, злопыхатели, прохиндеи всякие нынешние, говорят, что я почему-то не умею, надо же так расстараться, чтобы меня подколоть, рисовать эмблемы. Нет, умею. И вот они, перед нами. Вот они, подписи. Необычные иногда, но всегда легко узнаваемые. Все — мои. Вот моё — АЗ.

В кабинете асеевском Зверев мне показывал груды тетрадей — со стихами своими, с поэмами, иногда не только большими по объёму, но просто огромными, смесью лирики с эпосом, синтезом этих жанров, новаторским, смелым, авангардным, но и с почтением к нашей русской традиции, текстами необычными и уникальными, — груды общих тетрадей, исписанных им от корки до корки, размашистым, но при этом вполне разборчивым, синкопическим, быстрым почерком.

Так что здесь, в кабинете асеевском, до поры до времени, видимо, находились, в полной сохранности удивительные сокровища.

Где теперь они — кто это скажет?
Где-нибудь. У кого-нибудь — есть.
И не надо гадать об этом.
Как говаривал Ворошилов о работах своих — прорастут.
Вот и зверевские сокровища, полагаю, — давно проросли.

...Смотрит нынче с портретов, созданных в годы прежние
Толей Зверевым, на людей Оксана Михайловна, на людей столетия нового, смотрит пристально, грустно, радостно, смотрит — вся в сиянии зверевской, бесконечной, вечной любви.

Смотрит так, что многие чувствуют возрастающий жар в крови.

Смотрит — муза. А может — музыка. И — поэзия. Жизнь. Судьба.

И — надежда на понимание. И внимание. И мольба.

Смотрит — живопись. Или — светопись.

Песнь. И ей-то — звучать и впредь.

Или — тайнопись. Может, летопись?

Весть, которой нельзя стареть.



— Слушай, давай сыграем вместе! — воскликнул Зверев.

Я спросил:

— В четыре руки?

— Ну да, в четыре руки!

Я сказал:

— Что ж, давай попробуем!

Были мы с Толей в гостях в доме одном. И там — увидел я пианино. И решил на нём поиграть. И — увлёкся. Ведь редко бывала в годы скитаний моих бездомных — такая возможность.

И Зверев, с его постоянной, искренней тягой к музыке — никак не мог удержаться, чтобы не поиграть.

Он придвинул стул к пианино и сказал:

— Буду я на басах!

И стали мы с ним вдвоём играть — в четыре руки.

Музыке Зверев сроду не учился. Но так играл, что, казалось, закончил он — и успешно — консерваторию.

Из сумбура, гула и рокота возникала внезапно — гармония.

Пальцы зверевские летали быстрой стаей птичьей над клавишами — и обрушивались на них, извлекали из них — звучание, и была в нём — полифония, был какой-то синтез особый — из традиции и авангарда, словом — Зверев и в этом был Зверевым, создающим, порою в живописи, а порою, как нынче, в музыке, все детали и все приметы своего волшебного мира.

Мы играли довольно долго.

Просто оба — импровизировали.

А когда устали, то Зверев, оторвавшись от клавиш, сказал:

— Хорошо, что на свете есть музыка!

Я сказал:

— Да здравствует музыка!

А хозяин квартиры сказал:

— Вас, друзья, записать бы надо! Виртуозы! Ну и концерт!

Но какая могла быть запись в середине семидесятых?

И откуда возьмёшь хотя бы примитивный магнитофон?

Так что музыка наша тогда прозвучала — да там и осталась, навсегда, полагаю, в прошлом, где за окнами загорались в темноте огни городские, сверху сыпался мелкий снежок на асфальтовые тротуары, на усталых столичных прохожих с каждодневными их заботами, на дороги с машинами редкими, на дома, на деревья, и где-то высоко, в небесах предзвездья, различить можно было с трудом золотые гроздья созвездий, словно запись чудесную нотную нашей музыки, давней музыки всех скитальческих прежних лет.

Иногда эта музыка снится мне, теперешнему, седому, и сохранность музыки этой не случайна — значит, она тоже выжила сквозь невзгоды, возвратилась к нам с небосвода, потому что дружбе и творчеству неизменно была верна.



...Снова вспомнилось давнее чтение стихов, моё чтение в семьдесят седьмом, непростом для меня и бурном весьма году.

Один мой знакомый, случайно, устроил мне это чтение, или творческий вечер, так ведь звучит намного солиднее, в театре, который, как выяснилось из беседы с ним телефонной, деловой, как сказал он мне тогда, находился в Царицыно.

Что ж, Царицыно так Царицыно.

Можно будет и там побывать.

Место, всем в столице известное.

Всем ли? Вряд ли. Зачем скрывать?

Далеко не все приезжали москвичи когда-то — туда.

Почему? Да кто его знает! Как-то сложно живут города.

А в Царицыно сохранилась, вместе с ладом былым, старина.

Пусть там что-то всё ж изменилось. Но звала туда — тишина.

Но манили — покой и воля. Но вели — и чутьё, и свет.

Где избавиться вмиг от боли? Лучше места — пожалуй, нет.

И поэтому надо было оказаться в Царицыно снова.

Рай? Неужто? Да что-то вроде рая ближнего, право слово.

Пусть — остаток, пусть — отзвук рая. Пусть — фантазия, пусть — мечта.

Существуют ведь, не сгорая, удивительные места.

Сохраниаются. Выживают. Изменяются — но слегка.

Долго тайны свои скрывают. И загадочны — сквозь века.

Читал я стихи свои в ту пору довольно часто.

И, тем более, был обещан мне за чтение — гонорар.

А средства к существованию были мне очень нужны.

И решил я с собою взять, на чтение это, Зверева.

Я сказал ему:

— Толя, меня приглашают стихи читать, в театре одном, в Царицыно.

Зверев буркнул:

— Да? Хорошо.

Я сказал ему:

— Толя, представь, мне за чтение это — заплатят.

Зверев хмыкнул:

— Ну, наконец-то понял кто-то, что чтение, друг мой, и не чьё-нибудь там, а твоё, подчеркну, особое чтение стихов, которое было, и есть, и будет всегда уникальным, неповторимым, — это тоже большая работа.

Я спросил:

— Ты поедешь со мной?

Зверев сразу ответил:

— Поеду.

И вот, в назначенный день, мы поехали с ним в Царицыно.

Разыскали театр, в котором предстояло стихи мне читать.

Нас встретили шумной толпою симпатичные люди, актёры. Молодые, весёлые, дружные. Приветливые, оживлённые.

Молодые женщины, очень интересные, — как же, актрисы! — надо марку держать им, быть привлекательными всегда.

Парни, крепкие, даже спортивные, так могло показаться, подтянутые, словно все, как один, готовые к репетициям и спектаклям.

Все актёры театра в Царицыно.

Все встречали сегодня нас.

Ну и что с того, что не знали их мы доселе, что мы их видели, сразу всех, нарядных, взволнованных и общительных, в первый раз!

Важно — то, что мы с ними встретились.

Труппа славная. Коллектив.

Так скажу я. В них был, заметил я, добрый свет, сплошной позитив.

Актёры:

— Приехали! Здравствуйте!

Я:

— Здравствуйте!

Зверев:

— Привет!

Актёры:

— Давайте знакомиться!

Назвали свои имена. Так много их было, что я, признаться, теперь их не помню.

Я — актёрам:

— Позвольте представить: Анатолий Зверев, художник.

Зверев, щурясь:

— Да, это я.

Всполошились актёры:

— Зверев? Это вы? Тот самый? Серьёзно?

Зверев — им:

— Конечно. Тот самый.

И актёры:

— Ну, чудеса!

Зверев — им:

— Доживём, надеюсь, мы сегодня и до чудес.

Актёры:

— Вот это встреча! Сам Алейников к нам приехал, да ещё и вместе со Зверевым!

Я — актёрам:

— Значит, судьба.

Привели нас актёры в театр.

И настало время читать мне актёрам стихи свои.

И читал я стихи. Говорить мне приходится часто об этих, в годы прежние, чтениях. Так уж получалось. Выходит, нужны были чтения эти людям. Что с того, что меня не печатали? Наплевать на это. Подумаешь, что ни шаг, то сплошные запреты! Люди слушать умели тогда. Люди сами решали, что им было близким, а что — далёким. И стихи мои были в ту пору, героическую, орфическую, — им действительно необходимы.

И надо сказать, что слушали актёры меня — замечательно.

Внимание их оказалось — поистине изумительным.

Такого теперь, посреди затянувшегося «как бы времени», с его абсурдом и хаосом, с дичайшей подменой ценностей, с бессмысленной вседозволенностью всеобщей, давно уже нет.

А тогда, в минувшие годы, со всеми их, оптом, сложностями, жива была — человечность, и радость была жива.

И если стихи читал я собравшимся слушать людям, то в душах их оставались надолго мои слова.

После чтения моего пригласили меня и Зверева все актёры в большую комнату, где накрыт был длиннющий стол.

На столе — бутылки с вином. И закуски. Всё честь по чести.

Вот какие были актёры. Было всё у них — по-людски.

Мне вручили конверт с деньгами, заработанными, за чтение.

Поместились все за столом.

Все мы — выпили и закусили.

Начались потом — разговоры.

Зверев — мне:

— Хорошо ты читал. Да ещё вот и заработал. Молодец, Володя! Хорэ!

Я:

— Ты знаешь, устал я, Толя. Напряжение было большим.

Зверев — мне:

— Значит, надо выпить.

И налил в стаканы вина.

И мы с ним вино это — выпили.

Один из актёров, рослый, стройный, весёлый парень, был за столом — тамадой. И тосты он говорил — затейливые, забавные. И шутил. И ритм задавал особый — застолью нашему.

И в руках его появилась — гитара. И стал он петь задушевно — романсы старые. И пел он их — замечательно.

Зверев слушал его с удовольствием. И спросил его вдруг:

— Старик! Помнишь песню — «Цыплёнок жареный»?

И ответил актёр:

— Да, помню.

Зверев, этак лукаво:

— Спой!

И актёр тогда — спел «Цыплёнка».

И воскликнул Зверев:

— Бодрит!

И сказали ему актёры:

— Нарисуйте что-нибудь нам.

Зверев их оглядел. Сказал:

— Сколько вас? Поскорей считайте. И несите сюда бумагу. Чтобы столько было листов, сколько здесь, за столом, людей. И несите — чем рисовать. Всех я нынче увековечу!

И актёры разволновались. Побежали — искать бумагу. И нашли какую-то мятую, желтоватую пачку листов. И какие-то карандаши. Принесли. Положили на стол.

Зверев — стал рисовать. С прибавками. Но на деле — вполне серьёзно. Виртуозно, как и всегда. Острым взглядом посмотрит внимательно на актёра или актрису, изучая лицо, — и вскоре на листе возникает рисунок. Да ещё и какой! Чудесный. Так вот — всех актёров, слегка обалдевших от артистизма и порыва свободного творческого, вдохновенный художник стремительно, словно в трансе, нарисовал.

Положил карандаш на стол.

Хрипловато сказал:

— Ну, всё!

И в руках у актёров — у каждого — был портрет его, нарисованный, прямо здесь, в их театре, — Зверевым.

И смотрели они на Зверева изумлённо, как на волшебника.

И сказал тогда Зверев актёру-гамаде, с гитарой в руках и с портретом своим:

— Старик! Если можешь, то спой «Цыплёнка»!

И воскликнул актёр:

— Могу! Я сейчас!

И немедленно спел.

И Зверев был очень доволен.

И выпил вместе с актёром.

И хорошее настроение было общим за нашим столом.

Так вот внёс артистичный Толя в театральное наше застолье элементы перформанса, так ведь называется это действо в новом веке, с его новациями, чьи истоки — найдут в былом.

И потом провожали нас все актёры:

— Спасибо!

— До встречи!

— До свидания!

— До свидания!

Всё осталось теперь — вдали.

В дымке призрачной. Там, в Царицыно. Там, совсем далеко. Далече. Там, где наши звучали речи. Где беседы мы встарь вели. Там, давно. Так давно! Когда-то. Где актёры в театре — с чудом повстречались. Оно — живое. Для людей. И — для всей земли.



...Но когда это всё началось — эта дружба моя со Зверевым, эти наши скитания, вместе, по Москве, днём и ночью, годами, в слишком трудных моих, бездомных, незабвенных семидесятих?

Вспоминаю: с семидесятого — и до лета, и впрямь дарованного мне, скитальцу, наверное, свыше, когда жизнь моя изменилась и бездомицы, наконец, стали пусть и недавним, но прошлым, — до лета счастливого семьдесят восьмого, на радости щедрого, на открытия и события, на прозрения и наития, на любовь и на творчество, ставшего переломным, знаковым, года.

Года — явленной новизны.

Обретений и откровений.

Года сказочных вдохновений.

Тех, что мне и теперь верны.

Года ясной моей звезды.

Года празднества — сквозь невзгоды.

Года певчей моей свободы.
С ней в единстве — мои труды.

А до этого — что до этого?
Столько было всего — не воспетого.
Не записанного почему-то.
Впрочем, помнится — до минуты.
До секунды даже, порой.
Было всё-таки не игрой.
Было — жизнью нашей. Сражением.
С чем? Со злом. И — надежд свершением.
Было — подвигом. Эрой труда.
Было — правдою. Навсегда.

Были — встречи. Было — знакомство.

Много встреч. И знакомство — давнее. С осени шестьдесят четвёртого года, когда стал я жить в Москве и учиться в МГУ — и со всей богемой, день за днём, непрерывно, знакомился, ну а с некоторыми людьми начинал уже и дружить.

Были — встречи. Было — знакомство.
Что об этом скажет потомство?
Может, скажет, что были мы странными?
То ли трезвыми, то ли пьяными?
Непохожими на других, на советских людей, положительных?
Скажут: не были небожителями?
Скажут: в общем-то, чудаки?
Все гадания — пустяки.
Были мы — героями яви.
Вспоминать о былом я вправе.
Если я не скажу — то кто и когда же об этом скажет?
Кто мохристые нити судеб узелками событий свяжет?
Речь — жива. И память — жива.
С ними в дружбе — мои слова.

Или — встречи в период нашего легендарного СМОГа, когда в одночасье я стал знаменитым, интересным решительно всем и в Москве, и в провинции, всюду, где любили стихи, молодым, но уже и серьёзным поэтом, в середине шестидесятых.

(Зверев — был в нашем СМОГе. Был. Вот представьте себе. Представьте: был — и всё тут. И выставлялся на обоих наших, смогистских, легендарных теперь, вечерах, на которых были и выставки авангардных тогдашних художников, в библиотеке имени Фурманова, находящейся на Беговой улице, в феврале и в марте Змеинового шестьдесят пятого года.

Когда мы решили с Губановым, что стихи стихами, что их мы почитаем людям, это само собой, а вот стены библиотеки надо украсить работами неофициальных художников, устроить большую выставку, пусть провисит она хотя бы два-три часа, но и это станет событием, так же, как наше чтение, то сразу же, в первую очередь, подумали мы о Звереве.

С Толей был я уже знаком — с осени прошлого года.

Он появлялся — вдруг —

в какой-нибудь шумной компании, где читали стихи, выпивали, о чём-нибудь жарко спорили, — у Сапгира, в его тогдашней небольшой коммунальной комнате, у Алёны Басиловой, в доме на Садово-Каретной, где все мы собирались тогда постоянно, вся Москва, вся богема, и в прочих, всем знакомых местах, где было что-то вроде салонов, где людям, и особенно людям творческим, было вместе всегда хорошо, интересно и даже полезно, потому что общение было совершенно необходимо всем нам в годы былые, когда были молоды мы, и силы нас действительно переполняли, и единство наше давнишнее, пусть и разными все мы были, ощущалось, как свет целебный, даровало радость свободы и возможность всем проявить себя, состояться, собственным творчеством утвердить за собою право быть достойным внимания общего, быть своим, совершенно своим в столичной богемной братии, —

он появлялся вдруг, неожиданно, ещё безбородый, то выбритый гладко, в чистой, хоть слегка и запачканной красками, заграничной одежде, подаренной покровителями его, то небритый, заросший щетиной, в пиджаке измятом, в задрипанных и местами порванных брюках, но всегда, несмотря на то, был он выпившим или трезвым, по-особому внутренне собранным, и в компании все понимали, не сговариваясь: это — личность, он какой-то совсем другой, гость залётный, словно явился он из другого совсем измерения, или, может, из параллельного, есть ведь где-то такой вот, мира, —

он появлялся, присутствовал, здесь, среди всех, был рядом, — и так же неожиданно, как и появился здесь, вдруг, не успеешь глазом моргнуть, опять исчезал, чтобы потом, со временем, появиться в другой компании, возникнуть, побыть там немного, выпить вина, улыбнуться чему-нибудь, пошутить, поговорить немного с кем-нибудь, произнести слово своё, возможно, магическое: «Хорэ!» — и раствориться в пространстве.

Но всё-таки я нашёл его.

И Зверев дал мне — для выставки, на время, — свои акварели.

И пару его работ, для выставки, дал мне Ситников.

И эти работы зверевские — украсили нашу выставку.

И люди, на вечер пришедшие, заполнившие до отказа помещение библиотеки, смотрели работы, развешенные на стенах, рядами плотными, и — слушали наши стихи.

И Зверев — пришёл на вечер.

И слушал стихи внимательно.

И я, в тишине всеобщей, услышал его «Хорэ!».

А потом я увидел, что Зверев внезапно забеспокоился. Стал оглядываться. Показал мне на окна, где различил я брожение странноватое, и на дверь, откуда просачивались в библиотеку менты и какие-то люди в штатском.

Кто-то мне тихо шепнул: «Пришли менты с кагебешниками!»

Всё стало ясно. Нам следовало отсюда скорей уходить.

Зверев мне помахал рукой — мол, ещё увидимся вскоре, — и вдруг, раздвигая толпу, стремительно ринулся к выходу, мимо ментов с кагебешниками, и — в дверь, и — в кружение снега, в мороз февральский, на улицу, в темноту и огни столицы, где можно от всяких скрыться неприятностей, — и растворился где-то там, в темноте и огнях.

Мы, читавшие людям стихи, тоже тогда успели уйти из библиотеки, через дверь, во двор выходящую.

Кагебешники и менты, жаждавшие скандала и готовые всех нас хватать и везти на расправу скорую, просчитались, остались ни с чем.

Выставку нашу менты с кагебешниками не тронули. Видно, не сообразили. Осталась она цела. И работы со стен мы вскоре сняли и отдали всем нашим друзьям-художникам.

И Звереву отдал я его акварели. И Ситникову — зверевских пару работ, которые он давал для выставки, да и его, ситниковские работы.

Молва по Москве разнеслась — о вечере нашем, о выставке. Повсюду звучало слово, всем известным ставшее: СМОГ!

А в марте ещё один вечер, всё в той же библиотеке, состоялся — чудом, наверное. И читали стихи мы, и снова на стенах висели картины, которые дали для выставки наши друзья-художники, в том числе, охотно, и Зверев, и пришедших на вечер людей было столько, что все они поначалу не уместались в довольно просторном зале, но как-то потом уплотнились и всё-таки поместились, — и мы рисковали, конечно, сознательно, весь этот вечер был дерзостью, это был вызов тому, что мешало нам всем, тому, что творилось вокруг, всей косности жизни, запретам на ту новизну, что была нам, как воздух, необходима, на свободу, ставшую вскоре неразрывно связанной с творчеством. Потом — начались неприятности, гонения. Власти начали принимать советские меры, чтобы нас уничтожить. Не вышло ничего у них. СМОГ оказался долговечным. Он жив и сейчас.

И Зверев порой, лукаво улыбаясь и щурясь, говаривал, выразительно поднимая указательный палец вверх, к небесам ненастным: «Я — СМОГ!...»)

Или — встречи в домах, где мы собирались когда-то, чтобы пообщаться, стихи почитать и, конечно, выпить немного, по традиции, так уж, представьте, было принято в прежние годы, в ту эпоху, с которой вряд ли разорвётся и нынче связь — до того она крепко, надёжно и навечно с нами срослась.

Или — встречи в подвальных чьих-нибудь мастерских, а то и чердачных, где холсты громоздились вдоль стен, пахло красками, веяло сырьём из окна приоткрытого, высились за окном силуэты зданий и деревьев редких окрестных, где стояли ряды тусклыми на полу пустые бутылки, где звучала тихая музыка из транзистора или же слышались голоса зарубежных, вражеских, всем известных радиостанций, где художники, то бородатые, то сознательно безбородые, создавали свои шедевры, непохожие принципиально на искусство официальное, где свобода была такой же всем понятной необходимостью, как и воздух столичный, в котором ощущалось присутствие странное неизменно желанных, радостных, удивительных перемен.

Были встречи — на протяжении тех крылатых шестидесятих, что остались надолго в памяти, стали теми моими стихами, что и ныне дороги многим современникам, слышавшим их на моих тогдашних, привычных для меня и довольно частых в ту эпоху, былую, которая, безусловно, была орфической, и читавших их в самиздате, стали прозой моею, новой, необычной, прозой поэта, стали книгами самиздатовскими, стали книгами, всё же изданными, пусть, так вышло, увы, с запозданием, но пришедшими всё-таки к людям и ценимым ими сейчас, в наши дни, в столетии нынешнем, что пришло на

смену минувшему и совсем на него непохоже, потому что всё в мире — в движении, только времени, видимо, нет, есть — светил и судеб кружение, есть — кровей и мыслей брожение, в небесах над землёй — положение всех известных ныне планет, нет старения, есть — горение, вдохновение и дарение, всем землянам, наших искусств, есть — природа творчества, светлая, есть — энергия жизни, смелая, сила духа, есть — рать несметная всех людских бесконечных чувств, есть любовь, что ночей бездоннее, и земная, и неземная, есть прозрения, есть гармония, о которой давно я знаю, есть — победа над злом, всегдашняя, торжество грандиозной битвы, есть сражения врукопашную, есть надежды и есть молитвы, есть всё то, что свыше даровано, что ведёт вглубь, вперёд и ввысь, вот и смотришь порой очарованно, как над миром звёзды зажглись, есть призывание — и создание, в этой жизни, своих миров, есть — великое созидание, есть земной, да и звёздный, кров, есть — свой путь, что упрямо тянется из далёких, туманных лет, есть всё то, что навек останется, что хранит драгоценный свет, есть — сияние, и — слияние с мирозданием всем, тогда проявится и расстояние — от бывшего до настоящего, до грядущего, предстоящего, чтобы стать родным — навсегда.

Были встречи. Столько, что все они бесконечной встают чередой там, вдали, посреди отшумевшей на ветрах, минувшей эпохи, были, были, вовсе не сплыли никуда, ведь память жива, ну а с нею живы слова, для которых пространство и время не помеха вовсе, а просто что-то вроде среды обитания, были, помнятся все детали, были, нынче легендами стали, явью, былью ненастных лет, сберегли сокровенный свет, значит, были нужны, важны, значит, было в них нечто такое, что хранило сердце людское в годы трудные, душу спасало, достоянием общим стало всей богемы — хвала ей и честь. Были — значит, доселе есть.

Миновали шестидесятые. Крылатые, молодые.

И на смену им тут же пришли — суровые семидесятые.

На события всевозможные и на беды сплошные богатые.

Для кого-то — просто тяжёлые. Для кого-то — совсем седые.

В этом тексте своём, похожем на поэму или на эпос, говорю я о Толе Звереве — и не только о нём, конечно.

В этом тексте я говорю об эпохе былой, о времени, том, которого, как утверждают знатоки разномастные, нет, потому что весь мир — иллюзия, виртуальная вроде реальность, сон, и всё же, как ни крути, это явь, уж такая, как есть, и такая, какой была эта явь когда-то, давно, и такая, какой эта явь будет, видимо, и в грядущем, там, где встретимся все мы, герои андеграунда, нашей богемы, в том, что создали мы, чем жили, в нашем творческом щедром единстве, в нашей жизни земной и в нашем несравненном, великом горении, словно в светлом и радостном мире, в благодарной, надеюсь, памяти человеческой, той, желанной и заслуженной, осиянной несказанным светом прозрений, в понимании добром людском.

В этом тексте я говорю немало всего о наших, общих, для всей богемы столичной, семидесятых, но всё-таки — и о моих, личных, так я скажу, и сделаю правильно, знаю, бездомных семидесятых, невероятно сложных, закаливших меня, конечно, тех, в которых я выжил, в которых был поддержан, да и спасён, вопреки всем невзгодам, — творчеством.



(...Отыскался мой давний набросок.

Оказался — с виду — небросок.

Только в нём — прежней жизни кусок.

Сразу кровью набух висок.

Сердце сжалось. Душа встрепенулась.

Неужели что-то вернулось?

Ненадолго? Или — навек?

Эх, наивный я человек!

Что гадать об этом — теперь?
Жизнь — моя. В ней не счесть потерь.
Обретений и снов — не счесть.
Нечто странное в этом есть?
Нечто светлое, всё же? Так.
Безусловно. Светлее стало.
В мире. В яви. Её ли мало?
Звук ли с призывком? Добрый знак.

Истрёпанные, пожелтевшие, но всё-таки уцелевшие, завалявшиеся в бумагах, разрозненные листки.

С изрядным трудом, признаться, разбирая свой собственный почерк, попробую прочесть этот текст о минувшем времени.

День этот — день особый — начался, понимаю теперь я, задолго до своего места в календаре.

Пространным к нему предисловием было вынужденное, донельзя утомительное хождение моё по московским улицам — вроде бы и среди людей, вон их сколько везде, но в то же время и в полном одиночестве, абсолютном, полнейшем, непоправимом, невыносимом, осторонь от всех и всего вокруг, наедине с самим собой, со своими, то смутно сквозящими, холодящими, то воспалённо-жаркими, возникающими непрерывной чередой в усталом сознании, скомканными, запутанными, с узелками событий, завязанными наугад, лишь бы вспомнить, мыслями, с житейскими, бесконечными тогда, своими проблемами, из которых самыми важными были в ту трудную пору хотя бы недолгий отдых и желанный ночлег, на любых, даже самых жёстких, условиях, где угодно, когда угодно, лишь бы голову приклонить, лишь бы снова почувствовать эту безопасность приюта мнимую, безопасность дома, любого, пусть знакомого, пусть чужого, безопасность простого крова, да и только, почти гнезда.

Тогда — Боже мой, каким же чудовищным, да и только, представляется это нынче, в спокойную, пусть относительно, и на том ей спасибо, пору жизни моей, — я бездомничал.

Семилетняя полоса измотавших меня вконец, показаться могло кому-то не случайно, моих скитаний подходила уже к завершению, но я, бродивший по городу с утра и до вечера, этого, пока что, ещё не знал.

Одно лишь изредка брезжащее впереди предчувствие скорых перемен в судьбе, неизбежных, удивительных и спасительных, потому что нельзя иначе, потому что вера с надеждой зажигают звезду во мраке на пути земном, и любовь окрыляет и совершает чудеса, да ещё какие, это знал я и этого ждал, заставляло меня, встряхнувшись, не поддаваться панике, не впадать всё чаще в хандру, или, хуже того, в тоску, что совсем уж хреново, но, вопреки всему, что мешало мне дышать, вопреки жестокой, с перебором большим, действительности, закрутившей со мной затянувшийся свой рискованный эксперимент, на грани срыва и взлёта, почуяв светлое что-то, упрямо и стойко держаться.

Тот, кто вдосталь намаялся в прежние, посреди бесчасья мерцающие, как фонарики за кормою проплывающих в гуще тумана молчаливых судёнышек, годы — без угла своего, без средств пресловутых к существованию, без одежды, необходимой по сезону, пусть самой простой, лишь бы грела зимой, лишь бы летом защищала от зноя, и ладно, всё сгодится, что есть, то есть, не до выбора, не до моды, говорить об этом смешно, а смеяться над этим грешно, вообще без всего такого, что является всем, от мала до велика, давно знакомыми и понятными всем приметам нормальной вполне, человеческой, без излишеств сказочных, жизни, — пребывая в каком-то подвешенном, не сказать поточней, состоянии, отодвинутым будучи страшной повседневностью, сонмами будней, беспросветных

и хищных, куда-то на обочину той дороги, по которой гуляет советская и, значит, отличная, лучшая в мире, со знаком качества в петлице, вместо цветка, не до лирики ей, реальность, подалее от глаз, туда, к вынужденной богемности, к неприкаянности, к отверженности, — понимает меня, с полуслова, с полувзгляда, и хорошо, лучше всех остальных, уверяю вас, дорогие сограждане, знает, испытав это всё на собственной, на своей, а не чьей-нибудь, шкуре, как жестока и равнодушна к человеку бывает Москва.

Так всё складывалось, что мне совершенно некуда было, ну хоть вой, хоть кричи, всё равно не услышит никто, податься, не к кому было зайти, ненадолго совсем, отдышаться, успокоиться, пусть на часок, даже меньше, на всё был согласен я тогда, но куда деваться, если некуда было идти, просто некуда, не к кому вовсе, — никуда, увы, не пойдёшь, ни к кому, словно встарь, не зайдёшь, никого нигде не найдёшь, и на все вопросы ответ был один-единственный: нет.

Многочисленные знакомые, словно загодя сговорившись меж собою, все, в одночасье, непонятно куда запропали.

Нет — и всё тут. Где их искать?

Пустота, вместо них, какая-то нехорошая. Тишина бестолковая. Темнота? Маета с теснотой? Кто знает!

Свято место, вроде, — ан пусто.

Знать, бывает. Идей — не густо.

Мыслей — хоть отбавляй. С избытком.

Не прибегнуть ли вновь — к попыткам?

Чай, не пытки. Ну что ж, рискнём?

Не впервой играть мне с огнём.

Не впервой идти на авось.

И откуда это взялось?

Всё оттуда — из лет былых.

Из бездомиц, из бед сплошных.

Из невзгод. Наугад — вперёд.

Через реку времени — вброд.
Сквозь огонь, и дождь, и снега.
Благо жизнь была дорога.
Хоть висела — на волоске.
Хоть несладкой была — в тоске.
И — нескладной. Нелепой. Пусть.
Это помнится — наизусть.
Это было — не с кем-нибудь.
Был тернист и кремнист мой путь.

Заходил я, снова и снова, пересилив себя, шатаюсь, от усталости многодневной, и от голода, что там скрывать, в очередной, попавшийся, на пути моём, на глаза мне, телефон-автомат, в пустую, тесноватую, душную будку, с разбитыми стёклами, с дверью расшатанной, с трубкой, висящей на длинном шнуре, бросал дефицитную, сэкономленную двухкопеечную монетку, набирал, полистав записную книжку, чей-нибудь номер, в надежде, что вот-вот дозвонюсь куда-то, доберусь куда-то, вот-вот, потерпеть осталось немного, и грядёт впереди подмога, и удача, возможно, ждёт.

— Алло! Меня слышно? Алло!

Но, как назло, не везло.

В ответ раздавались либо длинные, заунывные, однотонные, механические, ни туда, ни сюда, сигналившие о крушении всех надежд, сообщающие, без всяческих слов, ненужных и лишних вовсе, ни о чём, вот и всё, гудки, либо голос невыразительный, отвечал, что сейчас такого-то, по причинам, ему неведомым, разумеется, дома нет.

Измотанный, полуживой, с тяжёлою головой, с растрёпанными волосами, под столичными небесами, среди стен и оград, один, с бородою рыжей, с портфелем, в котором лежали стопки рукописей моих тогдашних, да корка хлеба чёрствая, да вода во фляге, да несколько книг, в состоянии то ли транса, то

ли просто-напросто близком к обморочному, что было действительно ближе к истине, двигался, шаг за шагом, я, человек бездомный, никому на свете не нужный, несмотря на все свои, оптом, вон их всё-таки сколько, таланты, ну и что с ними делать, нищий, вот уж точно, по существу, хмурый, хворый, бедняга, бродяга, тот, в чьём сердце живёт отвага прозорливца, поэта, мага, никакого ни видя блага ни в тепле, вернее, жаре, ни в прохладном ближнем дворе, ни в деревьях поодаль старых, ни в ампирных, в сторонке, чарах, вдоль пыльных, с асфальтом в трещинах и выбоинах, тротуаров, отрешённо, словно по воздуху, мне мерещилось, переходил, на зелёный, дозволенный свет, проезжую часть шуршащих, верещащих машинами улиц, изредка, чувствуя дикую, иначе не скажешь, усталость в ногах, ненадолго присаживался на выкрашенные недавно жирной зелёной краской с ядовитым въедливым запахом скамейки, переводил дух, а потом, напрягаясь, пусть с усилием, но вставал, и шёл, но куда же, знать бы об этом тогда мне, дальше.

Встречные-поперечные прохожие косо поглядывали на меня — и, на всякий случай, во избежание разных, нежелательных, но возможных, и особенно здесь, в Москве, столкновений или вопросов, на которые отвечать никому из них не хотелось, или, может быть, разговоров, что само по себе отпадало, отметалось немедленно всеми, нет, и всё, забывалось тут же, потому что дорого время, а здоровье ещё дороже, да и нервные клетки потом, как ни бейся, не восстановишь, и поэтому лучше мимо раздражителей сразу пройти, и, тем более, мимо этого, бородатого и кудлатого, в пиджаке измятом, с портфелем, что в портфеле, поди гадай, может, бомба, а может, граждане, прокламации, или выпивка, вон какие глаза соловые, неспроста это, лучше быть начеку, держаться подальше, так спокойнее, так надёжнее, в толчее людской, в суматохе, в нервотрёпке нашей эпохи, где сплошные ахи да охи прерывают редкие вздохи

одиноких субъектов, бредущих сквозь толпу, чего-нибудь ждущих от кого-то, или не ждущих вообще уже ничего, всё равно, и какое дело всем до всех, ведь страна хотела жить спокойно, да где покой, где, скажите, прелести быта, всё для всех навсегда закрыто, лишь разбитое ждёт корыто, вместо царства, да под рукой только скомканная авоська, чтоб с работы с ней в гастроном заскочить за манной земной, — обходили меня стороной.

Лица их густо пестрели. Роились. Дробились. Множились.

Пересекали Садовое, в рёве машин, кольцо.

Скомкались. Нет, скукожились. Выцвели. Подытожились.

Что-то случилось? Вроде бы все — на одно лицо.

Стали сливаться в общее, тусклое, смутноватое, будто бы виноватое в чём-то дурном, пятно.

Перемешались в мареве, в едком, угарном вареве, именно в том, где только что были все заодно.

Всякие городские, много их слишком было на каждом шагу, подробности мозг мой уже не улавливал.

Растерянно шурясь, брёл я на свет раскалённого солнца, инстинктивно вбирая, впитывая, впрок, возможно, его энергию.

Не до шуток мне было. Сердце побаливало. Нашарил я валидол в кармане, таблетку положил под язык, почувствовал сладковатый, успокоительный, для меня, по привычке, вкус лекарства, скорее — конфеты, но считать мне хотелось — лекарства.

Боль была — какой-то сквозной.

Сверху донизу — всё болело.

Что за странности? В чём же дело?

Был взволнован я. Что со мной?

Промелькнул, пусть на миг, испуг.

Отогнал его. Где ты, воля?

Вдосталь в жизни — всяческой боли.
Распадаться нам недосуг.
Не сдаваться! За кругом круг.
Шаг за шагом. И миг за мигом.
К новым встречаю. И — к новым книгам.
А потом — и к себе, на юг.
Если вырвусь отсюда снова.
Если сызнава повезёт.
Я надеюсь. А боль — пройдёт.
Непрерывно. Честное слово.
Так вперёд! Сквозь тоску — вперёд.
Сквозь усталость. И сквозь бездомность.
Вечер скоро. Небес огромность.
Безусловность грядущих льгот.
Обретений возможных свет.
Пробуждений. Прозрений новых.
И — путей впереди. Суровых?
Лёгких — попросту в мире нет.

Истощение, да и только, — подобное состояние, как ни думай о нём, иначе, очевидно, и не назовёшь.

А может быть, просто усталость, общая, так ведь спокойнее, — следствие предыдущих, на износ, тяжелейших недель.

Надо было справиться с этим состоянием — предстояния: перед всем, что ждало меня впереди, что вставало там, за домами, за грозным гулом городским, за каждою крышей, каждым деревом, каждым окном, каждым, даже тревожным, сном, каждым, чудом пришедшим, благом, каждым поднятым в небо флагом, каждым шагом — в пространстве, сквозь время, сбросив с плеч всех скитаний бремя, всех бездомниц моих кошмар позади наконец оставив, и воспев, и навек прославив, коль сумею, душевный жар, и найти заветное слово, чтобы впредь его укрепить, надо было мне — выжить снова, чтобы дальше — дышать и жить.

Итак — что же было? Долгое моё, по мукам, хождение, с утра, и весь день, и вечером, и ночью, что вдруг пришла.

По улицам с переулками, с проездами, закоулками, бульварам, дворам и скверам, — знать, не было им числа.

Вокруг прудов Патриарших, и дальше, куда-то в сторону и вглубь, в густоту застройки столичной, и ввысь, почти.

Сирень ли цвела в округе, ну впрямь, как у нас, на юге, но влагою пряной пахло везде на моём пути.

Вдосталь наслушавшись пения голосистых предутренних птиц, почему-то я оказался в пустынном саду «Аквариум», где и встретил встающее солнце.

Стены театров поблизости смотрелись какой-то странной, вычурной декорацией.

Главное было в том, что рядом цвели деревья.

Сощурившись и соскучившись не на шутку по красоте, смотрел я на свечи каштанов, каскадами вертикалей излучавшие белый, тихий, с розоватой прослойкой, свет, на яблони, благоухание которых казалось мне утренним шёпотом из далёкого, но доселе близкого детства.

И только две-три фигуры, застывшие, как изваяния гипсовые, на скамейках, да чья-то собака лохматая, бредущая по дорожке, порою напоминали о присутствии в мире, в столице, в непреложной яви, людей.

...Вот и всё, что, с трудом, с усилием, как сказал однажды Толстой, а потом, через много лет, повторил за ним Заболоцкий в своих поздних стихах чудесных, удалось мне, грустно вздохнув о былом, головой качая поседевшей, всё ж разобраться.

Но зато — сразу, если не всё, то уж точно многое вспомнилось.

Приходится, вот как бывает, подумать ведь только, себя, с опытом всем своим немалым, с памятью, с музыкой, возрастающей в ней, встающей над годами сиянием, лунным, или

солнечным, или звёздным, и звучащим, буквально сдерживать, чтобы прямо сейчас, немедленно, не теряя времени, начерно или набело, как получится, как уж выйдет, хотя бы часть, хоть какую-то кроху этого, навсегда, звучания зримого, мне, в который уж раз, даримого кем-то свыше, не записать.

Как сдержаться? С трудом, с усилием? Звуков явленным изобилием, знаков, символов, смыслов, тональностей речь полна — они не молчат.

И звучат голоса из прошлого, в переключку вступая с нынешними голосами, да и с грядущими, несмотря ни на что — звучат...)

(...А потом? Что было потом?

Да, я помню, что было — потом.

Оказался я, набродившись по Москве, в чьей-то маленькой комнатке, расположенной в глубине коммунальной огромной квартиры.

Знакомый какой-то шапошный оставил меня у себя. Наверное, из сострадания. Чтобы я отдышался здесь. А сам ушёл на работу.

Был измучен я, до предела.

И, похоже, ещё и болен.

Поднялось давление снова.

Приходилось терпеть. Лекарств никаких и в помине не было.

Я прилёг на тахту. Смотрел за окно. Там шумела улица. Проезжали машины. Слышались голоса людские. Чирикали воробьи. Там кипела жизнь.

Ну а здесь, где лежал я, не было ничего — ни еды какой-нибудь, ни воды, шаром покати.

Пусто. Тихо. И темновато.

Лишь стекло оконное, грязное, в мутных пятнах, давно немытое.

Лишь тахта, скрипучая, старая.

Лишь тоска. И усталость. И — боль.

В голове моей поневоле зазвучала какая-то музыка.

Я достал тогда из кармана чуть измятый, вчетверо сложенный, желтоватый бумажный листок.

Записал на нём строки стихов.

И тогда-то в дверь комнаты, где я лежал и писал стихи, постучала громко соседка и сказала мне:

— К вам пришли!

В коридоре раздался топот.

Отворилась дверь. На пороге появился вдруг — Толя Зверев.

Он воскликнул:

— Привет, Володя!

Изумился я:

— Ты откуда? Как сумел ты найти меня?

Зверев сел на единственный стул и промолвил:

— Ты мне приснился.

— Как — приснился?

— Да так. Приснился. Мне приснилось, что ты — в беде, и тебя мне надо спасать.

— Как нашёл ты меня?

— По чутью. Как всегда. Я это умею.

Зверев сунул руку за пазуху и достал оттуда бутылку армянского коньяка. Открыл бутылку. Нашёл на столе гранёный стакан. Сполоснул его коньяком. Содержимое выплеснул на пол. Налил половину стакана золотистого коньяка. Протянул мне стакан:

— Быстро выпей!

— У меня давление, Толя.

— Пей. Не будет сейчас давления.

Взял стакан я. И выпил коньяк.

— Скоро будешь совсем здоров! — произнёс тоном лекаря Зверев.

И действительно, мне стало легче.

И сказал я тогда:

— Помогло!

— Ну, вот видишь! Я знаю, что делаю.

Я присел на краешек скрипнувшей старой, ржавой пружинной тахты.

Закурил. Посмотрел на Зверева.

Он сидел на стуле, как будто на коне боевом, в седле.

Я спросил его:

— Выпьешь, Толя?

Он ответил кратко:

— Потом! А тебе надо выпить снова.

И плеснул мне в стакан коньяк:

— Ну, давай! Немедленно выпей.

И пришлось мне выпить коньяк.

И себя я почувствовал лучше.

Зверев снова налил коньяк, половину стакана:

— Пей!

— Эх, была не была! — я выпил.

Потеплело в груди. Боль прошла.

Зверев пристально посмотрел на меня — и сказал:

— Ты здоров!

И действительно, я почему-то был теперь совершенно здоров.

Я сказал:

— Ты волшебник, Толя. А ещё и целитель, пожалуй.

Зверев хмыкнул:

— Что есть, то есть. А теперь тебе надо — поесть.

И — достал из своих бездонных и волшебных, наверно, карманов кусок ветчины свежайшей, буханку белого хлеба, луковицу, головку чеснока и румяное яблоко.

И сказал мне:

— Всё это — съешь!

И, представьте, я всё это — съел.

И стал — совершенно здоровым.

Зверев был доволен. Он хрюкнул. Произнёс наконец: «Бодрит!» Улыбнулся лукаво. Полез, как заправский фокусник,

ловко и привычно, к себе за пазуху. И достал оттуда — кусок ветчины, да побольше первого, и буханку белого хлеба, и большую жёлтую луковицу, и головку белого, твёрдого чеснока, да ещё и два яблока. И потом, после некоей паузы, артистично, конечно, выдержанной, достал и поставил на стол две бутылки сверкнувшего золотом армянского коньяка.

И сказал:

— Теперь поедим. Вдвоём. И, понятно, выпьем.

И мы с ним поели. И выпили.

Я сказал ему:

— Знаешь, Толя, ты вернул меня к жизни. Я очень благодарен тебе за это.

Зверев сразу ответил:

— Не за что. Ты меня столько раз выручал. Да ещё и спасал не единожды. Всё я помню. Дружба есть дружба.

Я сказал:

— Да, дружба есть дружба.

Мы сидели вдвоём, в задрипанной и неубранной чьей-то комнатке. Говорили. О том да о сём. Как всегда. Было нам спокойно. И уютно даже. Коньяк согревал нас. Никто не мешал нам. И никто нам не досаждал. В самом деле, дружба есть дружба.

И сказал мне Зверев:

— Старик! Почитай мне стихи свои. Это надо сейчас. Почитай!

И читал я стихи. И Зверев их внимательно очень слушал. И сказал мне своё:

— Хорэ!

А потом — ушли мы куда-то. Побродить, как прежде. Вдвоём.

По московским весенним улицам, где вечерний синел окоём.

А потом — всё дальше и дальше.

В глубину эпохи былой.

Той, что трудной бывала раньше.
Донимавшей ненастной мглой.
Ввысь. В грядущее. К звёздам ясным.
К новым подвигам — там, вдали.
Тем, что светом сильны прекрасным.
Он вовек не уйдёт с земли...)

Было — что-то, чего и не выразишь так вот, сразу, не сформулируешь, потому что это и жизнь, и судьба, да и многое прочее, не случайность, а неизбежность, то, что было нам предначертано свыше, видимо, что привело, нас обоих, в итоге, к дружбе.

К дружбе — той, что дороже многих.

К дружбе — той, что осталась в памяти, несмотря на всякие сложности жизни прежней и несмотря на характеры наши, разные, и на разные наши судьбы, непрерывным, неугасающим и поныне, таким, который исцеляет и поднимает над обыденным и жестоким, надо всем, что мешает творчеству, над землёй, сквозь дождь или снег, сквозь любые приметы времени, сквозь пространство, с его причудами, парадоксами и загадками, сквозь любые тайны, сквозь явь, за которой настанет правь, сквозь невзгоды, туда, где новь, ну а с нею и та любовь, что спасла меня в те года, что пришла ко мне навсегда, золотым, драгоценным светом.

Дружба — дар.

И творчество — дар.

И гадайте нынче, мои современники и читатели, что, да как, почему, да зачем это было. И есть — доселе.

В самом деле?

Да, в самом деле.

Было. Есть. И останется — жить.

В том грядущем, что встречи ждёт.

Что когда-нибудь — вдруг придёт.

И — раскинет вновь за собою звёздный шлейф давнишних, волшебных, да, представьте себе, волшебных, пусть и были

они земными, под ненастными небесами, небывалых порой событий, встреч, историй, в диапазоне от забавных до драматичных или даже трагичных, поскольку были годы наши минувшие, несомненно, трагичными, да, это так, это было, как данность, грубой нитью багровой прошло наши судьбы и наши надежды на желанное, лучшее время, но и радости было в них тоже предостаточно, потому что было главным для всех нас — творчество, созидательный, непрерывный, благородный, отважный труд.

Вот поэтому нас называют — андеграундом. Так уж вышло. Так сложилось. Но что же, всё-таки, для теперешних поколений, этот самый, родной, привычный, наш, отечественный андеграунд?

Что ж, зажгу, словно встарь, свечу.

Разобраться попробую в этом.

Пониманья от вас хочу.

Речь — в ночи, заодно со светом.



В Сокольниках? Да, в Сокольниках.

Ну конечно. Где же ещё?

В Сокольниках. Именно там.

На особенной территории.

В годы прежние — на приволье.

На природе. Конечно, и так.

Или, можно сказать, — на свободе.

Вдали от невзгод городских.

Там — деревья. Там — легче дышится.

Там — спокойнее для души.

Там в аллеях — музыка слышится.

Всем Сокольники хороши.

Мы решили пойти со Зверевым — так уж вышло однажды — в Сокольники.

И не просто так — погулять, побродить по местам знакомым.
Но — на встречу с друзьями нашими. Нас они должны были ждать.

Где? Да там, где мы с ними условились повидаться, в назначенный час.

И пришли мы на встречу — вовремя.

И увидели — издалека — всех троих наших славных друзей.

Почему же — издалека?

Потому что наши друзья были слишком заметными, были, как известно, людьми высокими. Каждый — метр девяносто с лишним. И сидели они на скамейке, возвышаясь на нею, как некие небывалые вертикали, или — вежи, или — столпы, или — может, и так, — изваяния, но — живые, само собою, да ещё какие живые! — жизни было в них столько тогда, что хватило бы и на сотню современников, — и бурлила в них жизнь, да так, что летели искры электрические от них, рассыпались в разные стороны с треском, вверх высоко взмывали, окружали их ореолом, жгучим, жарким, вполне знакомым и привычным — для всех троих.

На скамейке сидели — Игорь Ворошилов, похоже — трезвый, укололицый и длинноносый, в старом плащике тесном, Веня Ерофеев, со светлым чубом, развевавшимся на ветру, словно знамя, и Рафаэль Зинатулин, худой, очкастый.

И они — все трое, все разом, — говорили, да так увлечённо, вдохновенно, о чём-то важном, было ясно, для всех троих, — что слова их взлетали, казалось, вверх, с осенними листьями вместе, и кружились над ними в воздухе, и на землю совсем не падали, оставаясь там, наверху, где сгущался в облачном небе, чтобы там задержаться подольше, ясный, тихий, волшебной музыкой нараставший, звучащий свет.

Я хотел было ринуться к ним — но Зверев как-то внезапно, беспокойно, меня удержал.

Кивнул головою в сторону — и прошептал:

— Менты!

Потом взгляделся куда-то — и уточнил:

— Нет, мент. Один. Пока что — один. Но всё равно ведь — мент.

Посмотрел я туда, куда он кивал, напрягаясь, волнуясь, — и тоже увидел мента.

Одного. Настоящего. В форме.

Это был человек небольшого, даже маленького росточка.

Но, как Зверев говаривал, — враг.

И этот маленький мент, которого наши друзья не видели, разумеется, потому что сидели спинами к нему и вели свои разговоры, — какую-то прыть проявлял, охотничью прямо, и вкрадчивыми шагами приближался сзади к скамейке, где сидела дружная троица.

Зверев сказал:

— Подожди. Не спеши. Посмотрим, что будет.

Я ответил:

— Давай подождём.

А наши друзья — говорили.

Ворошилов:

— Хлебников — гений! Угол зрения — вот что важно. Зорким стань — и ты всё поймёшь!

Ерофеев:

— Кстати, у Ибсена есть один любопытный ход. Он для прозы — незаменим.

Зинатулин:

— Суры Корана, я скажу вам, — это поэзия!

Ворошилов:

— Помню, когда прочитал я Бёме впервые, мне открылось такое, братцы, что прозрел я тогда навек!

Ерофеев:

— Пер Гюнт! Вот это Скандинавия! Это музыка!

Зинатулин:

— Восток! Хайям! Авиценна! Дервиши, суфии!

И так далее. Как ни странно, разнობоя в словах друзей вроде не было. И друг друга хорошо они понимали.

Зверев тихо пробормотал:

— Ну и умные ребятишки!

Я ответил:

— Что есть, то есть.

Зверев:

— Им бы в Кремле сидеть — да страной управлять оттуда.

Я:

— Никто их не пустит в Кремль.

Зверев:

— Знаю. Да я шучу.

Я:

— Ребятки у нас — образованные.

Зверев:

— Ум — хорошо. У них, получается, — ум тройной. Как известный одеколон. Но не ум — один на троих. Три ума. И заметь, все — разные.

Между тем этот маленький мент почти подобрался к скамейке, на которой столь увлечённо говорили наши друзья.

Видимо, вообразил, что они выпивают. Иначе — зачем же им громко так говорить? На трезвую голову по-другому совсем говорят.

И вот этот маленький мент подошёл вплотную к скамейке.

И — за спинами у ребят — завопил повелительным тоном:

— Так! Попались? Что, распиваете? Доигрались? А ну-ка — встать!

И друзья наши — переглянулись меж собою, недоуменно и спокойно. И — встали тогда.

И внимательно посмотрели — с высоты своей — вниз, на мента.

Ворошилов сказал:

— Приветствую!

Ерофеев сказал:

— Ну, здравствуйте!

Зинатулин воскликнул:

— Салам!

Ворошилов:

— Да здравствует Хлебников!

Ерофеев:

— И Северянин!

Зинатулин:

— И Авиценна!

Мент, растерянно:

— Где вино?

Ворошилов:

— Да нет вина!

Мент:

— А водка? Где водку прячете?

Ерофеев:

— И водки нет. А была бы — давно бы выпили.

Мент:

— А пиво? Пили вы что-нибудь?

Зинатулин:

— Увы, не пили!

Мент:

— А что же вы громко так говорили, не выпивая?

Ворошилов:

— Беседы наши — философские. Рассуждаем о величии бытия.

Ерофеев:

— Терминологию можем мы упростить, для вас.

Зинатулин:

— Подкорректировать.

Мент:

— Ну вот, развели антимонию! Говорить вы горазды. Выходит, вы совсем ничего не пили?

Ворошилов:

— Совсем ничего.

Ерофеев:

— Ну да. А хотелось бы.

Зинатулин:

— Совсем не пили!

Мент:

— Не знаю, что и сказать!..

Он стоял, растерянный, маленький, там, внизу, — а над ним возвышались трое наших богатырей.

Гренадеры. Нет, великаны.

С высоты почти двухметрового роста, как будто с башен, смотрели они сочувственно на маленького мента.

Что ему оставалось делать?

Мент сказал:

— Ну, ладно. Бывайте! Только с выпивкой чтобы — ни-ни!

И ребята, все вместе, воскликнули:

— Ну конечно же! Ясно. Прощайте!

И мент ушёл восвояси — куда-то. И растворился где-то там, далеко, — навсегда...

И вспомнил я строки Хлебникова:

— И призраком ночной семьи застыли трое у скамьи.

Конечно же — с коррективами.

Из яви. А может — из сказки.

Из мифа. Или — предания.

Понятно, что — не семьи.

Тем более — не ночной.

А просто — дружеской троицы.

Но Хлебников был — я чувствовал это — совсем рядом.

А иначе вот здесь, в Сокольниках осенних, — и быть не могло.

Был, присутствовал, жил — за каждым словом и взглядом.

Смотрел на всех нас — внимательно, задумчиво и светло.

И тогда мне Зверев сказал:

— А теперь, Володя, пойдём! Заждались нас, видно, ребята!

И сказал я:

— Да, Толя, пойдём!

И мы подошли к друзьям.

Раздались восклицания наши, зазвучали в парке осеннем настоящей дружеской музыкой нашей встречи и наших имён:

— Здравствуй, Толя!

— Здравствуй, Володя!

— Здравствуй, Игорь!

— Веня, привет!

— Рафаэль, привет!

— Вот и встретились!

— Да, явились, не запылились.

— Нам пылиться, пожалуй, рано!

— А явиться — милое дело!

— Выпьём?

— Выпьём!

— А где?

— Найдём!

— Не впервой!

— Конечно!

— Ещё бы!

И нашли мы то, что хотели, в павильоне каком-то дальнем.

И отправились — вглубь Сокольников, чтобы там быть поближе к природе и подальше от всяких ментов и подобных им раздражителей.

Пусть общению нашему дружескому в старом парке московском, в осеннюю, переполненную поэзией задушевной, чудесную пору не мешает отныне никто!

И там, в глубине лесной, можно сказать — в глуши, хотя эта глушь лесная находилась в столичном городе, но была, тем не

менее, в нём отдалённой от шума и гула, от любых примет городских, и казалась нам полной свободой, драгоценной, желанной волей из преданий, песен и сказок, откровением, нам дарованным на какое-то время, и явленным, в чём сомнений не было, свыше, выпивали мы, не спеша никуда, чинно, скромно, на свежем воздухе, — и, конечно же, говорили.

Разговоры прежние наши — вовсе не были болтовнёй.

Разговоры были — серьёзными.

Нас поддерживали они.

Помогали нам — выживать.

Помогали сплотиться нам, ощутить единство среды нашей давней, отзывчивой, дружной — и, что самое важное, творческой.

Не хватило тогда нам выпивки.

Захотелось нам всем — продолжить.

Только денег у нас — уже не было.

Но волшебник Зверев сказал:

— Ерунда! У меня есть деньги. Завалялись в кармане. Вперёд! В магазин, поскорее! Бодрит!

И отправились мы в магазин.

И встретили по дороге — маленького мента.

Он взглянул на нас — и сказал:

— Вы, я вижу, всё-таки выпили!

Мы ответили:

— Так, слегка!

Мент сказал:

— Вот и я — тоже выпил. От тоски. Надоело всё — и дежурства эти дурацкие, и Москва. Вот у нас в деревне — красота! Живи — не хочу. И зачем я припёрся в город? Он совсем чужой для меня...

Ворошилов сказал:

— Так, может, с нами выпьешь?

И мент ответил:

— Нет, спасибо. Нельзя мне. Служба. Ну а вы, если хочется, выпейте. Только помните — поосторожнее.

Ерофеев сказал:

— Постараясь!

Мент:

— Вот именно!

И ушёл.

Одинокий, маленький, грустный.

— Жаль его! — сказал Рафаэль.

Зверев:

— Жаль? Не забудь: он — мент. Из деревни в город приехал? Ну и что? Мог остаться в деревне. Сколько раз меня били менты — и небось, такие, как он, из деревни, тоже ведь били. Впрочем, если по-человечески, то его действительно жаль. Не надо было идти деревенскому парню — в менты...

Что было потом — понятно.

Всё равно мы выпили вскоре.

На Сокольническом просторе.

Славно выпили — впятером.

И никто не мешал нам — и выпить, и по-дружески поговорить.

И погода была — хорошей, и нисколько не уставала все красоты поры осенней, вместе с явными чудесами, нам, друзьям, собравшимся вместе, здесь, на воле, в тиши, — дарить...



Вот уже пятьдесят семь — вы подумайте только — лет, то есть — более полувека, сопутствуют мне — в Москве, да и не только в ней, — работы Володи Яковлева.

Их — везде — великое множество.

Придётся иногда, по старой, но ясной доселе памяти, повидаваться, в кои-то веки, с кем-нибудь из приятелей давних, в зна-

комый с минувших времён, молодых, невозвратных, но, впрочем, сохранивших своё обаяние и значение и теперь, обжитой, хоть уже постаревший, не забывший легенды былые и события лет героических, весь — история, хроника, летопись, или светопись, уцелевший даже в новом столетии, дом, — а там неожиданно, внезапно, снова, как прежде, затронет струну потаённую в сердце, в его глубине, сокрытой от чуждых ему вторжений, висящий привычно, долго, где-нибудь на виду, на стене, в окантовке совсем уж простенькой, отрешённый от всех — и всё же так и рвущийся к нам, ко всем, и живым, и ушедшим, к людям, самым разным, из той эпохи, что уже отшумела встарь, но упрямо жива и ныне, как и всё, что создано нами, что оставлено вам, потомки, словно щедрый наш дар, сквозь время и пространство, сквозь жизнь, такую, как сложилась она когда-то, пусть и трудную, но зато и прекрасную, потому что всем дана она, безусловно, не напрасно и не случайно, совершенно забытый кем-то на ветрах суровых былого или найденный кем-то вдруг, для себя наконец открытый, сбережённый, как символ творчества, или знак чудотворства явного, или весть волшебства, а может быть, растревоживший отзвук празднества духа, воли, судьбы, горения неустанного, вне старения, вне канонов и категорий, с новизной победной в явлении миру беспокойному, всей вселенной, одинокий, грустный цветок.

Или где-нибудь в мастерской приятеля, посреди холстов и картонов, в какой-то особенный день или миг, но всегда, как ни странно, вовремя, вдруг посмотрят в упор на тебя затуманенные когда-то давней болью, горькой и долгой, выразительные донельзя, вопрошающие о чём-то, сокровенном и незабвенном, призывающие опять к пониманию и вниманию, широко открытые или почему-то полузакрытые, но такие живые, ждущие доброты и любви, живущие посреди невзгод и страданий, пусть и нет им всем оправданий, выживающие сквозь мрак, прозорливые, молчаливые, к свету рвущиеся глаза с яковлевского портрета.

Случайно увидишь абстракцию периода раннего яковлевского — и воспринимаешь её, как поданный только тебе из всех остальных современников ушедшим в прошлое временем, понятный обоим вам знак.

А то и целая — вот она — вереница пространная образов пройдёт, удивляя сызнова, перед тобою в чьей-нибудь давно и любовно собранной и ревностно сберегаемой, драгоценной, личной коллекции.

Всюду — Яковлев. И не только, подчеркну, в российской столице.

Разбредись, разлетелись, развеялись по белому свету его многочисленные творения — приметы, загадки, символы ушедшей бурной эпохи.

Дыхание этой эпохи хранят они неустанно и в частных квартирах, где их любят и берегут давно, и в музейных залах.

И — дух её. Вот что важно. И — зрение, небывалое, необычное, уникальное, неповторимое зрение чистой, незащищённой, но и отважной души.

Чем дольше и чем внимательнее, особенно с возрастом, глядяшься в наивную с виду гуашь, тем отчётливее и яснее понимаешь: в ней, словно в русском лирическом стихотворении, таится некий, всеобщий, вселенский, наверное, код.

И очень даже возможно, что это — код мироздания.

Как найти к нему ключ? Как узнать то, что выразил интуитивно художник, то, что хотел он когда-то всем нам сказать?

Молчит одинокий цветок.

И только звучат в сознании прочитанные мне однажды, в шестидесятых, Яковлевым его, наивные, вроде бы, но провидческие стихи:

— На зелёном поле, на зелёном поле он один стоит, ничего не говорит, на зелёном поле...

И вспоминаются, вслед за стихами, сотни и сотни виданных мною — на протяжении долгих лет, с нашей дружбой, встреча-

ми нашими, разговорами, всеми событиями, то печальными, то драматичными, то трагическими, то приятными для души и для сердца, хорошими, потому что в них радость была, радость дружбы и радость общения, радость творчества и понимания с полуслова, и жизнь, и судьба, всё, что прежде, в былом, составляло нашу явь, уж такую, какой принимали тогда мы, как есть, — удивительных, вдохновенных, незабвенных его работ.

Вспоминаются точно так же, как порой вспоминаются лица человеческие, да, конечно, вспоминаются, оживают, возвращаются снова ко мне, то при солнечной ясной погоде, то в дожде, то среди снегопада, то в тумане, то в жгучем огне, вспоминаются — и остаются, значит — новые песни споются, остаются здесь и повсюду, значит — будет надежда на чудо, значит — есть в небесах звезда, вспоминаются — навсегда.

Озарены они немеркнущим, дивным светом — на века. Это — свет прозрений.

В них та подлинность и высота великого Божьего дара, которая, так уж вышло, сама о себе сказала стихами, однажды сорвавшимися с губ Яковлева, когда он, весь — в трансе, в порыве, в движении, в своём закутке квартирном, стоял, вдохновенный, собранный в энергетический сгусток, перед листом бумаги чистым — и рисовал.

— А я была высота у окна художника.

И покуда, волнуясь, конечно, я с трудом нахожу слова, чтобы, в новом столетии, людям совершенно других поколений, тоже новым и мне почти неизвестным, а то и неведомым, не таким, как мы, обитатели отшумевшей былой эпохи, да и прежней страны, рассказать, как я чувствую живопись Яковлева, как работы его воздействовали на его современников, знавших и художника самого, и судьбу его, слишком уж горькую, и его грандиозное творчество, и пока ещё смутно догадываюсь, как они когда-нибудь будут там, в грядущем, восприниматься потомками, — сам художник давно уже всех нас покинул, намаявшись

в мире, сложном, безумном, хоть и прекрасном, и лежит он в сырой земле, в одинокой своей могиле. Он — жил среди нас. И — он умер.

А раньше он жил в специальной — обратите на термин внимание — больнице, скорее — темнице, для душевнобольных.

Заметьте: он не «лечился», не «временно находился», а там, в прижизненном этом аду, в окружении психов и дебилов, — именно жил. Поначалу — по принуждению. А потом — уже по инерции какой-то, механистичной, однообразной, бредовой. В полнейшей, на десятилетия, изоляции — от всего, что было где-то на воле, вдали от тоски, от боли. Осознанно. Да, представьте. Добровольно. Именно так.

Там, при наличии родственников, и целой орды знакомых, и всяческих, потенциальных и взаправдашных, опекунов, — его многолетний, бывший теперь уже, а тогда — реальный, привычный дом.

Так он решил когда-то. Сам сделал этот выбор.

Болезнь художника Яковлева — это та, с медициной не связанная, но в извечном родстве находящаяся со вселенною всей, «высокая болезнь», о которой когда-то так верно сказал Пастернак.

Та высота небесная — дара, духа, чуда — которая всегда «у окна художника». То есть, не над окном, заметьте, а — вровень с ним.

Вот и решайте, земляне, сограждане, современники, теперь, поскольку, пожалуй, лучше поздно, чем никогда, — кто же был более болен: век ли минувший, жестокий, норовивший любыми способами уничтожить, стубить художника, — или художник, выразивший свой век, как никто другой?

Двадцатый век — на исходе был. Миновал. Растаял — в дыме сырой, в тумане законном густом. Ушёл.

Навсегда ли? Да кто его знает! Ведь из памяти — не исчезает. Рассказать о себе желает. Хоть и был суров и тяжёл.

Новый век — пока что в начале.

И свои у него печали.

Будут радости. Будет любовь.

Будут страсти. И вспыхнут чувства.

Будет жить на земле искусство.

В коем слитны — и свет, и кровь.

Художник — на вечном взлёте, в неудержимом порыве — вверх, в распахнутое пространство грядущего. Вглубь и ввысь.

Туда, к озареньям новым, к трудам и новым открытиям, туда, где звёзды над миром алмазной сенью зажглись.

Даже после физической смерти.

Тем более — после смерти.

Потому что лишь в творчестве щедром своём, всегда — в героическом, подвижническом, затворническом, только так, трагическом, да, но зато и врачующем души людские, великом творчестве, навсегда — в провидческом творчестве, он по-настоящему жив.

И кто его знает, что там за новая высота — та, что выше ещё и светлее «высоты у окна художника»!..

Сколько помню Володю Яковлева — всегда он, самоотверженно, вдохновенно, порой неистово, с отдачей полной, трудился.

Полуслепой, постоянно, где бы ни был, повсюду теряющий очки с какими-то слишком уж большими, всех озадачивающими, «не как у людей», диоптриями и поэтому предпочитающий обходиться обычно без них, приближал он, бывало, вплотную, не глаза — всё лицо! — к прикреплённому четырьмя кривоватыми кнопками картону, плотно стоявшему на мольберте, а то и просто наспех к нему прислонённому ватманскому листу бумаги с молниеносным, только ему одному и понятным, летучим наброском, несколькими штрихами определяющим сущность

работы будущей, вскоре, возможно — по волшебству, обязанной появиться, — и будто бы чуял её, видел всю её — внутренним зрением.

Потом начиналось — бурное, стремительное движение руки, взлетающей вверх и вниз, и влево, и вправо, и куда-то за край листа, и вокруг листа, и потом в самый центр его, в точку схода линий всех, и пятен густых, недомолвок, смещений, сгущений, и разлившееся внезапно полноводной рекою буйство всех, что есть под рукою, красок, и мельканье неудержимое и широких, и тонких кистей.

Гуашь, которой Володя обычно работал, всплёскивалась в открытых загодя баночках, словно сама с готовностью вырывалась ему навстречу, и летела к бумаге, и сразу же ложилась именно там, где было необходимо.

Точнейшими попаданиями динамичных, резких мазков представлял он ворочаться, двигаться, дышать широко и свободно всю цветовую гамму, контрасты все и акценты.

Любое пятно, скопления капель, россыпи брызг, в совокупности дерзкой своей, всегда играли по крупной, работали все — на общее, на целостность всей работы, на то, что должно — быть.

И вот возникал — образ.

И — начинал жить.

Яковлев, посмотрев на то, что он создал, сощуривал в две китайские узкие щёлочки свои фантастически тёмные, да просто угольно-чёрные, с никогда и нигде не гаснущим на самом дне увеличенных донельзя зрачков, таинственным, беспокойным огнём, какие-то по-особому жаркие, жгучие, поразительные в своей непохожести на другие, на такие, которых множество можно видеть на каждом шагу, нет, конечно же, с не случайною в них надеждой, необычайные, даже больше, похоже — провидческие, изумительные глаза, откладывал в сторону кисти, закуривал сигарету — и, в сизом облаке дыма, с лицом, слегка побледневшим от немалого напряжения недавнего,

распрямляясь, как будто бы поднимаясь над судьбою своей суровой, над работой своею новой, улыбался устало:

— Всё!..

Однажды, в период, поистине редкостный для него, относительно ровный, спокойный, без томительного пребывания в очередной психушке, и хорошо, что вдали от этого заведения, в родительской тесной квартире, вдохновенно и одержимо работая целыми днями, весь — в трансе, в полёте, в движении, в очередном постижении творческих тайн, открытий, весь в ореоле наитий, неистовый труженик, Яковлев, сделал огромную серию гуашей — и пригласил, внезапно, позвал, по-дружески, даже призвал меня — немедленно их посмотреть.

Получилось это неожиданно.

Я позвонил Володе, чтобы голос его услышать и немного поговорить.

И услышал — категоричное:

— Алейников, приезжай! Приезжай ко мне поскорее. Я тут столько всего наработал! И хочу тебе всё показать.

Я ответил:

— Скоро приеду.

И — приехал к нему, в квартиру на Шелепихинской набережной.

Яковлев был в ней — один.

Он встретил меня — и сразу же потащил за собой, в свою комнатку-закуток, — поскорее смотреть работы.

И сызнава началось — нечто невероятное.

Работы размером в четверть ватманского листа он, дымя сигаретой, перебирал довольно быстро, как будто небрежно перелистывал толстую книгу.

Потом начались работы на половинках листа — их он показывал медленнее, сам в них пристально вглядываясь, а интенсивность живописи всё усиливалась и сгущалась.

Потом пошла черед гуашей в полный формат, мощных, монументальных, щедро насыщенных цветом, буквально поющих,

звучащих, в дивной гармонии красок, в космической полифонии тонов и полутонов, звуков, отзвуков, призвуков, оттенков, штрихов, деталей, обобщений, прорывов сквозь время, путешествий в пространстве, — и Яковлев показывал их с каким-то пробудившимся в нём достоинством, со значением, всё возрастающим, в ещё более медленном темпе.

От пиршества цвета, от этого количества явных шедевров, у меня уже закружилась голова, заболели глаза.

Взглянув на меня и почувствовав, что я уже очень устал, и явно щадя меня, Володя вздохнул устало, отодвинул работы в сторону — и прекратил просмотр.

Он закурил — и тихо, доверительно произнёс:

— Вот видишь, сколько их, этих картинок новых моих! Я — рисовал, рисовал. Всем уже рисовал — и руками, само собой, и ногами, и головой. Задницей только ещё не пробовал рисовать. Но так вот, конечно, не надо. А работать — надо и дальше. И я всё рисую, рисую. А что ещё остаётся? — Он сощурился на меня, улыбнувшись. — Ну как, понравилось?

И я, совершенно искренне, тогда ответил ему:

— По-моему, эти новые вещи твои — гениальные.

Он весь, будто солнечный луч озарил его, вырвал из мрака, засиял глазами бездонными, грустными, — и просветлел.

И художники, и приятели, и знатоки искусств хорошо, и даже прекрасно, понимали, кто он такой.

Миша Гробман, целенаправленно, год за годом, с упорством редкостным, с осознанием правоты своей, только крепнущей, собирал всё, что Яковлев создал, каждую почеркушку его, и, тем более, полноценные, сильные вещи, — и однажды даже сумел отыскать на помойке, в мусоре, выброшенную туда яковлевской роднёй, в пылу семейной, скандальной, очередной неурядицы, кипу больших гуашей, отчасти уже изорванных, всё аккуратно склеил, бережно восстановил — и тем самым спас их от гибели.

Московские, из породы всезнаек, ушлые люди судачили часто о том, что, вроде, в собрании Гробмана, давно ещё, в шестидесятых, было множество, больше двух тысяч, ну а может быть, и поболее, — всё бывает и всё могло быть, никто ведь точно не скажет, ну а слухи на то и слухи, чтоб летали они по столице с ветерком попутным, чтоб их смаковали и обсуждали, чтоб гадали, предполагали, слухи слухами, а реальность оставалась самой собой и вставала горой за Гробмана, за его отвагу и подвиги, — яковлевских работ.

Отчётливо помню, что Зверев, уж какой, казалось бы, резкий, неизменно категоричный и привычно парадоксальный в своих суждениях личных об искусстве, в диапазоне от античности до авангарда, и особенно о работах своих тогдашних соратников по божественной, разнообразной и достаточно пёстрой гвардии, едва только речь заходила где-нибудь, в мастерских или в шумных, с выпивом, обычным для прежних фантастических лет, компаниях, о Яковлеве, мгновенно, неожиданно преображался, весь как-то добрел, улыбался по-доброму, даже по-детски, лучезарно, тепло, светло, то зажимывал, то широко раскрывал глаза свои карие, острые, дальнотзорные, тамбовского волка глаза, матёрого, битого, тёртого, огонь, и воду, и медные трубы давно прошедшего мужика, из простых, как будто бы, но далеко не простого, умные — сильным, врождённым, природным, смелым умом, всё-то на белом свете примечаящие, проницательные, иногда и до ясновидения, с вечным жаром внутри, глаза, весь размягчался и ласково, бережно приговаривал:

— Хороший Володя художник. И даже очень. Бодрит! Яковлеву — пять с плюсом!..

А друг мой, художник Игорь Ворошилов, — ещё со времени своей учёбы во ВГИКе, с периода, героического, это ясно теперь, «кружка Саши Васильева», — так называл он обычно

этот тесный дружеский круг художников и поэтов, существовавший в конце пятидесятих годов и в начале шестидесятых, — именно так этот круг и стали потом называть специалисты нынешние по нашему андеграунду, — всю жизнь свою, искренне, преданно, по-дружески, по-человечески, понимая его глубоко, намного лучше других, принимая его всего, как есть, со всеми его житейскими разными странностями, выделяя его всегда из всех своих современников, из художников наших, любил и самого Яковлева, и его уникальное творчество, и считал его, почитая и любя, стопроцентным гением.

Все герои, все персонажи андеграунда славного нашего, — и художники, и поэты, и прозаики, и собиратели живописи и графики, и серьёзные искусствоведы, да и просто хорошие люди, — все любили Володю Яковлева и его чудесное творчество, все любили — каждый по-своему, понимали — каждый по-своему, но — любили, и это главное, вот что важным было когда-то, в годы сложной прежней эпохи, и особенно важным стало в новом веке, здесь и сейчас.

Году в шестьдесят шестом я познакомил с Яковлевым своего тогдашнего друга, Виталия Пацюкова.

Тогда ещё не был он известным искусствоведом, автором многочисленных и весьма серьёзных статей о близких ему художниках нашего авангарда, куратором разных выставок в России и в западных странах, просто незаменимым, непрерывно и плодотворно трудящимся, год за годом, во имя искусства нового, человеком, а был простым инженером, где-то работал, числясь на скромной должности, но зато горячо, всерьёз, любил он литературу и любил, конечно, искусство.

Позвонил я однажды Яковлеву.

Договорился о встрече.

И — привёл к нему Пацюкова.

Там, в небольшой двухкомнатной квартире, где, несмотря на полное, даже полнейшее, безнадёжное просто, отсутствие более-менее сносных условий для творчества, Яковлев постоянно, целенаправленно, работал, а заодно и жил, в тесноте немислимой, в крохотном, темноватом, полубольничном, что ли, полутюремном, вроде, полудомашнем, так уж выглядел он, за кутке, Пацюкова ждало настоящее откровение — было ему явлено, щедро, с открытостью полной, великое множество гуашей разнообразных на бумаге, холстов, картонов и рисунков, незамедлительно изумивших его, потрясших и пробудивших в нём любовь огромную к яковлевскому необычайному творчеству, искреннюю, на всю его жизнь, такую, которая редко бывает, а если бывает — то навсегда.

И решил он приобрести какие-нибудь работы.

Я показал ему на женский портрет, написанный маслом на плотном картоне:

— Посмотри-ка. Это шедевр.

И Виталий купил, прислушавшись к словам моим, этот портрет.

Работа — дивная просто. В коричневых, охристых, с призрачной белёсостью, тёплых тонах.

По тону, по строю, по духу — какая-то скандинавская.

И — музыкальная очень. Наполненная отголосками знакомых мелодий давних.

Почему-то Ибсен вдруг вспоминался. А с ним — и Григ.

Потом приобрёл Виталий женский портрет — на ватманском, большом, уругом листе.

Отдалённо напоминал он жену Пацюкова, Светлану.

Метаморфозы всякие — начались чуть позже, потом.

Как только этот портрет, окантованный, под стеклом, стал висеть на стене в квартире Пацюковых в Марьиной Роще, Светлана, такая, как имя её, светлолицая, светлоглазая, отзывчивая и простая в общении частом с друзьями, но при этом и образованная, со своим, всегда независимым, оригинальным

мышлением, да ещё и с какой-то особой загадкой, даже тайной, где-то там, в глубине её крылатой и светлой души, не с каждым годом, а с каждым месяцем, и буквально с каждым днём, всё больше и больше, стала, вот чудеса, походить на него, — так было его мощнейшее воздействие, — и теперь трудно сказать, насколько далеко зашло это вхождение, в точном смысле этого слова, в образ, — хотя повидаться со Светланой, наверное, можно, при желании, и теперь.

Приобрёл тогда же Виталий, войдя во вкус, ощутив азарт немалый, у Яковлева ещё один, замечательный, очень сильный портрет — мужской.

Напоминал он — так считали когда-то знакомые — Маяковского. Что ж, похоже. Пусть и так. Но не только его.

Но друг наш общий, хороший человек и художник, Вагрич Бахчанян, убеждён был, что это — его, Бахчаняна, Баха, так его мы все называли в прежние годы, портрет.

И ведь был он всё-таки прав.

И когда я, под настроение, вспоминаю этот портрет, то мысленно говорю себе снова: ну точно, Бах!..

После визита Виталия Пацюкова к Володе Яковлеву — пришёл черёд и ответного дружеского визита: Яковлева — к Пацюкову.

Договорился вновь я с Володей. Привёз его на такси, с Шелепихинской набережной в пацюковскую Марьину Рощу.

Вошли мы вдвоём в подъезд белого блочного дома.

На скрипучем и шатком лифте поднялись на нужный этаж.

Позвонили. И дверь нам сразу же, широко, нараспашку, — открыли.

Яковлев как-то бочком, вперевалку, зашёл в квартиру.

Встречали его приветливые и радостные Виталий со Светланой:

— Здравствуй, Володя! Наконец ты приехал к нам!

Виталий, широколицый, невысокий, но коренастый, отдалённо похожий на Лермонтова, и Светлана, действительно светлая, как и светлое имя её, к яковлевскому приезду отнеслись, будто к очень важному, а может быть, и важнейшему событию в жизни своей.

Помогли ему снять пальто.

Говорили ему хорошие, даже ласковые слова.

Звали его пройти в комнату, чтобы чайку с дороги попить, отведать приготовленных загодя сладостей, чтобы освоиться здесь, к обстановке привыкнуть новой.

Но Яковлев никуда почему-то идти не спешил.

Всё топтался в прихожей крохотной.

Морщил свой лоб. И, похоже, о чём-то своём размышлял.

Пацюков подошёл к нему. И сказал, по возможности ласковей:

— Володя, пойдём-ка в комнату!

И тогда встрепenuвшийся Яковлев как-то вдруг, неожиданно, резко надвинулся на Пацюкова.

Всем своим небольшим, почти детским, но крепким корпусом, всем своим смуглым, скуластым, лобастым, необычайным, с пылающими глазами пророка или жреца, нервным, подвижным, словно что-то кричащим кому-то, словно к кому-то зывающим, то ли из гулкой, тёмной глубины минувших столетий, то ли из нынешней яви, воспалённым, слегка перекошенным, как античная маска актёра, опалённым огнём таинственным, изнутри, из души, из сердца, озарённым каким-то сиянием непонятным, ему одному хорошо и давно известным, вдохновенным, живым, вопреки всем лишениям и невзгодам, гениальным, пожалуй, лицом.

Пацюков отшатнулся невольно, даже прижался к стене.

Володя к нему приблизился вплотную. Он то ли вглядывался, то ли вслушивался в него.

И вдруг, для всех неожиданно, не сказал, а громко и властно Виталию приказал:

— Поскорее давай мне бумагу! Карандаши давай! Тащи мне всё, чем могу я прямо сейчас рисовать!

Пацюков, слегка озадаченный властным приказом Володиным, тут же ринулся в комнату — и мигом вернулся обратно, уже с листами бумаги и цветными карандашами.

Яковлев здесь же, в прихожей, прислонив лист бумаги к стене и почеркав по нему мягким карандашом, артистично и виртуозно, так, что была это явная маэстрия, как иногда говаривал Генрих Сапгир, мгновенно, в порыве стремительном, изобразил Виталия.

И — протянул ему рисунок свежий:

— Держи!

— Ох! Спасибо тебе, Володя! — не вымолвил даже, а как-то шумно, с призывком, выдохнул, от такой вот нежданной радости растерявшись вдруг, Пацюков.

Яковлев улыбнулся довольным:

— Похож, похож! Я знаю. Смотри — это ты!

Пацюков совсем уж растрогался.

Обрётённый рисунок — бережно и надёжно к сердцу прижал.

Действо, меж тем, продолжалось и далее. Здесь же, в прихожей.

Присутствовали при этом Пацюков со своей Светланой и я, с тогдашней моей женой, Наташей Кутузовой.

Володя незамедлительно выхватил у Пацюкова ещё один лист бумаги.

И воскликнул:

— Наташа! Встань здесь вот, рядом, теперь — ты!

Прислонил захрустевший лист плотной бумаги к стене.

Мелькнул в его лёгкой, быстрой руке — простой карандаш.

Несколько взмахов руки.

Несколько линий, штрихов.

И вот он — портрет. Наташа.

И действительно ведь — похожа.

Наташа. Она и есть.

Образ её. То, что видел Володя — внутренним зрением.

Суть. Сейчас, разумеется.

Но, это важно заметить, — и на потом. На будущее.

— Дарю! — протянул Володя только что, на глазах у всех, сделанный им рисунок — юной моей жене.

— Ой, спасибо тебе, Володенька! — защебетала Наташа. Рисование — продолжалось.

Продолжалось — здесь же, в прихожей.

И только изрисовав, стремительно и вдохновенно, всю бумагу и раздарив рисунки, которые сделал он, Володя зашёл, наконец, в комнату и уселся за накрытый, в честь гостя желанного, довольно скромный, конечно, да такой уж, каким получился, зато — от души, от всего сердца, со всеми возможными, по временам тогдашним, роскошествами, накрытый, скорее всё-таки — созданный, искренне, вдохновенно, с угощениями разными вкусными, с чаем, с вином сухим, по традиции старой московской, молодыми супругами, вовсе не будничный — праздничный стол.

Сам Володя — был тоже праздником.

С тех пор и стал Пацюков самым верным поклонником Яковлева, ценителем и комментатором его грандиозного творчества.

Все мною выше названные, купленные Пацюковым ещё в первый его приезд к Яковлеву, работы — позже, в дальнейшем, не раз выставлялись и репродуцировались.

И не только они. К ним вскоре прибавились и волшебные цветы, и, музейного уровня, Володины прочие вещи.

Ну а я — был я рад тому, что простое, вроде, обычное, поначалу, почти деловое, поскольку связано было с покупкой работ Володиных, человеческое, замечу, потому что друг к другу все в наши прежние времена относились по-человечески, хорошее, плодотворное, полезнейшее общение быстро перерастало, да иначе и быть не могло, у Володи с Виталием, — в дружбу.

Как давно это было! И вроде бы — это было недавно, только что, да, конечно же, прямо сейчас, ну — вчера, или позавчера, и никак не позже, наверное, так хотелось бы думать нынче мне, седому совсем человеку, а на самом-то деле — когда-то, в сердцеvine эпохи минувшей, в незабвенные годы, когда были все мы ещё, это надо же, молодыми, полными сил, и сирени запах пьянящий, или запах листьев осенних, или снега ночного холод ветерок в окно приносил.

Марьино Роща, дом чуть в стороне от шумной, прямой Шереметьевской улицы — стандартная, блочная, белая, в двенадцать густых, друг на друге, заселённых людьми этажей, знакомая всем нам башня, и квартира друзей, и встречи, столь частые, столь чудесные, и стихи мои молодые, постоянно звучавшие здесь, и глаза со слезами или с весёлою, быстрою искоркой, и беседы тогдашние наши — обо всём, что насущным в ту пору так привычно бывало для нас, и вино, и дымок сигаретный, и рассеянный свет полуночный, и бессонные, светлые лица, и летящие вкось над землёй, а потом и уже напрямик, в глубь ночную, всё дальше, всё выше, сквозь пространство и время, не чьи-нибудь посторонние — именно наши — посреди бесчасья, в юдольном непростом пути — голоса...

Яковлевские гуаши и рисунки, а иногда и более редкую, вынужденно, для него, по разным причинам, сильную живопись маслом на холстах и картонах, — охотно покупали, поскольку работы стоили, и об этом люди знали, совсем недорого.

Войдя театрално в роль, годами, продажей работ занималась Володина мать.

Властная, крупная, грузная, с уверенными движениями цепких, ухватистых рук, с быстрыми, всё вокруг подмечающими, и всех, сразу, с ходу, мгновенно оценивающими, тяжеловатыми взглядами тёмных восточных глаз, с повадками командирши, она порою, вернее, часто, почти всегда, вела себя, как на рынке — ходовой продавала товар.

Сам Володя — был в стороне. И в торговлю обычно не вмешивался.

Иногда, заметив случайно, что посетитель нынешний очень хочет купить работу, а денег для этой покупки у него, увы, не хватает, приходил на помощь решительно:

— Мама, сколько у человека денег есть, столько пусть сейчас работа моя и стоит!

Мама тогда, немного помедлив и что-то в уме прикинув, обычно с ним соглашалась.

Такой поворот событий, в общем-то предсказуемый, тоже её устраивал.

Пусть и совсем небольшие, а всё-таки деньги. Реальные. Которые в дело можно, при надобности, пустить. На которые можно жить.

А работы — ну что работы?

Лежали ведь без движения в квартире, пылились, место занимали. А тут — покупатель.

Пусть берёт картинку Володину, если так уж она ему, человеку, видать, небогату, но мечтающему её получить, действительно нравится.

Работы — дело такое, наживное, нечего с ними церемониться. А Володя — вскоре новые нарисует!

И работа — переходила к посетителю, у которого денег было совсем немного, прямо в руки, — и был он этому пониманию очень рад. Но — изрядно смущался: надо же, так уж вышло, недоплатил! И краснел, и бледнел, и что-то несуразное бормотал.

Володя, чуткий всегда к изменениям, даже малейшим, в состоянии всех людей, всех, которых видел и знал, чтобы как-то получше, желательно поскорей, разрядить ситуацию, чтобы снять напряжение общее, и возникшее чувство неловкости, и смущение посетителя, человека явно хорошего, выхватывал из какой-нибудь подвернувшейся под руку папки, наугад, не глядя, — рисунок:

— А это тебе — от меня. Дарю. Смотри: это ты. Похож. Это твой портрет.

Посетитель оторопело смотрел на рисунок, подаренный ему, от щедрот, Володей, — и действительно видел себя.

Такая вот необычная магия, и не иначе, была в работах Володиных.

Они — заставляли людей похожими быть на них. А нередко — и преображали их. Решительно — и навсегда.

Георгий Дионисович Костаки яковлевские работы любил, высоко ценил — и весьма интенсивно, давно, с удовольствием, с выбором тщательным, с толком, намётанным глазом всегда выделяя из прочих удачные самые вещи, появляясь в квартире Яковлевых иногда, то чаще, то реже, как уж там у него, человека занятого, чьё время дорого, чьи дела велики и обильны, получалось в годы былые, столь насыщенные событиями и проблемами, — собирал.

Но платить — как по этому поводу вздыхали, а то и ворчали яковлевские родители — не очень-то, вроде, любил.

Предпочитал порою — своеобразный «бартер».

И однажды был я свидетелем визита Костаки к Яковлевым.

Он приехал, обременённый тяжёлой своей поклажей. И сложил её грудой внушительной на столе. Это всех впечатлило.

Он привёз тогда заграничные, наилучшего качества, краски — таких в советской продаже не было никогда.

Он привёз различные кисти — целый ворох отличных кистей.

Он привёз роскошную просто пастель в огромной коробке.

Он привёз бумагу, какую-то особенную, — такую видел я в первый раз.

Были там и коробки пёстрые, и большие, плотные свёртки с чем-то нужным для рисования.

Словом, было — много всего.

Взамен полагалось Костаки — отбирать работы Володиных.

И к этому — был он готов.

Притихший Володя, съёжившись в комок, закурил, замкнулся в себе, присел в уголке, в сторонке, — и просто молчал.

Володин отец, человек интеллигентный, воспитанный, в аккуратном костюме, при галстукe, тщательно выбритый, пахнувший одеколоном «Шипр», с усталыми, чуть ли не скорбными, глазами, в которых навечно, глубоко, на самом их дне, затаилось его эмигрантское, безвозвратно ушедшее прошлое и открыто, без всякой утайки, читалось его теперешнее, советское, однообразное, монотонное настоящее, со всеми оптом приметам и деталями службы и быта, деликатно поддерживал светский, — так положено было, он знал, вот и был традиции верен и сейчас, — разговор с Костаки.

Володина мать — всё больше натянуто улыбалась, говорила зачем-то всякие незначительные слова — и с явной, лишь возрастающей, не скрываемой грустью поглядывала на груды работ Володиных, работ, которым вот-вот суждено было непременно и, скорее всего, изрядно, ну а может, и основательно, что же делать, увы, поредеть.

Костаки — без лишних слов, посверкивая очками, направился, как охотник, добычу желанную чующий, именно к этим грудам яковлевских работ.

Он склонился слегка над работами всем лицом своим — и, разумеется, знаменитым своим, уж точно — с обострённым чутьём на шедевры, на открытия, греческим носом, — и начал незамедлительно эти листы бумаги, один за другим, внимательно вглядываясь, как будто входя в них, пусть ненадолго, но всё о них уже выяснив, быстро перебирать.

И — безошибочно, снайперски, отбирал — только самые лучшие.

Таких — самых лучших — в итоге оказалось довольно много.

Все Яковлевы — наблюдали за действиями Костаки с привычным для них сожалением.

И смирялись с их непреложностью, с неизбежностью их. Роквой? Нет, конечно! Вполне обычной.

И помалкивали. И терпели.

А куда им было деваться?

Все они понимали отчётливо и прекрасно, что так и надо.

Как-никак, а одна из лучших, и в стране, и в мире, коллекций!

Пересмотрев с какой-то спортивной прямо, тогда поразившей меня, отработанной и поддержанной опытом скоростью, все Володины груды работ и отобрав для себя всё, что считал он нужным, Костаки вновь распрямлялся и наконец укрощал свой реквизиторский пыл.

Покуда Володина мать, с тяжёлым сердцем, вздыхая, чуть ли не со слезами, отобранные работы сворачивала в рулоны, для надёжности их перевязывая найденными тесёмками, Костаки, у нас на глазах, повеселел, подобрел, закурил сигарету, окутался волокнами дыма густого, успел сказать и родителям Володиным, и Володе немало добрых, полезных, достаточно важных слов, чашку свежего чая выпил, — а потом забрал, сразу все, приготовленные для него рулоны, причём это сделал как-то запросто, вроде играючись, будто и груз немалый это был, а так, ерунда, пёрышко, да и только, потом церемонно откланялся — и за открытой дверью квартиры исчез в подъезде, устремляясь по лестнице вниз, а потом, из подъезда, — во двор, где стояла его машина.

Володины мать с отцом вдвоём принялись рассматривать привезённые знаменитым коллекционером сокровища, удивляясь их необычному, даже праздничному, пожалуй, заграничному, броскому виду и отменно хорошему качеству, от себя отгоняя привычно возникающие поневоле и досадные мысли о многих, навсегда из дома исчезнувших, первоклассных работах Володиных, которые, как ни крути, можно было бы, пусть и не сразу, по частям, постепенно, пусть незадорого, ну и что, не впервой ведь, а всё же продать, а не так вот — просто отдать, за подарки, сюда привезённые, для Володи, — хорошему дяде.

Но, товарищи, — жизнь есть жизнь.

А коллекция гостя недавнего, человека в общем-то славного, возражений здесь нет, Георгия Дионисовича Костаки, «дяди Жоры», как все его называют давно в Москве, — это ещё и хорошая, лучше многих других, реклама.

А Володя — ну что Володя?

Он ещё нарисует. Правда?

И родители выразительно принимались уже поглядывать, да всё чаще и чаще, на сына.

Володя их взгляды чувствовал.

И глубоко вздыхал.

И резко гасил сигарету.

И поднимался с места, из своего уголка.

И шёл напрямик в свою комнатуху — снова работать...

Из дому Яковлев — следует напоминать об этом — по причине своей слепоты, а вернее, почти слепоты, и не только по этой причине, выбирался не так уж часто.

Выбирался — лучше сказать напрямую об этом — редко.

И его редчайшие вылазки — в город, к людям, к своим знакомым, — становились тут же известными всей богеме, — почти сенсацией.

Говорили дамы богемные:

— Мы сегодня, представьте, видели на бульваре — Володю Яковлева! Он такой одинокий, грустный! Так и хочется, в самом деле, приласкать его и утешить!

Говорили художники:

— Видели мы сегодня Володю Яковлева. Странноватый какой-то, шёл он, отрешённый от всех, куда-то, а куда — поди догадайся, шёл в толпе у метро, сутулясь, весь в себе, не от мира сего, необычный, это уж точно.

Говорили — все, кто Володю хоть однажды на улицах видели.

Ну а те, кто видели чаще, говорили:

— Снова встречали мы на Таганке Володю Яковлева. Торопился куда-то он. Шёл вприпрыжку, почти бежал. И откуда такая прыть в человеке полуслепом? Только мы захотели с ним поздороваться — он исчез. Будто не было вовсе его. И куда он успел деваться? Вот загадочный человек! Ну а может быть, это фантом? Нет, похоже, это был Яковлев. Да, конечно, Володя Яковлев! Не узнать его — невозможно. Мы — узнали. А он — исчез.

Говорили, судили, рядили.

Создавали легенду — из были.

Мифологию — из реальности.

Сказку новую — вне банальности.

Ну а если это была не реальность, а ирреальность?

Нечто выше, и тоньше, и глубже повседневности, скучной, рутинной?

Болтовня и молва людская — не способность, а специальность.

Всё, что связано было с Яковлевым, становилось уже — картиной.

Или — притчей. Или — загадкой.

Или — мыслью о чуде сладкой.

Или — тенью вдали случайной.

Или — радостью. Или — тайной.

Каждый видел — что-то своё.

Житие. И — житьё-бытьё.

Каждый был — вроде трезв и здоров.

Каждый был — по-своему прав.

Художник весьма известный, мастер чёрного юмора, Вагрич Бахчанян, с восторгом рассказывал мне о том, как однажды он побывал, совершенно случайно, вместе с Володией Яковлевым, да не где-нибудь в захудалой забегаловке, или в кафе придорожном, а в ресторане.

Да, представьте себе, в ресторане.

Предложил пойти в ресторан Бахчаняну тогда — сам Яковлев.

Бахчанян слегка растерялся поначалу. Потом решил, что такую возможность редкую — побывать в ресторане с Яковлевым — упускать ни за что нельзя.

И художники оказались в ресторане, полупустом, время было такое, днём.

В зале они подыскивали себе подходящий стол.

Расположились чинно за этим столом, вдвоём.

Вагрич — в костюме джинсовом, единственном у него.

Володя — в костюме обычном, отечественном, как у всех.

Денег у Вагрича было, как обычно в те годы, в обрез.

Поэтому он, конечно, изрядно переживал — хватит ли их, на двоих, на грядущий обед в ресторане.

Володя, почувствовав это, небрежно достал из кармана измятую пачку денег — и по-дружески, просто, сказал:

— Не беспокойся, Вагрич! Я сегодня за всё плачу.

И Вагрич тогда — успокоился.

И стали художники — вместе — изучать неспешно меню.

Вернее, читал весь перечень блюд и напитков — Вагрич.

Ведь зрение у него было великолепным.

А Володя — слушал его. И — говорил:

— Вот это! И это ещё закажем. И это, и это, и это. Всё закажем — и всё съедим. Аппетит у меня — отменный. И надеюсь, что у тебя аппетит хороший. Я прав? Ну, вот видишь, я так и знал. А ещё закажем — вина. Две бутылки. Хорошего. Лучшего. Выпей, Вагрич. Я тоже выпью. Мы с тобой наедемся вдоволь. Ресторан — он и есть ресторан. Для того сюда люди и ходят, чтоб, как следует, здесь поесть.

Слегка удивлённый обилием заказанных блюд и вин, официант принёс художникам, в три приёма, всё, что они пожелали у себя на столе увидеть.

Посмотрел на них, как на двух троглодитов-раблезианцев. Но ничего не сказал. Промолчал, деликатно, привычно.

Между тем, на столе громоздились ароматные, вкусные яства.

Надо было друзьям их съесть.

И художники — стали обедать.

И Бахчанян в ресторане — до отвала наелся, впрок, так, что джинсы на нём затрещали, да ещё и порядком выпил.

И Яковлев там, в ресторане — поел с удовольствием явным, с отменнейшим аппетитом, — и съел абсолютно всё, что они тогда заказали, да ещё и добавки потом потребовал ультимативно, и выпил немного вина, что вообще было редкостью для него, известного трезвенника, и даже совсем уж неожиданным и необычным событием.

И Володя с официантом расплатился достаточно щедро.

И встали из-за стола Володя и Вагрич — с трудом.

Но всё же — вышли на улицу.

Постояли там, отдышались.

И двинулись вперевалку, неспешно, вдвоём, к метро.

И Володя сказал:

— Ну, Вагрич, ты наелся?

И Вагрич ответил, улыбаясь довольно:

— Да!

И Володя сказал:

— Пожалуй, не поеду я на метро.

И Вагрич спросил:

— Почему?

И Володя сказал:

— Там — люди. Многовато людей. Толкотня. Я поеду домой — на такси.

И Вагрич одобрил его:

— Ты правильно рассуждаешь.

И Володя на это сказал:

— Но и ты на такси поедешь.

Удивился Вагрич тогда:

— Почему?

Володя сказал:

— Потому что я так решил.

Вагрич, грустно вздохнув:

— Понимаешь, на такси у меня нет денег.

И Володя ему сказал в тот же миг:

— Деньги есть — у меня.

И полез в карман. И достал из кармана рыхлую пачку денег — мятых советских рублей.

Показал их Вагричу:

— Вот. Видишь, сколько их у меня, этих денег? Девать их некуда. Приезжали ко мне вчера иностранцы. Купили картинки. Расплатились они рублями. А родителей дома не было. Поразмыслил я — и оставил эти деньги себе. Как видишь, пригодились они, в ресторане. И ещё пригодятся, обоим. Но теперь уже — на такси.

Вагрич:

— Ясно. Теперь я согласен. Мы поедем с тобой — на такси.

А Володя:

— Ты — на одном, ну а я — на другом такси.

Вагрич:

— Понял. Пусть будет так.

А Володя:

— Возьми-ка деньги. Пригодятся тебе, на такси. Отдавать их не вздумай, не надо.

Вагрич:

— Ладно. Спасибо тебе.

А Володя:

— Лови такси!

Помахал Бахчанян рукой у обочины тротуара.

И подъехали вскоре к художникам сразу две, почему-то, машины.

И Володя залез в машину, ту, которая к ним подъехала первой, быстро устроился в ней поудобнее и сказал Бахчаняну:

— Пока! До встречи!

И машина с Володей тут же устремилась куда-то в пространство.

На второй машине уехал Вагрич — тоже куда-то вдаль.
Так закончилось их совместное посещение ресторана.
Вспоминая об этом, Вагрич изумлённо качал головою, приговаривая:

— Ну и Яковлев! Что тут скажешь? Действительно — гений!..

Было это — в таком далёком, шестьдесят девятом году.
Бахчанян был известен в столице. Все любили, все знали его.
И всего-то лет через пять — Бахчанян уехал в Америку, вместе с Ирой, женой своей.

И лишилась Москва Бахчаняна.

Но Америка — приобрела.

Впрочем, как посмотреть на это.

Хоть в Америке долго жил Бахчанян — да всё ж не прижился.

Не его была эта страна. Если честно — совсем чужая.

Да, работал он там, и много.

Стал среди эмигрантов — известным.

Но, конечно же, тосковал на чужбине, в Нью-Йорке, — о родине.

Той, где почва его была.

Той, где людям нужен он был.

Той, которую он — любил.

Несмотря на свой юмор чёрный.

Несмотря на все разногласия.

С чем? С режимом советским? Пусть.

Разногласий с родиной — не было.

Никогда. И быть не могло.

Почему не вернулся Вагрич, вместе с Ирой, снова на родину?

Видно, были причины. Трудно говорить об этом теперь.

То-то было Вагричем столько и дорог, и тропинок пройдено.

Только родина оставалась — самой страшной из всех потерь.

Вспоминал ли Вагрич в Америке свой поход в ресторан, давнишний, небывалый, с Володей Яковлевым?

Разумеется, вспоминал.

И не только его — но и всю свою, необычную, незабвенную, и поэтому драгоценную, это было ведь, — жизнь в Москве.

Свежий ветер повеял сызнава — и сорвал лепестки с цветущего в гуще майского полудня дерева — и развеял их в синеве...

Яковлев был — так сложилось, а почему — не стану вдаваться в подробности нынче, сложилось — и всё, и точка, вернее — сто многоточий и вопросительный знак, и причин хватало для этого, и тот, кто хочет, поймёт, а другие поймут потом, — человеком, слишком зависимым от места, где он обитал, был человеком домашним.

Он привык ежедневно трудиться.

Так ему спокойнее было.

Так он — жил, а не просто, в грусти пребывая, существовал.

Дом есть дом. И в доме — квартира. Небольшая. Но в ней — своя комнатка. Зауток. Но зато он — свой. И еда на кухне. И чай. Сигареты. Лекарства. Всё — под рукой. Куда же идти? И зачем? Лучше — дома сидеть. И — работать. Много работать. Потому что работа — спасение.

Да, конечно. Всё это — так.

Без работы — нельзя никак.

Вот и тянутся день за днём.

Но — январский снег за окном.

Но — полночный дождь в октябре.

Но — прозрачный свет на заре.

Но — сиянье солнца весной.

Это всё — пройдёт стороной?

И Володю порой тянуло — на простор, на волю. И он выбирался из дому. Редко? Что же делать! И то хорошо.

Пусть и редко. Зато ведь — с пользой.

Надышаться вдосталь свободой.

Ненадолго? Или же — впрок?

Никому не узнать об этом.

Это скрыто от всех — вдали.

И — в душе, напоённой светом.

Для искусства. Для всей земли.

Ах, прогулки! Осколки были. Лист, надорванный по краям.

И тем более редкими были визиты его — к друзьям.

Году в шестьдесят девятом он, к моему изумлению, вдруг появился ко мне, в квартиру мою тогдашнюю, на пронизанной звоном трамваев и заросшей деревьями старыми, выходящей к мосту, за которым начинались Сокольники, улице Бориса Галущкина, в это пристанище всей московской, да ещё и заезжей богемы, — возник предо мною, выбритый старательно, в свежей рубашке, в приподнятом настроении, — и заявил с порога:

— Алейников! Ты поэт настоящий. Я это знаю. И стихи твои — слушать люблю. Читать мне трудно, а слушать — это как раз для меня. Ты давай читай мне, а я буду слушать тебя и делать рисунки к твоим стихам.

Я сказал:

— Хорошо, Володя. Почитаю тебе стихи.

Яковлев:

— Только ты найди мне побольше бумаги, любой, какая найдётся у тебя. И — чем рисовать.

Я сказал ему:

— Да, конечно. Постараюсь всё это найти.

Бумагу нашёл я — для пишущей машинки, формата обычного. Нашёл я и карандаши цветные, несколько штук. И даже цветные мелки. Положил всё это на стол.

Володя уселся за стол. Перед собой пристроил стопку бумаги, так, чтобы удобнее было брать её и рисовать. Карандаши и мелки приготовил, по правую руку.

Посмотрел на меня внимательно. И сказал мне:

— Теперь читай!

И стал я читать стихи.

Володя, вперёд подавшись, всем корпусом, весь — навстречу, само внимание, весь — предвестие рисования, вслушивался

в слова, в их музыку, в ритмы их, вслушивался — как вглядывался, словно за слухом — было у него особое, внутреннее, самое важное зрение.

Потом начал быстро, потом — ещё быстрее, потом — стремительно, в некоем трансе, для него, наверное, нужном, просто необходимом, в полёте, в порыве, в движении непрерывном, всё возрастающем, каждый миг, только так, — рисовать.

Всё, что под руку попадалось, в ход немедленно шло у него, всё в работе было — и с ним будто крепко дружило, само каждый раз его понимало — и карандаши, и мелки.

Он слушал мои стихи — и рисовал, рисовал, заполняя лист за листом, покуда не изрисовал всю стопку бумаги — и не на чем больше было ему рисовать.

На последнем листе он своим фантастическим, то ли детским, то ли инопланетным почерком, корявыми, крупными буквами старательно написал:

«Володя Алейников. Стихи.

Рисовал В. Яковлев».

Сгрудил листы бумаги — и протянул их мне.

На рисунках летали и пели небывалые, странные птицы, расправляя сильные крылья высоко, над грустной землёй, в океанах, морях и реках быстротечных плавали рыбки, на лугах светились, как звёзды, и свободно росли цветы, поднимались к небу стволами и ветвями всеми деревья, и мужские и женские лица галереей целой портретов из ненастного нашего времени, ну а может быть, из других измерений, или времён, или даже миров, смотрели, как-то пристально, с пониманием, дружелюбно, тепло — на меня.

Яковлев, тоже по-доброму, широко и светло улыбнувшись, посмотрел на меня — и сказал:

— Я как чувствовал всё, Володя, так сегодня и нарисовал!..

Лишённый в жизни своей, по причине сложных и грустных обстоятельств, слишком уж много, Яковлев обострённо понимал, как важны иногда для человека — участие, внимание и тепло.

Ну как мне забыть тот случай, когда, посреди суровых, жестоких семидесятых, зная, что я скитаюсь без жилья и без средств, по столице, Володя буквально за руку повёл меня, проявив настойчивость небывалую, в столовую где-то на Пресне и там накормил до отвала?

Был тогда я тронут до слёз.

Ведь, искренний безгранично в каждом своём суждении, в любом своём, и в пространстве, и в творчестве, и во времени, неудержимом движении, совершил он тогда — поступок.

И поступков разнообразных, и решительных, и отважных, и геройских, и даже подвигов настоящих, как на войне, в нашей мирной тогдашней стране, было множество в жизни его.

Несмотря на свою болезнь, на свою слепоту, на сложные обстоятельства, и в быту, и в судьбе трагической, он поднимался над всем, что мучило, угнетало, томило его, возвышался над всем, что было нежелательным, чуждым, лишним, восставал над бедами, смело, по-мужски, и вновь утверждался на своей высоте, где был он недоступным для зла, для горя, был, отмеченный свыше, счастлив, жил, небесными силами светлыми — посреди темноты коварной и сумятицы календарной, утомительной слишком, — храним.

(...Было это — в семидесятых. Я приехал к Володе Яковлеву. Он показывал мне свои удивительные работы. А потом посмотрел на меня, очень пристально, словно видел всё на свете внутренним зрением, и сказал мне внезапно:

— Володя! Ты, наверное, хочешь есть.

Я не стал ничему удивляться. И ответил ему:

— Да, хочу.

Был я голоден. В годы бездомия я не ел порой по два дня. Денег не было вовсе. Жилья, своего, никакого не было. Ничего из того, что в жизни человеку необходимо, ничегошеньки, — вовсе не было. Разумеется, я держался. Виду часто не подавал, что устал, что голоден, даже у знакомых своих в гостях. И уси-

лий немалых стоило мне тогда не сдаваться, держаться. Надо выстоять, я твердил про себя. И, как мог, старался продержаться ещё, и ещё, хоть немного, потом подольше, так и длилось всё это, и я понимал, что нужно мне пристанище, где бы мог собраться с силами, успокоиться, отдохнуть. Но была полоса такая, что пристанище не находилось. И поэтому я продолжал, вопреки невзгодам, держаться.

Говорить о том, что, мол, всё хорошо у меня, распрекрасно, мог любому я из друзей и знакомых. Но только не Яковлеву. Всё он лучше других понимал. Всё он видел, полуслепой, но иным одарённый зрением, небывалым, особым, — насквозь.

И сказал мне Володя:

— Пойдём. Я тебя накормлю. Я знаю, ты поверь мне, одну столовую. Кормят там и вкусно, и дёшево.

Собрались мы — и вышли, вдвоём, из квартиры. Потом — на автобусе мы куда-то, недолго, ехали. И зашли в известную Яковлеву, на каких-то задворках, столовую.

Там Володя заказывать стал — на двоих, да побольше, еду. По два супа. И по два вторых (две котлеты с гарниром картофельным — вот второе блюдо, и стало по четыре котлеты на каждого плюс картофельные гарниры). По два сока томатных, на каждого. И капустных по два салата. И солидную горку хлеба. И на каждого — по два компота.

Дотащили мы всю еду, на подносах, до столика. Сели в уголке за столик. И — съели всё, что Яковлев заказал.

— Ты наелся? — спросил Володя.

Я ответил:

— Наелся, конечно. И тебе — спасибо огромное. Накормил ты по-царски меня.

И сказал мне Яковлев:

— Брось! Накормил я тебя — по-своему. Потому что в этой столовой иногда отъедаюсь я. Ну, когда выхожу из психушек. Там ведь плохо кормят. И я отъедаюсь здесь. Понимаешь?

Я сказал:

— Понимаю, Володя!

— Хорошо, что ты — понимаешь. А другие — не понимают. Вечно прячут меня в психушки. Будто что-нибудь я натворил. Правда, там я рисую, помногу. Но врачи картинки мои почему-то быстро растаскивают. А потом — помещают в свои, о болезнях, учёные книги. А какой я больной? Я — здоров. Просто — жизнь у меня сложилась, непонятно мне — почему, не такой, как у прочих людей. Вот, со зрением плоховато. Даже скверно совсем. И всё же вижу я — не так, как другие, вижу — то, что за каждым предметом, словно тень его, молча стоит, только это не тень, а суть. — Тут Володя громко вздохнул, погрузился и спросил: — Понимаешь?

Я ответил:

— Да, понимаю.

— Слушай, шумно здесь очень. Посудой непрерывно гремят. Давай-ка поскорее отсюда уйдём.

И сказал я Володе:

— Пойдём.

Вышли мы, из паров кулинарных этой шумной, дешёвой столовой, где наелись мы до отвала, на сомнительно свежий воздух.

Подышали. Потом закурили. Шли вдвоём по асфальту, к метро.

— Если я буду снова в психушке, ты меня наведишь? — спросил, морща лоб свой высокий, Володя.

Я сказал ему:

— Навещу.

— Ты куда сейчас?

— Я не знаю. Ну а ты?

— Ну а я — домой. Там — такая же точно психушка, даже хуже. А я — терплю.

— Понимаю тебя.

— Ну, пока. До свидания.

— До свидания.

Мы пожали друг другу руки. Повернул Володя — к автобусной остановке. Шёл, черноглазый, в куртке слишком широкой, маленький, словно странный цветок в столичной, хаотичной, густой кутерьме. Шёл — и листья, с деревьев слетающие, устремлялись за ним, и кружились за фигуркой его полудетской шелестящим, багровым шлейфом, словно так вот, совсем по-осеннему, провожая его в сияние возрастающее листопада, ну а может, и прямо к звёздам, — всё могло на пути случиться, всё могло ведь в итоге — быть...)

Феномен Володи Яковлева — в торжестве неизменном духа над любыми невзгодами жизни.

Ломают нередко головы: как мог он, полуслепой, больной, столько сделать в искусстве?

Мог. Потому что был — призван.

Сквозь сложнейшие, так уж вышло в жизни яковлевской, сплетения обстоятельств — пробился к свету одинокий этот цветок.

Дед Яковлева, о котором говорили: «известный русский художник-импрессионист», — и сам Володя любил частенько подчёркивать это, по существу всякий раз по-детски, наивно указывая знакомым своим на такую вот преемственность, явно гордясь этим дедовским громким титулом, — оказался, как и другие люди русские, в эмиграции.

Как он там жил, вдали от родины, — трудно сказать.

О его зарубежной жизни сведений, вроде, немного.

Возможно, когда-нибудь кто-нибудь сумеет узнать подробности — и ещё напишет об этом.

Хорошо уже то, что Володиного деда помнят в нашей стране.

И работы его — остались, это важно, в искусстве нашем.

Володин отец, окончив Льежский университет, о чём вспоминали порою в яковлевской семье со значением — вот, мол,

фирма, не хухры-мухры, а серьёзный заграничный университет, это следует помнить всем и всегда, — вернулся на родину.

Почему вернулся — не помню.

Были небось причины.

Может быть, ностальгия.

Может, ещё что-нибудь.

Всякое ведь бывает.

Жил человек за границей, жил не хуже других, и надо же — взял да вернулся.

Здесь он женился. Жена оказалась — с характером, с норовом.

Достаточно властная, резкая, грубоватая, жадноватая до денег, очень расчётливая совершенно во всём, хотя и, вполне вероятно, хорошая хозяйка, да и супруга тоже, наверно, хорошая, этакая мясистая, плотская, слишком земная, приземлённая, заземлённая на все свои годы, без всяких небесных просветов и проблесков, тяжёлая, смугловатая, с желтоватой гладкою кожей и лиловатыми, пухлыми, но поджатыми гузкой губами, во всё на свете вникающая непрерывно, дотошно и, главное, как именно следует жить, как надо в советских условиях жить, прекрасно, давно уже знающая, независимая в суждениях и отчасти базарная дамочка.

Впрочем, с ней у меня, годами, так уж вышло, видимо, были нормальные отношения.

Даже добрые. Вот что странно. И действительно — удивительно.

Почему же она ко мне, выделяя меня из прочих навещавших Володю людей, так вот странно благоволила?

Объясняется это — просто.

Я, желая помочь Володе, приводил порой покупателей.

И она это — очень ценила.

Как сразу же оценила и то, что я никогда никаких, даже малых, процентов для себя, за помощь, не требовал — мне такое, должен сказать, и в голову не приходило.

Но ей ещё по-человечески, по-матерински нравилось, что я, так вот, искренне, это она хорошо понимала, люблю Володино творчество — и самого Володю считаю другом своим.

Семья — она ведь и есть семья. И всё этим сказано.

Как умели, как получалось — так Яковлевы и жили.

Советская, ох, непростая, с пируэтами, с завихрениями, с недомолвками, с умолчаниями, с уступками, с жертвами, вынужденными, а то и закономерными, с патриотизмом, навязанным всем, показным, всеобщим, с догадками о таком, что лучше держать при себе, о чём никогда и нигде не следует говорить, с крамольными, отдающими невольной горечью, мыслями о том, что, под грохот гимнов и партийных речей кремлёвских, в ореоле краснознамённом, вообще происходит вокрут, внесла, этак смаху, с ходу, без лишних, ненужных слов, сурово, бесцеремонно, в интеллигентские — ранее, вынужденно — иные, словно окраску сменившие, на всякий случай, традиции семьи — свои откровенные, жёсткие коррективы.

И это понятно. И что же?

Да ничего особенного.

Жили и с коррективами.

Рос Володя Яковлев зрячим, энергичным, крепким мальчишкой.

Даже был, когда-то давно, чемпионом Москвы по боксу в весе пера (какого? — лебединого, что ли? — надеюсь, я верно сказал: пера), о чём, с неизменным восторгом, подвыпив и вдохновившись, любил рассказывать Игорь Ворошилов, сам, в своё время, парень очень даже спортивный, — вот, мол, сами теперь понимаете, наконец, что такое — спорт, все мы — спортом встарь занимались, прямо с детства, — вот и Володя, вы представьте себе, тоже был, настоящим был чемпионом!

Возможно, это легенда.

Ну а может, и вправду было.

Только это — так, эпизод.

Тем не менее, был Володя совершенно здоровым парнем.

О живописи ещё в то время не помышлял.

Учился на ретушёра.

Советских вождей фотографии ретушировал, например, когда-то, о чём с усмешкой изредка вспоминал.

Зрение стал он терять в результате неожиданной болезни щитовидки — откуда она появилась? — никто не знает, — и какого-то странного стресса, о котором и сам Володя, и его родители больше предпочитали помалкивать, а если уж говорить — то вскользь, и нехотя, будто ничего такого особенного и не было вовсе с ним.

Но это, однако — было.

И, конечно же, это было — что-то очень даже серьёзное.

Володю на рисование вдохновил Александр Васильев — тот самый, в прежние годы знаменитый в Москве и даже далеко за её пределами, Саша Васильев, сын одного из известных советских режиссёров, снявших вдвоём знаменитейший фильм «Чапаев», тот, наделённый поистине феноменальным чутьём на таланты, не просто чем-то интересный, но удивительный даже, огромную роль в культуре нашей сыгравший человек, тот самый, который уговорил когда-то, ещё в период совместной учёбы во ВГИКе, в период всеобщего становления, постижения тайн искусства и открытий на каждом шагу, каждый день, благо, многое было суждено тогда открывать, уж такая была пора и такая была планида, это правда ведь, рисовать, стать художником, — и Ворошилова.

Саша Васильев. Сгусток мыслей, идей и сил.

Энергетический шар.

Невысокий, но крепкий парень.

Легендарный, это уж точно, человек. Современник наш.

Слишком бурной была его жизнь.

А судьба — совершенно особенной.

Саша был человеком страстным. Предприимчивым. Уровня Дягилева. Ну а может быть, и покрупнее. В наших, прежних, советских условиях был — от всех и всего — независимым. Был свободным — от всех условий и условностей — быта и строя государственного, от всего, что мешало ему так жить, как хотел он, и всё ему, словно в сказке, всегда удавалось, пусть, конечно, не без труда, но не зря над ним разгоралась, помогая, его звезда.

О судьбе и о жизни Шашиной, после смерти его, был снят фильм. И вышла книга о нём — вспоминали его на страницах этой книги большой — друзья и знакомые, современники.

А когда-то, в далёкие годы, этот вестник желанной свободы, несравненный Саша Васильев, чутьём своим фантастическим ощутив грандиозный дар Яковлева, и поверив, сразу и навсегда, в него, такого вот, дикого, что ли, с виду, совсем непохожего на других, но с огнём неистовым, нет, сиянием, в тёмных глазах, стал Володе во всём помогать.

Опекал, по-дружески, верно.

Покупал ему краски, бумагу, всё, на чём и чем было можно рисовать, чтобы он — работал, совершенствовался, развивался.

Помогал ему продавать, даже в ранний период, работы.

Создавал, и весьма успешно, для него рекламу в Москве.

Или проще: пропагандировал.

Приучал постепенно людей к тому, что есть среди них, здесь, в столице, чудесный художник.

И Володя — работал, работал.

Непрерывно. Как одержимый.

И втянулся весь — в рисование.

И дождался к себе — внимания.

Вскоре стал — довольно известным.

Ну а позже — и знаменитым.

Вот уж точно: все вещи в труде.

И — в его изумительном даре.

Так что Саша Васильев был для Володи — крёстным отцом.

Спас его. Дал ему возможность драгоценную — жить искусством.

Так, пожалуй, можно сказать.

Так скажу я. И это — правда.

Однажды начав рисовать и охотно втянувшись в это, Яковлев никогда больше не останавливался.

В этом было его упорное, отважное сопротивление всему, что мешало ему, томило и норовило превратить его как-нибудь, улучив подходящий момент, в беспомощного калеку.

Поражая знакомых своей дивной работоспособностью, Яковлев одержимо двигался только вперёд и рос как художник, стремительно, уверенно, с каждым годом.

Этот совсем уж какой-то, на фоне других, невысокий, даже, скорее, маленький, замкнутый, нервный, угрюмый, застенчивый человек, работая, преображался, оживал, как в сказке волшебной, и казался всем — исполином.

Да так ведь оно и было.

Так и есть. И останется — впредь.

Будет людям на что смотреть.

В грядущем. Там — его время.

Ведь результат его трудов, и его прозрений, и блаженных его откровений всем хорошо известен.

Работы работами. С ними — всё ясно. Во всяком случае — для меня. А для вас? Полагаю, и для вас это нынче ясно.

Потому что они своей речью, своей, такою, которая родилась в минувшем, давно, и живёт в настоящем — и, знаю, останется и в грядущем, незаёмной, свободной, живой, — речью образов, речью знаков, речью символов и прозрений, речью цвета, и строя, и пластики, речью света, сквозь морок и мглу всей безумной ушедшей эпохи, речью чувства и речью страдания, речью мужества, речью тайны, и внутренней силы, и воли, и величия духа, и чуда, и упорства, и радости жизни, поскольку

без радости этой вообще не бывает искусства, — сами — конечно, сами, — лучше всех говорят за себя.

...Нет, не стану я нынче рассказывать о Володином пребывании в дурдомах, многолетнем, тягостном для него. Не хочу. Тяжело.

Вспомню лучше о том, как солнечно было в мире однажды, в праздничном появлении лета нового, что незнамо куда вело.

Но, куда бы ни шёл я, видел я, впереди, за домами, вставшими на пути моём, за деревьями, — золотой, благодатный свет.

Он, как прежде, жив — и в грядущее, всех нас, грустных, радостно ждущее, словно мост спасительный, тянется из минувших, далёких лет...

...Но Володя Яковлев снова появляется в тексте моём.

Появляется — в отшумевшую навсегда, похоже, эпоху.

Появляется — выйдя из памяти. И не чьей-нибудь, а моей.

Без него — ну никак нельзя. И скажу я резче и чётче: без него обойтись невозможно.

Ведь с него и с его работ всё когда-то и началось.

К нему же всё, так уж вышло, нынче и возвратилось.

Кольцо? Завиток спирали?

Не всё ли равно! Так — надо.

Так — лучше. И — справедливей.

Разумней. А вдруг — безумней?

Какое вам дело, если именно так — вернее!

И вот из-за брезжащей грани в далёком, как сон, тумане, и всё же в столичной яви, в тревогах былых и славе, отринув днесь забытьё, в честь лет, навсегда крылатых, в начале семидесятых, выводит его — чутё.

Он создал однажды, помните, современники, — образ яблока.

И яблоко это — сразу же покатилося, уже не по блюдечку, но сквозь время с пространством, вдаль, туда, где за новой гранью встанет всё, что грядёт впереди.

Он идёт упрямо и быстро по Уланскому переулку, маленький, часто втягивающий крупную голову в плечи, движущийся почти на ощупь, и, если, похоже, ещё не совсем вслепую, то в состоянии, к этому действительно слишком близком, и при всём при том держится он довольно уверенно всё же, твёрдо зная, куда ему надо прямо сейчас добраться, ни секунды не сомневаясь в том, что он доберётся до цели, и вот он уже сворачивает с переулка, вправо, во двор, поднимается на крыльцо, стучится в старую дверь пристроечки, прилепившейся к большому зданию школы, — и ему открывают, его приветствуют радостно, громко, тащат вовнутрь, привечают, — ну вот, дождались, наконец-то, сам он пришёл сюда.

Здесь собирались мы когда-то. Здесь обитал со своей супругою тихой Боря Кушер, двоюродный брат Виталия Стесина. Здесь довольно часто, поскольку надо ведь было ему хоть на время приют обретать в скитаньях своих, застревал, иногда и надолго, Игорь Ворошилов, здесь и работал, оставляя радушным хозяевам после своих сидений в квартирке их крохотной, груды великолепных рисунков.

Здесь было одно из богемных, для своих, для друзей, конечно, потому что чужим сюда хода не было никогда, прекрасно известных нам и вполне надёжных пристанищ.

Место удобное. Центр столицы. С одной стороны, рядом, поблизости, — Сретенка, со всеми её переулками и подвальными в них мастерскими бородатых подпольных художников, а с другой стороны, тоже близко, по московским-то меркам, — Чистые пруды, и метро, и трамваи, и несметные, шумные стаи голубей, которых кормили старушки и старики. И, куда ведь ни оглянись — до всего, чудеса, да и только, сплошь и рядом, рукой подать.

В довершение всех удобств, преимуществ, достоинств местных, как торжественный, в до-мажоре, с каждым утром похмельным празднично, громогласно звучащий аккорд, здесь же, рядом, прямо у входа в переулок, на видном месте, распо-

ложен был всем известный и для всех в округе желанный, по причине всеобщего пьянства и завидного в нём постоянства, для спасения всенародного позарез, разумеется, нужный, пусть и скромный, пивной ларёк.

Ну а в кушеровской, пусть и крохотной, но двухкомнатной всё же квартирке, при желании, можно было скоротать вечерок, в тепле и покое, выпить немного, повидаться с друзьями, с приятелями.

Яковлев из дому — так уж получается, так выходит, не по его вине, а по другим причинам, — выбирается очень редко.

Для него такие вот вылазки — к людям, в свет, на прогулки просто, побродить, подышать, — всегда оказываются проблемой.

Передвижение каждое, одному, в пространстве, а может быть, и во времени, всё с ним бывает, всё случается часто, по городу неминуемо сопряжено для него с немалыми сложностями, для него-то уже привычными, если помнить о воле его и способностях необычайных жить и действовать по чутью, по наитию, подниматься над условностями и преградами высоко, буквально взлетать и над страхами, и над странностями окружающей жизни, а, значит, побеждать, каждый раз побеждать всё, что может ему помешать и мешает ему постоянно добираться упрямо до цели, восходить над любой бедой, как цветок, нарисованный им, быть собою везде и всегда, находиться в духовном пути, это прежде всего, а не только находиться в дороге, в городе, направляясь к своим знакомым, чтобы там повидаться с ними, отдохнуть хоть немного душой, тогда как для всех других никаких в этом сложностей нет.

Володино появление все расценивают как событие.

Все относятся к этому, словно к совершённому им сегодня несомненному, это уж точно, и весьма серьёзному подвигу.

Все его любят здесь.

Все ему очень рады.

Он снимает своё пальто мешковатое, а потом извлекает из рукава лист бумаги, скрученный в трубку, — работу свою, гуашь, спрятанную в рукаве от вездесущей матери, — подарок некоей даме, в которую так наивно и восторженно он влюблён.

Да, известно, что дома — строгости. Не тюремный режим, но всё-таки трудновато порой приходится так вот, в гуще ограничений и запретов, существовать. Вот и терпит он этот гнёт огорчительный, долгий. Дома — постоянный контроль, надзор. Шагу лишнего там не сделаешь, чтобы тут же его не заметили. Положение прямо аховое. Но, скажите-ка, что же делать, если так вот, если помягче говорить о таком, — грустновато, ну а если порезче об этом говорить — то просто ужасно всё сложилось в жизни его?

Художник чувствует там себя, как будто в осаде.

И даже, если уж быть откровеннее, временами, особенно в те периоды, которые, к сожалению, бывают слишком тяжёлыми и мучительными для него, изматывают основательно, и надо с ними бороться, чтобы выдержать всё это, выжить, победить наваждения эти, чтобы снова работать, — ну прямо, как в настоящей тюрьме.

Во всяком случае — словно в очередном дурдоме.

Что хуже — ещё вопрос.

Приходится, да, представьте, выносить работы украдкой, чтобы никто из домашних этого не заметил, если хочешь, в кои-то веки, их кому-нибудь подарить.

Мать привыкла их продавать: постоянно, пусть незадорого, но и то хорошо, а берут, и поэтому получается хоть и скромный, зато реальный и вполне приличный доход.

Володя, с немалыми трудностями, вырвался из-под опеки.

Подумать только: сегодня это ему удалось!

Он радуется, как отважно убежавший с урока школьник.

Восклицает, сверкая глазами на друзей:

— Хорошо здесь у вас!

Оттаивает, успокаивается.

Дарит своей нарядной, специально сюда пришедшей, чтобы с ним повидаться, пассиве принесённую им работу — одинокий белый цветок на глухом, беспокойном фоне.

Дама счастлива:

— Ах, Володя! Вот спасибо! Какая прелесть! Как я рада! Ах, как я рада! Это чудо, ну просто чудо! Ах, Володя! Можно тебя мне за это поцеловать?

И Володя, стесняясь:

— Можно!

Дама — Яковлева целует. Но не в губы. Как птичка. В щёчку.

И Володя — краснеет вдруг.

И потом говорит:

— Ещё!

Дама — снова его целует. Словно птичка. В другую щёчку.

И Володя, разволновавшись, говорит ей опять:

— Ещё!

Дама — смотрит вкось на Володю. И целует Володю — в лоб.

И Володя стоит, смущённый и довольный вполне: любовь!

Ну а дама — щебечет восторженно, с виртуозными птичьими трелями в звонком, резком, высоком голосе, всё щебечет о чём-то, поёт, но о чём — никак не поймёшь, и не надо её понимать, лучше всё, как есть, принимать, пусть щебечет, — она музыкантша.

Кто-то Яковлеву протягивает лист бумаги и мягкий грифель.

Он усаживается за стол. Надо сызнава рисовать.

Несколько быстрых росчерков — и плывёт на белом листе лупоглазая, симпатичная, на кого-то похожая рыбка.

Желающих получить Володин рисунок — немало.

На другом листе столь же быстро возникает грустная птичка.

На третьем листе — появляется, на фоне домов городских и деревьев, милое женское лицо, и есть в нём какая-то недосказанность, прелесть, есть сокровенная, светлая тайна.

— Это ты! — говорит Володя зардевшейся от смущения тихой хозяйке дома. — Правда, похоже? Бери!

Все — охотно берут рисунки. Благодарят его.

Володя сегодня — в ударе, на подъёме. Он обращается сразу ко всем собравшимся:

— Давайте ещё бумагу! Буду я всем рисовать!

И бумага, само собою, появляется перед ним.

И Володя — опять рисует.

Всю бумагу изрисовал.

Всем рисунки вручил — в подарок.

И, конечно, как же иначе, не один рисунок, а несколько превосходных своих рисунков он вручил целовавшей его, в щёчку, дважды, и в лоб, единожды, вдохновившей его сегодня, так внезапно, на рисование, для него распрекрасной, даме.

И потом начинается — общее, как обычно, в те годы, застолье.

И Володя — участвует в нём.

Вина он, даже сухого, вообще никакого, не пьёт.

Его угощают чаем, свежим и крепким, и сладостями.

Черноглазый, скуластый, собранный в комок, а может быть, даже в энергетический шар, с желтоватым оттенком кожи, с лицом, которое он словно вжимает в мир, с артистичными, выразительными, маленькими руками, со странной шишкой на лбу, широко, уже морщинистом, будто бы с третьим глазом, когда-то, в юности, вроде бы, здоровый и энергичный, с отменным зрением, зрячий порою до ясновидения, а позже — уже больной, да только что за болезнь и есть ли она вообще, толком никто не скажет, полуслепой художник, рисующий непонятно как, суть вещей и явлений прозревающий внутренним зрением, Яковлев нынче — в компании славной, среди своих, и ему здесь, это уж точно, действительно хорошо.

— Яковлев — гений! — решительно, убеждённо, дымя сигаретой, говорит кому-то в соседней, слишком уж маленькой комнате, наполовину занятой чёрным большим роялем, оде-

тый в костюм джинсовый хороший художник Вагрич Бахчанян, в столицу приехавший из Харькова и стремительно ставший здесь человеком известным, при виде Володи Яковлева всегда забывающий напрочь о своём грандиозном юморе и сразу переходящий в иное совсем состояние — почтительно-го изумления.

— Это так гениально, что даже скучно! — Пышноволосый, близорукий Эдик Лимонов специально, нарочно бросает изрядную ложку дёгтя в бочку целебного мёда: ведь без этого он никак, так уж он устроен, не может.

— Яковлев есть Яковлев! — отрезает спокойно бывший комсомольский столичный деятель, а ныне абстракционист, похожий на Модильяни отчасти, Виталий Стесин. — Яковлев и Ворошилов — художники экстра-класса!

Яковлев между тем пьёт с удовольствием чай — и слушает женский щебет.

Созданный им, по наитию, в начале семидесятых, таинственный образ яблока — снова встаёт, видением, знаком волшебным, символом странствий грядущих, долгих лет, суровых, бездомных, творческих, передо мной.

Рассказывать о Володе Яковлеве, при желании или под настрояние, можно — следует помнить об этом читателям — долго.

Да и написано всё-таки о нём, человеке особом и художнике, удивительном, безусловно, уже немало, а напишут намного больше!

Я выскажу то, что важно, по-моему, прямо сейчас.

Аналоги, параллели, точки соприкосновения уникального творчества Яковлева с тем лучшим, что было создано человечеством, надо искать не в современном искусстве изобразительном, нет, а в скульптуре архаики греческой и Египта, в искусстве древних легендарных цивилизаций, в мифологии, в текстах библейских.

Многозначная живопись Яковлева, как такое понятий смещение кого-нибудь ни озадачивает, вообще к скульптуре близка: под оболочкой статичности, кристаллической сложной формы — неистовая динамика, движение, неукротимое, долговечное, словно художник, творец прирождённый, вдохнул его, трудясь, в работу свою, — на любой цветок посмотрите, существующий на листе так, что виден со всех сторон и в любом земном измерении, включая ещё и четвёртое.

Владимир Яковлев, живший среди нас и оставшийся с нами всем, что создал он в годы былые, что оставил столь щедро людям, всем, навек, — гениальный художник, интуит, прозорлив, избранник, увидевший тайное тайных, — и сущий ребёнок в быту, в повседневности, так безнадежно, показаться может кому-то, но на самом-то деле с надеждой нескончаемой, с грустью, дружной с обретаемой изредка радостью, заплутавший давно когда-то в лабиринтах коварных яви, но искавший и находивший выход к свету из грозной тьмы, всею внешней своей биографией пожертвовавший в былую эпоху — во имя Судьбы.

Своим трагичнейшим творчеством Яковлев достовернее и намного сильнее — так я считаю, и это правда, — чем его собратья по кисти, с небывалою силой выразил бесчисленные, поскольку нет им счёта, противоречия, изломы, хаос, безумие и длительное удушие всеми нами прожитых лет.

Не случаен и сам подход его, необычный, отважный, к живописи: подобно вдруг ощутившему всесильную тягу к творчеству художнику первобытному, он не просто, рисуя, фиксировал то, что видел и что постиг, но всё время преображал и увиденное, и постигнутое, создавал, сам, всегда в одиночку, в том процессе творения, где всё впервые, и всё всерьёз, и на самой высокой ноте, укрепляя тем самым взгляд, проникающий постоянно вглубь и ввысь, в суть вещей и явлений, — свой собственный, уникальный, небывалый доселе, мир.

И не только трагедия времени и души в мире этом есть, и не только боль и отчаяние, но и редкостная доброта, изумительный свет, подтверждающий торжество добра над жестоким, затяжным, изуверским злом, дающий людям возможность увидеть вовремя нужные ориентиры в жизни, и поистине фантастическое, сказочное сверхзрение, явленное в былую эпоху, с её безобразиями, и стократно внезапно окрепшее на склоне столетия прежнего, и обретшее новые силы для жизни — в столетии нынешнем.

Вера, любовь и надежда, но ещё и мудрость, особая, мудрость детскости и прозрений, мудрость опыта и вдохновения, и живого огня искусства, и сквозь горечь и боль выживающей, побеждающей все невзгоды, изумительной человечности, о которых столько уж лет, с переменным успехом, пытаюсь отыскать их природу и суть, их значение и величие, рассуждают, — вот здесь, в оставленных всем землянам, работах Яковлева.

Они — не просто надолго.

Они — уже навсегда.



Друг мой давнишний — Игорь Ворошилов. Художник великий.

Высоченный. И несуразный. Своенравный. И многоликий.

Образованный — лучше многих. Одарённый — куда уж больше.

Компанейский — и одинокий. Знавший то, что полны горше.

Добродушный — и вдохновенный. Озарённый — нездешним светом.

Окрылённый — и дерзновенный. Удивительным был поэтом.

Был мыслителем — и бродягой. Дольше всех по земле скитался.

Вот и в памяти человеческой ярче всех навсегда остался.

Был рассчитан он на столетье. Жил годами за гранью быта.
Был воителем. Лихолетье презирал. Говорил — открыто.
Мыслил — в корень. Прозренья ведал. Верил в Бога — по-детски, просто.

Никого никогда не предал. Был — в пути. Знал — приметы роста.

Понимал иногда такое, что другим недоступно было.
Не искал среди бед покоя. Шёл — вперёд. Козак Ворошило.
Видно, борется и доселе. Там, где он пребывает ныне.
С тем, что выйти мешает к цели и легко везде на помине.
Ошибается. Побеждает. Утверждается в каждом чувстве.
Изумляется. И страдает. Чтоб спасенья искать в искусстве.
И находит — свою дорогу. И выходит по ней — к себе.
Далеко ему — до итога. Не до шуток теперь — судьбе.
Начинается всё — сначала. Продолжается — на века.
Вот мелодия зазвучала. Незаметно. Издалека.
Вслед за звуком возникли знаки сокровенного жития.
Эпос. Летопись. Взгляд во мраке. Сплав наития и чутья.

— У тебя вся спина белая!

Что за шулки? И чей это голос?

Ворошилов остановился. Оглянулся. Взглянул, сощурившись, вдаль, назад, во дворы, откуда доносился дурацкий оклик.

На скамейке, с бутылками пива и с кусками воблы, разложенной на измятой газете, сидели, усмехаясь, трое парней.

Ворошилов сказал им:

— Придётся на спине что-нибудь рисовать.

Парни дружно, громко заржали.

— Длинный, ты, наверно, художник? — вдруг спросил один из парней.

Ворошилов ответил:

— Художник.

— А меня нарисуешь? — спросил тот же парень. — Или слабо?

— А тебя рисовать я не буду. Потому что ты мне неприятен. — Ворошилов махнул рукой, словно он отмахнулся от мухи, и сказал устало: — Отстань!

— Что? — вскочили все трое парней. — Слушай, ты, художник! А ну, повтори-ка, что ты сказал?

Ворошилов сказал:

— Отстаньте!

Парни грозно придвинулись к нам.

— Ты, художник!

— И ты, борода!

— Схлопотать по мордам хотите?

Шли мы с Игорем Ворошиловым по своим делам, а точнее и честнее — в поисках пива. Шли — к пивному ларьку. А тут — на пути нашем долгом — загвоздка. Трое пьяных парней. Задристых. Молодых. И довольно пьяных.

Я сказал Ворошилову:

— Игорь! Нам придётся объединиться.

И ответил мне Ворошилов:

— Да, Володя! Объединимся.

В двух шагах от нас грудой лежали груды спиленных с ближних деревьев, свежих, толстых, массивных ветвей.

Приподнял я с земли одну ветку — и шархнул по ней, с размаху, по наитию, видно, какому-то, резко, быстро, ребром ладони.

Ветка, с треском необычайным, разломилась на две половины.

Отшатнулись парни от нас:

— Каратист!

— Ребята, атас!..

Ворошилов схватил обломок ветки в руку правую:

— Брысь!

И парней — словно ветром сдуло. Даже пиво своё забыли, вместе с воблой, на той скамейке, где недавно сидели они.

Ворошилов сказал:

— Володя, неужели ты — каратист?

— Нет, конечно, — ответил я. — Никакой я не каратист. И об этом прекрасно ты знаешь. Просто — так получилось. И сам я не пойму — ну как это вышло?

— Значит, выше нас уберегли! — Ворошилов голову поднял вверх — и что-то там разглядел. — Ну конечно! Ангелы наши. Нам сейчас они помогли.

Согласился я с ним:

— Это — ангелы.

Пить оставленное парнями пиво мы, конечно, не стали. Не хватало ещё — за кем-то, неизвестно — кем, допивать. Гордость есть у обоих. И честь. И не в наших — такое — правилах.

Мы отправились дальше. Мы шли по столице — в поисках пива.

Сколько раз такое бывало! Не упомнить. Не сосчитать.

Но в пивнушках — не было пива. И ходить нам — уже надоело.

И сказал тогда Ворошилов:

— Знаешь, что? Не хочу я пива.

Я сказал:

— И я не хочу.

— Лучше выпьем с тобой газировки. Без сиропа. По два стакана.

Я сказал:

— Газировки — выпьем.

Автомат с водой газированной отыскали мы вскоре. И выпили, каждый — по два стакана, шипучей, освещающей, чистой воды.

— Красота! — сказал Ворошилов.

Я сказал:

— Красота. Лепота.

Добрались мы — сквозь летний зной, звон трамваев и шум проезжающих непрерывным потоком, по улицам, тополиным пухом засыпанным, словно призрачным снегом, машин, сквозь

прибоем звучащий гул голосов людских, сквозь протяжный, лёгкий шелест листвы, сквозь день, незаметно клонящийся к вечеру, сквозь желание выпить, которое мы оставили позади, там, в недавнем, но всё же былом, до знакомого всей московской, удалой, развесёлой богеме дома, где обитал я тогда.

Чинно, скромно зашли в подъезд. Поднялись на седьмой этаж в лифте. Ключ отыскал я в кармане. Дверь квартиры открыл. Мы шагнули, друг за другом, через порог. Оказались внутри. В какой-то удивительной полупрохладе. Так могло показаться нам, после наших дневных походов по жаре. Отдыхались. Чай заварил я. Крепкий. И вкусный. «Со слоном». Когда-то считался он едва ли не самым лучшим. Пили чай мы. Вечер настал. Свет зажёл я. Включил проигрыватель. И поставил пластинку. Баха.

Волны музыки поднялись высоко, заполнили комнату, потянулись к двери балконной приоткрытой, проникли в наши, молодые ещё, сердца, в души наши, вошли в сознание, в память, в жизнь, в наши судьбы, в прошлое, настоящее и грядущее, в явь, которую мне приходится — через годы — воссоздавать, в книгу эту, в стихию речи, чтобы слышать — и прозревать...

Однажды, в январе шестьдесят девятого, встал Ворошилов на постой, временно, ненадолго, у одной нашей общей знакомой, смугловатой, темноволосой дамы, любящей неофициальное искусство и поэзию, внимательной к друзьям, но иногда и сознательно прямолинейной — могла, например, прилюдно заявить, что стихи Лимонова — ерунда, а мои стихи — настоящие, и такой вердикт оказывался решительным и окончательным, — держалась она довольно уверенно, за словом в карман не лезла, но всегда была с теми, кого выделяла для себя из богемной братии, и отзывчива, и добра.

Начал Игорь там, в тишине и покое, поскольку добрая дама уходила днём на работу, оставляя его в квартире одного, рисовать — и увлёкся. Время для него сместилось. Где ночь, где

день, он уже не разбирал. Словно в другом измерении находился. Только и делал, что работал. Ни о каких там амурах и речи быть не могло. Просто — в очередной раз дорвался художник до возможности, до смешного простой, — в домашних условиях, у хорошей знакомой, любящей искусство, поработать. Вот он и потруился на славу.

Я приехал к нему в Медведково — и ахнул. Куда ни повернёшься, куда ни шагнёшь — везде были Игоровы работы. Да какие! Нередко — шедевры. Живопись, в основном.

Работы грудями лежали на полу, под ногами, свалены были возле стен, кое-какие — прикреплены кнопками на стенах, валялись в прихожей, на кухне, заполняли всё жилое помещение этой однокомнатной квартиры.

Посреди них, босиком, расхаживал довольный Ворошилов.

Он показывал мне свои создания — вот ведь какая счастливая случайность: хотел здесь просто переночевать да, возможно, немножко порисовать, да вдруг как пошло, и остановиться уже невозможно было, и он двигался вперёд, рисовал и рисовал, благо хозяйка подсобила и с красками, и с бумагой, и ничего искать не надо было, всё оказалось под рукой, и никуда уходить не надо было, в ночь, на холод, а можно было сидеть себе здесь, в тепле, и вкалывать, — и вот он, результат.

Ворошилов делал широкий жест рукой — и указывал на то, что он здесь наработал.

Увиденное не просто впечатляло. Скорее, оно изумляло. Озадачивало. Потрясало.

Это какая же творческая энергия должна быть у человека, чтобы единым духом, без всяких перерывов, за несколько дней, столько всего понамалявать!

Картинок хватило бы на несколько больших персональных выставок.

Ворошилов расхаживал среди них, как пастырь среди своего стада. Но напоминал ещё и доброго волшебника, столько чудес неожиданно сотворившего, — только вместо волшебной па-

лочки была в его руках просто кисть. Впрочем, наверняка — волшебная, сомнений в этом быть не могло.

Ворошилов выразил желание купить пива.

У меня было несколько рублей. Мы отыскиали две пустых трёхлитровых банки, закрыли их пластмассовыми крышечками. Сунули наши банки в авоськи. Вот теперь можно было и отправляться на поиски пива.

Мы накинули свои пальто — и вышли на улицу.

И тут-то я подумал: ну зачем нам нужно это пиво — сейчас, зимой? Но было уже поздно. Коли решили идти за пивом — его следовало ещё и найти. Не так-то просто было сделать это в прежние годы.

На улице стоял мороз. Да ещё какой! Лютый, и только. Январский. Градусов двадцать пять, наверное.

Вся округа, всё Медведково, казавшееся нам тогда глухоманью, дальней, совершенно неизведанной московской окраиной, было завалено снегом. По обе стороны от расчищенных без устали работающими дворниками дорожек на тротуарах возвышались монументальные сугробы. Но снег продолжал сыпаться сверху крупными хлопьями. И на тротуарах ноги вскоре увязали в нём по щиколотку, а потом и почти по колено.

Где искать пиво в этом занесённом снегами Медведкове?

Мы с Ворошиловым шли и шли, наобум, наугад. Передвигались от квартала к кварталу. Расспрашивали прохожих — где здесь пивные ларьки. Подходили — и очередной ларёк оказывался закрытым. Приходилось топтать дальше.

Мы уже совсем устали и замёрзли, когда увидели, наконец, впереди открытый пивной ларёк.

Само собой, стояла к нему немалая очередь. Посреди густого снегопада, облепленные снегом, люди напоминали оживших снеговиков.

Каким-то образом удалось нам проникнуть поближе к раздаче пива. Кажется, Ворошилов проникновенно обратился к какому-то парню, доброму на вид, и тот пропустил нас без очереди.

Мы налили в наши трёхлитровые банки столько пива, сколько в них поместилось.

Взяли себе по кружке — и отошли в сторонку, за ларёк, чтобы не спеша выпить пивка.

Загадкой оставалось — как мы его, ледяное, сумеем выпить на улице, на таком морозе?

Но об этом старались мы не думать.

Сейчас важно было — совершить ритуал. Этак своеобразно отметить у незнакомого ларька, выпив по кружке мутного пива.

Мы встали за ларьком. Пригубили пива. И вдруг... Вдруг нам перехотелось пить.

Мы увидели — жуткую картину.

За пивным ларьком высился здоровенный сугроб.

Прямо в этом сугробе, на снегу, сидел пожилой мужик. Горло его было обмотано бинтами. Из-под этих грязных бинтов, прямо из горла, изнутри, торчала какая-то трубка.

Мужик молчал. Но время от времени издавал, изнутри, сквозь эту торчащую наружу трубку, какие-то звуки — всхлипывания, всплески, бульканье, хрипы, шипение.

Мужик, сидя в одиночестве, чего-то с нетерпением ждал.

И вскоре к нему подошло ещё двое мужиков. У них в руках были кружки с пивом. Они поставили свои кружки на снег.

Один из них достал из-за пазухи бутылку водки. Быстро открыл зубами пробку. Достал из кармана пустой стакан. Привычно налил в стакан нужную порцию — такую, какую всегда наливали, распивая на троих.

Потом, с водкой, налитой в стакан, этот мужик подошёл к сидевшему в сугробе пожилому мужику.

Тот сделал нетерпеливый жест рукой — ну, давай, мол, давай, скорее!

Мужик со стаканом поднёс этот стакан прямо к трубке, торчащей из-под бинтов, изнутри, у сидевшего в сугробе пожилого мужика, — и стал аккуратно переливать водку из стакана прямо в трубку.

Мы с Ворошиловым с ужасом смотрели на это занятие.

Наконец вся водка из стакана была перелита в трубку.

Мужик с забинтованным горлом побагровел, слегка оживился. Опохмелился, стало быть. Надо полагать, водка попала прямо в желудок. Горла, скорее всего, у него не было. Наверное, было оно вырезано. Посему приятель-алкоголик и лил ему, алкоголику, водку прямо в желудок.

Мужик с забинтованным горлом говорить ничего не мог. Он только благодарно хрюкал.

Его приятели в момент опорожнили, по очереди, стакан с водкой. Тоже оживились. Закурили. Присоединились к приятелю. То есть уселись рядышком с ним в сугроб. Всем троим стало им хорошо. Все опохмелились. Все возвращались к жизни. Теперь они сидели в сугробе и прихлёбывали из кружек своё пиво. И даже пива немного умудрились налить в трубку мужику с забинтованным горлом.

Какой жуткий символ! Словно сама эпоха, с вырезанным, забинтованным горлом, уже без голоса, без речи, но жаждущая алкоголя, а с ним и некоторого забытия, сидела в сугробе, на московской окраине, посреди снегопада, в пору средизимья, — вот здесь, перед нами!..

Через силу выпили мы с Ворошиловым пиво — и даже не пошли, а побежали по снегу, поскорее, поскорее, в тепло, в квартиру, где можно будет, до прихода хозяйки, посидеть на кухне вдвоём, покалякать, — ну а потом собираться и уходить, мне — домой, Ворошилову — куда-то, а куда — он ещё не решил, да и не всё ли равно было, куда идти теперь? На дворе зима, и холодно, и мороз вон какой сильный. Одно утешение — что хорошо поработал.

Было самое начало года — и впереди ждало неизвестно что, и зачем загадывать, когда, быть может, всё сложится как-то само собою, достаточно хорошо, для того, чтобы жить и работать.

Снег шёл и шёл, и мороз всё крепнул, и сплошная белизна вставала перед глазами, заполняя видимый мир, а с ним и то

будущее, которое ждало нас где-то там, за снегами, за холодом, далеко, далеко, впереди...

...А однажды, в конце шестидесятых, Ворошилову так надо было похмелиться, что куда угодно пойдёшь, лишь бы только добыть спиртное, или денег достать немного, и купить магазинное пойло, заглотнуть его и спастись, — вот он и пошёл к Кабакову, а где мастерская — забыл, помнил только, что на чердаке всем известного, несуразного, не вполне московского с виду, чужестранцем стоящего дома на Сретенском бульваре.

Ничтоже сумняшеся, забрался он из мрачного внутреннего двора по наружной пожарной лестнице на крышу, нетрезвый ещё, и пошёл искать Кабакова.

А на этой крыше лет семьдесят жили полчища котов и кошек, никогда не спускавшихся на землю, и очень они мешали Игорю в его хождении по опасным высотам, но Игорь старался по возможности меньше внимания на них обращать, а сконцентрироваться только на одном-единственном: в поисках каких-нибудь примет кабаковской мастерской, где, он твёрдо верил, застанет он Илью, который его, конечно же, выручит.

И он нашёл-таки Кабакова, увидел его в окне, тот принимал иностранцев, кажется — чехов.

Игорь постучал в оконное стекло и очень вежливо сказал: — Илья, займи, пожалуйста, рубль!

Гости кабаковские обомлели, ибо сверху, с неба, нависала над ними громадная фигура неведомого им, весьма колоритного человека, выразительно показывавшего палец: всего один рубль нужен!

А Кабаков тоже изумился, но рубля почему-то не дал, хотя мог бы вполне, за такое-то ворошиловское геройство — найти его, пройдя по крыше высоченного и многокорпусного, дореволюционного ещё дома, постоянно рискуя поскользнуться и свалиться вниз, да ещё и среди мечущихся вокруг, путающихся под ногами и орущих на разные голоса высотных котов

и кошек, — и что им двигало — непонятно, поскольку, выдав рубль отважному художнику, он вовсе не обеднел бы.

И пришлось Ворошилову, не солоно хлебавши, без рубля, о котором он так наивно мечтал, обратно идти по крыше, слезать вниз по узкой, ржавой лестнице, — и всё это, не забывайте, было с похмелья, и подвиг его по добыче заветного рубля в одночасье был поскупившимся на доброе деяние Кабаковым принижен, и это его огорчило безмерно, да всё же сумел он преодолеть эту горечь, стерпел, проглотил обиду, сжал зубы, сумел собраться с силами, чтобы с высоты почти поднебесной, надкабаковской, спуститься на землю московскую.

И слез он по лестнице, и оказался в глухом, с четырёх сторон закрытом высоченными корпусами, пустом дворе.

И ощутил он тогда в душе даже не грусть, а горечь.

И тогда, ведомый чутьём, перешёл он дорогу, и теперь уже не поднялся, а спустился вниз, в подвал, в мастерскую к Эрнсту Неизвестному, и обратился к известному скульптору со своим наболевшим вопросом об одном-единственном, необходимейшем для опохмелки, рубле.

И тот, совсем другой человек, нежели Кабаков, сразу всё понял.

И в ужас пришёл, когда Ворошилов поведал ему о недавнем своём подвиге с походом по крыше среди кошачьих стай и поисками окна в мастерской кабаковской.

И выдал Эрнст Ворошилову не просто рубль.

Нет, он, мужик бывалый, сам хорошо знающий, каковы некоторые состояния и как в них бывает порою тошно хорошему человеку, и особенно художнику, поскольку сам он был, как известно, человеком пьющим, нередко и крепко пьющим, что удивительным образом не отражалось никогда на его фантастической работоспособности, — он, Эрнст, человек широкий, до глубины души поражённый и ворошиловским видом, и кратким его рассказом о тщетных поисках столь важного для поправления здоровья одного-единственного рубля, дал Ворошилову

денег, искренне, от души, по-дружески присоветовав не экономить на себе самом, а опохмелиться по-человечески, по всем правилам, так, как он обычно это делает.

Но прежде всего Эрнст сделал самое важное: он здесь же, на месте, в своей подвальной мастерской, налил, щедро, без всяких лишних движений, бражки собственного изготовления, благо бражка сия, в немалом количестве, в нескольких десятилитровых бутылках, мутноватая, да зато крепкая, надёжная, с плавающими за стеклом размякшими апельсиновыми и мандариновыми корками, постоянно была под рукой, на всякий случай, и сейчас вот очень даже пригодилась, для того, чтобы выручить Ворошилова, которого Эрнст очень ценил как художника и который был ему всегда симпатичен, и по-человечески, и как земляк, тоже, как и сам он, с Урала, — да, щедрым, точным, привычным жестом налил Эрнст смущённому и разволновавшемуся Игорю один стакан бражки, потом другой, а потом и третий, чтобы наш герой прямо при нём похмелился, поправил, хоть немного, для начала, здоровье, успокоился, отдышался, — да и сам с ним выпил, — и только потом уже, позже, когда оба они и выпили, и символически закусили, и успели поговорить, и взвинченность ворошиловская прошла, схлынула, а на смену ей пришло спокойствие духа, лично, воочию убедившись в том, что он спас Ворошилова, Эрнст разрешил ему покинуть свою мастерскую и благословил на дальнейшее выздоровление.

Показательно, не правда ли?

Об этом случае позже Ворошилов рассказывал мне с изумлением — ну что его понесло тогда на крышу? и что за наивное желание — обрести заветный рубль — завладело им тогда? — и что за надежда, тоже наивная, на кабаковское понимание ситуации, возникла в его душе? — сам он толком не понимал, почему это происходило.

Но зато об Эрнсте Неизвестном — и его понимании ворошиловского состояния, и его мужской солидарности с ним, и его

человечности — говорил Ворошилов не единожды с восхищением, с уважением, с благодарностью.

Да и сам Эрнст, вскоре после этого случая, сказал мне, что хотел бы повнимательнее посмотреть ворошиловские работы.

И я не поленился принести ему некоторое количество картинок.

И Эрнст Неизвестный внимательнейшим образом, посерьёзнев, собравшись внутренне, как-то решительно, сразу же войдя в ворошиловский мир, углубившись в него, сосредоточившись, изучал Игореву живопись и большую стопку графики.

И потом сказал мне:

— Какой художник! Да, Ворошилов — очень талантливый человек. Невероятно талантливый человек! Я так рад за него. Ты обязательно это ему передай, Володя!

— Конечно, передам! — сказал я.

— Пусть Игорь всегда заходит ко мне! — сказал Эрнст. — Я ему всегда буду рад.

И я передал эти слова Игорю.

Он вначале смутился. А потом весь расцвёл.

Вот ведь как важно иногда слово, сказанное вовремя собратом по искусству, да ещё и человеком хорошим.

Однако слишком часто заглядывать к Эрнсту Ворошилов стеснялся. Деликатность его срабатывала.

Но встречи у них бывали, конечно. И хорошие встречи.

И о поступке Эрнста, о том, как он выручил Ворошилова, поневоле, от отчаяния, по счастью — ненадолго, да всё же в своё время ставшего таким верхолазом, Игорь никогда не забывал.

...В шестьдесят восьмом? Да, пожалуй. Поздней осенью. Да, наверное. Где-то в самом конце ноября, полагаю. Однажды вечером.

Ворошилов зашёл в квартиру, как герой, вернувшийся с фронта, после многих сражений, с видом победителя, с грудой работ на картонах, в обеих руках, — и швырнул их на пол,

сказав, приказав, скорее, призвав сразу всех, к немедленным действиям, тоном маршала:

— Выбирайте!

Собралась у меня тогда, по традиции прежних лет, вечерок скоротать, стихи почитать, большая компания.

Все — как будто бы пробудились. Налетели, толкая друг друга, на картины, сюда принесённые Ворошиловым, новые, свежие, сразу видно, что очень хорошие, даже больше, просто чудесные, и шедевры есть, посмотрите-ка, ну и ну! — и давай выбирать.

Я сказал:

— Что ты делаешь, Игорь?

Ворошилов:

— Пусть выбирают!

Выбирали. Через минуту разобрали работы, все.

Я сказал:

— Человек — трудился. Что ж вы — так? Налетели, как хищники, на картинки — скорей, скорее, ухватить для себя, урвать!..

Но богемная публика эта даже ухом не повела. Получили работы, задаром, — и прекрасно, и все довольны. Пьют вино, дымят сигаретами, говорят о своём, картинки, между делом, с видом прожжённых знатоков, спокойно рассматривают. Как их много! И все — с претензией на свою особенность, все — с сомнением, с гонором, с хваткой, на поверку, быстрой и цепкой.

И тогда я сказал всей компании:

— Расходитесь. Мне надо работать.

Поворчав, компания стала расходиться.

Сказал я Игорю, громко, твёрдо:

— А ты — оставайся.

Дверь захлопнулась за последним из богемщиков. И квартира опустела. Стало просторней. И спокойней. Открыл я дверь на балкон, чтобы всё проветрить. Сигаретный дым, как

туман, полосой потянулся на улицу. Заварил я на кухне чай. Приоткрыл холодильник. В нём было пусто почти. Но я приготовил два бутерброда. И позвал к себе Ворошилова:

— Игорь, где ты? Иди пить чай.

Ворошилов, с книгой в руке, — это был им любимый Хлебников, — длинный, тихий, в домашних тапках, в брюках, красками измазюканных, старых, рваных, коротковатых, в мятой, старой рубашке, задумчивый почему-то, пришёл на кухню.

Пили чай мы. Вдвоём. За окном различить, напрягая зрение, можно было два старых тополя, облетевших, тех, о которых я сказал Ворошилову как-то, что один из них — мой, а другой — ворошиловский. Игорь с этим согласился тогда. Всякий раз, появляясь вновь у меня, он искал вначале глазами, в оконную щурясь хмарь, эти старые тополя.

Эти старые тополя — сохранились. Во всей округе — всё снесли, деревья спилили, понастроили новых домов. Только два этих старых тополя, мой — один, другой — ворошиловский, словно память о прежней эпохе, да и память о дружбе, — стоят. Всё на том же месте. Живые. Ветераны. Свидетели грустные лет, овевших славой нынешней. И листвою — сквозь боль — шелестят...

...Старинный романс цыганский, до боли знакомый всем, слетал, как грустная птица, с заезженной старой пластинки, кружился по комнате, где я временно обитал.

Распахнулась дверь — и внезапно на пороге возник Ворошилов.

С торбой какой-то в руках, чем-то битком набитой.

Он воскликнул:

— Привет, Володя! Наконец я тебя нашёл.

Я рванулся к нему:

— Здравствуй, Игорь! Как я рад тебе! Ты откуда?

— Из Белых Столбов. Пришёл оттуда в Москву. Пешком.

— Почему же ты не приехал, как обычно, на электричке?

— Денег не было у меня. Вот и шёл по шпалам, пешком.

— Ну а в торбе что?

— Да картинки. Вон их сколько. И все ведь — новые. И куда их теперь девать?

Я сказал:

— Ты присядь, отдохни.

Игорь торбу на пол поставил — и присел на краешек стула. И сказал мне просто:

— Устал...

Предложить ему было нечего. Ни еды, ни вина, ни чая — ничегошеньки у меня просто-напросто не было. Только, в трёхлитровой банке, вода.

Игорь сразу всё понял. Сказал:

— Пить хочу. Можно мне — воды?

— Пей, конечно!

И выпил он, прямо залпом, стакан воды.

Я спросил:

— Работы покажешь?

Игорь, торбу подняв:

— Смотри!

Посмотрел я его работы. Что сказать? Как всегда — чудесные.

Игорь:

— К Саше Васильеву, что ли, отнести их? А вдруг поможет? Вдруг сумеет, по дружбе старой, хоть какие-нибудь, продать? Жить ведь надо на что-то мне! Отдышусь — и пойду к Васильеву.

— Что, пешком?

— Конечно, пешком!

— Поезжай-ка ты на метро. Поищу сейчас мелочь тебе, на дорогу. Где-то была.

Отыскал я двадцать копеек. Протянул Ворошилову их:

— Вот, держи. Небось пригодятся.

Игорь, с чувством:

— Спасибо, Володя! Что ж, поеду теперь на метро.

Торбу поднял свою. Попрощался. И — шагнул в столичную, шумную, бестолковую, в общем-то, жизнь.

Добрался ли он до Васильева — не знаю. Куда подевались работы — не представляю. Наверное, где-нибудь, у кого-нибудь, он их оставил. На хранение. И потом — разбазарены были они кем-нибудь, как бывало тогда, в годы прежние, множество раз.

И опять я долго не видел Ворошилова. Но порой — появлялся он вдруг. Находил меня сам обычно. И встречи наши были в семидесятых дорогими для нас обоих. Наша дружба не прерывалась — вот что важно сказать — никогда.



Беленок. Пётр Иванович. Петя.

Если по-украински — Петро.

Трудно жил он на белом свете.

Излучал — сквозь темень — добро.

Словно тополь, был он высоким.

Был он худ, бородат и лыс.

В одиночестве — грустнооким.

Восходящим — сквозь годы — ввысь.

В шестидесятых годах столица наша, Москва, была единственным городом — это сущая правда — Советского Союза, страны, которой теперь давно уже нет, где всем нам, людям богемным, представителям всем, так можно посолиднее говорить, тогдашних неофициальных, подпольных, так иногда выражались, литературы и искусства, неконформистских, так ещё говорили об этом, несмотря на всякие сложности, можно было существовать.

Москва заменяла нам далёкий, почти что сказочный, манящий, недостижимый, мифический или реальный, таинственный, эпохальный, в сумятице календарной поистине легендарный, прекрасный, должно быть, Париж.

Здесь была — среда. Вот что важно. Вот что всех нас вело сюда. И поэтому мы отважно покидали свои города. И съезжались сюда — отовсюду, где до этого жили мы. И тогда надежда на чудо будоражила наши умы. И Москва огромная вскоре становилась родной для нас. И на бурном её просторе был возможным наш звёздный час. И работали мы на совесть. Что ни день — сплошные труды. В этом — прежней эпохи повесть. Счастья признаки и беды. В этом горечь и в этом радость. Вне бездушного забвения. Привкус горечи. Но и сладость драгоценного бытия.

Здесь вовсю кипела подспудная, но зато всегда полноценная, независимая от советских громогласных законов и правил, подходящая нам, привольная, на события разные щедрая, привлекательная, интересная, расчудесная, словом, жизнь.

Богема, на редкость пёстрая, такая неоднородная, плавильный котёл, да и только, гремучая, жгучая смесь людская, каша-малаша, как в детстве мы говорили, густое, бурлящее варево, как можно теперь сказать, постоянно, с рекордной скоростью, с каждым годом всё более быстро, пополнялась и обновлялась выходами из провинций.

И вот в шестьдесят седьмом году появился в Москве художник, оригинальный во всём, и прежде всего — в своём необычном творчестве, приехавший, по причине вполне понятной, сюда, по зову души своей, мятежной, крылатой, чистой, приехавший потому, что этого требовал дар его, настоящий, крупный, врождённый и подкреплённый работой и опытом ранним, полезным, незаменимым для него, приехавший в новое пространство, в новую жизнь, а может быть, даже и в новое измерение, так ведь бывает, с Украины, — Пётр Беленок.

Общительный, выделяющийся сразу в любой компании, в любом, даже самом шумном, с неизменной выпивкой, сборище, и, тем более, при общении спокойном, полезном, дружеском, с беседами неторопливыми, об искусстве, о том да о сём, выделяю-

щийся из толпы, заметный даже на улицах, привлекающий взгляды людские необычным и притягательным, с непохожестью на других, с обособленностью всегдашней от расхристанной заурядности, от унылого быта, от пошлости, от занудства и всех безобразий повседневных, чуждых ему, всем, каким-то инопланетным, так могло показаться кому-то и казалось, видом своим, несомненно, талантливый, нет, даже больше, очень талантливый, он легко и просто завязывал многочисленные знакомства, вскоре в дружбы переходящие, и надолго, поскольку сам из такого же теста был, как и все мы, тогдашняя, странная, разношёрстная, дружная братия.

Во всём его облике, словно высвеченном лучом солнечным, летним, ярким, из темноты ночной, налетевшей неведь откуда на окрестности городские с их потугами на уют, с их попытками дать пристанище утомлённому человеку, с их подспудной надеждой дремлющей на грядущий возврат тепла в зимний мир, занесённый снегом, было, так оказалось, особое, не московское, нет, украинское, из других краёв и совсем из других преданий и песен, из другой, трагичной, лирической, сложной, смутной, древней истории, удивительное поистине, от природы, непоказное, но для всех уже очевидное, несомненное обаяние.

Длинный, как говорили в шутку, то есть высокий, тонкий в кости, худой, с аккуратной, ровно подстриженной узким клинышком птичьим бородкой и уже лысеющей, круглой головой, которую он, по привычке, не опускал даже в трудные времена, грустноглазый, то по-мальчишески озорной, то меланхоличный, с украинским призвуком в мягком и спокойном звучании голоса, без излишеств ненужных, негромком, да ещё и с юмором, всеми принимаемым и ценимым, как и всё в нём, своеобразным, и защитным, само собой, и, конечно, с его великой, навсегда, любовью к искусству, он, такой вот, как есть, во всём органичный — и необычный, со своею долей, личной, о которой не распространялся, как-то сразу запоминался.

И вскоре, так уж сложилось, он стал совершенно своим в кругах столичной богемы и буквально, на долгие годы, так решила, видно, судьба, словно врос в неё — навсегда.

Беленок, в украинский период свой, был по образованию скульптором, с блеском учился в Киеве, необычайно рано обратил на себя внимание и сразу же после учёбы начал, с изрядным рвением и молодым усердием, работать по специальности.

Поселился он в Ровно. Туда его, кажется, пригласили.

Ему предоставили там превосходную мастерскую. Дали ему, от щедрот, видимо, и немалых, ровенских, областных, целый отряд помощников, которыми он командовал полновластно, как генерал, или, во всяком случае, творческий местный властитель.

Он получал бесчисленные, один за другим, чередой непрерывной, лишь успевай выполнять их, ведь новые ждут очереди своей, разнообразные, вроде бы, а на деле однообразные, от искусства весьма далёкие, по причине своей стандартности и шаблонности, хоть и с приметами очень скромных новаций, заказы, он в этом — преуспевал.

И Ровенская, и соседние, близлежащие области, все эти земли, колхозы, посёлки, районные центры, а также города, большие и малые, неумолимо, стремительно заполнялись его заказными скульптурными композициями.

Число их росло и росло. Могло оказаться вскоре, при темпах таких, ударных, стахановских, не иначе, и с явной натяжкой творческих, пожалуй, астрономическим.

Он запросто мог позволить себе, когда пожелает, обычно под настроение, хоть десять раз каждый месяц, слетать на денёк-другой в Москву, чтобы там побывать на выставке новой или побродить по музеям неспешно, посмотреть кое-что, для души, обновиться, встряхнуться, вздохнуть об искусстве, святом, настоящем, чтобы тяга к нему возрастала, с каждым ра-

зом, сильней и сильней, и в итоге неистовой стала, и к деяньям другим призывала в монотонности ровенских дней.

Был он в Ровно, конечно, звездой, пусть и местного всё же масштаба. И заказчиков — длинная очередь. Он условия им диктовал.

Избалован он был вниманием. И трудился он — со старанием. Всё, что просят, в гипсе, и в мраморе, или в бронзе, он создавал.

Грустил иногда, неожиданно, неведомо — почему.

Считали, что — блажь. Удача сопутствовала ему.

Казалось, игра была сыграна — и нешуточная карьера разворачивалась перед ним, не в областном уже, а в республиканском масштабе, с брезжущими впереди лаврами всем известного официального скульптора, к тому же и неутомимого, что само по себе хорошо, положительного, в трудах, да и в жизни своей, работяги.

Но всё это, все посулы и возможности, все компромиссы, на которые вынужден был он, ради жизни успешной, идти, с каждым днём, с каждым прожитым годом, становилось всё более чуждым для него, неприятным, противным, бесполезным, бессмысленным, лишним, и мучительным, и огорчительным, вызывало уже отвращение, было просто невыносимым, обострённо воспринималось, как дурной, навязчивый сон или дикое, затяжное наваждение. Ведь внутри Беленок был — совсем другим.

Помыслы и пристрастия его, сокровенные, искренние, ничего не имели общего с безликим официозом.

Душа его тяготилась двойственностью сложившегося положения, восставала против деления жизни, против деления творчества на две половины, тайную, свободную, независимую, и явную, конформистскую, стремилась любой ценою, как можно скорее вырваться из плена пускай и щедро оплаченного заказчиками, но на поверку гиблого, лживого соцреализма.

И вот с ним произошло нечто, круто, без промедления, властно, так, что пути назад больше не было, но зато перед ним открывался новый, неизведанный, пусть и трудный, но зато и достойный путь, повернувшее всю его жизнь.

Неожиданно, так отважно и стремительно, что нельзя объяснить этот шаг иначе, как решением по чутью, а возможно, по зову свыше, он оставил свою карьеру благополучного, правильного скульптора-реалиста, бросил вдруг абсолютно всё, перебрался в Москву — и здесь начал, по существу, с нуля, совершенно новую жизнь, — жизнь свободного, независимого от всего, что мешало раньше, художника, жизнь полунущую, но и радостную для души, целиком посвящённую творчеству, личному, незаёмному, такому, к которому он был, несомненно, призван.

Дело в том, что стал Беленок заниматься, всерьёз, упорно, совершенствуясь постоянно, развивая свой собственный стиль, выразительный, образный, броский, совершенно особенной живописью, непохожей на всё, что было наработано до него, той, в которой, прежде всего, безусловно, была новизна, новый взгляд на явь и фантазию, новый угол острого зрения, и приёмы его, и умение обобщать, выделяя главное, и находки, неожиданные, смелые, и открытия интуитивные, и тематика всех работ, композиций, безукоризненных по структуре своей, по редкостной лаконичности, за которой проявлялась взрывная сила, были настолько яркими, неизменно оригинальными, что сразу же, незамедлительно, привлекли к себе всё возрастающее и повышенное внимание знатоков столичных искусства современного и по праву, да, вполне заслуженно выдвинули его, человека приезжего, недавнего провинциала, ставшего москвичом, в первый ряд мастеров андеграунда нашего, позже названного, почему-то, «другим искусством», а ещё позднее, со временем, и вовсе — «вторым авангардом».

Беленок — это важно помнить, потому что связано это и с его судьбою, и с творчеством, фантастическим, но и реальным,

впрочем, в странной живущем яви, которое он обычно, и с юмором, и всерьёз, что намного вернее, пожалуй, если вдуматься, называл «психическим реализмом», далеко не случайно, зная, что конкретно он говорит и о чём, напрямик, открыто, говорят все его работы, всё, что он выражал в них, чуя что-то страшное впереди, всё, что он прозревал давно, раньше всех своих современников, обострённо и верно, — вырос в украинском селе Корогод, и значение этого слова — хоровод, ведь именно так в старину всегда говорили, вот и вырвался к людям оттуда хоровод беленковских работ, из лесного края щедрот, из обители счастья и чуда, но село родное, увы, находилось всего в пятнадцати километрах от места страшного, как потом оказалось, в будущем, поразившем всех, от Чернобыля.

Так что рай беленковский был, как потом оказалось, опасным.

Словно мина была коварная под него заложена кем-то.

Кем? Возможно — силами тёмными.

А возможно — и бестолковыми.

Рай был — хрупким и уязвимым.

Рай прекраснейший был — и сплыл.

Это сейчас мы все, жители многих стран, а не только земли чернобыльской, беленковской, лесной, родной для него, драгоценной, кровной, той, которую он любил, связь с которой он ощущал постоянно, прекрасно знаем — там, в далёком лесном краю, в невозвратном его раю, потерявшем красу свою и покой, вместе с волей, — зона.

Что-то вроде чёрной дыры.

Где исчезли чьи-то миры.

И понятия. И законы.

И любовь. И надежда. Зона.

Ужас общий. Растущий страх.

Вместо радости — только прах.

Вместо жизни — существование.

Вместо родины — лишь название.
Так, на карте пометка. След.
Посреди отшумевших лет.
Или — место пустое. Сон.
О случившемся — долгий стон.

И давно ещё, во второй половине шестидесятых, беленковскую мастерскую на Абельмановской улице, в сыром и тёмном подвале, заполняли, переполняли, так, что их присутствие здесь не случайным казалось посланием к людям, вещим предупреждением о грядущих событиях грозных, оргалиты, разных форматов, от совсем небольших до огромных, и картоны, тоже различные, и бесчисленные листы, груды просто, бумаги ватманской, с экспрессивной невероятно, до накала неимоверного, необычной, всех поражавшей, озадачивавшей, заставлявшей призадуматься, словно кричавшей о таком, что ждёт впереди, что грядёт, провидческой живописью, в которой было тогда ещё выражено предчувствие Чернобыльской катастрофы.

Да, без всякой мистики ложной, благодаря чутью, благодаря прозрениям своим, Беленок не только предсказывал, что, со временем, неизбежно произойдёт, но и вызывал ко всем живущим: чувствую, люди, там, впереди, беду!

На работах его тогдашних, на глазах у всех, наяву, на виду у всех, близко, рядом, непрерывно происходило нечто слишком уж страшное, даже, получалось, такое, которое всё вокруг навсегда сметало и губило, — непоправимое.

Трансформировалась, распадалась, на куски, на частицы мелкие, на пылинки, на атомы, ранее неразрывная, сильная, целостная, не разрушить её, казалось, никому, ни за что, материя.

Метались повсюду растерянные, охваченные всеобщим, повальным, растущим ужасом, потрясённые тем, что рядом, только что, в самом деле, внезапно произошло, что застигло врасплох их, люди.

Налетавшие вихри вздымали их вверх, уносили куда-то далеко, растворяли в пространстве, навсегда, так, что впредь не найти.

Привычный для всех пейзаж изменялся до неузнаваемости. Это был уже не пейзаж, но — жестокий распад пейзажа.

Ключья смутные. Очертания всех утрат. Зиянья пустот.

Рваный, смятый, смятенный мир. А вернее — остатки мира.

Почва вздыбленная, вода, закипающая, клокочущая, норовящая, вроде, выплеснуться к нам, сюда, за края работ.

Вся природа, разом пришедшая в состояние хаоса дикого, за которым, где — неизвестно, да и вряд ли будет известно, оставалась былая, утраченная, навсегда, похоже, гармония драгоценного естества, вся разрушенная в одночасье, невозвратная целостность мира, — вот что, в давних шестидесятых, в беленковских тогдашних работах, открывалось неожиданно людям.

Художник свои видения показывал всем — под музыку.

Был у него в мастерской подвальной — магнитофон.

Обычно включал он запись тревожных произведений Кшиштофа Пендерецкого, любимого своего польского композитора.

И — начинал доставать, из углов, из всяких укромных закутков мастерской — работы.

А потом — расставлял их, везде, где придётся, лишь бы их видели.

Работы, с изрядной скоростью, в стремительном темпе, множились, без конца сменяли друг друга.

В сочетании с музыкой это неизменно производило впечатление очень странного, с монтажом по чутью, по наитию, на глазок, наугад, пророческого, да и только, вот именно, фильма, поразительной, неповторимой по воздействию своему на людей, многозначной хроники, устремлённой сплошным потоком к нам, живущим в своём, спокойном, относительно, впрочем, времени и как будто бы зафиксировавшей, так пронзительно,

выразительно, с максимальной силой творческой, так давно ещё, в годы прежние, посреди бесчасья, — грядущее...

Смотреть беленковские, странные, необычные, непохожие на уже привычную живопись наших смелых авангардистов, или так вот — нонконформистов, появившиеся в столице как-то вдруг, как залётные птицы, и прижившиеся неожиданно, и, похоже, надолго, в ней, в бурной смене ночей и дней, словно впрямь особое что-то, удивительные работы — москвичи, и не только они, но и люди из самых разных городов бывшего Союза, да ещё и люди, которые приезжали из-за границы и которым всё было в новинку на холмах и просторах столичных, словом, все, кто в годы минувшие проявляли, хотя бы изредка, пусть и так, интерес к искусству, и, конечно же, те, которые хорошо разбирались в этом, знатоки, по тем временам, иногда и кол-лекционеры, люди творческие и просто любопытные, так бывало, и подобных было немало, и, пожалуй, таких не счесть, все, кто знали о том, что есть Беленок, — ходили охотно.

Порою в знакомый многим из богемы тогдашней нашей, не то, чтобы обжитой, но кое-какие признаки жилья имеющий всё же, поскольку была здесь самая необходимая мебель, довольно сырой подвал с оконцами, выходящими во двор углового дома на Абельмановской улице, набивались десятки нагрывавших сюда, разномастных, жаждущих приобщения, и немедленно, прямо здесь, в мастерской, к искусству, посетителей, — и художник, неизменно гостеприимный, несмотря на такое вот гостевое сверхизобилие, всех их всегда принимал.

Никому не отказывал. В дверь постучатся — тут же откроет, приглашая к себе:

— Заходите!

Люди — сразу же заходили.

И — оказывались уже не в московском, для всех привычном, то осеннем, с дождём и ветром, то морозном и снежном, зимнем,

городском, беспокойном, шумном, с маемой, суетою, мире, но — в другом, совсем непохожем, беленковском. И это был мир фантазий и мир прозрений, мир видений и наваждений, мир призывов, предупреждений о грядущем. Тревожный мир.

И создатель его, Беленок, открывал над миром своим некий занавес, что ли, условный, как волшебник, или артист, персонаж из фильмов Феллини, и несметные гости его вовлекались туда, входили, оставались там, кто — ненадолго, кто — надолго, потом с трудом выбирались оттуда, скопом, ошарашенные, потрясённые, но, похоже, всё же спасённые от чего-то невероятно, что могло с ними всеми быть, и уже не могли забыть всех увиденных ими работ.

— Реализм! — говорил Беленок.

Заявлению этому гости удивлялись:

— Как?

— Неужели?

— Почему?

— Зачем?

— В самом деле?

И тогда Беленок поднимал палец длинный, качал им в пространстве мастерской, то влево, то вправо, и всегда уточнял:

— Панический!

И гости, напоминая нестройный античный хор, облегчённо вздыхали:

— А-а!

— Ну, тогда всё понятно!

— Панический!

Знатоки рассуждали:

— В искусстве — это новое слово.

— Факт!

— Несомненно!

— Такого в живописи никогда, согласитесь, не было.

— И, заметьте, как виртуозно Беленок применяет коллаж!

Дамы тоже входили в раж:

- Петя!
- Петенька!
- Пётр Иванович!
- Нам понравилось!
- Даже очень!
- Мы сегодня восхищены!
- Мы осанну вам петь должны!

А друзья — улыбались: нравится беленковская живопись людям. И, как сказано было в Писании, это, в наши-то дни, — хорошо.

Беленок довольно поглаживал небольшую бородку клинышком, щурил светлые, с лёгкой лукавинкой, с ясным, добрым светом, глаза, — и спокойно, с мягким акцентом украинским в негромком голосе, обращался ко всем собравшимся, предлагая:

— Так, может, выпьем?

И собравшиеся откликались на призыв беленковский:

— Выпьем!

И просмотр сменялся — застольем.

То довольно скромным, то — бурным, так бывало порой, с размахом, если гости в большом количестве приносили с собой питьё.

Выпивали — и говорили.

Об искусстве? Да обо всём.

Балагурили. И курили.

Сизый дым висел, невесом.

Иногда и стихи читали.

Вечер длился. Который час?

Да не всё ли равно? Детали!

Время — с нами. Здесь и сейчас.

Расходились обычно — к ночи.

Беленок — провожал гостей.

Оставался один, короче.

Вне событий — и вне вестей.

И с утра — он уже трудился.
Без работы — никак нельзя.
Путь есть путь. Если впрямь открылся.
Даже просто своя стезя.
Но пред ним был, конечно, — путь.
Личный. Собственный. Настоящий.
С долей, чуемой, предстоящей.
На пути — высветлялась суть.
Путь есть жизнь. Лишь в труде все вещи.
В давних истинах — дух и свет.
Что за ветер гудит зловеще?
И откуда? Из прежних лет?
Не из будущего ли? Тени.
Знаки. Символы. Грозный мрак.
И опять — череда видений.
Отмахнуться — нельзя никак.
Значит — надо работать. Снова.
Значит, живопись — тоже речь.
Рукотворная крепость слова.
Уберечь — и предостеречь.
Всех землян: впереди — опасность.
Люди, знайте о ней — теперь.
Сонм работ. Пристрастность — и ясность.
В мастерской — открытая дверь...

Беленок, человек радушный, приветливый, гостеприимный, любил, когда в мастерской, после его ежедневных, напряжённых трудов, собирались, не непрерывно, конечно, да всё же довольно часто, дружеские компании.

Постепенно его подвал стал для многих из нас, богемных, далеко не всегда устроенных в этой жизни сложной, людей, надёжным, проверенным местом, где можно было, в компании с художником, отдышаться от всяких житейских трудностей, на какое-то время, но всё-таки спрятаться от невзгод, а то и, в слу-

чае крайнем, в ситуации драматичной, или совсем уж безвыходной, если хозяин позволит, даже заночевать.

Беленок обладал, это могут подтвердить все, кто знали его, замечательным чувством юмора, причём этот юмор был особенным, характерным, по-гоголевски, украинским.

Он легко вносил просветление даже в самую мрачную, вроде бы, хуже нет, да и только, аховую, беспросветную ситуацию.

Начнёт шутить — и друзьям становится веселее.

И сызнова всё в порядке, и жизнь опять хороша.

И с ним человек — оттаивал, успокаивался, понимал, что есть в этом граде столичном поддержка, добрая, дружеская, и есть на земле человечность, и выстоять надо опять.

Юмор-то был у Пети, но сам он, и я это знаю лучше других современников, был человеком грустным.

Грусть его врачевалась только его искусством.

Толком никто не знал о личной Петиной жизни. О его женитьбах, разводах, о детях, да обо всём, что с ним происходило раньше, что происходит нынче, как он в Москве выживает, как существует он.

Всё это было — закрыто. Для знакомых его многочисленных. Для гостей постоянных. И даже, так он вёл себя, для друзей.

Что-то известно мне было о нём. И, пожалуй, немало.

Но сокровенное самое прятал он и от меня.

Впрочем, под настроение, что-то он и рассказывал о себе. Но всегда — немного. Словно меру и в этом знал.

И только в восьмидесятых стал Беленок раскрываться мне одному, всё чаще, всё больше, — видимо, чувствовал потребность жгучую — высказаться, нечто важное рассказать.

Избранным, с глазу на глаз, читал он порой переводы собственные — любимых своих французских поэтов — Сен Жон Перса, Анри Мишо.

Помню, что это были хорошие переводы.

Сделанные Беленком в прежние годы, в Киеве.

Из укромного уголка доставал тетрадки заветные с записанными когда-то его аккуратным почерком текстами переводов, поэмами и стихами.

Становился серьёзным, собранным, — и всегда вдохновенно читал.

Часто читал он, помню, Сен Жон Перса — «О, море, море!..»

И мастерская будто бы наполнялась гулом прибоя морского, и ветер свежий из окошка к нам залетал.

Переводы Петины были — в единственном экземпляре. В рукописях. На машинке никто их не перепечатал.

Году в девяностом спросил я Беленка:

— Где твои переводы? Почитал бы ты их. Так хочется снова услышать их!

Петя махнул рукой грустно:

— Тетради — украл... Кто и когда — не знаю. Как теперь почитать?

Я только вздохнул. А что мне можно было на это сказать?

Но всё это было — потом. Значительно позже. В годы, когда распрощался Петя с подвальной своей мастерской и стал обитать в квартире на улице Молдагуловой.

А в годы шестидесятые и в годы семидесятые — молва о Петиных славных переводах французских поэтов разносилась по всей Москве.

И Петя тогда не единожды друзьям своим их читал.

И звучало — «О, море, море!..»

И не было вовсе — горя.

И болезней. И всяких напастей.

Беленок был — в расцвете сил.

Врождённая доброта сочеталась всегда в нём с крестьянской рассудительностью и мудростью.

Сельский хлопчик, такой одарённый от природы, вырос и чтит все заветы предков своих.

В нём крепка была — верность традициям.

Был он жив — связью давней и прочной, неразрывной, нескрушимой, где бы ни был, — с родной землёй.

Меня к Беленку тянуло всегда — ведь почти земляк.

И немало было говорено с ним, и важного для обоих, и особого, откровенного, и такого, что так и осталось между нами, такого, которое больше некому было сказать, за долгие, легендарные годы нашей хорошей дружбы.

Певали мы с ним, бывало, и старые, изумительные, украинские наши песни.

Чистой души человек — что могло быть лучше в расхристанном и тревожном донельзя мире, посреди маеты столичной и тоски, порой безграничной, в завихренье страстей, событий, безобразий, трудов, наитий, в те, далёкие слишком от нынешних, но упрямо не уходящие никуда, всегда — настоящие, беспокойные, но поистине драгоценные времена!..

Выставки у Беленка — бывали в Москве. Не часто. И это вполне понятно, по давним-то временам.

Но всё-таки мог он работы иногда показывать людям.

В знаменитом кафе московском «Синяя птица», известном не только недолгими выставками художников авангардных, но ещё и тем, что привычно и охотно там собирались джазовые музыканты, играли для избранной публики, и на эти концерты закрытые не просто было попасть.

В институтах научно-исследовательских некоторых, где учёные приобщались тогда к культуре, тоже были Петины выставки.

Стал он, по нарастающей, участвовать, вместе с другими нашими авангардистами, в выставках зарубежных.

В середине семидесятых, когда неофициальное наше искусство нежданно, временно прорвалось к зрителям, Беленок,

вместе с Целковым, Рабиным, Штейнбергом, Зверевым, Яковлевым и некоторыми другими художниками, соратниками, представлял свои композиции, большие, монументальные, на ВДНХ, в павильоне «Пчеловодство», где, к изумлению всех москвичей, властями разрешена была необычная эта выставка нынешних ярких звёзд отечественного, родного, выходит, для всех, авангарда, и куда непрерывной рекою в течение нескольких дней текла широкая, бурная и просто неиссякаемая, жаждущая приобщиться к искусству, толпа людская.

С годами работы Петины всё чаще репродуцировались в изданиях зарубежных и в каталогах выставок.

Искусствоведы писали о нём, как о ярком мастере, оригинальном и остро современном, создавшем свой мир, драматичный и даже трагический, о мастере, узнаваемом всегда, со своим лицом.

Годы безвременья — или, по-русски, бесчасья, — были для художников наших нелёгкими.

На Запад уехали — многие из товарищей Беленка.

Он — остался на родине. Трудно сказать сейчас — почему.

Об этом он, замыкаясь в себе, не любил говорить.

Его приглашали, буквально зазывали, усердно, часто, много раз, и в Европу, и в Штаты, сулили всякие льготы, уверяли, что там он сумеет в полной мере, так, что все ахнут, наконец-то реализовать свой блестящий, огромный талант.

Думаю, что причина, по которой он, несмотря на призывы уехать на Запад, всё же остался на родине, была простой: Беленку, как никому другому, быть может, нужна была почва под ногами. Почва! Не просто словцо. Но — именно почва. Питающая его. Дающая силы ему. Спасаящая его.

Отринуть её от себя он, крестьянин, с детства ходивший босиком по родной земле, никогда, ни за что не мог.

Крестьянская, кровная этика, святое, именно так, отношение — и любовь — к земле своей древней, к родине, не позволяли

ему покинуть родные пределы, где вырос он, где призвание обрёл своё, навсегда.

А жить Беленку становилось — всё труднее. И с каждым годом эти трудности — возрастали.

Несмотря на известность художника, работы его покупали лишь от случая к случаю, изредка.

Под настроение Петя охотно дарил их, если кому-то — друзьям, приятелям, знакомым, даже случайным, — были они по душе.

Он жил в основном на то, что раз в году, терпеливо, привычно дождавшись очереди в союзе художников, где он числился, и получив заказ, а с ним и возможность что-нибудь заработать, снова лепил Ленина.

Лепил — с отвращением. Как же по-другому ваять вождя? Только так. Иногда — и с закрытыми глазами, на ощупь, чтобы не видеть вынужденного, а может, вымученного, поскольку надоело ему давно заниматься этим, стандартного, скучного «произведения» — и летали, вибрируя в воздухе, прикасались нервно к поверхности ненавистой ему скульптуры его длинные, чуткие пальцы.

Так вот, почти вслепую, изваяв ещё одного в бесконечной лениниане заказного «ростовичка», поглядывал на него устало, ворча про себя что-то, видимо, очень сердитое, и с явным, уже заслуженным облегчением — с ним расставался.

Деньги, которые он раз в году получал за скульптуру, распределял наперёд, чтобы хватило их на еду, простейшую самую, на материалы для живописи.

Человек, в быту своём скромном совершенно неприветливый, Беленок постепенно, не сразу, но, что делать, уж так получилось, всё, наверное, к этому шло, стал с годами и вовсе аскетом.

Известность его — росла.

И где же? За рубежом.

Ну а в родной стране люди официальные — о нём привычно молчали.

Будто и не было вовсе здесь такого художника.

Но он-то ведь — был! И много, больше других, работал.

Хроническое отсутствие внимания — Беленка, разумеется, огорчало.

Внимание было — другим. Подспудным. Неофициальным. Дружеским. И оно — поддерживало Беленка.

Было и понимание. Тоже — вне официоза.

Впрочем, для прежней эпохи это — в порядке вещей. К сожалению. Слишком жестокой бывала эта эпоха к творческим людям. Им трудно жилось тогда.

Беленок — держался, как мог. На упрямстве. На воле. Долго.

Но — сказались все сложности. Петя ощутил на себе их сполна.

Пошатнулось некогда крепкое, с богатырским размахом, здоровье.

Горьковатым и грустноватым, а потом и тревожным стал бывший ранее лучезарным украинский юмор его.

Тем не менее, надо было как-то, пусть и с трудом немалым, с полунищим почти раскладом в настоящем — существовать.

И он — лепил одного Ленина в год. Увы, некуда было деваться. Где же взять ещё средства на жизнь?

И — создавал упорно сотни новых своих работ.

Можно, конечно, долго рассуждать, находя слова для этого подходящие, о редкостной негибамости, об украинском упрямстве Беленка, давно уже ставшего москвичом, о том, что, единожды ступив на путь свой, кремнистый, как оказалось, он, человек в искусстве отважный, не изменял пути этому никогда.

Можно и подчеркнуть: вот и ещё один пример действительно трудной, трагической, что уж скрывать, так и есть ведь, судьбы художника — с крупным и ярким талантом, с огромным

запасом энергии, но — вынужденного годами прозябать буквально, вести нередко полуголодное, затворническое, — а может, жреческое? — кто знает! — и кто расскажет об этом теперь, на таком отдалении от лет, о которых я говорю и которых нет уже, прошли, миновали, канули в минувшем, легендой стали и мифом, — существование.

Когда-то в его мастерской собирались довольно часто и охотно, поскольку общение было всем нам необходимо в завихрениях жизни столичной и всегда помогало нам выживать и работать, лучшие представители творческой, пёстрой, но такой колоритной элиты, было шумно порою, и весело, и всегда интересно всем.

(— Вы куда?

— К Беленку!

— Мы тоже!

— Так поедем?

— Конечно, поедем!

Приезжали. Дверь мастерской открывал Беленок. Приветливый. Весь — радушие. Улыбался широко. Принимал гостей:

— Здоровеньки булы! Проходите! Здравствуй, Генрих! Здравствуй, Володя! Здравствуй, Игорь! Приветствую, Вагрич! Здравствуй, Эдик! Здорово, Саша! Здравствуй, Таня! Привет, Виталий! Здравствуй, Толя! Здравствуй, Андрей! Здравствуй, Дима! Я всем вам рад!

Заходили все в мастерскую.

Начиналось — наше общение.

Продолжалось — нередко за полночь.

Иногда — и намного дольше.

Беленок был душой компании.

Все любили бывать у него.

Все ценили его искусство.

И дружили многие с ним.

И, казалось, был он, высокий, бородатый, гостеприимный, да ещё и труженик ярый, вдохновенный, свыше храним...)

Но к концу перестроечных, странных, даже слишком, восьмидесятых — Беленку, такому на редкость терпеливому человеку, жить уже невозможно стало в мастерской, в сыром и холодном, хоть давно обжитом подвале. Простужался он часто, болел.

И покинул он мастерскую. Перебрался в свою квартиру небольшую, неподалёку от Кускова. В ней было суше и теплее. И начал там, как и прежде, много работать.

Больше стало тогда — одиночества. Что же делать! Планида такая. Или, проще, — доля людская? За окном — суэта мирская. Ну а здесь — тишина, покой? Сплав привычный — грусти с тоской.

А творчество — продолжалось, виток за витком разматывалась упругая эта спираль, — и знал Беленок прекрасно, что искусство — его спасение, панацея от тягот и бед.

И горел в его обиталище по ночам не гаснущий свет...

(...Ну а теперь — небольшое, но важное отступление.

Отец мой, Дмитрий Григорьевич Алейников, был человеком удивительным, наделённым, от природы, талантами разными.

Ему дано было — многое. Прямо с детства, сразу, — и щедро.

Но основным его даром, самым важным, — был дар художника.

Был он акварелистом замечательным. Выдающимся. Подобных я не встречал.

Отец мой — сам по себе. Держался — особняком. Не зависел — ни от кого.

И подход к акварели, и техника, и методы многолетней и всегда вдохновенной работы, всё — своё, и ничьё другое, ни на что и ни на кого не похожее, да такого у отца и быть не могло.

Отец — пейзажист. В работах его, это прежде всего, всегда, в любой его вещи, — есть то, что писатель Грин называл парением духа.

Он дарил людям — радость. Нёс он — ясный свет. Выражал он — дух, созидательный, творческий, древний, — своего родного, степного края — и своего родного мира. Дома. Родной своей почвы.

Я помню, как восторгались работами отца моего московские художники, мои друзья-приятели, герои и подвижники неофициального русского искусства, новаторы, авангардисты.

Ворошилов, Яковлев, Зверев, Пятницкий. Славная гвардия. И, конечно же, Беленок.

Оставаться к отцовским работам безразличным и равнодушным — Петя никак не мог.

Они приводили Петю в какое-то небывалое, по его-то годам, волнение.

Беленок волновался искренне, откровенно и непосредственно, бурно, словно ребёнок.

Высокий, не просто худющий, а совсем уж отчаянно тощий, в старых джинсах и старом свитере, посверкивая заметной сквозь редкие волосы лысиной, покачивая похожей на плотный шар головой, пощипывая своею чуткою кистью скульптора, с длинными, крепкими пальцами, способными даже на ощупь ваять из глины, из гипса, да из чего угодно, скульптуры любых размеров, седеющую бородку и аккуратно подстриженные седеющие усы, рассматривал Петя пристально отцовские акварели, то приближая их резко, почти вплотную, к небольшим, глубоко сидящим, иногда беспомощно-детским, доверчивым, светлым глазам, то отдаляя их, на вытянутых руках, от себя, чтобы видеть что-то, ему одному понятное, и причмокивал языком, поахивал и побряхтывал, отчего эти звуки сливались в обобщённое «ох, ух, ах», — и видно было тогда, что ра-

боты ему очень нравятся — и это он так, по-своему, выражает своё одобрение, своё восприятие их.

Насмотревшийся вдоволь, Петя говорил мне, всегда — со значением:

— Твой отец — молодец! Работы — я скажу тебе прямо — люкс! Не как-либо что, а что-либо как! Наш хлопец. Певец Украинины.

Особенно Беленок любил подчёркивать это украинское — вот, мол, видите, какие мы все, художники, украинской землёй взращённые, действительно гарные люди! — сами теперь посудите, сколько у нас настоящих, во все времена, талантов!..

Он и по-человечески любил моего отца.

Иногда отец приезжал из Кривого Рога в Москву, и особенно — в годы, когда, после долгих скитаний бездомных, была у меня семья и своя, наконец-то, квартира.

Здесь он тоже много работал. И в пейзажах его жила благодарность русским лесам и окрестным паркам старинным, где любил он бродить один, сердцем всем и душою всюю принимая дары природы, вдохновлявшей его, — и радость бытия, с животворным светом, становившимся неизменно долговечным, целебным сиянием.

И в столице отец — порою виделся с Беленком.

Сядут, бывало, художники в сторонке от всех, вдвоём, и беседуют увлечённо, по душам, о чём-то своём.

А то и поют, вдвоём, — украинские старые песни.

Отцу моему симпатичен был Беленок. Всегда, когда приезжал я к родителям, он спрашивал: «Как там Петя?» Приветы ему постоянно, в письмах, передавал.

Сближала их — любовь к родной природе.

И даже не сближала, а роднила.

И верность родине. И песням. И, конечно, — незыблемая верность их — искусству.

Выходец с Украины, из-под Чернобыля, Петя Беленок то-сковал в Москве. Жил, здесь, как на чужбине. Пусть и был он

в богеме — своим. Пусть известность его, как художника, с каждым годом всё больше росла. Но сердцем он был — в далёком отсюда, родном краю.

И происходило с ним, всё чаще, — что-то совсем уж тяжёлое, даже страшное, — и старался он это всячески от друзей, от знакомых, — скрыть, по привычке защитной своей отшучиваясь, остря, переводя разговор совсем на другую тему.

А его сокровенная тема была — разумеется, родина.

Эту духовную нить, незримую прочную связь Петя сызнава ощущал только в беседах со мной.

Только в нашем, таком уже долгом, доверительном, плодотворном, по-настоящему дружеском, надёжном вполне общении он иногда, не часто, всё-таки раскрывался.

Пожалуй, один я — из всех — и знаю его, таким, каков был он в самом деле.

А человеком был он чистым, грустным, и ясным, и наивным, и глубоким, — как песни, что певали мы вдвоём, те песни украинские, что встарь звучали — там, в подвальной мастерской на Абельмановской, потом — на кухне полупустой, не очень-то уютной, без признаков тепла, его квартиры, где близко, в двух шагах, через дорогу, чуть шелестело листьями Кусково, и вставшие на цыпочки деревья заглядывали ночью к нам в окно...)

Предчувствия иногда — сбываются. Вот что важно.

К предчувствиям относиться — надо со всей серьёзностью.

И тем более, если предчувствия подкреплены — видениями.

Беленок — рисовал, рисовал.

Предчувствовал и предвидел — грядущее. Выражал — наперёд — языком искусства.

И его видения — как их назвать? — конечно, пророческие! — а ещё какие? — сбылись, реальностью стали. Явью.

Чернобыльская авария ужаснула внезапно — всех.

Тогда и вспомнили сразу о том, что давно уже говорил Беленок на образном языке своих необычных и таких прозорливых работ.

Слишком точным — каким же ещё — только так! — оказалось прозрение.

Слишком ранило — как же иначе? — ведь на то и возникло оно, чтобы ранить! — душу художника.

Никогда теперь не удастся ему хоть когда-нибудь вернуться в родное село, на родину предков, — там зона.

С болью он говорил об этом в дни, когда я, купив какие-то, что уж было тогда в магазинах, понемногу всего, продукты, чтобы он, совсем отощавший, хоть немного поел, и, если хватит денег, бутылку вина, навещал его, полубольного, и сидели мы с ним вдвоём, по старинке, привычно беседуя, как и прежде, о важном для нас.

Но работы его содержат, помимо всего, что предвидел он, ещё и нечто такое, что, в извечном противостоянии с коварными силами зла, препятствует разрушению: в них есть великая, светлая, упрямая вера в людей, в торжество несомненное разума, лейтмотивом проходит в них, озаряя их, — убеждённость в жизнестойкости бытия.

За пеленой трагедийности — возникает свет обновления всей израненной и страдающей, но живучей, стойкой природы.

И ясное осознание этого преображения, пусть и в грядущем, всего сущего — помогало — в настоящем — художнику жить.

Но что-то — словно цветущее дерево кто-то жестокий сломал — надломилось в нём.

Всё больше он стал замыкаться в себе. Замыкаться — сознательно. Закрываться, отъединяться — от расхристанной, слож-

ной, горчащей действительности, с которой не хотел примиряться всё чаще, от всего, что связано с нею — там, за блочными стенами дома, от всего, что мучительно близко, но всё-таки — там, за окном, а не здесь, где находится сам он, со своими думами грустными, со своим, сберегаемым им, светлым, чистым, радостным миром, доступ в который закрыт надёжно для бреда и зла.

Месяцами, а то и дольше, не выходил он из дому.

Не хотелось ему окунаться в реальность, с которой был он давно уже не в ладу.

Неподвижно лежал на тахте, размышляя о чём-то своём. Читал. Крутил рукоятку старенького приёмника, разыскивая зарубежные радиоголоса, с их новостями, такими непохожими на отечественные. Слушал, всё чаще, музыку.

Потом, встряхнувшись, рывком выбирался из своего долгого оцепенения, с головой окунался в работу.

Появлялась новая серия работ на больших оргалитах, которые он разыскивал в мебельных магазинах — и по частям, поступательно, перетаскивал их домой.

Если не было оргалитов — рисовал тогда на бумаге.

Он работал — и это главное.

Он работал — и, значит, жил.

И снова работы новые показывал он друзьям.

И в квартиру его набивались иногда десятки людей.

Но уже в посещениях этих — не было прежней радости.

И в показе работ уже не было — прежнего куража.

Всё стало — намного проще.

И — что делать — механистичнее.

Показал работы свои.

Посмотрели их. Похвалили.

Пообщались. И — разошлись.

Кто куда. По делам, возможно.

По домам. По чуждой ему до сих пор, огромной Москве.

И опять Беленок оставался — в одиночестве. Тосковал. Выпивал. А порою — пил. И бывало, что и подолгу.

И опять он потом восставал из тяжёлых своих состояний.

И опять он — много работал.

А потом — опять замыкался в себе, от всех и всего.

И — снова впадал в хандру.

И потом, очнувшись от этого наваждения, — снова работал.

Между тем, работы его оказались в музеях западных.

И с выставками путешествовали они по различным странам.

С успехом прошла персональная выставка в Калифорнии.

Русский музей в Петербурге в советские годы был очень надёжным хранилищем нашего авангарда. Сотрудники этого славного музея приобрели у Беленка, сознательно, большое число работ. Платить за них много они, разумеется, не могли. Но не в оплате ведь дело. И Петя, насколько я помню, даже, кажется, большинство работ — просто им подарил.

Немало его работ увёз из Союза в Грецию, в тамошний свой музей, Георгий Дионисович Костаки.

Помню броские фотографии зарубежных различных выставок и чудесные экспозиции, где работы сильные Петины великолепно смотрелись.

Помню разные, присылаемые из западных стран, приглашения — приехать туда-то, ждут, мол, с нетерпением, и туда-то, которые с грустью, устало показывал мне Беленок, словно свидетельства некие чего-то более чем странного, непривычного, ничего, конечно же, общего с отечественной действительностью не имеющего, находящегося так далеко, что в само реальное существование такого вот благополучия и какого-то неопостижимо спокойного давнего лада трудно было поверить.

Художник, провидевший раньше всех остальных грядущее и переживший, естественно, немалое потрясение, когда всё, о чём прорицал он в работах своих, сбылось, находился на но-

вом этапе сложного своего, но верного, потому что он был предначертан, пути.

Появились, одна за другой, новые, да ещё и очень большого формата, действительно монументальные, выразительные композиции.

Экспрессивная, мощная живопись, вся в движении непрерывном, в сочетании с элементами обдуманного коллажа, чередовалась с близкими к «магическому» реализму, портретами, смелыми, точными, и поэтому возникал совершенно особенный синтез.

Беленковский мастерский почерк был отчётлив и виден везде.

Как выражаться любят умные искусствоведы, работы новые Петины, безусловно, являлись свидетельствами несомненной творческой зрелости.

Более четверти века выдерживавший упрямо в работах своих высокий, отважно и верно взятый, по чутью, по наитию, тон, художник, думали многие, спасён и возвышен творчеством.

Заполучив в подвальной мастерской тяжелый плеврит, в восьмидесятых годах, к сожалению, часто хворает?

Ничего, не беда, поправится.

Он обязательно выздоровеет.

Хандрит? Впадает в депрессии?

Пребывает порой в состоянии самого, что ни на есть, безвыходного отчаяния?

Подумаешь! Юмор вывезет.

Украинский юмор — такой, он откуда хочешь, его, вот увидите, снова вытащит!

Это же Беленок!

Он живучий, все знают, стойкий.

Таково было общее мнение — в столице, которая всё-таки, за долгие годы известности беленковской, по-настоящему так и не поняла, не сумела понять Беленка.

И терпеливый на редкость, но давно и серьёзно больной, одною творческой волей и работой своей державшийся, замечательный этот художник, человек одинокий, усталый, никому никакими просьбами о помощи не докучавший даже в тяжкий период, — умер двадцать первого октября девяносто первого года.

Его, наверное, можно было тогда спасти.

Но никто Беленка не спас.

Говорили, что увезли его, наспех, с тяжёлым приступом, в больницу, — и там оставили в коридоре, на койке, в муках непрерывных, совсем одного.

Пытались его лечить?

Никому ничего не известно.

Это был финал беленковского одиночества затяжного — посреди неприветливой осени, в равнодушном к нему октябре...

Меня в это время не было, с лета ещё, в Москве.

О случившемся с ним — узнал я с довольно большим запозданием.

И многое из всего, что связано в жизни было с Беленком и с нашею дружбой многолетней, я вспомнил тогда.

И увидел его — так ясно, по-особому ясно, такого, каким он и был всегда — чистого, светлого, грустного, ранимого человека. Дорогого. Надеюсь, для многих.

А не только ведь для меня.

Невнимание к человеку — примета нашего времени.

Горькой, пригревшейся складкой остаётся она у рта.

И только в искусстве нашем — понимание и воскресение.

...Петя, Петро! Лежит прах твой нынче где-то в Измайлове, в церковной ограде, в чужой тебе совершенно московской земле, — да и то потому только, так уж получилось, что Саша Морозов, писатель, наш общий друг, узнав о том, что твоя супруга бывшая долго, полгода, а может, и год, урну с прахом твоим не

могла захоронить по-людски, потрясённый дикостью этой, нелепой, потусторонней, договориться сумел сам тогда с властями церковными — и с таким запозданием странным, что и слов-то не подберёшь, чтобы выразить это, да всё же похоронил тебя, друг, — и твоё одиночество прежнее в столице всё продолжается, и только стало оно теперь, наверное, вечным...

Нет Петра Беленка? Он — есть!

Из минувшей эпохи — весть.

В настоящем — память и честь.

А в грядущем — решайте сами.

И работы его — живут.

Существуют, людей храня.

Да и сам он жив — для меня.

Потому что свет его — с нами.



...Костя Кузьминский, тощий, лохматый, с развевающейся бородой, в кожаных штанах, в сандалиях «Скорород» на босу ногу, в расстёгнутой рубашке, с огромным крестообразным шрамом на голом животе, стуча по тротуару внушительным посохом, подходил к пивной очереди — и, ни говоря ни слова, выразительно смотрел на мужиков.

Те видели жуткий шрам на Костином теле — и молча расступались. Причём раздвигались они в обе стороны как-то сразу же, не сговариваясь, и во взглядах их читалась почтительность, и стояли они двумя длинными шеренгами, словно встречали короля некоей диковинной страны, или, и вот это скорее всего, человека, по их представлениям, заслуженного, этакого героя, бойца, ветерана всяческих битв, которого следовало всенепременно уважить, сделать ему приятное, оказать знаки внимания, и вот они стояли по левую и по правую руку от Кости, а он преспокойно, с достоинством, отчасти торжественно, проходил посередине, в разъявшемся пространстве,

к своей цели — к пиву, и не хватало ковровой дорожки ещё, да приветственных восклицаний, да рапорта, от старшего, о том, что все собравшиеся здесь приветствуют прибывшего сюда, к ним, почтенного гостя, и всё было в полном порядке, что и требовалось, в очередной раз.

Кузьминский брал пиво без очереди. Всегда. Привычно. В любом районе города. В любой пивнушке. В любом ларьке. Для него это было чем-то само собой разумеющимся. За внешность, из шестнадцатого века, за сходство, пусть и отдалённое, с государем Иваном Грозным, за колоритность, за непохожесть на всех остальных, за самобытность, оригинальность — его привечали. За ум и юмор — его ценили. За шрам — его уважали.

Опираясь на посох, с кружкой в руке, пристраивался он в сторонке. Никогда он не брал лишнего пива. Знал меру. Не перебарщивал. Кружечка, чтобы освежиться немного, вот и достаточно. Ведь пивнушек в Питере множество, а Кузьминский — один. И этим всё уже сказано. И зарываться нечего. Надо и честь знать. Питерский человек, он это прекрасно понимал. И те, кто его пропускали к пиву, тоже были питерскими. Отсюда и взаимопонимание, пусть и не высказанное вслух, но явное. Отсюда и взаимоуважение, тоже подспудное, но осознаваемое обеими сторонами — и Костей, и тем человеческим, тоже ведь жаждущим пива, множеством, которое всегда шло ему навстречу и безропотно пропускало к источнику пенной влаги.

Блаженно жмурясь, отпивал он глоток за глотком. За ним наблюдали. Неторопливость его, рассудительное отношение к напитку, отсутствие примитивной жадности к пиву, как-никак, но содержащему, помимо воды и пены, скромную дозу неких градусов, одобряли. Костя осушал свою кружку. Потом изрекал:

— Спасибо, православные!

Православные дружелюбно кивали ему: чего уж, мол, там, какие могут быть счёты, и кто там раньше добрался до пива,

кто чуть позже, не всё ли равно, а ты, мил человек, выпил свою скромную кружечку, вот и лады, и все довольны, и всё в полном порядке, в ажуре, удачи тебе, будь здоров, до встречи, вполне возможной, не здесь, так в другом подобном, пивном, выпивонном месте, а нет, ну что ж, всё бывает, и, значит, иди себе с Богом.

Костя кивал всей очереди, потряхивая бороδοю. Расправлял свою голую грудь, чуть пониже которой белел рваный, ужасный шрам. И шёл дальше, пошаркивая сандалиями по асфальту и опираясь на посох.

Кузьминский обладал феноменальной памятью.

Всё, хотя бы раз им прочитанное, запоминал он навсегда.

При мне, в ходе неторопливой дружеской пирушки, сопровождавшейся чтением стихов и всегдашними рассуждениями об искусстве, подготовил он к вступительному экзамену по истории приехавшего поступать в институт родственника.

Тот, молоденький провинциал, совершенно обалдевший и от честной компании, представленной колоритнейшими личностями, с их повадками, разговорами, ненароком, так, между делом, обнаруживаемыми знаниями, с их завидной способностью пить любые спиртные напитки и не очень при этом пьянеть, и от Костиной эрудиции, некоторая часть которой этак плавно, неторопливо, ненавязчиво, вроде бы, но при этом и целенаправленно, с толком, так, чтоб это осталось в сознании, чтоб усвоилось гостем, взволнованным, поражённым всем тем, что впервые воочию видел и слышал он здесь, перетекала прямо в голову парню, как при гипнозе каком-то особенном, действенном, верном, совершенно не выспавшийся, да просто не спавший, глаз ни на миг не сомкнувший, наутро, с трудом очухавшись, кое-как, поскорее, собравшись, отправился сдавать экзамен — и сдал хорошо, и поступил в институт, но так и не мог понять, откуда в нужный момент взялись у него знания, которых не было раньше, и куда же они потом, сразу

после экзамена, только лишь возвратился назад он, девались, — на что Кузьминский лукаво, но по-доброму шурился и таинственно улыбался.

Память Костина хранила множество дат, имён, фактов, про-рву стихов за всё время существования русской поэзии, все без исключения писания питерского авангарда, всё, что различными путями приходило к нему из Москвы, из провинции, порою из самых дремучих углов, свежайшие литературные новости, невероятнейшие истории, бородатые и новёхонькие анекдоты, петербургские легенды, всяческие заслуживающие внимания случаи из жизни друзей и знакомых, историю живописи, литературоведческие открытия, книжные премудрости, философские системы, фольклор, житейские байки и прочее, что там надолго осело.

Шутя, играючи, извлекал он при надобности из этой бездонной кладовой то, что ему требовалось в данный момент. А такой момент всегда находился. И тогда, стоило только Косте открыть рот и заговорить, как сразу же начинались чудеса, и его гости, очередные его слушатели, внимали ему с изумлением и с почтением, потому что ничего подобного ранее сроду они не слыхивали. Ну а сам Костя был вовсе не в ударе. Был он просто — в своей тарелке. Он — вещал, сообщал, рассказывал. Он — приобщал знакомых своих к тому, что составляло мир его, не просто своеобразный, или же многообразный, но — густозаселённый, и даже перенаселённый разного рода сведениями. Обычно таких людей называют ходячей энциклопедией. Костя и был такой вот энциклопедией. Ходячей. Бородатой. С огоньком в сощуренных светлых глазах. С крестообразным шрамом на животе. С посохом. Путешественником — среди знаний. И во времени. И в пространстве. Том, что позже его увело — почему-то в Америку. А зачем — непонятно. Потому что без Кости и Питер не Питер. До сих пор. Для меня. Для других — наверное, тоже. Костя — питерский человек. Дух такой. Петербургский. Добрый. Образованный.

Умный. С посохом. Что же двинул он, яко посуху, не куда-нибудь в европейскую, помилее, страну, с традициями, а подальше, за океан? Впрочем, там он — всё тот же дух. Для него и в Нью-Йорке — Питер. Он везде — на месте. Везде, где бы ни был он, — сам по себе. И, глядишь, поумнеет Америка, если Костю хоть раз послушает. Сдаст экзамены — на человечность. Может, с дружбой придёт? Действуй, дух!

Несколько лет назад заполучив и прочитав мои ранние книги «Лето 65» и «Путешествия памяти Рембо», он запомнил их наизусть — и охотно демонстрировал мне это. Начинал читать вслух какое-нибудь стихотворение — и не останавливался до тех пор, покуда не прочитает весь цикл, а то и целую книгу. Ему интересно было — звучание моих стихов, их фонетика, лад, полифоничность, их непохожесть на то, что писалось другими. Его увлекала и завораживала их новизна. И он наслаждался стихами, как гурман. Он, читая их, жил в них. Поразительное вживание, вхождение в материал! И лицо его преображалось. Он как-то по-своему, протяжно, восторженно, выпевал строки, растягивал слова, играл каждым звуком, их переливами, соединениями. Мне слушать его было даже полезно. Словно на другом, на своём собственном инструменте он играл, читая стихи, словно в другой тональности это звучало. Но, при всей любви к музыке речи, замечательно умел он доносить до слушателей и смысл каждой вещи.

Не единожды он, с глазу на глаз, признавался мне, что, внимательнейшим образом изучив мои стихи, вдруг отчётливо понял: всё, что он сам хотел бы сделать в поэзии, я уже сделал. Считал он меня гениальным поэтом, самым значительным в Москве, — и прилюдно, постоянно, сознательно, так, чтобы его слова укоренились в сознании петербуржцев, доказательно, убеждённо, так, как он умел это делать, высказывал это своё незыблемое мнение, чем, естественно, то и дело ставил меня в неловкое положение. Когда я однажды заметил ему, что лучше бы

сбавить тон, Костя недоуменно посмотрел на меня и твёрдо, решительно, словно раз и навсегда высказавшись, узаконив своё суждение, неожиданно громко, ещё и взмахнув при этом, этак по-царски, рукой и взглянув мне в глаза, отрезал:

— Но так ведь и есть!

В современной неофициальной поэзии выказывал он поразительную осведомлённость. Откуда было это у него? Тогда я только удивлялся. Теперь же, по прошествии стольких лет, кажется, понимаю. Он жил — культурой. Отечественной. Единой. Все её проявления, частности — он обобщал, осмысливал, включал в круг этой культуры. Он жил — в нашей речи. Её развитие, движение — вот что было крайне важно для него, вот что его всегда всерьёз интересовало. Поэзия, особенно поэзия новейшая — это во многом и камертонное звучание речи. За ним, этим новым звучанием, если оно подлинное, начинается потом и музыка, тоже подлинная. Костя видел движение поэзии, верил в её развитие. Отсюда — потребность в её изучении. Отсюда — глубокое знание её. Я уверен, что со временем стал он себя ощущать человеком, держащим в руках многие нити. От него тянулись эти нити — к стихам. Человек вообще необычный, был он ещё и таким добрым, знающим своё дело магом. Он и слушал стихи, и читал их. Изучал. Осмысливал. Жил — внутри речевого круга. Ему доступны были малейшие градации, тончайшие нюансы, параллели, сближения, парадоксы, ходы, открытия — в том, что было в кругу поэзии. Жил он в мире, который был ему очень дорог. В мире, где он ощущал себя исследователем, путешественником, хранителем разного рода тайн, открывателем неких закономерностей, комментатором уже созданного, предсказателем того, что непременно должно произойти, очевидцем того, что было, что создавалось огромным числом пишущих стихи людей на немало — теперь уже так! — историческом отрезке времени. Времени — творения. Стихов. А значит — новых миров. Появления

звёзд и созвездий. Времени — неустанного строения речи. Продолжения речи. Сохранения стихии речи.

Наверняка это помогло ему при составлении знаменитой антологии «Голубая лагуна», уже в эмиграции. Без его антологии, как ни крути, уже не обойтись ни одному исследователю литературы. Вот что значит — жить в речи.

К нему, человеку радушному, внимательному, отзывчивому, приветствующему любые интересные начинания, искренне радующемуся своим новым открытиям, отовсюду съезжались и сходились люди, знакомые и малознакомые.

Костя всех принимал. Всех выслушивал. Всем был открыт.

Сидел на тахте, в полураспахнутом старом красном халате, небрежно накинутом прямо на голое тело, нечёсанный, с острым взором, кривящимися в тонкой улыбочке губами, дымил сигаретой — и говорил, говорил.

О чём? Да о чём угодно.

Слушали его с раскрытыми ртами. Эти раскрытые в изумлении рты можно, пожалуй, графически выразить сплошным, непрерывным:

— О-о-о-о!

Как-то между делом, словно в промежутках между монологами и беседами, собирал он разные тексты.

Бродского перепечатывала ему Юлия Вознесенская, худенькая, узкая, лёгкая, как пёрышко. Юлины тюрьмы и диссидентские подвиги были ещё впереди. Тогда о них и помыслить-то никто не мог. Симпатичная, остроносенькая питерская дама. Тридцати двух годочков. Блокадница. И вот это уже говорило о чём-то серьёзном. Приглядевшись к ней, можно было увидеть, что Юлия — с характером, да ещё и с каким! Более того, была в ней воля. Женщина замужняя, хлопот своих, вроде бы, предостаточно. Дети растут. Семья. Живи, казалось бы, как все. Чего ей не хватало? А вот и не хватало. Начало семидесятых стало

для неё гранью, за которой вскоре началась иная жизнь. Отнюдь не благополучная. Драматичная. Напряжённая. Она — чувствовала её впереди. Она — тянулась к ней. Нет, она сама шла к ней навстречу. И даже рвалась к ней, может быть ещё не вполне осознавая это, но было именно так. И её семья, её прежняя жизнь — уже начинали от неё отдаляться. Она словно готовила себя к решительному шагу — в своё, особенное, будущее. Она была — на самой грани своей собственной новизны, жизненной и творческой. Поэтому она и стремилась лишний раз вырваться к нам. Поэтому она и рада была сделать что-нибудь полезное, хорошее, ну хотя бы перепечатать стихи. Ей самой уже важно было — реализоваться. Мы дружили с ней. И я понимал, что способна она на решительные, даже на из ряда вон выходящие поступки. В ней, несмотря на её хрупкость, была внутренняя собранность. Помню, как она рассказывала о своей родственнице, заболевшей во время ленинградской блокады и оставшейся в одиночестве, без всякой помощи, — эта измученная женщина с трудом принесла в квартиру ведро воды, поставила его рядом с собой, чтобы иногда пить, и просто легла, твёрдо решив победить болезнь, и лежала, совершенно одна, очень долго, без еды, лишь изредка делая глоток воды, и стойко переносила голод и боль, веря в то, что она выживет, выздоровеет, — и выжила, и выздоровела, встала на ноги, и от болезни её и следа не осталось. Вот и Юля могла бы вполне — поступить, при необходимости, так же решительно. Юля была — не с загадкой, а с тайной. Была в ней — способность к действию. Была в ней — та воля к жизни, которая, наверняка, все грядущие испытания пройти ей помогла. Ну и, конечно, была в те далёкие годы Юля — хорошим другом. Довериться ей и положиться на неё можно было без разговоров. Муж в итоге приревновал её к нашей компании — и грохнул машинку, на которой работала Юля, этак эффектно, демонстративно, с вызовом, об пол. Но Юля упрямо, будто ничего особенного и не произошло и никаких семейных скандалов с разбитием драгоценной печатной

техники вовсе не было, столь же тесно, как и прежде, продолжала с нами общаться, — ей в нашем круту было всегда интересно.

Фотографы со всего Ленинграда несли Кузьминскому всякие нужные для него снимки, а то и снимали нас прямо на месте. Налетят, бывало, целой стайкой — и давай щёлкать своими аппаратами. И сообразить ещё толком ничего не успеешь, а у них уже и фотографии готовы. Причём, всегда хорошие, мастерски сделанные. Где-нибудь, у кого-нибудь есть они, полагаю. Что-то да сохранилось. Быть не могло иначе. Только вот где искать их, я до сих пор не знаю. Сами, небось, найдутся. В нужное время, в свой час — возникнут. Сами придут. Из молодости. Из лета. Питерского. Небывалого. Выглянут из-за грани — пространственной, временной. И посмотрят на нас тогда с фотографий этих давнишних наши лица — и даже, может быть, я услышу в яви сегодняшней наши прежние голоса.

Костя заботился о том, чтобы ничего не пропало, чтобы всё было на виду, было учтено, зафиксировано, внесено в некую сокровищницу культуры, в своеобразное хранилище, которое, судя по всему, он вполне отчётливо себе представлял и сам, прежде всего, лично, вдохновляя и других и с помощью этих многих других, совершенно трезво, сознательно, руководствуясь, видно, подсказанной свыше идеей и ведомый своим необычным чутьём, день за днём, год за годом, несмотря на небольшие трудности, на житейские сложности, на условия, чисто питерские, по-советски кондовые, с перегибом всегдашним, режимные, вопреки всему, что мешало ему, превращающий слово в дело, создавал, весь в трудах своих благородных, на глазах у всех создавал.

Он потащил меня к некоему известному собирателю записей, где уговорил читать. Грузный шкафообразный хозяин домашней студии, фамилия которого была Крыжановский,

а дружеское прозвище — Крыж, долго, сосредоточенно, причём не как обычный любитель, а грамотно, профессионально, записывал моё чтение на тумбообразный магнитофон с бобинами в колесо величиной. Бобины вращались, наматывая плёнку. Крыжановский кругами ходил вокруг своего записывающего агрегата, что-то непрерывно подстраивал, подкручивал. Я читал и читал. Было жарко. Пот уже лил с меня градом. Я устал. Но Костя с Крыжановским заранее позаботились о том, чтобы силы были при мне. Широким жестом на стол были выставлены разнообразные бутылки с вином и с пивом. И мы, втроём, разумеется, приложились к ним. И снова Кузьминский призывал меня читать. И я читал, по обыкновению тогдашнему, что вспомнится, что в голову придёт, стихи свои. Получилась, как позже выяснилось, достаточно большая ретроспектива. Костя был очень доволен: голос мой записали. В конце восьмидесятых, купив пластинки с песнями и романами в исполнении Валеры Агафонова, я прочитал на конвертах, что записи — из собрания Крыжановского. Небось, и моя большая запись лета семьдесят второго у него сохранилась. Припоминаю, что Костя, в своих письмах из Америки, тогда же, в конце восьмидесятых, когда мы с ним переписывались, выражал желание плёнку с записью чтения давнего моего как-то заполнить. Что на это сказать? Не искать же мне Крыжановского! Если цела эта запись — то и хорошо. Лишний раз Ворошилова вспоминаю, с его присказкой: «Прорастёт!..»

Костя поощрял любое интересное начинание.

Говорил мне не раз: какие мы молодцы, что вовремя, именно вовремя, придумали свой СМОГ. Всё, что имело хотя бы малейшее отношение к СМОГу, интересовало его чрезвычайно. Приходилось мне кое-что рассказывать. Хотя бы вкратце. Костя — всё запоминал.

Он старался разобраться в том, что сделал в поэзии Губанов. Поскольку я помнил наизусть многие ранние Лёнины стихи, то

иногда, под настроение, читал их ему. Косте достаточно было услышать их единственный раз, чтобы запомнить навсегда.

Очень ценил он и стихи Величанского. Саша частенько приезжал в Питер и с Костей был хорошо знаком. Он устраивал там свои чтения. Помню одно из них, тем же летом. Величанский вдруг появился на питерских улицах, по которым двигался он, по привычке, стремительно, — и вот уже собрался народ в чьей-то квартире, может — у Пети Шушпанова, может — ещё у кого, благо приятелей и знакомых было там предостаточно. И Саша читал. Целую книгу. Новую. Читая, отбивал ритм ногами. И даже, иногда, руками. Прямо по табуретке. Получалось невольное своеобразное музыкальное сопровождение, вроде как на ударных инструментах. Саша был выпивши, и даже крепко выпивши. Но чтению его это совершенно не мешало. Наоборот, поддерживало. Как горячее. Читал Саша долго. Слушали его с удовольствием. Его здесь тоже любили. А вот когда прочитал он всю свою новую книгу, тогда все собравшиеся и выпили. С размахом. Основательно. Так, как тогда умели. Так, как считали нужным. Традиция, что поделаешь! А тут ещё — и Величанский. Со стихами новыми. В Питере. Почему же не выпить за это? Саша, столь же стремительно, как и появился, уехал. Но самиздатовскую перепечатку стихов своих — оставил. И вскоре Костя всё это хорошо знал.

Шемякин написал с Кости портрет, который висел над головами: поэт в своём красном халате, бородатый, кудлатый, жестикулирующий, вдохновенный.

Костя, принимая своих бесчисленных гостей, сидел обычно под этим портретом, именно в том красном халате, в котором и был изображён, в такой же позе, на старой тахте.

От этого возникала странная двойственность, даже зеркальность.

У некоторых, особенно у тех, кто был выпивши, образ Костин сразу же начинал двоиться.

Поднимут они глаза повыше — на стене сидит Кузьминский.

Опустят они глаза пониже — на тахте сидит Кузьминский. Доходило у них и до головокружения.

Забывали они сообразить, что на портрете Костя молчал, а говорил — не нарисованный, а живой, ну, в красном халате, бородатый, кудлатый, в своей привычной позе, отчасти изогнувшись, вьюном, но тут же распрямляясь, и слова его — вот они, раздаются, и всем слышны, и его даже можно потрогать, и убедиться, что это он и есть, собственной персоной, и не раздвоился.

Но воображение и склонность к повальной питерской, гофмановского толка, мистике, своё дело делали, и выпившие посетители оставались при своих видениях, в которых раздвоившийся Костя поселился уже надолго.

Все же прочие всегда отличали портрет от человека, живописный образ от образа реального, живого, хотя путаница всё равно возникала и кое-кого пугала.

Наиболее стойкие гости к ней давно успели привыкнуть.

Но даже им порою мерещилось, что Кузьминский то с портрета с ними говорит, и при этом туда, в портрет, входит, а то с тахты говорит, и при этом из портрета выходит.

И такая загвоздка превращалась в загадку, и некогда, если на то пошло, да и незачем, если по-честному, было её разгадывать — с нею всё-таки жить интересней.

Больше, чем о себе, Костя заботился о товарищах.

Кого-то пристраивал куда-то, кому-то помогал.

Составил антологию пяти ленинградских поэтов (Бродский, Кушнер, Горбовский, Соснора, Кузьминский), чтобы не выглядеть единоличником, хотя ему предлагали издать собственную книгу, и уговорил знакомую западную даму издать именно антологию, что и было сделано.

Стихи Костины были раскрепощёнными, фонетически насыщенными. Образчик его более реалистичного письма —

текст «Туман», на который написана музыка, вроде — Клячкиным, с успехом исполнявшим эту песню.

Костин шрам на животе — история тёмная, отдающая достоевщиной. Говорить об этом он не любил. Только однажды, изрядно выпив, начал вдруг рассказывать, разволновался, побледнел, словно воочию вновь увидел нечто настолько жуткое, что и выразить сложно, а потом спохватился, сдержался, пересилил себя, перевёл разговор на другое. А потом совсем замолчал. Замкнулся в себе, задумался. Довольно долго сидел не просто сжавшись, а как-то в комок молчаливый сжавшись, уйдя на время в себя. И только позже, переборов это мучившее не случайно воспоминание, собрался внутренне, встряхнулся, стряхнул с себя своё наваждение и снова стал тем Кузьминским, компанейским, блистательным, энергичным и вдохновенным, к которому все привыкли.

Насколько помню, его жестоко избили. Он выжил. Чудом? Возможно. Думаю, потому ещё, что был он, конечно, призван — сделать в жизни своей то, что никто другой за него никогда не сумел бы сделать. Судьба? Безусловно, судьба.

Избиение Костино было хорошо подготовлено. Его не просто били. Его — убивали. Слава Богу, что всё обошлось. Переболел, переболел, но остался в живых. Это главное. Само собой подразумевалось, кто именно это сделал.

Жил Костя возле Новой Голландии.

Место было относительно тихое: шелестела листва, плескалась вода в канале, под мостиками шастали крысы.

Иногда забредали сюда влюблённые парочки, ходили или стояли, обнявшись, шепчась о чём-то своём, глядя то на отражения проплывающих облаков неподалёку, в воде, то на листва над их головами, то на крыс, всё равно им было, потому что куда важнее всего, что могли они видеть, была для них их любовь.

Иногда возникали здесь некие странные тени, которые двигались не прямо, а по кривой, зигзагами, кренделями, и при ближайшем рассмотрении оказывались просто-напросто очумевшими от жары и регулярных возлияний местными алкашами.

Как-то зашёл сюда человек, с виду не питерский, а приезжий, и хотел он выйти к Гавани, и всех прохожих расспрашивал, как туда ему попасть, а искал он дом, в котором жил Блок и на котором не было тогда никакой мемориальной доски, и никто, к сожалению, толком не мог объяснить, как ему добраться до цели, и он, махнув рукой, пошёл наугад куда-то, вздыхая и бормоча: «Где эта улица, где этот дом?..»

А милиции там не видал я ни разу.

В других местах города было представителей правопорядка с избытком, столько, что даже надоедало на них наткаться на каждом шагу.

Здесь же — ни одного.

Почему? Осталось загадкой.

Может быть им, героям, нечего было здесь делать.

Может быть, место просто было заговорённым.

Не случайно ведь иногда вечерами, особенно к ночи, веял ветер странный, и слышался звук трубы призывный, и сразу же вдоль домов с раскрытыми окнами и рядов разомлевших деревьев проносились белёсые призраки, и горячие кони ржали, и копыта конские цокали, хоть не видно было коней, но зато различим был смех, чаще — женский, реже — мужской, и весёлые восклицанья, и взволнованные слова, по-французски и по-немецки, иногда и по-русски, и пели где-то в небе незримые скрипки, так, негромко, потом всё тише, глуше, реже, и всё смолкало, исчезало куда-то, — ночь петербургская приходила, шла хозяйкою полновластной всей округи, в наряде белом, с алой розою на груди — кто там ждал её впереди?

Чем питался Кузьминский? Не так-то просто на этот вопрос ответить. Потому что за ним возникают и другие вопросы. А за ними встают и прочие. И число их весьма велико.

Похоже, питался он воздухом. Уж чего-чего, но воздуха в Питере было предостаточно. Пусть, с учётом летней поры и жестокой жары, был он не таким приятным и прохладным, как того хотелось бы. Пусть был он душным, тяжёлым, пусть напоминал пар в бане, поскольку влажность оказывалась едва ли не первейшим его компонентом. Но его можно было глотать широко раскрытым ртом в любых дозах. Его, из-за того, что избыточная влажность превращала его почти в воду, можно было даже пить. Следовательно, вполне мог он считаться и едой, и питьём. Но это, конечно, натяжка. Воздух не был продуктом питания. Нужен он был — для дыхания. Как условие жизни. И всё-таки, может быть, Костя умудрялся извлекать из него некие питательные частицы, полезные для него и помогавшие годами ему существовать?

Ленинградцы вообще едят мало. Почти в любом доме там, по части съестных припасов, туго. Ну, минимум какой-то имеется. Но не избыток. Так, чтобы пожевать, что подвернётся, почти на ходу, чтобы наскоро перекусить. Вот чай или кофе — это всегда найдётся. А куска хлеба можно и не найти. И, тем не менее, люди что-нибудь да едят.

Костя же не ел ничего. К еде выказывал он полнейшее равнодушие. Еда в его логове и не подразумевалась даже. Сколько помню его, никогда не выражал он желания позавтракать, пообедать или поужинать. Он обходился без пищи. Сигареты — были, и дым табачный вечно переполнял его комнату, и когда приходили гости, а они приходили всегда, то клубящиеся космы дыма превращались в облака, весьма плотные, в свою очередь постепенно превращающиеся в непроницаемую для взглядов смутную пелену. Чай, кажется, заваривали и пили, изредка. Но вот принесённые гостями напитки — водку, вино, пиво — да, это Костя употреблял, с превеликой охотой. Может быть, этого ему вполне хватало для насыщения? Сомневаюсь.

Несколько раз, не выдержав, принимался я готовить еду. Хорошо помню, как сварил я на кухне здоровенную кастрюлю

кулеша, накидав туда всякой всячины, по принципу: в желудке всё перемешается, и получилось ведь вкусно, — и торжественно внёс эту кастрюлицу в Костину комнату, и поставил на стол, а потом нашлись и тарелки, и ложки, и варево моё так вкусно пахло, что удержаться от того, чтобы его не отведать, было уже невозможно, — и первую тарелку, полную до краёв, поставил я перед Костей. Вот тогда он нахваливал и ел, уже помногу, впрок. Но, будучи компанейским человеком, не забывал угощать и всех без исключения приходящих к нему приятелей. Те тоже ели с удовольствием. Никто не отказывался. На проверку все питерцы были голодными. Ни кофе, ни чай, ни курево заменить нормальной еды не могли. Слух о подкормке богемного населения Северной Пальмиры в доме у Кузьминского мгновенно разнёсся по всему городу. Желающие покушать по-человечески рвались сюда с боем. Некоторые приходили по нахалке, без всякого звонка. Но таких было меньшинство. Петербуржцы, люди воспитанные, прежде всего звонили, выясняли, кормят ли здесь обедами, и только потом уже, получив разрешение, появлялись у Кости, вскоре после звонка, и тарелки с едой опустошали мгновенно. Молва о моих кулинарных талантах облетела всю богему и упрочилась в ней. Долго потом вспоминали некоторые могикане мою роскошную кормёжку, состряпанную из чего Бог послал, в Костиной комнате, жарким питерским летом семьдесят второго.

Жена его, Эмма, которую все звали Мышкой, души в нём не чаяла. Миниатюрная, лёгонькая, верная, самоотверженная, на Костю она буквально дышала. Он был для неё — всем. Эмма всё покорно терпела, со всем примирялась, со всем соглашалась, если это было приемлемо Костей, если это его устраивало, если было ему нужно. Влюблённо поглядывала на него, когда поэт был в ударе и потрясал своими рассказами восторженных слушателей. Всех гостей его — привечала. Все его состояния принимала, как должное. Включая и выпивонные, и похмельные. Ну

и творческие, само собой. Была она и супругой, и нянькой, и другом, и мамочкой. Была она — всем на свете. Но ещё и самою собой. Обаятельная, воспитанная, симпатичная — птичка ли? дама ли? — была она — скромность и преданность — удивительно хороша. Главным в жизни её был Костя. Всё прощала она ему. Всё ценила она в нём — и ум, и талант. Всё готова сделать была для поэта, любимого мужа, только жил бы он рядом с нею, да слова говорил ей хорошие, да гостей своих очаровывал, да писал бы свои стихи.

Как-то решили мы втроём погулять по набережной, подышать вечером более прохладным воздухом.

Прогулка — дело нехитрое.

Но Косте захотелось это как-то театрально обставить.

Он натянул подаренные ему Шемякиным, перед самым отъездом кореша-художника в западные страны, навстречу грядущей, как верилось, мировой известности и оглушительной славе, слегка потёртые, но ещё достаточно крепкие, коричневого цвета, кожаные, разумеется, в поясе и в бёдрах чрезмерно узкие, в обтяжку, но всё же налезавшие на худого Костю, а внизу невероятно расклешённые, длинные, не только закрывающие полностью обувь, но и волочащиеся, с шуршанием и треском, по полу ли, по асфальту ли, по земле ли, да везде, где бы в них ни ходить, штаны.

Меня уговорил надеть тоже что-то поэкстравагантнее, хотя ничего лишнего из одежды у меня не было.

Когда я ему объяснил, что нечего, мол, мне, ну просто нечего на себя надеть — что есть, в том и хожу, — он призадумался.

Поразмыслил немного — и выдал мне, напрокат, ещё одни штаны, и тоже шемякинские, такие же сверхдлинные и суперрасклешённые, на молнии, понятное дело, только уже не коричневого, а чёрного цвета, морщинистые какие-то, потрепавшиеся, штаны, которые и пришлось мне, чтобы не обижать

Костю, натянуть на себя, благо и я в те годы был худ и носил брюки сорок четвёртого размера.

Эмма нарядилась необыкновенной заморской птицей, рисовала себе лицо.

Сколько слоёв пудры, кремов, теней и губной помады легло на её милое, кругленькое личико, трудно сказать.

Да только в тот миг, когда она появилась перед нами, мы с Костей одновременно ахнули: это было что-то поистине зазеркальное, этакая гремучая смесь, фантастическое соединение различных эпох, объединение в одно целое жеманницы из восемнадцатого века, провинциальной российской кокетки из девятнадцатого, парижской богемной особы со свободными нравами из начала двадцатого и совсем уже небывалой, неземной, залетевшей сюда из другой, наверно, галактики, с гипнотическим взором, с лёгким шагом, парящей, взлетающей над распаренным, жарким городом, странной дамы, гостьи из будущего.

Только собрались выходить из квартиры — появился поэт Володя Эрль.

Ему, по наитию, сразу же, Костей выдан был — шапокляк.

И вот вышли мы на улицу вчетвером, и двинулись не спеша к Неве, по всем статьям необычная компания, в которой выделялись похожий на государя Ивана (солидней сказать — Иоанна) Грозного Кузьминский, стучащий внушительным, прямо с известной картины Репина сошедшим, в десницу поэта с почтением вложенным посохом и шелестящий по асфальту штанами-клёшами, шествующий под руку с разряженной в пух и прах Эммой-Мышкой, и особняком вышагивающий, словно появившийся из андерсеновской сказки или из гофмановской повести, из чего-то сразу и сказочного и кошмарного, худющий, чопорный, рыжий Эрль в шапокляке.

Видавшие виды ленинградские прохожие, все, как один, оглядывались на нас и вдруг застывали на месте, и долго потом стояли, озадаченно, в оцепененье, словно всех их заворо-

жили, бесконечными, уходящими в перспективу лета и города, шеренгами и рядами, а Кузьминский, шествуя в образе особы, уж точно, царственной, благосклонно им улыбался, иногда кивал им кудлатой, бородатой своей головою — и задумчиво, снисходительно, перехватывая для этого свой посох левой рукой и вздымая правую руку, крестил их, вконец потрясённых увиденным, отчего в небе, медном от зноя, обозначился вскоре отчётливо, наверное — от движений руки поэта, растущий в пространстве и уходящий сквозь время, лучистый крест...

В августе поехал я с Костей и Эммой, вместе с сотрудниками научно-исследовательского института, где работала Эмма, в деревню Шамокшу, находящуюся севернее Ленинграда, в лесной глуши, за Лодейным Полем, неподалёку от реки Свири.

Должны были помогать колхозникам в сельскохозяйственных работах.

А пришлось — тушить лесные пожары.

И приключений там было столько, что лучше рассказать об этом как-нибудь потом.

Обо всём, что связано с нашей августовской поездкой в деревеньку северней Питера, и не только об этом, но и о многом другом, — читайте сами, в моей давней, посвящённой Косте Кузьминскому, вошедшей в книгу «Отзвуки праздников», хронике «Шамокша».

(Вспоминаю порой эту Шамокшу.

Как сейчас, её вижу: вот она! — деревянный, древесный, облачный, травяной, торфяной, замшелый, диковатый оплот свободы, а вернее — воли, приволья, широты, глубины дремучей, высоты, за которой — звёзды, красоты, для которой — песни, чистоты, у которой души и сердца молодые наши в високосном году гостили, — остров дальний, укром, покой.

Помню, помню зарю скитаний, помню лето, блаженное, может быть, ну а может, и запредельное, уж во всяком случае —

странное, помню дни в июле и в августе и сентябрьские влажные дни, когда жил я, зачем — не знаю, нет, пожалуй — знаю: судьба меня привела сюда, — в Ленинграде.

И жильё моё было — случайным, в высшей степени — алогичным, как обычно — неопределённым, потому что я кочевал, ночевал где придётся, бродяжничал, шёл туда, куда звали, — а зван был я всею богемой питерской.

Конец июля пришёлся на квартиру Кости Кузьминского. Поэт и хранитель стихов приютил меня у себя, по тогдашним меркам — надолго. У него написаны некоторые мои вещи. В его комнате-берлоге чтения стихов и знакомства перемешались, да так, что в итоге всё это сплелось в единый звучащий, состоящий из тысячи нитей, речевой и, конечно же, зрительный, пёстрый клубок — или, это намного точнее, — сияющий энергетический шар.

Это к нему, к Косте, в его арку, над которой красовалась всему Питеру известная надпись «Парикмахерская», прямо под слог «хер», на что, разъясняя кому-нибудь, как его разыскать, непременно указывал, фыркая в телефонную трубку, бородастый, лохматый хозяин в красном своём халате, в его двор, а потом и в подъезд, а потом и в знакомую дверь, чтоб скорей оказаться внутри, в распрекрасной дружеской комнате, торопился я, после вылазок в город, спасаясь от невероятной для этих широт жары, и там действительно было чуть прохладнее, а самое главное — на душе поспокойнее.

Я успел зарастить бородою, и она рыжела, кудрявилась, — и Кузьминский, этак умильно, называл меня Винни-Пухом — или, коротко, просто Пухом, потому что, видать, с бородою моей гармонировал мохнатый коричневый пуловер, который я прихватил с собой — и, как оказалось, не напрасно, потому что очень он пригодился осенью.

Я сдружился с Костей мгновенно. Говорили мы — целыми сутками, и всегда — с неизменной пользой для себя — и для прочих гостей.

Помню, как неохотно собиралась Эмма, Костина жена, ехать со своей организацией, «Ленпроект», на работы в колхоз. Когда же она вдруг предложила нам ехать вместе с ней, и мы сразу же согласились, она прямо на глазах у нас воспрянула и расцвела.

Первого августа мы выехали — весёлой компанией, в большом автобусе, — из раскалённого города.

Поэму — если эту композицию можно так назвать — писал я позже, в семьдесят третьем году. Выразил по возможности, насколько воспринял, своё ощущение Ленинграда летом и Σε-вера, который мне, человеку южному, был внове.

А деревенька оказалась на поверку — славной.

И вещь моя — действительно хроника.

Было несколько изб — улица.

Была речушка Шамокша, впадающая в Свирь.

В Шамокше, холодной, с запрудами и ключами, купались мы постоянно — спасались от жары и просто закалялись.

Водился в ней этакий червяк, весьма опасный, называемый «конским волосом». Он способен был, проникнув через поры в коже прямо в вены, поселиться там и питаться кровью, от чего животные хирели, хворали. Случалось, что, заболели и люди. Бывают ведь такие создания природы! Я и сам, чуть зазевавшись, задержавшись буквально на минуту в воде, вытаскивал, бывало, из ноги уже присосавшегося, юркого, вёрткого, скользкого червячка, с виду действительно напоминавшего толстый волосок. Спасение от него было — в движении.

Широкую реку Свирь переплыл я ночью туда и обратно. Течение, неожиданно мощное, сносило меня далеко в сторону, но я был упрям и боролся с ним. Посверкивая бортовыми огнями, шли, никуда особо не торопясь, мимо меня речные суда. На берегу мы жгли костры. Вот я и ориентировался — на свет вдаль, на пламя костра. И всё обошлось. Доплыл. Сам себе лишний раз доказал, что способен совершать поступки.

Были там, на колхозных работах, интересные люди — архитекторы, художники; были увлекательные разговоры, всякие полезные наблюдения.

Был густой, настоящий, дремучий, уходящий на все четыре стороны света, лес, видение смутное, с вековыми деревьями, со стволами замшелыми, с отчуждённо молчащими, дикими чащами, с полянами, солнцем залитыми, с ознобом в тени, с диковинами, впервые мне открывающимися, с тропинками, вкось уходящими куда-то, с грибами и ягодами.

Было огромное, поперёк себя шире, поле, где сельские люди, привычные к трудам подобного рода, будто стольный град возводили с небывало высокими башнями, с прибаутками, шутками, песнями, быстро, дружно, умело, споро воздвигали большие стога.

Потом оно, это поле, как-то сразу вдруг загорелось, и три дня мы тушили, отчаянно, упорно, целенаправленно, уж как умели, как получалось, и всё же, как мне теперь думается, обречённо как-то, понимая, конечно, ну хотя бы догадываясь, что напрасно мы всё это делаем, но зато и на каком порыве, с каким подъёмом тушили невероятный пожар, начавшийся оттого, что медленно тлеющие где-то там, неглубоко, под слоем почвы и травы, торфяники, находившиеся повсюду, словно прорвало изнутри, огонь вырвался наружу, всё в округе тут же воспламенилось — и всё совершенно так и сгорело.

Помню, как на попутных машинах, с наспех вымытыми бидонами из-под молока, съездили мы в Лодейное Поле, в первом попавшемся магазинчике наполнили свои бидоны бормотухой, дешёвым, ужасным по своему качеству, пойлом, вроде креплёного вина, для крепости настоящим ещё, как поговаривали, на махорке, — и с этой-то бормотухой, приобретённой для поддержания боевого духа, ринулись поскорее обратно, тушить пожар.

Шли цепью, махали ветками, сбивая пламя, да всё это оказывалось бесполезным. Оглянешься назад — а пламя уже там,

сзади, за тобой, втихоря подкрадывается, а то и рывками, стремительно, особенно на ветру, обдавая зловещим жаром, настигает нежданно тебя. Невесело приходилось. Отхлебнёшь несколько глотков бормотухи прямо из крышечки бидона, или из жестяной кружки, если у кого-нибудь таковая оказывалась, — и снова вперёд, в бой с огнём. Так вот и сражались со стихией.

Жили в избе, вроде как на втором этаже, высоко над землёй, — так уж устроены были здесь избы. На ночлег приходилось подниматься по шаткой, скрипучей лесенке. А под нами, внизу, раздавалось мычание и поднимались кверху бьющие в нос, характерные запахи — там жила корова хозяйская.

Пили замечательное молоко на ферме. Иногда, при случае, добирались туда на подводе. Но чаще — ходили пешком.

Варили еду, какая уж была. Сами себе готовили. Пригодились и мои кулинарные способности. Кипятили воду на огне, заваривали чай, попивали его не спеша.

Некоторые ездили на лошадях. Например, Костя Кузьминский, поначалу выглядевший лихим наездником и хорохорившийся перед нами, но сразу же отбивший себе зад — и потом лежавший в избе и охавший. И ничего, всё обошлось благополучно, и он довольно скоро поднялся.

Неподалёку, где-то за лесами, будоражила высоты грохотом выстрелов некая скрытая в глухомани воинская часть, и всех это раздражало, и все возмущались, и гадали, что же это за безобразие такое, как нарочно, затянувшееся и ни на час не прекращающееся, но потом к регулярной стрельбе привыкли и перестали её замечать.

Можжевельник, ели, черника, брусника, голубика, разнообразные грибы, чудесная вода ключевая.

Вдосталь было чудес в округе.

Что ни шаг — откровение.

Что ни миг — изумление.

К одному ключу — ходили специально, чтобы почувствовать истинный вкус настоящей, природной воды.

Шамокша, одним словом...)

А потом — надоела нам торфяная, лесная, с пожарами, с бес-
предельными далями, ягодная, обомшелая, сельская глушь. И
вернулись мы с Костей в Питер.

И опять закипела жизнь — городская, богемная, жаркая,
с бесконечностью, связанной в узел, наподобье восьмёрки,
словно все мы забыли на время, что она не шнурок, а знак.



...Предложил мне однажды Довлатов почитать стихи в мас-
терской его приятеля-художника.

Я почувствовал, что для него это важно, что он хочет разо-
браться в своих ощущениях, попробовать глубже постичь со-
вершенно новый, непривычный для него строй.

Сергей находился тогда под сильным воздействием стихов
Бродского.

Усваивая мои стихи, ему предстояло войти в мир, существу-
ющий по другим законам, с иным дыханием и светом.

Летним питерским вечером, в тот его час, когда уже не было
в мире жары и мучений, связанных с нею, и только мягкие
волны повсеместного и безбрежного, различающегося повсю-
ду, ненавязчивого тепла обволакивали прохожих, и дома,
и птиц, и деревья, и уже обозначились признаки темноты, не
сплошной, не крошечной, но, скорее, прозрачной, такой, где
подспудный присутствует свет и возможность взглянуть
в даль остаётся для всех в округе, полной влаги, и неги, и тяги
к неизведанному доселе, чтобы в душах людских пробуждалась
то ли горечь, то ли печаль, возвращая им речь, и веру, и на-
дежду, и даже любовь, и какую-то тихую, чистую им даря, от
щедрот своих, музыку, чтобы с музыкой этой им стало, может
быть, и не легче, но всё-таки, хоть на долю мгновения, радост-
ней в этой жизни, отнюдь не праздничной, ощутить себя вдруг
живыми, — шёл я в одиночестве, поглядывая порою на листок
с записанным Довлатовым адресом, по улицам где-то в центре,
и добрался в итоге до цели — прошёл сквозь арку глыбастого

многоэтажного здания прямо в тесный, запущенный двор, свернул, куда полагалось, открыл тяжёлую дверь, спустился вниз по ступенькам, — и точно в назначенное время оказался в подвальной мастерской, тесноватой, скромной, но уютной, до предела забитой людьми.

Некоторые из них были уже мне знакомы, и я, увидав их, обрадовался тому, что они пришли, большинство же собравшихся здесь видел я в тот вечер впервые.

Все они, без исключения, будто бы сговорившись, кто — с любопытством, кто — с интересом, поглядывали на меня.

Смотрины какие-то, что ли?

Но, поскольку подобные сборища были давно мне привычны, то я, по давно уже выработанным для себя правилам, сохранял — внешне, разумеется, и насколько уж это мне удавалось, порою себя собирая буквально в комок, в некий сгусток упрямой воли, всю возможную в таких обстоятельствах невозмутимость.

Что там творилось у меня внутри и чего мне всё это стоило — никого не касалось.

Интерес к моей персоне был далеко не случайным.

Разнообразные, обильные, непрерывно разрастающиеся в геометрической прогрессии слухи обо мне, столичной звезде, как считали тогда знатоки новейшей нашей поэзии, легенде шестидесятых, как уже тогда говорилось, основателе СМОГа, знаменитом в ту пору и в пределах отечества, и за пределами такового, поэте, вдруг нагрянувшем в Питер, живущем здесь весьма долго и вроде бы и не собирающемся, пока что, во всяком случае, отсюда уезжать, чуть ли не поселившемся здесь, и не только широко, с размахом, общающимся с местной публикой, бражничающим с нею, заводящим романы, дружбы, умудряющемся, несмотря на бурное времяпровождение, непостижимым для многих образом ещё и работать, писать всё новые стихи, много читать, бывать в музеях, изучать архитектуру, причём со знанием дела, профессионально, как и подобает

историку искусства, не занудой, не кривлякой, не гордецом, а наоборот, как все убедились, человеком простым, открытым, внимательным, доброжелательным, без всяких московских штучек и выходов, чего здесь терпеть не могли, видимо, соединяя их с какой-то загульной есенинщиной или чем-нибудь в этом роде, словом, очень уж непохожем на московских подпольных авторов, — и покоряющем по очереди, одну за другой, местные богемные компании, где, помимо людей нормальных, с широкими взглядами, для которых литература, искусство были смыслом их жизни, тем, что превыше всего, предостаточно было сомнительных умников, доморощенных формалистов, классицистов, законченных психов, оголтелых ревнивцев, заносчивых снобов, да и прочих, и всех их не счесть, — всюду гуляли по городу.

Немудрено, что многие пришли на меня посмотреть. Понаблюдать. Кто, мол, таков? Чем дышит? Как выглядит? Что из себя представляет?

Ну и послушать, разумеется. Как же тут не послушать? Уж если человек стихи свои читать собирается, да ещё и, как утверждают, хорошо их читает, необычно, по-своему, так, что и сравнивать не с кем, — то непременно надо послушать.

Для них одно другому нисколько не мешало.

Любовь к яркому, новому, необычному зрелищу и любовь к поэзии прекрасно уживались в их сознании.

Таково было само тогдашнее, орфическое, — вновь сознательно подчеркну и разрозненным людям нынешнего злополучного как бы времени, или, пусть и так, междувременья, без лица, без сердца, без голоса, без души, без горенья, без имени, без отрады, без песни, без памяти, без любви, без надежды, без веры, ещё раз и ещё много раз я об этом упрямо напому — вроде бы и лирическое, а на поверку — эпическое, с именем каждого из нас накрепко связанное, и если в корень смотреть — героическое, разумеется, осиянное творчеством время.

Верховодил здесь — Довлатов.

Кому, как не ему, пришлось бы по плечу подобное занятие — нелёгкое, надо заметить, да ещё и ответственное?

Трудно представить другую кандидатуру. Да и зачем? Всех прочих, если бы таковые имелись, он просто бы затмил.

Он, подчёркнуто приветливо и действительно радостно, — так, что я это сразу почувствовал, а первое ощущение, как известно, самое верное, — самым первым из всех, поздоровался со мной, как только я появился в мастерской.

Сразу же, деликатно и одновременно решительно раздвигая своими геракловыми ручищами в разные стороны разношёрстных гостей, — среди которых, помимо тех, кто был помельче него, попадались и в меру крупные, из таких, что, при всём желании, так вот просто с места не сдвинешь, и, однако же, он умудрялся потеснить слегка и таких, — ринулся прямо ко мне.

Стал, представляя некоторых, по именам, по фамилиям, — такой-то, такой-то, такой-то, — знакомить меня с людьми.

Усадил меня рядом с собой, принялся занимать каким-то совсем простым разговором.

Понизив голос, признался, что ждёт не дожждётся, когда я начну читать стихи.

А публика — это так, традиции, ритуал.

Куда же от неё деваться?

Но публику — тоже уважать следует.

Публика — окружение. Но она же — и аудитория.

Публика — это люди. Все по-своему интересные. Без излишнего разделения на хороших людей и плохих. Потому что в любом человеке, при желании, можно найти и прекрасное, и ужасное, как сказал о принцессе одной в детской книжке своей Сапгир. Но прекрасного — всё-таки больше.

Публика — это сила. Уж такая, как есть. Энергия. Человеческая, электрическая сеть — чтоб вдруг загорелся свет.

Ведь она собралась не случайно в мастерской, а вполне сознательно.

Ведь она пришла не на пьянку и не просто на посиделки.

Ведь она, как и сам он, тоже очень хочет услышать стихи.

Именно он, конечно, «позвал народ», ну, не всех, разумеется, только избранных, но и эти избранные, как водится, позвали или привели с собой своих знакомых, и вот сколько питерцев здесь собралось, многовато, но это ведь, если подумать, даже и хорошо, замечательно даже, пусть они послушают стихи, пусть объединит их прежде всего поэзия, — так он мне, потихоньку, в общем гуле, успел объяснить, — и каждому из собравшихся, никого не забыв, он оказывал знаки внимания, и заботился о том, чтобы всем здесь было хорошо.

Радужным жестом, ну прямо как заправский организатор вечеров и устроитель пиршеств, призвал он всех к столу.

За столом все никак не могли разместиться, по причине тесноты, но никто и не думал расстраиваться, что давно привыкли к тому, что именно так обычно и бывает, и поэтому просто пристроились, кто где, со своими стаканами, в которые тут же всегда имевшиеся в резерве большие специалисты по разливанию различных напитков принялись, ни о ком не забыв, разливать заранее запасённое вино.

Краем глаза Сергей наблюдал за этой процедурой, а потом и сам принялся помогать разливальщикам.

Да при этом ещё и, как всегда, остроумно, шутил, и успевал сказать некоторым всякие хорошие слова, и по-доброму им улыбнуться.

Ему явно нравилась роль доброго великана из старой сказки, угощающего заезжих путников в волшебном замке.

Такой великан у всех вызывает обычно симпатию. Ему доверяют. Да что там! Ему охотнейшим образом — верят. Потому что с его подачи, с его лёгкой руки, наконец-то начинаются чудеса. Потому что по-детски верить и мечтать о том, что начнутся настоящие чудеса, все хотят, люди так устроены. Потому что чудес не бывает, если их упрямо не ждать.

Что касается замка волшебного — то его вполне заменяла мастерская эта подвальная. Сам подвал был уже необычным. Как-то очень уж был он глубок. Потолки высокие. Стены, уходящие вверх — и там уходящие дальше куда-то, но куда же — никто не знал, да и некогда было с этим разбираться, поскольку стены изгибались влево и вправо, образуя то коридор, то подобие комнатки узкой, то какие-то закутки, то ещё что-нибудь, возможно, из четвёртого измерения, чему не было определения, но его присутствие всеми ощущалось, и это было продолжением волшебства, и устраивало собравшихся, даже больше, всех разом настраивало на особый лад, на особе восприятие происходящего, потому что сказка есть сказка, и участвовать в ней приятно, да ещё если будет в ней песня, ну а с песней и жизнь хороша.

Скромные выпивка и закуска, по традиции того времени, предворяли предстоящее чтение, но вовсе не превращали серьёзное мероприятие в балаган.

Серёжина любовь к людям сказалась и в том, что он не желал быть единоличником при слушании стихов, а взял да и сделал подарок для своих товарищей.

Маленький, ручной обезьянкой примостившийся в уголке, поэт Уфлянд, и громадный, ростом под потолок, Довлатов, оба известные острословы, забавно смотрелись рядом и оба были сегодня предупредительно вежливыми, деликатно сдержанными.

Конечно, присутствовали в мастерской и обаятельные петербургские дамы, действительно — «европейки нежные».

И вот, после ритуальных скромных возлияний, когда народ настроился на нужную волну и уже испытывал явный подъём духа, настало время для чтения.

Сергей церемонно, даже несколько торжественно, попросил меня начинать.

Все, как сразу же, из общих восклицаний, выяснилось, давно уже только этого и ждали.

И вновь, как и сотни, и тысячи раз в те блаженные, бурные, славные, сокровенные, давние годы, был я в самом в центре внимания, в центре плотного круга людского.

Надо было — работать.

Надо было — читать.

Читал я в тот вечер много — на этом Довлатов настаивал.

Читал — не с листа, а по памяти, что в голову приходило.

Читал — словно пел, и чувствовал, что эти стихи, звучащие сейчас, ко мне приходящие по странному, интуитивному, необъяснимому выбору, в случайности всей не случайному, поскольку лишь по наитию угадываешь вернейшее, и это наитие сыздавна созвучно живому чутью, как будто бы здесь, в движении, в процессе чтения-пения, как в трансе, где сплошь откровения, и тайны, и строй, и свет золотой, я сызнава создаю.

Слушать тогда, следует заметить, умели замечательно.

Не единожды в книге своей об умении этом говорю я, сознательно, потому что в умении этом было, прежде всего, внимание, редкость в нынешние времена, а за ним начиналось, по-своему у каждого, и понимание, что и вовсе уж драгоценно для поэта, и всё это — было, и поэтому вспомнить сейчас о таком и приятно, и радостно, и, конечно же, грустно, — мне, выжившему, хоть и чудом, но уцелевшему в годы прежние, немолодому, посреди междувременья нынешнего, в одиночестве долгом своём.

После чтения, когда вдосталь наслушавшиеся стихов и потому находящиеся под свежим от них впечатлением, частично переговаривающиеся между собой, обсуждая услышанное, частично впавшие вдруг в состояние светлой задумчивости, молчаливо глядящие перед собой то ли в глубь, то ли в даль, им открывшуюся, и оттого заторможенные в каждом жесте своём и шаге, многочисленные гости, поодиночке и стайками, наконец разошлись, и в опустевшей мастерской стало тихо, и можно было мне отдыхать, прийти в себя, успокоиться, закурить, возвратиться в реальность вечера, летнего, петербургского, позднего, почти уж на грани тёплой, надвигавшейся исподволь ночи, и остались рядом

со мною лишь хозяин-художник, бородатый, как и положено, да ещё торжественно-благостный, умилённо-довольный Довлатов, — услышал я от Сергея взволнованные и важные для меня слова о моих стихах и понял: мой поэтический мир стал ему открываться.



От Жени Рейна. Письмо.

В ту пору, когда мы с ним ещё были на «вы».

«16.X.84

Володя, дорогой!

Ваше письмо я прочёл только сегодня, и нет слов объяснить, как я тронут им. Недаром, ещё не читая его, я написал Вам на книге — «брату по судьбе». Всё в этом письме замечательно, точно и достойно. Я не говорю о Ваших суждениях о моих стихах, тут не мне разбираться. Такие письма имеют большое значение — они поддерживают человека, помогают двигаться через всю похабель, что надо преодолеть. Я нахожу Ваше письмо замечательным документом, направленным в обе стороны — мою и Вашу.

Я всегда ценил Вас как поэта, как человека знал Вас очень мало. Прочёл я оставленные Вами стихи. Вы один из лучших поэтов нашего языка сегодня. Вы поэт особенной, редкой группы крови. Все мы патриоты времени, вы патриот пространства.

Особенно хороши: «Луна в сентябре», «Так в сумерках порой...». Замечательные «Флоксы», стихи о Тавриде, понравились и «Сумерки», но вообще последние стихи больше, так и надо, мне кажется.

Я еще раз убедился, Вашу книгу вполне реально издать, она произведёт большое впечатление в литературе.

Я звонил сегодня по Вашему вопросу домоуправительнице Евтушенко — он собирается быть в Москве 26-го, но через

несколько дней пилит куда-то на Запад. Кажется, и Гоголь говорил, что из прекрасного далека ему виднее. Только в одном случае в результате «Мёртвые души», а в другом... Вот и всё. Звоните, не забывайте.

Сердечно Ваши

Евгений Рейн.

Володя, все мы знаем себе приблизительную цену, но подтверждение её голосом другой судьбы и другого дара — может быть высшая ценность».

Достаточно, пока что, и одного письма.

Просто — под руку подвернулось.

Оказалось, по-моему, кстати.

Ну а значит — само пришло.

Помню я один эпизод, связанный с Женей Рейном. Семьдесят седьмой год. Наверное, май.

И Рейн — не на Рейне и не на Майне, а пока что — в Москве, в мае.

Было не просто тепло — жарковато.

Я бездомничал. Молча, устало, бродил по Москве.

Некуда было деваться.

Где притулиться? Где, хоть единожды, потому что было мне уж неважноту без угла, в человеческих более-менее условиях переночевать, просто-напросто отоспаться?

Я вышел к Пушкинской площади.

Александр Сергеевич — смотрел на меня.

Ну а я — смотрел на него.

Показалось мне что ли, померещилось, может, что, внимательно, участливо на меня глядя с высоты своего пьедестала, в то же время своей головою кудрявой он показывает мне куда-то к себе за спину, за плечо.

Посмотрел я туда.

За Пушкиным стояла Россия. То есть кинотеатр «Россия». Но и это уже символично.

Пушкин опять кивает, указывает головой — туда, за плечо своё, чуть наискось от «России».

Посмотрел я в ту сторону, наискось от кинотеатра, — и сразу же вспомнил: там живёт ведь Женя Нutowич!

Значит, мне и надо туда идти.

Поблагодарил я Александра Сергеевича, от всей души, за хорошую такую подсказку, — да и двинулся напрямик к Нutowичу.

Дом, в котором обитал Нutowич, стоял осторонь от проезжей улицы, особняком, в небольшом, но уютном и чистом дворе.

Квартира у Нutowича была двухкомнатной, до отказа, до потолка, заполненная, завешенная работами из его знаменитой коллекции живописи и графики нашего авангарда.

Вернее, квартира была коммунальной, но зато уж так устроенной, что у Нutowича получалась, внутри общей для всех квартиры, независимо от соседей, вроде как своя двухкомнатная квартира. И я очень надеялся, что в одной из двух комнат мне удастся сегодня переночевать.

Все к Нutowичу приходили — неизменно — с дарами.

То есть — с выпивкой. Алкоголь был привычной платой за вход, за возможность неторопливо познакомиться с произведениями тогдашнего неофициального искусства.

Я шёл туда тоже не пустой. В качестве даров, решил я, сгодится бутылка сухого вина, которую я целый день таскал с собою в портфеле.

Нutowич принял меня приветливо. Даже обрадовался.

Я когда-то жил у него, в прежней, отдельной его квартире. Охранял одновременно его коллекцию. Там же с ним выпивал, бывало, и вёл бесконечные разговоры обо всём на свете.

Женя Нutowич переехал с окраины в центр.

С одной стороны — коммуналка, и это нехорошо.

С другой стороны — центр, и вот это не просто хорошо, а поистине замечательно. Все к нему шли сюда — сами. Нутович — встречал гостей, принимал дары, то есть выпивку, показывал гостям разнообразные шедевры, разглагольствовал об искусстве — и вообще был для всех важен, для всех нужен. Так что оказался он, разменяв прежнюю квартиру с бывшей женой и переехав сюда, в самый центр Москвы, очень даже на месте.

Он принял от меня дар — бутылку сухого вина.

Мы прошли с ним в ту комнату, что побольше.

Я спросил его о ночлеге.

Он сказал, что проблем никаких с этим не будет — ради Бога, мол, оставайся, ночуй, да и вообще, если так уж надо, некоторое время просто живи.

Я слегка успокоился. Как в дальнейшем всё сложится — было мне самому неизвестно. Но во всяком случае нынешнюю ночь побуду здесь. Хоть отосплюсь.

Понемногу можно было и выпить.

Мы уже открыли бутылку. И уже собирались наполнить стаканы.

И вдруг...

Звонок, да какой! Оглушительный, долгий. А за ним — ещё и ещё. Звонки. Непрерывно — звонки.

Кто это может быть? Кто это — так вот звонит?

Нутович напрягся, вышел тихонько в коридор, слегка приоткрыл входную дверь.

За дверью — звучали, гремели, раскатывались эхом по лестничной клетке громкие голоса.

И вот в квартиру Нутовича шумной, буйной гурьбой вошли весёлые люди.

Женя Рейн. А с ним — весьма нарядная дама. Какие-то мужики. И все — с тяжелыми сумками. А в сумках — множество выпивки. Предстояла, стало быть, пьянка. Или даже — гульба.

Все устроились, кто как сумел. Отдышались. Открыли бутылки.

И поехало, и пошло...

Нутович, сверкая очками, говорил о высоких материях и счастлив был несказанно, что столько в доме гостей.

Женя Рейн, громогласный, хмельной, поднимал то и дело тосты, вознося, всё громче, хвалу дружбе, выпивке и весне, вдохновенно читал Языкова, находясь на подъёме, на взводе, ну а может быть, и на взлёте.

Дама — слушала и пила.

Остальные — чокаясь, пили и опять наливали в стаканы, поначалу — водку, потом, да всё чаще, — только вино.

Появилась нежданно музыка. Вдруг — возникла. Сама собой? Нет, наверное, Женя Нутович начал ставить свои пластинки.

Гости бросились — танцевать.

Помню Женю Рейна, топчущего, по-туземски как-то приплясывающего, с пируэтами да с фигурами. Помню даму — вразлёт, вразброс, вдоль по комнате, с выкрутасами, каблучками своими топчущую, что-то смутное громко лопочущую. Помню прочих — в ритме, в пылу то ли танца, то ли движения в никуда, в пространство скольжения. И — Нутовича с водкой, в углу.

Пир горой, одним словом.

Помню, как Женя Рейн так раскачал, раскрутил свою даму, что с шеи у неё слетела золотая цепочка и упала куда-то на пол.

Рейн бросился искать цепочку. Остальные — тоже.

А цепочка, тоненькая, скользкая, узкой змейкой заползла закатилась куда-то — и никак, ну никак не находилась.

Всё это мне надоело.

И я отправился в соседнюю, маленькую комнату, чтобы наконец-то, хоть немного, поспать.

Лёг я прямо на полу — да и заснул.

Проснулся я оттого, что кто-то усердно тормозил меня за плечо.

Я слегка приоткрыл глаза.

Надо мною склонился Рейн.

— Вставайте, Володя, вставайте! — патетическим, гулким полушёпотом-полукриком призывал он меня подняться.

С неохотою, с недовольством и с трудом я всё-таки встал.

— Вперёд, Володя! Пойдёмте! — призывал меня Рейн.

— Куда? — спросил я его.

— Туда! Конечно же, в ночь!

— Зачем?

— Как зачем? Затем, что мы с вами — поэты!

Я стал искать свой портфель, который поставил где-то здесь, рядом с собой. Портфель был почему-то открыт — и из него исчез лежавший там любимый мой кожаный, техасский ремень, которым я подпоясывал джинсы. Очки были на месте, на столике, с краю. Я надел их. Посмотрел на Рейна.

Женя был чрезвычайно возбуждён. Как-то нервически взвинчен.

— Пойдёмте, Володя, пойдёмте! — поторапливал он меня.

— Цепочку нашли? — спросил я его.

— Цепочка? Что за цепочка? Ах, да! Не помню. Неважно. Наверно, нашли. Пойдёмте. Прошу вас, пойдёмте со мной!

Ну, что ж. Идти так идти. Не выспался я, конечно. Идти-то мне не впервой. Да только — зачем? И куда? Могли бы и здесь побыть. Никто ведь отсюда не гонит. Можно бы и подремать. А утро, как всем известно, вечера мудренее. Теперь же была — просто ночь.

Мы вышли в ночь. Вместе с Рейном. В московскую, хваткую ночь. Немедленно нас одурманив, она увлекала вперёд. Куда? Не всё ли равно! Мы — шли. А может — летели.

Мы двигались — в центре столицы, сквозь окна, сквозь фонари, вдоль стен, вдоль оград, вдоль улиц, дворами, по переулкам, вдоль тусклых витрин магазинов, сквозь воздух, сквозь ночь, сквозь сон.

И Рейн — само вдохновение — в порыве, в походе, в полёте вращал глазами, как птица, взывал к небесам, кричал — о веч-

ном, непреходящем, — стихами, порою — прозой, а то и приподнимался, как Аполлоний Тианский, над влажным, шербатым асфальтом, и в воздухе зависал, а то и горизонтально, как на картинах Шагала, перемещался в пространстве, трубя о чём-то своём в изогнутый рог, который к губам подносил надутым, а то и крылья шуршали в ночи за его спиной.

И где-то мы с ним оказались — в доме ли Нирензее, или ещё где, — неважно, важно — что вместе, вдвоём, — и там нас встречала хозяйка, вполне приятная дама, — и снова стихи звучали — и ночь уходила прочь.

Под утро Женя потребовал, чтобы хозяйка сварила нам щи. Она эти щи — сварила.

Но как мы потом оказались, на пару с Рейном, уже не в гостеприимной квартире, а прямо на площади Пушкинской?

Занятно, что я при этом всё время нёс на весу тарелку со свежими щами, а Рейн — две столовые ложки.

Потом почему-то мы — пришли к Александру Сергеевичу.

Представьте такую картину: сидят два поэта, с похмелья, у памятника, рядом с Пушкиным, плечом к плечу. Перед ними — тарелка со свежими щами. В руках у каждого — ложка. Поэты сидят — и едят.

И Пушкин — весело смотрит на Алейникова и на Рейна.

Ни мне, ни Жене, я знаю, вовек не забыть его взгляд!..

В середине восьмидесятых — перешли мы с Рейном на «ты».

И тут, казалось бы, можно припомнить ещё эпизоды — благо их было много... Но — сдерживаю себя.

Где же ты, Женя? Пушкин смотрит на нас обоих сверху, весело смотрит, — думаю, что — любя.



...Мы встретились с Лёней Губановым там, где мы обычно — (когда-то, так давно, много лет назад), встречались — на Пушкинской площади.

Стояла поздняя, с листьями ржавыми под ногами, с холодом в подворотнях и на бульварах, осень.

Лёня, в общем-то невысокий, но достаточно крепкий парень, уж во всяком случае — с виду, потому что держался, словно удалой казак Стенька Разин, горделиво, с гонором, с вызовом, всем вокруг, решительно всем, сероглазый, губастый, с чёлкой, нависающей над бровями, кривоватой, неровно подстриженной, как-то резко, нервично подвижный, даже несколько суетливый, но при этом очень значительный, от сознания своего безусловного атаманства в разношёрстной ватаге московской, окружавшей его сплочёнными, боевыми, густыми рядами, да ещё — от того, что всё его бестолковое окружение дифирамбы пело ему, день и ночь, о его гениальности, да ещё потому, что действительно дар его был для всех несомненным, и ещё потому, что хотелось почему-то задраться со мной, конкурентом его первейшим, хоть и другом его, и соратником по сражениям прежним нашим, был немного навеселе.

Александр Сергеевич Пушкин, в виде памятника, стоял рядом с нами. Немного выше. Ближе к солнцу. Поближе к звёздам. Ближе к небу. На постаменте. Ближе к вечности. В двух шагах.

Мы стояли с Лёней Губановым — рядом с солнцем русской поэзии. Рядом с памятником. Стояли — на асфальте. Курили молча. Почему же мы встретились здесь? По традиции. По привычке. Место — в центре Москвы. Для всех — и знакомое, и удобное.

Поднял голову я тогда — и с почтением посмотрел — мол, приветствую вас, — на Пушкина.

Взбеленился Лёня Губанов — и сказал мне:

— Куда ты смотришь? На кого ты смотришь, Володя? И за чем? Ты смотри сюда!

И Губанов себя ударил кулаком по груди — сюда, мол, на меня посмотри. И встал — в позу памятника — на площади.

Посмотрел я на Лёню Губанова. Стало весело мне. И грустно. И смешно. Пожал я плечами. Повернулся вдруг — и ушёл. Сквозь толпу. Подальше от Лёни, в позе памятника стоявшего. На которого с изумлением, вперемешку с недоумением, и уже со смехом смотрели и заезжие иностранцы, сплошь обвешанные неведомыми нам, тогдашним, людям простым, к разносолам любым непривычным и к обилию разной техники непонятной, фотоаппаратами, и привычные к неожиданным и сомнительным, буйным выходкам неустанно свободы жаждущей молодёжи, авось перебесятся, рассуждающие, москвичи.

— Ты куда? — закричал Губанов. — Подожди! Володя, стой!

Отмахнулся я от него. И пошёл. Всё дальше и дальше. Вглубь, пожалуй. И ввысь, конечно. К тем глубинам и к тем высотам, за которыми — ясный свет. А потом — ещё и сияние. Дни — в трудах. Что стоили свеч. Дух. Путь. Дом. И — судьба. И — речь.



Леонард Данильцев, мой друг старший, прежде всего — по возрасту, лучше других московских моих, многочисленных, приятелей, и знакомых, и некоторых друзей, тех, кого я считал таковыми, ошибаясь и прозревая, много раз, на веку своём, понимал меня самого, понимал моё состояние — и в относительно светлых, лирических шестидесятых, и уж тем более в трудных, драматических, бесприютных, порою на грани трагедии, даже гибели, от которой уводила меня судьба и спасало всегда лишь творчество, моих героических, с кровью давшихся, закаливших дух и речь напитавших светом, семидесятых — и старался чаще быть рядом.

При малейшей возможности, стоило позвонить ему или зайти навестить его, под настроение, уходил он тут же с работы, из библиотеки имени Ленина, где томился годами, в должности скромной художника-оформителя.

На отлучки его постоянные, по любому поводу, лишь бы поскорее оттуда вырваться, вот и всё, там смотрели сквозь пальцы.

Мы с ним объединялись, ходили вдвоём по дружеским домам, где, бывало такое, иногда застревали надолго, или ехали прямо ко мне, в квартиру мою, покуда была у меня таковая, и там вели разговоры, душевные, и серьёзные, и весёлые, разнообразные, благо было о чём говорить, читали стихи друг другу, выпивали и похмелялись, принимали частых в те годы и весьма интересных гостей, — а то и, потрянув стариной, почувствовав сызнова вкус к передвиженью в пространстве, путешествовали по разным русским северным городам, приезжали нежданно в Питер, — как уж там получалось, поскольку всё у нас выходило спонтанно, в том числе и эти поездки, ненароком, под настроение.

Другом был Леонард настоящим.

Это ведь тоже дар, ещё и какой, — дар дружбы!

Ещё он очень любил и умел, как никто, пожалуй, знакомить между собою близких по духу людей, — и знакомства эти, как будто благословлённые им, неизменно, как-то стремительно, перерастали в дружбы.

Так он когда-то, словно почувствовав необходимость этого ритуала, познакомил меня с художниками Игорем Ворошиловым, Мишей Шварцманом, Игорем Вулохом, да и не только с ними, но и с числом немалым достаточно ярких людей.

И я, разумеется, тоже весьма охотно и быстро перезнакомил его со всеми своими товарищами.

Хотя Леонард и был значительно старше нас, но он легко и свободно вписался в нашу компанию.

В прежней моей квартире, всей богеме известной, он бывал постоянно, так часто, что привык я к нему и считал его родственником, почти, и это он понимал, и ценил, с годами всё больше и больше.

Мне первому он обычно показывал тексты свои.

Он верил мне, я это знаю.

И сам я верил ему.

Он был очень талантлив, причём талантлив разносторонне, от природы, настолько щедро, что хватило бы этих талантов, полагаю, на десятерых.

Но со своими талантами — сроду он не носился.

Рассказы шестидесятых, принёсшие моментально ему, читавшему их, артистично, с блеском, в компаниях, заворожённых самой фонетикой этой свежей, новаторской, звонкой прозы, известность в нашей среде, для него самого, их автора, остались где-то в былом.

Ему интересны были всегда — какие-то новые жанры, новые формы.

Поле зрения превращалось в поле творческой, — с новизною всех прорывов к загадкам и тайнам речи, светлой стихии, — работы.

Он уже написал, всех разом удивив знакомых, к началу неизвестных для нас, пока что, смутноватых семидесятых, большую, серьёзную книгу стихов «Неведомый дом».

Замыслы разнообразные — переполняли его.

Умница, человек благородный, тактичный, воспитанный, замечательный собеседник, знаток и ценитель музыки, литературы, живописи, был он в богемных кругах фигурой очень значительной, и даже незаменимой.

К нему то и дело прислушивались, с его, достаточно твёрдым, чтоб запомниться каждому, мнением — обычно всегда считались. Врождённый аристократизм преспокойно в нём уживался с демократичностью принципиальной — и это для него, человека сложного, для одних, и очень простого, для других, было очень естественным.

Себя не любил он выпячивать на людных сборищах всяких — и предпочитал держаться, сознательно, чуть в стороне.

До занятий литературой он, получивший два образования — художественное и актёрское — служил актёром в провинциальных театрах, где почему-то играл преимущественно роли простаков.

О своём театральном прошлом — рассказывал забавные истории.

Помню одну из них.

В своё время Леонард жил на Сахалине и работал там в местном драматическом театре.

Жизнь на далёком восточном острове была не больно-то весёлой, поэтому театральный люд развлекался тем, что регулярно выпивал.

Однако и о работе своей не забывали.

Спектакли в театре шли исправно. Никто обычно товарищей по труппе и режиссёра не подводил, даже если находился в запое, — доставало сил отыграть роль, а после уж — то ли продолжалась пьянка, то ли закруглялась, это зависело и от состояния здоровья, и от наличия средств к существованию.

Тогда широко практиковались шефские концерты.

Вся труппа — или же только часть коллектива — регулярно куда-то выезжала. И везде, понятное дело, артисты были желанными гостями.

Однажды коллектив театра выехал на такой концерт.

До места добирались почему-то не по суше, а по морю, на катере.

Благополучно прибыли. Дали концерт, на который собрался весь затерянный в глуши посёлок.

А потом артистов, разумеется, хорошо, с размахом, по-сахалински, по-островному, не то что где-то на материке, угостили.

Да ещё и с собой надарили гору всякого питья, в основном питьевого спирта и домашнего, проверенного, отменно хорошего качества и высокой крепости, тщательно очищенного

самогона, который на Сахалине всегда гнали, гонят и гнать будут, — сам это видел, знаю, пробовал, испытал почти двадцать лет назад, — к тому же и закуски там, на острове, всегда предостаточно — горбуша, икра, черемша, всякие корейские закуски и специи, — так что народ выпивает там обстоятельно, с чувством, с толком, с расстановкой, и всегда хорошо, обильно закусывает.

Впрочем, крепость напитков такова, что, как ты ни закусывай, сколько чего ни съешь, а всё одно в итоге опьянеешь.

Ещё и опохмеляться придётся, это уж как пить дать.

Ну так вот.

Сопровождаемые населением посёлка, загрузились артисты на катер. Немногочисленная, тоже изрядно поднабравшаяся команда катера, состоявшая из капитана, рулевого и матроса, с трудом держалась на ногах. Однако, завели мотор. И, проводимые собравшимися на берегу, машущими вслед поселковыми жителями, приобщившимися к высокому искусству, отбыли.

Вышли в море. Приняли там, на борту, ещё хорошенько, разгулялись, вместе с командой повеселились всласть, — благо, питья было с собой — хоть залейся.

А потом... А потом никто ничего уже и не помнил — что там было потом. Все, как говорится, вырубались. Разом. То есть отключились. Уснули.

Через какое-то трудноопределимое время самым первым очнулся, кое-как пришёл в себя — Леонард.

Он выбрался из каюты наверх и долго стоял, с трудом соображая, где он сейчас находится.

Мотор внизу невозмутимо и монотонно гудел.

Катер шёл себе да шёл, рассекая носом всё увеличивающиеся, прямо на глазах, волны. Шёл — неведомо где и неведомо куда. Вокруг было — только море. Сплошная вода. Ни малейших признаков берега не было видно. Катер словно висел между колоссальной массой широко плещущейся, уже рокочущей

воды и хмурыми, набрякшими влагой, исполосованными ветром небесами.

Над катером с отчаянными криками носились встревоженные чайки. В их крике читалось желание пристроиться на этом вот катере, на этой посудине, рядом с людьми, и переждать надвигающуюся непогоду. Похоже, назревал шторм.

Несколько протрезвев, Леонард попробовал разбудить команду катера, всех по очереди — капитана, рулевого, матроса.

Но куда там! Они крепко спали. Они были мертвецки пьяны.

Брошенный без присмотра, на произвол судьбы, штурвал покачивался, слегка вертелся, двигался, сам собою.

Мотор исправно работал. Катер шёл в никуда.

Не удалось разбудить и никого из артистов.

Что-то надо было ведь срочно делать! Что-то необходимо было немедленно предпринять! Иначе... Иначе всякое могло быть.

И тогда Леонард — сам встал за штурвал.

Сроду он этого раньше не делал. Понятия никакого не имел, что это такое — вести катер правильно по курсу.

Какой там курс! Куда — вести? Как — вести?

Где он, компас? Где вообще — север, юг, запад, восток? Резкий ветер свистел, завывал за распахнутой дверцей рубки. Отчаянно кричали чайки. Горизонт покрывался мглой. Хлопья и волокна тяжёлой, густой, безразлично нависающей над морем, серой мглы были уже рядом, наверху, по сторонам, везде.

Леонард — решил действовать, как Бог на душу положит. По наитию, по чутью.

Он стоял за штурвалом — и куда-то вперёд и вперёд вёл катер, в каютах которого дрыхнули вдребадан пьяные люди.

Он вёл катер, ощущая сейчас ответственность свою — за то, что он делает, за всех товарищей своих.

Он был уже совершенно трезв.

Как в детских мечтах, ощущал он себя опытным, прекрасно знающим своё морское дело, суровым, хоть и несколько роман-

тичным по натуре, не лишённым сентиментальной жилки, но, прежде всего, практичным, хладнокровно рассчитывающим все свои действия, а потому и удачливым капитаном.

Иногда мелькала в голове и шальная мысль.

Велик был соблазн — вот взять да и вырулить не в один из сахалинских портов, а напрямик в Японию!

Был же здесь случай, да и не один, когда пьяный мужик засыпал — в лодке с работающими моторами, а просыпался — там, в стране восходящего солнца.

Что почувствовала бы труппа драмтеатра, если бы пробудилась за границей?

По расстоянию — не так уж она и далеко отсюда, эта заграница. Капиталистическая. Но и восточная. И даже дальневосточная. Следовательно, — со своим, особенным, неповторимым колоритом. И то сказать! Острова. Города-мегаполисы. Промышленность. Но там же, поскольку всё у них там поблизости одно от другого находится, совсем рядышком — и природа. Горы. Храмы. Сакэ. Сакура. Высоко в облаках — Фудзияма. Узорные кровли. Фонарики. Гейши. Самураи. Мечи. Обычаи. Домики, вроде игрушечных. Иероглифы. Бухты. Сопки. Куросава. Акутагава. Хокку. Танки. Душистый чай. Словом, сон. Или просто грёзы. Тем не менее, для кого-то — это явь. Повидать бы однажды, хоть одним глазком, эту явь!..

Но Леонард отгонял от себя подобные мысли.

Он был сейчас — один за всех. Он принял решение. И он обязан был это своё решение — выполнить. Должен был всех, по существу, спасти.

И он привёл катер к берегу!

Уже стемнело, когда Леонард разглядел далеко впереди тускло мерцающие сквозь сплошную пелену мглы портовые огни.

Он растолкал капитана. Вылил на него ведро воды. Разбудил-таки. Непросто было это сделать.

Капитан, чертыхаясь, вылез наверх, поглядел вокруг, потом — на мерцающие огни порта впереди, потом взглянул внимательно на Леонарда и выдавил:

— Ну и ну! Дела-а!..

Ещё разок, попристальнее, поглядел на Леонарда:

— А ты, брат, герой!

Леонард показал ему на штурвал:

— Ты хоть сейчас доведи катер до порта!

— Сделаем! — живо откликнулся капитан.

Он на глазах трезвел. Он понимал, что стал свидетелем чуда.

— Надо же! — сказал он. — Выручил, брат. А то... могли бы и того!..

— Могли бы, — сказал ему Леонард, — да не стали. Передумали. Некогда нам. Пожить ещё надо.

— Это уж точно! — поддержал его капитан. — Пожить всем нам ещё ох как надо!

Он крепко ухватился за штурвал и привёл переваливающийся с волны на волну, иногда захлёстываемый солёными водяными выплесками и жгуче-холодными брызгами катер в порт.

Артисты начали просыпаться только тогда, когда катер уже пришвартовался. Они вылезали один за другим наверх, не вполне ещё осознавая, где они сейчас находятся.

Капитан рассказал им — кто их спаситель.

А Леонард только отшутился:

— Мог бы в Японию вас привезти, да передумал: кому вы там нужны? Выбирайтесь на берег. Живите на Сахалине. Здесь вы нужнее. Творите искусство, жрецы прекрасного!..

Только и всего.

Артистичность сказывалась в его повадках, в манере поведения, в умении говорить, — не показная, а врождённая. Даже в том, как он одевался — вроде бы и небрежно, во что придётся,

без изысков, без дурацкого следования моде, было бы удобно, да и всё тут, — была видна его артистичность.

В его юморе, выручавшем его в тяжёлых ситуациях, в его иронии, совершенно не злой, а наоборот, добродушной какой-то, тёплой, домашней, которую и иронией-то не назовёшь, а скорее — ворчанием, бурчанием, в котором так и высвечивались на ходу придуманные афоризмы, парадоксы, полуабсурдные, шквальные, налетающие вдруг — и исчезающие, сами по себе, когда надоедало, речевые построения, в его смехе и его молчании, в его умело выдерживаемых при разговоре паузах и неожиданных, прорывающихся к собеседникам, всегда оригинальных, предельно насыщенных смыслом, интереснейших монологах, в его восхитительном умении поддерживать диалог, вести беседу, в его импровизациях, — везде, во всём, что исходило от него, что было частью его самого, что было выражением всегда чего-то подлинного, оправданного, серьёзного, значительного, что в избытке имелось в нём, во всём естестве его, — жила, вспыхивала, сияла высокая артистичность.

С ней удивительным образом сочеталась врождённая же деликатность, бережность в отношении к людям.

Поджарый, светлоглазый, легко закидывающий крупную, породистую голову, устремлённый вперёд, он незамедлительно откликнулся на зов, готов был прийти на помощь.

Он сохранил в себе детскость.

Выражалось это чуть ли не во всём, к чему он прикасался, о чём рассуждал, что опять-таки — исходило от него, являлось частью его сущности.

До седых волос жила в нём мальчишеская страсть к футболу.

Завидев мяч, он буквально трепетал. В нём назревал — порыв. Он готов был всё бросить — и мчаться к мальчишкам, гоняющим старый мяч во дворе, носиться с ними вместе по траве, кричать, жестикулировать, спорить, завладевать мячом, бить по нему, чтобы влетел в ворота, чтобы забить — гол!

Он, бывало, и не удерживался. Срывался с места, бежал к играющим, с ходу включался в игру.

Мальчишки мгновенно его понимали — и принимали — к себе.

Он чрезвычайно всегда дорожил этим футбольным, почти кастовым, полуфронтным, братским пониманием.

В детстве была у него ещё одна страсть — шахматы.

Он, седые усы поглаживая, улыбаясь чему-то далёкому, своему, давно миновавшему, рассказывал мне о том, как летом сорок первого года, когда объявили о начале войны, он, десятилетний питерский мальчик из хорошей семьи, находившийся в это время далеко от дома, в лесном пионерском лагере, недолго думая, пешком ушёл оттуда домой, зажав под мышкой единственную драгоценную для него вещь — коробку с шахматами, — и шёл долго, упрямо, со всяческими приключениями в пути, к своей цели, — и сумел так вот, самостоятельно, добраться до Ленинграда, откуда был родом, где жила его семья, не чаявшая уже, в такие-то страшные дни, увидеться с ним, и через весь город прошёл до своего дома, и, усталый донельзя, голодный, но все трудности путешествия преодолевший, зашёл наконец в знакомый подъезд, поднялся по лестнице до квартиры своей и позвонил, — и ему открыли дверь изнервничавшиеся и потрясённые неожиданным его появлением родители.

Он весь был — сама непосредственность.

И в то же время это был человек вполне светский, завсегда-тай концертов, театрал, желанный гость во всех московских и питерских мастерских, литературных салонах, да и просто — в квартирах и комнатах друзей, где всегда ему были рады.

Тексты свои вслух читал он нечасто, но каждое чтение его помню я так отчётливо, словно происходило это лишь вчера.

— Играя обрывком державинской фразы (в уме застряла, в руке — пион), лоща загар пшенично-праздный, парень шёл на выпивон. И тень его безудержной красоты желала вспыхнуть,

аки керосин. И недовольствами дыша, его подруга (под ручку всё же шла) его поругивала что называется — в душе. И вечер приступал уже, дрожал автобус 531-й, заполненный впритык к отъезду; и небо, обновляя перлы, атлас швыряло на отрезы; клубился пыли океан (за пылью всякий окаян); и в поле лени, точно поленья, стояли очередью люди. Грядущим томясь расстояньем, как канонадьем орудий и из толпы речей иных — как бы досталось сесть место — не слышно: все обречены соседа локоть знать стамеской. Но полагать пыталась дева, что к жизни шаг ещё не сделан. А державинская строка порхала упрямо, ярка и легка: «АХ! КТО СПАСЁТ НЕЩАСТНУ? КТО ГИБЕЛЬ ОТВРАТИТ?»

Впервые Леонард читал мне эти стихи году в семидесятом, волнуясь, нервно перебирая большие листы с аккуратно перепечатанными текстами, — а рукопись эта всё разрасталась и вскоре стала книгой стихов «Неведомый дом».

Книгу эту, по просьбе Леонарда, я несколько позже перепечатал в четырёх экземплярах. Три экземпляра отдал ему, один — оставил себе. Это было самое первое, самиздатовское ещё, машинописное её издание.

С тех пор стихи Леонарда сопровождали меня всюду, где только я ни бывал. Я читал из своим знакомым, делал и раздавал самиздатовские, различных объёмов, перепечатки.

Мне очень нравилась поэзия Данильцева. Я остро чувствовал её подлинность и оригинальность — и старался передать это своё восприятие и всем тем, кого считал способным оценить такие стихи по достоинству. Доходили они до людей не сразу и не просто, но если уж это случалось, то я ликовал и считал своим долгом сказать Леонарду о постепенно расширяющихся рядах его приверженцев.

Он хмыкал что-то, отмахивался и не забывал сказать, что и не надеется на скорое понимание. Но всё равно видно было и ясно, что ему это и важно, и крайне приятно.

Господи, как мало надо порой поэту, чтобы он воспрянул духом! Сколько всё-таки оно значит, это вовремя сказанное, доброе, искреннее слово!

Держать в себе годами целый мир, свой мир, — и честно, смиренно нести его с собой, беречь его, не допускать, по возможности, слишком уж грубых, иногда и жестоких, бесцеремонных вторжений в него — извне, со стороны, от чужих. из толпы, из бессмыслицы повседневной, строить, создавать свою речь, как корабль, как целую армаду кораблей, быть абсолютно одиноким среди равнодушных современников — и спастись вниманием горстки близких людей, поддерживать огонь творчества в условиях бесчашья, — как это всё мне знакомо, как понятно, — до вздоха, до слёз, — и особенно сейчас, когда стольких особенно дорогих для меня друзей уже нет на свете!..

Нет их в живых, понимаете?

Осталось только их творчество. Только оно.

Вот оно и живёт.

А тогда...

А тогда Леонард говорил:

— Милый друг! нам не странны обиды мелких тяжб: кто быстрей пробежал, кто скорей человек. Нам легко, нам красивы сияния рек! Милый друг! нам не страшны обиды.

Он ещё тогда, на грани шестидесятых и семидесятых, одним из первых, предчувствовал глухо зарождающееся далеко впереди нынешнее междвуремя, как бы время.

Он чувствовал, что надвигается на всех кошмар, грядёт смута и всеобщий развал, нарушение всех норм и правил, разрушение традиций, преемственности, связей, когда всё будет перевернуто с ног на голову, когда бред достигнет своего апогея, когда вторжение тёмных сил будет уже слишком очевидным — и придётся найти в себе мужество, чтобы бороться со злом, свято веруя в то, что добро непременно восторжествует в мире.

Он предвидел грядущий хаос — и создал потрясающее стихотворение — «Уизз»:

— И вихрем примчится Уизз, примчится из требутика — «Уызз! Уызз! Уизз-з!» И изморозь соберётся шершавой корой, персидским ковром изворсится, не в силах противостоять пернатому протоколу с пером в ухе клюва — Уизз! Уизз! И дважды всего лишь игала гла, но однажды всё ж гладь разлагалась. Но примчится, примчится Уизз! И зябнувший глянec постели последней гримасой сожмётся пронзительному заимодавцу. И пар испустит зимы вдовец! И ложе, постылое навсегда, на память планетам другим тепло лежебоков оставит и тепло сладострастной беглянки, и тяжесть мемориального лба. И займутся края голубым, но свирепо холодным, как Ладога, пламенем. И новой жизни слепая Горилла восстанет из голубого горнила и, потрясая космами, как святая Тереса, скажет: — УАЗЗ!

Вот и не пробуйте даже отнекиваться нынче от пророчества.

Не выйдет. Принимайте его, как есть.

Уже написано. Сказано.

В прозрении сказано — им, Леонардом.

Крупный поэт, с восхитительной, ребяческой изумлённостью перед раскрывающимся ему миром, с обострённым зрением, с полифоническим звучанием некоторых отдельных вещей и сложным, близким к нашей новой авангардной музыке, звучанием общим, со своей интонацией, легчайшими мостиками связывающей понятия и смыслы, тяготением и явной любовью к наиву, к игровому развитию темы, он одновременно и аналитик, мастер синтеза, держащий все нити ходов и связей в руках, своеобразный очевидец и летописец эпохи, тоже создавший свой образ времени.

Он ещё с должным вниманием не прочитан, толком не издан.

Вышедшая в девяностом году книга «Неведомый дом» — только часть сделанного им.

К публикациям относился он равнодушно, по редакциям сроду не ходил. Понимал всю бессмысленность и бесполезность такого хождения. Терпеть не мог унижаться. Ненавидел глупость, во всех её проявлениях, в том числе и редакторскую, в советское-то время, когда к ней прилагались ещё и незаинтересованность, и малообразованность, и просто боязнь всего нового, необычного, на привычную печатную продукцию непохожего — и посему уже крамольного, и лучше с таким не связываться, на всякий случай, лучше сразу же отказать, забраковать, найти повод, чтобы возвратить тексты, и поводы, конечно же, находились, и так было спокойнее жить, держаться за редакторское место, и не надо ничего из ряда вон выходящего, даже более-менее оригинального — тоже не надо, лучше всего публиковать такое, что всем требованиям отвечает, такое, за что на душе спокойно, а все эти новации — нет, нет, не надо, не надо, подальше от этого надо держаться, товарищи, подальше, — нет, не подходит.

Отклик Леонард находил — в своей среде. Нередко моего одного мнения для него было вполне достаточно. Ему важно было — быть услышанным. Так чего уж проще и куда спокойнее, вернее, надёжнее — быть услышанным, вовремя, да ещё и понятным, что особенно было важно, — мною одним.

Некоторые его тексты изданы на Западе. Как и у многих из нас, не обошлось без этого и у него. Проникали писания наши туда, в зарубежье. Всякими способами. Кое-кто, в эмиграцию отбывая, кое-что с собой вывозил. У кого-то — память отменной была, и там, далеко, в условиях полной свободы, появлялось желание записать то, что вспомнилось, а потом и опубликовать. Все западные публикации — ответвления самиздата.

Продолжение такового. Поди гадай, что там выкинет он, самиздат, какие такие штуки, что там выплывет вдруг за границей и где напечатано будет! Не всё, далеко не всё доходило оттуда — к нам.

Коля Боков напечатал в первом номере своего журнала «Ковчег» рассказ Леонарда «Любовь идиота». Журнал этот я видел. Обложку к нему сделала Олеся Барышева, двоюродная сестра моей бывшей жены Наташи Кутузовой, жена композитора Алика Рабиновича. В шестидесятых Алик репетировал какие-то свои вещи с Лидой Давыдовой, женой Леонарда, и очень донимал трудолюбивую, но и так перегруженную своей концертной деятельностью, а потому и вечно усталую Лиду своей сверхповышенной требовательностью, на что она, терпеливая и воспитанная, среди своих, потихоньку, бывало, вздыхая, жаловалась. Коля Боков к Леонарду относился с симпатией, прозу его любил, — потому, видать, и напечатал. Саша Соколов позже рассказывал мне, как, живя в замке Монжерон, в башне, создавал Коля, вдохновлённый возможностью свободной издательской деятельности, свой небольшой, но весьма интересный журнал. Между прочим, это именно Боков у себя в журнале впервые напечатал «Это я — Эдичка» Лимонова, в сокращённом виде. Помню, как все знакомые по очереди брали этот номер журнала на прочтение у владельца, Генриха Сапгира. Но это так, просто к слову. Не знаю, был ли Коля знаком со стихами Леонарда. Спасибо ему и на том, что рассказ напечатал.

Были, вроде, публикации в «Новом русском слове», ещё где-то. Но и к ним Леонард не имел отношения, появились они сами по себе. Всё в зарубежных изданиях появлялось тогда, будто не могло не появиться. Нас обычно уже перед фактом ставили — вот, мол, старина, у тебя там-то была публикация. Всезнаек тогда предостаточно было, несмотря на запреты, кордоны, на всю рискованность такого занятия — добывания зару-

бежной русскоязычной периодики и книжной продукции. И просто любопытство, и живой интерес, и действия на авось, и авантюрная жилка, и даже любовь к острым ситуациям — всё здесь было вперемешку, всё срабатывало, всё шло в ход, а в результате мы время от времени получали возможность читать новинки, в которых иной раз обнаруживали и собственные тексты. Вот так и Леонард.

Подрабатывал он иногда тем, что писал сценарии мультфильмов, передачи о литературе для радио, но это не сложилось в систему, не было таким долговременным, как у других.

Он хорошо чувствовал детскую душу, детскую психологию — и мог бы стать отличным детским писателем.

Не случайно дружил он с Олегом Григорьевым. Говорил о нём с неизменной любовью, с безоговорочным признанием его таланта, приподнято как-то, радостно: «Олежка!.. Олежка!..» Впрочем, все так и называли этого питерского парня, с фантастической и жестокой судьбой, — Олежкой. Шло ему это имя, дружеское, уменьшительное. Да ещё и в сочетании со стихами его, якобы детскими, некоторые из которых даже в книжке были напечатаны. «Прохоров Сазон воробьёв кормил. Кинул им батон — десять штук убил». Вот вам и Олежка. Вспомнил сейчас, как увидел, совершенно случайно, уже в девяностых, по телевизору, — мёртвого Олежку. В храме. В гробу. С молитвой на лбу. Тихого. Могло показаться — спящего. А вокруг него — питерская братия, ветераны богемы...

В Леонарде жила всегда эта чудесная детскость, этот сохранный им свет. Потому и привлекала его детская литература. Трудно было удержаться от того, чтобы не попробовать сказать в ней что-то своё. Он и говорил — своё. Сочинил было книгу прозы для детей, но, после единственной и безуспешной попытки издать её, рукопись в сердцах уничтожил. Та же участь постигла и большую повесть «Тётушкин нос», над которой он долго работал. Но это была уже «взрослая» проза. И в ней,

разумеется, всё было — его, данильцевское, а значит — неповторимое. Жаль, что погибла она.

Стихи Леонард начал писать вскоре после того, как, познакомившись со мной, заинтересовался ранними моими книгами. Нет, не просто заинтересовался, но — сжился с ними. Оказались они для него — необходимыми. Оказалось, что в их новизне — почва для собственных слов его. Стихи мои, со сразу же уловленными им частотами моими и волнами, на которых я работал, оказались для него, как сам он потом признавался, жизненно важными.

Они, по его утверждению, дали ему нужный импульс.

Этот самый импульс кому только не давали давнишние мои писания!

Леонард был слишком оригинален во всём и целен, чтобы кому-то подражать.

И я бесконечно рад, что мои более чем тридцатилетней давности вещи сослужили для него добрую службу, вызвали в нём потребность заняться поэзией.

Человек общительный, в начале семидесятых даже компанейский, которого и знали-то современники всё больше именно в такой роли, Леонард целенаправленно, как-то незаметно и неожиданно для всей богемы сумел создать свой собственный поэтический мир.

Он был единственный, кого в нашей среде, как Галактиона Табидзе в Грузии — просто Галактионом, все поголовно называли и до сих пор называют просто по имени — Леонардом.

Фамилия — Данильцев — известна, разумеется, всем, но она возникает обычно чуть позже, после паузы, выдержанной вслед за именем, вслед за главным — за именем.

Для всех он — прежде всего — Леонард.

Леонардо да Винчи — просто Леонардо.

Леонард Данильцев — просто Леонард.

Когда в начале девяностых появилась возможность издавать книги, я сделал всё возможное для того, чтобы обязательно вышла и книга Леонарда.

Со своей стороны всё возможное для скорого издания книги дорогого для нас человека и друга сделал Анатолий Лейкин. Он взял на себя все хлопоты по производству. Он проявил натуральный героизм в осуществлении поставленной перед собой цели. Он был в этой истории, в ситуации этой, просто молодцом.

И книга Леонарда вышла.

Как я рад, что вышла она ещё при жизни его, что имел он эту возможность — видеть свою книгу изданной типографским способом, а не напечатанной на машинке, впервые — мною, потом — и другими, существовавшей в самиздате когда-то, в те долгие годы, когда всем нам казалось: да кто его знает, в какие времена писания наши, при такой-то жизни, в таких-то условиях, увидят свет? — да и увидят ли вообще? — тоже ведь вопрос к самим себе не из лёгких был, хотя внутренняя, самая главная, уверенность, всё-таки была и говорила нам, ну в точности как мой киевский друг, волшебник Маркус, Марк Бирбраер, в письме ко мне: книги — будут!

Вот именно! Книги — сбылись.

Книга стихов Леонарда Данильцева, «Неведомый дом», существует вот уже второй десяток лет. Живёт. Речи его и впредь — быть!

Когда, на заре свободного отечественного книгопечатания, мы с Лейкиным готовили эту книгу к изданию, я написал к ней послесловие.

Толя придумал для него название — «Войдите в неведомый дом».

Помню, как я прочитал своё послесловие Леонарду, по телефону, чтобы поставить его в известность, что я о нём говорю.

И услышал его растроганное:

— Замечательно! Спасибо тебе, Володя!

— Можно было, конечно, больше, подробнее написать, — вздохнул я тогда, ещё волнуясь, но уже постепенно и успокаиваясь, — однако, согласись, всему нужна мера. То, что считал я важным и нужным сказать о тебе, то и сказал.

— Да, для меня самого это важно, — заверил меня Леонард, — а написал ты здорово!

— Ты ведь давно знаешь, как я отношусь и к тебе, и к твоим стихам, — сказал я ему. — Пусть и люди знают об этом.

Он ещё не был тогда так отчаянно, так безысходно болен, как в середине девяностых, он ещё чувствовал в себе немалые силы, он вообще был жизнелюбом, давний мой друг Леонард.

Ему оставалось жить ещё семь лет.

И все эти годы он не сдавался, держался, как мог. А он ох как умел — держаться! Он работал, работал. Если не писал, то рисовал. Много рисовал. Он шёл, как всегда, — к свету, к сути. Он шёл — вверх.

— Одна звезда стояла в небе.

Это из его стихотворения, черновик которого я долго хранил, а зимой девяносто четвёртого, когда он жил у меня в Коктебеле, разыскал среди своих бумаг и отдал ему — для работы.

Я уверен, что работа его продолжается и там, где он сейчас. В небе... Звезда...

Вот оно, моё послесловие к Леонардовой книге стихов.

Есть люди, чьё присутствие в мире, в движении жизни, в судьбе столь важно и естественно, что с годами начинаешь осознавать существование такого человека, связанного с тобою свыше узами таинственного родства, как неотъемлемую часть дарованного однажды и всё более открывающегося тебе бытия. Таков для меня Леонард Данильцев — замечательный русский поэт, своеобразнейший прозаик, тонкий живописец, давний друг, благородство и внимание которого — вне сравнений и ка-

тегорий, соратник, незаменимый собеседник вот уже четверть века.

Всё это — отнюдь не славословие, не набор броских эпитетов. Достоинства и дарования Данильцева — при нём.

Тем более, он никогда никому себя не навязывал, скорее наоборот, — будучи яркой фигурой в среде московской творческой элиты, всегда выделяясь в ней, предпочитал он оставаться чуть осторонь, избегал шумихи и суеты, хотя многие токи и нити так и тянулись к нему, он словно замыкал собою некую общую цепь, его мнение было порою решающим, к суждениям его прислушивались, всюду был он желанным гостем.

Этот образованный и умный человек, вполне светский, непохожий на богемных литераторов и художников эпохи шестидесятых — семидесятых годов своей немного старомодной, чудесной воспитанностью, интеллигент до последней кровинки, петербуржец по рождению (он и родился-то в том же доме, что и Блок), москвич по временам становления личности, с послевоенных лет, по складу и широте души, выросший в семье художников, с детства впитавший дыхание искусства, имеющий два высших образования, работавший как актёр в различных театрах, и как профессиональный художник, вовсе не на глазах у всех, а словно втайне, в тиши, при условии душевного равновесия, как-то деликатно, без афиширования, поступательно, но упорно создавал свой, неповторимый художнический мир, находил тот самый сложный синтез, тот уникальный строй, который дал ему возможность поразительным образом соединить в его поэзии слово и музыку, отточенное живописное зрение и пронзительно острую мысль, парадокс и неумолимую логику, озарение и жёсткую хронику, весь хаос незабываемого времени и всю новую гармонию его, — то есть, при всей верности устоям, традициям, он вырывался к новизне восприятия действительности, к новым формам выражения этой единственной в своём роде российской жизни, давал стиху свободное дыхание, раскрепощал и вместе с тем укреплял, утверждал его, шёл

к разъятости, к сердцу сути, включая в работу весь свой опыт, все органы чувств, доверяясь интуиции, чутью, веря в чудо речи, — и лирика ли это, если вся она озарена долговечным светом эпоса.

С Леонардом меня познакомили когда-то Наталья Горбаневская, стихи которой я высоко ценил, и Наталья Светлова, ныне жена А. И. Солженицына.

Давно снесли деревянный дом на Трифоновской, где собирались мы тогда, в квартире у Ляли Островской, несколько близких по духу людей.

Леонард, худой, поджарый, со светлым огоньком в глазах, легко закидывающий крупную голову, со своими рокошущеструющимися интонациями, привычкой как бы подчёркивать, завершать каждую фразу, с умением слушать, с его манерой непринуждённо и просто держаться, напоминал то ли чувствующего себя своим среди своих шляхтича, то ли — таков уж был проступающий где-то там, за пронизательным, усталым взглядом, его дальний облик — заезжего рыцаря.

Он читал свою отменно хорошую прозу — отточенные, небольшие, по несколько страниц, серебрящиеся россыпями звонкой фонетики, рассказы.

Я читал свои стихи.

Мы сдружились — как теперь выясняется, навсегда.

Всё сложилось как-то само собою.

Мы и жили неподалёку друг от друга, и среда была одна, общие друзья и знакомые, — вот и потянулись годы прекрасного человеческого и творческого общения, оглядываясь на которые, несмотря на все пережитые тяготы и беды, вижу я и понимаю особенное их значение, драгоценную их красоту, подлинность и поистине высокую духовность — выжившую сквозь все драматические и трагические обстоятельства и события, устоявшую, укрепившуюся и победившую, выраженную в творчестве.

В самом начале семидесятых я прочитал поразившую меня своей ненавязчивой, но полнокровной, органичной силой и талантливостью книгу стихов Леонарда Данильцева «Неведомый дом».

Книга эта, я убеждён, из тех, что остаются надолго.

Похоже, не одно поколение пишущих стихи людей почерпнёт из неё для себя нечто полезное.

Данильцев, один из немногих в отечественной поэзии, после Хлебникова, Введенского, отважился пойти и дальше, сумел проторить новые тропы, по коим куда проще будет в дальнейшем шагать любопытным и жаждущим.

Никакого отношения к нынешнему поверхностному авангарду книга эта не имеет.

Здесь — поэзия прежде всего.

Вовсе не обязательно «схватывать на лету», сразу понимать и легко усваивать такие стихи. Они не нуждаются ни во всенародной любви, ни в поспешных похвалах. Их просто следует внимательно читать, а потом и перечитывать. Тогда и начинается их движение к читателю, к сознанию, к душе.

Чрезвычайно велика в поэзии Леонарда Данильцева роль музыки, особенно современной (жизнь этого поэта без музыки невозможно представить: друзья — лучшие наши композиторы, начиная с Андрея Волконского, многие первоклассные музыканты, жена — известная певица Лидия Давыдова, долгое время, после отъезда Волконского на Запад, возглавлявшая знаменитый ансамбль «Мадригал»), велика роль живописи (Данильцев и сам чудесный художник, а его друзья и знакомые с молодых лет — практически все современные значительные художники, из неофициальных превратившиеся ныне в широко известных и официально признанных в России и за рубежом — Игорь Ворошилов, Владимир Яковлев, Игорь Вулох, Михаил Шварцман, Олег Целков, Михаил Шемякин, Эдуард Зеленин, Илья Кабаков и так далее, иначе перечень будет длинным), но главное достоинство стихов Данильцева — в том,

что они живут в стихии русской речи, ключ к ним — их великолепный язык.

По пальцам можно пересчитать сейчас тех современников автора, кто в родной речи — дома.

Леонард Данильцев, в отличие от бесчисленных, то ли приблудившихся, то ли заблудившихся стихотворцев, не имеющих уха на слово, — хранитель языка.

Речь — его дом. Неведомый дом?

Да, ибо это дом жизни и вечности, духовности и веры, ясной любви и стойкой надежды, это дом, в котором жив огонь творчества.

Неведомый дом — это и страна наша, и Москва, и душа человеческая.

Это — дом поэзии. Неведомый.

Потому что, если бы дом этот был — ведом, в нём не жили бы Музы.

Поэтому и звучит в этом слове, в этом понятии светоносное — ОМ.

Леонард Данильцев — поэт из породы сеятелей.

Для меня это самое серьёзное определение поэта, его значения.

Хлебников, Сковорода, Державин — из породы сеятелей. Это — лучшее, что можно сказать о русском поэте.

Давать жизнь, продолжение, дыхание — Слову! Чувствовать себя — призванным. С честью выдерживать любое внешнее бремя, во имя — сохранения Слова, устремления его в грядущее, и этим сбережения для потомков — нашего времени, укрепления связи времён.

Это ли не подлинный путь?

Семена, брошенные в почву отечественной словесности Леонардом Данильцевым, уже всходят и ещё обильно, щедро взойдут в скором будущем, в приближающуюся эру Водолея, для блага многих.

Людам, для которых чтение книги Данильцева окажется делом нелёгким, следует помнить о том, что она — часть действительно сложной, многообразной, только начинающей приоткрываться культуры, созданной за минувшее тридцатилетие, культуры именно нашего, небывало сложного времени.

И не надо ничего объяснять.

Стихи приходят к человеку — сами.

Толковать и анализировать их будут — потом. Но будут, так уж заведено.

Поэзия Леонарда Данильцева сформировалась и существует вне политических игр.

Она говорит сама за себя.

На шестидесятом году жизни у Леонарда Данильцева издана первая книга.

Входите же в этот неведомый дом.

На то она и память, чтобы в ней, в удивительной этой области, или целой стране, или яви своеобразной, свободно перемещаться в любом направлении.

В данном случае, в моём случае — преимущественно в сторону прошлого.

А что делать! Ведь то, что было буквально мгновение назад настоящим, сразу же, не успеешь и глазом моргнуть, становится прошлым.

В неумолимости этой есть нечто предопределённое.

Как в копилку, словно в странное хранилище, где чего только нет, уходят — всё туда, в былое, — годы мои, дни мои, да и мгновения даже, поскольку из них-то, поначалу незаметных, имевшихся, казалось, в предостаточном количестве, а на поверку всё убывающих, ускользающих от меня, — и состоит моя жизнь.

И всё, что было со мною — называется моим собственным, личным, кровным, если на то пошло, только одному мне и принадлежащим в этом мире, только мною одним и имеющим

возможность быть выраженным в слове, только на меня одного и надеющимся, в этом смысле, более того — верящим в меня, требующим своего выражения жизненным опытом!

Господи! Как всё просто. Как бесконечно сложно.

Надо же — путешествовать во времени!..

На то она и память, чтобы возвращаться туда, где бывал когда-то, чтобы сызнова жить там, где уже проходили — и прошли ведь! — годы, дни и мгновения твоей, а не чьей-нибудь, жизни.

Только странное нынче получается существование, пребывание — в тех, былых, временах. С грузом собственного опыта. Словно пришёл я туда, где был молодым, отягощённый огромной торбой с этим самым опытом, с таким дорожным мешком, тяжесть которого безмерна, — и, однако, привычно, без всякого ропота, несу я эту тяжесть, постоянно чувствую её за плечами — но она не мешает мне в пути, — что за чудеса такие? Иногда кажется мне, что в руке я сжимаю дорожный посох.

Всё может быть. И есть. Особенно если существуешь не только в обычных трёх измерениях, но и в прочих, столь же реальных, как и эти, затверженно-школьные.

А может, и в других мирах приходится бывать. Поди гадай. Того же опыта набираешься — только в движении. Всё потом как-то само собою складывается, собирается воедино.

Всё может быть. Со мною вообще всё может быть. И бывает.

Меня всегда интересуют — пограничные состояния.

Они не просто мне интересны, они — важны для меня.

В них наиболее сильно проявляется то, что в других состояниях дремлет или не торопится выходить на передний план.

Состояния души. Состояния — в природе. В судьбе. Пограничные. На грани.

Между сном и явью.

Между творческими периодами.

Между жизненными полосами.

Состояния — когда работает подсознание.

Состояния — когда крепнет дух.

Состояния — когда определяется путь.

Состояния — в которых начинаешь чувствовать свет впереди — и идти к нему, выходить на него — из мглы, из тьмы, из сложностей всяких.

Состояние — предстояния.

Перед Богом.

Вот и в этой книге, как я погляжу, интуитивно, по чутью, как и всегда, говорю я — о пограничных состояниях, в жизни своей и в судьбе.

Достаточно внимательно прочитать мои стихи, чтобы увидеть целую галактику этих состояний.

Да и в мире сейчас — разве не пограничное состояние?

Век — на исходе. Был. Миновал. Новый век — забрезжил. Где-то рядом. Пришёл. Идёт. Но — куда? Поживём — увидим?

Что впереди?

Грань.

Узкая фаска лезвия.

Вот мы где с вами нынче находимся.

Слава Богу, что есть — память.

Вспоминаю Леонарда — в его тесной двухкомнатной квартире, этаким стандартном — но и на том спасибо, в те-то советские годы — пристанище интеллигентной московской семьи, в пятиэтажном доме, расположенном в одном из проездов Марьиной Рощи.

Некое выделенное для жилья пространство было плотно, несколько хаотично, заполнено предметами быта, всем самым необходимым, без всяких излишеств, и уж тем более — даже без отдалённых намёков, а не то что признаков роскоши. Какое там! Тут прожить бы просто. Выжить. Вот и всё.

Пианино. Тахта. Стол. Книги. Детские кровати. Табуретки.

На стенах висели работы Ворошилова, Яковлева, Зеленина, Шемякина. Подарки, разумеется.

Были здесь и небольшие работы Валентина Серова, родственника Лиды Давыдовой, Леонардовой супруги. Выглядывали кое-где из углов задвинутые туда, подальше, поглубже, давние холсты и картоны самого Леонарда, вещи, от которых он в шестидесятых и семидесятых только отмахивался и которые в конце восьмидесятых напомнили ему о себе, вернулись к нему — и получили продолжение и развитие во многих сериях живописных работ, ярких, своеобразных, опять-таки очень его, личностных, сразу же узнаваемых, запоминающихся, полновзвучных, сильных, что, впрочем, всегда и отмечалось в девятых знатоками, а на единственной прижизненной выставке в Фонде культуры было воспринято зрителями как явление, а некоторыми — и как откровение, — но всё это происходило позже, — а пока что о существовании этих спрятанных от людских глаз работ знал только я, друг их автора, да ещё считанное количество друзей. Была у Леонарда и работа Пикассо. Мужской портрет. Графика. Хорошая работа. Пикассо подарил её брату Леонарда, художнику. Она висела в прихожей. Леонардова тётка, женщина идейная, правильная, всего на свете опасавшаяся, постоянно боявшаяся, как бы чего не вышло, на всякий случай однажды взяла да и отрезала подпись Пикассо, вместе с дарственной надписью, — чтобы работа ничем особенно среди других не выделялась. А то вдруг — мало ли что? Ещё придраться могут — откуда связь с границей? Проделала она эту свою экзекуцию потихоньку. Поначалу никто ничего и не заметил. А когда заметили — только руками развели: ну что теперь поделаешь? На том и успокоились. Только иногда эту историю курьёзную, под настроение, вспоминали. Но я эту подпись Пикассо, такую выразительную, известную всему миру, с размашистой дарственной надписью, искренней, доброй, по тону почти приятельской, ещё застал и хорошо помню.

Лида Давыдова, жена Леонарда, постоянно была в разъездах, на гастролях. Леонард отбывал положенные часы на работе, потом возвращался, сидел дома с детьми.

Но иногда, истомившись в однообразии дней, пускался он и в путешествия по столице, по очереди, дом за домом, навещая многочисленных знакомых. Само собой, выпивал. И крепко, бывало. Помню, появился он как-то у меня около полудня, бледный, измотанный. Оказалось — с утра ходил по Ботаническому саду в поисках брошенных пустых бутылок, чтобы собрать их, сдать — и хоть немного пивком опохмелиться. Занять денег у приятелей — совесть не позволяла. Да и гордость. Вот и терпел. Мучился, страдал, — но упрямо бродил по траве, под деревьями, шарил по кустам — не блеснёт ли оттуда бутылочное стекло? И собрал-таки некоторое количество посуды, сдал в приёмный пункт стеклотары, отстояв длиннейшую очередь, и полученных денег в аккурат на пару бутылок пива хватило. В этом весь он был. Не докучать людям! Не просить! Не унижаться никогда ни перед кем! Любые обстоятельства в жизни принимать смиренно, мужественно, с достоинством.

Жили мы в шестидесятых близко друг от друга. Я к Леонарду в гости пешком ходил. Неподалёку от него жил Виталий Пацюков со своей женой Светланой — люди, с которыми в ту пору я дружил. Сравнительно близко от всех нас жил и Саша Морозов со своей Аллой.

Если обозначить четыре точки на плане Москвы, в которых находились наши дома, и соединить их линиями, то получится вытянутый ромб.

Кристалл — соли? кварца?

Может, и магический кристалл.

В условиях советского Египта дружбой все мы тогда дорожили.

В Марьиной Роще горел огонь духовности.

Может быть, отсветы его остались там и до сих пор.

(...Спит Москва, — Виталий Пацюков, признанный исследователь знания, точно отпущение грехов, мне дарует дружбу и внимание — всё ему понятно на земле, названной Москвой, — и, видно, книги залежались на столе вынужденно, преданно и скрытно, тихими страницами шурша в мире обобщений и деталей, — и моя мятежная душа вопрошает: «Что с тобой, Виталий? Где ты? Не уехал ли куда? Выбрал ли из вороха событий, частые меняя города, то, что сокровенней и открытей? Близится неспешно Рождество, юность вспоминается и младость, как высокой веры торжество, рядом есть Нечаянная Радость. О чередование волшебства с таинствами снежного обряда! Сгинувшая осени листва, выбранная облака отрада! Снег лежит повсюду и везде, хлопья оседают на балконе. Где-то поклоняются звезде, где-то доверяются погоне. Зимняя декабрьская пора, краткие ухватки ветерана — ветра, прилетавшего вчера, вечера, взирающего странно. Города не сгинувшего гул, дерева не согнутого вымпел. Что же до сих пор ты не уснул? Или что тревожное увидел?» Нет, не разрешаю я беде, преданному дому угрожая, холод, возникающий нигде, вырастить подобьем урожая! Снег ли где-то сбрасывают с крыш, форточки ли к ночи открывают, Ты не сокрушишь и сохранишь тех, кто признают и понимают чуткое дыхание моё, тёплое биение участия, — дружеское вижу я жильё — дай же им сочувствие причастья, Бог, сопровождающий людей в странствиях, причудах и покое! Жить бы вам четою лебедей — вправе ль я предсказывать такое? Вправе! Благо, дружбе не пропасть — так она, чудесная, желанна. Всё придёт, наговоримся всласть, — ну-ка согласись со мной, Светлана!

Чуть подальше, сразу за мостом, дом стоит меж прочих, ну а в нём друг мой проживает средь зимы с Лидою и малыми детьми. Веет пеньем — это ли не нард? Что лета! — Не так ли, Леонард? Пусть себе, несносные, летят, музыку не трогая, как сад. О певец Неведомого дома! Сколько раз, течением влекомы, виделись мы! — Так ли иногда дружбою людей соединяет, что

разъединяет города, облик укрощает и меняет, но не пробирается в сердца? Что за беспокойство? Что за чувство? Где определение его? Книги нам не скажут ничего — вот и проявление искусства! В роли летописца и отца, то ли умудрён, а то ль рассеян, в опыте не дремлющем остёр, ты не отрекался от России, ныне превратившейся в костёр, снежный ли, осенний ли — кто знает! — стёкла ли двойные замерзают, дети ли, как водится, растут, время ли распахивает двери, в грустный зазывая институт, где, что ни мгновение, то потери — что тебе! Хранитель языка, ты не предавал его — отселе вынесший листву и облака, рвение воинственное к цели, смешанную кровь его и плоть, жив ты — и хранит тебя Господь!

Посреди разборчивых запросов Александр Григорьевич Морозов жив и существует, как всегда, преданно, светло и богородато, — даты, промелькнувшие когда-то, дороги теперь, как никогда, дружбою устойчивой и чудной, праведной, живой и многотрудной, — свидетелься бы, что ли, Александр! Да не так поспешно, как на юге, где растенья странны и упруги, не поймёшь, где мир, где олеандр, и, однако, всё многоголосье зиждется на крепнущем вопросе: что же нас с тобою занесло в милую Тавриду? Не бывало, чтобы дружба просто миновала! Ничего быльём не поросло! Что теперь жильё твоё? Что Алла, ласкова, красива и умна. словом, настоящая жена? Чаем угостила бы опять! Что твои причуды? поученья? рукописи? гости? увлеченья? Вижу я, всего не сосчитать! Встретимся по-прежнему опять — тут и разговоры, и зима. Жди меня — соскучился весьма!..)

Весьма. Уж точно, весьма.

И зима. Без разговоров.

Были. Но — наступило как бы время.

А тогда, в начале семидесятых, — горел свет в наших окнах.

Тогда — были дружбы, общение было.

И духовности жаркий огонь всех нас разом в ночи согревал.

Тогда — вспыхивал над столицей, переливался в темноте своими гранями, сиял во мгле бесчасья магический кристалл.

И многое сквозь него — уже тогда я с грустью различал.

Нет Империи. Дружбы в разброде. Нет Египта советского. Нет многих прежних друзей. Мир — на грани, за которую — всё-таки свет.

А тогда, в пору «Отзвуков праздников», у себя, в глуши, в провинции, в одиночестве, — как я рвался к вам, бывшие друзья! Как ждал я встречи с вами! Представлял себе: вот приеду, появлюсь наконец, с новой книгой. Увижу всех. Голоса ваши услышу. Ждал — чего? Что — уже прозревал?

(...Ах, дождусь ли пламенного дня, среди московских будучи ленинцев? — навестит, наверное, меня Леонард Евгеньевич Данильцев, — зазвонит в квартире телефон, зашуршат, как слухи, манускрипты, — и тогда-то новый Манефон сочинит историю Египта.)

Вот и пишу свою книгу теперь.

Потому что — пора пришла.

Зимой девяносто четвёртого, в пронизанном ветрами феврале, коротали мы дни с Леонардом у меня в Коктебеле.

Мой закадычный друг, эрдель-терьер Ишка, разумеется, был рядом. С Леонардом он ладил. Знал: свой человек.

Леонард с ним, бывало, беседовал. Леонард ему говорил:

— Ты, Ишка, умный! Ты сам умеешь двери открывать!

Ишка слушал — и принимал это как должное.

Было не то чтобы холодно — ветрено, знобко.

Я-то — привык уже. Может, и закалился даже. И не мудрено — три зимы здесь провёл. Киммерийского опыта поднабрался.

Леонард — мёрзнул. Кутался в шарф. Надевал на себя побольше тёплых вещей. Кряхтел, вздыхал. Говорил с грустью:

— Я уже старик!

На что я тут же возражал:

— Ну какой ты старик! Ничего подобного. Ты ещё — ого-го какой крепкий. Живи здесь, у меня, подольше. Хочешь — отдыхай. Хочешь — работай, пиши.

А у самого сердце сжималось.

Леонард уже давно был болен. И прекрасно знал, что у него за болезнь. Чем был он крепок — так это духом. Физически же он чувствовал ежесекундно, что разрушается. Он держался за жизнь. Боролся с болезнью. Периодически одерживал он победы — и это его окрыляло. Тогда он молодел, светлел. Но состояние порой и ухудшалось. И тогда видно было, что приходится ему несладко, да просто туго. И смотрел он куда-то вперёд перед собою, будто там отчётливо различал неизбежное.

Тяжело мне было видеть страдающего друга.

Ни единой жалобы не слышал я от него. Просто — ясное осознание того, что есть, что с ним стряслось, только и всего.

Дух его был — свет. Свет озарял — путь.

Леонард привёз с собой свои рукописи. Пытался иногда работать. Что-то записывал, низко, всем корпусом, склоняясь над листками бумаги, постепенно заполняемыми его крепким, отчётливым почерком, нависая над столом широкими плечами, ещё сильными руками, словно паря, как большая, нахохленная, полураскрывшая крылья птица, скорее всего — «как больной орёл».

Подолгу смотрел за окно, на Святую гору.

Вдруг резко поднимался, подходил ко мне — и, пристально глядя мне в глаза своими, несколько выпуклыми, усталыми, просветлёнными, голубыми, но с белесоватым налётом, и от этого казавшимися совершенно седыми, умнейшими глазами, — глазами духа, глазами света, — говорил:

— Володя, пиши! Пиши воспоминания. Ты очень многое знаешь. Пиши книгу об этом. Обо всех. О том — нашем — времени. Пиши несколько книг. Но только работай, работай! Пока голова у тебя ясная, пока мозг светел — пиши! Возраст такой

у тебя — в самый раз это сделать. Потом — кто его знает? Потом и поздно бывает. Лучше — теперь. Прямо сейчас. Я знаю: ты напишешь. А кто ещё об этом сумеет написать? Прошу тебя, пиши! Я верю: ты — сумеешь, ты — напишешь. Пиши. Пожалуйста, пиши, Володя!..

Обещал я ему — написать эту книгу.

Слово дал я тогда — рассказать о былом.

III

...Так, искони по наитию, по чутью, ведущему к свету, за которым встаёт сияние новых форм и гармоний новых,

вдохновенно — и на века, за внешними очертаниями, за каким-то общим, клубящимся вдалеке, томящим, зовущим к небесам, астральным, начальным, речевым, ключевым, тревожным, приворотным, невыразимым, неизбежным, необходимым,

или, в тон ему, зазеркальным, запредельным, за гранью, зримой или слышимой, музыкальным, с ворожкой неповторимой, с тем пространством, в котором время ветерком просквозит по скулам, чтобы всех примирить со всеми, всеобъемлющим, светлым гулом,

за совокупностью множества компонентов, штрихов, деталей, черт, акцентов и характерных, только тайне присущих, примет,

за всей роящейся, реющей, набухающей, разрастающейся, сплетающейся в единство туманное, хаотичностью некоей прочной, защитной, странной, весьма условной, но реальной, меж тем, действительно существующей, оболочки, сознательно, мозаично, ревниво, настороже находясь постоянно, бессонно, пребывая в том состоянии, за которым начнётся что-то небывалое, не такое, как привыкли думать, неожиданное, ни на что не похожее, свежее, даже, может, неповторимое, (проверяющее на прочность очевидцев и знатоков, если впрямь таковые найдутся, чтоб судить потом да рядить, что же было такое создано, дабы разом обескуражить, оптом, всех, без изъятий, умников и умельцев больших подводить, под любое создание, Божие ли, человеческое ли, не всё ли им равно, троглодитам, нужную для чего-то, бредовую базу, позабыв об этом спросить у Вергилия или у Данта), неустанно, без объяснений, что к чему, зная правду свою, развёрнутую метафорой обволакивающей, хранящей ядро матерьяльное сути,

сразу же, всем существом своим, и слыша и прозревая одновременно, как водится в эмпириях наших, (а с ними вместе в яви земной, достаточно вам знакомой, надеюсь, читатели вероятные и толкователи, всё привычное вам раздвигающего занавесками на окне сочинения моего, — перед вами оно), и звучащий и светящийся — из сердцевины по-младенчески ждущего имени собственного явления — внутренний, безукоризненно верный, живучий образ,

нарекали, наверное, вслед за бесстрашными предками нашими, все решительно прирождённые, (только так и никак иначе, только так, потому что в искусстве, как и в области путешествий, по земному шару и в космосе, и в любом измеренье и времени, состоянье любом и пространстве, по-другому и не бывает), открыватели ранее бывшего лишь фантазиями, неведомого —

в нашем-то, вот уж действительно загадочном и представляющем собою, (как ни крути, как ни ворчи на него, в особенности когда устанешь, или в хандре пребываешь, или в тоску попадаешь, или в отчаянье, или находишься где-то вдали от всех и всего, как я, например, годами, поглядывая, в одиночестве и отшельничестве своём, на Святую гору, встающую, за окном, за холмом, впереди, высокую, выше всех окрестных гор, монолитную, поросшую лесом, подолгу, до ноября, зелёным, а потом багровеющим, алым, золотым, воздушным, сквозным, над которым столько простора в небе, ясном ли, мгlistом ли, всяком, из каприза ли, из-за погоды ли, ну а может, и под настроение, как сейчас у меня, когда в доме тихо, пустынно, и свет в окна входит, на юг выходящие, словно Бах, Иоганн Себастьян, мой учитель и собеседник многолетний, в осточертевшем, как-то вкривь, нелепо сидящем на его голове, переполненной дивной музыкой сфер, парике, и срывает этот парик, и швыряет его подальше, с удовольствием сопровождая, для

надёжности, крепким словом, и садится за фортепьяно, и, по-медлив, играть начинает, и тогда из-под пальцев его, узловатых, крепких, натруженных, как-то просто и в тоже время, несомненно, чудом, как в сказке иль во сне, возникают мелодии, и звучат, и встают, как дети многочисленные его, счёт которым давно ведётся на десятки, так уж выходит, ничего не попишешь, наверное, что же делать, планида такая, и встают помаленьку на ноги, и растут, и потом разбредаются, кто куда, кто за кем, по комнатам, по двору, за калитку, на улицу, к морю, в горы, куда-то совсем далеко, не видать отсюда, и мелодии разрастаются, становясь постепенно явными световыми кругами, сгустками, фосфорическими шарами, неизведанными планетами, недоступными непосвящённым фантастическими, возможно, и, скорее всего, мистическими, для кого-нибудь и лирическими, но, в основе своей, трагическими, в полной мере полифоническими, честь и слава творцу, мирами, за которыми вижу я, как в бинокль, откуда-то взявшийся, не иначе как по волшебству, ну а может быть, и сложившийся из мелодий светящихся баховских, прозревающих всё, что может прозревать и предвидеть музыка, проникающих в суть явлений, в глубь событий земных, вдалеке, посреди бездомниц былых, на московских улицах мрачных, к человечеству равнодушных, самого себя, молодого, с головой разбитой, в крови, пробирающегося куда-то, по колено в снегу, зимой, в лютый холод, сквозь боль, вперёд, и мечтающего хоть где-нибудь отдышаться, прийти в себя, только где, да кто его знает, при заведомом изобилии разномастных знакомых столичных днём с огнём не найдёшь такого, чтобы выручил, чтобы рядом побыл, пусть и недолго, но всё-таки побыл рядом, хоть одного, и приходится, как и всегда, из упрямства, вставать, подниматься, проявлять, в который уж раз, волю, снова терпеть, идти неизвестно куда, зачем-то ждать чего-то, чего, кто знает, уж наверное, лучших времён, бормоча какие-то строки тех, давнишних, своих

стихов, замечая, как возникают, из разрозненных строк, мелодии, поднимаясь и разрастаясь, непрерывно звуча, светясь и уже становясь врачующей и сознание, вдруг прояснившееся, и разбитую кем-то неведомым, впрочем, ясно, кем именно, голову, и мою смятенную душу, настоящей, живучей, искренней, личной, кровной, спасительной музыкой, той, с которой надо мне выстоять и на этот раз, той, с которой суждено мне и в будущем быть, между тем, как Бах, превращаясь окончательно в свет, кивал мне головою седой своей, не прощаясь и обещая навещать меня, и звучала жизнь сама, и судьба сама с ней звучала, и веял с гор ветер южный, и реял хор, поднебесный, незримый, дар полнозвучный, сгущая в шар день безоблачный, без химер, строй высокий, музыка сфер), совершенное произведение животворного, благодатного искусства, конечно же, высших, вселенских, великих сил, хотя и несколько всё же, со временем, поутратившем ныне свою первозданную целостность и несказанную, ведическую красоту, исключительно по вине самих людей, столь досадно и по-варварски грубо нарушивших дарованную не случайно им гармонию, но, тем не менее, прекрасном ещё и способном к возрождению, верю я, мире, —

с чистым, всегда возвышающим душу, крылатую, всё же, совершенно детским восторгом, испытывая ни с чем не сравнимое, ученическое, изначально, блаженство познания и немалым трудом для ума отзывающуюся в дальнейшем радость, радость-весть, радость-власть, радость-честь, радость-страсть, осмысления того, что, всем бедам прежним вопреки, всем сомненьям грешным, страданиям всем неизбежным, наконец-то произошло, что, слава Богу, свершилось, называли они в своём безудержном и безоглядном порыве, в упрямом, решительном и отважном своём прорыве к истине, острова и целые материки, горы и с техникой связанные изобретения, реки и великие книги.

Слово, ставшее делом. Делом.

То есть — прежде всего, подчёркиваю сознательно это, — работой, ответственной и нелёгкой, аналогов не имеющей ни-где, каждодневной и сложной.

Без накопленных впрок отгулов и законных своих выход-ных.

Без желанных, таких долгожданных, долгих, летних, лучше всего, чтобы к морю вырваться вновь из больших городов, от-пусков.

Без откровенного или же умело и ловко скрываемого, вир-туозного даже, и так бывало, сплошь артистичного, возводи-мого кое-кем в ранг нешуточной доблести, что ли, повального, карнавального, эпохального, словом, лодырничанья.

Без оплаченных, по трудам, по чинам, по заслугам, совет-скими, деревянными пусть, да всё-таки с покупательною спо-собностью несомненной, реальной, рублями, очень кстати всегда приходившихся обычно, всем людям положенных, по закону, больничных листов.

Без всяких, даже малейших, из снисхождения, скидок — на возраст, на обстоятельства, на неопытность, на усталость, на рассеянность, на скитания, на любовь, — да на что угодно.

Ни поблажек, ни поощрений, ни продыха, — ничегошеньки.

Везде, куда ни взгляни, куда ни шагни, кого ни вспомни только из прежних героев, одно сплошное, вопросов не вызы-вавшее, в объяснениях не нуждавшееся, принимавшееся, как есть, на веру, надежду вселявшее в наши души на что-то луч-шее в грядущем, впрямь безграничное, грозное, отнюдь не те-пличное, категоричное «без».

(Неразрывность дали и боли.)

Одержимость повальная, что ли?

Да, представьте себе, одержимость.

(В одержимости — постижимость.

Воли. Доли её. Пусть — сотой.)

И не чем-нибудь, а работой.

Работой — очень серьёзной, порою слишком серьёзной.

В известном смысле — признаться следует — ригористичной.

Как правило, сплошь рискованной.

Зачастую — ещё и опасной.

На пределе всех наших, достаточно, как мечталось, немалых, и всё-таки, если честно, довольно скромных, человеческих, данных природой от рождения каждому, больше или меньше, но, тем не менее, обусловленных чем-то заранее, ограниченных всё же возможностей.

На грани, — острейшей, ранящей, манящей к себе, — вероятного.

На износ, — ничего не попишешь, так уж вышло, — на выживание.

По старой, магическим образом вкладывающей в твою руку, совсем непривычную к боям, отменно тяжёлый меч обоюдоострый, — которым надо не просто махать, хоть и с грозным видом, да слишком уж бестолково, — но ещё и рубить, — жестокой, к сожалению, пусть и оправданной, математически чёткой формуле затянувшегося противостояния грозного, с вопросом немаловажным, вернее, жизненно важным, для каждого: кто кого?

По собственным — кто их, скажите, и когда создавал? — а ведь были, соблюдались упрямо и свято, помогали выжить, — законам.

По заданным, видно, самим временем, тем, отшумевшим — таким, о каком и слыхом не слыхивали, и даже приблизительного представления не имели в других, свободных, как хотелось бы верить, странах, где-то там, в непонятном, смутном и труднообразимом, призывающем еле видным сквозь бес-

часье маячным светом нас, отчаянных фантазёров и романтиков, далеке, во все стороны, врассыпную, разбегающихся от наших, злополучных, денно и ночью охраняемых, неприступных, словно крепости чередой понастроили там, границ, от встающего на пути всевозможных дурных влияний на советского, без изъянов, образцового человека, в самом деле непроницаемого, железного, прочного занавеса, прочнее некуда просто, быть не может его надёжнее, непреложнее, глуше, — нормам.

Работа — без всякой риторики говорю — не за страх, а за совесть. Так мы её понимали, так — её выполняли, так разрасталась она. (Благо, теперь-то ясна.)

Со своим, особым, углом зрения на действительность. Этот угол зрения, кстати, постепенно, пусть и не сразу, но упрямо, неумолимо, высветляя самое главное, укрупняя наиважнейшее, неуклонно, из года в год, обостряясь, определял, на поверку, почти всё. Или даже — чего там скромничать, если правды не скроешь! — всё. Что же касается нашей, отечественной, действительности, то она, хитрющая бестия, в коварстве давно изошрённая, умеющая любить лишь тех, кто ей был угоден, кто ей верно, рабски служил, но куда охотней и чаще умеющая губить всех, кто был ей опасен или же нежелателен, просто не вписывался, по причине своей непохожести на шаблонные схемы, в неё, буквально ежесекундно, контролируя всех и всё, всё учитывая, давала о себе, всевидящей, знать, — приходилось тогда поневоле быть годами настороже, начеку, напрягаться и вглядываться, вырабатывать, из нежелания пропадать с концами, в себе какое-то, личное, в каждом случае неповторимое, противоядие, что ли, всякую, пусть и наивную, но возможную всё же, нет, действенную и спасительную защиту, — иначе ведь пропадёшь, сожрут без остатка, с костями запросто, и не подавятся, и не поморщатся даже, к людоедству им не привыкать, потому-то и допускать этого, согласитесь, никак было нам нельзя.

Со своими, понятно, приёмами и бесчисленными привычками. О таковых, полагаю, написать можно целый трактат, — и то, небось, потрудившись, уже написав его, вроде бы, именно вроде бы, потому что всего не охватишь ни взглядом, ни словом, и высказавшись откровенно и в полной мере, неминуемо что-нибудь стоящее глядишь да и вспомнишь ещё, — а помимо всего эти самые приёмы и эти привычки были в прежние годы у каждого свои собственные, несмотря на некоторую, всего лишь, — поскольку была среда у нас, единая, целостная, отзывчивая, — их общность.

Со своею собственной, рыцарственной, выработанной, замечу, далеко не случайно, сознательно, вместе с довольно скоро накопленным, жизненным опытом, именно цеховой, по-хо-рошему, по-старинному, честь по чести, рабочей, — этикой.

Что ни день, что ни год, что ни взгляд, что ни шаг — сплошные из ряда вон выходящие, экстремальные, фронтовые, очень похоже, сложноватые, в общем, условия.

К ним быстро все принаравливались, относились к ним, словно к данности: ну и что с того, что они, каковы уж есть, — неизменны, что они, такие, родимые, то есть явь, да и всё, — неизбежны?

Потому что мы не в бирюльки играли, не дурака валяли, не самолюбие своё, драгоценное, тешили.

Потому что знали свою правоту — очень твёрдо знали, назубок, всем своим существом, каждой клеточкой, самой малой, каждым вздохом и словом каждым, каждый миг, — и умом, и хребтом.

Потому что заняты были, мой читатель возможный, — работой.

Не по прихоти, даме капризной, всегда кратковременной, даже мимолётной, довольно быстро, как-то разом, надоедаю-

щей и всю себя, без остатка, исчерпывающей напрочь, ничего никогда никому почему-то не оставляющей для развития светлой идеи, впрок, на будущее, на потом, а, конечно же, по призванию — самому что ни на есть подлинному, высокому, — а это уже не шуточки.

Не по странному принуждению, или — или, а по приязни. Вот это в самую точку. Как раз приязнь, утверждаю, всё обычно встарь и решала. Первоначальный импульс многое некогда значил. От него потом, чуть позднее, протягивалась незримая духовная нить — в будущее. Он давал главный, точный, длительный — сквозь бесчашье определяющий музыкальный, ежели так можно выразиться теперь, многотемный и многосмысленный, несомненно, строй нашей жизни многосложной, — чистейший звук. Из него потом, по традиции устоявшейся, и разрасталась небывалая полифония наших славных дружб и трудов.

Не по благу, а по тому судьбоносному, как приходится констатировать нынче, выбору, который делал когда-то, неминуемо, сам решая, как ему поступить, который обязан был просто сделать однажды каждый из нас, и по тому отбору, чрезвычайно, кстати, придирчивому и максимально строгому, который производил из нашей весьма пёстрой братии — Некто, Видящий Всё Наперёд.

Что же было в нас, молодых и не очень, значительно старше и по возрасту, и по немалому, с этим возрастом накрепко связанному, с кровью давшемуся и с потом, потому и трагичному, опыту, что же было, во всех нас, гражданах грандиозной и бестолковой, горячо любимой и всё же страшноватой, режимной страны, в нас, какой-нибудь горстке, всего-то, правдолюбцев, единомышленников, по сравнению с остальными, с теми, коих не счесть, с другими, тоже гражданами, советскими, правды жаждавшими желанной, справедливости, жизни достойной

и свободы, такое особенное, чем разительно, десятилетиями отличались мы, почему-то, по своей ведь воле, избравшие самиздат средой обитания, светлой областью духа, от прочих, всех вокруг, современников наших?

Что, скажите, соединило в нас личный выбор и строгий отбор?

Что сгустило в единое целое — горение и сгорание?

Ох, самиздат, самиздат!

Свеча, когда-то зажжённая, не с одной стороны, как положено, — сразу с двух различных сторон.

Я, повидавший столько на веку своём, что, пожалуй, с лихвой хватило бы этого на десятерых, никак не меньше, а то и больше, людей, хотя бы отчасти похожих и на меня, и на моих соратников, — (но где их найдёшь, похожих? — их нет и в помине, их нет нигде, да и быть не может, поскольку все мы, тогдашние, вся наша когорта, среда отзывчивая, вся братия божественная, вся плеяда, звёздная сплошь, наверное, навеки неповторимы), — думаю, в затянувшемся отшельничестве своём находясь вдали от столицы и всех, с междувременьем связанных, новаций и метаморфоз, происходящих в ней и с нею, но, тем не менее, всё, что было со всеми нами встарь, когда-то, давным-давно, помня лучше других, отчётливо, каждый час, не напрасно прожитый, свой, в каком-то подобье мора, с крайне редкими, драгоценными для души и для сердца, просветами, в ту эпоху, с которой не было панибратства, дружбы, приятельства, но в которой пришлось нам жить, да и выжить, хотя бы мне, например, поскольку спасало только творчество, и спасает, и в грядущем, верю, спасёт, потому что лишь с ним я жив, с ним силен и лишь им просветлён, — думаю, здесь, в Киммерии, всё чаще, всё дольше, сквозь время свободной перемещаясь, теперь, в изменившемся мире, трезво, устало,

всерьёз, больше того, я, последний человек из легенды, ну, пусть один из последних, по пальцам нас можно пересчитать, убеждён, что нас, тех, давнишних, вдохновенных, неугомонных, тогда, в стародавние годы, представляющиеся, как правило, молодым совсем поколениям, да хотя бы моим дочерям, нереальными, невозможными, да и только, невообразимыми, отчасти, во всяком случае, зазеркальными, нас, тогда тоже ищущих путь свой верный, молодых, неустанно жаждущих деятельности, полезной и достойной, просто, в какой-то счастливый день, видно — свыше, одарили этой работой — добровольной, тяжёлой, большой.

Так сказать, в рабочем порядке.

Дар — был щедрым.

Дар был — рабочим.

Глядя в корень, как и положено, и по-русски, но не на теперешнем новоязе дурном выражаясь, заняты были мы, все, поголовно, по горло, сыты мы были по горло — и не чем-нибудь там, не дурью, не блажью, не бестолковщиной, — а трудом, господом, трудом.



— Старик, написал ты всё правильно! — сказал бы сегодня мне Зверев. — Твой самиздат — и давний, и нынешний, — существует. Как и мой, в картинках, ну как его мне назвать, пусть будет — художественный. Или, может, изобразительный. Всё мы сами всегда создавали. И тебя вот — не издавали. А меня — выставляли, но изредка, так что это почти не в счёт. Хорошо я тебя понимаю. И сейчас ты к своим писаниям относишься, словно к прежнему, твоему, заметь, твоему, то есть личному самиздату. Просто — пишешь ты, и стихи, и прозу свою, ты пишешь, потому что к этому — призван. Как и я рисовать был — призван. И что там будет потом — издадут или выставят — нам

думать об этом некогда. Что-нибудь хорошее — будет. Так я думаю. Так считаю. Заслужили это мы оба. Заслужили — трудами нашими. И за это — воздастся нам. И о нас будут помнить, поверь мне. Потому что в том, что мы создали — правота, и твоя, и моя. Дух и свет. И — дорога в грядущее. После всех трагедий и драм будем жить и работать — и там!..

Так и вижу его — серьёзного, с ясным светом в карих глазах. И глаза его вижу — умные, прозорливые, но — в слезах...



Целый день — размышлений рой.

Вспоминаю былые годы.

Устаю, бывает, порой.

Но держусь. Ведь вдоволь — свободы.

И затворничество моё — мне на пользу. Вдали от бреда и хаоса житьё-бытьё мне сулит в грядущем — победу.

На Джойсе — придётся вновь повторить выражение это — свет клином — нездешний свет — не сошёлся — и не сходиллся.

И — на Андрее Белом.

И — на других новаторах.

И — на писателях, более традиционных, что ли.

Свет сейчас — озаряет меня.

И в ночи, и в течение дня.

Свет — со мной. Пускай и осенний.

Свет открытий и воскресений.

Вот и в книге моей — он есть.

Речи выжившей — власть и весть.

Свет — над сонмом былых тревог.

Свет. Спасительный — видит Бог.



— Да что они понимают, замухрышки эти, в искусстве! — однажды воскликнул Зверев. — Не дано им, вот что скажу я убе-

ждённо вполне, — понимать. Притворяются, что понимают. Имитируют понимание. А искусство — это — ну как объяснить поточнее? — чудо. Ну откуда оно берётся? Почему у одних — оно есть, а других оно словно обходит стороной всегда? Почему? Потому что искусство — единство земной, так я думаю, истины — и небесной извечной правды. Истина — в опыте нашем. А правда — в даре, который дан, как известно, — свыше. Тот, кто сумеет это в творчестве соединить — тот создаёт искусство. К тому же следует помнить, что искусство — не блажь, а труд. И причём — огромный. Такой, что его ещё надо выдерживать. Тот, кто выдержит — победит. Вот что я говорю сейчас. И могу, если это надо, подписаться под каждым словом.

Я внимательно слушал его.

Мы снова были с ним в Свиблове, в переполненном страхами Гиблове, как его называл обычно в прежние годы Зверев.

Квартира, весьма унылая и какая-то беспросветная, была частично заполнена простейшей старую мебелью, но всё равно казалась почему-то совсем пустой.

За окном — тоскливый пейзаж городской: вереница домов окрестных, малоприятных с виду, без всяких примет и отличий, почти одинаковых — просто коробки бетонные, серые или белёсые, приспособленные для жилья.

Шаткий стол. Два-три стула. Тахта. Шкаф. И сверху на нём, горой преизрядной, — работы зверевские.

Вот и вся обстановка гибловская.

Зверев резко поднялся с места. Походил немного по комнате. И — продолжил свой монолог.

— Вот я, например. Какая жизнь у меня? Скажу. Тяжёлая. Так уж вышло. Рисую — с детства. Всегда, сколько помню себя, рисовал. И сколько моих картинок — погибло, пропало! Не счесть! Мать моими этюдами маслом, бывало, печку топила. Сколько было их разбазарено, разбросано по каким-то полузабытым местам! Где их теперь искать? Да и надо ли их искать?

И ничего, стерпел все эти безобразия. Снова и снова — работал. Считают, что сделал я тысяч тридцать картинок. Чушь! Сделал я тысяч триста, наверное. Никогда я их не считал. Рисовал — где придётся, частенько. Чем придётся. На чём придётся. Да какая разница мне — где, и чем, и на чём рисовать! Я художник. И, значит, могу рисовать тем, что есть под рукой. Были б только — подъём, полёт. Вдохновение. Так называют знатоки состояние это. Я, конечно, не возражаю. Вдохновение? Пусть и так. Иногда — в газете какой-нибудь фотографию вдруг увижу, оттолкнусь от неё — и рисую. Возникает — изображение. Получается — преображение. Так вот, вроде из ничего. А на деле — считай, волшебство. Иногда — рисую по памяти. Иногда — рисую с натуры. Иногда — в музеи хожу, для развития, для культуры. Мне по нраву — любая техника. А не только одна акварель. И бывает — новую технику я придумываю, на ходу, вдруг, внезапно, под настроение. Так что я, выходит, художник — многогранный, универсальный. Есть фантазия. Есть кураж. Есть талант. Всё это — при мне. Только помнить советую всем: рисование — это работа. Например, акварель. Казалось бы, это совсем легко. Два-три акцента, пробелы, чтобы воздух в работе был. Вот и всё. Но попробует пусть кто-нибудь это сделать так, как один я умею делать! Чтоб работа — долго жила. Чтоб того, кого рисовал я, в самом деле — увековечить! Так что всё это — ох, как непросто! И, конечно же, хорошо, что — непросто. Поскольку так — интереснее жить и работать. И поэтому — необходимо и пожить ещё, и поработать. Вот мой нынешний лозунг. Хорэ!..

И я ощутил тогда, что время свободно раздвинулось, разлилось широко в пространстве, слилось с ним в единое целое, — и там, далеко, высоко, за окном, за бетонными стенами, за всеми домами окрестными, в ненастном, сумрачном небе, над эпохой нашей грозною, сквозь дни её и года, — возникло сияние звёздное, чтоб остаться там — навсегда...



Отказаться от песенной страсти? — что за мысли и что за напасти! — птицы свищут ещё за окном, то в небесном, а то и в земном житии своём чувствуя время и пространство, что вместе со всеми, как о них ни суди, ни ряди — как дыханье и сердце в груди.

Ведь становятся впрямь дорогими с именами и днями бла-
гими, с этим племенем лиственным край, с этим пламенем ад
или рай, где бредём, в темноте иль при свете, за такое порою
в ответе, что продлит этот путь, этот лад, где грядущему всё-та-
ки рад.

В последние годы, в затворничестве своём, всё больше гово-
рю я с самим собою, нежели с кем-нибудь посторонним.

Нет, не раздваиваюсь. Наоборот, становлюсь как-то цель-
нее. Я это чувствую.

Спрашиваю — себя. Спрашиваю — с себя. Строго спраши-
ваю.

Стараюсь нести и дальше ту, с детства, песенную эстафету.

Стараюсь, по своим возможностям, продлить дыхание
речи — а значит, и дыхание песен, и жизнь песен. И не про-
сто — стараюсь.

Я работаю. Живу этим. Куда мне — без этого? Как и зачем
тогда существовать?

Нет, уж коли призван — то, будь любезен, пой.

Вот и пою — так же, как более полувека тому назад, пою —
выражая тем самым нынешние свои состояния, себя самого —
выражая.

Где песня твоя, скажи? — покуда луна в зените, узлами наи-
тя нити чутья с житием свяжи. Бросаясь в глаза, как встарь,
пускай они в небе выются, с моим забытьём сольются, пробьют-
ся порой сквозь хмарь. Вслепую ли ты сомкнёшь литые разлу-

ки звенья? — утраченные мгновенья шутя ли теперь вернёшь? Так, значит, ещё кружи над глушью своей, над блажью, прозрев сквозь чужбину вражью блаженные рубежи.

Всё — в моих книгах. В книгах стихов и прозы. Их много, этих книг. И все эти книги — с изрядным запозданием изданные, а то и вовсе не изданные, до сих пор, несмотря на давнишнюю мою известность в отечестве и за рубежом, а также — вопреки всем переменам в жизни общества, на проверку оказавшимся просто играми переменивших обличье властей и спевшихся с ними оглоедов и шустрых ребятишек всех мастей, что само по себе даже не удивительно, поскольку слишком уж много мутной воды появилось вдруг на поверхности, на родной, обжитой нашей почве, и в ней-то, в мутной водиче, и ловится кое-кем рыбка, преимущественно золотая, и нет этим рыбакам-браконьерам никакого дела до искусства, до поэзии, и мутны от всеобщей халявности и разрухи их бесстыдные, алчные, ослотившиеся от осознания безнаказанности, ускользающие глаза, и звучит в их ушах ошалелой музыкой звон — золотой, разумеется, звон монет, и отнюдь не малиновый, и тем более — не набатный, — до поры, смею думать, до времени, — потому-то и все эти книги, повторяю сознательно, даже больше — подчёркиваю, и в советские горькие годы, и теперь, посреди междвувеменя, в разном возрасте, в разных условиях, прозябая и выживая, воскресая в огне, продлевая дыхание речи, восставая из бед и упрямо выстаивая на пути юдольном своём, чтобы в путь уходить духовный, — эти книги, с кровью мне давшие, долговечные, — я написал. Можно наугад открывать их — и всегда что-нибудь важное для себя и нужное для настроения находишь.



...На то и Париж есть на свете, чтобы в нём обязательно встретить, хоть раз оказавшись там, знакомого человека.

И даже не одного, а многих знакомых. Со мною именно так всё и было.

Целых тридцать три года назад. Как давно! И недавно, вроде бы. Как вчера. В декабре, в Париже. Незадолго до Рождества.

Как же нынче не вспомнить Париж!..

Мне снится Париж на заре в декабре, рождественский гомон в сквозном серебре, раскованный рокот, разомкнутый глас, — как будто бы это я видел не раз. Прапамять! Откуда же это взялось? От прежних ли дней? от седых ли волос? — распластанным древом, живучим зрачком, — как будто бы с этим давно я знаком. Не просто виденье — но в глубь или в даль, как будто над ним нарастает печаль, — и небо над ним вырастает в окне, и этого нимба довольно вполне. Крепись же, пришелец, — пора уезжать — но кто же захочет тебя провожать, когда наваждение расплётнуто вдоль, а с ним наслаждение — и всё-таки боль! Сдержи, чужестранец, скупую слезу, сощурясь, гляди на витую лозу — дымок сигаретный свернётся в кольцо, и кто-то над миром поднимет лицо. Пойми же, скиталец, что некуда плыть, что тем, кем рождён ты, везде тебе слыть, где ждут не того, что тебя сохранит, что сызмала душу с землею роднит.

И то ведь сказать — Париж! Лютеция. Стольный град. Корабль, над Сеной плывущий. Готической розы шипы. Виньетки и витражи. Но прежде всего — стены. От башни до башни звук доходит без всяких мук, за светом пристроясь, вдруг срываясь, и — с уст? из рук? — в лиловый врываясь круг, скрываясь внутри, но вот растерянно возвращаясь и радуясь возвращенью по-птичьи, — а там и сон придёт из былых времён и молча уйдёт, чтоб нам вздохнуть по нему, печалась о чём-то, что нам дано, как взгляд из глуши в окно, — и всё же привычной здесь молчать, воскрешая — образ, из множества ощущений видение

создавая, и всё-таки лучше — так, всегда для души спокойней — быть в яви своей таким, как есть, собою самим, чем в мареве растворяться, достойней намного — жить по прави, как предки наши, чем, с навью играя в прятки, терять естество своё, — о нет, не для нас всё это! — пусть всё же Париж хорош — и был я в мираж сей вхож.

Я приехал в Париж — случайно. Причём не один приехал, а с большой, шумной, пёстрой группой молодых, заводных, напористых, шустрых, очень самоуверенных, невероятно активных, достаточно наглых, таких, кому и море, наверное, по колено, подумаешь — море, кому и сам чёрт не брат, предприимчивых, деловитых, выше всякой нормы загруженных всевозможной аппаратурой, и не просто практичных, а хлеще, с удивительным для меня, может — кастовым, элитарным, ну а может, и просто новым, для меня, затворника давнего, непривычным, поскольку я, видно, вправду отстал от жизни, междувременным, возрастающим с каждым часом и днём, сомнением, какбывременных телевизионщиков, намеренных почему-то снимать, непременно — в Париже, эпизоды для фильма о СМОГе.

Меня они, молодые, — уговорили участвовать в этом, будущем, невероятном, уникальном и вроде возможном, после тусклых советских лет, очевидно — сенсационном, как уже обещалось ими, полнометражном фильме.

Они обещали вывезти меня, вместе с ними, в Париж.

Как реликт, наверное. Или — связующее звено.

Нужен был я им для того, чтоб водить их, ну впрямь, как Вергилий, по своим, весьма многочисленным, раньше жившим в Москве и в Питере, а теперь живущим в Париже, приятелям и знакомым.

Очевидно, подразумевалось, что вот, привожу я их, всю группу телевизионщиков, по такому-то, мне, а не им, хорошо извест-

ному адресу, звоню, открывается дверь, — и я: «Ну, здравствуй, Олег!» — или: «Ну, здравствуй, Лёша!» — наконец-то, ликуя, встречаюсь, после долгой, тяжёлой разлуки, с каким-нибудь очередным художником или поэтом, — и все, гурьбою, — за мной, — тоже входят, и сразу снимают всю сцену встречи друзей, затем — понятно, беседы о том да о сём, — а потом, в Москве, при работе над фильмом, смонтируется всё это, урежется, обстругается, — и что-то, глядишь, и войдёт в задуманный ими фильм — о СМОГе, о круге СМОГа, в России и за границей.

И они действительно вывезли меня с собою — в Париж.

Невероятно быстро почему-то, видать — по знакомству, оформили заграничные, для каждого, паспорта.

В Шереметьеве мы застряли надолго, на целую вечность. Вылет наш всё время откладывался. Рейс задерживали и задерживали. Всем уж было невмоготу. Слились часы ожидания в одно, с безысходностью грустной, сплошное туманное месиво. Народ роптал. Но потом стал вести себя побойчее. Всеобщее возмущение постепенно переросло в решительный, дружный протест. Кое-кто собирался уже, от отчаяния, бунтовать, напряжение нарастало. Уже призывали к ответу администрацию аэропорта. Уже начались и крики, и отчётливые призывы взять самолёт штурмом. Уже запахло в несвежем аэропортовском воздухе настоящим народным бунтом. Пассажиры митинговали. Телевизионщики шустрые, для пущей, понятно, важности, для остратки, делали вид, что снимают аэропортовские волнения на свои большие, тяжёлые камеры. Долго, слишком уж долго мы ждали вылета. И, наконец, нас повезли к самолёту. И вот уже мы в самолёте. Сидим в салоне. Ждём взлёта.

До самой последней секунды не верил я, что меня, так вот просто, без всяких придиорок, выпустят за границу.

Всё казалось, что всем разрешат улететь, а меня — непременно задержат: а вы, мол, куда? Назад! И — оставят в Москве.

Велика была, видно, в мозгу боль и тяжесть минувших лет.

Но меня никто не задерживал.

Даже странно. Неужто выпускают?

Самолёт взлетел. Я сидел в небывалом оцепененье — и молчал. Мне ещё не верилось, но уже и верилось, ибо оторвались мы от земли и летели в зимнем пространстве, в тёмном небе ночном, высоко, — не достать меня власти отсюда, не вернуть с издёвкой назад, — я свободен? Да вроде свободен. Вот, лечу. Не куда-нибудь, а в Париж. Я впервые в жизни вырывался тогда за границу. Оказалось потом, что в первый и последний, доселе, раз. Но тогда — всё было впервые. И запомнил я навсегда ощущение это — отрыва от магнита, что ли, какого-то, от чего-то огромного, что мёртвой хваткой держало меня столько лет, от того, что было жуткой силой, ставившей долго жирный крест на свободе моей. А теперь — неужели свобода? Привыкать к ней было мне трудно. Я для храбрости даже выпил, хоть давно уж спиртного не пил. Напряжение оставалось где-то там, внутри, всё равно оставалось, покуда мы всё летели, туда, на Запад, над Европой, внизу лежащей, чужеродной, неразличимой с высоты, без лица, без голоса, без каких-нибудь более-менее узнаваемых очертаний, потому и условной, незримой, просто-напросто словом, названьем, из учебников по географии, из газет, из фильмов, из книг, той, что где-то под нами, в прорве, переполненной ветром, холодом, всеми только подразумевалась, оставаясь всё той же тайной, за семью, наверно, печатями, что и встарь, загадкой сплошною, школьным ребусом или кроссвордом, сном, игрою в прятки, шарадой, всеми странами, с их городами, с их не спящими или спящими по домам своим европейцами, всем, что сплыло, и всем, что было далеко под нами, внизу, наваждением, сновиденьем перед утренним пробуждением, и уже я смирился с этим, и уже оставалось, видно, успокоиться и привычно это просто вообразить.

Мы летели — и прилетели.

Боже мой, неужели — Париж?

Оказался я там в совершенно другом, незнакомом мире.

И, наверно, в другом измерении.

Поселили всех нас в Монжероне.

Замок, бывший когда-то давно, при королеве Анне Ярославне, просто обычным загородным, охотничьим, небольшим по размерам домом, на протяжении нескольких веков потом перестраивался, разрастался, ветшал, дряхлел, — и сейчас в нём жили, как выяснилось, в основном, люди русские, бедные, наши бывшие соотечественники.

В нём запросто мог разместиться целый полк. Помещений там было предостаточно. Всяких. Больших и поменьше. Комнат, клетушек. И внушительных, в пол-этажа, с тяжело нависшими сводами и оконцами, тёмных покоев.

Были длинные коридоры. В коридорах — частые двери. Общезжитие прямо. Общага. Оказалось, что это так.

Открывались, одна за другой, в коридорах двери — и люди выходили из этих дверей. И порою — знакомые люди.

Вот и стал я с ними общаться.

Юра Титов, архитектор, художник, известный в Москве широко — в минувшие годы, умудрившийся даже в Париже много лет отлежать в дурдоме, диссидент знаменитый бывший, а теперь — совсем одинокий, поскольку жена его умерла, пожилой человек, ютящийся здесь, в Монжероне, измученный, полуголодный, потому что родная дочь не кормила его почти, всё терпевший, но и страдавший, в одежонке старой, бредущий шаткой, валкой, нетвёрдой походкой в комнатнушку свою, чтобы там предаваться мечтам своим творческим, фантазировать, создавать, — разумеется, в воображении, — небывалые здания, храмы, рисовать их, чертить на бумаге улетающие в небеса купола и лёгкие кровли, вдохновляться — и оставаться в одиночестве, наедине, днём и ночью, с самим собой, жить надеждами на возможное улучшение жизни, на что-нибудь посветлее, на то, что сбудутся все мечты его, все желания сокровенные, — год за годом.

Валя Самарин, Тиль, питерский художник, фотограф, которого помнил я, приезжавший в Питер в годы минувшие часто и живший подолгу там, с начала семидесятых, а то и гораздо раньше, с которым, само собою, виделся не единожды и в компании Кости Кузьминского, и в прочих богемных питерских квартирах и мастерских, человек невысокий, подвижный, заводной, боевой какой-то, с увлечениями, с восторгами, со сменяющимися периодами своего, с придумками, с новшествами, с заковырками, буйного творчества, ну а с ним и с привычкою странною — то и дело менять имена, всё придумывать и придумывать, позагадочнее, позвучнее, непривычные слуху фамилии, со своим, с причудами, сказочным, фантастическим, герметичным и отчасти фантаσμαгоричным, от чужих на замок закрытым, для своих — приоткрытым, в меру, чтоб туда не могли ворваться всей гурьбою и что-нибудь там нарушить, внутренним миром.

Игорь Холин, сын авангардной художницы, бывшей на родине известной в кругах андеграунда, но уехавшей вдруг во Францию, в городке каком-то живущей захолустном, а то и в деревне, на отшибе, вдали от парижской бурной жизни столичной, Лиды Мастерковой, парень хороший, крепенький, плотно сбитый, молодой, но какой-то усталый вроде, словно недоумевающий — и зачем это здесь он, скажите-ка, в эмиграции, оказался? — и глазами своими тёплыми всё глядящий куда-то во влажное, пригородное, французское, не родное совсем, но всё-таки с птичьим щебетом, с виноградными узловатыми старыми лозами и с деревьями, тоже старыми, в серебристо-сиреневой, с просинью, с тонкой розовой жилкой, дымке, обжитое давно, пространство.

И так далее, и так далее.

И вся эта пёстрая публика, и все эти славные люди, жители Монжерона, — были, увы, полунищими, были полуголодными.

Приютили их здесь, выходит, вроде как из сострадания.

Не сложилась у них во Франции хорошо и удачно жизнь, так удачно, как у других, видно, более сообразительных и удачливых эмигрантов.

Однако здесь был — кров. А это уже так много.

Было здесь всё же — общение. Разношёрстная, но — среда. А ведь это так важно всегда. И особенно — здесь, в эмиграции. Как-никак, а поддержка. Моральная. Иногда и материальная. Все — держались, уж как умели. Как у них выходило. Все — жили здесь. Монжерон был полон соотечественниками былыми, ныне — жителями французской, приютившей их всех, земли.

«Я прошу, как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости...»

Вот-вот. И жалость была, и милость тоже была.

Жизни только нормальной не было.

И меня охватила к ним жалость. Состраданием к ним я проникся, даже больно за них мне было. У меня какие-то деньги, небольшие, а всё же имелись. Что-то выдали здесь, на расходы. Что-то взять удалось с собой.

Вот и стал я своим знакомым, от души, от чистого сердца, как сумел, как уж там получалось, ненавязчиво, но упорно, потому что знал, что так надо, понимал положение их незавидное, день за днём, в меру сил своих и возможностей, на чужбине, их не привечавшей, сирым им, день за днём, помогать.

Я кормил их, вином угощал. Я читал им стихи. Мы полночь всё беседовали, бывало, и никак не хватало времени, чтобы всласть нам наговориться — как когда-то, в Москве и в Питере, говорили мы, в наших компаниях, в тех, крылатых, шестидесятых, и нервических, драматичных и трагичных семидесятых, — потому-то и здесь, во Франции, эмигранты рады-радешеньки были доброй традиции нашей — говорить по душам. А ещё — был я гостем оттуда, с родины. Значит — новости, значит — распросы, кто, да что, да как, да зачем. Значит — память. А с нею — и связь, пусть и временная, но реальная, с тем, оставленным ими, прошлым, где в единстве были они.

Так и жили мы там, в Монжероне. Как и встарь, дружили. Общались. Все общению были рады.

Ну а что же телевизионщики?

С ними вместе я, в первые дни парижской, бурной весьма, на события щедрой, на встречи, неожиданные порой, интересной, бесспорно, жизни, кое-куда съездил, кое-кого повидал.

Оказались они на поверку, ребяташки совсем ещё с виду молодые, вроде зелёные, тем не менее, люди работные, ибо всё же телевизионщики, вовсе не теми людьми, за кого, до приезда в Париж, себя они выдавали.

Огорчили они меня. Хамства я не люблю. Поэтому отделился от них я вскоре. Лжи и наглости, лести и подлости, вместе смешанных, перетасованных, под прикрытием идей, подтасованных так, что сразу и не разберёшь, отродясь я терпеть не могу.

С ними я возвратился в Москву. Потому что — куда мне деваться? Группа, всё-таки. Рейс. Билеты. В самом деле, не одному ведь добираться мне. Бог с ними. Стерпим. Довезут. И они — довели.

В Москве я сказал им твёрдо, что участвовать в фильме отказываюсь, на порог никого из них не пушу, никаких своих уникальных материалов им не дам. Нагулялись. Баста! Проявились — во всей красе. Всё я видел — и всё я понял. Объяснять ничего не надо. Мне и так всё давно уже ясно. Пообщались — и разошлись.

Фильм о СМОГе они, конечно, как уж вышло, а всё же сварганили. Обошлись — без меня. Ну и ладно. Не впервые. Переживём.

Назывался их фильм — «Весела была ночь». По строке Аркаши Пахомова.

Его я поставил в известность о том, что сниматься в фильме о нашем СМОГе — не буду.

Аркаша — не удержался. Ну как же ему — да не сняться? Соблазн был велик. Втихую, как много уж раз бывало, он предал

меня. Смогист. И даже — товарищ крылатый. В былые наши года.

Забот своих и работы своей, как это всегда, всю жизнь, у меня бывает, хватало. Уехал я к родителям, в Кривой Рог. Потом, уж не помню — зачем, но, стало быть, надо было, хотя и не очень хотелось, пускай и совсем ненадолго, от писаний своих отрываться, вынужденно, потому что так было надо, а значит ехать пришлось мне всё же, я возвратился в Москву.

И вот — включаю однажды, сам не знаю — зачем, телевизор.

Совершенно случайно это получилось, но, как обычно у меня всегда и бывает, вместе с тем и закономерно, далеко не случайно — и даже так, как всё и должно было быть.

А там, на экране, — фильм.

Тот самый, когда-то обещанный, уже сварганенный фильм. О СМОГе.

Но — без меня.

Посмотрел я его. Пришлось.

И подумал: какое счастье, что участвовать в нём, по чутью, да ещё потому, что понял, кто его собирался делать, отказался я сразу же, вовремя!

Много видел я всякой дряни.

Но такое — видел впервые.

Одного хотелось — пойти и отмыться от этой грязи: так и лезла она с экрана, даже трудно было дышать.

Вот уж поистине — все средства для достижения цели всегда хороши! Чего только я не увидел в этом хреновом фильме!

Перво-наперво — свалки, помойки, смесь нарезанной кинохроники приснопамятных лет советских — с чем угодно, лишь бы заполнить, чем-нибудь, солянкою сборной, кадр, — и вышла каша-малаша, даже хуже, — бредок такой, где показывали таких персонажей, таких героев, о которых во время СМОГа знать не знали мы, о которых и подумать-то трезво, серьёзно невозможно, — и всё сошло, всё сгодилось! — вот беспринципность, — вот, пожалуйста, — постмодернизм, в чистом

виде, где всё — с ног на голову перевёрнуто, искажено, подтасовано, огрублено, наизнанку нарочно вывернуто, где ни капли нет правды, зато — сколько хочешь, да хоть залейся, хоть возьми да и обожрись, разливанной, махровой лжи, говоря иначе — брехни, лишь бы только вышло такое, что, с натяжкой, похоже на что-то — ну а что? — да не всё ли равно! — лишь бы вылезть с такой вот бодягой на поверхность, только бы выплыть, как известно что выплывает, вот и вся недолга, — смотрел я фильм — и с каждой минутой, всё резче, всё отчётливей понимал: вот оно — уже началось, и теперь они, и другие, скопом, все, потому что так проще, потому что так выгодней даже им, дешёвкам рыночным, черни, — без меня обойдутся прекрасно, — отодвинут меня подальше, чтобы я не мешал им жить, постараются, поусердствуют, позаботятся обо всём, чтобы впредь меня просто — замалчивать, делать вид, что нету меня, — то есть попросту — убивать, потому что убийство такое очень даже удобно для них, черни, всех, кто выплыли шустро стаей хищною на поверхность в дни весны демократии нашей и болтаются там, в этой луже, разлагаются, пахнут, гниют, но — тусуются и считают, что удача пришла к ним, что крупно им, конечно же, повезло, что пришло их время, и можно им теперь беззастенчиво лгать, подтасовывать факты, детали перепутывать, рушить легенды, издеваться, всегда — за глаза, над людьми, прошедшими ад, над людьми которым они и в подмётки-то не годятся, и плевать их не стоят, — ну, что же! — всё на пользу, — я так рассуждал, и — смотрел, и закончился фильм.

Было там немало чудес. Право, «много у нас диговин».

Я когда-то, в шутку, писал Соколову Саше, что в дни, когда он вернётся на родину, всем его по ТВ покажут непременно — на белом коне.

И почти угадал. И Сашу, не на белом коне, а рядом с белым конём, вплотную, — может, влезть на коня постеснялся? — или вспомнил слова мои? — показали, конечно. Кажется, в передаче

Боровика. А на белом коне восседала молодая супруга Сашина, чемпионка Штатов по гребле, вся спортивная очень, подтянутая, суперстар, да и только, Марлин.

В фильме о СМОГе Саша Соколов, насколько мне помнится, рассказывал — и показывал — как в былые смогистские годы я учил его сопротивляться всякой дряни житейской и гадо-сти — и упорно противостоять всевозможному, как бы оно ни стремилось мешать добру и какие бы козни ни строило в нашей жизни, мерзкому злу.

Был там Куб — Кублановский, которого молодые телевизионщики прямо в поезде где-то встретили, в день, когда, настрадавшись на Западе, возвращался герой в Россию.

Были — смутные персонажи.

Были — тени. И мельтешенье. Были — призраки. Были — фантомы. Было — много сплошной имитации. И конечно, в досталь вранья. Было — с миру по нитке — собрано что-то этакое, неразумное, большей частью невразумительное. И понятно мне — почему. Потому что не было просто настоящих материалов. Отказал я телевизионщикам совершенно правильно, вовремя. Слава Богу, что разглядел их. Понял, кто они. И — зачем нужен фильм их такой, о СМОГе. То-то, помнится, там, в Париже, говорил мне их администратор: «Вы, Володя, им всё не показывайте и везде не водите их. Вы со мною объединяйтесь. Мы вдвоём такое закрутим! И поедем везде. И снимем, всё, что мы захотим, любые, позабористее да покруче, фильмы. Есть у меня возможности. И своё мы ещё возьмём!» Говорил он — а я смотрел на него — и не верил ушам своим: Боже! — что же это за люди расплодились на телевидении? Уж действительно — ну и публика!..

Были в фильме — и чушь, и бред.

Были там — натяжки, провалы.

Были там — сплошные зиянья.

В фильме не было — правды живой.

В фильме не было — напроць — горенья лет минувших наших. Даренья — жизни, мира, любви, поэзии — нам, тогда ещё молодым.

В фильме не было вовсе — дыханья речи. Света. Звёзд полыханья над безвременьем. Силы. Славы. Вместо СМОГа был — просто дым.

Там царил — Аркадий Пахомов. Шёл по улице. Бородатый. Со значеньем смотрел. Молчал. За значеньем этим — смущенье и неловкость я различал. Помню, помню смогиста. Как же! Не на первых ролях Аркаша был, как это известно, в СМОГе. Крупным планом его! Крупней!

Насмотрелся я на персонажей фильма. Прямо как в чеховских пьесах, для театра абсурда созданных, что-то, каждый своё, говорили, вразнобой, вперемешку, вместе, по отдельности, что-то было вроде, с долей условности, действием, что-то — паузой, многозначительной, по задумке, но многозначительность, на поверку, ложной была.

Словом, всякого я навидался.

И — как только закончился фильм — стал звонить у меня телефон.

Чередой пошли звонки.

Мне звонили, звонили знакомые.

— Почему это фильм о СМОГе — без тебя? Безобразие просто! — возмущался Володя Брагинский. — Полный бред. И неразбериха. Да и путаница чудовищная. На Аркашу Пахомова смотришь — что такое он там говорит, запинаясь, — и создаётся впечатление поневоле, что именно он в смогистские годы всех и закладывал. Надо же соображать хотя бы немного, думать, что и как говорить. И вообще в голове у меня никак не укладывается — как это, вроде бы запросто, они без тебя обошлись? Неприлично даже. Противно. Ни стыда у людей, ни совести!

— Да так вот и обошлись! — отвечал я Володе. — Я вовремя понял, кто они, эти люди молодые, что делали фильм. И участвовать в нём — отказался.

— Молодец! — сказал мне Брагинский. — И правильно сделал ты, что отказался. А то ведь от такого-то безобразия так вот, просто, и не отмоешься. Во всяком случае, долго пришлось бы тебе отмываться. В непонятной этой компании тебе нечего делать, кум. Ты всегда был — сам по себе. И раньше, в период СМОГа. И сейчас ты, тем более, с возрастом, с тем, что создал ты, — сам по себе. Совершенно правильно ты поступил! Так я думаю. Так считаю.

А звонки ко мне — продолжались.

— Возмутительно!

— Безобразие!

— Что они себе позволяют?

— Что за чушь!

— Что за бред!

— Что за пакость?

— Что за мерзость!

— Что за маразм!

— Чем такое снимать, уж вовсе не снимали бы ничего. Неприятно смотреть. Противно.

— Подтасовка!

— Обманка!

— Брехня!

И так далее, и так далее.

Отвечать всем я даже устал.

Все — поистине были рады, что участвовать я отказался в этом фильме. Знакомые были — на моей стороне. Я был — прав.

Но вернёмся в Париж. Пора уж. Я ещё расскажу о Париже. Я ещё расскажу о Париже. Я скажу о нём слово своё.

В этой книге, в других ли книгах, — он возникнет, живой и древний, влажный трепетный, нежный, гневный, ежедневный, вечный, чужой, чуть хмельной, но всё больше — трезвый

и практичный, и деловитый, предрождественский, предрасветный, предзакатный, чудной, ночной, на разломе веков, на стыке, двух эпох, двух тысячелетий, дух бунтарский, гнездо свободы, притягательный, шарм, шарман, се ля ви и шерше ля фам, шансонье, фантом, балаган, цирковой, роковой, жестокий, блёсткий, вёрткий, крутой, широкий, круговой, словно горсть — вразброс, плеск воды и холма откос, птичий щебет, оград узор, зазеркалье, мираж, надзор, озаренье, сезон в аду, снег сквозь солнце, лоза в саду, в декабре-то — ну впрямь весна, звук и призыв, отзвук, стена, замок, призрак, тополь, каштан, фортепьянный раскат, обман, крик в тумане, призыв, завет, оклик робкий, неожиданный свет, путь сквозь время, блаженный зов, образ, кров, пробуждение слов...

Я бродил — один — по Парижу. Порою — виделся с давними своими знакомыми. С некоторыми. Далеко не со всеми. Зачем их искать? Набегут они сами, если надо им, если соскучились, повидаться вдруг захотели — на чужбине слегка пообвыкнув, но тоскуя всё же по родине, без которой им трудно дышать, оказавшимся в безвоздушном или, может, бездушном пространстве, в равнодушной к этим пришельцам, не отзывчивой вовсе среде.

Было грустно мне почему-то — с этим Городом наедине.

Понимал я: да, мог бы, наверное, здесь я жить, как и все эмигранты, как-нибудь, со скрипом, с трудом, стиснув зубы, существовать. Но — и только? Нет уж, не надо. Это всё — не по мне. Я — другой. Я такой, каким я и прожил все свои нелёгкие годы — на своей, а не чьей-нибудь, родине. На своей, а не чьей-нибудь, почве. Я всегда был — сам по себе. Навсегда останусь — таким. Изменяться мне ни к чему. И тем более — приспособливаться. Нет, увольте! Всё это, братцы, не по мне. Каков уж я есть, весь, везде и повсюду, исполненный неизменно здравого смысла, как сказал очень верно и вовремя здесь, в Париже,

Аполлинер, я пребуду и впредь. Всегда. Принимайте или не принимайте — ваше дело. А я буду только собой. Буду просто — собой. Буду жить и работать. Так надо. На своей, а не чьей-нибудь, пусть и вправду прекрасной, земле.

И однажды вспомнил я Эдика Лимонова. Вспомнил, поскольку жил он тогда — в Париже.

Перед отъездом, в Москве, кто-то мне дал зачем-то номер его телефона.

И я позвонил ему. Из Монжерона — в Париж.

Предложил ему как-нибудь, если будет возможность, встретиться.

Хотелось мне с ним повидаться.

Ведь столько уж лет прошло с тех пор, как покинул он родину, в эмиграцию отбыл, ринулся в свою заграничную, личную, лимоновскую, одиссею, а может быть — эдикосею.

Оказался Лимонов — дома. То есть там, где он обитал.

Где его настоящий дом — неизвестно. И есть ли он?

Лимонов со мной поздоровался, имитируя проблеск радости, от того, что слышит мой голос.

Но в его, лимоновском, голосе — уловил я сразу же фальшь.

Он вроде бы и обрадовался, показаться могло, — да не очень.

На моё предложение — встретиться, потому что приехал в Париж я ненадолго, вскорости мне предстоит уже возвращаться в Москву, и сейчас всё, вроде, совпало, и он на месте, и я ещё здесь, и свободен, так почему же нам, двум старым приятелям, даже друзьям, как, во всяком случае, мне казалось в прежние годы, не увидаться, не побеседовать, ведь сам Бог, похоже, велел, — стал он мямлить что-то совсем уж бестолковое, невразумительное, а потом принялся отнекиваться, отказываться от встречи, изобразил усталость, пояснил, что вот, мол, ну только что, ну прямо сейчас, действительно, буквально

сию минуту, возвратился он из поездки, стоит, весь такой утомлённый, с дороги, разбитый, измотанный, — и тому подобное, в общем, никак не может, никак, увидеться он со мной.

И я понял: он попросту врёт.

Ему не хочется видаться, и всё здесь ясно, со мною.

Может быть, ему просто страшно со мною сейчас встречаться.

Ведь я — из той, из отринутой, из прежней жизни его, проходившей на почве родной.

А он — он совсем другой. Стал другим. Изменился. Стал — здесь, в своей зарубежной жизни, тенью смутной, призраком, призвуком, отраженьем в зеркале треснувшем, да и только, — себя самого — не теперешнего, а бывшего.

Лимонов ещё продолжал говорить что-то вовсе уже пустяковое, так, по инерции, механически, то есть просто заполняющее пустоту.

Но всё уже было ясно.

Мне стало, конечно, грустно.

— Ладно, Эдик! — сказал я ему. — Не хочешь, как хочешь. Понятно. До свиданья. Всего тебе доброго.

И положил телефонную, вмиг замолчавшую трубку.

И вышел во двор замка, к заглухнувшему фонтану. Закурил. Постоял на воздухе.

Во дворе было пусто, тихо.

В стороне пролетела со щебетом воробьиная бойкая стайка.

Загугукали горлицы — надо же! — ну прямо как на Украине.

Я подумал о том, что другом никогда мне Лимонов не был. Притворялся, и только. Приятелем, да и то недолго, наверное, был. Скорее — знакомым был. Знакомым, который пользовался во всю — моей добротой. Знакомым, который преследовал только свои, лимоновские, выгоды — и свои, для себя, любимого, цели.

Я вспомнил тот день, когда я внезапно, остро, отчётливо почувствовал: он меня — предал.

Самым первым предал — из всех, многочисленных в прошлом, друзей — или тех, кого, по наивности, по извечной верности дружбе, совершенно искренне, твёрдо, я считал в ту пору друзьями.

Было это в Москве, весной шестьдесят девятого года.

Саша Морозов решил в квартире своей однокомнатной устроить мой вечер поэзии.

Много было в ту пору желающих послушать мои стихи.

Народу столько пришло, что всех разместить было негде.

Притащил Морозов из ЖЭКа несколько длинных скамеек.

Все устроились, разместились. Приготовились слушать меня.

Была там, в числе других слушателей, Наташа Иванова, стройная, худенькая, кареглазая, с длинными, дивными, каштановыми, прямыми, спадающими на плечи и на спину, волосами.

Был там, конечно, Вагрич Бахчанян. Свои называли его — просто Бах. Он был очень хорошим художником.

Я сказал ему:

— Вагрич, ты оформил бы как-нибудь книги мои самиздатовские!

Бахчанян, взглянув на меня, сказал мне очень серьёзно:

— Володя, ты ведь и сам хорошо рисуешь. Картинки у тебя, а я много их видел, замечательные, поверь мне. Свои книги ты сам разрисовывай. Лучше тебя никто никогда не сделает этого.

— Я и так свои книги стихов разрисовываю, и давно уже, и ты хорошо это знаешь, — сказал я тогда Бахчаняну.

— А вообще, Володя, надо тебе рисовать, — твёрдо сказал Бахчанян. — Ты делай свои картинки, но только — большие, цветные. Понимаешь? Большого формата. Уверяю тебя, они интересными будут очень. Ведь и те картинки, которые ты рисуешь часто сейчас — абсолютно твои, особенные, узнаваемые мгновенно. Я считаю, что надо тебе уже всюю рисовать.

— Что ж, когда-нибудь, может, попробую! — сказал я тогда Бахчаняну. — Даст Бог, начну рисовать большие свои картинки!

Был там и Эдик Лимонов. Нарядный. В очках. С кудрями. В новом, красивом костюме.

Лимонову, в годы, когда он приехал в Москву из Харькова, много я помогал. Для него — сделал много хорошего. Думаю, он до сих пор всё-таки помнит об этом. Такое не забывается. Всегда и везде я стремился делать людям добро. Вот и Эдику делал добро.

Саша Морозов призвал всех собравшихся сосредоточиться, поскольку время настало — и я начинаю читать. Почёсывая свою густейшую и пышнейшую, самую первую в нашей компании дружеской бороду, посверкивая приветливыми, но и достаточно острыми, с лукавинкой, со смешинкой, с огоньком добродушным, глазами, он, высокий, худой, уселся скромно на задней скамейке, — чтобы другим не мешать.

Я встал у окна открытого, лицом к ожидающим действия желанного от меня, пришедшим, для этого, людям, — и начал читать стихи.

И они меня — слушали, слушали, как всегда и бывало в далёкие, навсегда ушедшие годы, поистине замечательно. Умели тогда современники — слушать своих поэтов. И — любили. Ведь время было не компьютерным, а орфическим.

Я читал и читал стихи.

Створка окна была, как уже говорил я, открыта.

Вдруг я почувствовал сзади, за своею спиной, какое-то движение непонятное, этакое шевеление, вкрадчивое шуршание.

Краем глаза увидел я, что Эдик Лимонов, очкастый, пышноволосый, в новом костюме, влезает в окно.

Находилась квартира Сашина высоко довольно, на пятом этаже. Откуда же Эдик так внезапно в окне появился?

Эдик влез между тем в окно, спрыгнул на пол. И выразительно, вызывающе — вот, мол, я! — посмотрел геройски на всех.

И вот что было, скажу я, действительно поразительным: никто, совершенно никто из людей, в квартире присутствующих, его, из окна появившегося, просто-напросто не заметил!

Не увидели, не разглядели его, верхолаза лихого. Будто его, на чтении моём, и не было вовсе. Будто никто в окно только что и не влезал.

Эдик, бочком, потихоньку, сразу же стушевавшись, отошёл, с обидой, в сторонку и там надолго заглох.

Вечер мой продолжался. Читал я довольно долго.

Никто из людей — не устал. Наоборот, все были рады стихам, все были даже, по-своему, счастливы. Потому что — действительно многое, очень многое для собравшихся в годы прежние, сложные, значила, всем дышать помогая, поэзия.

Наконец я устал. Напряжение было огромным, при чтении. И я перестал читать.

Слушатели мои, находившиеся под воздействием моего, как меня уверяли не единожды, гипнотического, с музыкой схожего, чтения, — начинали, один за другим, приходиться понемногу в себя.

Я вышел на кухню, чтобы спокойно там покурить.

Посреди тесноватой кухни стоял в одиночестве гордом на роде недавно в упор не увиденный Эдик Лимонов. Он был бледен и возбуждён.

Он сразу же стал мне рассказывать, как он, сам не зная, зачем, надумал, во время чтения моего, вот отсюда, из кухни, потихоньку, пройти по карнизу — и, поскольку было открыто окно в единственной комнате квартиры, вдруг появиться из окна, неожиданно для всех, по-геройски, перед народом. Хорошо, что прошёл удачно. Всё-таки высоко. Пятый этаж, между прочим. Доказал самому себе, что ведь может презреть опасность. Вот к чему, если вкратце припомнить, сводился его рассказ.

— Хорошо, что ты цел! — сказал я Лимонову. — Ты такой, раз уж что-нибудь ты надумал непривычное сделать для всех,

то непременно сделаешь. Ты у нас натуральный герой. Или будешь героем. Вскорости.

— Но почему, почему все они не обратили на меня никакого внимания? — вдруг, придвинувшись ближе ко мне, выкатив под очками глаза, да так, что белки налились густеющей кровью, а зрачки, потемнев, расширились, не с обидой даже, а зло, с возмущением, с яростью дикой, спросил меня Эдик Лимонов. — Я ведь на высоте пятого этажа прошёл по карнизу узкому, вплотную к стене, из кухни перешёл осторожно до комнаты, влез в окно, появился в комнате, перед всеми, кто там находились, — и меня никто не увидел, и меня никто не заметил! Будто не был я там. Почему?

— Эдик, — сказал я спокойно, — люди стихи мои слушали.

— Ну и что? — спросил Лимонов.

— Люди так стихи мои слушали, что тебя они — не заметили.

— Так! — сказал Лимонов. — Так, так. Понятно. Значит, они просто меня не увидели?

— Конечно! — сказал я Лимонову. — Сам понимаешь. Люди были — там, в стихах моих. Все. Я-то тебя, краем глаза, увидел, не сомневайся, когда ты в окно влезал. Но тоже не удивился, потому что переключился сразу же на стихи. Ты ведь знаешь уже давно, что, когда я читаю, то заново всё это переживаю, будто стихи пишу снова, здесь же, во время чтения. Видимо, я тогда нахожусь в состоянии транса. В это время, покуда читаю, живу я только поэзией. Так и слушатели мои. Они, когда я читаю стихи, очевидно, выходят на волны мои и частоты. Словно ко мне подключаются. И тоже, во время чтения моего, находят там, где и я, в поэзии, в речи.

Лимонов, стоя напротив, молча смотрел на меня.

И тут я увидел вдруг, что на его лице непрерывно, быстро сменяются, как в странном калейдоскопе, разные, возникающие один за другим, цвета.

Бледность сменилась багровым, резким, кровавым румянцем, потом — какой-то противной потусторонней прозеленью,

потом — густой синевой. А потом лицо его стало опять неестественно бледным. Снеговым. Известковым. Холодным. Деловым. Неподвижным. Гипсовым. Отчуждённым. Скорее, маской, чем лицом. Подобьем лица.

И тогда, мгновенно, я понял: он меня — возненавидел. Ревность прежняя, зависть прежняя — к славе моей в те годы, к тому, что был я всегда на виду, что знали меня, что ценили меня, любили, уважали, — всё это стало пустяками, да просто семечками, по сравнению с новым — с ненавистью.

Так я понял его тогда.

Знаю твёрдо, что не ошибся.

Потому что чутьё моё никогда меня не подводило.

Потому что я видел — знак.

Потому что смотрел — насквозь.

И в дальнейшем, ясное дело, всё, что понял я, — подтвердилось.

Тот, кого я считал своим другом, был мне вовсе не другом. Вот так.

Но довольно, пожалуй, считаю я сейчас, говорить о Лимоневе.

Как бы ни вёл он себя, что бы там ни вытворял, — образ его, молодой, тот, без личины, без маски, — мне симпатичен. И даже, с грустью думаю я, — дорог. Да, дорог. Чем же? Тем, что в былые годы чище был Эдик душой. Может быть, это мне кажется. Может быть, просто мне хочется видеть его таким. Пусть. В мои зрелые годы меня уже не переделаешь. В людях я продолжаю видеть только хорошее. Даже если они меня забывают — или норовят нанести мне рану, да поглубже, да побольнее, — или даже если они, откровенно, цинично, сознательно и жестоко — меня предают. Бог — всё видит и всё сохраняет. Есть закон причины и кары, древний, русский. Память — со мною. Человеком — непросто быть.

Тогда же, примерно, в период моей невестречи с Лимоновым, один мой знакомый привёз мне из Парижа, в подарок от Эдика, его книгу «Великая эпоха». Не на русском, а на французском языке. С такою вот надписью:

«Другу Володьке от Лимонова. Мы живы и всё в порядке. Э.Л.»

Если это всё-таки правда — то пусть будет так. Хорошо.

Что ж — Париж?

Остаётся лишь вспомнить...

Парижской устрицы лимонно-стылый вкус, неоценимое звучанье цевницы-улицы, — раченье и ворчанье, течение властное, свеченье и венчанье, осколки времени, как россыпь влажных бус. Париж — каштановый, лиловый, озорной, с клубникой алою на донышке заветном, вином расплёскивает с возгласом победным всё то, что холодом туманило рассветным, а после станет спаянным со мной. И нет уверенности в том, что доберусь туда, где кто-нибудь да ждёт меня, пожалуй, поскольку где-нибудь с морокой небывалой столкнусь когда-нибудь — и с мукою немалой от этой сутолоки разом оторвусь. А света белого достаточно для всех — и мир для всех готов раскрыться подарком праздника, чтоб сердцу в детстве биться, чтоб чуду сбыться, зренью излечиться, припомнив таинства рождественский орех.

...Фаска. Лезвие. Кромка. Грань. Синеватый, жемчужный, лиловый, — сон ли, город ли, старый и новый? — взгляд с прищуром в такую рань, что звезда ещё дышит рядом, — и восходит заря над садом, — и над морем протяжный свет, словно весть из минувших лет, доносясь, разливаясь шире, станет песнью благою в мире обо всём, чем душа жива. Край столетия. Птица Сва.



...Величанский встаёт — как лев Пиросмани — в кругу деревьев. Львиный знак и полдневный пыл. Час полночный — в кругу светил. Звук подспудный — и зоркий взгляд. Рай вчерашний — и вечный ад. Свет столичный — и след во мгле. Снег привычный — в земном тепле.

В восемьдесят девятом году, на заре свободного книгопечатания, в Москве, с трудом привыкая к такой вот, доселе непредставимой, небывалой, чуть ли не сказочной, но, по новым-то временам, совершенно реальной возможности, я готовил к изданию свою книгу «Отзвуки праздников».

Саша Величанский пришёл однажды в гости к Толе Лейкину. Рукопись книги, недавно перепечатанная мною, лежала у Толи, не в пример временам былым, с их опаскою постоянной за судьбу самиздатовских сборников, с их оглядкой на всё подозрительное, с неизменными предосторожностями, открыто, без конспирации, без ненужной теперь маскировки, на виду, на рабочем столе.

Величанский увидел рукопись и обрадовался тому, что давняя книга моя наконец-то, с таким запозданием, после стольких мытарств, историй, всё же выйдет вскорости в свет.

Это был большой том, к сожалению — неполный, потому что у меня под рукой в нужную пору, когда все бумаги мои вдруг понадобились, не оказалось многих текстов, раскиданных в прежние годы по самым разным, знакомым и случайным, таким уж, какие возникали в поле зрения посреди хронических бездомий и вынужденного перемещения с места на место, в поисках угла, простейшего приюта или всего лишь ночлега, домам, в различных городах, любимых и тягостных для меня, куда приезжал я ненадолго или надолго, чтобы снова ехать куда-то, находиться в движении, чувствовать ритмы времени и души.

Некоторые из таких отсутствующих вещей, нередко сильных, значительных для моего развития, необходимых для понимания пути, давно привыкнув к утратам, я уже склонен был считать утерянными.

А время поджимало. Время было действительно дорого.

Меня поторапливали. Промедление любого рода исключалось категорически.

Поэтому я и решил подготовить, для начала, книгу из тех стихотворений и больших композиций, которые имелись у меня, в единственном экземпляре, в виде груды истрёпанных листков с густой машинописью, и поистине чудом уцелели посреди моих скитаний в семидесятых.

А там, рассудил я, видно будет. Всё, глядишь, ещё образуется, как всегда у меня, само собою. Может, что и найдётся. Верить в это хотелось бы. А то, даст Бог, и сам я, по памяти, как это и прежде не раз и не два бывало, восстановлю недостающие тексты.

Всё в дальнейшем так и случилось. Некоторые стихи — нашлись. А большинство текстов я восстановил, когда у меня открылась вторая память, уже в девяностых, в Коктебеле.

Книга, же, в неполном виде, вышла — и существует, сама по себе, независимо от меня, какая уж есть.

А тогда, у Толи, Величанский листал мою рукопись. И многое в ней — узнавал.

«Отзвуки праздников» — это целый творческий мой период, интересный, насыщенный, сложный, важный для меня, барочный, как я его обычно называю.

И так уж получилось, что период этот, напряжённый, чрезмерно бурный, драматичный, парадоксальный, даже фантазмагорический, время это, для меня откровенно тяжёлое, с испытаниями на прочность, на выживание, героическое, жестокое, на упрямстве, на творческой воле, но и прекрасное, безусловно, в новизне своей всей, в праздничности, вопреки бесчисленным трудностям, да ещё потому, что сумел я выжить,

выстоять, созидать, — были в чём-то нередко, прямо ли, косвенно ли, больше ли, меньше ли, связаны с Величанским.

Тогда мы часто встречались — в Москве, поскольку оба мы там обитали, и в Питере, потому что оба мы то и дело туда приезжали.

В дружеских тесных компаниях оба мы читали стихи свои. Подолгу и помногу беседовали. И беседы такие были чрезвычайно важны для обоих.

Были внимательны к творчеству друг друга. И внимание это былое, бережное и пристальное, подчёркнуто доверительное, искреннее, нечем теперь заменить.

Были оба ещё относительно молоды, я — помладше, Саша — постарше по возрасту.

Но судьбы наши и пути в эти годы нередко соприкасались. Перекрещивались, расходились — и опять, неожиданно и радостно, где-нибудь, как-то вдруг, совпадали.

Стихам-то Саша обрадовался. А вот всякие тексты обо мне, сопроводительные, в основном — краткие, вроде высказываний, изредка — подлиннее, с попытками вникнуть в суть моих сочинений, написанные различными людьми, предназначенные для того, чтобы читатели, ознакомившись с ними, помещёнными на обложке или сгруппированными в виде послесловия, получили некоторое представление обо мне самом, авторе самиздатовском и в этом качестве давно и широко известном в определённых кругах, но в то же время фигуре весьма загадочной, для прочих, для читающего большинства, потому что на родине слишком долго меня не издавали, и о том, что я, собственно говоря, за многие годы работы сделал в русской поэзии, — огорчили его, и даже возмутили.

— Совсе не так надо писать о Володе Алейникове! — сказал он Лейкину. — Давай-ка, если ты не возражаешь, я возьму рукопись домой, изучу её хорошенько — да и напишу о Володе. Сам.

Толя, конечно же, не возражал. Был он этому только рад.

Летом я, по традиции, жил, вместе с детьми, в Кривом Роге, в родительском доме.

Пришло письмо из Москвы. От Величанского.

Большой, белый, с моим украинским адресом, именем и фамилией, написанными острым, резким, быстрым Сашиным почерком, плотный конверт. В нём, помимо письма, — машинопись Сашиной статьи обо мне — предисловия к «Отзвукам праздников», и назывался этот текст — «Грядущий благовест». Он теперь напечатан — и в книге моей, и в журнале «НЛО». А тогда, в тишине, в глуши, в отдалении от столицы, среди щебета птиц и шелеста приникающей к окнам листвы, — я читал его и перечитывал. Понимал я, что Величанский сумел сказать обо мне так, как не скажет никто. На склоне столетья думаю: не скажет уже никто.

И письмо ведь было хорошим. Очень его, Сашиным.

Приведу его здесь. Хочу Сашин голос услышать вновь.

«Здравствуй, Володя.

Посылаю тебе результат размышлений над твоей работой, штудии которой доставили мне истинное удовольствие.

Уверен, тебя не смутит то обстоятельство, что стремление к осмыслению превалирует в моих заметках над желанием делать оценки. Надеюсь также, что тебя не покоробит стилистика „объективности“ суждений. Никакой объективности, как ты понимаешь, не существует в природе. В применении же к поэзии она и вовсе неуместна, ибо всякое „изучение“ поэтического явления всегда предельно неадекватно своему предмету. В этом смысле, бесстыдно субъективные суждения в лучшем случае неинтересны. Видимо, по отношению к стихам всегда уместней Евангельское „Да-да“, „Нет-нет“. Однако, такая позиция есть и благовидна, но исключает всякую возможность говорения о стихах.

Я взял этот „объективный“ фон, главным образом, для того, чтобы не опускаться до презируемых мной красот так называемой „прозы поэтов“, а также потому, что мне хотелось выдержать определённую „имперсональность“ в изложении своих соображений, чтобы никто не мог сказать — вот, мол, что Сашка Величанский сочинил о Володьке Алейникове. Дай Бог тебе найти в статье что-нибудь созвучное собственным представлениям о своих стихах (вот увидишь, найдёшь!). Впрочем довольно о статье, а то может сложиться впечатление, что я компенсирую что-то недоговорённое в ней.

Всего тебе наилучшего. Отдыхай, работай, крепчай, будь. Поклон твоему дому, в котором не нумерованы квартиры (!), здоровья твоим детям и присным.

*Обнимаю.
А. Величанский.
22.7.89.»*

Летом восемьдесят девятого я читал недавно вышедшую Сашину книгу «Удел», подаренную мне им ещё в Москве.

Книга эта издана была довольно быстро и грамотно, с помощью друзей Величанского.

Простая, светло-серая, лаконичная, без всякого украшения, с одной только узенькой, напоминающей витой шнур, аккуратной рамочкой, несколько в духе дореволюционных изданий поэтических сборников, от советских книжек отличающаяся резко, подчёркнуто, потому и запоминающаяся, обложка; белая бумага, чёткий шрифт, сто двенадцать страниц всего — но текста много, потому что стихи набраны в подбор, одна вещь за другой, а не по одному стихотворению на странице, и понятно, что сделано это для экономии бумаги, чтобы в пределах ограниченного объёма поместить побольше стихов, — но зато всё хорошо читается, и книга элегантна, строга, скромна, и главное её

достоинство — это её содержание, то есть отличные Сашины — избранные им, с шестьдесят девятого по семьдесят третий год, — и мне, и многим другим людям давно уже известные по самиздатовским сборникам, которые перепечатывал вначале сам Саша, причём печатал он на машинке одним пальцем, средним пальцем правой руки, по выработавшейся у него давным-давно привычке, но довольно-таки быстро, на половинках листа писчей бумаги, мною, тоже по привычке, называемых четвертушками, на одной стороне, через самый маленький интервал, по одному стихотворению на каждой странице, и складывал эти листочки в книжки, делал к ним обложки из плотной бумаги, порою сам оформлял их, разрисовывал, и раздаривал, раздавал несколько экземпляров таких книжек друзьям, любителям поэзии, и те, в свою очередь, тоже перепечатывали их и распространяли, и всё это было привычным для всех делом, — и теперь напечатанные, как полагается, по традиции гутенберговской, по всем или почти всем правилам, — стихи...

Тогда, на радостях, предварительно созвонившись, я приехал к нему — и купил у него, в дополнение к подаренному экземпляру, целую пачку книг, довольно-таки большую пачку, аккуратно упакованную в бумагу и перевязанную шпагатом в типографии, ещё нераспечатанную, не помню, сколько экземпляров туда входило, но было их немало.

И потом, имея в своём распоряжении этот небольшой арсенал, с удовольствием, но ещё и сознательно, чтобы знали, чтобы читали, дарил их своим друзьям и знакомым в Москве, в Кривом Роге, в Коктебеле, вручал их лично, посылал бандеролями, в другие города и за границу, и очень скоро так всё и раздарил.

От метро, как обычно, я доехал на автобусе до высокого, башнеобразного, углового дома на Ленинском проспекте.

Поднялся на скрипучем лифте наверх, на нужный этаж.

В квартире Саша был один.

В коридоре и в обеих комнатах высокими стопками лежали на полу многочисленные экземпляры его книги, наверное — изрядная часть трёхтысячного тиража.

Саша был очень худ, непривычно бледен, как-то слишком скуласт, но ещё достаточно энергичен, хотя и не столь уж импульсивен, подвижен, взрывчат, как в прежние годы.

После двух перенесённых им инфарктов приходилось ему, судя по всему, несладко. В разных местах квартиры я заметил приготовленные на всякий случай лекарства.

Однако, Саша держался. Привычное определение. Для всех нас традиционное. Без лишних слов. Неизменное.

Слишком просто сказать — «держался». Но именно так об этом и надо теперь сказать.

Не храбрился, не хорохорился, нет. Зачем? Ни к чему всё это. Удивлять никого не хотел он. Храбрость была — в другом.

Он трезво осознавал своё положение, своё состояние. Он именно — держался. Упрямо. Стойко. По-мужски.

Дракон по тотему и Лев по созвездию своему, был он крепкой закваски и внутренней силы человеком, он был — с характером, твёрдых правил и принципов, честным, и в поэзии, и в повседневности, человеком, личностью был.

Он был — прежде всего — поэтом.

Никогда никого — не предал. Никогда никого — не подвёл. Был предельно чётко в своих установках жизненных. Мог правоту свою твёрдо отстаивать.

Был таким, каков есть. Величанским. То есть просто — самим собою.

Дружбе верен был. Жил — поэзией. Свет. Огонь. Цену он себе — знал.

Мы тогда, по старинке, неспешно, говорили с ним. И — молчали. И — смотрели в глаза друг другу.

Видел я его рядом, друга, в тот приезд свой — нет, не в последний, но — да, так, — в предпоследний раз...

И я говорю:

— Трудно, Саша, мне быть — одному. В плеяде ли своей, в других ли каких сообществах, собраниях, сборищах, среди людей, особенно — пишущих, среди литераторов — так называемых, в основном, потому что причастность их к литературе — мнимая, это просто игра такая, привычка, инерция, необходимость — как за соломинку, цепляться за эту самую их якобы причастность к литературе отечественной, и всё больше становится это с годами — просто игрой, неким времяпровождением в тусовках, где есть необходимый элемент игры, всё реже, впрочем, различимый — посреди всеобщей меркантильности, в страшную пору притворства, цинизма, расчёта везде и во всём, смены масок, личин, привыкания к лживой подмене ценностей и основ — драным антуражем вроде бы карнавального, а на поверку — просто повального хаоса, где слово брошено на произвол судьбы, где речь вывернута наизнанку, где понятия поставлены с ног на голову — и всё это длится, длится, тянется, продолжается, без всякой меры, без правил, без малейшей оглядки на правду, мечется, как заведённое, или, скорее, запрограммированное и осуществлённое кем-то, кто не виден и не слышен там, но чьё незримое и жуткое присутствие всегда там ощутимо, — вот и морок, и бред, и развал, все — в обнимку, все — разом, все — в стае, ну а лучше сказать бы — в стаде, вот и всё, что живёт — распадом, разрушением, плодится, длится, процветает в своём ничтожестве, хорохорится, фраерится, начинает мнить о себе уж такое — куда там! — всем им недосуг разобраться в себе, в том, что пишут, что натворили, в том, что всюду они говорят — механически, без раздумий о причине кошмара, без мыслей о последствиях каждого шага, без догадок о будущем их — то есть полном отсутствии, полном, такового, — но что с них взять! — о, скольжение их по наклонной, где-то там, в завитке спирали, — среди волокон узла тугого, — не дано им его развязать.

В одиночестве давнем своём — там ли, среди безвременья, когда все мы ещё хоть как-то, пусть изредка иногда, но зато уж по-человечески, с толком, с сердцем, с душой, общались — виделись, говорили, читали друг другу стихи, потому что внимание — было, да бывало и понимание, — ныне ли, в междувременье, в отдаленье от какбывременной ахинеи и белиберды, на грани века безумного, на кромке тысячелетия, на краешке милой земли, у моря, здесь, в Киммерии, — привык я как-то справляться с отчаяньем и с тоской, привык вспоминать о прошлом — и видеть в нём что-то хорошее, и слышать в нём тайную музыку веры, надежды, любви, привык я думать о днешнем и принимать его, всё, целиком, такое, как есть, — а как же иначе? — привык я видеть такое, чему выражение — в слове, в речи своей, находить стараюсь, насколько возможно, как уж там получается, и всё это — рядом со мной, во мне самом, в ежедневном, ежеминутном ритме — творческом, безусловно, затворническом — так уж вышло, жреческом — полагаю, провидческом — иногда, певческом — неизменно, отшельническом — пусть и так, но это — моё, и с ним я дышу намного свободней, нежели там, в скопленьях людских, в суете мирской, и всё это — жизнь, в которой и радость порой приходит на смену хандре и грусти, и свет на пути встаёт.

Быть может, опередил я век свой, вырвался в завтра — и вот взираю оттуда на всё, что прозрел давно. Быть может, планида такая — и что мне поделаться с нею? — жить, как и жил, смиренно, ждать — вниманья к себе. Жертвенность, гордость, крепость! Вызолочен на синем лёгкий листок в пространстве, чтобы, сквозь время, — в лёт! С новой весною — новый лёгкий листок на ветке зазеленеет, новый свет различит щедрот. И то, что в тягость мне — схлынет, уйдёт навсегда, исчезнет, растает где-то, затихнет, — лишь слабый отзвук вдали порою оттаёт, вздрогнет, поймёт: его не забыл я, — и молча глядит оттуда, как будто из-под земли.

Вижу Сашу Величанского — рослого, длинноногого, худого, даже очень худого, но не анемичного, а как раз мускулистого, жилистого, подтянутого, с короткими кудрями, с глазами, раскрытыми в мир, то весёлыми, с искорками, то сощуренными, глядящими куда-то внутрь себя, в такую глубину, куда никому, даже приятелям, доступа не было, вижу его всё время в движении, в постоянном движении — резко встающего с места, срывающегося с места и устремляющегося неизменно вперёд, стремительно идущего по улице, мгновенно реагирующего на любую сказанную фразу, динамичного, порывистого, задумывающегося — так всерьёз, говорящего — так уж интересно, переполненного энергией, молодого, после службы в армии поступившего в университет, — осенью шестьдесят четвёртого, среди листьев и окон, днём, в сентябре.

Он сам подошёл ко мне — чтобы познакомиться. Происходило это на «психодроме», во дворике МГУ, на Моховой.

Тогда, как ни странно это сейчас звучит и как ни грустно мне говорить об этом, был я уже известен как поэт. Меня знали в Москве. Да и здесь, в университете, ко мне постоянно подходили — знакомиться, звали куда-нибудь — почитать стихи, просто хотели — пообщаться. Я уже стал даже к этому привыкать. Приятно, конечно. Известность. Впрочем, было это лишь самое начало давней моей известности. Я не носился с собой, как с писаной торбой. Нос вовсе не задираю. Был таким, каков есть. Просто — самим собою. Выгод никаких из этого и не думал для себя извлекать. Наоборот, нередко испытывал неловкость. Даже смущался. При всей своей тогдашней общительности — внутренне оставался замкнутым.

Сашу же тогда ещё никто не знал. Ну, может, почти никто. Были ведь у него приятели, знавшие о том, что он пишет стихи. Но те люди, с которыми я постоянно общался, его пока что не знали. Ничего. Вскоре — узнали. Я постарался его со многими познакомить. Сашиной известности в ту пору ещё только пред-

стояло быть. Она едва начиналась. Но она состоялась. И я этому только радовался.

Итак, Саша подошёл ко мне — знакомиться. Мы пожали друг другу руки. Разговорились. И вдруг показалось мне, что я давно, хорошо его знаю. Более того — доверяю ему. Принимаю его — таким вот, каков он, Величанский, есть, полностью, без всяких оговорок.

Важно, что буквально на следующий день и Саша сказал мне напрямую, что сам он тоже ощутил какое-то особое родство со мною. А что тут удивительного? Всё дело было в поэзии и в том, что оба мы жили ею.

В тот раз, в день знакомства нашего, мы, конечно, читали друг другу стихи. Но как же — без этого? Было это, наверное, что-то вроде визитных карточек. Почитали друг другу — и многое стало ясным. Само по себе. И слов никаких лишних не потребовалось.

Ах, что это за время было — когда стихи жили в устном исполнении, воспринимались — с голоса! Орфическая пора. Такое — не повторится. Хорошее бывает только раз.

Он почитал мне — своё. Я почитал ему — своё. И началось — общение. Творческое. Настоящее. Да нет, наверное — дружба. Особая. Дружба поэтов. Отчасти — соревнование. Больше — потому, что не общаться мы просто не могли. Конечно, это судьба. Разумеется, этого просто не быть не могло. Свыше было сказано — быть! Вот поэтому оба мы и восприняли это как должное.

Величанский был старше меня на пять с половиной лет. Разница в возрасте вроде бы и подразумевалась, но не декларировалась. Мы всегда общались на равных. Да ещё, если вспомнить, как рано я начал писать стихи и как быстро сформировался как поэт, разница в годах и вовсе исчезала, за ненадобностью. Жили мы — настоящим.

Саша был человек совершенно московский. И, хотя и родился он в Греции, оторвать его от столицы было невозможно.

Парень из благополучной советской семьи. Из московской золотой молодёжи. Отец — журналист-международник, со своими границами, положением. Английский язык — ну прямо как русский. Повадки, замашки. Компании. Пьянство — масштабное, крупное. Помимо университетских занятий на истафке — неутомимое самообразование.

Многое приходилось ему навёрстывать после армейской службы где-то в Белоруссии, в лесной глухомани, в ракетных частях, где московская Сашина компания — Петя Шушпанов, Вадик Гинзбург, ещё кто-то — пребывали, как в потустороннем мире, держались дружной, сплочённой стайкой, выживали, как умели, как получалось, пили самогон и прочие напитки, пили регулярно и крепко, так, что, например, когда выпадала возможность побывать в соседнем селе, то Шушпанова, уже надравшегося так, что больше не было смысла добавлять, дабы он не потерялся где-нибудь по дороге, они просто зацепляли его собственным ремнём за забор, вывешивали, так сказать, на воздух, а сами отправлялись в свой поход, и по возвращении в воинскую часть проспавшегося Петю с забора снимали, — впрочем, о периоде армейской службы московских приятелей куда лучше сказано в романе Шушпанова «Вброд через великую реку», до сих пор неизданном, а давно бы надо сочинению этому славному свет увидеть, — итак, после армии нужны были Саше — знания.

Он очень много работал. Помню его ранние сборники, подаренные мне. Стихи короткие, жёсткие.

— Сегодня возили гравий. И завтра — возили гравий. Сегодня в карты играли, и завтра — в карты играли. А девочки шлют фотографии, и службы проходит срок. Вот скоро покончим с гравием и будем возить песок.

Ну, это все знают. А вот:

— Выточил финку себе из напильника. Мне не в новинку — снова напился я. В клубе строителей хилому фраеру к радости

зрителей в рёбрышки вправил я. ...но светит мне — и не зацапали даже в свидетели.

Или такое:

— Трубят трубы гарью, над городом горечь. Идут хулиганы — за корешом кореш. И в чёрных машинах, зашторив оконца, кто делал ошибки — садовые кольца?

Что это? Каково? Столичный интеллеktуал. Дома — гора книг на английском языке. А тут — прямо от Холина что-то. Ну, пусть от старого Кропивницкого. Но всё-таки...

Были это — подступы к самому себе. Пробы. Именно так называл Саша крошечный этот раздел ранних стихов в сборнике «Удел», изданном с помощью друзей много позже.

— Как в отсутствие Одиссея Пенелопа себя вела? — женихи её так и сели, так и бросили все дела. Только солнышко над Элладой — ткёт старуха что было сил, а им теперь ничего не надо — лишь бы выпил и закусил.

Саша много писал и неуклонно двигался вперёд. Рос. Да, безусловно. Собственные интонации прорвались уже вскоре.

— Не какой-нибудь там, а простой парусиновый парус, и порядковый номер, и буква на парусе том, паруса задыхались, как люди, как люди, трепались и белели, как люди, на синем, потом на седом.

Потом было:

— Кто, — спросили у меня, — знает этого коня? Я ответил, что скорее, вероятнее всего это знают два еврея, два прекрасные еврея из картинной галереи возле дома моего.

Много чего было — потом.

— Я бы жил совсем иначе. Я бы жил не так, не бежал бы, сжав в комочек проездной пятак. Не толкался бы в вагоне, стоя бы не спал. На меня б двумя ногами гражданин не встал. Я бы жил в лесу усатом, в наливном саду этак в тыща восьмисотом с хвостиком году. И ко мне бы ездил в гости через жнивь и гать представитель старой власти в карты поиграть.

— Закат за осиновой сетью померк. И лёд выступает дыханья поверх. И яркая щель, что ведёт в магазин всё ярче — с исходом небес и осин. И снег заскрипел высоко в небесах и падал потом, попадая впросак, как в чашку лохматую сахар-песок — исчез на губах, на ресницах просох. Озимые люди по избам сидят. Спасибо, соседи когда посетят: ведь время — не сахар, и сердце — не лёд, и снежная баба за водкой идёт.

— Мои стихи короче июньской белой ночи, но долгим свежим сумраком окружены они. И вы о них мечтали среди стекла и стали в казённые безжизненные дни.

Саша сидел за пишущей машинкой, печатал один самиздатовский сборник за другим. Он тоже, как и я, — писал не отдельные стихи, а книги, мыслил — книгами. Как они складывались у него — не знаю. Да и вообще это тайна. Личная. Творческая. Главное, что книги он писал. Всё новые. И образовался у него постепенно свой круг. Свои у него были — ценители, поклонники. Свои задачи — в поэзии.

— Крепчайшую вяжите сеть, но бойтесь умысла, улавливая суть (у истины запаса нет съестного: у истины судьба — на волоске висеть). Пусть вытекает слово, как море из улова, забыв свою оставшуюся сельдь.

— Ничего, ничего, ещё будет в чести эта малость тепла в человеческой горсти — стает снег под твоею озябшею тенью — только ты не забудь, не отчаивайся и прости. Ничего, ничего...

Он, кажется, бросил потом университет. Но все его знания, обширные, были при нём. И талант его был очевиден.

— В продолжении рода спасенья себе не ищи: нищету своей памяти ты завещаешь потомкам — и не видят они, как ты медленно таешь в ночи — на глазах исчезают, окутаны временем тонким. Никого не вини. Никому не печалуйся в том. Одиноким виденьем становится жизни истома. А кругом — тот же скарб, тот же скрип у дверей — тот же дом, тот же скверик с детьми перед окнами зримого дома.

— Лист оборвавшийся в каменном городе кружит. В каменном городе — синие стёкла да камни. Камнем упала огромная первая капля в полуистлевшие старые пыльные лужи. Красный трамвай через мост продвигается синий. Чёрная очередь вьётся у жёлтой палатки. Серые листья на землю лиловую падают. Водки зелёной куплю поскорей в магазине.

— Ты не плачь, моя прекрасная, я молиться научусь, чтоб печаль твоя безгласная полегчала хоть чуть-чуть. Ты не плачь, моя печальная — это мне не по плечу — чистым золотом отчаянья я за это заплачу.

— Столько нежности сжалось во мне, столько горькой тоски по тебе я вобрал в свою душу, что порой удивительно даже, как ты можешь ещё оставаться вовне, как ты можешь ещё оставаться снаружи — на чужбине ноябрьской стужи, на бульваре пустом с ледяною скамьёй наравне.

— За одиночество, мой друг, нам надо выпить — годы вхожи к нам запросто теперь, и ворох шуб и пьяный шум исчезли из прихожей. По улицам бегут весельчаки, к гитарам прислоняются чубами, и девочки чуть тёплыми губами улыбок открывают тайники. Лучатся фонари. И скоро — полночь. Итак, за одиночество, мой друг, единственное, может быть, единство. За время, удлиняющее ночь.

— Я научился плавать — знаешь где? — в эгейской одиссеевой воде, да, по которой плыл к своей беде царь Агамемнон в наказание — и ветер нёс обрывки кос Кассандры-кликуши, а на Патмосе пророк лежал ничком. Пророческая пена — предтеча будущего пепла теснила берега ребяческий мирок... Два дюжих югослава, раскачав, меня в прибой швыряли, и волна мне помочь старалась выбраться на камни, ещё чуть тёплые сначала, сгоряча. Неподальёку от Афин, в воде не чуя огненного сплава, узнал я, что умение плавать в том, что плывёшь один.

Работал — как все. В сторожах, частенько. Ну а когда стихотворение «Под музыку Вивальди» стало песней и песню эту начали часто исполнять, — некие скромные гонорары за ис-

полнение песни приходили ежемесячно, равные примерно зарплате сторожа, — но и это ведь было кстати.

— Под музыку Вивальди, Вивальди! Вивальди! под музыку Вивальди, под вьюгу за окном, печалиться давайте, давайте! давайте! печалиться давайте об этом и о том. Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко! вы слышите, как жалко и безнадёжно как! Заплакали сеньоры, их жёны и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И всем нам стало ясно, так ясно! так ясно! что на дворе ненастно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы когда-нибудь, Бог даст. И только ты молчала, молчала... молчала. И головой качала любви печальной в такт. А после говорила: поставьте всё сначала! Мы всё начнём сначала, любимый мой... Итак, под музыку Вивальди, Вивальди! Вивальди! под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок переливы и вьюги завыванье условимся друг друга любить что было сил.

Потом начались переводы. Константинос Кавафис. Вот, например. «Фермопилы».

— Честь и хвала всем тем, кто в этой жизни обрёл и защищает Фермопилы. Кто никогда не поступался долгом, кто справедлив равно во всех деяниях, но справедливостью печальной, милосердной; кто щедр в своём богатстве и тогда, когда он беден — щедростью врождённой, готовностью всегда помочь по-сильно, кто только правду говорит и всё ж сам не унижен ненавистью к лгунам. Честь ещё большая им подобает, если они предвидят (а ведь многие предвидят), что под конец возникнет Эфиастис и что мидийцы обойдут их всё же.

Даже Шекспир. Почему бы и нет? И Шекспир. Чтобы в русской речи он жил. Чтобы голос Величанского он обрёл — в небывалой полифонии, в перекличке всех голосов, говорящих по-русски за него, в каждом случае — неизменно — по-новому, с каждым новым столетием — продолжающих говорить, ибо сущность поэзии есть движение во времени и пространстве,

в любых измерениях, в любых направлениях, везде, где всегда она дома и в гостях у души, ибо свет его слова долговечней иных. Переключка так переключка. Переводы есть переводы.

И все последующие годы — стихи, стихи, стихи.

А тогда, в сентябре шестьдесят четвёртого, помню, Саша впервые приехал ко мне на Автозаводскую — и читал с листа мою осеннюю книгу. Сохранилась она, к сожалению, не полностью. Изрядную часть, в тяжёлые минуты, о которых неохота вспоминать, я уничтожил. Саша читал мои стихи, впиваясь в каждую страницу взглядом. Читал — не просто усваивая, но — осмысливая. Входя в мой мир.

Несколько позже, зимой, там же, в комнате на Автозаводской, читал он начальные композиции моей книги «Декабрь — май». Вещи это сложные, в достаточной мере мистические, в чём сам я до сих пор убеждаюсь. Непривычными, слишком уж новыми, непохожими на всё остальное, с их спиралеобразным построением, пластикой, синтезом, казались они тогда людям. Вот и Саша вчитывался в тексты — с напряжением. Но вскоре, похоже, понял, по-своему, эти стихи.

Ещё позже, осенью шестьдесят пятого, он с огромным вниманием читал только что написанную мою книгу «Лето 65». И попросил у меня экземпляр книги, на время, домой. И там засел за машинку — и принялся её перепечатывать. И такой вот процесс усвоения текстов, когда, перепечатывая их самостоятельно, человек лучше их постигает, как и в случае с Наташей Горбаневской, принёс свои плоды.

В чём-то Саша для себя — разобрался. Что-то важное для себя — открыл в моих писаниях. Такое, замечу, которое, как и Леонарду Данильцеву, дало ему некий нужный импульс для собственного творчества. Слава Богу, что так!

Саша сам говорил мне об этом. Откровенно. А что тут скрывать? Было это совсем давно.

Снег ли, дождь ли сегодня в мире — возвращусь я туда, где свет в сентябре золотист и молод, как и мы когда-то давно, не

единожды. Вижу, вижу всё, что было со мною в прошлом. Понимаю — и говорю.

Память высветлит ненароком потайной сквозь пространство ход, питает подспудным током каждый день мой и каждый год.

Вспоминаю Диму Борисова — в шестьдесят четвёртом, всё той же прекрасной осенью наших дружб, общения нашего удивительного, когда ощущение славной плеяды росло и крепло во мне, — вспоминаю его в родительской квартире, просторной, светлой и чистой, где была у него своя комната, и дом на улице Жолтовского, солидный, стоящий несколько обособленно от прочих, осторонь от Садового кольца, неподалёку от Патриарших прудов, дом, перед которым росли деревья, от которого было рукой подать до сада «Аквариум», до метро «Маяковская», до одноимённой площади с памятником поэту, месте тогдашних поэтических чтений, с рестораном «Пекин» и театром «Современник», — вспоминаю Диму — в его комнате, сосредоточенного, серьёзного, поглядывающего из-под очков на гостей, не столь уж частых здесь, что-нибудь говорящего — разумеется, интересно, переполненного информацией, знающего так много, что казался он кладезем эрудиции, просветителем, да и только, — память его в самом деле вмещала многое — и охотнейшим образом он им делился с нами тогда, и включались мы в разговор, интересный для всех и полезный, — а потом возникала идея куда-нибудь переместиться, чтобы там продолжить общение, и звонили, и договаривались, и, собравшись поспешно, все вместе, выходили мы в осень, в сентябрь, и куда-то шли, разговаривая, и совсем не хотелось нам расставаться, и день сменялся гулким вечером, ночь надвигалась, надо было успеть на метро до закрытия, чтоб добраться домой, мы прощались, разъезжались, — но утром снова мы встречались — в университете, на занятиях, на «психодроме», шли пить кофе в «Националь», благо стоила чашка кофе копеек семь, ну а в «Марсе» и вовсе дёшево — пять ко-

пеек, — ну а потом возникала опять идея всем собраться где-нибудь вместе, почитать стихи, да и выпить, и куда-то ехали мы, и в компании нашей Дима был, конечно, лидером, — впрочем, все мы были тогда полны молодой энергией, — так вот, непрерывно, спиралеобразно, вместе с осенью, вместе с дружбой, время шло — но его так много было — в сердце, в душе, для творчества, для учёбы, для дружбы, для жизни, что, казалось, надолго хватит, как и света в былом сентябре.

И, его вспоминая слова, я в затворничестве говорю:

— Слова твои, Дима, сказаны — когда-то, совсем давно. Когда-то — была и дружба. И свет её — жив поднесь. Приходит он временами — оттуда, из шестидесятых, приходит из семидесятых, приходит из восьмидесятых, и даже из девяностых приходит, упрям и смел. Что было — то было. С нами — бывало всякое. Помню о том, что вело, спасало, о том, что хранило — речь. Ночь. Я один. В окошке — осень. Совсем не такая, как в юности нашей. И всё же — осень надежд и щедрот. В доме тихо — и в мире тихо. В доме пусто — и в мире пусто. Потому что друзья — ушли. Нет их в мире — и нет их в доме. Не дождёшься. Ушли. Исчезли. Так ли? Нет. Не исчезли вовсе. Живы — все. Ибо жив — и мир. Правда, если зовёшь их — вряд ли дозовёшься. Молчат. Но — смотрят: из своей глубины далёкой, из легенды светлой своей, на меня. Ждут чего-то. Слова? Да, конечно. Слова — и только. Но — живого. О том, что было. О таком, что всегда — со мной. Да и с ними. А как иначе? Слово было — со всеми нами. Слово — есть. И оно сегодня — с нами вместе. Мы — с ним. И — в нём. Слово — слава. И слово — сила. Слово — право: о том, что было, говорить. Слово — кровью в жилы, чтобы ладить уметь с огнём.

Вижу Сашу Соколова — чуть сутулящегося, хоть и крепкого, всё поглядывающего из-под чёлки цепким, частности схватывающим, подробности запоминающим взглядом, — там, в на-

чальную пору СМОГа. Почему-то мы с ним — перед зеркалом. Говорим. Вернее, он — слушает. Говорю — лишь я. Но о чём? Ну-ка, зеркало, вновь напхни! Говорю я ему о том, как привык я сопротивляться всяким бедам, всему, что мешает, что обязан я победить, — и для пущей убедительности принимаю боксёрскую стойку — и луплю кулаками нечто, пусть невидимое, но явственное: так вот! так ему! получай! не мешай дышать и работать! убирайся! сгинь! пропади! резче, чётче, ещё точнее, всюю массой — удар! удар! — что, не нравится? — то-то впредь будешь знать, на кого попёрло! — ты получишь своё — всегда! — отвяжись, рассыпся, исчезни!.. Никакой не спектакль. Привычный и давнишний мой — бой со злом. Саша слушает, Саша смотрит — и молчит. Мотает на ус. Взгляд его — сквозь зеркальную гладь, сквозь его отражение в ней — ускользает куда-то, потом — проникает вглубь, исчезает — непонятно где. Саша входит, словно в дверь открытую, в зеркало. Здесь он, рядом, — и нет его. Там он, где-то, — и всё же здесь. Где же он? Между тем, кто здесь, и ушедшим в зеркало. То есть в ирреальном он — и в реальности. В измерении соколовском. Личном. Тайном. Открытом вдруг. Он — на грани. А что — за гранью? Саша думает. Он напряжён. Там, в грядущих семидесятих, он пройдёт сквозь иное зеркало — вглубь и вдаль — и уже останется — там, за гранью. Причём надолго. Приютит его зазеркалье. Навсегда ли? Поди гадай!

Век уходит — и я говорю:

— Прямо из Греции, Саша. Где всё есть? Не бывал, не знаю. И дело не в этом, а в том, что прибыл ты — прямо из Греции. Для тебя — ничего удивительного. Просто — в стране этой жил ты. Временно. Жил — у моря. На вилле. Чьей-то, понятно. Не своей, а чужой. В тишине. В покое. В тепле. С женою. Зимой — камин топил. Дровами масличными. Щурил глаза свои из-под чёлки. Наверное, залетали средиземноморские чайки — левантйские, так скажем, — во двор твой. Наверное, ты, погляды-

вая в окошко, думал — то о погоде, то о том, что пора бы приехать тебе в Москву. С тобою мы — в кои-то веки — обменялись письмами. Ждал я твоего возвращения на родину. И ты — приехал. И вот мы встретились — через годы, слишком длинные, слишком разные — у каждого. Пообщались. И снова ты вдруг — исчез. В пространстве передвигаться — несложно. И спрятаться можно. И там затаиться. Наглухо. С гарантией: не найдут. Куда сложнее — во времени свободно передвигаться. В нём я давно уже — дома. В нём я дома — всегда. И где бы ты ни был, Саша, тебя я вижу повсюду. Глаза упрямца. Повадки конспиратора. Или — школьника, убегающего с уроков. Стремление: быть, по возможности, в форме. Спортивной, конечно. Тренажёры. Горы. На лыжи! На воздух! Да чтобы — почище. В тишину. В глухомань. К здоровью. Чтоб никто не мешал — дышать. А может, и для того ещё, чтоб там, в покое, на воле, вдали от людей, от родины, где-нибудь там, в Канаде, где ты родился, не письма — мне, например, а прозу, новую, новые книги, пусть медленно, да, надеюсь, верно, вынашивать — и писать.

— Алейникову доступны выдающиеся озарения. И думаю — несомненно — эти озарения коснутся его в недалёком будущем самым явным образом, — говорит Игорь Ворошилов. — Я считаю Владимира Алейникова первым поэтом на сегодня. Когда он преодолеет язычество — это будет ослепительный свет. Естественно, в его стихах постоянное боре́ние с тьмой, ибо он не может не знать, что «Бог есть свет и нет в Нём никакой тьмы». В этом смысле он — человек Гармонии.

И я, Гармонии хранитель, говорю:

— Дорогие годы прошли. Миновало столько, Игорь, что нет ему счёта. Молодость — далеко. Но — вот она, здесь. Никуда не ушла — из памяти. И не думала уходить. Не могла меня — одного — просто так, потому что — в прошлом, как привыкли

считать, она, — здесь, от всех вдалеке, оставить. Нет, она — в настоящем. И, знаю, — в том грядущем, где все мы встретимся. Настоящее с предстоящим — в давней дружбе. Они — заодно. Настоящее связано с прошлым — тем грядущим, в котором всем нам суждено пребывать — потом. Там — тот свет, о котором грезил ты. Нет — язычества. Есть — ведический, давний, вечный, спасительный свет. Всё, что создано нами, — будет им в грядущем озарено. Потому что свет — это творчество. Потому что творчество — свет. Нет в нём тьмы, да и быть не может. Свет же — свят. Потому что свит из волокон живой материи. Соткан. Создан. Рождён — однажды — и, конечно же, — навсегда. Будет свет. Будет жизнь. Природа не допустит утрат живого. Мир останется — гармоничным. Наше время — пребудет в нём. Наше время — частица мира, в коем истинны кисть и лира. Бах. Межзвёздная ткань клавира. Сохраним — и потом вернём.

Вспоминаю Игоря Ворошилова — работающим. Он в моей квартире. Временно обитает. Намаялся где-то. Пришёл. Отдыхался. И вот — потянуло к трудам. Он рисует. Сидит в углу — здоровенный, сгорбленный над случайным листком бумаги, который держит у себя на поджатых коленях, подложив под него картонку. Листок расцветает, живёт. Он тянется за другим листком. Потом — ещё, и ещё. И так — покуда не изрисует целую пачку бумаги. Ну а потом — перерыв. Смотрим рисунки. Радость. Ворошилов устал, но доволен: слава Богу, что есть возможность поработать! Знал: перемучится — и опять придёт состояние равновесия и подъёма. Я за друга рад несказанно. Вечер. Музыку я включаю. Осень плещется вместе с дождём прямо в окна. Возможно, кто-нибудь из бессчётных моих знакомых к нам заглянет на огонёк. Ну а может, никто не придёт. Зажигаю свечу — и вижу отраженье её в оконном, запотевшем, тёмном стекле. Ворошилов встаёт. Я вижу в том же самом стекле оконном отраженье лица его. Со свечою — лицо. Два знака.

Два источника света. Вставший, в тёмной глубине оконной вижу рядом с ними — своё лицо.

Вижу Аркадия Пахомова — на заре его артистизма житейского. Полный стакан в руке. Вино. А может, и водка. Градусы нипочём русскому богатырю! Короткая стрижка. Лоб с едкой морщинкой. Глаза — этакие, с прищуром. Отсутствие бороды — пока что. Потом — появится. Как и у всех знакомых. Как же — без бороды? Но пока что её нет. Щёки и подбородок — выбриты. Рубашоночка свежая. Пиджачок. Выглаженные брюки. Ботинки — как раз по ноге, вычищенные. Ухожен. Дома о нём — заботятся. Нагуляется — и возвращается. Отоспится, сил наберётся — и вновь на подвиги. Так и живёт сочинитель стихов — про крольчат, про товарный, про Пугачёва, и даже про Ленина — думающего, глядящего на облака. Стоит со стаканом Аркадий. Потом — выпивает, залпом, содержимое. Крякает, ухает. Со вкусом. Вполне артистично. Закусывает — символически. Закуривает — с удовольствием. И вот он — уже в настроении. Даже, возможно, в ударе. Начинает рассказывать — байки, всяческие истории из жизни литературной. Здесь он — неподражаем. И даже неотразим. Слушатели — довольны. Нравится им всё это. Надо уметь — рассказывать. Не всякому это дано. Пахомов — умеет. Он — в центре вниманья. Он — главный в застолье. Он — самый важный. Здесь он — царит. В кругу знакомых — ему хорошо. Все у него — в приятелях. Все у него — в друзьях. А если не все, то — многие. Так вот, за годом год, рассказывает Аркадий байки свои. Постепенно начинает он повторяться, заговариваться. Он теперь — бородат, как и все. И немолод. Но всё ещё — артистичен. Привык. Иначе — нельзя. Есть у него, кроме баек устных, ещё и басни — записанные на бумаге, вроде бы. В девяностых, обычно выпивши, ночью, негаданно позвонив, чтоб, как и встарь, пообщаться, пусть и по телефону, читает он эти басни — с вы-

ражением, артистично, — мне, например. А то и хочет поговорить по душам. Но звонит — всё реже. Да и я бываю нечасто в Москве, где вырос Пахомов, где его артистизм расцвёл. Приключений бывало вдосталь у него. Стихов — маловато. Но зато — все их помнят. И в книге — есть они. Книга — есть у друзей, у приятелей, у знакомых, у любителей литературы. Есть Москва, и в Москве — Пахомов. Есть Пахомов — жив артистизм, пусть он выцвел слегка, износился, по дорогам поистрепался, поукас в бесконечных застольях, — он упрям — и Пахомов упрям. Потому и живёт, как хочет, по законам — своим, незаёмным. Потому и поэзию любит — в жизни, в дружбе, в писаньях своих, в байках, в драмах, в романах, в заработках, в телефонных беседах, в памяти — о хорошем, о самом лучшем, о былом, о таком дорогом. День за днём собираются в годы, ну а годы — в десятилетия. В них присутствует — он, Пахомов. С артистизмом своим. В Москве вряд ли сыщешь другого такого. Колоритнейшая фигура. Не хухры-мухры. Помнят многие выпивоху и балагура. Помнят, помнят столичные жители в какбывременном разобщенье человека, в котором видели то плывущего по теченью, то казавшегося невиданным удальцом — и в геройстве этом так доселе и не увиденным. Ну а был он — и есть — поэтом.

Вот и я, с обрётённой свободой своей, говорю:

— Наверное, так, Аркадий. Похоже, что так. Пожалуй. Наверное, всё — со мною. Свобода — прежде всего. Пушкинские, заветные, родные покой и воля. Свобода — быть человеком. Свобода — жить. Созидать. Наверное, так, Аркадий. Жить по законам искусства — непросто. Вспомни о быте. Различным бывает он. Хочешь — ныряй с головою в него, а хочешь — выныривай. Можешь — преображай его. Иначе — заест. Сожрёт. Вырывайся из быта. Иначе — кранты. Покуда не поздно — вырывайся. Чурайся инерции. Впрочем, разным бывает быт. А свобода — совсем другое. Свобода — она такая: совладать по-

пробуй-ка с нею, или — общий найти язык. Свобода — это не только приволье. Это — работа. Непросто привыкнуть к этому. Свобода — певческий труд. Свобода — жреческий подвиг. Да. Ни больше, ни меньше. Готовность к порыву, к взлёту, к паре-нью. И всё это — труд. Полёт в пространстве — работа. Порыв сквозь время — работа. И память — работа. Свобода — жизнь внутренняя. В трудах. А внешне — да мало ли кем ты кажешь-ся, певчий, кому-то! Духовным зреньем ты зорок. Внутренним светом ты жив. Зов мой давний, свобода! Кров мой вечный, свобода! Воз мой, который ташу я, мученья привычно скрыв. Да что вы знаете, други, о том, что такое — свобода? Други вы или недруги — кто скажет сейчас? У вас — есть, наверно, догад-ки, прикидки, намётки, попытки — приблизиться к понима-нью, быть может — не в первый раз.

Помню Мишу Соколова, Михалика, — так все мы его назы-ваем, — там, всё в том же сентябре, когда вместе мы учиться начинали в университете — и мгновенно сдружились. Оказа-лось, что это — надолго. Миша был уже тогда — серьёзным. Сосредоточенным — на том, что важным было для него. Так что же, весь — в себе? Нет, конечно. Был и компанейским пар-нем. Но способен был — мгновенно, в ситуации любой, пере-ключаться на своё, на то, что там, внутри. Непрерывная работа шла в нём. Был он создан для труда. И этот труд был, конечно, творческим. Но тоже — не таким, как у прочих. Будучи поэтом, он сумел поэзию внести и в искусствоведение. Книги, им напи-санные позже, говорят именно об этом. Сам он — сед. И куда серьёзнее, чем прежде. Он известен. Мир он повидал. Ходит по музеям заграничным. Дочку ездит в Лондон навещать. А в Мо-скве он — человек домашний. Вечно за компьютером сидит. Пишет. Размышляет. Он — в трудах. Целых тридцать восемь лет назад, в коридоре университетском, встретились впервые мы. Теперь изредка мы видимся, поскольку он — в своих тру-дах, а я — в своих. Но вниманье прежнее — осталось: в нём —

ко мне, во мне — к нему. К трудам нашим. Ко всему, что в судьбах наших. Всё — не так-то просто. Всё — всерьёз.

И вот я, здесь, у моря, говорю:

— Набродился я, видно, Миша. Наскитался — за десятерых. Ветер. Чайки кричат над морем. Осень. Листья желты в садах. Веет чем-то — чуть горьковатым, невесомым, едва уловимым — то ли вновь цветущей полынью, то ли молодостью моей. За холмами — горы. Над ними — облака. И сквозь них порою пробивается луч звенящий — словно руку мне тянет свет — через годы, сквозь век бредовый. Нитью можно прошить суровой рванный ворох невзгод и бед. Нить смолёная за иглою проскользнёт ли сквозь бремя злое дней, клубящихся там, за мглою, застилающей чей-то след? И на оклик — ответа нет. И тропа моя тихо вьётся — и над нею сквозит, сдаётся, и в душе моей остаётся звук бывшего — мне легче с ним, потому что он в песню входит, в мир мой сызнова сам приходит, — а над миром звезда восходит сквозь вечерний слоистый дым.

И говорю я в отдалении своём:

— Символ времени. Символ веры. Знак судьбы. Пространства завет. Образ мира — и грозной эры. Грустный голос. И — ясный свет.

Кто услышит? И я говорю:

— Посреди междувременья — жив я. И спасаюсь — работой. Трудом. И слова твои — помню, Виталий Пацюков. Прекрасно их помню. Кто мне скажет — где ты сейчас? Не в Америке — так в Европе. Или — там, в толчее столичной, там, в Москве, что из русской стала непривычно чужой? Кто знает! Мудрено тебя разыскать. Где-то есть ты. Надеюсь — есть.

Говорю я — кому? Говорю. Почему? Потому что — надо:

— В одиночестве давнем своём жив я всё-таки — видит Бог!..

И я говорю — о важном:

— Надо сказать, что дружба — это не отговорка, не пустая обмолвка, Юра Кублановский, попросту — Куб. Дружба — творческий труд. И, конечно же, дружба — дар. Не всем он, увы, даётся. Притворщиков — слишком уж много. Обманщиков — пруд пруди. Друг ли ты мне? Да вряд ли. Так неужели — не друг? Дожили. Что же — дальше? Да кто его знает! Век общенья — уходит? Странно. А как же — вниманье? И даже — изредка — пониманье? Пришло отчужденье? С ним так и сживутся? Хуже? Выходит, что породнятся? Вот оно, разрушение основ! Но в мире — светло, пусть в нём и одиноко. Песни мои — в затворе. Море пустынно. Грустно. Горько — и тяжело.

И сизнова я говорю:

— Верю в чудо и верю в слово. Вспоминаю зарю свою. Слава мира и право крова — там, в холмистом, степном краю.

...Я вспомнил, как в конце семьдесят третьего года, завершая книгу «Отзвуки праздников», отправил я в Москву, Сапгиру, изрядную грудку своих новых стихотворений и поэм, рукописные и машинописные сборники, украшенные моими рисунками, несколько наивно, может быть, но зато уж старательно, как и всегда, оформленные. И Генрих сделал широкий жест, из тех, на которые был он способен, а тем более, было это очень даже в его духе, — прислал мне денег на дорогу. А на обороте почтового извещения о переводе — написал он такие стихи: «Прими Поэт мой скромный дар мне предсказали Пифии что Музы сохраняют твой дар в забытой Богом Скифии». Вполне по-сапгировски. И — по-дружески. Что в далёкие, сложные, а нередко — тяжёлые, годы — было дорого для меня. И я сумел тогда выбраться — из Кривого Рога, из Скифии, — и опять начались скитания, ну а с ними — и новая книга.

(В девяностых мне говорили, что Сапгир выставял мои книги — самиздатовские, разумеется, и, скорее всего, те самые,

что прислал я ему когда-то, ну а может быть, и другие — из подаренных мною встарь, от души, собрату-поэту, — и не где-нибудь, а в Третьяковке, на какой-то огромной выставке. Что ж, бывает и так. В это время вновь я жил вдали от Москвы, но теперь уже — в Коктебеле. Жизнь моих самиздатовских книг продолжалась — уже вне меня. Были сами они по себе. Где хотели — там появлялись.)

Двадцатого ноября — у Генриха день рождения.

Был бы. Если бы он был жив. Был — на белом свете.

Осень — а Сапгира нет на свете.

Был бы жив он — позвонил бы я ему и поздравил: с днём рождения, Генрих! —

с днём рождения, или — пробуждения? — или наваждения? — как сказать! — с днём вхождения, с днём предупреждения, или даже — с днём перерождения? — побуждения? — или восхождения — но куда? — и нитей не связать? — и узлов, как встарь, не развязать? — нет, не верю! — живы убеждения в том, что злу нас на испуг не взять, — в ноябре добру забот хватает, — что за дух с эпохой витает? — что за слух поодаль обитает? — что за вздох в пространство улетаёт, чтобы время вспыхнуло опять светом, что встаёт и возрастает вглубь и ввысь, чтоб возвратиться вспять? — впрямь тропа к тому не зарастает, что зовёт нас — петь, — а там и в путь, — что за воздух непогодь глотает, норовя вблизи передохнуть, да на ус, как некогда, мотает, кто есть кто, чтоб взять да обмануть, словно книгу, жизнь перелистнуть? — нет, не то когда-то испытает, что простит, а может быть — питает влагой светлой, — что-нибудь растает, чтоб остались — истина и суть.



За тобою — прожитые дни, облака, встающие отвесно, всё, чему в сознание стало тесно, — так раздвинь завесы и взгляни — не туда, где были мы с тобой молодыми, смелыми, хмель-

ными, а туда, где ранами сплошными изморщивен плещущий прибор.

...Стоял июнь. Приехал Кублановский.

Прибыл — на пару с дамой.

— Здравствуй, Володенька!

— Здравствуй!

— Можно?

— Входи!

Приехал сюда — отдохнуть. Знать, от трудов праведных.

Ну, что же! Вольному воля. Принял. Привёл их в дом.

Сон мой — о Кублановском.

Заманил он меня за границу. Не куда-нибудь, а в Париж. Зачем? Поди догадайся! Почему — в Париж, а не в Мюнхен? Почему, например, не в Лондон? Там живёт Володя Брагинский, ныне — житель британской столицы, уважаемый всеми профессор, знаменитый востоковед, в давнем прошлом — друг мой московский, но ещё и хороший прозаик; мне приходится кумом он, потому что он крёстный Оли, младшей дочки моей, — и он-то, вспомнив дружбу нашу былую, осадил бы, наверное, Куба, пожурил бы его, небось: что ж, мол, ты, такой да сякой, вдруг срываешь с места Володю и зовёшь незнамо куда, в совершенно ему ненужный, хоть, конечно, весьма колоритный и теперь-то вполне доступный, сотни, тысячи раз воспетый всеми в мире, кому не лень, пресловутый, да всё-таки дивный, как известно, славный Париж? И Куб смутился бы сразу. И, может быть, передумал. Но Брагинского не было рядом. И некому было пресечь, в корне, понятно, в зачатке, преступные замыслы Куба. И Куб меня заманил довольно легко — в Париж.

Опоил меня чем-то Куб, уж сумел, исхитрился как-то, улучил момент, расстарался, заморочить сумел мне голову беско-

нечными байками, рассказами о красотах западной жизни, о свободе за рубежом, сладкой, лёгкой, всем по карману, и тем более — нам двоим, нам, товарищам старым, смогистам, при советской власти известным во пределах отчизны нашей, ну а также, что было, то было, за пределами нашей отчизны, нам, соратникам, нам, поэтам, да, поэтам, певцам свободы, уж такой, какою она представлялась нам в дни страданий и гонений, то есть особой и никак уж не зарубежной, а, скорее, сугубо личной, и, наверное, так и надо, да, конечно же, так и надо, то есть так было раньше надо, а теперь, как мне разъяснил рассудительный и сметливый, даже, может быть, и толковый, приживавшийся всюду Куб, мне пора бы вкусить свободы совершенно иной, парижской, се ля ви и шерше ля фам, пуркуа, ля мур и бонжур, мон ами, бель Пари, уи, то есть той, что мне не известна, по его же словам чудесна, эх, свободы глоток испить бы, погулять бы, во всю бы прыть бы побежать бы к цели конечной, чтоб с улыбочкою беспечной смаковать несравненный вкус жизни, той, что мне и не снилась, но с которой любой француз на короткой ноге, чтоб длилось наслаждение бытием и успело в сердце моём поселиться, укорениться, чтобы позже ночами сниться, как случается с Кубом это, — и какое там чудо света, ну, по счёту, эта свобода? — что за счёты? — свободе — ода! — одурманил, такой-сякой, бывший житель парижский, сознание.

Но не алкоголь это был! Так что же? Да кто его знает! Учёл, разумеется, Куб, что я много лет не пью. Уж что-нибудь да подмешал, какое-то зелье коварное, — из рыбинских, знать, лесов, из мшистых болот, — в мой чай. И зелье сие — подействовало. И я согласился вдруг с ним ринуться в путешествие, вдвоём. В Париж так в Париж!

И вот мы уже в самолёте, как-то сразу в нём оказались, как-то слишком уж быстро, стремительно, так, что трудно такое понять, нет, не трудно, а невозможно, причём я зачем-то — с вещами (наскоро собирался), — сумка, но что в ней — не помню,

что-то сунул туда наобум, ведь летим не куда-нибудь, а в Париж, к зарубежной свободе, где нарядные люди гуляют посреди Люксембургского сада, где летят к Елисейским полям песни Лёши Хвостенко, а следом тень Максимова молча летит, чтобы в тихом небесном кафе или в баре каком, в зазеркалье, пообщаться с тенями Галича, Делоне и даже Синявского, и, конечно, с тенью Некрасова, помянуть журнал «Континент» добрым словом, а с ним и «Синтаксис», а потом раствориться в листве, за которой сквозит, истаивая на ветру, диссидентское прошлое эмигрантов, поэтов, прозаиков и художников, словом — всех, — да, я в куртке, и в старых джинсах, и в футболке, но то ли в стоптанных, в меру рваных домашних тапочках, то ли даже, увы, босиком.

Летим. Потому что — везут. По воздуху перемещают. Несут. Как под белы ручки. В пространстве. Сквозь время. Вперёд. Под музыку. Что, Вивальди? Без музыки. Только моторы гудят. Стюардессы разносят напитки, закуски. Летим. Во Францию мчимся. К свободе. Не нашей, а заграничной. И вот мы почти у цели. И вот уже — прилетели.

А деньги — мои, разумеется. Откуда у Куба деньги? Он служащий. Служит в журнале. Работник печати. Зарплата — сто долларов в месяц. Гроши! Ну, впрочем, возможности есть ещё подработать. Он шустрый. А так, для других, он бедный. Особенно — для друзей. И просто-напросто нищий. Хватило бы на метро. Не кормит его секретарство в союзе писателей. Трудно прожить бедняге поэту в суровое Смутное время, среди сплошных новых русских, на даче ли в Переделкине, в редакции ли новомировской, везде, куда ни посмотришь, везде, куда ни шагнёшь, сплошные трудности. Сложно на свете нынче прожить. Не то, что мне! У меня зарплаты и вовсе нету. И заработки ничтожны, случайны. Однако я нашёл на поездку денег. Для нас двоих. Я сказал:

— Что ж, Юра, коли зовёшь, поедem за мой счёт!

Он говорил — квартира есть у него там, в Париже. Есть где остановиться. Город посмотрим. А там — поглядим, что делать, как быть. Поживём — увидим. Всё будет, как везде говорят, о'кей. То есть — всё хорошо. И так далее.

Прилетели. Я возбуждён.

Мы спустились по трапу вниз.

Мы стоим на земле французской.

Мы в Париже. Ну и дела!

Но чего-то вроде бы всё же не хватает. Чего же? Эх, так и есть. Спихватился поздно. Вспомнил. Сумку забыл в самолёте.

Говорю я об этом Кубу.

Он, с усмешкой, с небрежным жестом:

— Ничего, потом отдадут.

Ну, ему виднее, наверно. Знает, что говорит. Бывалый. В заграницах поднаторевший. Отдадут — значит, отдадут.

Куб ведёт меня за собой.

Он в очках, с подбритой бородкой.

Он идёт небрежной походкой.

Парижанин. Герой. Плейбой.

Гость варяжский. Ума палата.

Мы — в Париже. Идём куда-то.

Куб — шагает.

И я — за ним.

(Чем-то смутным уже томим.)

Он — к машине, к своей машине, ждущей его на стоянке возле аэропорта, — странная, вроде фольксвагена, а всё-таки не фольксваген, какая-то слишком гибридная, сборная, чужеродная в мире автомобильном, чуть ли не потусторонняя, чёрная, с перебором в цвете, черна как ночь, попросту жутковата, этаким скарабей, смешанный с пауком, с тёмными скользкими стёклами, с откидным суставчатым верхом.

Открывает бесшумную дверцу тускло блеснувшим ключом. Садится за руль. Устраивается на сиденье. Включает двигатель. Делает знак мне рукою, этак вальяжно, лениво, чуть ли не снис-

ходительно, — что ж, мол, стоишь? — залезай. И я залезаю в машину. Сажусь на сиденье переднее, поудобнее, справа от Куба. Он сразу же с места срывает фольксвагенно-скарабеево-париже-паукообразную, как ночь европейская, чёрную, гибридную, жуткую, сборную, как сам он, машину свою. Шины шуршат по асфальту, чистому, без колдобин, вымытому стиральным — всю грязь долой — порошком, старательно вымытым, с толком. По улицам, просто стерильным в своей чистоте наглядной, мы едем. Едем — в Париже. Движемся. Едем — вперёд.

Едем куда-то, едем. И всё никак не приедем.

Куб — за рулём. В очках. С подстриженной жёсткой бородкой. Правит он экипажем. Своим. Гибридом фольксвагена со скарабеем, ночью, мраком и пауком. Куб — он и здесь, в Париже, как сыр катается в масле, и жить ему в мире удобно, поскольку он просто — Куб. Куб — из-под глыб? Ему люб цивилизации лоск. Он мягок порой, как воск. Лепи из него, что хочешь? Нет, он не мягок, а гибок. Ловок даже. Он вроде рыбок, проникающих вмиг сквозь сеть на свободу. Ну как смотреть на него? Что гадать о нём? Он играть не любит с огнём. Никого не видит вокруг. Никому никакой не друг. И тем более — мне. Зачем с ним я здесь? И кому повем в граде этом печаль свою? Что мне делать в чужом краю?

Куб молчит. А мотор урчит. Едем, едем. Душа кричит об опасности — чувствует, ждёт. Сердце громко тревогу бьёт.

Куб на меня и не смотрит. Смотрит — куда-то вперёд.

И вдруг, ни с того ни с сего, непонятно — зачем, как-то сразу, слишком резко, так, что раздался громкий скрежет из-под колёс, — останавливает машину.

Вид у него — демонический, только дурного толка.

Голос — глухой, механический, и злая сквозит в нём иголлка. — Выйди-ка на минутку, — говорит сквозь зубы, — тут надо... Что надо? А кто его знает!

Что-нибудь, наверное, надо.

Я из машины — вышел.

Он этак махнул рукой, блеснул сквозь очки глазами, нажал какую-то кнопку на пульте каком-то, — что-то, с кривой усмешкой, нажал, — откидной суставчатый верх раскрылся мгновенно: фр-р-р!.. — и нет никого, и нет ничего: нет ни его, ни машины!

Я остался в Париже — один. Состояние — просто ужасное.

Иду куда-то вперёд. Улицы, всюду — огни. Слишком уж много огней. И всюду — чужие люди.

Одного из прохожих всё-таки спрашиваю по-русски: «Как пройти туда-то?» — напрасно, — просто не понимает.

Куда, к кому мне идти? Тоска. Опять одиночество. Теперь — уже на чужбине.

Иду, — большая, широкая, полная блеска улица, люди в модной одежде, сверкающие витрины. Замечаю совсем случайно: это надо же — я, оказывается, по столице французской шагаю просто-напросто босиком.

Асфальт под подошвами тёплый, но всё же... неловко, право, и не очень удобно, конечно, и не очень прилично как-то в таком вот виде идти в бурлящей людской толпе заезжему иностранцу, то есть мне, к тому же — поэту. И потом: ведь я же в Париже! Не где-нибудь. Именно здесь. Не хиханьки это. Не шутка. Отчаянье. Ну, дела! Кошмар. Куда мне деваться?

Виджу вдруг — магазин. Витрина, в ней — товар заманчивый: обувь. Открываю стеклянную дверь. Захожу. На полки гляжу. Виджу: шлёпанцы есть, сандалии. То, что надо. Как раз для меня.

Говорю продавщице конфетной, с отчаянием, по-русски:
— Дайте это!

(А что за «это» — сам не знаю. «Это» — и всё.)

Лихорадочно роюсь в кармане, весь на нервах: деньги-то где? Где искать их? Есть ли они? Есть? Остались? Или исчезли, — как и Куб, — неизвестно куда?

Переминаюсь босыми ногами. Неловко мне, так вот, в таком виде, в такой ситуации, обращаться к кому-нибудь, говорить о чём-нибудь с кем-нибудь. Вдруг подумают: ишь, босяк! Или: бомж. Или — как там, у них, говорят о таких? — клошар. Только этого мне не хватало! Как им скажешь, что я — поэт? Не поверят, небось. Босой ведь. По-французски не говорю. Объяснить не могу им внятно, кто таков я, откуда здесь, что со мною произошло. Что за дело им, парижанам, до меня! Им не до меня.

Просто ужас. Тоска. Один! Совершенно один — в чужом, до того чужом, что не знаю, как и выразить это, городе, в совершенно чужой, не нужной для меня, пусть и вправду прекрасной для других, распрекрасной для прочих, но ко мне равнодушной стране.

А конфетная продавщица, подавая примерить шлёпанцы (или, может быть, всё же сандалии?), улыбается мне приветливо и отчасти загадочно, смотрит мне в глаза взглядом сытой птицы — и отчётливо так говорит:

— Мы по-русски здесь понимаем!..

...И я в ужасе просыпаюсь.

Сердце ломит. Ну вот. Валидол.

Слава Богу, я здесь, у себя, в Коктебеле. Я дома. Дома! Постепенно я успокаиваюсь.

Ну и Куб! — ну и ложь! — заманил, — и куда? — заманил — и смылся...

Вспоминаю слова — не случайные! — Соколова Саши слова, со значением, видать, им сказанные десять лет назад, в бурном, щедром на поездки, встречи, возвращения, странном восьмидесяти девятом, в ноябре, перед слишком уж необычным, торопливым, на скорую руку, вместе с группой телевизионщиков, моим отъездом в Париж:

— Куб в Париже все ходы и выходы знает!..

Сейчас — девяносто девятый год, июнь месяц.

Я — в здравом уме, у себя в Коктебеле, в своей спальне.

Куб — дрыхнет с дамой наверху, в мастерской.

Париж — неведомо где. Но только не здесь, в Киммерии. Здесь — нет его. Это уж точно.

Такая вот, — как приговаривать любят порой романисты, авторы книг приключенческих, а может, и романтических, и даже, отчасти, мистических, — поскольку без мистики, братцы, в мире шагу нельзя шагнуть, и тем особенно — в Коктебеле, и тем более — на излёте века нынешнего, на грани, здесь, у моря, на самой кромке уходящего навсегда неизвестно куда и зачем небывалого тысячелетия, перед веком новым, пока что, для людей, ненадолго, незримым, но душой уже различным и сознанием воспринимаемым, как оправданное и заслуженное продолжение пути земного, на котором выстоять надо и сказать своё слово в мире, перед новым тысячелетием, перед всем, чему следует быть, перед светом и перед Богом, — такая вот, говорю и я, автор этой книги, — такая вот, многозначная, таинственная, многосмысленная, мистическая, без сомнения, романтическая, с приключениями, провидческая, сновидческая история, — может быть, явь?...

Сон о Василии Аксёнове и Жене Попове

Я иду — иду в одиночестве — где-то в городе. Но в каком? Не в Москве ли? Возможно, в Москве. Не в Париже ведь! Не в Нью-Йорке. Да, в Москве. Конечно, в Москве.

Я иду — неизвестно куда. Вдоль бульваров. И вдоль ампириных, так нелепо, аляповато переделанных, отреставрированных — и утративших облик свой старомодный, милый, радушный, — оттого и едва узнаваемых, — но стоящих на том же месте, где и были, столичных домов.

Я иду — в измерении странном. В неизбежном — от всех — отдалении. В непонятном — для всех — состоянии. В характерном своём настроении. То есть — сам по себе. Как всегда.

Я иду — куда-то за грань. В даль свою. Или — в глубь свою.
Или — ввысь. Да не всё ли равно?

Я — иду.

Встречаю Аксёнова.

Он — в длинном, тёплом пальто. С вязаным шарфом на шее.
В ботинках на толстой подошве. В лыжной шапочке. И с усами.
И в съехавших на нос очках.

Я говорю ему что-то... Но что? (Проснувшись, забыл.) Что-то грустное. Да. Конечно.

Он спохватывается, зовёт меня за собой. Идём. Заходим — в центре Москвы, в переулке, совсем незнакомом, — непонятно куда, — зачем? — и что это — чья-то квартира? или офис? — никак не понять.

Какие-то — вроде — сотрудницы. Девицы — при деле. Нарядные. Смазливые. Современные. С мобильниками в руках.

Аксёнов с ними здоровается — и что-то весьма вразумительное, и очень даже понятное для них — и, видно, привычное, простое, то есть рабочее, без неясностей, элементарное, без премудростей всяких, без сложностей с заковычками, — им говорит.

Они мгновенно идут, привычно, целенаправленно, туда, куда полагается, — и что-то включают запросто, и что-то легко, играючи, как в детской игре, нажимают — какие-то кнопки, клавиши...

И вот уже всё готово.

Техника — будь здоров.

Девицы с улыбками вежливыми протягивают Аксёнову бумагу какую-то плотную. На ней — неведомый текст.

Аксёнов его просматривает. Кивает:

— О кей, о кей!

Благодарит девиц:

— Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Девицы вмиг расцветают. Как розы в саду весною. В конторе своей загадочной. В Москве. Непонятно — где. Но здесь, где

место их службы, скорее всего, где то заведение, назначение которого знают они прекрасно — и не спешат кому-то давать пояснения, в данном случае — мне, потому что я-то чувствую: это — тайна, и они понимают это, дело вроде бы и не во мне, а в Аксёнове — им, девицам, им, служительницам чего-то, для чего названия нету, но о чём невнятный намёк скажет больше порой, чем слово, благодарность классика — в радость. Пофартило им. Повезло. Будет что вспоминать потом, на досуге. Они довольны.

Аксёнов — тоже доволен. Бумагу, быстро сработанную, на вытянутой руке протягивает он мне — берите, мол! — вот, в ладони лежит изделие свежее, готовое, это — для вас.

Что это за сочинение? Текст — обо мне? Я не помню.

Аксёнов, довольный вполне, сбрасывает пальто — и шагает молодцевато — прямо в раскрытую дверь.

За дверью — он уже в шортах, слегка загорелый, спортивный, привычно раскрепощённый, не стареющий, полный сил, весь в себе — и уже в Коктебеле.

Он делает — кто бы подумал? — стойку. Кто мог бы представить? Стойку. Да, на руках. Раз — и встал! И стоит, как в молодости! Его, с не скрываемым, бурным восхищением, так и этак, в разных ракурсах, отодвигаясь, приближаясь, всё ближе, ближе, чтоб эффектнее получилось, выразительнее, вот так, чуть левее и чуть правее, чуть прямее, ещё крупнее, снимает без передышки молоденькая, энергичная фотокорреспондентка.

Аксёнов становится на ноги — и говорит мне, из-за двери, из Коктебеля:

— Ваша собака гуляет по территории дома творчества!

Я отвечаю ему:

— Мой Ишка всегда дома, со мной!

А сам думаю: где же Ишка?

Верный Ишка тут же выходит из распахнутой двери, перешагивает порог — и оказывается, свободно шагнув прямо из Коктебеля, уже в Москве, рядом со мной. Я его глажу по голове.

Аксёнов говорит:

— Ухожу в бухты!

Я говорю:

— Заходите ко мне. Я всегда дома.

Пожимая плечами, Аксёнов устремляется, весь в движении, как в полёте, куда-то вперёд — и где-то там, впереди, отсюда не видно — где именно, хотя, при желании некотором, догадаться можно об этом довольно легко, — исчезает. И дверь — закрывается.

Ишка громко лает.

На лай моего верного друга — из домика, стоящего в углу, сложенного из разнообразных, толстых и тоненьких, больших и маленьких, в картонных и в бумажных обложках, книг — высовывается голова прозаика Жени Попова.

Из-за стены книжного домика — выглядывает мой коктейльский сосед, музыкант, классный трубач, Миша Кудрявцев, и говорит:

— Володя, тебя тут искал старый восточный человек, похожий на Шуфутинского!

Потом он громко играет на трубе побудку — и тоже исчезает. Временно, разумеется. Может — пошёл за пивом.

Женя Попов, прозаик, на звук призывный трубы, на свет благодатный Божий, вылезает из книжного домика.

Он — спросонок. Смотрит на мир. Озирается по сторонам. Щурит глазки сибирские. Хмурится. Улыбается — чуть погода. Борода его — как-то скомкана. Подстрижена, что ли, слегка? Ключья торчат. Ну прямо бывший ёжик в тумане.

В одной руке у него — маленький, незаменимый для пишущих прозу людей, компьютер его, ноутбук, в другой руке — моя книга, подаренная когда-то ему, разумеется, с дарственной надписью, в твёрдой обложке, вышедшая на заре свободного книгопечатания, известная любителям поэзии давно уже — «Звезда островитян».

Он ставит компьютер на пол. Пожимает мне руку. Говорит:
— Я только что из Германии. Жил там с семьёй. Писал роман. Купался в бассейне.

Мы закуриваем.

Женя говорит:

— А где Вася?

— Какой Вася? — спрашиваю. — Твой сын?

— Аксёнов. Василий Павлович, — поясняет Женя Попов. — А мой сын — Василий Евгеньевич. В честь Аксёнова, значит, назвал.

— Ушёл в бухты! — отвечаю.

— А, понятно! — говорит Женя. — А ты почему здесь, в Москве, а не у себя в Коктебеле?

— Не знаю! — говорю я ему. — Наверное, это сон.

— Понятно! — говорит Женя. — А я дачу себе строю.

— Из книг? — спрашиваю.

— Да, из книг! — отвечает Женя. — Скоро свет проводить будем. Пока что — при свечах работаю. И воду в дом провести надо. Много забот, много.

В руке он по-прежнему держит мою «Звезду островитян». Спрашиваю:

— Стихи мои читал?

— Себя читал! — отвечает Женя. И спрашивает: — Это сон?

— Сон. Конечно же, сон! — отвечаю я Жене.

Женя Попов становится в позу чтеца-декламатора. И говорит мне:

— Ты только послушай! Ведь как хорошо написано!

И читает мне с выражением:

— Жанр предисловия, врезки — вещь таинственная, вещь в себе, штука конъюнктурная. Не то по плечу хлопают, не то на поруки берут, не то лезут лобызаться. Мне непонятно, почему я пишу о Владимире Алейникове, а не он обо мне. Написано у него, может быть, и больше, чем у меня, редактором он служил, известен в Москве и далеко за пределами её кольцевой

дороги. И всё же есть логика в том, что я, прозаик, предваряю публикацию поэта, с которым и 100 г соли вместе не съел, не то, что пуда. Поэта, чьи стихи постепенно, медленно, но входят в мою жизнь. Мы — сверстники, 1946 года рождения. Мы — провинциалы, я из Красноярска, он из Кривого Рога. Лишь с недавнего времени обрели мы возможность говорить не на кухне либо в пивной, а в свободном пространстве своей страны... Молодость. 1965 год. Послан исправляться на свежем воздухе «тунеядец» Иосиф Бродский, сидят в тюремном замке «идеологические разбойники» Синявский и Даниэль, отправлен на пенсию «по состоянию здоровья» Никита Сергеевич. По Москве бродит СМОГ, но и его дни уже сочтены. Я учусь в геологоразведочном институте, знакомств среди литераторов почти не имею. СМОГ... СМОГ... Слухи ползут по студенческим общежитиям... Как я недавно узнал, аббревиатура содружества поэтов расшифровывалась так: Смелость, Мысль, Образ, Глубина. Жаль... Миф 1965-го утверждал, что это — Самое Молодое Общество Гениев. Вечера. Скандалы. Дружинники с повязками. Богема-с это, товарищи! И — разгром. И — туман, марево многолетнее, из которого возникают имена поэтов: Леонид Губанов, Юрий Кублановский, Владимир Алейников. Леонид Губанов — умер. Юрий Кублановский — был принуждён к отъезду. Владимир Алейников — остался. Издал две куцые книжки. Живёт в Москве. Счастливая, что ли, судьба? Нет... Счастливой, осмелюсь утверждать, не было пока что ещё ни у одного писателя или поэта, начиная с библейских времён. Книгами он явно недоволен. С одной стороны — купюры, с другой — в письменном столе хранится в 20 раз больше, чем напечатано. Только сейчас, на наших глазах происходит явление поэта читателям, и мне кажется, что он готов пойти на то, чтобы развеялись мифы о Самых Гениальных, чтобы всё стало на свои места и каждому было отпущено по делам его. Потому что только гласность в своём натуральном виде, а не в качестве броского

лозунга либо прямого вранья способна спасти пишущего, избавить его от отчаяния, водки и петли, с другой стороны — крепко щёлкнуть по носу. Погрузневший, посолидневший Алейников по-прежнему циркулирует по московским литературным просёлкам, сверкая рыжей бородой. Так удалась жизнь или нет? Не пьёт. Растит детей. Литератор. Переводит чувашских поэтов Г. Юмарта и П. Хузангая. И все говорят, что хорошо переводит. И все говорят — Алейников? Да, был такой, он в СМОГе участвовал... Не был, а есть. И есть его стихи. И есть надежда, что эта публикация станет началом настоящего знакомства с поэтом, чьё имя наконец-то обретает реальность. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Тут Женя сделал эффектную паузу — и вымолвил выразительно, громко, отчетливо, ну прямо как подписался:

— Евгений Попов. Москва. 11.12.1988 г.

И закрыл мою «Звезду островитян».

— Спасибо, Женя! — сказал я.

— Хорошо написал! — сказал Женя Попов. — Столько лет уж прошло, а звучит!

Ишка гавкнул басом, по-шаляпински. Он это умеет.

— Тоже звучит! — сострил Женя Попов.

Я спросил его:

— Женя, а почему вы с Виктором Ерофеевым тогда, в семидесятых, не взяли в ваш «Метрополь» ни меня, ни Губанова, ни Величанского, ни Шатрова?

— Да как-то не сообразили тогда! — быстро ответил Женя.

За его спиной появились зелёные музыканты. Совершенно зелёные. Четверо. Они заиграли — на банджо, на гитаре, на губной гармошке и на скрипке. В стиле кантри.

Женя Попов сунул мою «Звезду островитян» за пазуху.

— Стихи постепенно, медленно, но входят в мою жизнь! — процитировал он сам себя.

— Хорошо, что так! — сказал я.

Женя расправил плечи, поднял к свету бородатую, с лысиной, крутолобую, крупную голову.

— Мне пора! — сказал он торжественно.

— Куда? — удивился я.

— Как — куда? В Коктебель!

Зелёные музыканты, наигрывая мелодию в стиле кантри, гуськом подошли к закрытой двери.

Дверь — сама — распахнулась.

За нею был — Коктебель. Море, холмы, горы и бухты. Видно всё было как на ладони.

В Лягушачьей бухте сидел у воды Василий Аксёнов. Он увидел издали Женю Попова — и позвал его, сделав жест рукой в свою сторону, к себе: иди, мол, сюда, поскорее! что ты застрял в Москве?

Зелёные музыканты шагнули, один за другим, гуськом, за порог, в дверь, и стали: один — стебельком зелёным, другой — листком, третий — травинкой, четвёртый — целым зелёным холмом.

На полпути к Лягушачьей бухте стоял мой сосед, музыкант Миша Кудрявцев, — и играл, щурясь под солнышком, на своей ослепительно сверкающей трубе всем известную вещь — «Когда святыя маршируют».

Женя Попов поднял с пола компьютер, пожал на прощанье мне руку:

— Пора, Володя, пора!

Примерился, разогнался — и, перепрыгнув через московский порог, пролетел в разогретом пространстве, описав в воздухе плавную, гибкую, выразительную дугу, куда-то вперёд — и оказался прямо в Лягушачьей бухте, рядом с Аксёновым.

Никаких лягушек там, разумеется, не было.

Но зато, вместо зелёных музыкантов, ставших частью природы, встретили его там, на камнях бухты, — четыре зелёных ящерицы.

Исчезла Москва.

Мы стояли с Ишкой на облаке.

— Это облако. Облако поэзии, — раздался откуда-то усиленный невидимым громкоговорителем голос Андрея Битова.

— Стихи и поэзия — это, конечно же, разные вещи, часто взаимоисключающие друг друга, противоположные понятия. У одних слова, строки, строфы — тяжёлые муки творчества, у других всё это — лёгкий, ликующий пир жизни. Владимир Алейников — это не стихи — стихия, поток чистого, звенящего звука, простор мысли, свежесть и яркость всегда обновлённого, животрепещущего слова, — раздался не менее громкий, подвыпивший голос Валеры Баскова.

Облако плыло в небе.

Мы с Ишкой стояли на облаке.

— Поэзия Владимира Алейникова ещё ждёт своего читателя. И — своего исследователя, — раздался голос Юры Крохина.

— Я знаю, кто вы! — гремел в стороне голос Владимира Микушевича. — Вы поэт с мировым именем!

Мы плыли с Ишкой на облаке.

— В стихах Владимира Алейникова действительно скифский дух, — доносился до нас голос Микушевича. — Я бы назвал стих Алейникова соитием стихий: стихии друг друга алчут, друг во друга проникают, но не растворяются одна в другой. Каждая из них верна себе и потому взыскует остальных!

Облако плыло над Скифией.

— Ты патриот пространства! — доносился издали голос Жени Рейна. — Ты поэт редкой группы крови!

При слове «кровь» Ишка насторожился.

А пространства было — хоть отбавляй.

Мы, на своём облаке, двигались в сторону Киммерии.

— Володя, давай пребудем тверды подобно герою данного романа. Осень — а мы всё те же, — раздался голос Саши Соколова.

И прямо в руки мои — из ничего, из ниоткуда, явившись сама по себе, — легла его книга «Палисандрия».

Тут наше облако стало просто сплошным туманом.

И начался вдруг — сон во сне.

Сон о Саше Соколове

Я увидел себя — в Америке. Оказался я там — зачем? Не знаю. Был я совершенно один. Шёл, шёл, по какой-то дороге, было много поворотов, холмов, густо заросших лесом. Стемнело. Начался дождь. Я брёл куда-то совсем далеко — и заблудился. Дождь усиливался. Я вымок до нитки. Наконец вышел я на какую-то большую поляну. За этой поляной виднелось большое, особняком стоящее здание. В окнах горел свет. Из темноты я двинулся вперёд, прямо на свет окон. Вдруг — резкие голоса, лай овчарок, лучи карманных фонариков, направленные на меня, прямо мне в глаза. Громкий приказ: «Остановитесь!» Я остановился. Ко мне подошли какие-то неизвестные люди, с военной выправкой, в мокрых плащах, с овчарками на поводках. Овчарки злобно рычали — и так и норовили меня укусить. Я замер на месте. Посыпались вопросы: «Кто такой?» — «Почему вы здесь оказались?» И — приказным тоном: «Документы!» Я достал свой заграничный паспорт. Один из подошедших быстро пролистал его и положил к себе в карман: «Этого недостаточно!» Я сказал: «Других документов у меня нет». Высокий, плечистый человек в капюшоне спросил: «А это что?» — и показал на оттопыренную полу моей куртки. «Ах, это! — сказал я, — это моя книга. Это стихи. Я поэт». Я достал свою книгу — и протянул её человеку в капюшоне. Говорили мы все почему-то по-русски. Дождь уже перешёл в ливень. В здании за поляной прибавилось света в окнах. «Он шпион!» — сказал один из подошедших. «Ещё чего! — сказал я. — Глупости. Я поэт». Человек в капюшоне перелистывал мою книгу. Я уже совершенно отчётливо понимал, что забрёл я ну

совершенно не туда, что здесь не полагается находиться посторонним, что вся эта нелепая история чревата самыми серьёзными для меня последствиями, да и вообще — мало ли чего эти гаврики отчебучат? Ищи-свищи тогда меня. Эх, вот незадача! Я уже начинал беспокоиться. Виду, однако, не подавал. Спокойно стоял на месте. Человек в капюшоне листал мою книгу. На одной из страниц, освещённой лучом фонарика, я увидел посвящение над стихотворением: Саше Соколову. И вдруг меня осенило. Нет, это было — озарение. «Саша Соколов!» — сказал я, обращаясь ко всем сразу. Все головы повернулись ко мне. «Саша Соколов! — сказал я. — Он старинный мой друг! Саша Соколов! Поняли? Саша Соколов!» Подошедшие переглянулись. Один из них пошёл к какой-то будке — и вскоре вышел оттуда. «Ждите!» — было сказано мне. Я стоял и ждал. Минут через десять рядом со мной затормозила большая чёрная машина с затемнёнными стёклами. Из неё вышел человек в длинном, до пят, непромокаемом плаще, в низко, на самые брови, надвинутой шляпе, в кожаных перчатках. Плащ, шляпа, перчатки и ботинки у человека были чёрными. Всё это сразу же заблестело под хлещущими сверху ливневыми струями, в лучах фонариков. Человек, вышедший из машины, быстро подошёл ко мне. И я увидел, что это — Саша Соколов. «Саша!» — воскликнул я. «Володя, сколько лет, сколько зим!» — откликнулся Саша. Потом спросил: «Ты как здесь оказался?» Я ответил ему: «Шёл куда-то. Гулял. Или, может, бродил. Заблудился.» Саша быстро сказал: «Так. Понятно. Подожди.» Повернулся к людям с фонариками. Подошёл к ним. Что-то им тихо сказал. Те встали перед ним навытяжку, отдали ему честь. Тут же возвратили ему мой паспорт и книгу. Саша по-военному прикоснулся ладонью к обвисшей поле шляпы. «Вы свободны!» — сказал он всем. Те развернулись и удалились по направлению к дому, видневшемуся за поляной. Саша подошёл ко мне. «Поехали!» — сказал он. «Куда?» — спросил я. «Куда надо. Подальше отсюда.» Мы залезли в машину,

устроились вдвоём на заднем сидении. Саша тронул рукой за плечо сидевшего впереди шофёра: «Двигай!» Машина тронулась с места. Вскоре поляна и дом за ней исчезли из поля зрения. Вокруг был только ливень — и лес за ним, и холмы, и дорога, дорога, дорога. Саша отдал мне мой паспорт и книгу. Я положил их на место. Мотор урчал. В машине было тепло. Она летела куда-то вперёд. А куда? Кто его знает! Наверное, так и надо. Едем — и слава Богу. Вместе — и хорошо. «Ты знаешь, где ты был?» — спросил меня Саша. «Не знаю, конечно! — ответил я ему. — Понятия не имею. Шёл куда-то вперёд. Был дождь. А потом он сменился ливнем. Я промок. И вышел туда, на поляну. За ней увидел дом с горящими окнами. Думал, обогреюсь и отдышусь, пережду этот ливень, а там дальше двину — авось куда-нибудь, что похоже на цивилизацию, я и выберусь. Сам. Только — позже». Саша с усмешкой взглянул на меня. И сказал: «Это было здание разведшколы. Тебя запросто могли задержать. Ты мог даже исчезнуть. Навсегда. На всякий случай. Всё у них могло быть, поверь. Посторонних у них не терпят. Это — тайная разведшкола. Сверхсекретная. Понял теперь?» Я ответил: «Конечно, понял». Саша тут же спросил: «Как же ты догадался вызвать меня? Только это тебя и спасло!» Я ответил: «Да очень просто. По стихам. Озарение было. Вдруг увидел в книге своей посвящение — помнишь, тебе посвящал я когда-то стихи? И сказал я им просто: Саша Соколов. И все призадумались. И тогда появился ты. Остальное ты сам уже знаешь». Саша сказал: «Забудь о том, что видел». Я ответил: «Уже забыл». Саша сказал: «Я сейчас вывезу тебя подальше отсюда. Там никто тебя не найдёт. Впрочем, я распорядился. Искать не будут. Так что всё у нас в полном порядке». Он достал из внутреннего кармана плаща плоскую фляжку. Отвинтил крышечку: «Хочешь?» Я ответил: «Да я ведь не пью. Неужели забыл?» Подумав, Саша кратко сказал: «Да-да». Отхлебнул из фляжки. Потом завинтил симпатичную крышечку. Сунул флягу на место. Мы ехали в темноте, под ливнем, вперёд. «Ну

а теперь, — сказал мне Саша, — ты попадёшь в спокойное место. Меня не ищи. Сам найдусь, если надо будет. О том, где ты был, ты уже забыл. И меня в этом месте не видел никогда. Это сон, понимаешь? Подари мне книгу свою!» Я достал свою книгу и отдал её Саше: «Вот. Конечно, бери!» Саша взял мою книгу в левую руку. А правой рукой — сделал этаким плавный, кругообразный жест, — как фокусник, или, скорее, — как гипнотизёр. И попали мы в свет ослепительный. А потом началось сияние. И ничего больше не было — ни машины, ни ливня, ни Саши. Я летел куда-то — в сиянии.

А потом я увидел — облако. На облаке — ждал меня Ишка. Мы летели уже на облаке, в направлении Коктебеля.

И вновь начался — ещё один сон во сне.

СОН ОБ АНДРЕЕ ВОЗНЕСЕНСКОМ

Я в саду у себя — где-то в Кривом Роге или в Коктебеле. Работаю. Пишу. Рисую. Леплю из глины что-то — ну прямо гончар.

Появляется Вознесенский. Одет — хоть куда, со вкусом. На нём — роскошный, карденовский, белоснежный, летний костюм. Ворот рубашки распахнут. На шее — пёстренький шарфик. Обут — в совершенно белые адидасовские кроссовки. Голова его, как и раньше, перископом вперёд и вверх выдаётся, чуть зависая над приподнятыми плечами. Губы тронуты странной улыбкой, отрешённой, привычной. Глаза потускнели, но всё замечают. Всё лицо — как наплыв на свече парафиновый. Возраст, наверно, говорит за себя. Так и есть.

Я ему говорю, поздоровавшись:

— Вы-то помните меня? Столько лет я стеснялся вас беспокоить. И вот — увиделись.

И так далее. Что-то ещё говорю. А зачем — не знаю.

Вознесенский:

— Да-да, конечно! Я, конечно, помню, Володя, вас! Ну как же мне вас не помнить? С той поры, когда вы ко мне вдруг при-

шли, вдохновенный, юный. С осени шестьдесят третьего. Я тогда ещё говорил вам: приходите ко мне всегда, в дни любые, в любое время, буду рад я вам, потому что вы очень, очень талантливы!..

Говорим. О том да о сём. Совершенно разные люди.

Он меня всё время нахваливает, и в особенности за то, что я очень много работаю.

Был в годах он. И вдруг — изменился. С виду стал такой молодой, знаменитый, тридцатилетний, — впрямь как осенью, той, давнишней, тридцать шесть годочков назад.

Вот он, скинув белый пиджак, засучив рукава рубашки, разрешенья спросив у меня, за гончарный садится круг, увлечённо делает что-то, вроде смеси миски с кувшином.

Обещает что-то. Помочь?

Я рассказывал вкратце ему — о себе, о своей судьбе. Он сидел за гончарным кругом — и рассеянно слушал меня.

А потом — раз! — и нет его!

Исчезает мгновенно! Куда?

Я ищу его — нет нигде. И в саду его нет. И на улицах. Испарился. Растаял. Пропал.

Вроде был он вот здесь — и всё-таки вроде не было вовсе его. Странно? Странно. И — показательно. Был — и нет его. Как всегда.

И остался я здесь, в саду, — криворожском ли, коктебельском ли, — вам не всё ли равно? — в своём, а не чьём-нибудь там саду, — как привык я, наедине со своими трудами вечными, с одиночеством давним своим.

...Но тут сон во сне закончился, и сад сменился облаком.

И на этом облаке — мы с Ишкой приближались к Коктебелю.

Вот широкий залив. Горы. Холмы. Дома.

И уже мы снижаемся. Уже виден наш дом.

Но за мысом успел я увидеть Лягушачью бухту, и в ней — Аксёнова, читающего мою «Звезду островитян», лежащего на

гальке, у самой воды, уже загорелого, и Женю Попова, ещё только слегка покрасневшего на солнце, сидящего поодаль, на горячем, большом камне, на большущем куске золотистой парчовой яшмы, с полынным венком на голове, наигрывающего на вырезанной им самим дудочке незатейливую, но трогательную мелодию, — и четырёх зелёных ящериц, сидящих на соседнем камне — и слушающих эту мелодию.

А потом наше облако, словно в сказке — ковёр-самолёт, приземлилось у нас во дворе, и мы с Ишкой на землю сошли. А потом поднялись на крыльцо — и в раскрытую настежь дверь, вдвоём, не спеша, вошли. Вот он, дом! Хорошо в нём, прохладно в жару. Как просторно здесь, тихо, спокойно! Благодарить! — А потом я проснулся...

Вот какие бывают сны. Сны — в ночи, посреди тишины. Только мне они стали ясны. И невольно я им улыбнулся...

— Вот осень, а может быть, и зима, но зимою — опять-таки осень, и весной осень, и летом, и осенью — это уж ясно, потому что с осенью — проще, потому что с осенью — легче, да ещё и куда привычнее вспоминать о былых временах, — времена ли это любви, времена ли года, а то и времена скитаний давнишних, времена бессонниц моих, — сквозь бездомицы, через ночи, в те глубины, где путь короче, где слова до щедрот охочи, потому что — куда без них? — вот зима, ну а может быть, осень, да, пожалуй, конечно же, осень, — одиночество, тусклая лампа над столом, а то и свеча, — листья в окна глядят и звёзды, ветви мокрые тяжелеют, голова тяжелеет, плечи устают, но всё же не сплю, — ну а может быть, сплю? — да вряд ли! — занавески дрожат, и форточка приоткрыта, и ветер входит гостем поздним в бессонный дом, — ночь осенняя, затяжная, — и ещё ничего не знаю — что за нею? — тропа земная, как всегда? — ах, потом, потом! — ну а что же сейчас? — да мысли, что, как листья в окне, нависли над седой моей головою, над столом, над

этим листом, на котором пишу я прозу, над которой глотают слёзы все метели мои и грозы в мире, вроде бы обжитом, — но куда там! — совсем пустынным, том, в котором речам старинным и ночам предыдущим длинным оживать суждено теперь, оживать и вставать за мною то ли стаей, то ли стеною, то ли звучною тишиною, — и ненастье скребётся в дверь. Странное дело! Занавесь опускается, поднимается. Над чем? Над прошлым? Над будущим? Да поди разберись. Попробуй. Кто-то вроде бы смотрит в окно моё. Или сам я смотрю в окно? Позабывтое — вспоминается. Небывалое — тут как тут. У него настроение — будничное. Труд извечный. Работа привычная. Что-то всё же есть в этом праздничное. Так ли? Так. Действительно, так. И часы: тик-так да тик-так. Мой будильник. Совсем старик. Стук неспешный да нервный тик. Так бывает. Но вне времён — ходу времени верен он. Ходу памяти. Можно — так. Ток подспудный. Уж он мастак вызывать не образ, так звук. Отсвет прошлого. Тук да тук. Отзвук радости. Дней исток. Запад, север, юг и восток — четырьмя лучами креста. Видно, всё-таки неспроста. Да, конечно, не просто так. Имя времени. Вещий знак. Ночь. Звезда. Под звездою — дом. В доме — я, со своим трудом. То есть, с книгою этой. В ней — всё сильнее и всё полней разгорается вешний свет лет, которых со мною нет, как считает разлад чумной, но которые — здесь, со мной. Всем им сердце моё сродни. Сердцу дороги — все они. Снова ночь — и осенний лад слов моих в тишине. Я рад. Снова осень — и взлёт ночной мыслей всех, что дружны со мной.

— Я — это кто-то другой... — различаю я голос Артюра Рембо. — Если медь пробуждается горном однажды, не она виновна в свершившемся. Для меня абсолютно ясно — вижу мысли своей проклёвывание, всматриваюсь в неё, вслушиваюсь, касаюсь её смычком, и симфония, вздрогнув, трепещет или же махом одним вдруг на подмостки взлетает...

С тобою цветы, моя осень, цветы, над которыми — листья, и листья, выше которых — звёзды, а там, за звёздами — созвездия и галактики, мерцанье, сиянье, свечение, струенье, самоожжение и сызнова, неизменно, счастливое воскрешенье, — кругами, волнами, спиралями — рождающиеся миры, сближающиеся дары. С тобою мосты, моя осень, мосты, по которым в прошлое и в будущее иду я над плещущейся водой, над мёртвою и живою, над тихою и сквозною, над дикою и ручною, озёрною и речной, над прорвой иду морскою, над бездною океанской, по всем десяти, знакомым с детства, мостам, по всем, с которыми связан чем-то доселе невыразимым, которым обязан чем-то таким, чему имя — речь. С тобою мечты, моя осень, мечты, у которых — ночи, с тобою ночи, с которыми — шаги мои в доме пустом, с тобою дом, за которым — холмы, а там, за холмами — горы, а над горами — небо, и море под ним, а там, за морем — пространство со временем, темень, рань, звезды моей постоянство над именем, снова — грань.

Может быть, тоже — сон? Вроде бы — обо мне. Голос я слышу знакомый. Саша Соколов говорит:

— И только тогда начинается: всё остальное. Тогда. И только. И пусть — в силу чего бы то ни было — лишь бы — пусть явится эта притча разуму нашему в снах его, да скажется в судьбах круга, числа, да отразится в зеркалах наших Психей. Да, да, разумеется, о чём разговор, неужели же где-нибудь там, где положено, где надлежит не сказано: отразится. Ответ однозначен: сказано. Оттого-то и отражается — отразилось, сим: в силу слова. Вот. Правда, несколько незнакомо, ломано, ровно в рябном канале — каналья, зачем ты улыбки нам столь исковеркал, ведь счастье было так коверкотово. Тем не менее видно, как кто-то из этого круга, числа, кто-то в чём-то дорожном, неброском, как бы навыворот, — торопится на трамвай. Лелея келейность. Алеющей ранью. Лепечущей рощи аллеей. Всё лель есть, влекущийся к великолепию, простого олейника отпрыск. Во-

истину. Впрочем, неправда: торопится, но не аллеей, не рощей: торопится пустырями окраин, тропую в разрыв-траве. Ничего не сея, не взращивая, рвёт походя блёклые лютики, ноготки. Рвёт когти из ненаглядного Криворожья, цитатой из почты окрестных ведьм говоря. Гражданин почтмейстер, вместо того чтобы попусту рифмоваться с клейстером, заклеямили бы лучше те непотребные речи крутым сургучом. Не смейтесь, папаша, он мертвецов оставляет теперь не напрасно, верней, не из прихоти, не потехи для. В данной юности с ним творится особенное. Так, в день осознания лжи у него создалось отчётливое впечатление, будто бульвар спотыкался, дождь шёл на изящных пружинах, а фонари по углам разложили фанерные тени. И Дантова тень, в зеркалах отразась — как эхо — давно многократна. Шутка ли. Да и вообще, человек сей — художник, в значеньи — поэт, а поэтому — почему бы ему не отправиться в путь, в другие места, и там не открыться во всех своих впечатлениях, не объясниться в пристрастиях. Странствовать — в частности на трамваях — тем паче на ранних — это же столь пристало таким вот на вид неброским, небритым, но, в сущности, страшно неистовым, прямо взрывчатым существам. Между прочим, неважно ведь, что такие взрываются сдержанно, методом дальних солнц, как ни в чём не бывало. Так в рассуждении пороха даже лучше, ибо хватает надолго. Сравнительно навсегда. Да, кстати, смотрите: деревья ладонями машут: прощание, исчезновение за. Но что характерно: что из игры — здесь игры Парменидова воображения, расстроенного как бабушкин клавесин, — им не выйти. Ни им, ни минувшим срокам. Ни им, ни — по буквам: Тифонос — Елена — Лена — Елена же — Гея — Рея — Афина — Федре — понятно вопрос — ни телеграфным проволокам плачущим. Ни им, ни дому, который поэт построил двумя штрихами. Где свет погас. Где форточку открыли. Построил и вскоре оставил: быть. И на лбу возникающего экипажа читит долготчаянное число.

(С пёсией мордой один, а другой — с узкой мордой овечьей, корень речи — в земле дорогой и в крови человеческой, — что за молодость в бездну вела! — гонорком карнавала вместе с россыпью капель с весла что-то вдруг обдавало, — растворилось ли всё, что ушло, в хищной гуще житейской? — заструилось за словом число, словно холод летеиский, — отдалилось лицо за стеклом, невозможным, астральным, — да пичуга всплеснула крылом на кордоне опальном.

С головою собачьей один, а другой — с головою овечьей, — двое ряженных, нищих, гонимых пургой — что на вещих навлечь ей? — нет, не станет! — разбить не сумеет окно в мир, где встретимся все мы, — словно маски, в угаре когда-то давно разобрали тотемы, — потому-то и выпало выжить поврозь для Собаки с Овцою — у телеги пространства не смазана ось, чтобы ехали двое, — потому и живёт искони меж людьми разобщенья загадка — не срастётся с алеющей веткой, пойми, соколиная хватка.

С головою собачьей один, а другой — с головою овечьей, каждый — воли своей паладин, по-бирючьи не противоречь ей, — каждый доли достоин своей — что за прок, согласишься, от известий, если время по-прежнему с ней, да и млечная тяжесть созвездий? — об утраченном, друг, не жалеи — что за свет низойдёт с небосклона? — и успеет ещё Водолей повидать и обнять Скорпиона — как-нибудь — ну конечно — потом — там, где боли бывало так много, что она, обвивая жгутом, продлевала присутствие Бога.)

И тогда говорит АртюР Рембо:

— ...так уж складывалось — человек над собой совсем не работал, не успел пробудиться или погрузиться во всю необъятность великого сновиденья. Писатели были просто чинушами в литературе: автор, творец, поэт — подобного человека сроду и не бывало!

Просту — сон. И не просто — сон. Сновиденье. Великое. Может быть, и наивное. Да вам-то — какое дело? Для вас ли пришло оно? Совсем не для вас. И баста. Пора бы понять. Смириться. Исчезнуть. И не мешать. Сон — для того, кто спит. Сон — для того, кто грезит. Сон — для того, кто бодрствует. И даже во сне. Всегда. Сон — для давно не спящего. Для никогда не спящего. Сон — пробуждение. Вхождение в сонмы снов. На века. Сон: попадание в тон. Там: выпадение в сон. Происхождение тем. Скажет ли кто: не вем? Вам ли — начальный звук? Знак. Магический круг. Дом ли тебе — для снов? Сам ли ты в нём — для слов? Сон. Сновиденье. Сень. Сфера. Фонарь — сквозь день. Мера. Свеча — сквозь ночь. Эра. Пора. Точь-в-точь как и вне сна. Во сне — тоже ясна вполне. Чары. Пиры. Дары. Горы. Дворы. Миры. Море: восторг и стон. Что? — до-ре-ми — сквозь сон? Медлить нельзя, пойми. Тянется — так возьми. Фа- соль-ля-си — сквозь мрак. Ластится. Только так. Значит, бери. Пришло. До — и за ним светло. Гаммы. Звучанье сна. Там, где всегда — весна. В детстве. А может — здесь. Высь. Встрепенёшься весь. Рвёшься туда. Лети! Сон. В унисон почти — до. И чуть позже — ля. Доля. Твоя земля. Воля. Планида. Путь. Вера. Химера. Суть. В сердце горенья. Сеть. Жуть. Навяжденье. Плеть. Плоть. Побужденье. Слух. Плыть. Пробужденье. Дух. Петь. Восставить. Не спать. Музыка — быть. Звучать. Слово, и в нём — число. Зеркало — и крыло.

Путь ли к сути иль песнь в юдоли — на века. Говорит Рембо:
— Первое, что обязан постичь жаждущий стать поэтом — это наиполнейшее познание себя самого; он душу находит свою, изучает её, искушает её, постигает её. А когда он постиг её, он обязан над ней потрудиться! Задача вроде бы простенькая... Нет, следует изуродовать душу свою. Действовать, словно компрачикосы. Вообразите чокнутого, на собственной физиономии высевающего и старательно выращивающего бородавки. Я говорю, следует стать ясновидцем, сделаться ясновидцем. Поэт превращается в ясновидца долговременным, беспредель-

ным и продуманным приведением в разлад всех чувств. Он сознательно идёт на всякие формы любви, мучений, безумства. Он сам себя ищет. Он травит себя всевозможными ядами, но и вбирает самую суть их. Невыразимая мука, при коей так нужна ему вся его вера, вся его сверхчеловеческая сила; становится он больнее любых больных, преступнее всех преступных, наиболее проклятым — но и мудрейшим из мудрецов! Ибо сумел он достичь неведомого. Потому что взрастил он больше, чем всякие прочие, душу свою, и без того богатую! Он достигает неведомого, и пусть, безумный, утратит он пониманье видений своих, — всё равно он их видел! И пусть во взлёте своём подохнет он от вещей неслыханных и несказанных. Придут уже новые труженики чудовищные; они начнут с тех далей, где предыдущий рухнул в изнеможении...

Как быть с тобою, щедрая душа? Да так и быть! — Видений в мире много. Возможно, сам он — дивное виденье. А может, сновиденье. Кто уверен, что это — явь? И всё же это — явь. Такая вот. Где вдосталь измерений. Где столько состояний и событий, что все они — спиралями, кругами, пунктирами и дугами сквозь время — встают и ждут ночами за окном. Вниманья ждут. А может, пониманья? Конечно же! Придёт ли пониманье? И что же там — за кромкою, за гранью? Какие откровенья и желанья? Какая глубь — за влажной тишиной? Какие тайны там, какие тропы? Какие встречи там и расставанья? Какие там, в тумане, обретенья? Какие там ключи — и что сумею открыть я ими? Двери иль врата? Кристалл магический и зеркало ночное. Свеча, горящая на краешке столетья. Клич. Или плач? Нечертанное слово. Но что — за словом? Ночь. А что за ночью? Речь. Имя времени. Оно всегда — со мной.

— ...Итак, поэт — прирождённый похититель живого огня, — говорит сквозь время Рембо. — Он в ответе за человечество, да добавок ещё за животных. Свои вымыслы сделать обязан он

ощутимыми во плоти, осязаны и слуху открытыми. Если то, что принёс он оттуда, обладает какой-нибудь формой, он даёт его воплощённым в эту форму, а если оно изначально бесформенно, он оставляет его бесформенным. Отыскать сообразный язык, — да к тому же ещё, благо слово любое — идея, — настает, верю я, время всеобщего языка! Надо быть академиком, видно, помертвее иных ископаемых, чтоб словарь без конца улучшать... Этот новый язык неизбежно станет речью души, обращённой к неизменно чуткой душе, всё на свете в себя он впитает — сонмы запахов, звуков, цветов, мысль он с мыслью накрепко свяжет и сумеет ей дать движенье. Поэту тогда придётся неустанно определять, сколько там в его время неведомого во всеобщей душе возникает; будет сделать обязан он больше, чем уметь излагать свои мысли, больше, нежели просто оставить подступней для всех описание пути своего к Прогрессу. Поскольку необычайное обернётся нормой, осваиваемой всеми разом, поэту должно быть множителем прогресса. Грядущее это будет материалистическим, как видите сами вы. Наполненные всегда Числами и Гармонией, поэмы такие будут созданы на столетья. В сущности, это была бы в определённой мере греческая Поэзия. У искусства такого вечного будут собственные задачи, потому что поэты — граждане. Поэзия перестанет действие выражать в ритмах; она окажется уже далеко впереди. Грядут такие поэты!.. В ожидании мы потребуем от поэта нового — в сфере идей и форм. Все умельцы решили бы, что они-то способны справиться с требованием таким: нет, это не то!

Нет, не стану я растолковывать — что, да как, да где, да, тем более, почему. Зачем объяснять? Ночь как ночь. И речь моя — с нею. Клич ли в ней, а может, и ключ, плач ли в ней — да не всё равно ли? Вам-то что? Пусть встало из боли всё, чем жив я. Дыханьем лет, с кровью давшихся мне когда-то, переполнена эта книга. Ими, славными, я поддержан — в одиночестве, в тишине.

Здесь, в глуши моей, — осень. Странно, что, как прежде, я срос-
ся с нею. И не странно вовсе. Привычно. И в диковину всё же.
С ней — связи тайные. Нити. Ноты, по которым сыграют что-то
небывалое — там, в грядущем. Но когда? В свой час. Поздний
час. Осень с памятью чай привыкли пить со мною. Сидим в за-
творе — и чаёвничаем. Земное дружит издавна и с небесным.
Запредельное — тут как тут. Зазеркальное — тоже рядом. Что —
за словом? И что — за взглядом? Что за свет — за осенним ладом?
Где-то верят — и, может, ждут. У тебя что ни сон — то с явью.
У тебя что ни шаг — то с правью. Век — в сраженьях бессчётных
с навью. Внук Стрибожий глядит в окно. Ты Сварожич — и, сол-
нце славя, говорить ты сегодня вправе о таком, что в крови и нра-
ве — и с душой твоей заодно.

Потому-то Рембо говорит:

— Открытия неведомого требуют новых форм.

И говорю я в отдалении своём:

— Символ времени. Символ веры. Знак судьбы. Пространст-
ва завет. Образ мира — и грозной эры. Грустный голос. И — яс-
ный свет.



...Шестидесятые годы. Крылатые. Да, это так.

В них — дыханье свободы. Сквозь непогодь — зов и знак.

Шестидесятые. Время радости и любви.

Молодость. Надо всеми — свет: дивись — и живи.

Вроде бы так. Но всё же — вдосталь бывало бурь.

Были мы часто вхожи в грозную хмарь и хмурь.

В бездну порой глядели. Ждали святых вершин.

Можно ли все метели мерить на свой аршин?

Можно ли все раденья сызнова вспомнить вдруг?

Память — мои владенья. Что ж, обозначу круг.

Вызову днесь из боли тех, с кем дышал и пел.
Вырвался из неволи. Выжил. Похоже, цел.
Сед. Но и в зной, и в холод полон доселе сил.
Вроде бы и немолод. Я не напрасно жил.
Я не случайно с вами, други мои, сейчас.
Вставшие за словами, здесь вы. Так в добрый час!

То-то нынче — достаточно снова мне увидеть нас, молодых, четверых — себя самого, глаза свои полузакрывшего, словно внутренним верным зрением увидавшего наперёд всё, что будет с нами потом, обнимающего за плечи друзей своих — Лёню Губанова, глядящего вдаль обиженно и отчаянно, — будь, мол, что будет, — и, с растерянной полуулыбкой на лице Пьеро, или нет, Арлекина, скорее, — Юру Кублановского, а за нами, вместе с нами — и чуть в стороне, со склонённою головой удалой, — Аркашу Пахомова, — на старой, чудом, наверное, сохранившейся фотографии, — чтобы вспыхнуло — или в сознании, небывалым, дивным сиянием, или в небе, ярким созвездием, — незабвенное слово СМОГ.

Ну куда от него деваться?

Так и будет сквозь жизнь продлеваться.

Встарь когда-то — зажгли огни.

Долей стали — былые дни.

Кровь звезды под ногтями эпохи да петляющий в сумерках след всех, кто шёл — при царе ли Горохе или позже — сквозь изморозь лет. Пожелтевшему старому снимку, поседев, удивись и пойми — там плеяда былая в обнимку, всех моложе, одна меж людьми. Свитера на локтях прохудились, но четыре судьбы поднялись из оков, что всегда находились на земле, где мечты не сбылись. Вот и прожито время ночное, что само за себя говорит, — но извечное пламя свечное наши лица ещё озарит.

...Выхваченное лучом таинственного прожектора — пограничного, может, военного, затаившегося до поры, до того мгновенья, когда будет знак ему подан снова, в коктебельской, приморской глуши — и внезапно, вдруг, почему-то кем-то там, зачем-то, включённого, заработавшего, да так, что видны далеко вокруг все приметы вечернего берега или сонного моря ночного, — или нет, совсем не военного, но — магического, такого, для которого всё доступно, всё возможно, всё достижимо, — из крошечной тьмы смоляной, из ушедшего времени прежнего, из каких-то скрытых в пространстве арсеналов памяти, чтобы оживить былое, осмыслить, по возможности преобразить, дать ему, невозвратному, имя, даже так: призвать, возвратить вот сюда, в начало неясное как-то быстро, совсем уж нежданно, разом, резко, внезапно пришедшего в нашу жизнь столетия нового, приголубить, согреть, обнять, зарыдать, помолчать, понять?

Росчерк солнечного луча?

Или всё же — это свеча?

Со свечой, точно встать, — при свече, у свечи, — в киммерийском тумане, при тумане, в забвенье, в дурмане, сквозь туман — с лепестком на плече, сгустком крови сухим, лепестком поздней розы — в проём за кордоном, в лабиринт за провалом бездонным, в зазеркалье с таким пустяком, как твоё отражение там, где пространство уже не помеха, где речей твоих долгое эхо сквозь просвет шелестит по листьям.

Ну-ка, встаньте передо мной, из бывшего шагнув сюда, в новый век, в коктебельский, давний, от ненастья спасённый рай, в дом, где жив я памятью, волей и работой, друзья мои, появись, один за другим, чередую, вы, молодые, вы, отважные, вы, хмельные от избытка сил, от восторга перед жизнью, открытой вам, перед речью, перед рывком в неизбежность, вперёд,

к тому, что звало вас и что вело по дорогам земным туманным, по небесным просторам странным, встаньте рядом, в глаза взгляните, протяните в пространстве нити сквозь нелёгкие времена, чтобы в мире цвела весна, будьте снова собою, други, чтобы нынче во всей округе разливался блаженный свет, из далёких пришедший лет.

Кто это? Кто? Неужели он? Действительно, он.

Умер? Давно отпели? Может быть, это сон?

Лучший из атаманов.

Истовый. Грозовой.

В юных стихах — живой.

Конечно, Лёня Губанов.

Глаза — пронзительно-серые, с голубизной, с жемчужным отсветом, дерзкие, детские, плачущие, с прищуром. Чёрные, в бездну глядящие, увеличенные зрачки. Чёлка — неровно подстрижена. Ворот рубахи — расстёгнут. Рот скомороха — большой, вырезанный упрямо, ещё немного — и станет греческой маской актёрской, скорбной. Губы припухшие стиснуты крепко. Лоб — в лёгком поту. На шее — крестик. Руки взлетают вверх — и падают вниз. Длинные, гибкие пальцы. Широкие плечи. Ростом невысок, но стоек и крепок. Инок? Или разбойник? Хулиганистый парень московский? Мученик? Или мучитель? Вестник с письмом со звёзд? Никто не ответит на эти вопросы. Никто. Никогда. И он не ответит. Будет молчать. Или вдруг засмеётся. Или станет стихи читать. Свои, разумеется. Прежние? Или новые? Всё равно. Лишь бы речь клокотала в них. Лишь бы голос его звенел, причитающий, с ворожбою, со слезою хрустальной чистой, с колокольным пасхальным звоном, возвышающий и крушащий всё вокруг на пути своём, лебединый, непобедимый, журавлиный, неукротимый, голос-песня и голос-плач, голос-жертва, голос-палач, голос имени, голос жизни, голос веры по всей отчизне, голос нежности

и любви, голос-яд, холодок в крови, голос-мёд, леденец, снежок, голос-обморок, морок, шок, голос-ветер, метель, буран, голос радости, голос ран, человеческий голос. Глас. Голос — логос. Тогда. Сейчас. Голос города. Всех земель на Руси. Да и всех Емель. Не из сказки — из яви? Да. Над бесчасьем — в ночи звезда.

Будто ветер повеял. Откуда? Из Парижа? Из Переделкина? Заграничный? Или российский? Ветер молодости. И с ним появился вдруг, улыбаясь, тот, из прежней эпохи, Юра Кублановский. Присел на стул, ногу сразу поджав под себя, закурил. А потом и выпил полстакана вина сухого. Подобрел. Стал почти домашним. Путешественник. Он — с дороги. По России привычно ездил. А теперь он — в Москве. Пришёл навестить меня. Говорит об увиденном. Нос его, искривлённый слегка, смешной, вроде компасной стрелки, всюду, где бы ни был он, устремлён неизменно, всегда, на север. Там — Архангельск и Соловки. А на западе — граница. Он уедет туда — потом. А сейчас — он живёт, как птица перелётная. Нынче — здесь, завтра — там. И поди гадай, где искать его, где он будет обитать. Как птичье крыло, нависает волна волос, густо, наискось, вниз, на лоб. Искры вспыхивают в глазах. Он стихи читает — из новых циклов. Голос его звучит в тишине квартиры случайной. Он встаёт: «Старичок, пора!» Он уходит. Куда? Кто знает! Может — к новой подруге. Может — в храм. А может быть — в те края, до которых добраться сложно. В завихренье снега. В туман. В дождь. Куда-то туда, где есть кров, еда, питьё и тепло. Что-то с ним — навсегда ушло. Как и сам он — из дружбы давней. Пусть живёт, как привык. Ему изменяться — уже ни к чему. Где-то там, далеко отсюда, обретёт он подобье чуда — в виде жизненных благ. Удачи, что-то, видимо, всё же знача, достижимые там и тут, чередую сплошной пойдут. Будет он дневники вести. Будет крепко сжимать в горсти нить, ведущую в даль, где есть из бывшего благая весть.

Это кто? Аркаша Пахомов. Богатырь, да и только. Взгляд исподлобья. Коротко стрижен, по привычке. Высок. Плечист. Под хмельком, как всегда. Артист! Вдохновение — всегда при нём. Он играет шутя с огнём. Водку пьёт — за троих. Смешлив. И — застенчив. И весь — порыв. Но — куда? В неизвестность? Нет. В неизбежный, зовущий свет. Едет — в нужный, конечно, срок. То на север, то на восток. То на запад, а то и на юг. Интересов — широкий круг. Увлечений — хоть отбавляй. И энергия — через край плещет. Голос его звучит. Есть ирония — словно щит. Юмор есть. И талант. Поэт. Есть и путь — сквозь кошмар и бред. Есть подруги. И есть друзья. Есть остратка: туда — нельзя. Есть смекалка: туда — скорей. Он выходит из всех дверей. У любого стоит окна. Обретённая седина — словно снег. Бородат. Встаёт — в рост — над всем, что ведёт вперёд. Вдосталь в мире крутых дорог. Он общителен. Одинок в зрелых, трудных своих годах. Он — в привычных своих трудах. Подработать. И — выпить. Ночь в одиночестве превозмочь. И — с болезнями в бой идти. Из упрямства себя вести, как ни в чём не бывало. Дар — мог спасти. Но бросало в жар, в холод, в месиво кутерьмы. Ждал весны — посреди зимы. Умер, страшно устав, весной. Посреди красоты земной. И глаза его — не открыть. Спит. Стихи его — будучи жить.

У кого это, узколищего, чуб на лоб и затылок стриженный, вид геройский и чуть обиженный, напряжённый и зоркий взгляд? Смотрит — в даль. Иногда сутулится. Быстрым шагом идёт по улице. Говорит — о своём. Из этого — возникает гудящий лад. Как пчела над цветком, над словом он головою своей склоняется. На кого-то — порой равняется. И кому-то — отпор даёт. Улыбается. Замыкается вдруг в себе. И ни в чём не кается. Неожиданно вырывается в глубь пространства. И там — поёт. Это кто? Ну конечно, Саша Соколов. Пролетит сквозь время ветерком. И другие страны будут вскоре ему желанны. А свою — он оставит. Что ж! Видно, так ему надо было поступить, если всё не мило в ней, и слишком его знобило там, где

к тайнствам мог быть вхож. Заносило его куда-то в глухомань, в Канаду и в Штаты, в те края, что теплом богаты, или в северные снега. Был отшельником и скитальцем, чьим-то временным постояльцем, собеседником вдохновенным — иногда. И опять — в бега. География всей планеты открывала ему приметы речи брезжащей, чьи секреты — в ритмах долгих земных дорог. Помнил молодость. О грядущем размышлял. Был всегда — идущим. Или — едущим. Чуда ждущим. Создал исподволь — всё, что смог. Стал — седым. Приезжал в Россию. В Крым. Таился. И — появлялся, неожиданно для знакомых, рядом, вроде бы — на виду. Исчезал — незаметно. Разом. Повинуясь судьбы приказам. Без пристрастия к прощальным фразам. И — без писем, хоть раз в году. Фантастическое умение — продевать сквозь иглу мгновенья жизни, словно, в надежде пеня, по старинке продлится рвенье, с нитью, сжатой с утра в руке, к новизне, что зовёт упрямо отовсюду к себе. Что драмы! Вновь оконные настезь рамы. Дверь захлопнуть. Держаться прямо. В путь! Надолго. И — налегке.

Жар таманского лета. Зной коктебельский. Московский холод. Кто там рядом стоит со мной, молчалив, и высок, и молод? Кто сегодня ковыльно-сед, и усат, и спокоен вроде, словно не было прежних бед и порывов былых к свободе? Кто свободу свою обрёл в книгах, созданных им? Кто светел, точно к цели своей пришёл и звезду над собой приветил? Кто задумчив и озарён всем, пришедшим нежданно, свыше? Кто горением одарён? Ну конечно, Михалик, Миша Соколов. Драгоценный друг. И — соратник. Достойный. Верный. Он спокойно глядит вокруг. Взгляд — всё пристальней. Достоверный смысл находит он в том, что есть и в искусстве, и в жизни. Знаю, дорога ему нынче весть от меня. И юдоль земная лишь сроднила нас навсегда, сберегая для высшей доли, — и ушла, как вода, беда, вместе с грузом разбухшей соли, вдаль, в минувшее, в дни, где

мы постигали приметы мира, в завихрения злой зимы, в ночь, где слишком бывало сыро то от ливней, а то от слёз, то от мыслей о том, что встретим впереди. Было всё — всерьёз. Всё узнаем — и всё заметим. Всё сумеем пройти. Чтоб — жить. Чтоб дышать. Чтоб работать много. Чтоб сказать: хорошо — дружить! Дружба — редкостный дар. От Бога.

Будто снова раздался звонок в дверь. А может — звонок телефонный, то ли утром, то ли, что чаще, многократно бывало, днём, то ли вечером, то ли ночью, — да не всё ли равно сейчас? Кто там? Кто? Открываю дверь. Или быстрым рывком снимаю телефонную трубку. Кто? Ну конечно же, Коля Мишин. Это он. Человек-театр. Человек небывалый. Славный. С авантюрной врождённой жилкой. Фантазёр. Драматург. Поэт. Путешественник. Весельчак. Житель Климовска — и других городов. Книголюб. Издатель. Николай Лукьянович Мишин. Улыбается широко. Ходит быстро. Идей — навалом. На ходу сочиняет что-то, между делом. Одет, как лорд. После нищего детства — надо в жизни всё наверстать. Глаза блещут искрой лукавой. Смотрит на меня. Говорит. О чём? Обо всём. О своём. И — нашем. О заветном. И — о былом. Вдохновенный. И — оживлённый. Вздуродраженный даже. Чем? Чем-нибудь. Да кто его знает, что у Мишина на уме, что придумает, что расскажет, что решит предпринять. Герой. Приключений — не счесть. Лицо — покруглее луны. Бородку отрастил. Галстук сдвинут вбок. Закурил. Посмотрел в окошко. Стал солидней с виду. Но полон он мальчишеским озорством. Сколько с ним бывало историй фантастических — и реальных! В нём энергия жизни была, год за годом, ключом. Он весь был в страстях своих. К новым дамам он тянулся. Он рвался в бой. Он всегда был самим собой. А теперь — его нет на свете. Может, есть? Может, всё же — есть? Кто за гибель друзей в ответе? Коля Мишин. Как встарь, зови — то в поездку, то в гости к сказке. Хочешь — в книгах моих живи. Постояв средь вагонной тряски, приезжай незаметно в рай.

Там небось хорошо. Привольно. Роль свою — до конца играй.
Будет весело — хоть и больно.

Подумать ведь только — сам пришёл! Постоял. Взглянул куда-то вперёд. В грядущее? Пожалуй. И ожила в нём блаженная, тихая музыка, для которой не надо слов — или надо их мало. С речью дружен он. Бережлив. Слова — смыслом вещим наполнены. Смотрит кротким, добрым взглядом на всех. Седина — белизна сплошная, снег, ковыль. Невысок и лёгок. От невзгод житейских устал. Много пишет. Стихи и проза — удивительны. И трактат знаменитый — о небытии — озадачивает учёных в разных странах. Арсений Чанышев. Гость неожиданный. Философ. Друг старший мой. Умнейший. Арсений Николаевич. Князь татарский он по линии материнской, а отец — иерарх церковный, что погиб в лагерях, в тридцатых. Вот судьба! Выживать. Стерпеть вдосталь зол. Стать смиренней, строже к самому себе. Воспитать благодарных учеников. Быть — как все? Не таким, как все. Быть — провидцем и летописцем. Очевидцем времён лихих. Собеседником звёзд, людей, птиц, лесов, полей и небес. Горожанином быть — и жить в сердцевине родной природы. Быть хранителем той свободы, что по нраву душе всегда. Чередой прошли года. Где Арсений? Умер? Нет, жив. Ныне, книги его раскрыв, говорю с ним, как встарь. Вот — весть от него. Речь — жива. Он — есть.

Нет, не хочу сейчас говорить о друзьях по СМОГУ. Не время. Да и не место. Сами они придут в книгу мою — потом. Сами они напомнят о себе. Достаточно света в мире скорбей и гроз.

Над минувшим — скопление гроз.
Надо мною — Чумацкий Воз.
В небесах. Семь высоких звёзд.
Предо мною — воздушный мост.
Что ж, пойду. Ведь найду я — суть.
И эпохи своей. И жизни.

И событий — в своей отчизне.
Над грядущим — вселенский путь...

И всё же... Да что это, право, такое?
Нет мне от времени СМОГа покоя.
Ждёт, чтоб сказать о нём сызнова — смог.
Значит, придётся. Свидетелем — Бог.

Что сказать, если столько сказано в предыдущих книгах
моих, в книгах изданных и неизданных, да и в тех, что ещё в ра-
боте?

Что мне нынче вам говорить?
Что мне делать сейчас? Как быть?
Нет ведь прошлого и в помине.
Или — есть? Не ушло никуда?
Вижу: в небе горит звезда.

Здесь, пожалуй, нужен Феллини.
Выручавший меня с давних пор.
Появляется он, режиссёр.
Не даёт никаких советов.
Говорит:
— Галерея портретов.
Да, портретов. Твоих друзей.
В этой книге — создай музей.
Свой. Особый. Средствами речи.
Ты сумеешь. Действуй, собрат!
До свиданья. Встрече я рад.

И тогда — запылали свечи.
Засияли — здесь и везде.
И Феллини — ушёл. Сквозь время.
Сквозь горенье в моей поэме.
Улетел — к высокой звезде.

Спохватившись, ему вослед я сказал: «Но ведь в этой книге — есть портреты друзей. Немногих. Неужели их недостаточно?»

Оглянувшись, Феллини с улыбкой сделал жесты — влево и вправо. Мол, пусть раньше в книге — портреты. Ну а позже — тоже портреты.

Помахал мне рукой. Завернулся в звёздный плащ. Словно маг и волшебник. Или фокусник. Или творец небывалых, новых миров. И ладонями, появившимися незаметно из-под плаща, выразительно, артистично сделал плавные, странные знаки.

И тогда рядом с ним появилась — вся в сиянье — Джульетта Мазина, с грустной, доброй, светлой улыбкой, со своею трубой серебряной. Джельсомина из фильма «Дорога»? Или ангел? Трубу серебряную вдруг прижала она к губам — и раздался призывный звук. За которым пришло неясное, нарастающее звучание — отовсюду, с земли и с небес. Посулившее вдосталь чудес.

И растаяли в небе супруги.

Звон раздался по всей округе.

И рокочущий, мерный гул.

Вот и в зеркале явь отразилась.

И в него я и сам заглянул.

Сердце сразу сильнее забилося.

Волшебство? Желанный ответ.

На вопросы. Голос и свет.

И тогда — различил я музыку. И звучала она повсюду в мире этом, таком трагичном и прекрасном, куда ни взгляни.

И вела меня эта музыка за собою — и с нею было мне так светло на душе — и сызнова стали явью былые дни.

Закружились огней рои.

Темнота исчезла ночная.

Новый век. И — юдоль земная.

Где вы, где вы, друзья мои?

Те, кого считал я друзьями.
Те, кто дружбе верны поднесь.
Приходите. Все вместе. Сами.
И оставайтесь надолго — здесь.

И они появились. Встали предо мною. Лица их, давние и теперешние, и глаза их, вижу вновь я. Пристально вглядываюсь. Различаю черты знакомые. Голоса их слышу — из прошлого, настоящего и грядущего. Память высветлила слова. По чутью, по наитью, строится лад звучащий — и здесь освоится, — ведь, в извечном единстве с музыкой, речь жива — и всегда права.

У того, кто знал свой удел, взгляд был ясен и голос смел. Был храним он своей звездой. Как во сне, стоял над бедой. Явлю, прочно вошедшей в речь, был ведом по дорогам встреч и прощаний. Запретов нет в дни невзгод для живого слова, потому что спасти любого слово может, оно готово приходить всем на помощь снова, быть предвестьем такого зова, что приметы земного крова станут звёздам родней родного. Величанский Саша. Поэт. Худ. И жилист. Сутол немного. Стоек. Дар у него — от Бога. Пил — как все. Да побольше многих. Не держался он правил строгих в жизни бурной. А верным — был. Честен был. И друзей любил. Написал всё, что был обязан написать. Был духовно связан с миром всем. Со злом — на ножах был он. Числился в сторожах. Переводчиком был. В кино поработал. В его окно луч свободы врывается вдруг, чтобы зорче смотрел вокруг, чтобы резче строки легли, от увиденного вдали, на бумагу, на чистый лист, в дни, где воздух был сыр и мглист. Величаем его теперь. Многовато у нас потерь. Сплошь — зияния. Рвётся нить. Больше некому позвонить. Смотрит Саша из-под земли на живущих: а вы — смогли? Он-то смог состояться. Свет пусть приходит из прежних лет в новый век. До сиянья — шаг. Белый снег, словно белый стяг. Алой кровью отмечен путь всех, идущих туда, где суть жаждут

сызнава отыскать. Будет время волной плескать в берега, где стоим порой, где редет неровный строй легендарной богемы. Что ж! Каждый был в те чертоги вхож, где до чуда рукой подать. Неизбежность и благодать были рядом — и вместе им быть в грядущем под небом сим. Ветер крепнет. Куда нам плыть? Песням — длиться. Легендам — жить.

Петя Шушпанов. Цыганистый, с тонкой костью, поджарый, худой. Независимый. Гордый. С характером. Образованный. Даже очень. И отменно талантливый. Пил. Запивал, бывало, по-чёрному. На карьеру — махнул рукой. Кем он только и где он только не работал и где не бывал! Помотало его по свету. Жил в Москве. А потом — в Ленинграде. А потом, уж так получилось, жил он в разных местах страны, но подолгу нигде не задерживался. Возвратился в Москву. И стал обитать в столице. Ведь был коренным москвичом. Знал свой город, как никто. Выходил на прогулки после долгой, упорной работы. Был поэтом крупным. Прозаиком первоклассным. Хорошим историком. Был надёжным, верным товарищем. И — соратником. Он годами, одержимо, работал над текстами. Написал он — действительно много. Но его почему-то долго, как нарочно, не издавали. Проявлял он выдержку. Ждал, как и все мы, лучших времён. Понемногу начал печататься в периодике. Вышли и книги. С запозданием, разумеется, преизрядным. Но всё-таки — вышли. Стал хворать он. Упрямо держался. Запивал — и опять работал. Постарел. Как-то ссохся, сжался. Только нос вперёд выдавался на лице его измождённом да сверкали огнём, который погасить невозможно, глаза. Помогал я ему, как мог, с публикациями. Никто больше Пете не помогал из приятелей и знакомых. Иногда я виделся с ним. Петя стоек был и вынослив — но сказалось всё напряжение сумасшедших минувших лет на здоровье его. Лишь голос был таким же, как в молодые, золотые года его. Умер Петя. Его жена еле выжила — так страдала. И однажды, восьмого марта, через год после Петиной

смерти, вдруг раздался звонок его телефона мобильного, долго, целый год доселе молчавшего. Что за мистика? Стала жена, нет, вернее сказать — вдова, разбирать его вещи, одежду. И нашла — восемьсот рублей, приготовленных ей на подарок, пусть и скромный, к восьмому марта, по традиции, год назад. Он напомним ей, позвонив неизвестно откуда, об этом. То-то дружен был с белым светом, жизнь любил. Значит, Петя — жив.

Леонард Данильцев. Поэт и прозаик. Актёр. Художник. Человек талантливый, умный. И в богеме — незаменимый. Он родился и вырос в Питере. Ну а после войны семья его оказалась в Москве. Учился. А потом какое-то время поработал на Сахалине, далеко от столицы, в театре. Возвратился в Москву. Стал работать художником-оформителем в Ленинской библиотеке. Проработал он здесь — до пенсии. Обаятельный, тощий, высокий, с характерным шляхетским носом, с острым взглядом светящихся глаз, появлялся он в мастерских и в квартирах друзей и знакомых. И всегда — был душой всех компаний. Он писал отличную прозу. И стихи, авангардные, смелые, с чистой речью, с лицом своим и своим, таким узнаваемым, хорошо поставленным голосом. Знал прекрасно музыку. Знал основательно литературу. И, конечно, живопись знал. Был достаточно образован. Публикаций в отечестве — не было. Иногда появлялось что-то в заграничных изданиях. Он, как и все мы, известен был — в самиздате. И этого было достаточно, чтобы люди знали тексты его. Мы дружили. Был он старшим другом моим. Приходил на помощь всегда. Помогал мне. И я ему тоже помогал. Круговая порука в годы прежние, непростые, золотые, была у нас обязательной и всеобщей. Он писал всё новые вещи. Выпивал. Запивал, бывало, и подолгу. Потом — не пил. Незаметно — вышел на пенсию. Постарел. Стал хворать. Держался. Занимался всё чаще живописью. Реже стал появляться в компаниях. Замыкался в себе. Трудился. Время вдруг изменилось. К лучшему? Непонятно было. Но

книги стали те выходить, которые невозможно было издать раньше. Книгу стихов помог ему я издать. Очень сильную книгу. Был он рад ей. Пошли болезни чередой. Он боролся с ними. Приезжал ко мне в Коктебель, отдохнуть от Москвы, поработать, сил набраться новых, зимой. Прожил он недолго ещё. Умер. Горькой была утрата. Друг, собрат, соратник — ушёл. Но куда? В какие края? Здесь он, рядом, — в том, что он создал. Долговечны его творения. Всем живущим — навек — дарение. Вне забвенья и забытья.

Это кто, высоченный, длинный, в пиджаке, замызганном красками, в старых брюках, рваных ботинках и в пальто не по росту, коротком, с искривлённым забавным носом, из кашне торчащим, с глазами, устремлёнными не на то, что вокруг него, рядом, близко, не на явь отнюдь, а в грядущее, где приют обретёт он вечный, да и должное понимание, да и славу, конечно? Игорь Ворошилов. Художник великий. И поэт, настоящий, крупный. И мыслитель. И друг мой давний. Он шагает сквозь времена, как всегда, широко, размашисто, чуть сутулясь. Идёт — в сияние. Из невзгод, из нелёгких лет одиночества и печали, где спасался он лишь работой, сберегая от бед бесчётных свой светлейший, им созданный мир, он идёт прямоком в блаженный, впереди обещанный рай. Или — в тихий уральский край, где любовь его ждёт. Он смел. Несмотря на мученья — цел. Несмотря на утраты — полон светлых, разом нахлынувших сил. Говорить ли о нём — он был, жил, работал, страдал, бродил от приюта и до приюта, ночевал, где придётся, пил, попадал в ментовки, в дурдоме выживал, вопреки всему, был воителем, только так, по казацкой своей природе, рвался к свету, к воле, к свободе, к озарениям, к лучшим дням, где не будет ни прежних драм, ни трагедий, где радость ждёт, наконец, его? Он идёт, как и прежде, вперёд. Когда умер он, то жене приснился. Та спросила его: «Ну как ты?» И ответил он ей: «Борюсь!» В этом — весь он. Он — здесь. Он — есть. В том, что

создал. В легендах. В чуде, сотворённом им. В том, что люди называют — благая весть. В том, что жить помогает им. В том, что дар его был — от Бога. В том, что ныне светла дорога, на которой он Им храним.

Юра Каминский. Поэт. Бронзоволицый, худой. Невысокий, но крепкий. Друг мой с юных лет моих. Был он старше лет на восемь. Жил в Кривом Роге. Никуда не хотел уезжать. На Чукотке служил он в армии. Был единственный раз в Средней Азии. И в Москве. В Коктебеле бывал дважды — в давних шестидесятых и в начале псевдосвободных какбывременных девяностых. Вот и всё, пожалуй. Хватило путешествий таких ему. В доме старом он обитал, за которым был двор, просторный, весь наружу, типично южный. Был — мечтателем. И романтиком. И отчаянным фантазёром. Книгочеем был он заядлым. Гору книг прочитал. Писал постоянно стихи. Поэтом был, конечно же, настоящим. Он печатался иногда — среди безвременья. Был упорным. Ждал с надеждой — лучших времён. Твёрдо верил в своё призвание. Выходил погулять в одиночестве вдоль реки, по знакомым с детства сплошь зелёным улицам, паркам, загорелый, кудрявый, лёгкий на подъём, от всех отрешённый, вдохновенно шептал стихи, потому что работал — с голоса. Переехал из дома старого он в квартиру, потом в другую. Ни привычкам своим, ни чаяниям никогда он не изменял. Другом был — небывало надёжным. Смело можно сказать — вернейшим. Положиться мог я всегда на него. Был он честен и смел. Он дождался — изданий. Книги выходили, одна за другой. Стал при жизни — легендой. Скромность оставалась его врождённой, безусловно, главной чертой. Как и гордость, впрочем. И — вера. В путь свой, избранный им когда-то. В правоту свою. В слово. В речь. Он любовью был озарён. Жил — неистово, пылко, смело. Без оглядки на пересуды. Откровенно, чисто, светло. Выжил он — в былую эпоху. Состоялся в ней, как поэт. А в начале столетия нового — умер он. Тяжела утрата —

для меня, для всех земляков. Но стихи его — вместе с нами. Жизнь встаёт — за его словами. Речь — жива. Во веки веков.

Алик Хмара. Олег. Потомок, по отцовской линии славных запорожцев, древнего рода, а по линии материнской — тоже славных донских казаков. С Украины он. Вырос, учился в институте — в Днепропетровске. А в начале шестидесятых он работал и жил в Кривом Роге. Мы с ним накрепко, навсегда поружились уже тогда. Позже он в Подмосковье, в Люберцы переехал. Мотался часто по различным командировкам. В основном, по шахтам, поскольку инженером горным он был. Мы общались всё время в Москве. В Коктебеле порою бывали. Был он другом таким, какого не найти мне, пожалуй, теперь. Хмара был настоящим поэтом. Написал он не так уж и много. Но и этого предостаточно, чтобы жили эти стихи. Стройный, тонкий, подтянутый, сильный, обаятельный, искренний, добрый, рассудительный, скромный, честный, дорожил он друзьями своими. Очень нравился женщинам. Был с ними прост и открыт. Любил он природу, рвался всегда к ней из города. То по Днепру и Самаре ходил на катере, на любимой своей Украине, то позднее, в России, по Волге. Рыбаком был заядлым. Знал всё о реках, с которыми сжился. Говорил негромко. Держался неизменно спокойно, естественно, что бы ни было с ним, но с достоинством. В нём была — порода казацкая. Благородство врождённое. Выдержка. И своё понимание чести. И поэзии. И людей. Перенёс инфаркт. Знать, сказались напряжение, перегрузки на работе, к которой он относился очень серьёзно. Стал прихварывать. Приезжал в Коктебель ко мне — пообщаться с морем, югом, привольем, свободой, с ясной молодостью своей. Умер он. А стихи — остались. Завещал он похоронить себя там, где предки его лежали век за веком, в селе старинном украинском, казацком, — Вольном. Так вернулся он, поскитавшись по просторам страны, которой нет на картах теперь, на родину. И лесная река Самара помнит голос его,

и помнит Днепр, и Волга помнит, и помнят все подруги его и друзья. Голос жив, потому что живы все стихи его. Все порывы — в даль зовущую. Все прорывы — к тайне. К сути. Костёр горит. В котелке уха закипает. Вечер исподволь наступает. О минувшем река вздыхает. И звезда с ним вновь говорит.

Дима Борисов. Друг мой давний. Вадим. И — Димка. Для своих. Для нашего круга. Все любили его. Дорожили дружбой с ним. Он был уникальным человеком. Очень московским. Образованным, умным, живым. Остроумным, добрым, отважным. Наделён был чутьём особым — на поэзию, на искусство. Понимал несравнимо лучше многих прочих людей, что к чему. Видел — суть. Прозревал — грядущее. Был вынослив. Стоек. И честен. Сверхпорядочен. Трудолобив. Был высоким, худым, кудрявым, сильным, быстрым в движениях. В очках. За которыми — полные жаркого, золотого огня, — глаза. В них — душа его раскрывалась. Но не всем. Далеко не каждому. Был он гордым и независимым. Да и вся его жизнь была непрерывным сражением. Так уж всё сложилось. Блестящий историк, был лишён он властями возможности заниматься делом своим. Был известным правозащитником. Всё прошёл — и гоненья, и беды. Надрываясь, работал. Брался за любую работу, лишь бы прокормить большую семью. Никогда ни на что не жаловался. Терпелив был. Упорен. Упрям. Выбирался из разных драм и трагедий. Всё время держался. Проявлял непрерывно волю. Годы шли. Перенёс инсульт. Но — восстал. И вернулся к жизни. Наваждение псевдосвободы принесло ему раны душевные и страдания. Пил. Но вновь оживал — для новых идей, для трудов. Энергия в нём возрождалась сказочным образом, чтобы всё озарить вокруг, всем доставить радость и счастье. Светоносным был человеком. Дивным. Уровня Чаадаева. Был одним из лучших людей столь любимой им с детства России. Умер странно. Где-то в Прибалтике он уплыл, на отдыхе, в море, в одиночку. И — не вернулся. Через сколько-то дней

нашли, наконец, его тело. Возможно, он ушёл сознательно. В море. Или — в вечность. От бед. От болезней. От мучений вечных мирских. Но огонь, горевший в глазах его, пламень жаркий, остался с нами, здесь он, рядом, вокруг, повсюду, никуда не исчез, он жив. А величие человека — оторвать невозможно от века, для потомков легендой ставшего, дух и свет для них сохранив.

Володя Брагинский. Друг мой старинный. Отличный прозаик. И крупный востоковед. Говаривал Дима Борисов, наш общий чудесный друг, да ещё одноклассник Володин, что очень Володя похож не то на апостола Павла, не то на Петра. Не помню, на кого конкретно из них. Был похож он, скорее всего, на себя самого. Москвич. Сын известного востоковеда. Сам пошёл по стопам отца. Длиннолицый. Темноволосый. С аккуратной чёлкой. Одет был аккуратно, просто. Но взгляд — с тайным жаром. Со школьных лет он писал и стихи, и прозу. И прозаиком был — настоящим. Но пришлось заниматься — наукой. Написал он множество книг. Перевёл малайскую прозу, сказки. Всё — по науке. Работа непрерывная, многолетняя. Только прозу свою, которую он любил читать нам когда-то, не издал он. А мог бы издать. Да, он ездил по разным странам. Побывал на Востоке, в Европе. Много видел. Многое знал. Стал он верующим человеком. Стал он кумом моим. Порою мы встречались с ним, говорили, как и встарь, по душам. Потом — он уехал. Внезапно. Вдруг. Навсегда. Для всех — неожиданно. Поселился в Лондоне, вместе со своей семьёй. Стал профессором. Написал ещё больше книг, чем в России. Друзьям — не писал ни единой строки. И долго. Почему? Спросить у него? Не хочу. Наверное, так вот связи все оборвал он. Зачем? Лишь в последние годы, поскольку интернет существует в мире, ну а с ним электронная почта сразу стала привычной для нас, иногда он пишет мне. Краткие письма. Так, мол, и так. Работал. А теперь вот — вышел на пенсию. Фотография: домик, садик. Дети вы-

росли. Внуки есть. Ну а я вспоминаю Володю — молодого. Умного. Доброго. И талантливое. Звучит столь знакомый голос его. Он читает свои рассказы. В них — живые слова и фразы. И за явью в них — волшебство. Всё — его. И судьба, конечно. И труды. На земле извечно человек выбирает — Путь. Дружбы прежние — всё дороже. Может быть, нам удастся всё же пови-
даться — когда-нибудь.

Саша Морозов. Друг мой — почти половину столетия. Высокий. Когда-то был — худым. Теперь — погрузнел слегка. Поседел, конечно. Борода — по-прежнему пышная. Филолог. Писал стихи. Прозаик хороший. Долго в отечестве не печатался. В девяностых — начал печататься. Даже Букера получил. В шестидесятых жили мы друг от друга довольно близко. Он ко мне, да и я к нему, в гости ходили — пешком. Он любил чудачества разные. Собирал стихи о кузнечиках. Предлагал всем друзьям и знакомым рисовать кикишу какую-то. Собрал на руинах Останкина, в деревянных домах, снесённых и сожжённых к очередной годовщине советской власти, большую коллекцию старой посуды и прочих, разнообразных, весьма интересных предметов. Хорошо понимал он поэзию. Обладал своим, незаёмным и достаточно тонким юмором. Был к друзьям внимателен. Знал цену дружбе. И — цену слову. Годы шли. Он писал статьи. И сценарии, для кино. Привозил священный огонь, из Иерусалима, в Россию. Летом — жил на даче, в Хотькове. И сейчас туда приезжает — и живёт подолгу. Находит на дороге дмитровской старой то монеты древние, то что-нибудь ещё, из дикиховин. Он давно привык увлекаться чем-нибудь. Быть азартным. Так — интереснее жить. Дети — выросли. Внуки — есть. Да и тексты — изданы. Он звонит мне порой, когда я бываю в Москве. И я иногда звоню ему. Изредка удаётся увидеться нам. Вновь — беседуем. Оба — седые. Вспоминаем лета молодые. А потом, оба — в разные стороны, разъезжаемся — по домам.

Слава Горб. Старинный, особенный, золотой, с юных лет моих, друг. Половину столетия мы дружим с ним. Навидались — всякого. Съели соли немало пудов. Несмотря на сложности, выжили. Встарь мы вдосталь наговорились. И сейчас говорим порой. Хотя и видимся слишком уж редко. Но зато — конечно же, с толком. Говорим — словно не было вовсе промежутков в общении нашем. Нить духовную — невозможно разорвать ни драмам, которые и со мною, и с ним бывали, ни каким-нибудь нынешним вывертам разгулявшейся псевдосвободы, ни утратам, слишком тяжёлым для души и для сердца, ни ставшему очевидным и беспощадным, как война, разобщению людскому, ни болезням, ни одиночеству, ни обидам, ни злу, — ничему. Время — с нами. И память — с нами. Друг мой крепок, породы казацкой, и вынослив, и стоек. Медлителен иногда. Но зато — прозревает суть вещей и явлений. Умён. И талантлив. И дружбам верен. Коренастый, прочно стоящий на земле своей. Сын Украины. Безусловно, хороший сын. Солнце любит он с детства. Приволье. Море любит. И степи родные. Мой земляк. Соратник. В Москве не прижился он. Переехал в Киев. Там и живёт. Бывает у меня в Коктебеле. Знает, что всегда ему здесь я рад. Написал он вещи такие, что поэзия в них — стихия, хоть и проза вроде бы это. Новизна в них, поющий лад — неизменны и драгоценны. Издают их, пусть — постепенно. И — читают. Они — живут. Говорить об этом я вправе. Сколько писем писал я Славе, сколько писем он присылал мне! Уцелели. Смиренно ждут — и вниманья, и пониманья. Что-то брезжит вдали, за гранью уходящих в легенду лет, — может, пламя свечи полночной, может, ответ зари бессрочной, может, звёзд негасимый свет. Ветер запах принёс полынный, чтобы дух оживал былинный в том, что создали мы. Слова стали ясными. Солнце в мире светит ярко. Пространство — шире. Время — дорого. Речь — жива.

Коля Боков. Племянник поэта-долгожителя Виктора Бокова. Едкий, резкий, голубоглазый. Словно кость — поперёк ли горла,

поперёк ли всех и всего, что мешало ему, раздражало и временно не устраивало. Саркастичный? Да как сказать! Ироничный, скорее. С юмором характерным, чёрным весьма. И достаточно образованный. Был — таким. Какой он сейчас — я не знаю. Столько ведь лет миновало с тех пор, когда он уехал на Запад. Был он в молодые годы свои, здесь, на родине, интересным, самиздатовским, разумеется, но печатавшимся потихоньку за границей, ярким писателем. И стихи писал. Издавал свой журнал под названием «Шея», на машинке перепечатанный. Он имел отношение к СМОГУ. Но старался быть независимым. Непохожим на всех вокруг. В эмиграции он издавал свой журнал — известный «Ковчег». А потом — пошли неприятности, осложнения в жизни. Судьба оказалась довольно сложной. Он отшельником жил в пещере, много лет. Путешествовал много по различным странам. И стал вроде даже религиозным человеком. Потом, в Париже, сочинил роман о клошарах, ставший там бестселлером. Начал вновь работать усердно. Книги появлялись одна за другой. Не видались мы слишком давно, чтобы знать мне о нём побольше, — чем он жив, как живёт, и так далее. Существует — и в книгах своих, и в поступках своих, порою необычных, парадоксальных, и в моей, хрянющей всё то, что с эпохой былою связано и с людьми этой трудной эпохи, нас взрастившей, единой для всех, возрождающей, воссоздающей всё, что видел, что знаю, памяти.

Марк Ляндю. Поэт. А в прошлом — геолог. Потом, с годами, надолго, экскурсовод. Ныне, уже давно, впрочем, пенсионер. Жил в Томилино, в Подмосковье. Посещал, с усердием редкостным, всевозможные литературные — вдосталь было их — объединения. И везде — читал, с выражением, артистично, свои стихи. Был он в СМОГе. Мясистый нос. Близорукий. Очки сверкали. Завывал, гудел, рокотал, что-то гулко бубнил, молчал. Было много в нём молодой, диковатой слегка, энергии,

несмотря на возраст. Потом он женился, в который уж раз. Погрузнел. Стал спокойнее, тише. Стал солиднее. Остепенился. Но его прорывало — и он становился всё тем же, прежним, странноватым, бурным, восторженным, — лишь посверкивали глаза с озорною искрой за стёклами запотевших его очков да взлетали руки, то вверх, к небесам, то куда-то в стороны, и сквозь гул, издаваемый им, прорывались строки стихов. Был он добрым? Думаю, в меру. Но поэзию — страстно любил. И особенно — символистов. Да и сам был — таким вот, нынешним, запоздалым слегка, символистом. Стал печататься. Выпустил книгу. Говорят, интернетчик заядлый — есть какой-то собственный блог у него, там он что-то пишет. Приезжал в Коктебель он, бывало. Навещал меня, вместе с женой своей. Бурный, грузный, очкастый, в берете. И — с тетрадью стихов под мышкой. Но — подвижный. Ходил по окрестностям коктельским довольно часто. И гудели над всей долиною и над морем — его стихи. Полагаю, гудят они, буйные, вдохновенно, призывно, громко, на подъёме, по-символистски, по-смогистски, сейчас и в Москве.

Генрих Сапгир. Вальяжный, усатый, слегка под хмельком. А иногда — и крепко выпивши. Так бывало. Но никто никогда почему-то не говорил о нём осуждающе: вот, мол, пьёт. Поэт, переводчик, автор детских стихов, драматург. В компаниях — демиург. В застольях — руководитель. Хандры и тоски победитель. Ко всему относился — легко. Лишнее — отметал, за ненадобностью. Оставлял только то при себе, что было и удобнее, и надёжнее. Так — спокойнее. Проще жить. Не мешает ненужный груз чьих-то текстов или вопросов надоевших, о смысле творчества или бренности бытия. Он умел работать. Но знал меру. То есть — не перерабатывал. Оставлял себе вдосталь времени — для прогулок, пиров, ресторанов и поездок — благо была у него такая возможность. Жил — размашисто, широко. Словно год за годом навёрстывал то, что в детстве недополу-

чил. Был талантлив. Ревнив к соратникам — иногда. Дружелюбен. Знал он и цену себе, и место, по заслугам, в поэзии нашей. Заводил романы. Менял жён. Готов был помочь друзьям, если надо. Мы долго с ним, с явной пользой для нас обоих и достаточно крепко дружили. Написал он довольно много книг стихов. Не печатался долго. Но зато его детские вещи издавались всегда на ура. Шли спектакли в детских театрах непрерывно, по пьесам его. Зарабатывал он немало. Но и тратил деньги охотно. Потому что на смену истраченным приходили новые деньги. В перестройку — стал издаваться он в отечестве. Начал бывать за границей. Остепенился? Нет, остался собою, прежним. Только несколько погрузнел, поседел. Но улыбка, часто появляясь из-под усов, говорила всем окружающим, неизменно: всё хорошо! Стал писать он и прозу. Книги выходили, одна за другой. Молодёжь его мэтром считала. И росла известность его. Умер он внезапно, в автобусе, отправляясь на выступление. После смерти — пришла и слава. Даже книга воспоминаний выходила потом — о нём. И осталось в памяти — дождь, Коктебель, приволье и лето, мы идём с ним вдвоём вдоль моря, смотрит он с интересом вокруг, говорит привычно: «Понятно!» — и улыбка его приятна встречным всем, да и жизнь отрадна, и, конечно, радостен юг.

Игорь Холин. Чем он доволен? Или, может быть, недоволен? Тем, что был он встарь недозволен, а теперь — давно вседозволен? Всё равно ему. Смотрит молча из-под стёкол очков, седой, длинный, бритый, сухой, худой, неизменно — невозмутимый. Публикации? Хорошо. Ну а книги? Да пусть выходят. Был он притчею во языцех при советской власти. Подпольным, необычным, барачным поэтом. Лианозовцем. Он учился у Евгения Леонидовича Кропивницкого. Стал известным — в андеграундных, узких кругах. Он прошёл войну. Не любил никогда говорить о ней. Он работал официантом. Фарцевал по крупной. Писал для детей. Сочинял сценарии, между делом,

для телевидения. Жил — без лишнего шума, закрыто. Не любил впускать посторонних он в свою, какая уж есть, как сложи-лась, ровную жизнь. Не любил открывать, даже выпивши, даже близким, душу свою. Мы нередко с ним виделись. Он от-носился ко мне дружелюбно, даже с явной симпатией. Знал и ценил стихи мои. Звал, иногда, приветливо, в гости. Вёл спо-койные разговоры — то о жизни, то о знакомых, то о старости, то о судьбе. Умер летом он, после болезни, в девяносто девятом году завершающегося столетия. Издан был двухтомник его со-чинений, стихов и прозы. Изучают его наследие литературове-ды нынешние. Только в памяти — он встаёт, весь прямой, как римский сенатор, смотрит пристально вдаль куда-то, а потом идёт по дороге, то ли мирной, то ли военной, чтобы к свету выйти опять.

Это кто там? Эдик Лимонов. Кудреватый. В очках. И в кепке, называемой «аэродромом». Он — из Харькова. Прибыл в Мос-кву. Оглядеться здесь надо. Прижиться. К нужным людям сра-зу прибиться. Там, где надо, вмиг появиться. Создавать о себе молву. Тихий, вроде бы. С виду — скромный. Чинный. Вежли-вый. Нежный. Томный. Но себе на уме он был. Помогала ему бо-гема. Все решали его проблемы. Он об этом потом — забыл. Го-лос вкрадчивый стал нахальней. О судьбе своей эпохальной заявлял он ещё давно. Самомнение — нарастало снежным ко-мом. И маска стала — главным в жизни. Но всё равно привечали его повсюду. Шил он брюки разному люду. Зарабатывал. Сочин-ял непрерывно стихи и прозу. Злобу долго растил, как розу. Жизнь по-своему изменял. Надоело ему в столице. Стал мечтать он о загранице. И уехал туда. И там приживаться по-новой на-чал. Ничего собою не значил. Шёл за случаем по пятам. Был упорным. Стал издаваться. От амбиций — куда деваться? И в по-литику он полез. И — прижился в ней. Разгулялся. Побывал на войне. Вписался в журналистский лихой ликбез. Возвратился в Москву. Здесь маску он сменил. И придумал сказку, изувер-

скую, на крови. Создал партию. Стал заметным. Знаменитым. С кличем победным рвался к власти. Что ж, се ля ви. Завалил своей писаниной всю страну. Не агнец невинный — натуральный фюрер. Герой. Посидел в тюрьме. На свободу — победителем вышел. С ходу занялся своею игрой. Бес? Безумец? Всё — в должном стиле. В точку. Лишь бы о нём — говорили. А потом — что будет потом? Пыль дорожная. Гарь лесная. Топь болотная. Тьма ночная. Да бурьян — на месте пустом.

Вот он, вроде бы рядом. Вагрич Бахчанян. Художник. Из Харькова. Но приехавший жить — в Москву. Потому что была столица для людей богемных в далёкие и уже невозвратные годы чем-то вроде недосягаемого и манящего всех Парижа. Невысокий. В костюме джинсовом. Острослов. Армянин, на двести, как любил говорить он, процентов. С ним — жена его, Ира Савинова, очень верная, волевая и с характером, тоже художница. Был поистине он королём грандиозного чёрного юмора. Был художником очень ярким, авангардным. В Москве — прижился. Был душою любой компании. Зарабатывал в «Литературке» и во многих других изданиях. Все любили его. Казалось бы, жить да жить супругам в Москве. Но жилья своего у них, столь известных, в столице не было. Постоянно они снимали для себя какие-то комнаты. Стал народ разъезжаться вдруг — кто в Европу, а кто в Израиль, кто в Америку, кто куда. И супруги — тоже уехали. Оказались они — в Америке. Поселились они — в Нью-Йорке. Бахчаняна все звали — Бахом. И в Америке, на чужбине, он остался — самим собою. Непрерывно работал. Был — в эмигрантской среде — известным человеком. Душой компаний. Выставлялся. Дружил с Довлатовым. Оформлял какие-то книги. Пристрастился в центральном парке, на пруду, от людей подальше, на природе, рыбу ловить. Говорят, что Ира устроилась на работу в солидную фирму, зарабатывала нормально, даже стала вскоре начальницей. Бах — беседовал по телефону со знакомыми. Рисовал ежедневно.

Седел, лысел. Стал хворать. И весьма серьёзно. Побывали супруги в Москве, состоялись у Баха выставки. Вышли книги его на родине. Только он — уже угасал. И однажды — покончил с собою. Горевали о Бахе — все, и на родине, и за границей. Вспоминали о Бахе — все. Колоритный был человек. Уникальный. Очень талантливый. И осталось — великое множество первоклассных его работ. И осталась — Ира, которой что-то делать с этим наследием, поступать разумно придётся. И осталась — память о Бахе. Память светлая. Навсегда.

Слава Лён. На самом-то деле он — Епишин. Лён — псевдоним. Но со временем к этому все, как бывает у нас, привыкли. Лён так Лён. Согласны. Пусть — так. Хочет — будет не Льном, а Лёном. Не Епишиным, удалённым, за ненадобностью, во мрак. Вижу Славу Лёна — радушным, всю богему к себе зазывающим, спирт, на корках лимонных настоенный, в рюмки крохотные наливающим. Он — хозяин салона домашнего. Голова не болит со вчерашнего у него. У гостей — болят. Похмелье гости велят принести. Приходят в себя, всё вокруг всё больше любя. Соловьём Слава Лён заливается. Всем гостям на показ улыбается. Галстук-бабочка. Взгляд. Поклон. Раньше был фигуристом он. Шаг вперёд, шаг назад. Полёт. В эмпирии. Потом — на лёд. Пируэт. А потом — за стол. Всем, кто нынче сюда пришёл, будет снова стихи читать. Будут мысли гостей витать над графином со спиртом. В нём — смысл собраний. «Когда кирнём?» — каждый думает. Все — тихи. Лён — читает свои стихи. Был он всюду когда-то вхож. На любые затеи — гожд. Он придумал «Бронзовый век». Был активен сей человек. И теперь он — везде. Куда ни придёшь — там и Лён, всегда. Постарел. Но былой задор — не угас. Он скользит, позёр, на фигурных коньках, сквозь дни и сквозь годы. Нельзя в тени быть. Он рвётся — на яркий свет. Что-то пишет. А может, нет. Чем-то занят. Спешит. Куда? Лёд растаял. Везде — вода. Исчезает фигурный след. За болотом — дороги нет.

Кто это там — из прошлого? Или, может, — из настоящего? Бородатый. Довольно высокий. С виду — вроде спортивный, подтянутый. Ну конечно — играет в теннис. Голос — низкий. Глаза — горят. Он уверен в себе. Спокоен. Любит выпить. Сын академика. Он — учёный, химик. Серьёзный. Автор множества разных статей. Компанейский парень. Володя Сергиенко. Поэт. Отчасти — Дон-Жуан. И — доктор наук. Он, конечно же, книго-чей. Автор книги стихов, единственной. Выступает на вечерах, в том числе — и памяти СМОГа. В девяностых он, отдохнуть, приезжал ко мне в Коктебель. А в Москве мы с ним редко видимся. Занят он вплотную — наукой. Давним друзьям — верен донине. Жив. Работает. Полон сил. Несмотря на возраст. Есть дети. Внуки есть. И стихи ведь — есть. И — живут. Из былого века — речь хорошего человека. Из бесчатья — потомкам — весть.

Дима Савицкий. Крепкий. Невысокий. Талантливый. Взрывчатый. С ассирийскою бородою — в молодые свои года. Прозаик. Поэт. Журналист отличный. Надёжный друг. Мы работали с ним когда-то в газете «За доблестный труд». И в этой газете Дима печатал свои рассказы. Почему-то учился он в Литинституте. Повесть написал. Из-за этой повести — не получил диплом. Я знакомил его с людьми из нашей среды богемной. Дима писал и прозу, и стихи. Раздаривал сборники самиздатовские свои. В трудный его период я отправил его в Коктебель благословенный, к Марии Николаевне Изергиной. И там — возродился Дима. Ожил. Всех переигрывал в теннис. Готовил обеды. И написал роман. Потом он влюбился. Был, видимо, очень счастлив. Потом он опять влюбился. В парижанку. Уехал в Париж. Всё бросил в Москве. С собою взял — пишущую машинку. В Париже его ожидали неисчислимые сложности и драмы, и даже трагедии, связанные с любовью. Он — выстоял. Выдержал — всё. И решил остаться — в Париже. Навсегда. Изучил язык французский. Знал и английский. Он

стал издавать свои книги. Зарабатывал много. Ездил по экзотическим странам. Работал и как журналист. Стал вести передачи о джазе, на радио, на «Свободе». Был знатоком джаза. Сразу стал знаменит. Его передачи слушали миллионы людей. Он сбрил ассирийскую чёрную бороду. С виду стал вполне парижанином. Годы шли. Облучился он в армии, на секретных объектах, в молодости. И оказалось это потом. Стал хворать. Стал бороться с хворобами. Побеждать. Изучил медицину. Прочитал всё, что было написано на французском и на английском языках. Писал свою прозу. И стихи. В девяностых годах вышли книги его и на родине. Дима — лучший знаток Парижа. Он по городу этому ездит, по привычке, на велосипеде. Пьёт вино в знакомых кафе. Иногда — запивает, бывает. А потом — прекращает пить. Он — живучий. С корнями крымскими. С коктебельской хорошей закваской. И с московской. Он — свой. Из того же, что и все мы, друзья его, теста. Настоящий, крупный писатель. Человек выносливый, стойкий, волевой. И новые книги он напишет ещё. Впереди — свет, который ведёт его к цели. Он докажет, что жив, на деле. Бури — вроде, давно отгребели. Сердце щедрое — бьётся в груди.

Вадим Делоне. Потомок коменданта Бастилии. Внук академика. Парень приветливый, компанейский, отзывчивый. Вадик. Поэт. И прозаик. А также — известный правозащитник. В шестьдесят восьмом, вместе с прочими, в знак протеста против введения войск советских в Чехословакию, был на Лобном месте. Сидел в лагерях. Не так уж и долго. Но — достаточно, чтобы об этом, позже, книгу свою написать. Помню встречи с ним. Помню, как он вдохновенно стихи читал. Помню наши беседы давние. Он уехал в Париж. На родину предков. Жил там, тоскуя по родине, им оставленной, той, где вырос, где остались его друзья. Пил. Метался. Страдал. Издавался. Написал он немного. Был и в Париже общим любимцем. Умер, слушая, в сотый раз или в тысячный, на пластинке, им поставленной, для

настроения, или, может быть, от тоски, вдруг нахлынувшей, от печали безысходной, или в подпитии сильным, песни Алёши Хвостенко. Симпатичный. И обаятельный. Добрый. Искренний. Вадик. Светлый человек. Свеча на ветру отшумевшей былой эпохи.

Володя Эрль. Был — Владимиром Ивановичем Горбуновым. Стал — Владимиром Ибрагимовичем. Захотел однажды — и стал. Эрлем быть — непросто. Он вжился в этот образ. Как вновь родился. Колобродил. Чудил. Творил миф, который — сам говорил за него. Бородой оброс до колен. Как немой вопрос — к небу поднятая рука. Взгляд, ушедший за облака. Мир абсурда — велик и мил. В нём прижиться — хватило б сил. Обошлось. Алогичен путь, где поглубже нельзя вздохнуть. Дышит всё-таки. Одолеl перевал. И остался цел. В Петербурге живёт. Залив из окна созерцает. Скрыв одиночество и тоску. Повидал на своём веку многовато. В молчанье — крик. По созвездию — ясно, Бык. То есть, лучше сказать, Телец. Где же сказке такой конец? Да нигде. Продолженье впредь будет ярче. Куда смотреть? В даль. А может быть, всё же, в боль? В быль, скорее. Такая роль. Есть отрада. И есть — игра. Что же будет — потом? Пора призадуматься? Маску снять? Как ни тщишься, не вернуться вспять. В май, где в СМОГ записался он. Словом, в юность. Прошла, как сон. Врос он в явь. Оторвать — нельзя. Мифотворческая стезя привела его в новый день, чтоб легенды вставала сень над его головой седой, чтоб над невской стоял водой странным знаком судьбы своей эрлекин петербургский сей.

Володя Бродянский. Старинный друг мой питерский. Режиссёр театральный. Но это — в прошлом. А теперь он — самый таинственный человек, из всех, кого знаю. Был — худым, даже тонким. Лёгким на подъём. Повидал немало разных мест в отечестве нашем, прежнем, нынче не существующем. Путешествовал — автостопом. Временами — ездил на поезде. Жил он

раньше — в любимом Питере, в самом центре. Учился в Москве. Познакомил меня со многими интереснейшими людьми. Познакомил и я его, в середине шестидесятых, со своими друзьями тогдашними. Был на редкость он обаятельным. Светлый, странный. С глазами эльфа. Дамы сразу в него влюблялись. Им взаимностью он отвечал. Создал он свой детский театр, знаменитый, в Лодейном Поле. Создал он университетский, ленинградский, известный театр. Испытал на себе гонения и преследования властей. Стал работать питерским дворником. У него были жёны, дети. Жил в деревне. Построил дом. Научился там выпекать удивительный чёрный хлеб. Продающийся нынче в Питере. Всем известный «бродянский хлеб». Обладал чутьём фантастическим — на достойное, настоящее, — и в поэзии, и в искусстве. Собирал годами серьёзную и большую библиотеку. А потом — всё роздал. Имущество, книги, живопись, и жильё своё. Роздал — всё. От всего стал — свободным. Опроstitился — до невозможности. Ел капусту и чёрный хлеб. Стал — целителем. Помогал стать здоровыми людям. Тихий, весь какой-то светящийся. Взгляд — словно луч. Говорил спокойно, рассудительно. Приезжал он ко мне, в кацавейке старой, с тайной в каждом пронзительном взгляде, в каждом слове, со свёртком в руках, в свёртке — хлеб и капуста. «Кушай!» — говорил. Улыбался кротко. Мы беседовали часами. А потом он — вдруг уходил. И — надолго. Думаю, так было надо. Ему виднее. А потом — он исчез куда-то. И не просто надолго — на годы. Где он был? Появился — сам. Оказалось, он путешествовал. Жил в Израиле. Выпекал там свой хлеб. И работал грузчиком. На себе, в одиночку, носил пианино. Откуда силы? Были силы. И воля была. К жизни. В самых невероятных, самых разных её проявлениях. Находил он по всей Земле удивительные места с энергетикой небывалой. Был не раз и не два в горах. Поднимался он на Эльбрус. Поднимался на Арарат. Поднимался на Килиманджаро. Поднимался на Эверест. За морями и за океанами находил он то, что ему было, видимо, необходимо. Жил однажды на

острове Пасхи. Где он только не побывал! Познавал он мир. Прозревал что-то в мире совсем особое. Что-то важное знал. Спасительное и целебное — для человечества. Просветлённости он достиг на путях-дорогах земных. Возвратился в Питер. Живёт очень просто. С виду — волшебник. Борода — ни разу не стрижена, клочковатая, редкая, длинная. И на редкость скромно одет. Не нужны ему лишние блага. Духом жив он. И светом жив. Как всегда, на помощь придёт, если надо. Вернейший друг. Изумительный человек. Даже больше того — редчайший. Прочно связаны судьбы наши. Продолжаются наши встречи. Продолжаются наши беседы. Пусть нечасто. Пусть иногда. Время — с нами. Творчество — с нами. Негасимое с нами пламя. В прошлом — друг он. И ныне — друг он. И останется им — всегда.

Коля Недбайло. Художник. Рисовал он — левой рукой. А стихи писал — правой рукой. То есть, с пользой всегда использовал, в дело нужное сразу пускал, со сноровкою, обе руки. Был задирист, самоуверен. Чуб — на лоб. Напускная бравада. Прибаутки. И поговорки. Сам придумал — сам и сказал. Глаз прищурен. Язык остёр. Невысок. В одежде поношенной. Да и брюки коротковаты. Но зато — берет или шляпа — знай, мол, наших! — на голове. Гонор был завсегда при нём. Зарабатывал он прилично. Был богемой? Ну что ж, отлично! Мог работать — ночью и днём. Рисовал. А потом — гулял. Широко. Подолгу. С размахом. С нищетой был знаком, со страхом, — с детских лет. Дурака валял понарошку. Ведь был — хитёр. Понимал, что к чему. Порою, загуляв, вытворял такое, что похмелье — сплошной костёр. Но потом, в мастерской своей, он работал, закрывшись, много. Ждать чего-то и жить убого не желал он. Вперёд, скорей! Жить — сейчас. Выставляться. Быть на виду. Так даёшь успехи! Что запреты и что помехи? Жизнь — одна. Значит, надо жить. Вот и жил. Всем властям — назло. Почему-то ему везло. Постарел. Растерял друзей. Вроде, жаждал отдать

в музей он холсты свои. Кто возьмёт? Видит око, да зуб неймёт. Чем он занят? Да всё равно. Я не виделся с ним давно. Был он в СМОГе — да сплыл. Берет мокнет в глуби минувших лет.

Лёша Курило. Так называли его мы раньше. Вообще-то он — Леонид. С Украины родом. Художник. Настоящий. Учился в Строгановке. Но тогда уже — состоялся. Был всегда он — самим собою. Независимым. Работящим. Компанейским. Приветливым. Добрым. Был он в СМОГе. Был верным другом. А потом — отошёл от СМОГа. Открывалась пред ним дорога — для трудов его постоянных. Он работал — и за границей, и в отечестве. Создавал витражи. И холсты. Выставлялся. Стал художником официальным. Но зато — превосходным мастером. Годы шли. Мы не виделись долго. А потом — повидались. Он отыскал в архиве своём фотографии наши давнишние. И теперь они — многим известны. Бородатый, с короткой стрижкой, мускулистый, крепкий, седой, вспоминал Курило — о прошлом. О своём. И — нашем. Хорошем. В настоящем он жив — работой. И храним он — своей звездой.

Боря Кучер. Худой, высокий, даже длинный. Слегка прихрамывал — подорвался на mine в детстве, в Севастополе. Там он вырос. А учиться приехал — в Москву. Вместе с Лёшей Курило и прочими, из смогистских времён, художниками, был он тоже студентом Строгановки. Был он — с юмором. Настроение неизменно всем поднимал. Обаятелен был. Приветлив. Был хорошим художником. Чудом сохранились его работы у меня. Время было сложным. Раскидало ребят из Строгановки, получивших свои дипломы, из столицы — кого куда. И не знал я лет сорок пять — где Борис обитает, где отыскать его? И недавно оказалось, что он живёт в Нижнем Новгороде. Бывают у него персональные выставки. Значит, много работает. Видел я в интернете его рисунки — словно тёплые воспоминания о былых смогистских годах. И на этих рисунках — все мы, вдох-

новенные, молодые. Значит, помнит он всё. Надеюсь, мы увидимся с ним. Он жив, полон творческих сил. Даст Бог, побеседуем. Вспомним СМОГ.

Слава Самошкин. Поэт. Высокий, худющий, очкастый, угловатый — в юности. Ныне — солидный, степенный, спокойный, но — со взрывчатостью, возникающей неожиданно. В СМОГе был — вместе с нами, на вечерах знаменитых. Надёжный друг. Верный. Искренний. Очень светлый. В МГУ он учился. Стал журналистом-международником. Занимал высокую должность в АПН. Потом это крупное заведение — упразднили. Поселился он в Бухаресте. Там активно, много работает по своей специальности. Пишет и на русском, и на румынском языке статьи, репортажи. Переводит с румынского — прозу и стихи. Наконец-то издал свою книгу стихов. Путешествует. Приезжает в Москву постоянно. Приезжал и ко мне в Коктебель. Привозил с собою вино, чьё название удивило и заставило призадуматься всех поэтов — «Слеза Овидия». Угощал им друзей. Читал, громко, чётко, свои стихи. Презентацию книги провёл на волошинском фестивале. По душам со мной побеседовал. И на старенькой «Волге» своей укатил в Бухарест. Но в Москве — появлялся. Дела, заботы. Пишет мне. Присылает стихи. Публикуется нынче в журналах. Человек он талантливый. Добрый. И внимательный. И порядочный. Слово держит всегда. Умеет и работать, и отдыхать. Слава Богу, что временами пробуждается в нём вдохновение, оживает снова горение, чтобы речи огнём полыхать. И тогда — стихи возникают. На него самого похожие. Внешне — вроде простые, сдержанные. Но внутри — негасимый свет. Испытаний — вдосталь. Минувшее чаще тянется к настоящему, чтобы нить протянуть грядущему в чистой музыке наших лет.

Марк Янкелевич. Автор текста «Метапсихоз». Остальных его сочинений, к сожалению, не припомню. Худой, оживлён-

ный, с прядью седой среди тёмных волос. Был в СМОГе довольно деятельным. Участвовал в демонстрациях. Писал ли прозу — не знаю. Мы дружили в шестидесятых. А потом женившийся Марк отошёл от всего, что было раньше. Виделись мы всё реже. Ну а позже — долго не виделись. На закате восьмидесятых и в начале лихих девяностых занялся он арт-бизнесом. Вроде бы преуспел на открывшемся поприще. Сын его — за границей жил. Гнал ему «Мерседес» оттуда. И разбился на гололёде. Марк страдал. Много пил. И умер. Прядь седая осталась в памяти — да весёлый голос. Из прошлого — глаз лучистых Марковых взгляд.

Валера Басков. Из Рыбинска родом. Постарше нас, но всё же из нашей компании. Книгочей. Собирател ь книг раритетных. Позже, в Москве, где стал он со временем жить и работать — театровед. Немного сумбурный. Восторженный иногда. Порою — печальный. Но — искренний. И отзывчивый. Поэзию — понимал. Очень верно, всегда независимо от прочих мнений, по-своему, говорил о ней. Выпивал. А потом и пил. Закрываясь от людей, у себя в квартире. Появлялся всё реже, реже на виду. Исчезал — надолго. Как-то тихо он растворился за чертой междувременья нынешнего. Не желал, скорее всего, в нём участвовать. Чем он жил? Как он жил? Никто и не знает. Умер он, добродушный, улыбчивый, с чуть заметной хитринкой во взгляде, но простой в общении, увалень, одинокий, не понятый, замкнутый в сохранённом им мире своём, вход в который закрыт был для всех. И осталась — тайна. И — память. И ещё различим иногда голос, тающий постепенно, исчезающий вдалеке. Только ветер ненастный снова прилетит, прошептавший слово, столь знакомое, из былого, да цветок шевельнёт в руке.

Рудик Кан. Журналист. Поэт. Мой земляк. И друг мой давнишний. Голова точёная. Спину держит прямо. Ходит разма-

шисто. Смотрит ясными, тёплыми добрыми, с грустью тихой и светлой, глазами повзрослевшего разом ребёнка или старца, на белый свет. Он работал годами в редакциях самых разных местных газет. Был хранителем наших — всей группы молодых криворожских поэтов из начала шестидесятых — текстов, им же тогда, на машинке, вечерами перепечатанных, да и прочих материалов. Может быть, когда-нибудь он обнарудует их, покажет современным людям? Хотелось бы вновь увидеть всех нас, героев, правдолюбцев и смельчаков, полных сил, вдохновенья, задора, в том, что прежде мы сочиняли. Жил он близко совсем от меня. Так что виделись мы постоянно. Говорили мы часто, подолгу, то гуляя вдвоём по улицам нашей Гданцевки, густо заросшей тополями, листвой шелестящими на ветру, то в его квартире, небольшой, но такой уютной, где врвался в открытую форточку свежий воздух весны, или осени, или лета, или зимы, где покой был предвестьем воли, ну а воля — началом доли, где ненастные знаки боли возникали вокруг, — обо всём, чем когда-то жили, дышали, что потом случайно узнали, что теперь вернётся едва ли, что в себе сквозь годы несём, как огонь, для других незримый, но для нас-то необходимый, неизменный, неукротимый, очевидный, как ни крути, нас вперёд упрямо ведущий, неизбежных свершений ждущий и прозрений в жизни грядущей на юдольном нашем пути. Он потом переехал, стал жить в другом, далёком районе. И не видимся мы подолгу. Но старинная дружба — жива. И стихи наши прежние живы, и души дорогие порывы, и над всем, что с нами навеки, молодая шумит листва.

Алик Учитель. Друг, с юных лет моих, криворожских. Старший друг. Мудрый друг. Серьёзный. Понимающий. Добрый. Внимательный. И надёжнейший. Светлый друг. Золотой. Александр Давидович.словно с давних холстов прославленных, всем известных испанских художников к нам сошедший, в нашу не только непростую, но слишком уж сложную, но зато и доселе

прекрасную, потому что дарована всем, чтобы жить и работать в ней, явь. Небольшой, но пластичный, стройный, крепкий, сильный и духом, и телом, фантастически просто выносливый, небывало работоспособный. Как он всё успевает? Да так вот. Потому что он прозорлив, образован, умен, талантлив, смел, упорен, внимателен к людям. Он учёный известный. Профессор. Создает институты. Бывает постоянно в командировках. Помогает всем, кто к нему обращаются. Помнит — всё. Всех поддерживает, опекает. Он — творец. И жизнь его — творчество. Созидает. Миры творит. Он, как Хлебников говорил, из творян. Хорошо разбирается и в искусстве, и в литературе. Он всегда — в работе, в движении. Ну а дома, когда, бывало, прихожу я к нему, повидаться, побеседовать, он — чудесный собеседник, радушный, приветливый, чуткий, очень гостеприимный и внимательный друг. И с ним — Соня, светлая фея из сказки, изумительно добрая, искренняя, вся в полёте, порою восторженная, увлечённая и поэзией, горячо любимой, и музыкой, неизменно красивая, верная идеалам, его жена. Разговоры наши и встречи — незабвенны. Во имя речи и во имя свершений новых мы живём. В который уж раз убеждаюсь я: дружбы — святы, годы наши — давно крылаты, люди есть особые в мире. С нами он. И время — за нас.

Марк Бирбраер. Волшебник Маркус. Настоящий волшебник. Давний друг мой. Редкостный. Очень верный. Киевлянин. В былые годы — путешественник страстный, бывавший в самых разных местах страны — той, которой на карте нынче нет, которая всё же — с нами, в нашей памяти, в наших снах. Невысокого роста. Лёгкий на подъём — когда-то, давно, в дни, когда он был помоложе. Сквозь очки — жарчайший, ярчайший, жгучий, солнечный, Львиный взгляд. То-то в августе он рождён. Летний, тёплый, земной поклон — кручам киевским и ярам, паркам, улицам и дворам. Здесь — отчизна его. Он сед. Восставал, и не раз, из бед. Из болезней. Он — волевой. Несмотря ни на что — живой. Будет жить он и впредь. Всегда. Есть над гра-

дом — его звезда. Сберегает его судьба. Свежий ветер сотрёт со лба пот лишений, страданий, зол. Не случайно он в мир пришёл. Словно вестник добра. Для всех, с кем знаком он — и чей успех был предсказан им встарь. Вперёд смотрит он, вглубь и высь. Встаёт свет над ним, чтоб сияньем стать. Призван он, чтоб любить и знать, в жизнь, в юдолю. С чередой лет ярче стал несказанный свет. Крепче — дружба. Верней — слова. Зеленей и шумней — листва над его головой седой. И душою он — молодой. Мудрый. Искренний. Книгочей. Смысл событий и суть вещей прозревающий. Зрячий. С ним — хорошо мне. Ведь он храним высшей волею. Что-то в нём от пророка есть. Словно днём, даже ночью светло, когда рядом он. И чисты года, дни, минуты, мгновенья. Снег или дождь, и разливы рек, и в пучине мирской ковчег, век минувший и новый век тоже — рядом, и жизнь — светла. Счастье. Радость. Прилив тепла. Марк. И — Мери, его жена. Словно в непогоду, вдруг, — весна. Свет апрельский. Сады в цвету. Путь — и в тайну, и в красоту. Дверь, открытая в новый день. За оградой, в глуши, — сирень. За порогом — небес простор. Вдосталь — музыки. Лад. Костёр. Негоряющая свеча. Отсвет солнечного луча. Отзвук песен — с высоких звёзд. Над пространством — воздушный мост. Марк и Мери. Друзья мои. Над минувшим — комет рой, восходящих светил следы. Продлеваются их труды, чудеса бытия даря. Над грядущим — горит заря.

Эдик Рубин. Друг мой давнишний. Киевлянин. Рыцарь без страха и упрёка. Чуткий. Внимательный. Деликатный. Изобретатель всевозможных чудес технических. И не счесть различных дипломов и патентов, которыми встарь до предела была завалена вся квартира его. Но средств это раньше не приносило. И работал он — инженером. Словом, творческий человек. Совершенствовался. И жил, по привычке, скромно и просто. Он любил свой Киев. Он был совершенно своим — в богеме. Круг его знакомств был широким. Круг друзей его — тесен был.

Тонкий, стройный, — струнка, звучащая на ветру весеннем, когда расцветали вокруг акации и каштаны, цвела сирень, и в Днепре, на просторе водном, словно в дивном, текучем зеркале, отражались и чайки белые, и плывущие облака. Или — осенью. Или — зимой. Или — в летнюю пору. Всегда в нём звучала волшебная музыка бытия. Был он честен и стоек. Был надёжен. Знаток поэзии. Хорошо разбирался в искусстве. Знал он — многое. Жил — свободно, независимо. От всего, что мешало ему. Он мог отстраниться от всякой всячины надоевшей. И просто — жить. Но — по-своему. Без подсказок. Знал он сам, как ему поступать. Он уехал, давно, — в Израиль. Вместе с Олей, женой своей, замечательной, тонкой художницей. Оказался он там, на новой, обрётённой вовсе не в молодости, а в достаточно зрелом возрасте, сердцем искренне принятой родине, и востребованным, и понятым. Дом в пустыне. Работа. Средства к жизни — в общем, вполне достаточные, чтобы ездить по разным странам, путешествовать, принимать и гостей, к нему приезжающих, и действительность, всю, и мир, весь, и всё в этом мире — таким, как сложилось, как вышло. То есть, принимать всё — как дар. Порой приезжает он в Коктебель, вместе с Олей. Совсем седой. Но — звучащий всесильной музыкой бытия, которое всюду, где бы ни был он, сквозь пространство и сквозь время идущий, — с ним.

Вот он машет рукой — издалёка. Приближается, вроде. Идёт? Нет, сидит. В инвалидном кресле. Но в пространстве — сквозь время — движется. Неизменно — сюда, ко мне. Из былого — навстречу грядущему. Как на свет. На пламя свечи. На сиянье ночных созвездий. Крупный, крепкий, чернобородый, с сединой сизоватой. Гена Бессарабский. Скульптор. И рядом — ангел. Маша, его жена. Он взволнован. И оживлён. Он доволен: гости пришли. Навестили его — в мастерской. А работа — пусть подождёт. Взгляд лучистых, добрейших глаз — из немислимых лет — на нас. И — на каждого. И — на всех. И — улыбка. И — взлёты

рук. Вверх. И в стороны. И — навстречу. Всем он рад. Привечает — всех. Говорит — о высоком, важном. И для каждого, и для всех. Длинный стол. Крепкий чай. Идёт бесконечно беседа наша. Говорим. Читаем стихи. Голоса молодые наши остаются надолго здесь. Даже, может быть, навсегда. Остаются — в памяти нашей. Превращаются в изваянья. Так он вылепил и меня, молодого, худого, стройного, вдохновенно стихи читающего, руки, словно в молитве, раскинувшего в обе стороны, с головою, запрокинутой в небеса, в трансе явном, в порыве, в полёте, но и здесь, в юдоли земной.

Было всех вас когда-то много, из бывшего, из круга СМОГа. Поредели друзья ряды. В небе — свет путевой звезды. Тишь да глушь над приморским кровом. Перемолвиться не с кем словом. И уходят в тексты слова. Да и память с ними — жива.

Шумит над вами жёлтая листва, друзья мои, — и порознь вы, и вместе, а всё-таки достаточно родства и таинства — для горести и чести. И празднества старинного черты, где радости нам выпало так много, с годами точно светом налиты, и верю я, что это вот — от Бога. Пред утренним туманом этажи нам брезжили в застойные години, — кто пил, как мы? — попробуй завяжи, когда не всё ли в общем-то едино! Кто выжил — цел, — но сколько вас в земле, друзья мои, — и с кем ни говорю я, о вас — в толпе, в хандре, навеселе, в беспамятстве оставленных — горюю. И ветер налетающий, застыв, приветствую пред осенью свинцовой, немотствующий выстрадав мотив из лучших лет, приправленных перцовой. Отшельничать мне, други, не впервой — впотьмах полынь в руках переминаю, сидящей качая головой, чтоб разом не спустилась мгла ночная.

Что-то вроде пунктира. наброски. Или, может, штрихи. Или краткие, из минувшей эпохи, истории. Или попросту — то, что вспомнилось мне, седому, прямо сейчас. Раз пришло —

говорю об этом. Благо время — в родстве со светом. И поэтому — в добрый час!

Вот и вышло — ушла эпоха тополиного пуха ночью, в час, когда на вершок от вздоха дышит лёгкое узорочье. Над столицей сень сквозная виснет маревом шелестящим — и, тревожась, я сам не знаю, где мы — в прошлом или в настоящем? Может, в будущем возвратятся эти шорохи и касанье ко всему, к чему обратятся, невесомое нависанье. Сеть ажурная, кружевная, что ты выловишь в мире этом, если дружишь ты, неземная, в давней темени с белым светом? Вспышка редкая сигаретки, да прохожего шаг нетвёрдый, да усмешка окна сквозь ветки, да бездомицы выбор гордый. Хмель поыветрит на рассвете век — железный ли, жестяной ли, где-то буквами на газете люди сгрудятся — не за мной ли? Смотрит букою сад усталый, особняк промелькнёт ампирный, — пух сквозь время летит, пожалуй, повсеместный летит, всемирный. Вот и кончились приключения, ключик выпал, — теперь не к спеху вспоминать, — но влечёт мученье — тополиного пуха эхо.

Где в хмельном отрешении пристальны дальнорзоркие сны, что служить возвышению призваны близорукой весны, в обнищанье дождя бесприютного, в искушение пустом обещаньями времени смутного, в темноте за мостом, в предвкушении мига заветного, в коем — радость и весть, и петушьего крика победного — только странность и есть.

С фистулою пичужьею, с присвистом, с хрипотцой у иных, с остроклювым взъерошенным диспутом из гнездовий сплошных, с переключкою чуткою, цепкою, где никто не молчит, с круговою порукою крепкою, что растёт и звучит, с отворённою кем-нибудь рамою, с невозвратностью лет начинается главное самое — пробуждается свет.

Утешенья мне нынче дожждаться бы от кого-нибудь вдруг, с кем-то сызнава мне повидаться бы, оглядеться вокрут, при-

подняться бы, что ли, да ринуться в невозвратность и высь, встрепенуться и с места бы вскинуться сквозь авось да кабысь, настоять на своём, насобачиться обходиться без слёз, но душа моя что-то артачится — не к земле ль я прирос?

Поросло моё прошлое, братие, забытьём да быльём, и на битву не выведу рати я со зверьём да жульём, но укроюсь и всё-таки выстою в глухомани степной, словно предки с их верою чистою, вместе с речью родной, сберегу я родство своё кровное с тем, что здесь и везде, с правотою любви безусловно — при свече и звезде.



Здание книги. Дом. Соты пчелиные. Гнёзда птичьи. С каким трудом в небе сияют звёзды!

Музыка книги. Лад. Полифония. Воля. Всё, чему нынче рад. Волны. Частоты. Поле.

Мир. Не ленись, войди! Всё — для тебя. Живи в нём. То-то звучит в груди сердце — вселенским гимном.

Свет. Посмотри же — свет. Свет. А за ним — сиянье. Взгляд — из минувших лет. Мыслей и слов слиянье.

Книга. Вечерний звон. Зов на рассвете. Доля. Книга. Блаженный сон. Стуски любви и боли.

Книга. Список утрат. Перечень обретений. Книга. Волшебный сад. Собище средостений.

Книга. Ключ. Или — клич. Плач. Или с плеч — обуза? Ноша. Надежда. Спич. Пой вдохновенно, муза!

Книга. Отрада. Луч солнечный. Дух. Горенье. Вера. Мой голос — жгуч. Всем на земле — даренье.

Ночь прошла. Я снова работал. Да и как не работать — сейчас, да и как вообще — не работать мне, который только и делает, год за годом, так много лет, и в былом, отшумевшем столетии, и в столетии нынешнем, новом, что работает да работает!

Я привык — ну куда деваться? — кто мне скажет? — к своим трудам. «Нет бы — с прочими тусоваться, как и все!» — скажет главный сам сверхтусовщик. «Иди, тусуйся! — говорю я, ему в ответ, — а сюда никогда не суйся, для тебя здесь приюта нет».

Вот с такою ноткою едкой возникает новый напев. Машет вновь шумящею веткой старый тополь. Оторопев от вторжения в души наши, поднимается на балкон плющ. Акации, сказки краше, подступают со всех сторон.

Август. Вот и цикад не слышно. Только горлицы — всё кричат. И никто здесь не третий лишний. И людей голоса звучат. В отдалении. Ближе, ближе. Вместе с птицами. В добрый час! Что увижу? И что услышу? Что узнаю? В который раз?

В зеркалах — да и там, в зазеркалье — отражений рои. Движение отдалённых, смутных теней. Измерений иных пунктиры. Знаки. Всплески других миров. И не нужен ковёр-самолёт, чтоб туда улететь, откуда возвращения нет, — а может быть, возвращение и возможно. Если знаешь ты, что сказать, как вести себя, что увидеть и запомнить, мимо чего поскорее пройти. Если знаешь. Если помнишь. Запоминай. Во вселенной всё абсолютно, всё живое — взаимосвязано. Есть — единство всего на свете — помни это, скиталец, — сущего. Сквозь ушко игольное ты, если надо будет, пройдёшь. Совершишь все Геракловы подвиги, и поболее даже. Увидишь то, что видеть и впрямь не дано тем, кто слыхом даже не слыхивали, что такое — явь, или правь, или навь. С Ориона свет озарит и тебя. Живи. И — работай. Новые книги — никакие, брат, не вериги. Это — в небо ступени. Высокие. Это — путь твой. Юдольный. Земной. Пусть повеет осень — весной, а зима — вдруг подарит лето. Жизнь — светла. И песня — не спета. Вот и музыка. Ты со мной, чудо. Всюду теперь — звучи. Всюду будут открыты двери. Всюду в мире — забудь потери — музыкальные есть ключи. Волшебство — в порядке вещей. Ну а празднество — за утратой — непременно придёт когда-то. Разомкнутся клювы клещей, что сжимали края покрова. Всё — не

ново? Всё — вечно ново. Не кори меня, друг, сурово. Побеждён будет царь Кашей. Из яйца мирового вновь пусть родятся миры живые. Всё — в охотку. И всё — впервые. Всё — навек. Вот и вся любовь.

Шелест южной, густой, зелёной, киммерийской, сквозной, узорной, непостижной и непокорной, знойной августовской листвы.

Шелест — лёгкий, почти бесшумный, иногда, а порою — сильный, нарастающий, изобильный, в небе — с отсветом синевы.

Шелест — вечный, сплошной, беспечный, быстротечный и бесконечный, шелест — лепет, высокий трепет, отзвук памяти и судьбы.

Шелест — прелесть, и шелест — шалость, незапамятность, небывалость, навевающий неизменно возвращение ворожбы.

Шелест — звук. Или — знак. Вокруг — мириады сплетённых рук.

Шелест — миг. Или — мир. В ответ: вот вам сто полновесных лет.

Шелест — магия. Шелест — дом. Вот он, рядом. С твоим трудом.

Шелест — музыка. Шелест — рай. Август. Дел — непочатый край.

Шелест — шёпот. И шелест — крик.

Шелест — власть. Ко всему привык.

Шелест — опыт. И шелест — нить.

Шелест — весть. И — за нею: быть!

Покатился клубок — вместе с нитью — дальше, дальше, в пространство, сквозь время.

Нить, кручёная и суровая, что связуешь — в моей поэме?

Вот и яблочко покатилося — ах, по блюдечку золотому.

Так скажи ты, что не забылось, — по-хорошему, по-простому.

Вот — былины. И сказки. Были. Мифологии воскрешенье.
Все — кто помнят. Все — кто любили. Бесконечное вопро-
шение.

Безответное заклинанье. Безмятежное восхищенье.

Вы откуды, воспоминанья? И — прощанье. И — всепрощенье.

Жёлтый лист, сорвавшийся с дерева, закружился в прогретом донельзя, раскалённом пышущем жаром, душном, плавленном летнем воздухе, уносимый порывом лёгкого, налетевшего ненароком, торопливого, мимолётного, ненадёжного ветерка вдаль куда-то, но вдруг помедлил, зависая передо мною, как пропеллер, вертясь, потом весь обмяк, потеряв опору, пусть воздушную, пусть — на время, всё равно ведь был он в полёте, всё равно ведь парил — и вот он упал, трепещущий, вниз, на дорожку садовую, рядом с расцветающей алой розой, став невольным, немым вопросом: что же — дальше? Нужный вопрос. Дальше — осень. Пусть и нескоро. Этот лист — её знак. Предвестник. Молчаливый — но всё же звук. Взгляд её — сквозь летние дни. Дальше — осень? Но длится лето. Почва щедрая разогрета. И горит моя сигарета. И темно в лиловой тени. И светло — на припёке. Солнце — над Святою горой застыло. С пылу, с жару — так много было самых разных сказано слов. Столько было событий всяких, что теперь их следов двояких не доищешься здесь, в округе, где любой их найти готов. Жёлтый лист — он ответы знает на вопросы. Не зря летает над землёю. И пусть растает, растворится в пространстве пусть. Грусть — со мною. И весть — со мною. Пусть повеет былой весною всё далёкое — и родное. И — знакомое наизусть.

...Когда я читал твои письма — и повеяло давней осенью — помнишь костры на Гданцевке, за рекой, холодной и сонной, вороха и груды осыпавшейся с окрестных деревьев листвы, собранные, наподобие курганов или холмов, полыхнувшие жарким пламенем, а потом неспешно, торжественно, как-то жер-

твенно даже горящие, серебристо-сизый, колеблющийся, поднимающийся над землёю, стелющийся вдоль улиц, уходящий в туманное небо, высоко, ещё выше, дым, — ты идёшь, сквозь деревья, к реке, над которой — мосты, целых три, переходишь на южный берег по мосту подвесному, — и вот уже ты в заречном, тихом раю, да, в раю, ни больше ни меньше, потому что в раю этом вырос я, и здесь — моя родина речи, — всё мгновенно, как по волшебству, словно в сказке с тяжёлым началом и всегда хорошим концом, словно в древней легенде, где тайна до поры до времени дремлет, словно в песне, словно в предании, возвратилось и ожило.

Светло в этом, сердцу милом и душе, осеннем краю — и дымчато в этом дивном краю, вернее — в раю.

Удлиненные контуры стен, заборов, деревьев, фигур. Теней мельтешенье — скользящее, сквозящее — вдоль строений, вдоль улиц и переулков, куда-то на юг, наверное — под ветром северным, веющим вечерами, всё чаще и чаще.

Снова движется всё, плывёт в океане воздушном, качается, растворяется в темноте, вырывается вновь на свет, устремляется в глубь степей, пахнет горькой, сухой полынью, свежей влагой, листвой, слетевшей с исполинских грецких орехов, навевает мысли о прошлом, проясняется в настоящем, незаметно уходит в грядущее, чтобы ждать нас, теперешних, там.

И никогда никому не удастся, сколько ни будут пытаться, наивные люди, заключить этот мир, как холст, в условную даже рамку, — он вырвется из неё сразу же, незамедлительно, разрастётся, раздвинется тут же, распахнётся весь — и для зрения, и для слуха, и для того, чтоб надолго остаться в памяти, чтоб остаться в ней — навсегда.

Где мои скрипки, легчайшие, как пушинки или снежинки, на которых сыграть я попробую изумительные мелодии?

Где мои окна, которые исчезают, не приближаясь к тем, кто смотрит на них с подозрением, подружившись невольно со злом?

Где вода моих древних рек, что текут с достоинством редкостным вдоль холмов и низин, вдоль скал, нависающих круто над ними?

Где священность моих берегов, средоточий жилья людского, сокровенного понимания жизни, света, уюта, тепла?

Где же наши ночные свечи, освещающие и грустные наши лица, и знаки зыбкие драгоценного бытия?

Пусть звучит блаженная музыка — сквозь вселенскую тишину, сквозь видений осенних сонмы, сквозь тревоги, — как можно дольше.

А потом — пускай скрипачи инструменты свои волшебные по привычке кладут в футляры и с трудом закрывают их.

Пусть идут они молча, сутулясь, перешагивая через лужи, к остановке трамвая, чтобы уезжать на нём насовсем.

Пусть летят над ними осенние — словно эхо — жёлтые, алые, невесомые, ветром гонимые вдоль дороги, окрестные листья.

Я приду из парка заречного, где остались отзвуки музыки, меж деревьев, сплошь облетевших, до зимы, — и вернусь домой.

И всё — как под увеличительным сильным стеклом: то расплывчатей, то чётче уже, сфокусированней — детали, приметы, сны.

И в мире моём — светло. Но радость в нём — дружит с грустью.

Где наша музыка, грусть моя, музыка по вечерам, и книги, радость моя, и зыбкие, длинные тени со всех четырёх сторон, сквозь углы, закутки, пробелы в горькой памяти, сквозь просветы в ней же, сквозь силуэты смутные позади, сквозь локти и плечи незнакомых людей и друзей?

Что такое — наша, родная, не чужая ведь, сторона, и зачем она кем-то создана, и кто же мы, кто же такие, в конце-то концов, когда веет ветер с юга, вечерний и ночной, сводящий с ума, заставляющий встать и идти, неизвестно куда, всё дальше, сквозь пространство и время, вперёд?

Нет ни солнца, ни туч, ни птиц позади, но едва лишь ты, хоть на миг, оглянуться сумеешь — есть и солнце, и тучи, и птицы, и листва, уводящая в глубь этой местности, где прозреваешь вместе с прочими, где проживёшь, уцелеешь, станешь дышать глубже, проще, спокойней, свободней, сохраняемый силой Господней, чтобы стали слова благородней, чтоб о прошлом себя вопрошать.

Где моя музыка, личная, сокровенная, без литавр, словно задача решённая, тихая, не оглушённая бешеным, будто с цепи сорвавшимся, барабаном?

Где мои гитары и совы, раскрывающие глаза удивлённо, когда зовёшь их, молчаливых, по именам, балаганы пустые, закрытые до утра, карусель наша старая и знакомая, сиротливая, среди сиреновой мглы, скамейка?

Нас увезут куда-то не музейные, старомодные, симпатичные с детства, «кукушки», а истошно кричащие, в непогоду уносящиеся электрички, и при встрече, там, впереди, вместо «здравствуй» кто-нибудь скажет, ни с того ни с сего, «прощай».

Мы умеем и не умеем жить, как все, но все мы стареем, и старят нас — возвращения, и просят у нас — прощения.

Обещаниям — проще, они забываются иногда.

А прощаниям — горше, они остаются уже навсегда.

Прилетят к нам голуби мёртвые. Вслед за ними — живые голуби.

Прошумят нам ветвями безлиственные, одинокие тополя.

Гитары без струн сыграют нам — вслед за маршем Наполеона — болеро Равеля, чтоб кровь закипела в жилах застывших.

Сигареты наши, сухие и измятые, затвердеют, в семь цветов окрасятся радужных, словно палочки восковые.

Башмаки наши сотню раз обязательно будут изношены.

Но где, и когда, и скоро ли будет встреча? Когда же мы все, да и где, сумеем увидеться? И когда же — не будет страданий?

Финикийцы правят своими кораблями в морях неведомых. Паруса их остроугольные задевают порой за прошлое.

Мы возьмём большие, тугие, боевые луки — и выпустим стрелы с чёрными, гибкими перьями. Никогда не убьют они наших верных подруг и жён. Поразят они — только зло.

Когда они в прошлом горели, осенние наши костры, и горят ли они в настоящем, чтоб гореть и потом, в грядущем?

Надолго ли — наше время? И долго ли нам, сегодняшним, брошенным, как из пращи, в эту странную, право, действительность, где навыворот всё, кувыркком, лететь куда-то над крышами окрестных строений, над буднями и головами прохожих?

Где наши простые песенки, широкие, прочные вёсла, круги гонимые, празднества и все на свете ремёсла?

Разве нет у нас родины? Есть.

Здесь она. Это — родина речи.

Степь. Для меча? Или плуга?

Есть у нас ветер с юга.

...Что за прелесть и что за чудо, в сердце вхожее отовсюду, были те, далёкие, тёмные, непостижные и огромные, осенние или зимние, с тишиной, с приязнью взаимною, весенние или же летние, с их таинственностью безответною, с глубиною их, с высотой, с ощущением тепла и добра, с чередой их непростую, стародавние вечера.

Были в доме нашем тогда две настольных лампы: одна — мраморная сова, с глазами зелёными, круглыми, а другая — традиционная, с колпаком широким, зелёным, симпатичная, старая лампа.

Письменный крепкий стол сделал то ли ещё до войны, то ли сразу же после войны, по заказу отца моего и по дружбе, знакомый плотник. Вишнёвого цвета стол, изрезанный мною ножиком. В нём — две тумбочки, с дверцами, с полками, слева — тумбочка, справа — тумбочка, пустота в середине — для ног, наверху, под широкой столешницей, — выдвигаемые длинные ящики, целых три. Мой был — средний ящик.

Окно в моей южной комнате выходило во двор к соседям — там шла совершенно другая, непонятная мне, соседская, довольно скучная жизнь, там белела стена сарая и лаяла, как заведённая, на цепи длиннющей сидящая, тоскующая по свободе, столь желанной, большая собака.

На столе отец расстилал лист бумаги, форматом с ватманский, иногда бумагу придавливал прямоугольником толстого, отражавшего свет из окна, свет настольной лампы, лицо моё, превращавшегося мгновенно, словно в сказке, в тусклое зеркало, поначалу холодного, скользкого, а потом согретого лампой и дыханием моим, стекла.

Я исписывал, изрисовывал лист бумаги. Отец убирал его, расстилал аккуратно новый лист, с одной стороны — цветной, а с другой — сероватый или желтоватый, шероховатый и какой-то пористый. Помню фиолетовые, зелёные, цвета спелой редиски, синие, красноватые, голубые, как весеннее небо, листы.

Я сидел за столом, рисовал или что-то писал — и глаз отбирал, по чутью, цвета, ожидавшие воплощения в речи: мягкую белизну потолка и стен, желтизну, под зелёным над ней колпаком, электрической яркой лампочки, заоконную зелень листьев, лиловатые всплески теней по углам, коричневый пол, синеву приходящего вечера, постепенно переходящую в темноту, в которой угадывались виноградные лозы, деревья, огоньки в приоткрытых окнах, очертанья созвездий в небе, все приметы послевоенной жизни, скромной, провинциальной, но и щедрой, неповторимой, дорогой, прекрасной, дарованной всем вокруг, благодатной, моей.

За стеною то затихали, то опять разрастались, да так, что округа буквально звенела от сплошного, вселенского звона, вдохновенные песни сверчков.

Мне никогда потом не было так хорошо на душе, как в эти далёкие, незабвенные вечера.

Брат спал на своей кровати, после очередного скандала, из-за невыполненного, как нередко бывало, домашнего, довольно

простого задания. Отец и мама — в соседней комнате разговаривали, бабушка — где-то рядом была, — позднее, когда появился у нас телевизор, они, все вместе, смотрели различные передачи.

Ну а я — то черкал бумагу, в задумчивости, просто так, то рисовал всё, что в голову приходило, свои фантазии тогдашние, благо их было тогда предостаточно, с избытком даже, скажу я сейчас, то писал запоем, весь отдаваясь течению, движению речи, наивной, но зато, безусловно, искренней, труду, назначенье которого я не очень-то понимал, но чувствовал, что писать — это значит всегда трудиться, быть упорным, осуществлять хоть частицу своих, как правило, максималистских замыслов, которые возникали как-то просто, легко, непрерывно, чередую, один за другим, в голове моей, — в этом роении разрастающемся, звучащем непривычною поначалу, но потом уже узнаваемой, ожидаемой, радостной музыкой, возникали уже и видения ненаписанных мною, пока что, но реальных, в будущем, книг.

Я думал о море — и видел, сразу же видел его, внутренним зрением, слышал рокот его и гул. Думал о листьях — и листья шелестели здесь, за окном, говоря о том, что они ждут, когда я о них напишу.

Если это происходило летом, знойным, южным, степным, — ничего не стоило тут же распахнуть обе створки окна, и дожждаться вечера, чтобы мотыльки прилетали в комнату и кружились вокруг настольной, их манящей, горячей лампы.

Если это происходило нашей, светлой и тёплой, осенью — ничего не стоило молча лбом прижаться к стеклу оконному — и слушать долго, часами, её печальную музыку, сквозь струи дождя на стекле, сквозь мокрые кроны деревьев окрестных, сквозь ветер, гудящий протяжно, сквозь явь, которую надо было мне постигать.

Белый сарай за окном, на дворе соседском, был южным с виду. Окно выходило, как уже говорил я, на юг. Кровля была

у сарая — плоская, крымского типа. За сараем росла высоченная шелковица. Рядом с ней росли высокие вишни. В стороне от них рос виноград. Словом, южный вполне пейзаж. Украинский. Почти что крымский. Было этого мне достаточно, чтобы сразу себя представить где-нибудь на юге, в Крыму.

Бродил и ворчал соседский, лохматый, нечёсанный пёс. На это ворчание тут же откликались другие собаки окрестные. Проезжала, иногда, машина по улице, грузовая. И всё опять затихало, впадало в дремоту. А потом пробуждалось, внезапно, от какого-то нового звука, растревожившего заречный, весь в садах фруктовых, ленивый, тихий рай и его покой.

Летели по ветру листья, кружились, падали вниз, на землю, на чернозём, на грядки и на траву, зеленеющую на жёлтом, багряном, пестреющем фоне деревьев, на фоне лилового, туманного, влажного неба, и птицы высокими стаями улетали снова на юг.

Я рос и грустил. Я исчеркивал бумагу или, поддавшись настроению, — много писал, покуда не надоедало, и я, уставший, бросал тексты свои тогдашние где-то на середине, чтобы завтра — начать другое, что казалось мне интереснее предыдущего, — не хотелось мне заканчивать то, что было слишком ясным уже для меня, лучше — новое написать.

Все четыре времени года проходили передо мною, друг за другом. И звёзды в небе так сияли, и со стороны Черногорки, холма крутого, нависавшего над рекой глыбой смутной глухого урочища, пели орды лягушек, и пели соловьи, и ночные птицы пролетали так низко, что тут же разглядеть их получше хотелось, но куда там, они исчезали в темноте, а на смену им появлялись летучие мыши, и лисицы степные тихонько пробирались в чьи-то курятники, и, почуяв их приближение, заливались лаем собаки, томно пахло ночной фиалкой и жасмином, уже расцветали розы, полные влагой ночной, мир безбрежный был рядом со мной.

У виска трепетала, дрожала на весу прилетевшая бабочка, словно вестница лета. Осенью — приходилось её вспоминать.

Перед моими глазами был круг света — и я понимал уже, насколько сильнее он и разумней всяких углов. Видел в нём я — вращенье, круженье, уходящее далеко, высоко, в глубины вселенной.

На улице — пацаны свистели, брехали псы, болтали о чём-то соседки. Это было — не для меня.

Фонари, сквозь листву горящие, — были сферами. Я заключал всё, что видел, — в сферы. И мысленно — проникал я внутрь этих сфер. Время — круг. Это было ясно. Коло. Круг. Для жизни. Среда. И углы не хотел я вписывать в этот круг. Я сидел за столом, в очевидном прямоугольнике дома, комнаты, — и создавал, каждый — в виде круга, миры свои. Рисовал на листах бумаги — круг. Меня привлекали — сферы. И ещё рисовал — корабли, замки, лица прекрасных женщин, тех, что встречу я позже, потом.

Лет в пятнадцать я полюбил книги Грина. И эта любовь почему-то была прочнейшим и таинственным образом связана с небывалой, смертной тоской. Почему? Наверное, чувствовал я тогда: никакой не романтик Грин, а очень серьёзный мистик.

Помню круговращение дождливого октября и ноябрь, шагнувший навстречу с неожиданными новостями. Но какими? Об этом лучше промолчать. Они — не для всех. Это — личное. Всё осталось — в речи, в книгах моих, никуда от меня не девалось. Живёт.

А пока что — я жил и дышал, как и все, казалось бы, вроде бы примирившись с тем, что нельзя выделяться, но и не так, как другие вокруг, а по-своему, ощущая отмеченность некую и стараясь её сберечь от чужих разговоров и глаз.

Возвращался из школы по шпалам, забываясь и даже не глядя, весь в мечтах своих, по сторонам. Во мне роились бесчисленные, лишь мне доступные образы. Я слушал дивную музыку, доносящуюся ко мне с небесных высот — и всё время те

фрагменты её, что успел, что сумел я запомнить всё-таки на пути, про себя напевал.

И дома, согревшись, если приходил я с холода, или же отдышавшись, если погода довольно тёплой была, — я что-то вновь создавал. Писал. Чего только я не писал! Всего и не вспомнишь. Фантастику и приключения, с сюжетами, лихо закрученными. Что-то из жизни школьной. Из детства. Да и из отрочества. Повести. И рассказы. Истории, с парадоксами, со страстями. Потом решил писать серьёзную прозу.

Но осенью шестьдесят первого года, решившей всё за меня, тогдашнего, словно прозрел я и понял, что это — моё, что жизнь моя изменилась, что стал я другим отныне, — стихи начались.

И когда возвращался я в родительский дом, то и с грустью, и с лёгкостью на душе подходил я сизнова к письменному столу вишнёвого цвета, старомодному и такому для меня навеки родному.

Он потом оказался в сарае, вместе с рукописями моими прежних лет. Когда я недавно приезжал ненадолго к родителям, я так его и не видел...

...Живой клочок минувшего. Всё то, что было — до и после — в письмах давних — сегодня в эту книгу не вошло. Всё то, что было — до и после — в жизни — давно уже написанные книги — неизданные, изданные. В них — вся жизнь моя, нелёгкая, родная, и всё, что помню я, и всё, что знаю, душа и сердце — на путях земных...

Может быть, это и сны. Может быть, и видения — мало ли их бывало! Может быть, вспышки воспоминаний — пусть оживёт свет. Что бы там ни было, сон или явь, — быть заодно им. Вот и звучание, вместо молчания, — нить на пути, связь. Речь на клочки не разорвать, не разделить нас. Всё это вновь — здесь, предо мной, всё это вновь — там.

Ты спрашивал — как мы там жили. Ну что ж, пожалуй, об этом, о жизни южной, давнишней, я расскажу. Пора. Прежде всего, там было море. А это — главное. Потому что присутствие моря так близко, рядом, — важнее многого в жизни. Особенно — в молодости, когда можно и должно восстать из любых невзгод, из любых, даже самых тяжёлых, бед. Море было — куда ни взгляни и куда ни шагни — повсюду. Близость моря — словно реальность, после трудных сражений, победы. Близость моря — словно возможность снова жить, и дышать, и петь. Близость моря — это, конечно, несказанная радость. И счастье. И блаженство. И вдохновение. Море — наши лечило раны день и ночь. И оно, могучее, неминуемое, огромное, нам дарило свою энергию, окрыляло нас — и спасало.

И земля таманская, дымная от несносного зноя, прожжённая жарким солнцем, казалось, насквозь, но живучая, плодородная, и воздушный путь облаков, движущихся из Крыма на Тамань, а потом к холмам, и к предгорьям, и к дальним вершинам, на Кавказ, к Эльбрусу, Казбеку, дальше, выше, потом — куда-то дальше, выше, совсем далеко и совсем высоко, отсюда не видать, можно только догадываться, можно чувствовать это, знать, по наитию, по чутью, где мосты в никуда и в завтра, где дороги в морскую глубь и в небесную высь, где начало всех дорог, земных и небесных, где конец, и где — продолжение неустанного, в мире, движения, где горенье и где даренье, где биенье людских сердец. Этих лоз виноградных, гибких, завитки, тугие сплетенья, эти выплески, вслед за тенью отшатнувшейся, мыслей и чувств, эта тишь беспредельности, память, скифский дух и греческий привкус, готский оклик, сарматская глина, Русколани великой свет, отыскавшийся в поле след, время Бусово, имя, знамя, всё, что здесь мне явилось, пламя, семя где-то в глухой степи, свежий запах полыни, розы, над водою полночной грозы, слёзы днём и ночные грёзы, — засыпаешь? — ещё не спи. Пробуждайся, вставай скорее, видишь — утро, над

миром рея, говорит тебе о былом — или, может, о настоящем? — о грядущем? — доступном спящим? — или слову, там, за числом? Здесь с тобою — твои кануны, здесь бывали когда-то гунны, под луной сияли лагуны, поднимались к звёздам холмы, лошадиное всюду ржанье раздавалось, Тьмутараканью поднималась жизнь, и за гранью всех набегов отзвук зимы уходил навсегда отсюда, оставляя здесь лишь для чуда вдосталь места, — и впредь я буду прославлять этот край, чей свет для души и для сердца дорог, мною принят без оговорок навсегда, побеждая морок всех минувших нелёгких лет.

Скрипка где-то, как лилия, выросла, всё, что было, с достоинством вынесла, на руках вдохновенья и вымысла возвратилась в небесную высь.

Роза вспыхнула песнею давнею, сохранила в ней самое главное, всё родное, кровное, славное, — и над нею звёзды зажглись.

Значит, музыка — не наваждение, а планет и светил рождение, злу, навеки, предупреждение: не мешай торжеству добра!

Всё земное с годами сбудется, и бывшее отнюдь не чудится, — то-то рядом со мною трудится золотая моя пора.

Помню Керчь — и в летнем, вместительном, с необычно высокой, белой, разогретой солнцем оградой, зале или кинотеатре под открытым вечерним небом с пылью звёздной — концерт цыган. Пела — Ляля Жемчужная или Ляля Чёрная — точно не вспомнить. Да не всё ли равно теперь? Ведь она была — именно Ляля! Как у Хлебникова, в его творениях, — Ляля на тигре. Чтоб услышать пение Ляли, ну а с ним — и гитары, и скрипки, перелезли мы через ограду и проникли, вот так, на концерт. И цыгане — пели, плясали. И сияли звёзды над нами, кочевые, конечно. И листья шелестели над нами. И ветер, тёплый, южный, повеявший с моря, приносил с собою сюда отдалённые, новые звуки — рокот волн, гул стихии морской, завыванье сирен на

судах, находящихся в море, гудки проезжающих где-то машин, отголоски мелодий, далёких голосов, мужских или женских, неразборчивые восклицанья, открываемых окон треск, звон стекла разбитого, смех, детский плач, непрерывный ропот, городской, прибрежный, приморский, видно, длящийся здесь давно, всем привычный, тысячи лет. А вокруг была — Керчь. Средоточье колоритных дворов узкогорлых. Во дворах этих — жарили мясо на мангалах, жарили рыбу, прямо с моря, живую, свежую, на чугунных, величиной с жернова, больших сковородках, разговаривали, готовили ароматный кофе, шутили, пели, пили, смеялись, ссорились, примирались, вели беседы задушевные, лускали семечки, жили просто, все на виду друг у друга, словно в известных итальянских фильмах, но всё-таки и по-крымски, очень по-своему, с незаёмными, всюду, страстями, со своими привычками, с буднями, что сменялись какими-то праздниками, жили радостно, так мне казалось, люди керченские, особенные, необычные, люди приморские и морские, люди рыбацкие, сухощавые, загорелые, коренастые, с ветерком в голове, но и с трезвостью явной, люди гордые и простые, солнцем керченским налитые поднимая бокалы с вином, появляясь на шум за окном, как невольные стражи тепла и уюта где жизнь весела и прекрасна, где горестней нет, где спасительный солнечный свет исцелял от недугов и зол, терпкий запах соков и смол, вздох блаженства и пот труда оставляя здесь навсегда для грядущих людей, чтоб впредь было им на что посмотреть, про припомнить, что сохранить, и вилась кручёная нить сквозь года и века, прямо в рай, прямо в невидаль всех событий, чтобы мы, среди наших открытий, на прибрежный смотрели край, как на сказку, в которой впрок дан нам нынче, навек, урок жизни, веры, надежды, любви и всего, что у нас в крови, да и в памяти, оживёт, — до сих пор меня Керчь зовёт отовсюду, зовёт к себе, став родною в моей судьбе, собеседницей давней став, — есть немало на это прав у неё, принимаю — все, пусть со мною, во всей

красе, остаётся приморский град, тот, что был мне когда-то рад, что и впрямь легендой живой над порой встаёт грозовой, сберегая меня везде, доверяя моей звезде, щедрость буйную мне даря, чтоб над миром взошла заря новых судеб и новых дней, чтобы помнил всегда о ней. Всё казалось настолько чудесным, что его и сравнить-то не с чем. Шли мы к морю. Вода зелёная пахла чем-то острым, солёным, терпким, крепким, как спирт. Медузы колыхались белёсыми стаями среди камней. Осколками мидий был усыпан весь берег. Дельфины проплывали поодаль, взлетая над волнами и вновь ныряя в глубину. Древний храм вставал перед нами вестью о том, что и мысли, и речи наши, несомненно, материальны, как и время. Кричали горлицы на ветвях тополей и акаций. Вечерело. Уже повсюду зажигались огни. Над городом нависала сизая дымка, постепенно темнея. Ветер незаметно стихал. Мы шли вдоль по улицам, наугад, наобум. Гора Митридат перед нами вставала. И мы поднялись на её вершину. Там, из щели в камнях, шёл газ. Я поднёс горящую спичку к тонкой, тихой, шипящей, невидимой струйке газа. Вспыхнул огонь. Мы стояли, втроём, у огня. Над огнём. Сквозь огонь — глядели, вниз, и вверх, и вперёд, и назад. Сквозь огонь. Над огнём. У огня. Пламя вдруг разрослось. Потом стало ровным, спокойным. Там, на вершине, мы ночевали. Возле пламени. Как у костра. Утром — встали. Город под нами, полный жизни, уже пробудившийся, светлый, тёплый, зелёный, звучал новой музыкой — нового дня, новых встреч, расставаний новых, новых будней, новых речей, новых празднеств — чуть погода, не сейчас, а потом, попозже, новых таинств и новых радостей драгоценного бытия. Корабли стояли на рейде, уплывали куда-то из порта, еле видные, на горизонте, растворялись в синей дали. Море пело, сияло на солнце мириадами отсветов, блёсток, то синело, то зеленело, глубоко, свободно дыша. Возвращаться нам было надо, на Тамань, из этого града, в нём для сердца была отрада, с ним сроднилась моя душа.

Феодосия. Удивительно. Так хотелось бы — зной, песок, полосой прибрежную, длинной, как размотанная чалма муэдзина, да минаретов свечи узкие в небе синем, да арабская вязь, да роз возрастающий, томный запах, да воды в фонтане журчанье, да ажурная, кружевная, на ветру восточном трепещущая, что-то нежное нам лепечущая, изумрудная и сквозная, разметавшаяся, как в сказке — одалиска, желая ласки, шелестящая о былом, или словом, или числом говорящая о покое, вспоминающая такое, от чего и в помине нет сна, листва, золотистый цвет ожерелий, перстней, серьга в ухе, красные, в кровь, кораллы, да турецкие адмиралы, да верблюды, к ноге нога, с колокольчиками, стада лошадей и овец, закаты над стеной крепостной, когда-то отзвучавшие навсегда, как напевов полынных строй, чай, дымящийся в хрупкой чашке, все удачи и все промашки, отсвет пламени за горой, отзвук времени за холмом, призывк имени за громадой града славного, быть отрадой предназначенного порой для того, кто жил здесь, кто пел, хрипловато, легко, протяжно, кто блаженствовал здесь вальяжно, кто отважным стать не успел, потому что другие дни здесь настали, пришло другое, и действительно дорогое замирает вдали, в тени. Минаретов нет — но они обязательно будут. Годы пролетят — увидим всходы веры здешней, её огни различим на башнях в ночи, и зелёное знамя пророка вновь поднимут. Людское око к огоньку восковой свечи вновь привыкнет. Придёт ислам в эти дали — в конце столетья, и взметнётся тугою плетью. И расколется пополам этот мирный, дремотный край. И начнётся — кровей брожение, нарастающее вторжение орд пришедших — в недавний рай. Минаретов — нет. Или — есть? Есть, и много. Уже не счесть? По церквам — колокольный звон. Но кому теперь слышен он? Феодосия. Узкая, плоская полоса песчаных, пустынных, тихих пляжей, до самой Керчи. Что ж, подняться на башню? Смотреть на залив, изогнутый явным полумесяцем, длинным, широким? Очевидец эпохи, скажи, что ты понял и что услышал? Что хранимо в сердце твоём? То ли

дикой маслины, лоха серебристого, мелкие, вязкие, ненароком плоды ты попробовал, то ли нечто иное вкусил? Ты стоишь на ветру — и молчишь. Пред тобою — солёная влага. Море Чёрное. Пенная брага. Глина сохлая. Камень. Камыш. Солончак. Но вдосталь садов плодоносных, по всей округе. Петли ветра — гибки, упруги. Столько было земных трудов, столько было небесных благ. Столько было знамений свыше. Ты стоишь, окрестные крыши различая. Сделаешь шаг — и взлетишь куда-то. Куда? В поднебесье? Или к забвенью устремишься? Есть вдохновенье — да лихие грядут года. Всё придёт в упадок опять? Всё разрушится? Уцелеет? Ясновидящий — одолеет грань незримую. То-то вспять устремляются облака! Возвратитесь назад, вас много. Тень безвременья — у порога. Но за нами — стоят века чередою. Пред нами — путь. Непростой. Но идти нам — надо. Капля мёда и капля яда. Пригодятся когда-нибудь. Капля льющейся с гор воды. Пригуби — как она прохладна! Столь земля эта нам отрадна, что не видим новой беды. Или — видим? Зорче смотри. Зренье пристальней и острее станет. Стяги, над нами рея, ждут прихода новой зари. Феодосия. Как цвело всё бывшее зубцами башни генуэзской, тоской вчерашней! И легко — и так тяжело. И темно — и светло вокруг. Что ж, понятно, ведь это — юг. И — восток. Да, восточный Крым. Киммерия. Жестокий Рим побывал здесь когда-то. Что ж! Был любой сюда прежде вхож. Кафа. Кофе. Кефаль. В кайфу — город грёз. Присядь на диване. Покури кальян. О кальяне помнишь ты. Поймай на фу-фу хвост мгновенья. Времени ход постарайся замедлить ныне. Дым кизячный едкий в долине. Ключ от вечности. Клич. И — код. Тот, волшебный. Лампа. Сезам. Вход в пещеру. Сокровищ груды. Пробужденье. Тоска по чуду. Ветви, бьющие по глазам. Откровения. Звёздных карт стародавних тугие свитки. И — сомнения. И — попытки впасть, как прежде порой, в азарт. Может, выпадет нынче фарт. Порт. Мятающийся авангард волн. Фелюги на рейде. Бред? Брод в пространстве. Другого — нет. Лаз — сквозь время. Подзем-

ный ход. В никуда? К веренице льгот. Феодосия. Век — раним. Богом город — всегда храним. Город Богом дарован — нам. Верь — и яви, и вещим снам.

Помню стены домов, заборы, склоны горные, что-то выющееся наверху, и шоссе внизу, и автобус, куда-то едущий по шоссе, а совсем внизу, далеко, глубоко внизу — зелень сосен и кипарисов, а за ними, конечно, море. Что же помнить? Да что угодно. Можно тысячу раз представить юг и Крым — но всё-таки надо хоть единожды там побывать. Вот и мы побывали там, на приволье. И я побывал. И какие с нами случались приключения! — в наше время и представить трудно себе, что они возможны, реальны, так скажу я, поскольку знаю превосходно, что говорю. Начал я совсем не об этом, но — да в этом ли дело? Разве не в конце — начало всего? Не в начале — развитие темы, феерическая, фантастическая лента, полная фантазмагорий, книга, созданная однажды, бег сквозь время, птичий полёт, ночи, дни, вечера, рассветы на холмах и в горах, прибоя мерный рокот, лоз виноградных тяготенье к солнцу, к воде спуск нелёгкий, крутые тропки, степи, травы, ручьи, долины, родники, террасы, аллеи, луч прожектора, лики звёзд, вечной музыки нарастанье и грядущего прозреванье, тени зыбкие, шаткий мост, алыча, шелковица, вишни, груши, яблоки, вин столовых запах резкий, камешки, бухты, водопады, солёный пот, сладость, горечь, печаль и радость, свет нездешний, блаженство, счастье, зной полдневный, дожди, ненастье, пляжи, дачи, сырой песок, створки мидий, жемчуг в ладонях, рыбы, крабы, дельфины, чайки, крик петуший, глаза хозяйки, ахи, охи, улыбки, вздохи, возвращение былой эпохи, воскрешение дружб людских, речи долгое созреванье, примиренье и расставанье, обещанья, воспоминанья, — чем сегодня заменишь их? Это мой, и надолго, Крым, и другого такого — нет. И не будет, увы. Засим — загорается ясный свет на пути моём. Знаю, вскоре вновь скажу я: там было — море.

Широкий, протяжный, рокочущий, клубящийся, плещущий, длящийся, может, час, может, день, может, год, может, целую вечность, раскат... Волна за волной, непрерывно, магнетически, целенаправленно, словно тянет их, тянет сюда какая-то властная сила, словно к берегу надо добраться им непременно, и поскорее, и разбиться с размаху, со стоном, с диким грохотом, о песок и о камни узких полос обезлюдивших пляжей окрестных, и опять откатиться назад, и потом возвратиться сюда, то нахлынут валами кипящими, то отхлынут, образовав белопенные завихрения, круговые воронки, и вот, повернув обратно, идут грозным фронтом, прямо на вас, мой возможный читатель, на всех, в отдалении и вблизи от стихии, на всё вокруг, чем известен и славен юг, вдохновляясь разбегом сим и сживаясь надолго с ним.

Так слушай и молча смотри, ни о чём не гадая, как море шумит или скалы трепещут, спадая туда, где пространство в другом измеренье встаёт, — ты помнишь, как жемчуг ушёл, словно тельце моллюска? — и некого нам обвинить, и корить ни к чему, — и ящерка разом возникнет, застынет и слушает музыку, — некая суть для меня, похоже, ясна — этой бухты и этой эпохи, — и нечего мне объяснять — это взмах, а не вздох, — живёт человек — вот и любит он море, большое, как в детских глазах, — да и море ведь любит его, — живёт человек — предназначенный, — то-то простое утешит его — ну а сложностей вдосталь вокруг, — и век ему долгий, наверное, будет отпущен, чтоб жил, понимая, — храни его в мире, Господь! — живёт человек — вот и любит он море — седое астральное действо на стогнах больших городов, на грани безумства иль таинства, — так и живёт — и всё тут — как выпало, вышло, сложилось, сказалось, — и жемчуг прохладный в ладонях его удержался — тогда ли? — в том августе — вспомним ли ныне? — тогда...

Столь давно это было, увы, что подумаешь: в самом ли деле сквозь горячий настой синевы мы в морское пространство гля-

дели? Что за вздох отрывал от земли, что за сила к земле пригвоздила? Люди пели и розы цвели — это в том, что живём, убеждало. Что за звёзды гнездились в груди, что за птицы над нами витали! Костный мозг промывали дожди, как об этом даосы мечтали. Шёл паром, и вослед за грозой норовили сорваться предгорья, и Азов закипал бирюзой, и угрозой — зев Черноморья. Смуглокожею девою Тамань зазывала в азийские дали, раскрывая привычную длань, чтобы бризы песчинки сдували. Что же Юг от жары изнывал и пришельцам беспечным дивился? Видно, в каждом уже прозревал то, чего от других не добился. Пот горячий, солёная блажь, невозможная, лютая жажда! Что теперь за бывшее отдашь? Не бывать неизбежному дважды. Путь упрямец — единственный путь, по которому выверить надо всё, чего не страшились ничуть, все подробности рая и ада. Все подобию сути — тщета перед нею, настолько простою, что усталых небес высота обернётся мирской красотой. Руки, братья, скорее сомкнём в этой жизни, где, помнится, с вами не впервые играли с огнём, как никто, дорожили словами. Кто же выразит нынче из нас наши мысли о вере и чести? Невозвратный не вымолишь час, где, по счастью, мужали мы вместе. Так иди же в легенду, пора, где когда-то мы выжили, зная в ожиданье любви и добра, что судьба не случайна такая.

Радуга над округою. С круговою порукою. Все её семь цветов — каждый хранить готов.

Пагода — над бездонною пропастью. Мгла солёная. Поворожила всласть. Музыка. Весть и власть.

Мандельштам говорил о прозе:

— Прерывистый знак непрерывного.

Совершенно верно. И лучше — о прозе — пожалуй, не скажешь.

Только что сказать — о моей, необычной, прозе поэта, если проза моя зачастую и не проза совсем, а поэзия?

(Появился внезапно Феллини. Словно давний мой талисман. Прилетел — с высоких небес. Ну конечно, с Джульеттой Мазиной. У которой в руках была та, из фильма «Дорога», серебряная, иногда над миром звучащая, и волшебная, видно, труба.

Посмотрели супруги — вдвоём — на меня. Головами кивнули. Мол, держись. В работе — спасение. Надо выстоять — и победить. И Джульетта Мазина вновь на трубе своей заиграла. И тогда — отголоском хорала — в небе вспыхнуло слово: быть.)

Ведь есть на земле — поэт. Особенный. Небывалый. Другого такого — нет. И — не было. Так? Пожалуй. Тем более, речь его — вселенские связи. Тайны. Стихий — сквозь явь — торжество. И всё это — не случайно. Над миром его — покров: с высот неземных. Небесный. Над россыпью звёздных слов. Над жизнью, что стала песней. Над музыкой бытия. Над всем, что призваньем стало. Наития и чутья слиянье. Чудес начало. Движение дум и чувств. Служения продолженье. Сближение всех искусств. Прозрение. Постижение. Свершений грядущих свет. Открытая днесь дорога. И есть на земле — поэт. Поэзия — дар. От Бога.

Не для себя. Для всех. Живущих надеждой, верой, любовью. Для всех живых. Для душ и сердец людских.

Вовсе не для себя говоря. Обращаясь — к людям. Слышат. Поймут. Придут. Ведь обозначен — Путь.

Голос. В который раз — пение. Прорицанье. Снова впадая в транс. Ввысь уходя — сквозь мрак.

Время с пространством — здесь, рядом. За ними — тени тех измерений, где встретимся мы — потом.

Ночь, за которой вдруг разом встаёт — сиянье. Жертвенность. Подвиг. Долг. Призванность. Весть и страсть.

Се — тот поэт. И с ним — празднество и единство сущего. Слову — быть. Сказанному — для всех.

Музыка. И мольба. Мистика. И молитва. Что же ещё? Судьба. Денно и ночью — битва. С тьмою. С бездушьем. Зов. Крик. Или шёпот? Лепет? Взгляд. За которым — кров. Шаг. За которым — трепет. Вызов. Любому злу. Кротость. И — крепость. Сила. Взлёт и прорыв — сквозь мглу. Вдох по тому, что — было. Слава. Всему, что — есть. Право. На всё, что — выше. Речь. Озаренье. Честь. Чужа. Внимая. Слыша. Полифония. Круг. Летопись. Откровенье. Светопись. Чистый звук. Рвенье. И — дерзновенье. Знак, различимый вмиг. Злак. Утоление жажды. Жизнь. И — страницы книг. Тех, что поймут однажды.

Ты твердишь мне о том, что было, говоришь о том, чего не было, непрерывно сопоставляешь что-то с чем-то, — зачем же так?

То, что было, куда-то сплыло, ну а то, чего вовсе не было, с тем, что было, соединилось, превратилось в звук или знак.

Всё настолько было чудесным, не могло быть сухим и пресным, что давно устремилось к песням, оказалось на месте там.

Нет причины мне спорить с кем-то — ведь живая событий лента сквозь пространство прошла зачем-то, чтобы время постиг я сам.

Нить — у меня в руке. Выйду из лабиринта бед моих, отшумевших где-то, давно, вдали.

С нитью — понятие «быть» связано неизменно. К свету — из мглы, из мрака. Даже из-под земли.

Быть — это жить. И — петь. Быть — это знать. И — верить. Быть — и любить. Прозреть. В чаяньях — и речах.

Имя эпохи — здесь. В книгах моих. При звёздах. В вышних. В юдоли нашей. В яви. И — при свечах.

Я стоял у моря, один, возле самой воды, весной, и смотрел, как ещё не прогретые на солнце апрельском волны набегают, одна за другой, на пустынный берег, и слушал мерный рокот, неспешный плеск пробуждающейся стихии.

Позади, за плечами, было столько сложностей и событий, слишком тягостных для меня, что, казалось, они нарочно были собраны воедино кем-то злобным, жестоким, жаждущим поразить меня в самое сердце, нанести мне побольше ран.

Мне хотелось лишь одного, как и встарь, — покоя и воли. Мне с избытком хватало боли. Я держался, как мог. Ничего, постараюсь выстоять вновь. Не впервой. И похуже бывало. Гул безумного карнавала затихал. Но жива — любовь.

Да, жива. И живее — нет ничего, никогда, на свете. Вот и чайки, в тоске о лете, раскричались. И свиток лет развернулся передо мной. Список длинный всего, что было въявь когда-то. Меня знобило. В берег бились волна за волной.

Кто-то вёл меня молча — сквозь боль. Очевидно, ангел-хранитель. Возвратился, приморский житель, я домой. Как морская соль, сквозь цветенье садов окрест, нависала сизая дымка над холмами, с далью в обнимку. Птичьи стаи срывались с мест, улетали куда-то. Шёл час вечерний, как гость случайный, по земле, но куда? За тайной? Шаг — широк был, и взгляд — тяжёл. Миновала меня беда? Что ж, похоже. Знать, есть защита от мучений. Окно — открыто. Высоко надо мной — звезда.

И тогда развернул я, решившись, этот свиток, незримый, но сызнава прозреваемый, свиток лет, и не чьих-нибудь, а моих, и вгляделся в него — и встали чередой передо мной, непрерывной, сплошной, видения лет минувших и дней недавних, детства, юности, всех времён, мною прожитых, всех имён отголоски, событий всех назревающее кипенье, голоса, нестройное пенье, чьи-то взгляды, негромкий смех, громкий плач, прощания, встречи, расставания навсегда, возвращения — отовсюду — в мир мой, личный, поближе к чуду, где, с природою рядом, буду жить затворником, — в мир труда, благодати, ночных бесед, может — с ангелом, может — с речью, чуя суть её человека и небесный, издревле, свет.

...И настолько было чудесно всё куда-то идти да идти, не спеша, спокойно, — вперёд, к новым далям, туда, в пространство, где клубились в небе, распахнутом над вершинами гор, облака, где полынью пахло так терпко, горько, сладко, где придорожный куст шиповника звонок был от бесчисленных алых ягод, где гутукали горлицы, пели, посреди бескрайнего зноя, на деревьях какие-то мелкие, симпатичные, серые птички, где на крупных, замшелых камнях сонно грелись вконец разомлевшие, длиннохвостые, пёстрые ящерки, где орёл парил — надо всем, что внизу, для него, оставалось, — высоко в поднебесье, а ниже — пролетали быстрые, зоркие, острокрылые ястреба, и змея скользила пружинкой в камыши, и в кизиловых зарослях деловито, невозмутимо, непрерывно шуршали ёжики, и цветы полевые таяли в раскалённом, горячем воздухе, как мазки акварели детской, и дорога, почти тропа, всё вела меня, уводила в неизведанную страну, в мир мечты — или яви, так всё на свете соединилось в нечто целое, дорогое, за которым вставала — жизнь, и моя, и чья-то ещё, жизнь и песнь, для которой нынче все пути и дороги — в радость.

В Старый Крым! Я шёл — в Старый Крым. Обитал там когда-то — Грин. В середине шестидесятых, шёл я, в зной, молодой, да ранний, в Старый Крым, дорогою Грина. Он по этой дороге когда-то иногда ходил в Коктебель, навещал там Волошина, был, хоть какое-то время, у моря. И по ней — возвращался обратно в Старый Крым. Вот и я шёл по этой, не особенно трудной, дороге, летним утром, из Коктебеля, налегке, словно вместе с Грином, так тогда я воображал, а на самом деле один, в Старый Крым, чтоб увидиться там — нет, не с Грином, хотя, конечно, это было бы лучше всего и запомнилось мне надолго, навсегда, — а с его вдовой, опекаемой в те года приезжавшими к ней постоянно, помогавшими ей киевлянами, молодыми супругами Верхманами, благородными, самоотверженными и порядочными людьми, которых я знал, поскольку дружили они с моими

друзьями тогдашними киевскими, — шёл я, чтобы увидиться с Ниной Николаевной Грин, светлейшей, изумительной женщиной, старой, побывавшей во время войны в концлагерях немецких, ну а после войны — отбывавшей срок в советских уже лагерях, после всех испытаний этих, на свободе, в досталь нама-
явшейся, но сумевшей в невзгодах выстоять, сохранить благородство, достоинство, гордость, верность Грину, который для неё был всем, и, отважно и упрямо сражаясь с косностью всех властей, превратить старокрымский белый домик, в котором Грин жил недолго и умер, в музей.

Городок открывался внизу, как ладонь, широко открытая и протянутая, в знак приветствия, всем входящим в него. На севере возвышалась гора Агармыш, защищая его, и зимой, и весной, и осенью поздней, от холодных ветров. Городок был по горло в садах. Казалось, что выглядывают из густой, многослойной, обильной зелени лишь глаза его, жаркие, карие. Да, Восток есть Восток. И здесь ощущалось его присутствие. Ведь была здесь, в прошлом, столица ханства Крымского, славный Солхат, процветала культура, арабского, разумеется, толка, учёные наблюдали ночью за звёздами, сочиняли стихи поэты, и Великий Шёлковый Путь проходил здесь, а в небе над ним семизвёздный Чумацкий Воз, проходил, ковш Большой Медведицы, галактической влагой полный, нависал, и шли караваны, то из Кафы, то снова в Кафу, где с фелюг и с прочих судов, порт просторный заплонивший до предела, сгружали товары греки, турки, венецианцы, чтоб везти их, через Солхат, на Восток, сквозь Среднюю Азию, сквозь пустыни и горы, в Китай, а потом возвращаться обратно, и кричали всю муэдзины с минаретов, и ржали кони, и верблюды сердито фыркали, и погонщики, собираясь в караван-сараях, возможно, вспоминали строки Саади знаменитые, «о, караванщик», и вздыхали: «так не гони!» — и стекала с окрестных гор, по проложенным тонким трубам керамическим, чистая, сразу же освежающая

вода родниковая, но с секретом, потому что с нею ведь смешивалась и роса, и журчали фонтаны в мусульманском раю, и пели вечерами волшебными гурии, и для путников, и для местных, вопреки легендам и сказкам, не таких уж воинственных, жителей, нет, скорее, миролюбивых, — да и кто же нарушить захочет, самолично, райскую жизнь, если вот она, рядом, везде! — нет уж, лучше побыть в раю на земле, ну а что там на небе будет, с этим потом разберёмся! — так и жили здесь, не тужили, и куда потом всё девалось? — только думать о нём оставалось, вспоминать или воображать, но и то хорошо, — Солхат, как восточный незримый Китеж, неизменно присутствовал здесь, в старокрымской летней глуши, и присутствие это было и приятным, и грустным, и светлым, словно лунный свет над горами и долиной, словно услышанный где-то рядом, но словно вдали, незнакомый, меланхолический, притягательный, тихий напев.

Дудел в самодельную дудочку малыш белобрысый на лавочке у забора щелястого. В гуще широких, разросшихся вишен чирикали воробьи. Старушки с авоськами, полными буханок белого хлеба и пачками вермишели, из магазина шли, по дороге переговариваясь, по привычке, о том да о сём. Проезжал грузовик, фырча, поднимая пыль, исчезал торопливо за поворотом. Тарахтел мотоцикл с коляской. Промелькнули, шурша колёсами по горячей дорожной пыли, два подростка на велосипедах. Вдоль сонных улиц тянулись, от столба до столба, и дальше, к другим столбам, провода. Широоченные кроны окрестных, исполинских грецких орехов светились матовой зеленью на фоне иссиза-синего, кипящего солнечным светом, без единого облачка, небе. В городке шла своя, неспешная, по традиции, тихая жизнь. Мечеть Узбека вставала осколком средневековья, Ислама дремотным отзвуком, над кровлями и деревьями, над бытом иной эпохи, как негромкое, но достаточно тревожное напоминание о том, что всё возвратится,

и довольно скоро, назад. Запущенные руины медресе, каравансарая смотрелись, как декорация для фильма из прежней истории заглохшего, но не погибшего, живучего этого края. Прохожие редкие щурились на солнце, лускали семечки, говорили о новостях или молчали, курили, стараясь прийти поскорее из горнила жары домой. Городок был слишком уж будничным, чтобы в нём обнаружилось что-то необычное. Но, однако, необычного было в нём предостаточно. Приглядеться хоть немного было довольно, чтобы сразу же ощущалось приближение волшебства.

Я открыл калитку, вошёл, распалённый с дороги, во двор и направился к белому домику, что светился сквозь зелень листьев в глубине двора, но казалось — высоко, далеко, впереди. А из домика — шла мне навстречу, в светлом платье, с ковыльними, белыми волосами, с глазами, полными лучезарного света, с лицом то ли мученицы, то ли феи, то ли гриновской Фрези Грант, вся — сияние белое, Нина Николаевна Грин. И беседа наша шла, среди пения птиц, монотонного шелеста листьев, бликов солнечных, редких порывов полусонного ветерка, отраженья зеркального, в стёклах приоткрытых окон, двора с пестротой цветов, деревьев, неба синего, нас обоих, зазеркалья, далёкого моря, близких гор, страниц незабвенных и любимых гриновских книг. И сказала мне грустно Нина Николаевна: «Грин для меня самым близким был человеком». Я молчал. И смотрел на неё. Сквозь её седину, сквозь усталость, сквозь смирение, сквозь надежду на хорошее, там, в грядущем, проступала, нет, высветлялась суть её, сокровенная, тайная, и какая-то нежная музыка в ней звучала, и я представлял их, супругов, вдвоём идущих, принаряженных, чинных, вдоль моря в Феодосии, или здесь, в пору трудную, в Старом Крыму, где соседи порой писателю вдруг дарили щепотки чая, потому что, старый чаёвник, он работал всегда, поставив на столе два стакана чая, и курил, и никто тогда не тревожил его, и он жил, как

прежде, в мире своём, создавая новые вещи, за которыми различал он, да и я различал всё время, в ходе нашей беседы, свечение благодатное и целебное, доброту, любовь, и внимание, и отзывчивость, и понимание, и терпение, и надежду, всё, что было в сердце, в душе и в судьбе тяжелейшей Нины Николаевны. Нет, не хочу говорить. Помолчу, пожалуй. Посмотрю на неё, подольше. И такой — навсегда запомню. Для сияния — даже речь не нужна иногда. Сияние — это вечность, сквозь расстояние от земли до небес, влияние звёзд на путь юдольный, слияние судеб двух, негаснущих свеч.

...И когда, через годы, Нина Николаевна умерла, то супруги Верхманы, киевские, оказалось, отважные люди, раскопали её могилу, где лежала она, вдали от могилы мужа, поскольку не позволили местные власти хоронить её рядом с мужем, и холодной зимнею ночью гроб её извлекли — и тайно (ведь при жизни дали ей слово сделать это) похоронили, как хотела она, рядом с Грином.

А сиянию — ни увяданья, ни забвенья, ни смерти нет. Вот оно, перед вами, сияние — на страницах гриновских книг...

Здесь же, в Старом Крыму, в годы прежние, жил ещё один человек, уникальный, неповторимый, человек благородный, светлый, образованный, деликатный, с непростою судьбой, конечно, и действительно яркий, в молодости, ну а в старости — скромный, чистый и хороший русский поэт, избежавший чудом репрессий, от столицы, от жизни бурной, бестолковой, литературной или псевдолитературной, что намного вернее, пожалуй, норовивший держаться подальше, живший долгие годы в глуши — в Подмосковье, позже — в Крыму, и, наверное, этим и спасшийся, старокрымский затворник, Григорий Николаевич Петников, славный председатель земного шара, потому что ему когда-то передал этот титул друг его, собеседник, соратник, Хлебников.

И услышал я голос Хлебникова:

— Крыло европейского разума парит над его творчеством...

Помню наши беседы с Петниковым — и его, седого, высоко-го, сигаретным дымом окутанного, как утёс облаками, сдержанного, но порою вдруг вспоминающего что-то важное, оживающего, заводящегося с полуслова, говорящего о былом, о друзьях своих, футуристах, и, конечно, часто, о Хлебникове, о минувшей прекрасной молодости, о поэзии, о художниках, обо всём, что он помнил и знал, не писавший воспоминаний, но с людьми, которым он верил, говоривший открыто, подолгу, очень искренне, и тогда всё выстраивалось в его монологах само собою, время прежнее оживало, приходило мгновенно к нам, в дом с белёными стенами, где были книги, картины, рукописи, где поэт обитал, где в стёклах приоткрытых окон, бывало, отражались вечером лица незабвенных его друзей, где, конечно же, существовал тайный ход в зазеркалье, куда-то в глубь пространства и времени, в те измерения и миры, что мерещились иногда мне в тогдашней яви, где музы, словно пять сестёр Синяковых, навещали поэта, где пел Божидар, где Чурилин, Асеев, Пастернак, Бурлюк и Кручёных, Маяковский, Малевич, Филонов приходили в гости, как встарь, пусть и в памяти, где надежда не старела, вера всё крепла, где любовь упрямо жила в сердце, быющем так же, как в детстве, с изумлением перед миром, словно сызнова вдруг распахнутым, призывающим жить, дышать, говорить, работать, смотреть вдаль куда-то, и вглубь, и ввысь, где созвездие Водолея, под которым родился Петников, помогало ему, хранило, на путях, земных и небесных, где осталось в негромких песнях всё, что дорого сердцу было, что спаслось от невзгод и бед, что зажгло негасимый свет на земле, чтоб вспомнить о нём, нынче, в августе, ясным днём...

И настолько было чудесно возвращаться назад, в Коктебель, но уже не пешком, потому что было поздно совсем, вечерело,

и усталость дневная сказывалась понемногу, — а на попутках, по привычке, на перекладных, или, если вдруг повезёт, на автобусе, до Насыпного, до развилки дорог, а потом — как получится, как придётся, может, кто-нибудь, кто добрее, поговорчивей, и подвезёт, чтобы вновь не идти мне, страннику с посошком, на своих двоих, вдоль шоссе, в темноте, под звёздами, долго, медленно, до Коктебеля.

Добирался, к ночи. Друзья привечали меня. Вино появлялось. Все оживлялись. Говорили. Стихи читали. Забывали о том, что надо отдохнуть, немного поспать. Вспоминали об этом — под утро. Петухи в округе кричали. Расходились мы. Засыпали. Просыпались. И — к морю шли. Новый день — чудеса сулил. Да и годы всё длил и длил. Годы шли — один за другим. Но — куда же? За дорогим. За бесценным. За всем, чья весть — из былого — светла и ныне. Пусть чего-то нет и в помине. Но истокам — хвала и честь. Но начало всего — со мной. И сейчас. Вот, пишу эти строки — сквозь блаженный свет на востоке, над сумятицей всей земной. Духа древняя колыбель, видно, спас меня Коктебель...

В Коктебеле — что в Коктебеле?

Что там было — в прежние годы?

Там царила Мария Степановна Волошина, в доме поэта обитавшая, принимавшая, привечавшая только тех, кто понравился ей, кто пришёлся по душе. Остальных — отвергала. Восседала в кресле, седая, с виду грозная, резкая, властная. Осыпала любимчиков милостями. Допускала, бывало, к себе. Вспоминала о прошлом. Читала, по традиции, словно с вызовом и властью, и судьбе, и всем нежелательным, непосвящённым, оптом, людям — стихи Волошина, с неким пафосом, героическим и эпическим, наизусть. Иногда — говорила с нами, просто, искренне, миролюбиво, доверяя нам, поверяя сокровенное что-то своё, проверяя нас, тем не менее, между прочим, слегка, на прочность. Я читал ей стихи свои, те, что многие

знали, тогдашние. И они ей всё больше нравились. Шло к тому, что ещё немного вот такого общения, тесного, с глазу на глаз, и стали бы с нею мы, наверное, крепко дружить. Но стеснялся я лишний раз беспокоить её визитами, привычке врождённой своей никому никогда не навязываться, проявлять деликатность, знать меру, неизменно, всегда и во всём. И поэтому с ней общался я, год за годом, эпизодически, как придётся, от случая к случаю. Впрочем, ежели все эти встречи взять да вспомнить, собрать воедино, то получится, что о многом рассказать бы мог я сейчас.

Я дружил в Коктебеле — с Марией Николаевной Изергиной. Безусловно, великой женщиной. Вот кто был душой Коктебеля! Вот к кому отовсюду тянулись люди творческие, да и все настоящие, все свои, так сказать мне хочется, люди. К ней, умнейшей, чуткой, отзывчивой, шёл всегда я, как будто на крыльях над землёю всё время летел. И она встречала меня, невысокая и седая, вся сиявшая благородной, изумительной красотой. Говорить могли мы часами, совершенно не уставая. Ей читать стихи было радостью настоящей всегда, для меня. И она понимала стихи лучше многих. Она любила и ценила мои стихи. И её суждения были тоньше, глубже, вернее всех остальных суждений. Она, словно музыка, всё вбирала постепенно в себя — а потом, словно музыка, щедро дарила всё, что в ней оживало, цвело, разрасталось, пело, звучало. Всё, в жизни её непростой было прежде, вдруг создавало поразительную основу для того, чтобы жить в ладу с красотой, с любовью, с каждым приходящим к ней человеком. Свет вечерний с её веранды, прорываясь упрямо сквозь непогоду и дремучую косность советских, с жёсткой сетью ограничений и границ железных, времён, проникал сквозь любые преграды и запреты, легко и свободно, узнаваем был в самых разных, в самых дальних местах страны, был спасительным для меня, сокровенным, в былые годы, сохранял дыхание свободы, был залогом того огня, что погаснуть не мог никогда, потому что им согревались все мы, вместе, и прозревались наши судьбы,

чтоб навсегда озариться всем, что срослось, что сроднилось навеки с нами в Коктебеле, чьё имя — знамя, что хранить нам потом пришлось, в Коктебеле, где выжил — дух, где и зрение острее, и слух, в Коктебеле, где речь — со мной, вместе с музыкою земной.

И настолько было чудесно оказаться, допустим, в Керчи. Там пахла морская вода чем-то солёным, зелёным, подводным, вдаль уходящим, к берегу приближающимся, колышущимся в туманной дымке, на солнце брезжащим, говорящим о том, что и вправду есть и другие страны, неизведанные, такие, о которых читал я в детстве, говорящим о том, что ветер разгуляться мог на просторе, и тогда закипали волны, поднимались, в пене, валы, паруса кораблей напрягались, как тугие мышцы, и в небе громоздились, клубились, реяли беспокойные облака, говорящим о том, что в штиль становилось море спокойным, неподвижным, влажно-зеркальным, и в нём отражалось тогда и прошлое, и настоящее, и даже грядущее в нём тоже могло отразиться, потому что за этим зеркалом обитали духи пучины, духи странствий, духи тоски по пространству, и время тогда то сжималось, то расширялось, и фрегаты сменялись эсминцами, теплоходы сменялись бригами, крейсера сменялись фелюгами, в непрерывном, безумном вихре перемен, и в порту смеялись моряки над недавними страхами, и рыбацкие лодки отважно уходили в пролив, шли к Тамани, а с Азова шли сухогрузы, с моря Чёрного танкеры шли, а внизу, под ними, лежали на песчаном, илистом дне, со времён войны, затонувшие корабли, катера, самолёты, и летали над этой бездной, с громким криком, белые чайки, приглашая меня, стоящего у воды, глядящего вдаль, в кругосветное путешествие, и на свет маяка ночами, вместе с птицами и мотыльками, что слетались туда отовсюду, выходили из мрака бывалые и выдавшие виды суда, и горела моя сигарета маячком у кромки прибоя, и поблизости поднимался, сквозь резную листву, древний храм, и сжималось тогда

моё сердце, билось чаще, и музыка моря заполняла мой слух, и глаза увлажнялись, и я говорил о таком, что сказать было некому, кроме моря, и сонмы созвездий были сгустком всех космогоний и хранилищем всех гармоний, и пристанищем негасимого, в этом мире бескрайнем, огня, пусть с невзгодами, но любимого, и залогом нового дня.

А ещё ведь была — Феодосия. До неё-то намного проще добраться из Коктебеля. В окруженье холмов сухих, с ожерельем залива. Кафа. Но приятнее говорить — Феодосия. И привычнее. Не случайно — Богом дарованная. Свежий бриз. Корабли в порту. На тенистых улицах — тихо. Даже в южных дворах, с высокими, из ракушечника, заборами, отдалённо напоминающими крепостные крепкие стены. Кружевные узоры акаций. Тополя, стоящие стражами давней тайны. Арабских сказок и мелодий из парка джазовых синкопических — за углом, за любым поворотом, слияние, смесь гремучая, круговорот лиц, улыбок, весёлых и грустных глаз, шуршащих платьев, шагов по асфальту, афиш, фронтонов невысоких светлых домов, бликов лунного или солнечного, вперемешку, тёплого света, отражения в зеркалах, отзвук имени, отсвет фонарный, створки мидий на берегу, на песке, широкие всплески набегающих, словно волны на просторные пляжи, нечаянных, незабвенных воспоминаний, не сравнимая никогда и ни с чем, безмерная грусть и на смену ей приходящая неизменная радость, слова о любви, о таком, что волнует, что тревожит, спать не даёт, что ведёт за собой куда-то в бесконечность, вот и идёшь, видишь, слышишь, запоминаешь, неминуемо приближаясь если не к пониманию новому южной яви, то к постижению всех деталей её и красок, всех красот, неброских, но стойких, всех низин и высот окрестных, всех, всего, навсегда, и вот это в сердце твоём живёт, обживается, привыкает говорить по душам с тобой, ты бредёшь незнамо куда, вечер хочет, как старый романтик, показать тебе что-то такое, без чего ну никак

нельзя, ты, конечно, заинтригован, ты стремишься куда-то, но вдруг понимаешь, что вечер этот никакой не романтик, а мистик, и тогда возникает Грин, молчаливый, хмельной, прозревший там, поодаль, на горизонте, корабли с парусами алыми и Бегущую по волнам, а ударник в кафе напротив так старается, так колотит по тарелкам и барабанам, словно цепь золотую куёт, входят в транс музыканты, стонут, надрываясь, электрогитары, подъезжают машины, выходят стайки шустрых, рядных девиц, вслед за ними выходят чинно Аладдины, Синие Бороды, атаманы разбойничьих шаек, лорды, рыцари и пираты, открываются двери, и все они исчезают внутри, но потом загораются всюду гирлянды разноцветных китайских фонариков, по аллеям проходят герольды, громко в длинные трубы трубя, и за ними Царица ночи выезжает на колеснице, запряжённой шестью лошадьми, из лиловой тени на свет, вылетают, хлопая, пробки из бутылок с шампанским, дети хороводы водят, а взрослые пьют вино, произносят тосты, разговаривают, флиртуют, ночь густеет, звёзды сияют ярче, ярче, оркестр играет, начинается карнавал, Грин проходит сквозь мешанину карнавальную, выбираясь прямо к улице Галерейной, не оглядываясь, идёт к дому, где обитал он когда-то, исчезает за поворотом, я сворачиваю в переулок, в тишину, в глубину веков, в лёгкий плеск зелёных листков на деревьях, буквально в глушь, в серебристую, с искрой, сушь стен белёных, во влажный строй речи, ставшей ночной порой светлой музыкой вне времён. Может, явь, ну а может, сон...

Если сон — то, значит, во сне. Где-то в прошлом, на самом дне. Но — осталось, живёт во мне. Появляется в тишине. Возникает порой ночной. Говорит — о былом — со мной. Плещет в окна сквозной волной. В настоящем. В глуши земной. Сновидения — наваждение. Вдосталь их. И они — светлы. Сновидения — пробуждение. Тайный ход — сквозь ушко иглы — в измерения и миры, что давно уж ко мне добры. Ариаднина

вьётся нить. Трудно свет на земле хранить. Трудно к свету сквозь мрак идти. Что встречается на пути? Кто встречается? Молча жди, что там, всё-таки, впереди. Выбирайся — на свет. Огонь разожги. На твою ладонь звёздный луч прилетит. Смотри. В пальцах сызнава разотри стебелёк полыни степной. Видишь — море встаёт стеной белопенной над сонмом скал? Что утратил ты? Что искал? Что же ты наконец обрёл? Долог путь твой был и тяжёл? Или лёгок был? Ну, скажи! Нить покрепче в руке держи. Помни, спящий, о том, что встарь прозревал. Проходи сквозь хмарь в дни, где был ты молод и смел, в сны, где жил ты порой и пел, в явь, с которой сроднился ты, где воздушные знал мосты, строил крепости из песка, где томила тебя тоска по неведомому вдали, где мерцал в золотой пыли заоконных красот узор, где с окрестных слетались гор стаи птиц, чтобы петь с тобой, где вблизи рокотал прибой, где являлись тебе слова, чтобы знал ты: душа жива.

Керчь. И в ней — ресторан, с таким же лаконичным названием: «Керчь». Ну а в нём — триста блюд из мидий. Так — реклама гласила. Так — уверяли всех, в том числе и меня. Шашлыки, салаты и так далее. Это надо же! Целых триста блюд. Все — из мидий. Так ли было на самом деле, я не знал. Но решил зайти в ресторан. Попробовать мидий. Не любитель был я ходить в годы прежние по кабакам, да и денег было в обрез. Но рискнуть — захотелось. И вот появился я в ресторане. Заведение было вовсе не шикарным. Ничем особенным среди прочих не выделялось. Что-то вроде большой столовой. Или средней руки кафе. Посетители — ели, пили. Оказалось, что блюд из мидий там немного, пяток всего. Но никак не триста. И стояли все они неслыханно дёшево. Заказал я шашлык из мидий. И попробовал. Ничего нашёл я такого в нём, чтоб считать его кулинарным откровением или шедевром. В Коктебеле, в бухтах, мы сами собирали мидий. Потом небольшой костерок разжигали. На простом железном листе нагревали мидий. И — ели. Запивали — вином

домашним. Было вкусно. И все были сыты и довольны. Не то, что здесь, в ресторане. Поэтому я, пожевав хваленый шашлык ресторанный, ушёл оттуда. Но легенду — решил сохранить. Говорил знакомым, что есть ресторан в Керчи, где готовят триста блюд из мидий. Мне — верили. Да и сам я поверил в это, постепенно, с годами. Пусть торжествует воображение. Керчь, и в ней — триста блюд из мидий.

Керчь. И в ней — гора Митридат. На горе — кафе небольшое. На отшибе. Как птичье гнездо, наверху. Высоко, над городом. А в кафе — ансамбль, небольшой, как само кафе, но зато он играл — настоящий джаз. Заходить в кафе я не стал. Было слышно мне и снаружи всю чудесную музыку, классику столь любимого мною джаза. Да и денег почти ведь не было. Так, десяток, всего-то, рублей. На питание, на дорогу. И поэтому я сидел на вершине горы, не в кафе, а поблизости, на камнях, отпивал по глотку, из горлышка, по пути, в магазине, купленное, для хорошего настроения, столовое, очень дешёвое, но и вкусное, надо заметить, настроение улучшающее с каждым новым глотком, вино, щурил глаза на солнышке заходящем — и слушал джаз. Город, лежавший внизу, напоминал мне Трою. Почему? Да так мне хотелось. Так его я воображал. Трою — в пору расцвета. Русскую, знаменитую Трою-Троицу. До прихода туда ахейцев, уничтоживших древний город. Может, это был отзвук Трои. Дальний отсвет, спустя столетия. Может, звук её. Может, призыв. Может, музыка, что пришла из-за моря, издалека, из былого, — и здесь осталась — обитать и звучать. И в ней — было всё. И Гомер-Омир, он же русский поэт Боян, создавал свою «Илиаду». «Одиссею» — создали греки. Кто конкретно — поди гадай. Неизвестно. В ней всё — другое. Строй. И дух. Решительно всё. В «Илиаде» же — русский дух. И мышление — стержневое. Потому что — исконно русское. Отыскался, в архиве Державина, через годы, — «Боянов гимн». Жив ты, значит, великий троянец. Славен будь — во веки веков. Оты-

скались бы где-нибудь сочинения Анахарсиса, замечательного поэта, как считали и греки, и скифы, земляка моего, из наших приднепровских, южных степей, сплошь поленных, царевича скифского. Да, из наших родом степей и король Артур, скиф, ушедший, на военную службу, в Британию, и волшебник Мерлин — Свинельдом его звали на родине — волхв, чудесами островитян изумлявший когда-то скиф. И шотландцы помнят: они — из Великой Скифии выходцы. Так что предки далёкие Лермонтова — тоже были в древности скифами. То есть, русскими. Потому что скифы, русские и остальные, перечисленные Геродотом, а потом и другими историками, на пространстве огромном, народы, как бы их там ни называли, — это древний, единый народ. Вот какие мысли меня посещали, пока я слушал джаз отличный на Митридате. А потом я спустился вниз, в город, пахнувший морем, и слушал, весь в порыве, почти в полёте, словно я вот-вот поднимусь над землёю, иную музыку — романтическую, конечно же, скажет кто-то, — ну, пусть и так, но на самом-то деле — сложную, с контрапунктом, в котором было разом собрано всё наперёд, что случилось со мной потом. Керчь, и в ней — прорастанье дней, что меня призовут, сильнее, с каждым часом, столь властно, вдаль, где изведаю я печаль по ушедшим своим годам, что вернусь к ним потом, а там — будь что будет, — фригийский лад, вещий сон, мимолётный взгляд, обострённый, сквозь время, слух, обретённый, в скитаньях, дух, всё, в единстве своём, со мной будет рядом в тиши ночной.

И, конечно же, Феодосия. Что, во сне? Почему бы и нет! Вот она, как раскрытая книга. Или свиток? И то, и другое. То ли каменные цветки генуэзских башен внезапно распустились, всю расцвели на холмах, в отдалении мгlistом, с бирюзовою жилкой, сиреневом, серебристом, от изобильных листьев диких окрестных маслин, то ли стала расти, в длину, в высоту, крепостная стена, защищая что-то заветное, сокровенное, то,

что когда-то мне доступным было, но вдруг отодвинулось, потускнело, мне оставив надежду на то, что когда-нибудь вновь оживёт, возвратится, преобразится, станет ближе ещё и дороже, вдохновляя, смущая, тревожа, то ли порт переполнился вдруг отовсюду сюда приплывшими кораблями, то ли полынь у дороги, емшан-трава, мне напомнила о родном, но кричат над заливом чайки, и плывут вдоль берега лебеди, и песчаные полосы пляжей заливают волны с разбега, бьются в мол, рокочут, клокочут, непрерывно, грозно шумят, заполняют собою всё, что заполнить можно, и там, далеко, ещё далеко, нарастает девятый вал, чтобы разом подняться вдруг, во весь рост, исполином пенным, над пространством, и грянуть вниз, и разбиться на миллионы влажной ртутью сверкающих брызг, а потом откатиться назад и подняться, упрямо, круто, доказательством непреложным силы, власти безмерной и ярости беспредельной стихии морской, а потом — наконец успокоиться, подобреть, неспешно плескаться в поле зрения, тихо вздыхать о недавней мощи своей, до поры ушедшей до времени в потаённые обиталища всех страстей, — и узкий, прозрачный полумесяц в небе проклюнется, как птенец, и горлицы стаяй прилетят, гукая громко, на деревья и кровли, и вечер незаметно в город придёт, а за ним и ночь, а за ночью будет утро, за утром день, оживлённый, свежий, раскинет все красоты свои на коврах, как сметливый купец заезжий, призывая людей посмотреть, что же есть у него с собой, что привёз он сюда, и что же есть ещё у него в запасе, и придёт к нему современность, вместе с тем, что ютится с краю, что таится, ещё не смея говорить о себе в открытую, не решаясь в глаза смотреть и новациям вопиющим, и остаткам той старины, что назвал наш поэт глубокой, и посмотрит сперва на солнце, а потом на море, потом на людей, и возникнет — слово, точно птица, на горизонте, прилетит сюда, и за ним, стаяй птичьей, возникнет — речь, и тогда-то заговорят явь и сказка, и всё вокруг, настоящее, и былое,

и грядущее, потому что зарождение его — вот здесь, в этом городе, в этом сне, в поздний час, в ночной тишине.

А ещё ведь были — Судак, Новый Свет, Южный берег, Ялта, Севастополь, Бахчисарай... Может — сказка, а может — рай. Были? Есть. Расскажу потом. Если вспомнятся. Если сами вдруг появятся. С чудесами. Чтоб встречать их с открытым ртом. С изумлением: вот, пришли. Не забыли меня. Покуда на земле не стареет чудо, быть и речи — для всей земли.

- Кто ты? Спящий? Или проснувшийся?
- Раньше — спящий. Теперь — проснувшийся.
- С добрым утром!
- Да, с добрым утром!
- Что ты будешь делать?
- Вставать. Умываться. Пить чай. Потом...
- Что — потом?
- Буду снова работать.
- А зачем? Кому это нужно?
- Нужно — мне.
- А тебе — зачем?
- Чтобы жить.
- Значит, хочешь жить?
- Да, хочу.
- Ну, тогда работай.
- Что ж, спасибо на добром слове.
- Я сказал тебе доброе слово?
- Безусловно, сказал.
- Какое?
- Ты сказал мне: тогда работай.
- Где же доброе слово здесь?
- В интонации.
- Разве?

- В тоне.
- А ещё?
- В твоей, неприкрытой, но легко различимой иронии.
- Разве я говорил с иронией?
- Да, с иронией.
- А доброта? Ты ведь сам её ощутил!
- Доброта — прошла сквозь иронию, словно солнечный луч сквозь оконную занавеску — и, осветлив суть, укрепилась и победила.
- Ну, дела! Признаю поражение. Исчезаю. Сегодня — сдаюсь.
- Прощевай.
- Я ещё вернусь!
- Что поделаешь? Ты — наваждение.
- Ты ответишь за осуждение!
- Наваждение, сгинь! Ответ — вот он, рядом, — солнечный свет.
- Жжёт!
- Ещё бы ему не жечь! За меня заступилась — речь.
- Ох, горю! Почему он — так?
- Разгоняет крошечный мрак.
- А меня не погубит? Нет?
- Но прогонит. На то и свет.

Сгинул этот, из темноты, со знакомой лиловой рожей, на крутое словцо похожей. Я со светом — давно на ты. Свет, спасибо тебе. Опять выручаешь ты, и спасаешь, и в беде меня не бросаешь и теперь. Не идёт ли вспять время? То-то шутил Дали с подсознанием! То-то кто-то перепутал и впрямь щедроты и утраты. Куда вели эти тропы, которых я проторил когда-то немало? Что мешало и что внимало — там, на краешке забытья, там, за гранью, чей фаской шрам на руке оставлен? Что стало прозреванием? Где начало всех невзгод? Где истоки драм? Нет ответов? Ну что ж, рванусь прямо к свету. И с ним — в дорогу. Но куда? Подожди немного. Отдохнёшь и ты. Я вер-

нусь. А пока что — туда, вперёд, в мир, который дарован свыше, чуя, зная, мечтая, слыша всё, что жизнь насовсем берёт, всё, что дарит мне навсегда, чтоб сказал я потом об этом, чтобы жил я в родстве со светом в дни — пришедшие этим летом, вместе с давним моим обетом, — одиночества и труда.

Кто ты? Где? Почему сейчас вспоминаешь снова бывшее? Словно слёзы текут из глаз, ночь стечёт прозрачной смолою в море. Ветер сюда придёт, принесёт дыхание влаги. И, наверное, сам найдёт, полон мужества и отваги, через годы воздушный путь тот, кто пел на пути тернистом. Время осветит солью суть. Сердоликом и аметистом замерцают вон там, вдали, знаки памяти и печали. Жили — трудно. И петь — смогли. Что же было, скажи, вначале? Слово. Да. Было — слово. В нём — продолжение всего живого. Даже в этой игре с огнём — дорогого, навек родного — с тем, что вырваться норовит, словно чуждый призыв, из лада, чей изменчивый внешний вид разглядеть и в потёмках надо, чьё лицо под маскою скрыть не удастся на карнавале всем, кто искренне, может быть, верил в то, что понял едва ли, — даже в том, что за словом есть, вырастает новое слово, слово-знание, власть и весть, что добратся сюда готова, слово-тайна и слово-знак для мгновенного пробуждения чувств и мыслей, щедрот и благ, дней продленья и книг рожденья.

Настоящее. Состоящее из бывшего и тех мгновений, что проходят прямо сейчас. Настоящее. Предстоящее пред грядущим. Сущее. Спящее. С чудесами — и без прикрас. Пробуждающееся. Живое. Шелестящее днесь листвою. Говорящее: кто бы спас? Настоящее. Вновь таящее что-то важное. И молящее: не забудь меня! Поздний час.

Кто-то вышел из темноты. Ночь окутывает растенья свежей влагой. За каждой тенью вырастают, толпясь, цветы. Как их

много! Любой цветок — откровение и отрада. Мироздания встаёт громада. Север, запад, юг и восток ждут, когда же напомним им о таком, что откроет шлюзы всем, плывущим туда, где музы прячут лица от новых зим.

...Города приморские, крымские. Города, городки, посёлки. Нет, не точки на карте, не пятна, не цепочки ночных огней. Так случилось, что керченский светлый, чуть крошащийся камень, ракушечник, и струящийся из-под земли, невесомый, прозрачный огонь, так случилось, что лица идущих в порт куда-то, к себе, моряков, так случилось, да, так получилось, что и город, со всем его, южным и восточным, прибрежным, заморским, вроде близким, на деле далёким, обволакивающим туманом, — отодвинулся, сник, а потом возвратился решительно вспять, — и остался — конечно же, тем, столь знакомым, тогдашним и днешним, да и вечным, — таким, каким его я, скиталец, ещё не отшельник, вдохновляясь, давно уже ждал. Ведь и я там бродил когда-то, пел о чём-то, смотрел на море, и сказать не мог, что же всё-таки, если что-то всё же возможно, хоть когда-нибудь да прояснится, хоть когда-то произойдёт. Было море, на нём — корабль. Было то, что почти навсегда уходило уже, уплывало. И в безбрежности этой незнаемой, в этой чёткости, ясности строгой каждой, пусть и мельчайшей, детали, видел я неизбежный покой. Ничего, что под крышей и даже во дворе, повсюду лежали обломки античных, подлинных и совсем не имеющих, вроде бы, прочной связи со всем окружающим, отрешённо белеющих мраморов. Ничего, что дожило, и сухость, сухость в горле, всегда оставалась. И гора Митридат оставалась, как и прочие горы, горою. Может, в ритмах времён растворились отголоски мелодий знакомых, — но, однако, оркестр зазеркальный вдруг, неведомо где, заиграл. И уже то ли вверх поднимались, к неизменно высокому небу, сразу все корабли, и флотилии, и эскадры, и всех их армады, то ли вниз опускались, куда-то к беспокойно молчащим глуби-

нам, то ли вдаль уходили, но были, несмотря на причуды зрения, или, может, воображения, сквозь кристалл магический изредка высветляясь, повсюду рядом. И огни на холмах, и звучащие мерным гулом пространства раковины, и густые, косматые водоросли, и медузы, и крабы, и рыбы с отраженьями звёзд на чешуйчатых, серебристых, скользких боках, и дорожная пыль, и птицы, и далёкое всё, и близкое, и плавучее, и плакучее, и тяжёлое, и воздушное, и такое, чему названия не придумал ещё никто, — всё клубилось и вдруг свивалось в шар, в клубок впечатлений, чувств, ощущений, прикосновений к неизбежному, оставалось несомненным, живучим, крепким, долговечным, — я это знал. Может, в тихой феодосийской полудрёме дневной, когда обвисает листва на деревьях от жары, и вода журчит приглушённой, и в море штиль, может, вечером, в час, когда начинают мерцать цветы фосфорическим отраженьем отдалённых огней, когда мягче звуки и знаки чего-то назревающего поодаль притягательнее, чем днём, я услышал слова о несбывшемся, и запомнил их, и храню где-то в памяти, глубоко, но звучат они и сейчас. Может, в Ялте, в порту, когда провожал я там корабли, я увидел глаза нежнейшей и вернейшей из всех, кого знал потом я, прекрасной женщины, — и остался её внимательный, понимающий, чуткий взгляд и доселе в сердце моём. Или, может быть, в Севастополе я почуял дыханье пространства. Или времени ход ощутил в Херсонесе. А может, в Гурзуфе различил протяжное эхо дальней музыки. Что мне сказать? Берега — мою речь берегут. Да и речь — всегда берегиня. Надо будет — вновь призовут. Ведь живому — не до гордыни. Ведь живое — сама благодать. Радость, с грустью в дружбе давнишней. Для живого — никто не лишний. Остальное — не передать...

...Представьте себе огни — вдали, и вблизи — огни: цепочки, скопления, россыпи, и — тёмные очертания приближающегося

неспешно, продолжающегося — и вправо, и влево, и вглубь, туда, где угадывается гряда крутолобых гор, а за нею — ещё гряда, и ещё, раздвигающегося, как веер, завораживающего зрение, обостряющего — да так, что становятся вдруг слышны все оттенки малейшие звуков, составляющих нечто единое, неразрывное, неизъяснимое в красоте своей непостижимой, но родной и знакомой, — слух, раскрывающего какие-то потайные оконца в памяти, заставляющего внезапно биться громко и часто сердце, — очертания крымского берега. Приближение берега — с моря. С корабля. С любого судёнышка. Вид на берег. Вхождение в порт. Возвращение. Но — куда? Может — в юность. А может — в этот южный, крымский, роскошный вечер. Может — в сон? Я не сплю, поверьте. Это Ялта? Неужто? Да. Пальмы, набережная, платаны, галереи, балконы, ярусы нависающих друг над другом, словно спелые гроздья невиданных, экзотических, ярких плодов, сквозь листву, то резную, то плотную, сквозь прозрачные струи воздуха, лёгких, светлых, узорных домов. То ли есть в этом что-то испанское, то ли пенится, как шампанское, жизнь на южном, с приезжими толпами отдыхающих, берегу. Вечер пышет энергией бурною. Изумрудное и лазурное — вперемешку, как хвост павлиний. И соблазны — на каждом шагу. И — глаза, широко открытые, женщин, шествующих со свитой карнавальной, своей защитой от реальности — там, где им предстоит обитать, уехавшим после отдыха в города свои, где волшебных чар не доищешься посреди бесконечных зим. Это — Ялта, сплошная блажь, наваждение, сон, мираж, южный вечер, входящий в раж, дрожь в коленках, азарт, мандраж, чушь, фантастика, бред, просвет в гуще серых, безликих лет, сказка, притча, легенда, вздох всех традиций и всех эпох по надежде и по любви, счастье, радость, огонь в крови, свежий ветер, тоска, жара, холод лунный, провал двора, завихрение белых стен, стон из парка и кровь из вен, серебро, золотистый блеск, горя омут и моря плеск, балюстрада

ды, цветущий круг, запах роз и ключи из рук на асфальт, и горячий след поражений всех и побед, кипарисы, рискованный ход, гул элегий и рокот од, нашей жизни крутой замес, ожидание любых чудес, обещание любых щедрот, шелест листьев, струенье вод, лепет губ, восклицания, смех, дерзость, грех, доброта, успех, обаяние и беда, расставание навсегда, обретение новых мук, встреч случайность, клубок разлук, нить, протянутая вперёд, шаг тревожный за поворот, взгляд усталый на всё вокруг. Это — Ялта, и это — юг. Почему я вспомнил её? Потому что вело — чутьё. И — наитье. В который раз! Рай, мелькнувший у самых глаз...

...И когда я открыл глаза, то увидел, что ветка шиповника, по которой вверх поднималась, обхватив её цепко, плеть незаметно за лето разросшегося во все стороны, тёмно-зелёного, жить желającego плюща, за моим окном покачнулася под напором довольно свежего, налетевшего ветерка, но потом, чуть помедлив, снова, точно вдруг спохватившись, выпрямилась.

И тогда я вспомнил о том, что давно, так давно, что это слишком долго дремало в памяти и проснулось только сейчас, шёл я в бухты под Кара-Дагом, по тропинке узкой, петляющей, то сбегаящей вниз, то вверх поднимающейся, чтобы там, отдышавшись слегка, опять, вниз и вверх, упрямо бежать — и меня потом привести, наконец-то, прямо на место.

Полагаю, что этого, нынче, так, по вспышке, как я привык приговаривать, воспоминания мне, седому, вполне достаточно, чтобы стало мне с ним, возникшим вмиг, случайно, из ничего, показаться может кому-то, а на самом-то деле — из утреннего, мне глаза приоткрывшего света, сразу как-то теплей и светлее в мире этом, на склоне августа, в Коктебеле, в доме пустом.

...Жаль, что лето снова проходит. Что же было нынешним летом? Я работал. Был всем обетам — верен. В сердце рвалась

тоска. Я старался держаться. Было мне несладко. Не потому ли мне запомнился день в июле — и стрекозы, и облака?

Вот и запись об этом. Пусть мне и нынче развеет грусть.

Облака — надвигаются с запада, заволакивают синеву, густеют в горячем небе, клубятся, меняют окраску, и цвет переходит в цвет: белёсый — в чуть синеватый, молочный — в бледно-лиловый, сметанный — в туманный, сквозной, — и вся эта масса движется, и вся эта зыбкость дышит, и вся эта гуща бродит, ворочается, встаёт и крепнет, как будто брага, — и видеть ли в этом благо? — и ждать ли дождя? — не знаю, по мне — так пускай придёт.

Стрекозы — повсюду, их множество, глазастые, гибкие, маленькие, недавно вдруг появившиеся, — летают среди ветвей, сидят, как из воздуха сотканые, загадочные создания, на листьях и на цветах, на бельевых верёвках, взлетают, вибрируя крылышками, смотрят вокруг с любопытством, по-детски, — им, видно, нравится вживаться в июльский мир.

Подобие марева в небе. Обрывки музыки. Ветер. Простор над Святой горою. Стрекозы и облака.

И день в середине лета особым наполнен смыслом. И вечер придёт, прохладный, означенный полнолунием. И мысли взлетают — к птицам, стрекозам и облакам.

Не тебе говорить, что город, этот гриновский город приморский, незабвенный, не существует, ибо вымысел он, — он есть. Не тебе говорить, что это плод фантазии, да и только, — надо просто упрямо верить в то, что можно в пути обрести.

У меня что ни шаг — то радость, у меня что ни взгляд — то новость, что ни день — то новая повесть о неведомом и родном. Нет причины — забыть об этом. Так отрадно дружить со светом, находить, и зимой, и летом, то, что рядом, в раю земном.

Этот город расскажет о море, о медузах и рыбах, плывущих в синевато-зелёной воде, в завихрениях плещущих волн. Этот

город расскажет о небе надо мной, неизменно высоком, где созвездий скопления сияют драгоценным, далёким огнём.

Неизбежность и невозможность, несомненность и непреложность, простота, за которой — сложность, риск, сменяющий осторожность, непрерывно связаны здесь меж собою, здесь всё — в единстве, прочном, давнем, неистребимом, всё — в гармонии, навсегда.

Пой, скиталец, о том, что видел, пой, затворник, о том, что слышал, пой, отшельник, о том, что знаешь, что открылось тебе, когда прозревал ты чудес истоки днесь, в часы своего труда.



Есть особые люди среди нас,
Что встают, подобно холмам,
И грядущее прозревают
Настоящего много лучше
И отчётливей, чем былое.

Ну откуда она взялась,
эта вспыхнувшая звездою
в городской полумгле строфа,
вдруг возникшая предо мною
и пришедшая навсегда?

Из печали, конечно, —
из этого старого, странного зеркала.

Всею ртутной, подвижною прорвой своею, подслеповатой и жуткой, донельзя, до невозможности бездонной, страшщей и всё же завораживающей, неудержимо и властно притягивающей к себе, зыблется и отрешённо мерцает оно где-то там, внутри, в такой умопомрачительной глубине и в таком невообразимом отдалении, что голова идёт кругом и всё тело охватывает беспокойная, зябкая дрожь.

Что же прячется в нём?
Из каких измерений,
из каких неизвестных миров
доносится к нам
невозможное эхо кричащей его немоты?

На каком языке говорит оно?
На каких волнах,
на каких частотах
возможно отыскать и услышать
хрипловатый голос его?

А ведь мы его слышим.
Более того — понимаем.
Чем? Как? Почему?

Значит, попросту нет немоты.
Нет безмолвия в мире.
Всё звучит, и в звучании — жизнь.

Тьма и свет,
пограничные области и состояния —
тоже наполнены звуком.
Звук — залог выживания,
выразитель продолжения и развития сущего.

Звук — знак.
Из него растёт новизна.
Причём корни её направлены вверх.

Тем, что вверху, питается мысль.
Попробуй сдержи постижение сути!

«Корень становления человека — в небе.
Небо — праотец человека», —

так твердил ещё во втором веке до нашей эры, в Китае, один мыслитель, по имени Дун Чжун Шу, — и он был прав.

Но, живущие небом,
частенько мы скорее подразумеваем его, нежели чтим.
И тогда земное —
навёрстывает упущенное, берёт своё.

Так, в чередовании дней, забываем мы не только о главном, но и о второстепенном, вообще забываем о том, что даровано свыше, существуем словно в каком-то дурмане, как под гипнозом, среди совершенно ненужных занятий и всяких забот, в долгий ящик откладываем свои начинания, замыслы, тянем с тем, что давно уже надо бы сделать, пока не спохватимся, — а до этого надо ещё дожить, вот в чём досада.

Ну а зеркало?
Что с ним тогда?

Привычное для исподволь бросаемого на него рассеянного взгляда, зачастую слегка припорошённое далеко не всегда замечаемым и слишком уж редко вытираемым, легковесным, почти пуховым налётом не грубо прилипчивой, въедливой пыли, а скорее пыльцы, притянутой им к себе, как магнитом, из непрогретого воздуха, из всего этого мнимого, без рассуждений урезанного стенами простора лишь кажущегося надёжным, а на поверку очень условного, даже призрачного людского жилья, или же покрытое откровенно густым слоем самой настоящей пыли, плотно слежавшейся и тяжёлой, полузабытое, хоть и не отвергнутое, находящееся осторонь, словно выпавшее из круга интересов, отодвинутое на задний план, оставленное на потом, а пока что обойдённое вниманием, обиженное, никем не замечаемое, и, по причине жестокой невнимательности этой, незаметно втянутое, как в воронку, в монотонную прозу повседневно-

ности, катастрофически утрачивающее поэтичность, заурядно будничное, ну разве что где-нибудь сбоку, в укромном уголке, украдкой спрятавшее на память, упрямо удержавшее рядом с собою, при себе, только им одним различаемый, только им и лелеемый отголосок минувшего праздника, крохотный, полный высокого значения след, так, ничего необычного с виду, вроде бы мелочь, пустяк, скромный простенький знак, понятный только ему и тем более для него дорогой, если честно — то драгоценный, лежит оно среди прочих вещей, заполняющих быт наш хаотично и непреложно, где-нибудь здесь, под рукой, — до поры, разумеется, до своей вдохновенной поры, до того наконец-то пробившего часа, когда оно разом вступает в игру.

И тогда, совершенно некстати, преднамеренно или случайно, всем волшебным стеклом своим, скользким на ощупь, запотевшим, туманным, всей его твёрдой, тяжёлой, но всё-таки призрачной плоскостью, то отвесной, а то и наклонной, накрываясь в никуда, как Пизанская башня, уже застывает, зависает оно, онемев от решимости, обомлев от восторга, рискуя, на едва различимой впотьмах, ощутимой одним лишь чутьём, ускользающей, тающей, брезжащей грани вероятного, на хрупкой, чуть ли не ледяной кромке, на самом краешке реальности, прямо перед незримой, хотя и воспринимаемой почему-то как резко и отчётливо проведённая кем-то существующим по ту сторону от неё, пограничной, предельной чертой, за которой мгновенно встаёт и вопрошающе ждёт сама неизвестность, — и на глазах превращается в нечто живое, даже, может быть, — кто его знает? — одушевлённое, пусть и открытое только тебе.

Полустёртое, тусклое, такое огорчительно непрочное, и — надо же — такое поразительно долговечное, изборозждённое ломкой, извилистой сетью то едва различимых, то укрупнённых, неровной буквенной вязью расплзшихся по стекланной поверхности и меланхолично образовавших кое-какие замы-

словатые арабески трещин, этих неумолимых примет разрушения, разительно несхожих, например, с плотно идущими друг за дружкой годовыми кольцами деревьев, гибкими, расширяющимися в диаметре от центра ствола к его краям, хорошо знающими себе счёт и продолжающими увеличивать своё число в геометрической прогрессии характерными бороздками, буквально звучащими, как на граммофонной пластинке, было бы кому её завести и послушать, этими явными заметами для себя, дневниковыми записями роста, приметами созидания, — всё равно причастно оно к некоей тайне, и ничего с этим не поделаешь, и изменить этого нельзя никому.

Одним большим глотком студёной воды, сложным по составу, сразу и живой и мёртвой, отравленной и целебной, намагниченной этой вот тайной, заряжённой прошлым, благословенной настоящим, осенённой грядущим, утоляющей жажду, хрустальной, прозрачной воды, вобрало оно в себя все суеверия мира, все недомолвки, загадки, легенды и сказки земли.

Холодным, струящимся, напоминающим лунное свечение серебром отсвечивает, каким-то беспредельным, наверное — вселенским, искрящимся эхом отзывается здесь, в тишине, в уединении сердца, в одиночестве чистой души, посредине житейской пустыни, чудесное это зеркало, это магическое зеркало, в которое, так и не смирившаяся с предопределённостью, не желающая сдаваться, выжившая и оттого безоговорочно родная, устало смотрится долгими вечерами, быть может, и постаревшая, но зато уж точно всегда нечаянная радость.

И не только из жгучей, из вещей печали.

Даже больше — из давней, матёрой, обострённо-ревнивой, очень личной, а может быть, кровной, наследной тоски, неуклюже скрываемой от окружающих, по привычке наивно

таймой, но от этого лишь более очевидной, набирающей силу и власть, вошедшей во вкус, по живому режущей, застающей врасплох, изводящей умело, со знанием дела, неизменно жестокой, но порою внезапно добреющей, что ли, по крайней мере чуть ослабляющей чудовищное давление, хотя и не прекращающей ни на долю секунды гипнотическое своё воздействие на всё моё существо, и тогда, взамен гнёта, в качестве дара, прямо в тон поговорке «не испытать горького — не видать сладкого», доверительно приоткрывающей пытливому и чуткому сознанию какие-то невыразимой новизной изумляющие вещи: ведущие именно туда, куда надо и куда сроду не пройдут другие, непосвящённые, не ведающие о сложных наших с нею, тоской, отношениях, посторонние, чужие, одним лёгким прикосновением руки распахивающиеся тяжёлые с виду двери, за которыми — звук и цвет, взлёт и свет, поднимающиеся к откровенно новым измерениям ступени, потайные закоулки, подземные ходы под ничем о них не знающими, грузно раскинувшимися наверху городами, целые лабиринты, замаскированные лазы, узкие каналы, замшелые шлюзы, свежие родники, глубокие криницы, степные балки, хмурые яры, скрывающие ключи к ведической старине курганы, узловатыми жилами напрягшиеся древние валы, долгою чередой протянувшиеся холмы, горные кряжи, лесистые перевалы, подёрнутые седоватой хмарью или реющие в безоблачном небе вершины, птичьи стаи, сплетенья корней, чернозём да пески, камень да глина, чебрец да полынь, и вовсе не торные, а сокровенные тропы, и неожиданно обнаруживаемые прямо у ног, ещё не исхоженные, можно догадаться — явленные дороги, чтобы идти по ним да идти, поначалу вперёд, а потом и вспять, к истокам своим, — словом, все возможные и невозможные пути в пространстве, с которым я вроде бы давно уже накоротке, и особенно во времени, где, судя по всему, с годами я всё больше привыкаю ориентироваться и всё уверенней и свободнее начинаю перемещаться.

А ещё — из желания музыки, из томленья по музыке, из ожидания музыки, — из вселенской, Божественной музыки, от рождения дарованной свыше и вечно звучащей во мне, из разрозненных отзвуков её и сближающихся переливов, из отдельных нот и летучих мелодий, из переключки разнообразных инструментов, из которых невидимые исполнители извлекают звук, выдувая его, срывая, сощипывая, получая посредством удара, вытягивания со струн при помощи гибкого волосяного смычка, любым способом, лишь бы это звучало, слышалось, воспринималось, доходило, проникало, осознавалось, из хоров и оркестров, из разраставшейся в мозгу, всеобъемлющей музыки.

И, само собой, — из обрывочных мыслей, из разрозненных воспоминаний, из роя ощущений, догадок, вопросов к самому себе, сомнений, находок, взглядов в окно, шагов по комнате, прислушиваний к чему-то почти произнесённому, будто слово движется навстречу и вот-вот появится, из всего того смутного, брезжущего, необъяснимого, непонятного тому, кто подобного не переживал, из неминуемого, сложного, многообразного состояния души, которое предшествует состоянию транса.

Вот тогда-то и начинается чудо.

Вот тогда и работает речь.



Думаю — о былом. Нечего жить ушедшим? Помилуйте! — настоящее слишком связано с ним, чтоб уходить навеки. Всё оно — в человеке. Вместе с грядущим. Каждый тройственным чудом храним.

Чудом времён, однажды кем-то соединённых? Свыше? Конечно. То-то вместе им жить да жить. В этом единстве — тайна граней их, опалённых жгучим огнём вселенским. Надо ли в нём блажить?

Нет умиранья свету. Песня ещё не спета. Звук, возникая где-то, речь за собой ведёт. Ночь на дворе иль вечер — снова пылают свечи. Утро — ещё далече, но всё равно — придёт.

С днём драгоценным слиты все, кто с пространством квиты, чтобы искать защиты в том, что само собой станет поступком, шагом, взглядом, немалым благом, тягой к моим бумагам, песнею и судьбой.

Чудо не в том, чтоб взять его, словно птенца, в ладони. Чудо — в том, чтобы ждать его. Верить упрямо в него. Предстать пред ним — право, непросто. Постичь его — невозможно. Недосягаемо чудо. Поскольку в нём — волшебство.

Пусть в измереньях новых звучат потайные струны. Пусть Бах в парике сползающем слушает вновь миры, в которых, сквозь все каноны, иные грядут кануны, планеты поют и луны. Звуки к нему — добры.

Клавир земного затворника. Вселенская партитура. Хорал киммерийский. Фуга отшельническая. В глуши звучит извечная музыка. Горы упрямо хмуры — но вот и они светлеют. Отрада — есть для души.

Тише! Впрочем, настолько сроднился Бах с тишиною, что лишь в ней утешенье находит от невзгод мирских. Это сон? Это явь для него. Напевы, как деревья, стоят за стеною, навевая что-то родное, вне законов и вне времён.

О чём я? Ах, да! — О времени. Об имени этого времени. Земного? А может, небесного? А может быть, зазеркального? О людях этого времени. О буднях имени в темени. О празднествах, навевающих тревогу слова печального.

Печален мир. Потому что он изначально — радостен. Радостен мир. Потому что — позже — он слишком печален. С этой печалью и с этой радостью — мы уходим в плавание. Но где-нибудь — мы неизбежно причалим.

О чём я? Ах, да! — Об имени. О времени этого имени. О знамени, на котором вышито слово «свет». О семени, прорастающем в степи. О море. О пламени, в душе моей оживающем. А мыслям пределов — нет.

Радостен мир. Открытия в нём сменяют события. Рушатся и воскресают неземные устои его. Покуда в кругу созвездий мы хороводы водим, приходит к нам неизменно любви земной торжество.

Постой! Побудь ещё рядом. Хотя бы чуть-чуть. Немного. Никто тебя не заменит. Кому поведать о том, что сердце болит недаром, что вновь тяжела дорога меж слов, давно уже сказанных и спрятанных на потом?

С кем скоротать мне вечер? Кого увидеть в окошке — идущего наконец-то — из памяти ли? — ко мне? Желтеют густые кроны. Листва лежит на дорожке, шурша на ветру приморском, как будто в живом огне.

Желания то сбываются, то сызнова не сбываются. Не сдаются годам, упрямясь, чаяния мои. Вдали, над холмами сизыми, что-то вдруг затевается — летят оттуда, сгущаясь, дум бессонных рои.

Куда мне теперь деваться от нового наважденья? Со старым ещё не справился — а это настигло вмиг. И что в нём за знак? Откуда? Возможно — предубежденья. Возможно — предупреждение. Нет, просто — рождение книг.

Взгляд — и чутьё. И — шаг. В никуда? Нет, в немую бездну. В неизведанную пучину. Без причины? О ней — потом. Свет — и полёт. И — речь. Ниоткуда? Нет, из вселенной. Из легенды былой, нетленной — в мире, вроде бы обжитом.

Речь — и порыв. И — взгляд. Шаг — и чутьё. И — след. Звук — и восторг. Не спят? Музыка. Звёздный свет. Бах. При свече и звезде. Век. При своей беде. Круг. На морской воде. Далее — и везде.

Рукопись. При свече и при звезде? Я свылся с ними. С ними светлее — здесь, в ледяной ночи. Летопись. На листе белой бумаги? Верно. Скоропись. Набело. Так ли? Тающие лучи.

Реющее пространство. Таинство. Постоянство. Ночь волшебства. Убранство далее: смола и мел. Клич на пути к открытию. Ключ от высот. Наитье. Голос. Вослед за нитью. Плач. Ты сказать — сумел.

• ОГЛАВЛЕНИЕ •

I 5

II 224

III 525

Литературно-художественное издание

Алейников Владимир Дмитриевич

ВСЛЕД ЗА СЛОВОМ

Генеральный директор издательства

С. М. Макаренков

Шеф-редактор *Татьяна Соловьева*

Ведущий редактор *Кристина Коноплёва*

Арт директор *Андрей Сауков*

Младший дизайнер *Ольга Смирнова*

Верстка *Нонны Гончаровой*

Корректор *Виктор Правдолюбов*



*Знак информационной продукции согласно
Федеральному закону от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ*

Подписано в печать 18.03.2022 г. Формат 60×90/16.

Гарнитура Georgia. Усл. печ. л. 32,25

Адрес электронной почты: info@ripol.ru

Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

Отпечатано: Публичное акционерное общество
«Т8 Издательские Технологии»
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
www.t8group.ru; info@t8print.ru
тел.: 8 (499) 332-38-30